зала 18
шкафъ 268.
полка 5.
№ 1.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ М. Е. САЛТЫКОВА, т. XI.

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛІЯ

[1877 — 1883 гг.]

ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКѢ

[1881 — 1882 гг.]

зала 18
шкафъ 268.
полка 5.
№ 1.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1895.

1892

—

С. ЩЕДРИНЪ

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТКОВЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

—

1895.

М. Е. Салтыковъ

[Н. Щедринъ]

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛІЯ

[1877 — 1883 гг.]

ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКѢ

[1881 — 1882 гг.]

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 л., 28.

1895.

2341

СОДЕРЖАНІЕ.

Современная идиллія.

		стр.
Глава	первая.	1
„	вторая.	19
„	третья.	36
„	четвертая	48
„	пятая	65
„	шестая	74
„	седьмая	85
„	восьмая	92
„	девятая	105
„	десятая	115
„	одиннадцатая	121
„	двѣнадцатая	127
„	тринадцатая	138
„	четырнадцатая	153
„	пятнадцатая	164
„	шестнадцатая	173
„	семнадцатая	185
„	восемнадцатая.	192
„	девятнадцатая.	201
„	двадцатая	213
„	двадцать-первая	229
„	двадцать-вторая	237
„	двадцать-третья	247
„	двадцать-четвертая	264
„	двадцать-пятая	277
„	двадцать-шестая	287
„	двадцать седьмая.	301
„	двадцать-восьмая.	309
„	двадцать-девятая.—Заключеніе	317

Письма къ тетенькѣ.

	стр.
Письмо первое.	323
„ второе.	336
„ третье.	354
„ четвертое.	390
„ пятое	405
„ шестое.	422
„ седьмое	436
„ восьмое	447
„ девятое	469
„ десятое	480
„ одиннадцатое	507
„ двѣнадцатое.	522
„ тринадцатое.	538
„ четырнадцатое.	556
„ пятнадцатое.	565—586

I.

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛІЯ

[1877—1883 гг.]

Глава I.

Спите! Богъ не спитъ за васъ!

Жуковскій.

Однажды заходитъ ко мнѣ Алексѣй Степанычъ Молчалинъ и говоритъ:

— Нужно, голубчикъ, погодить!

Разумѣется, я удивился. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я себя помню, я только и дѣлаю, что гожу́.

Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этимъ словомъ, и вотъ выскивается же человѣкъ, который приходитъ къ заключенію, что мнѣ и за всѣмъ тѣмъ необходимо умѣрить свой пылъ!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ!—изумился я:—вѣдь это, право, ужъ начинаетъ походить на мистификацію!

— Тамъ мистификація или не мистификація, какъ хотите разсуждайте, а мой совѣтъ—погодить!

— Да что́ же, наконецъ, вы хотите этимъ сказать?

— Русскіе вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить — ну, приноровиться что-ли, умѣть во-время помолчать, позабыть кой объ чемъ, думать не объ томъ, объ чемъ обыкновенно думается, заниматься не тѣмъ, чѣмъ обыкновенно занимаетесь... Напримѣръ: гуляйте больше, въ ѣду ударьтесь, напроски набивайте. письма къ роднымъ пишите, а вечеромъ — въ табельку или въ сибирку засядьте. Вотъ это и будетъ значить „погодить“.

— Алексѣй Степанычъ! батюшка! да почему же?

— Некогда, мой другъ, объяснять — въ департаментъ спѣшу! Да и не объяснишь вѣдь тому, кто понимать не хочетъ. Мы—рус-

скіе; мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочемъ я свое дѣло сдѣлалъ, предупредилъ, а послѣдуете ли моему совѣту, или не послѣдуете, это ужъ вы сами...

Съ этими словами Алексѣй Степанычъ очень любезно сдѣлалъ мнѣ ручкой и исчезъ. Это быстрое появленіе и исчезновеніе очень больно укололи меня. Мнѣ казалось, что въ переводѣ на языкъ словъ этотъ фактъ означаетъ: я не долженъ былъ сюда придти, но... пришелъ. Во всякомъ случаѣ я хоть тѣмъ умалю значеніе своего постушка, что пробуду въ семъ мѣстѣ какъ можно менѣе времени.

Да, это такъ. Даже руки мнѣ порядкомъ на прощанье не пожалъ, а просто ручкой сдѣлалъ, какъ будто говорилъ: „готовъ я помочь, однако пора бы и тебѣ, сахаръ медовичъ, понять, что знакомство твое — не ахти благостыня какая!“ Я, конечно, не буду увѣрять, что онъ именно *такъ* думалъ, но что онъ инстинктивно *такъ* чувствовалъ, и что именно это чувство сообщило его появленію ту печать торопливости, которая меня поразила—въ этомъ я нимало не сомнѣваюсь.

По обыкновенію я сейчасъ же полетѣлъ къ Глумову. Я горѣлъ нетерпѣніемъ сообщить объ этомъ странномъ коллоквіумѣ, дабы общими силами сотворить по этому случаю совѣтъ, а затѣмъ, буде надобно, то и планъ дѣйствій начертать. Но Глумовъ уже какъ бы предвосхитилъ мысль Алексѣя Степаныча. Тщательно очистивъ письменный столъ отъ бумагъ и книгъ, въ обыкновенное время загромождавшихъ его, онъ сидѣлъ передъ порожнимъ пространствомъ... и набивалъ папироски.

— Ты что это дѣлаешь?—спросилъ я.

— А вотъ подходящее по обстоятельствамъ занятіе избралъ. Утромъ, возставъ отъ сна, пасьянсъ раскладывалъ, теперь — папироски дѣлаю.

— Представь себѣ, ко мнѣ Алексѣй Степанычъ заходилъ и то же самое совѣтовалъ!

— А я такъ самъ догадался. Садись, вотъ тебѣ гильзы—занимайся.

— Позволь, однако, надо же хоть объясниться сперва!

— А тебѣ что Алексѣй Степанычъ сказалъ?

— Да ничего путемъ не сказалъ. Пришелъ, повернулся и ушелъ. Погодить, говоритъ, надо!

— Чудакъ ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значитъ. Вотъ я себѣ самъ, собственнымъ движеніемъ, сказалъ: Глумовъ! нужно, братъ, погодить! Купилъ табаку, гильзы — и шабашъ. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновеніе къ объясненію есть противоположное тому, что̀ на русскомъ языкѣ извѣстно подъ словомъ „годить“.

— Помилуй! да развѣ мы мало до сихъ поръ годили! Въ чемъ же другомъ вся наша жизнь прошла, какъ не въ безпрерывномъ самопонужденіи: погоди да погоди!

— Стало быть, до сихъ поръ мы въ одну мѣру годили, а теперь мѣра съ гарнцемъ пошла въ ходъ — больше годить надо, а завтра, можетъ быть, къ мѣрѣ и еще два гарнца накипитея — ну, и еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочемъ что̀ же праздныя-то слова говорить! Давай-ка лучше подумаемъ, какъ бы намъ сообща каникулы-то эти провести. Вмѣстѣ и годить словно бы веселѣе будетъ.

Затѣмъ мы въ нѣсколько минутъ начертали планъ дѣйствій и съ завтрашняго же дня приступили къ выполненію его.

Прежде всего мы рѣшили, что я съ вечера же переберусь къ Глумову, что мы вмѣстѣ ляжемъ спать и вмѣстѣ же завтра проснемся, чтобы начать „годить“. И не разстанемся до тѣхъ поръ, покуда вакантъ самъ собой, такъ сказать, изморомъ не изноетъ.

Залегли мы спать часовъ съ одиннадцати, точно завтра утромъ къ ранней обѣднѣ собрались. Обыкновенно мы въ это время только-что словесную канитель затягивали и часовъ до двухъ ночи переходили отъ одного современнаго вопроса къ другому, съ одной стороны ничего не предрѣшая, а съ другой стороны не отказывая себѣ и въ достодолжномъ, въ предѣлахъ разумной умѣренности, разсмотрѣніи. И хотя наши собесѣдованія почти всегда заканчивались словами: „необходимо погодить“, но мы все-таки утѣшались хоть тѣмъ, что слова эти составляютъ результатъ свободнаго обмѣна мыслей и свободно-разумнаго отношенія къ дѣйствительности, что воля съ насъ не снята, и что еслибы, напримѣръ, выпить при семъ двѣ-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало намъ выразиться и такъ: Господа! да неужто же наконецъ...

Но теперь мы съ тѣмъ именно и собрались, чтобы начать годить, не разсуждая, не вдаваясь въ изслѣдованія, почему и какъ, а просто-на-просто плыть по теченію до тѣхъ поръ, пока Алексѣй Степанычъ не сниметъ съ насъ клятвы и не скажетъ: теперь — валяй по всѣмъ по тремъ!

Мнѣ не спалось. Глумовъ тоже ворочался съ боку на бокъ. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили въ голову именно все такія, какія должны приходить людямъ, собравшимся къ ранней обѣднѣ.

— Глумовъ! ты не спишь?

— Не сплю. А ты?

— И я не сплю.

— Гм... не зажечь ли свѣчу?

— Погоди; можетъ быть, и уснемъ.

Прошло еще съ полчаса — не спится да и только. Зажгли свѣчу, спустили ноги съ кровати и сѣли другъ противъ друга. Глядѣли-глядѣли — наконецъ смѣшно стало.

— Постой-ка, я въ буфетъ схожу; я тамъ, на всякій случай, два куска ветчины припасъ! — сказалъ Глумовъ.

— Сходи, пожалуй!

Глумовъ зашлепалъ туфлями, а я сидѣлъ и прислушивался. Вотъ онъ въ кабинетъ вошелъ, вотъ вступилъ въ переднюю, вотъ поворотилъ въ столовую... Чу! ключъ повернулся въ замкѣ, тарелки стукнули... Идетъ назадъ!!

Когда человѣкъ рѣшился годить, то все для него интересно: способность къ наблюденію изощряется почти до ясновидѣнія, а мысли — приходятъ во множествѣ.

— Вотъ ветчина, а вотъ водка. Закусимъ! — сказалъ Глумовъ.

— Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить — спаться лучше будетъ. А ты, Глумовъ, думалъ ли когда-нибудь объ томъ, какъ эта самая ветчина ветчиной сдѣлается?

— Была прежде свинья, потомъ ее зарѣзали, разсортировали, окорока посолили, провѣсили — вотъ и ветчина сдѣлалась.

— Нѣтъ, не это! А вотъ кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолилъ, выкормилъ? И почему онъ съ нею разстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи ѣдимъ...

— И празднословіемъ занимаемся... Будетъ! Сказано тебѣ, погоди—ну, и жди!

— Глумовъ! я немножко!

— Ни слова, ни полслова—вотъ тебѣ и сказъ. Доѣдай и ложись! А чтобы воображеніе осадить—вотъ тебѣ водка.

Выпили по двѣ рюмки — и дѣйствительно какъ-то сподручнѣе годить сдѣлалось. Въ голову словно облако тумана ворвалось, теплота по всѣмъ суставамъ пошла. Я закутался въ одѣяло и сталъ молчать. Молчать—это цѣлое занятіе, цѣлый умственный процессъ, особливо если при этомъ имѣется въ виду практическій результатъ. А такъ какъ въ настоящемъ случаѣ ожидаемый результатъ заключался въ словѣ „заснуть“, то я предался молчанію, усиленно отгоняя и устраняя все, что могло нанести ему ущербъ. Старался не перемѣнять положенія тѣла, всякому проблеску мысли сейчасъ же посылалъ встрѣчный проблескъ мысли, по преимуществу ни съ чѣмъ не сообразный, даже цѣлыя сказки себѣ сказывалъ. Содержаніе этихъ сказокъ я излагать здѣсь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за предѣлы моихъ скромныхъ намѣреній), но, признаюсь откровенно, всѣ онѣ имѣли въ своемъ основаніи слово: „погодить“.

Наконецъ, уже почти совсѣмъ сонный, я вымолвилъ:

— Да, братъ! а насчетъ ветчины — все-таки... Это, братъ, въ своемъ родѣ—сюжетъ!

— Сюжетъ! — тоже сквозь сонъ отвѣтилъ мнѣ Глумовъ, и затѣмъ голова моя окончательно окунулась въ облако.

Проснулись мы довольно рано (часовъ въ девять), но къ ранней обѣднѣ все-таки не поспѣли.

— Впрочемъ, и то сказать, — началъ я: — не такой городъ Петербургъ, чтобы въ немъ раннія обѣдни справлять.

— Будешь и къ ранней обѣднѣ ходить, когда моментъ наступитъ,—осадилъ меня Глумовъ: — но не объ томъ рѣчь, а вотъ я насчетъ горячаго распоряжусь. Тебѣ чего: кофею или чаю?

Я задумался. Обыкновенно я пью чай, но нынче все такъ было необыкновенно, что захотѣлось и тутъ отличиться. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!

— Кофею, братецъ!—воскликнулъ я и даже хлопнулъ себя по ляжкѣ отъ удовольствія.

Подали кофей. Налили по стакану—выпили; по другому налили—и опять выпили. Со сливками и съ теплымъ калачомъ.

— Калачъ-то отъ Филиппова?—спросилъ я.

— Да, отъ Филиппова.

— Говорятъ, у него въ пекарнѣ таракановъ много...

— Мало ли что говорятъ! Вкусно—ну, и будетъ съ тебя!

Глумовъ высказалъ это нѣсколько угрюмо, какъ будто предчувствуя, что у меня языкъ начинаетъ зудѣть.

— А что, Глумовъ, ты когда-нибудь думалъ, какъ этотъ самый калачъ...

— Что „калачъ“?

— Ну, вотъ родословную-то его... Какъ сначала эта самая пшеница въ закромѣ лежитъ, у кого лежитъ, какъ этотъ человѣкъ за сохой идетъ, напирая на нее всею грудью, какъ...

— Зналъ прежде, да забылъ. А теперь знаю только то, что мы кофей съ калачомъ пьемъ, да и тебѣ только это знать совѣтую!

— Глумовъ! да вѣдь я немножко!! Вѣдь если мы немножко поговоримъ — право, вреда особеннаго отъ этого не будетъ. Только время скорѣе пройдетъ!

— И это знаю. Да не объ томъ мы думать должны. Подвигъ мы на себя приняли — ну, и должны этотъ подвигъ выполнить. Кончай-ка кофей, да идемъ гулять! Вспомни, какую намъ палестину выходить предстоитъ!

Въ одиннадцать часовъ мы вышли изъ дому и направились по Литейной. Пришли къ зданію судебныхъ мѣстъ.

— Вотъ, братъ, и судъ нашъ праведный!—сказалъ я.

— Да, братъ, судъ!—вздохнулъ въ отвѣтъ Глумовъ.

— А коли по правдѣ-то сказать, такъ наступитъ же когда-нибудь время, когда эти суды...

— Да обуздай, наконецъ, язычище свой! Ну, судъ—ну, и прекрасно! И будетъ съ тебя! Архитектура вотъ... разбирай ее на здоровье! Зданіе прочное—внутри дворъ... Чего лучше!

— Да, мой другъ, удивительно, какъ это пыньче... Говорятъ, даже буфетъ въ судѣ есть?

— Есть и буфетъ.

— А ты не знаешь, чѣмъ этотъ буфетъ славится?

— Водки рюмку выпить можно — какой еще славы нужно!

Котлетки подаютъ, бифштексъ — въ званіи отвѣтчика даже очень прилично!

— Удивительно! просто удивительно! И правосудіе получить, и водки напиться—все можно!

— Только болтать лишнее нельзя! Идемъ на Фуштадтскую.

Пошли по Фуштадтской; дошли до Овсянниковскаго дома.

— Вотъ какой столбъ былъ! До неба рукой доставалъ—и вдругъ рухнулъ!—воскликнулъ я въ умиленіи:—я впрочемъ думаю. что Провидѣніе не безъ умысла отъ времени до времени такія зрѣлища допускаетъ!

— Для чего Провидѣніе допускаетъ такія зрѣлища — это, братъ, не нашего ума дѣло; а вотъ что Овсянниковъ подвергся карѣ закона—это вѣрно. Это я въ газетахъ читалъ, и потому могу говорить свободно.

— Да, но отчего же и о путяхъ Провидѣнія не припомнить при этомъ?

— Оттого. что пути эти намъ непзвѣстны—вотъ отчего. А что намъ неизвѣстно—къ тому мы должны относиться сдержанно. Шагай, братецъ.

Въ концѣ Фуштадтской—питейное заведеніе. Выходитъ оттуда мужчина въ изорванномъ пальто, съ изорванной физіономіей и, пошатываясь, горланитъ:

Красавица! подожди!
Бѣлы руки подожми!

— Вотъ и онъ совѣтуетъ подождать!—говорю я.

— Да. потому что всѣмъ такая линія вышла.

— А бѣдный онъ!

— Кто? пьяница-то?

— Да, онъ. Сколько лютой скорби надобно, чтобъ накипѣло у человѣка въ груди...

Но Глумовъ и тутъ оборвалъ меня, запѣвъ:

Красавица подожди!
Бѣлы руки подожми!

— Не для того я напоминаю тебѣ объ этомъ. — продолжалъ онъ,—чтобъ ты именно въ эту минуту молчалъ, а для того, что если ты теперь сдерживать себя не будешь, то и въ другое время языкъ

обуздать не съумѣешь. Выдержка намъ нужна, воспитаніе. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотимъ понять, что оттого вся эта неопрятность и происходитъ, что мы на каждомъ шагу послабленія себѣ дѣлаемъ. Прямо, на улицѣ, пожалуй, не посмѣемъ высказаться, а чуть зашли за уголъ—и распустили языкъ. Понятно, что начальство за это претендуетъ на насъ. А ты такъ умѣй собой овладѣть, что ежели сказано тебѣ „погоди“, такъ ты годи вездѣ, на всякомъ мѣстѣ, да отъ всего сердца, да со всею готовностью—вотъ какъ! даже когда одинъ съ самимъ собой находишься—и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка.

Я долженъ былъ согласиться съ Глумовымъ. Дѣйствительно, русскій человѣкъ какъ-то туго поддается выдержкѣ и почти совсѣмъ не можетъ устроить, чтобъ на всякомъ мѣстѣ и во всякое время вести себя съ одинаковымъ самообладаніемъ. Есть у него въ этомъ смыслѣ два очень серьезные врага: воображеніе, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться на встрѣчу первому попавшемуся впечатлѣнію. Обстоятельства почти всегда застигаютъ его врасплохъ, а потому сію минуту онъ увядаетъ, а въ слѣдующую — расцвѣтаетъ, сію минуту разсыпается въ выраженіяхъ преданности и любви, а въ слѣдующую — клянетъ или загибаетъ непечатныя слова, которыя у насъ какъ-то и въ счетъ не полагаются. Но во всякомъ случаѣ онъ не умѣетъ сдержать свою мысль и рѣчь въ извѣстныхъ границахъ, но непремѣнно впадаетъ въ расплывчивость и прибѣгаетъ къ околичностямъ. Прочтите любой судебный процессъ, и вы безъ труда убѣдитесь въ этомъ. Ни одинъ свидѣтель на вопросъ: гдѣ вы въ такомъ-то часу были?—не отвѣтитъ просто: былъ тамъ-то, но непремѣнно всю свою душу при этомъ изольетъ. Начнетъ съ родителей, потомъ переберетъ всѣхъ знакомыхъ, которыхъ фамиліи попадутся ему на языкъ, потомъ объ себѣ отзовется, что онъ человѣкъ несчастный, и наконецъ уже на повторительный вопросъ: гдѣ вы были?—рѣшится отвѣтить: былъ тамъ-то, но непремѣнно присовокупитъ: видѣлся вотъ съ тѣмъ-то, да еще съ тѣмъ-то, и сговаривались мы сдѣлать то-то. Однимъ словомъ, самаго ничтожнаго повода достаточно чтобъ насторожить воображеніе и чтобы послѣднее немедленно нарисовало цѣлую картину.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній я рѣшился сдерживать себя. Молча мы повернули вдоль линіи Таврическаго сада, затѣмъ направо по набережной и остановились противъ Таврическаго дворца. Натурально, умилились. Тѣни Екатерины, Потемкина, Державина такъ живо пронеслись передо мною, что мнѣ показалось, что я чувствую ихъ дуновеніе.

— Вотъ гдѣ витаетъ тѣнь великолѣпнаго князя Тавриды!— воскликнулъ я.

— Да, братъ, вотъ тутъ, въ этомъ самомъ мѣстѣ онъ и жилъ! —отозвался Глумовъ.

— И что отъ него осталось? Чѣмъ разрѣшилось облако блеска, славы и власти, которое окружало его? Нѣсколькими десятками анекдотовъ въ „Русской Старинѣ“, изъ коихъ въ одномъ главную роль играетъ севрюжина! Вонъ тамъ былъ сожженъ знаменитый фейерверкъ; вотъ тутъ, съ этой террасы глядѣла на празднество залитая въ золото толпа царедворцевъ, а вдали неслыханныя массы голосовъ и инструментовъ гремѣли „Коль славенъ“ подъ громъ пушекъ! Гдѣ все это?

Я расчувствовался, всталъ въ позу и продекламировалъ:

Гдѣ столъ былъ яствъ—тамъ гробъ стоитъ,
Гдѣ пиршествъ раздавались клики,
Надгробные тамъ воютъ лики
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ.
Глядитъ на всѣхъ...

— Дальше не помню: но не правда ли, удивительно!

— Удивительно-то удивительно, только это изъ оды на смерть Мещерскаго, и къ Потемкину, слѣдовательно, не относится,—расхолодилъ меня Глумовъ.

— Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить пріятно! Екатерина! Державинъ! Имена-то какія, мой другъ! часто ли встрѣтишь ты въ исторіи такія сочетанія!

— Орловы! Потемкинъ! Румянцовъ! Суворовъ!—словно эхо вторилъ мнѣ Глумовъ и, ставъ въ позицію, продекламировалъ:

Вихрь полуночный летитъ богатырь!
Тѣнь отъ чела, съ посвиста—пыль!

— А потомъ Дмитріевъ-Мамоновъ и наконецъ Зубовъ... И каждому-то умѣлъ старикъ Державинъ комплиментъ сказать!

Подъ наплывомъ этихъ отрадныхъ чувствъ начали мы припоминать стихи Державина, но, къ удивленію, ничего не припомнили, кромѣ:

Запасшися крестьянинъ хлѣбомъ,
Ѣстъ добры щи и пиво пьетъ! *)

— Да, братъ, былъ такой крестьянинъ! былъ!—воскликнулъ я, подавленный нарисованною Державинымъ картиной.

Какъ ни сдержанъ былъ Глумовъ, но на этотъ разъ и онъ счелъ неумѣстнымъ охлаждать мой восторгъ.

— Да, братъ, былъ,—сказалъ онъ почти сочувственно.

— Было! все было!—продолжалъ я восклицать въ восхищеніи: —и „добры щи“ были! представь себѣ: „добры щи“!

— Представляю, но, все-таки, не могу не сказать: восхищаться ты можешь, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы восхищеніе прошлымъ не могло служить поводомъ для превратныхъ толкованій въ смыслѣ укора настоящему!

— И съ этимъ замѣчаніемъ я долженъ былъ согласиться. Да, и восторги нужно соразмѣрять, то-есть ни въ какомъ случаѣ не сосредоточивать ихъ на одной какой-нибудь точкѣ, но распредѣлять на возможно большее количество точекъ. Нужды нѣтъ, что вслѣдствіе этого распредѣленія восторгъ сдѣлается болѣе умѣреннымъ, но зато онъ всѣ точки равно освѣтитъ и отъ каждой получитъ дань похвалы и поощренія. Поэты стараго добраго времени очень тонко это понимали, и потому, ни на комъ исключительно не останавливаясь и никого не обижая, всѣмъ подносили посильные комплименты.

Мы повернули назадъ, прихватили Песковъ, и когда поравнялись съ однимъ одноэтажнымъ деревяннымъ домикомъ, то я сказалъ:

— Вотъ въ этомъ самомъ домѣ цензоръ Красовскій родился!

— Врешь?

Я соврадъ дѣйствительно: но такъ какъ срокъ, въ теченіе котораго мнѣ предстояло „годить“, не былъ опредѣленъ, то надо же было какъ-нибудь время проводить! Поэтому я не только не сознался, но и продолжалъ стоять на своемъ.

*) „Осень во время осады Очакова“.

— Вѣрно, что тутъ! — упорствовалъ я: — мнѣ Тряпичкинъ сказывалъ. Онъ, братъ, нынче фельетоны-то бросилъ, за историческія изслѣдованія принялся! Уваровскую премію надѣется получить! Тутъ родился! тутъ!

Постояли, полюбовались, вспомнили, какъ у покойнаго всю жизнь животъ болѣлъ, наконецъ махнули рукой и пошли по Литовкѣ. Долго ничего замѣчательнаго не было, но вдругъ мои глаза ухитрились отыскать знакомый домъ.

— Вотъ въ этомъ самомъ домѣ собранія библіографовъ бываютъ,—сказалъ я.

— Когда?

— Собираются они по ночамъ и въ величайшемъ секретѣ: боятся, чтобъ полиція не накрыла.

— Ихъ-то?

— Да, братъ, и ихъ! Вообще человѣчество все...

— Ты бывалъ на этихъ собраніяхъ?

— Былъ однажды. При мнѣ „Черную шаль“ Пушкина библіографической разработкѣ подвергали. Они, братъ, ее въ двухъ томахъ съ комментаріями хотятъ издавать.

— Вотъ бы гдѣ „годить“-то хорошо! Туда бы забраться, да тамъ все время и переждать!

— Да, хорошо бы. При мнѣ въ теченіе трехъ часовъ только два первые стиха обработали. Вотъ видишь, обыкновенно мы такъ читаемъ:

Гляжу я безмолвно на черную шаль
И хладную душу терзаетъ печаль...

А у Слёнина (1831 г., in 8-vo) послѣдній стихъ такъ напечатанъ:

И гладную душу *д*ерзаетъ печаль...

Вотъ они и остановились въ недоумѣніи. Три партіи образовались.

— Ужинать-то, по крайней мѣрѣ, дали ли?

— Нѣтъ, ужина не было, а подъ конецъ засѣданія хозяинъ сказалъ: „Я, господа, рѣдкость пріобрѣлъ! единственный экземпляръ Гоголевскаго портрета, на которомъ авторъ „Мертвыхъ Душъ“ изображенъ съ бородавкой на носу!“

— Ну, и что жъ?

— Натурально, всѣ всполошились. Принесъ—всѣ бросились

смотрѣть: дѣйствительно, сидитъ Гоголь, и на самомъ кончикѣ носа у него бородавка. Начался споръ: въ какую эпоху жизни портретъ снятъ? положили: справиться, нѣтъ ли указаній въ бумагахъ покойнаго академика Погодина. Потомъ стали къ хозяину приставать: сколько за портретъ заплатилъ? Тотъ говоритъ: „угадайте!“ Потомъ, въ видѣ литіи, прочли „полный и достовѣрный списокъ сочиненій Григорія Данилевскаго“ и разошлись.

— Вотъ, другъ, этакъ-то бы пожить!

— Да, хорошо! однако, братъ, и они... на замѣчаніи тоже! Какъ расходились мы, такъ я замѣтилъ: нѣтъ-нѣтъ, да и стоитъ. на всякій случай, городовой! И такіе пошли тутъ у нихъ свистки, что я, грѣшный человѣкъ, подумалъ: а что, ежели „Черная шаль“ тутъ только предлогъ одинъ?

Разговаривая такимъ образомъ, мы незамѣтно дошли до Невскаго, причемъ я не преминулъ обратиться всѣмъ корпусомъ къ дебаркадеру николаевской желѣзной дороги и произнесъ:

— А вотъ это—результатъ пытливости девятнадцатаго вѣка!

Затѣмъ, дойдя до Надеждинской улицы, я сказалъ:

— Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла отъ Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невскаго ее продолжили. И это тоже результатъ пытливости девятнадцатаго вѣка!

А дойдя до булочной Филиппова, я вспомнилъ, какія я давеча мысли по поводу филипповскихъ калачей высказывалъ, и даже засмѣялся: какъ можно было такую гражданскую незрѣлость выказать!

— А помнишь, какой мы давеча разговоръ по случаю филипповскихъ калачей вели?—обратился я къ Глумову.

— Не я велъ, а ты.

— Ну, да, я. Но какъ все это было юно! незрѣло! Какое мнѣ дѣло до того, кто муку производитъ, какъ производитъ и пр.! Я ѣмъ калачи—и больше ничего! мнѣ кажется, теперь—хоть озолоти меня—я въ другой разъ этакой глупости не скажу!

— И прекрасно сдѣлаешь. Вотъ какъ каждый-то день верстъ по пятнадцати-двадцати обломаемъ, такъ дней черезъ десять и совсѣмъ замолчимъ.

Но когда мы дошли до площади Александринскаго театра, то душевный нашъ уровень опять поднялся. Вновь вспомнили старика Державина:

Богоподобная царевна
Киргизъ-кайсацкія орды
Которой мудрость несравненна...

— А вотъ и самъ онъ тутъ!—воскликнулъ я, указывая на пьедесталъ.

— А вотъ храмъ Таліи и Мельпомены!—отозвался Глумовъ, указывая на Александринскій театръ.

— А рядомъ съ нимъ храмъ Момусу!

— А напротивъ—отель Бель-вю!

Намъ было такъ радостно, что все это такъ хорошо съютилось, что мы, дабы не отравлять счастливаго душевнаго настроенія, рѣшились отвратить наши взоры отъ бывшаго помѣщенія конторы Баймакова, такъ какъ это зрѣлище должно было несомнѣнно ввергнуть насъ въ меланхолію.

Проходя мимо Публичной Библіотеки, я собрался-было остановиться и сказать нѣсколько прочувствованныхъ словъ насчетъ неумѣстности наукъ, но Глумовъ такъ угрюмо взглянулъ на меня, что я невольно ускорилъ шагъ и успѣлъ высказать только слѣдующій краткій exordium:

— Вотъ здѣсь хранятся сокровища человѣческаго ума!

За то у милютиныхъ лавокъ мы отдохнули и взорами, и душою. Апельсины, мандарины, груши, виноградъ, яблоки. Представьте себѣ —земляника! На дворѣ февраль, у извозчиковъ уши на морозѣ побѣлѣли, а тамъ, въ этой провонялой лавчонкѣ—ужъ лѣто въ самомъ разгарѣ! И какіе веселые, беззавѣтные голоса долетали до насъ оттуда всякій разъ, какъ дверь магазина отворялась! И какъ меня вдругъ потянуло туда, въ заднія низенькія комнаты, въ провонялую, сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всемъ пространствѣ которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, ни одного непроплеванаго мѣста невозможно найти! Придти туда, лечь съ ногами на диванъ, окружить себя устрицами, пить шабли и въ этомъ положеніи „годить“!

— Да, и тутъ „годить“ хорошо!—молвилъ Глумовъ, какъ бы угадывая мою мысль.

Но планъ нашъ ужъ былъ составленъ заранѣе. Мы обязывались провести время, хотя безполезно, но въ то же время по возможности серьезно. Мы понимали, что всякая примѣсь легкомыслія должна произвести игривость ума, и что только серьезное переливаніе изъ

пустого въ порожнее можетъ вполнѣ укрѣпить человѣка на такой серьезный подвигъ, какъ непремѣнное намѣреніе „годить“. Поэтому, хотя и не безъ насильства надъ самими собой, но мы оторвали глаза отъ соблазнительнаго зрѣлища и направили стопы по направленію къ адмиралтейству.

Мы шли молча, какъ бы подавленные бакалейными запахами, которыми, казалось, даже складки нашихъ пальто внезапно пропахли. Не обративъ вниманія ни на памятники Барклаю де-Толли и Кутузову, ни на ресторанъ Доминика, въ дверяхъ котораго толпились какія-то полинялыя личности, ни на объ Морскія, съ веселыми пріютами Бореля и Танти, мы достигли Адмиралтейской площади, и тутъ я вновь почувствовалъ необходимость сказать нѣсколько прочувствованныхъ словъ.

— Еще недавно здѣсь, на масляницѣ и на святой, устраивались балаганы и въ опредѣленные дни вывозили институтокъ въ придворныхъ каретахъ. Теперь все это происходитъ уже на Царицыномъ Лугу. Здѣсь же, на площади, иждивеніемъ и заботливостью городской думы, устроенъ скверъ. Глумовъ! видишь этотъ скверъ?

— Вижу. А ты видишь?

— И я вижу. Я объ томъ хочу сказать, что съ каждымъ годомъ этотъ скверъ все больше и больше разростается. Сначала, когда его только-что насадили, деревья вотъ этакія были, и притомъ множество изъ нихъ въ первый же годъ погибло. Потомъ, по мѣрѣ того, какъ заботливость городской думы развивалась, погибшія деревья замѣнялись новыми, а старыя, сразу удавшіяся, пышнѣе и пышнѣе разрослались. Въ настоящее время не слишкомъ тучный прохожій уже можетъ свободно отдохнуть подъ ихъ тѣнью, но, разумѣется, не зимой. Глумовъ! правильно ли я говорю?

— Совершенно правильно.

— А теперь, исполнивши нашъ долгъ относительно Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости городской думы, идемъ къ окончательной цѣли нашего путешествія, какъ оно проектировано на нынѣшній день!

Мы пошли на Сенатскую площадь и въ нѣмомъ благоговѣніи остановились передъ памятникомъ Петра Великаго. Вспомнился „Мѣдный Всадникъ“ Пушкина и тутъ же кстати пришли на умъ и слова профессора Морошкина о Петрѣ:

„Но великій человѣкъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы —плоть и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и слабы, и худы, намъ нужны были общіе уставы человѣческіе!“ *)

Я повторилъ эти замѣчательныя слова, а Глумовъ вполнѣ одобрилъ ихъ. Затѣмъ мы бросили прощальный взглядъ на зданіе сената, въ которомъ нѣкогда говорилъ правду Яковъ Долгорукій, и такъ какъ программа гулянья на нынѣшній день была уже исчерпана и насъ порядкомъ-таки одолѣвала усталость, то мы сѣли въ вагонъ конно-желѣзной дороги и благополучно прослѣдовали въ немъ до Литейной.

Было уже четыре часа, когда мы воротились домой: слѣдовательно до обѣда оставался еще часъ. Глумовъ отправился распорядиться на кухню, а мнѣ далъ картузъ табаку, пачку гильзъ и сказалъ:

— Займись!

Наконецъ подали обѣдать. Никогда не ѣдалъ я такъ вкусно. Во-первыхъ, никогда не приходилось дѣлать подобнаго предобѣденнаго моціона, а во-вторыхъ мы ѣли на свободѣ, безъ всякихъ политическихъ соображеній, „безъ тоски, безъ думы роковой“, памятуя твердо, что ничего другого, кромѣ ѣды, намъ не предстоитъ. Поэтому каждый кусокъ былъ надлежащимъ образомъ прожеванъ, а слѣдовательно и до желудка доше.лъ въ формахъ, вполнѣ согласныхъ съ требованіями медицинской науки. Подавали на закуску: провѣсную бѣлорыбицу и превосходнѣйшую бѣлужью салфеточную икру; за обѣдомъ—удивительнѣйшія щи съ говяжьей грудиной, потомъ осетрину паровую, потомъ жареныхъ рябчиковъ, привезенныхъ прямо изъ Сибири, и наконецъ—компотъ изъ французскихъ фруктовъ. Само собой разумѣется, что при каждой перемѣнѣ кушанья возникалъ приличный обстоятельствамъ разговоръ.

Давно, очень давно дѣдушка Крыловъ написалъ басню: „Сочинитель и разбойникъ“, въ которой доказалъ, что разбойнику слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ сочинителемъ, и эта истина такъ пришлась намъ ко двору, что съ давнихъ временъ никто и не сомнѣвается въ ея непререкаемости. Позднѣе тотъ же дѣдушка Крыловъ

*) Рѣчь профессора московскаго университета Морошкина: „Объ ложеніи и его дальнѣйшемъ развитіи“.

написалъ другую басню: „Три мужика“, въ которой образно доказалъ другую истину, что во время ѣды не слѣдуетъ вести иныхъ разговоровъ, кромѣ тѣхъ, которые, такъ сказать, вытекаютъ изъ самаго процесса ѣды. Этою истиною мы долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, когда теорія и практика въ совершенствѣ выяснили, что человѣческій языкъ есть не что иное, какъ орудіе для выраженія человѣческаго сквернословія, мы должны были сознаться, что прозорливость дѣдушки Крылова никогда не обманывала его.

Мы солидно ѣли и вели солидный разговоръ объ ѣдѣ. И по мѣрѣ того, какъ обѣдъ развивался, передъ нами открывались такія поразительныя перспективы, которыхъ мы никогда и не подозрѣвали. Я покупалъ говядину въ какой-то лавочкѣ „на углу“; Глумовъ—на Кругломъ рынкѣ; я покупалъ рыбу въ Чернышевомъ переулкѣ. Глумовъ—на Мытномъ дворѣ; я пріобрѣталъ дичь въ первой попавшейся лавкѣ, на дверяхъ которой висѣлъ замороженный заяцъ, Глумовъ—въ какомъ-то складѣ, близъ Шлиссельбургской заставы. Безхозяйственность моя обнаружилась во всемъ ужасающемъ безобразіи, такъ что я тутъ же мысленно рѣшилъ, что безъ радикальныхъ реформъ обойтись невозможно.

— Ты сообрази, мой другъ,—говорилъ я:—вѣдь по этому разсчету выходитъ, что я, по малой мѣрѣ, каждый день полтину на вѣтеръ бросаю! А сколько этихъ полтинъ-то въ годъ выйдетъ?

— Выйдетъ триста шестьдесятъ пять полтинъ, то-есть сто восемьдесятъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

— Теперь, пойдемъ дальше. Прошло слишкомъ тридцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ школы, и все это время, съ очень небольшими перерывами, я живу полнымъ хозяйствомъ. Еслибъ я всѣ эти полтины собиралъ, сколько бы у меня теперь денегъ-то было?

— Тысячу восемьсотъ двадцать пять помножь на три—выйдетъ пять тысячъ четыреста семьдесятъ пять рублей.

— Это ежели безъ процентовъ считать. Но я могъ эти сбереженія... ну! положимъ, подъ ручные залоги я бы не отдалъ... а все-таки я могъ бы на эти сбереженія покупать процентныя бумаги, дисконтировать векселя и вообще совершать дозволенныя закономъ финансовыя операціи... Разсчетъ-то ужъ выйдетъ совсѣмъ другой.

— Да, братъ, обмишулился ты!

— И замѣть, что у тебя провизія превосходная, а у меня—

только посредственная. Возьми, напримѣръ, твоя ли осетрина, или моя?

— Нѣтъ, вотъ я завтра окорочекъ велю запечь, да тепленькій... тепленькій на столъ-то его подадимъ! Вотъ и увидимъ, что̀ ты тогда запоешь!

— Ты гдѣ окорока покупаешь?

— Угадай!

— У Шписа? у Людекенса?

— Въ Мучномъ переулкѣ!!!

— Скажите на милость!

Словомъ сказать, разочарованіе слѣдовало за разочарованіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ являлась и надежда на исправленіе, а это-то собственно и было дорого. Ибо давно уже признано, что одинъ темныя стороны никогда никого не удовлетворяютъ, если онѣ не смягчаются свѣтлыми сторонами, или, за недостаткомъ ихъ, „насъ возвышающими обманами“! Такъ что, напримѣръ, человѣкъ, котораго обѣдъ состоитъ изъ одной тюри съ водой, только тогда будетъ вполнѣ удовлетворенъ, ежели при этомъ вообразитъ, что ѣстъ наварныя щи и любуется лавающимъ въ нихъ жирнымъ кускомъ говядины.

Этихъ мыслей я, впрочемъ, не высказывалъ, потому что Глумовъ непремѣнно расшекъ бы меня за нихъ. Да я и самъ, признаться, не придавалъ имъ особеннаго политическаго значенія, такъ что былъ даже очень радъ, когда Глумовъ прервалъ ихъ теченіе, пригласивъ меня въ кабинетъ, гдѣ насъ ожидалъ удивительной красоты „шартрёзъ“.

Былъ седьмой часъ въ половинѣ, когда мы встали изъ-за стола. Мы сѣли другъ противъ друга въ мягкія кресла, закурили какія-то необычайныя *nec plus ultra* и медленно, съ толкомъ дегустировали послѣ-обѣденныя рюмки, наполненныя золотистой жидкостью. Хорошо намъ было. Я не скажу, чтобъ это былъ сонъ, но, казалось, что какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то съ высоты и укачивала утомленное непривычнымъ моціономъ тѣло. Сомкнувъ усталыя вѣжды, мы молча предавались внутреннимъ созерцаніямъ и изрѣдка потихоньку вздрагивали. Наконецъ изъ груди Глумова вырвался стонъ, который сразу возвратилъ и его, и меня къ чувству дѣйствительности.

— А вѣдь я, братъ, чуть-чуть не заснулъ!—удивился онъ, и

тутъ же громкимъ голосомъ возопилъ: — Сельтерской воды... и умыться!

Выпили по бутылочкѣ сельтерской воды, потомъ умылись и сдѣлались опять такъ же свѣжи и бодры, какъ будто, только сейчасъ отстоявши раннюю обѣдню, собрались по-христіански провести день свой.

Было около половины девятаго, когда мы сѣли вдвоемъ въ сибирку съ двумя болванами. Мы—игроки почти равной силы, но Глумовъ не обращаетъ вниманія, а я—обращаю. Поэтому игры бываютъ препитересныя. Глумовъ горячится, не разсчитываетъ игры, а хочетъ сразу ее угадать—и попадаетъ въ просакъ; а я, разумѣется, этимъ пользуюсь—и записываю штрафъ.

Въ концѣ концовъ я почти всегда оказываюсь въ выигрышѣ, но это нимало не сердитъ Глумова. Иногда мы даже оба отъ души хохочемъ, когда случается что-нибудь совсѣмъ ужъ необыкновенное: ренонсъ, напримѣръ, или дама червей вдругъ покажется за короля. Но никогда еще игра наша не была такъ весела, какъ въ этотъ разъ. Во-первыхъ, Глумовъ, въ-горячахъ, пролилъ на сукно стаканъ чаю; во-вторыхъ, онъ, имѣя на рукахъ три туза, получилъ маленькій шлемъ! Давно мы такъ не хохотали.

Въ одиннадцать часовъ мы встали изъ-за картъ и тѣмъ же порядкомъ, какъ и наканунѣ, улеглись спать.

— А что, братъ, годить-то, пожалуй, совсѣмъ не такъ трудно. какъ это съ перваго взгляда казалось?—сказалъ мнѣ на прощаніе Глумовъ.

Я возобновилъ въ своей памяти проведенный день, и нашелъ, что, по справедливости, ничего другого не остается, какъ согласиться съ Глумовымъ.

Дѣйствительно, всѣ мысли и чувства во мнѣ до того угомонились, такъ сказать, дисциплинировались, что въ эту ночь я даже не ворочался на постели. Какъ легъ, такъ сейчасъ же почувствовалъ, что голова моя налилась свинцомъ и помертвѣла. Какая разница съ тѣмъ, что происходило въ эти же самые часы вчера!

На другой день я проснулся въ восемь часовъ утра, и первою моею мыслью было возблагодарить Подателя всѣхъ благъ за совершившееся во мнѣ обновленіе...

Глава II.

Глумовъ сказалъ правду: нужно только въ первое время на себя поналечь, а остальное придетъ само собою. Исключительно преданные тѣлеснымъ упражненіямъ, мы въ короткій срокъ настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позывъ только къ насыщенію. Ни науки, ни искусства не интересовали насъ; мы не слѣдили ни за открытіями, ни за изобрѣтеніями, не заглядывали въ книги, не ходили въ засѣданія педагогическаго общества, не сочувствовали ни славянамъ, ни туркамъ, и совсѣмъ позабыли о существованіи Мак-Магона. Даже чтеніе газетныхъ строчекъ сдѣлалось для насъ тягостнымъ...

По прежнему колесили мы по Петербургу, но, проходя мимо памятниковъ, которые нѣкогда заставляли биться наши сердца, уже не чувствовали ничего такого, что̀ заставляло бы насъ лѣзть на стѣну. Мы прежде всего направляли стопы на Круглый рынокъ и спрашивали, нѣтъ ли какихъ *новостей*; оттуда шагали на Мытный дворъ и почти съ гнѣвомъ восклицали: „да когда же наконецъ бѣлорыбицу привезутъ?“ Во всѣхъ съѣстныхъ лавкахъ насъ полюбили какъ родныхъ, во-первыхъ, за то, что мы, не торгуясь, выбирали лучшіе куски, а во-вторыхъ (и преимущественно), за то, что мы обо всемъ касающемся съѣстного во всякое время могли высказать „правильное сужденіе“. Это „правильное сужденіе“ приводило въ восхищеніе и хозяевъ, и прикащиковъ.

— Не то дорого, что вы покупатели лучше какихъ желать не надо, а любовь, да совѣтъ, да умное ваше слово—вотъ что̀ всякихъ денегъ дороже!—говорили намъ вездѣ.

Въ согласность съ этою жизненною практикою выработалась у насъ и наружность. Мы смотрѣли тупо и невнятно, не могли произнести сряду нѣсколько словъ, чтобы не впасть въ одышку, топырили губы и какъ-то нелѣпо шевелили ими, точно собираясь сосать собственный языкъ. Такъ что я нимало не былъ удивленъ, когда однажды на улицѣ неизвѣстный прохожій, завидѣвши насъ, сказалъ: „вотъ идутъ двѣ идеально-благонамѣренныя скотины!“

Даже Алексѣй Степанычъ (Молчалинъ) и тотъ нашелъ, что мы всѣ ожиданія превзошли.

Зашелъ опъ ко мнѣ однажды вечеромъ, а мы сидимъ и съ сыщикомъ изъ сосѣдняго квартала въ табельку играемъ. Глаза у насъ до того заплыли жиромъ, что мы и не замѣчаемъ, какъ сыщикъ къ намъ въ карты заглядываетъ. То-есть, пожалуй, и замѣчаемъ, но въ рожу его треснуть—лѣнь, а увѣщевать—напрасный трудъ: все равно, и на будущее время подглядывать будетъ.

— Однако спѣсивы-таки вы, господа! и не заглянете къ старику!—началъ было Алексѣй Степанычъ и вдругъ остановился.

Глядитъ и глазамъ не вѣритъ. Въ комнатѣ накурено, нагажено; въ сторонкѣ, на столѣ, закуска и водка стоятъ; на насъ человѣческаго образа нѣтъ: съ трудомъ съ мѣста поднялись, смотримъ въ упоръ и губами жуемъ. И въ довершеніе всего—мужчина необыкновенный какой-то сидитъ: въ подержанномъ фракѣ съ свѣтлыми пуговицами, въ отрепанныхъ клѣтчатыхъ штанахъ, въ коленкоровой манишкѣ, которая горбомъ выбилась изъ-подъ жилета. Глаза у него на-перекоски бѣгаютъ, въ усахъ объѣдки балыка застряли и капли водки, словно роса, блестятъ.

Сѣлъ, однакожъ, Алексѣй Степанычъ, посидѣлъ. Замѣтилъ, какъ сыщикъ во время сдачи поднесъ карты къ губамъ, почесалъ ими въ усахъ и моментально передернулъ туза червей.

— А ты, молодецъ, когда карты сдаешь, къ усамъ-то ихъ не подноси!—безъ церемоніи остановилъ его старикъ Молчалинъ и, обратившись къ намъ, прибавилъ:—ахъ, господа, господа!

— Опъ... иногда... всегда...—вымолвилъ въ свое оправданіе Глумовъ и чуть не задохся отъ усилія.

— То-то „иногда-всегда“! за эти дѣла за шиворотъ да въ шею! При мнѣ съ Загорѣцкимъ такой случай былъ—помню!

Когда же по ходу переговоровъ, дѣйствительно оказалось, что у сыщика на рукахъ десять безъ козырей, то Алексѣй Степанычъ окончательно возмутился и потребовалъ передачи, на что сыщикъ, впрочемъ, очень любезно согласился, сказавъ:

— Чтобы для васъ удовольствіе сдѣлать, я же готовъ хотя пьятнадцать разъ зряду сдавать—и все то самое буде!

И точно: когда опъ сдалъ карты вновь, то у него оказалась игра до того ужъ особенная, что опъ самъ не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть въ восторгѣ:

— От-то игра!

Далѣе Алексѣй Степанычъ ужъ не протестовалъ, а только повздыхалъ еще съ полчаса и удалился, сказавъ:

— Ахъ, братцы, братцы! какіе вы образованные были!

Съ тѣхъ поръ мы совсѣмъ утеряли изъ вида семейство Молчалиныхъ и взамѣнъ того съ каждымъ днемъ все больше и больше прилѣплялись къ сыщику, который льстилъ намъ, увѣряя, что въ настоящее время, въ видахъ политическаго равновѣсія, именно только такіе люди требуются, которые умѣли бы глазами хлопать и губами жевать.

— Именножъ одно это и нужно!—говорилъ онъ:—потому зви́ше такъ уже сдѣлано есть, что ежели чо̀ловѣкъ необразованъ—онъ работа̀ть объязанъ, а ежели чо̀ловѣкъ образованъ—онъ имѣетъ гулять и кушать! Ина̀чежъ руволюція буде!

Вообще этотъ человѣкъ былъ для насъ большимъ рессурсомъ. Онъ былъ не только единственнымъ звеномъ, связывающимъ насъ съ міромъ живыхъ, но и порукой, что мы можемъ безъ страха глядѣть въ глаза будущему до тѣхъ поръ, покуда наша жизнь будетъ протекать у него на глазахъ.

— Поберегай, братецъ, насъ! поберегай!—по временамъ напоминалъ ему Глумовъ.

— А якъ же! дажежъ сегодня вопросъ былъ: скоро ли руволюція на Литейной имѣетъ быть? Да нѣтъ же, говору́, мы же всякій вечеръ зъ ними въ табельку играемъ!

Такъ обнадеживалъ онъ насъ и въ доказательство своей искренности пускался въ откровенности, то-есть сквернословилъ насчетъ начальства и сознавался, что неоднократно бывалъ битъ при исполненіи обязанностей.

— Это-жъ ве́сьма натурально! — пояснилъ онъ: — бо всякій чо̀ловѣкъ защищать себя имѣетъ—о̀т-то и гарцу́е якъ може!

Всего замѣчательнѣе, что мы не только не знали имени и фамиліи его, но и никакой надобности не видѣли узнавать. Глумовъ совершенно случайно прозвалъ его Кшепшицюльскимъ, и, къ удивленію, онъ сразу началъ откликаться на этотъ зовъ. Даже познакомились мы съ нимъ какъ-то необычно. Шелъ я однажды по двору нашего дома и услышалъ, какъ онъ разспрашиваетъ у дворника: „скоро ли въ 4-мъ нумерѣ (это—моя квартира) руволюція буде“. Сейчасъ же взялъ я его за шиворотъ и привелъ къ себѣ:

— На, смотри!

Съ тѣхъ поръ онъ и остался у насъ, только спать уходилъ въ кварталъ да по утрамъ игралъ на бильярдѣ въ ресторанѣ Доминика. говоря, что это необходимо въ видахъ умственной политики.

Лгунище онъ былъ баснословный, хотя не забавный. Но такъ какъ мы находились ужъ въ томъ градусѣ благонамѣренности, когда настоящая умственная пища дѣлается противною, то лганье представляло для насъ какъ бы замѣну ея. Въ особенности запутанно выходила у него родословная. Нынче онъ выдавалъ себя за сына вельможнаго польскаго пана, у котораго „въ тымъ мѣстѣ“ были несмѣтныя маетности; завтра оказывался незаконнымъ сыномъ легкомысленной польской графини и дипломата, который будто бы написалъ сочиненіе: „La vérité sur la Russie, par un diplomate“. („От-то онъ самый и есть!“ прибавлялъ Кшепшицюльскій). Когда же Глумовъ, съ свойственною ему откровенностью, возражалъ: „а я такъ просто думаю, что ты с... с...“, то онъ и этого не отрицалъ, а только съ бо́льшею противъ прежняго торопливостью переносилъ лганье на другіе предметы. Хвастался, что служитъ въ кварталѣ только временно, покуда въ сенатѣ рѣшается процессъ его по имѣнію, что хотя его и называютъ сыщикомъ, но, собственно говоря, должность его дипломатическая, и потому слѣдовало бы называть его „дипломатомъ такого-то квартала“; увѣрялъ, что въ 1863 году бѣгалъ „до лясу“, но что впрочемъ всегда былъ на сторонѣ праваго дѣла и что даже предки его постоянно держали на сеймахъ руку Россіи („якъ же инàче мòже то быть!“). Иногда онъ задумывался и предлагалъ вопросъ:

— А якъ вы, господа, думаете: Богъ є?

— Тебѣ-то, скотина, какое дѣло?

— Все-же-жъ! Я, напримѣръ, полагаю, что зовсѣмъ яго нищъ.

Но даже подобныя выходки какъ-то ужъ не поражали насъ. Конечно, инстинктъ все еще подсказывалъ, что за такія рѣчи слѣдовало бы по настоящему его поколотить (благо за это и отвѣтственности не полагается), но внутренняго жара ужъ не было. Того „внутренняго жара“, который заставляетъ человѣка простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогихъ убѣжденій.

Повторяю: мы совсѣмъ упустили изъ вида, что, по первоначальному плану, состояніе „благонамѣренности“ было предположено для

насъ только временно, покуда предстояла надобность „годить“. Мы уже не „годили“, а просто-на-просто „превратились“. До такой степени „превратились“, что думали только о томъ, на какомъ мы счету состоимъ въ кварталѣ. И когда однажды нашъ другъ-сыщикъ объявилъ, что не дольше какъ въ тотъ же день утромъ нѣкто Иванъ Тимофеичъ (очевидно, вліятельное въ кварталѣ лицо) выразился о насъ: „я каждый день Бога молю, чтобъ и всѣ прочіе обыватели у меня такіе же благонамѣренные были!“ и что весьма легко можетъ случиться, что мы будемъ приглашены въ кварталъ на чашку чая, то мы цѣлый день выступали такою гордою поступью, какъ будто намъ на смотру по цѣлковому на водку дали.

И дѣйствительно, очень скоро послѣ этого мы имѣли случай на практикѣ убѣдиться, что Кшепшицюльскій не обманулъ насъ. Шли мы однажды по улицѣ, и вдругъ на встрѣчу самъ Иванъ Тимофеичъ идетъ. Мы, было, по врожденному инстинкту, хотѣли на другую сторону перебѣжать, но его благородіе поманилъ насъ пальцемъ, благосклонно приглашая не робѣть.

— Вечеркомъ... на чашку чая... прошу... въ кварталъ!—сказалъ онъ, подавая намъ по очереди тѣ самые два пальца, которыми только-что передъ тѣмъ инспектировалъ въ ближайшей помойной ямѣ.

И сказавъ это, изволилъ благополучно прослѣдовать къ слѣдующей помойной ямѣ.

Возвратясь домой, мы долго и тревожно бесѣдовали объ этой чашкѣ чая. Съ одной стороны, приглашеніе дѣлало намъ честь, какъ выраженіе лестнаго къ намъ довѣрія; съ другой стороны—оно налагало на насъ и обязанности. Множество вопросовъ предстояло разрѣшить. Въ какомъ костюмѣ идти: во фракѣ, въ сюртукѣ или въ халатѣ? Что заставятъ насъ дѣлать: плясать русскую, пѣть „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“, вести разговоры о безсмертіи души съ точки зрѣнія управы благочинія, или же просто поставятъ штофъ водки и скажутъ: пейте, благонамѣренные люди! Разумѣется, нашъ сыщикъ оказался въ этомъ случаѣ драгоцѣнной для насъ находкою.

— Вудка буде непремѣнно,—сказалъ онъ намъ:—мóже и не такà гарна, какъ въ тымъ мѣстѣ, гдѣ моя родина есть, но все же бýде. Пѣть васъ, мóже, и не заставятъ, но мысли навѣрное испытывать будутъ и для того философическій разговоръ заведутъ. А послѣ,

можe, и танцовать прикажутъ, бо у Ивана Тимоѳеича дочка есть... ѳт-то слична дѣвица!

Наконецъ насталъ вечеръ, и мы отправились. Я помню, на мнѣ были бѣлыя перчатки, но почему-то мнѣ показалось, что на раутѣ въ кварталѣ нельзя быть иначе, какъ въ перчаткахъ мытыхъ и непремѣнно съ дырой: я такъ и сдѣлалъ. Съ своей стороны, Глумовъ хотя тоже рѣшилъ быть во фракѣ, но своего фрака не надѣлъ, а поѣхалъ въ частный ломбардъ и тамъ, по знакомству, выпросилъ одинъ изъ заложенныхъ фраковъ, самый старенькій.

— По этикету-то ихнему слѣдовало бы въ ворованномъ фракѣ ѣхать,—сказалъ онъ мнѣ:—но такъ какъ мы съ тобой до воровства еще не дошли (это предполагалось впослѣдствіи, какъ окончательный шагъ для увѣнчанія зданія), то на первый разъ не взыщутъ, что и въ ломбардной одёжѣ пришли!

Иванъ Тимоѳеичъ принялъ насъ совершенно по-дружески, а прежде всего былъ польщенъ тѣмъ, что мы, привѣтствуя его, назвали „вашимъ благородіемъ“. Онъ сейчасъ же провелъ насъ въ гостиную, гдѣ сидѣли его жена, дочь и нѣсколько полицейскихъ дамъ, около которыхъ усердно лебезила полицейская молодежь (впослѣдствіи я узналъ, что это были мѣстные „червонные валеты“, выпущенные изъ чижовки на случай танцевъ).

— Папаша вами очень доволенъ!—бойко привѣтствовала насъ дочь хозяина и, обращаясь ко мнѣ, прибавила:—смотрите! я съ вами первую кадриль хочу танцовать!

— Ежели впрочемъ не воспрепятствуетъ пожаръ!—любезно оговорился хозяинъ.

По выполненіи церемоніи представленія, мы удалились въ кабинетъ, гдѣ намъ немедленно вручили по стакану чая, на половину разбавленнаго кизляркой (въ человѣкѣ, разносившемъ подносы съ чаемъ, мы съ удовольствіемъ узнали Кшепшицюльскаго). Гостей было достаточно. Почетные—письмоводитель Прудентовъ и брандтмейстеръ Молодкинъ—сидѣли на диванѣ, а младшіе—на стульяхъ. Въ числѣ младшихъ гостей находился и старшій городовой Дергуновъ, съ тесакомъ черезъ плечо.

Оказалось, что Кшепшицюльскій и тутъ не обманулъ насъ. Едва мы успѣли усѣсться, какъ Прудентовъ и Молодкинъ (конечно, по порученію Ивана Тимоѳеича), въ видахъ испытанія нашего образа

мыслей, завели философическій разговоръ. Начали съ вопроса о безсмертіи души и очень ловко дали бесѣдѣ такую форму, какъ будто она возъимѣла начало еще до нашего прихода, а мы только случайно сдѣлались ея участниками. Прудентовъ утверждалъ, что подлинно душа человѣческая безсмертна; Молодкинъ же ему оппонировалъ, но очевидно только для формы, потому что доказательства представлялъ самыя легкомысленныя.

— Никакой я души не видалъ,—говорилъ онъ:—а чего не видалъ, того не знаю!

— А я хоть не видалъ, но знаю,—упорствовалъ Прудентовъ:—не въ томъ штука, чтобы видючи знать—это всякій можетъ,—а въ томъ, чтобы и невидимое за видимое твердо содержать! Вы, господа, какихъ объ этомъ предметѣ мнѣній придерживаетесь?—очень ловко обратился онъ къ намъ.

Моментъ былъ критическій, и, признаюсь, я сробѣлъ. Я столько времени вращался исключительно въ сферѣ съѣстныхъ припасовъ, что самое понятіе о душѣ сдѣлалось совершенно для меня чуждымъ. Я началъ мысленно перебирать: душа... безсмертіе... что, бишь, такое было?—но, увы! ничего припомнить не могъ, кромѣ одного: да, было что-то... гдѣ-то тамъ... Къ счастію, Глумовъ кой-что еще помнилъ, и потому поспѣшилъ ко мнѣ на выручку.

— Для того, чтобы рѣшить этотъ вопросъ совершенно правильно,—сказалъ онъ,—необходимо прежде всего обратиться къ источникамъ. А именно: ежели имѣется въ виду статья закона или хотя начальственное предписаніе, коими разрѣшается считать душу безсмертною, то, всеконечно, сообразно съ симъ надлежитъ и поступать; но ежели ни въ законахъ, ни въ предписаніяхъ прямыхъ въ этомъ смыслѣ указаній не имѣется, то, по моему мнѣнію, необходимо ожидать дальнѣйшихъ по сему предмету распоряженій.

Отвѣтъ былъ дипломатическій. Ничего не разрѣшая по существу, Глумовъ очень хитро устранялъ разставленную ловушку и самихъ поимщиковъ ставилъ въ конфузное положеніе. Обратитесь къ источникамъ!—говорилъ онъ имъ:—и буде найдете въ нихъ указанія, то требуйте точнаго по оным выполненія! Въ противномъ же случаѣ остерегитесь сами и не вдавайтесь въ разысканія, кои впослѣдствіи могутъ быть признаны несвоевременными!

Какъ бы то ни было, но находчивость Глумова всѣхъ привела

въ восхищеніе. Сами понмщики добродушно ей апплодировали, а Иванъ Тимоѳеичъ былъ до того доволенъ, что благосклонно потрепалъ Глумова по плечу и сказалъ:

— Ловко, братъ!

— Ну-съ, прекрасно-съ!—продолжалъ дальше пснытывать Прудентовъ:—а теперь я желалъ бы знать ваше мнѣніе еще по одному предмету: какую изъ двухъ нынѣ дѣйствующихъ системъ образованія вы считаете для юношества наиболѣе полезною и съ обстоятельствами настоящаго времени сходственною?

— То-есть, классическую или реальную?—пояснилъ отъ себя Молодкинъ.

Я опять оторопѣлъ, но Глумовъ нашелся и тутъ.

— Откровенно признаюсь вамъ, господа,—сказалъ онъ,—что я даже не понимаю вашего вопроса. Никакихъ я *двухъ* системъ образованія не знаю, а знаю только *одну*. И эта *одна* система можетъ быть выражена въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: не обременяя юношей излишними знаніями, всемѣрно внушать имъ, что назначеніе обывателей въ томъ состоитъ, чтобы безпрекословно и со всею готовностью выполнять начальственныя предписанія! Ежели предписанія сіи будутъ классическія, то и исполненіе должно быть классическое; а если предписанія будутъ реальныя, то и исполненіе должно быть реальное. Вотъ и все. Затѣмъ никакихъ другихъ системъ—ни классическихъ, ни реальныхъ—я не признаю!

— Браво! браво!—посыпались со всѣхъ сторонъ поздравленія. Квартальный хлопалъ въ ладоши, Прудентовъ жалъ намъ руки, а городовой пришелъ въ такой восторгъ, что подбѣжалъ къ Глумову и просилъ быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына.

Такимъ образомъ, благодаря находчивости Глумова, мы вышли изъ испытанія побѣдителями и посрамили самихъ понмщиковъ. Сейчасъ же поставили на столъ штофъ водки, и хозяинъ провозгласилъ наше здоровье, сказавъ:

— Теперича, еслибъ самъ господинъ частный приставъ спросилъ у меня: Иванъ Тимоѳеевъ, какіе въ здѣшнемъ кварталѣ имѣются обыватели, на которыхъ, въ случаѣ чего, положиться было бы можно? —я бы его высокородію, какъ передъ истиннымъ Богомъ на страшномъ судѣ, отвѣтилъ: вотъ они!

Послѣ того мы вновь перешли въ гостиную, и раутъ пошелъ

обычнымъ чередомъ, какъ и въ прочихъ кварталахъ. Червоннымъ валетамъ дали по крымскому яблоку и посулили по куску колбасы, если по окончаніи раута окажется, что у всѣхъ гостей носовые платки цѣлы. Затѣмъ, по просьбѣ дамъ, брандтмейстеръ сѣлъ за фортепьяно и пропѣлъ „Коль славенъ“, а въ заключеніе, предварительно раскачиваясь всѣмъ корпусомъ, перешелъ въ allegro и не своимъ голосомъ гаркнулъ:

Вотъ въ воинственномъ азартѣ
Воевода Пальмерстонъ
Раздѣляетъ Русь на картѣ
Указательнымъ перстомъ!

— Прекрасный романсъ!—сказалъ Глумовъ:—вѣка пройдутъ, а онъ не устарѣетъ!

— Хорошъ-то хорошъ, а по моему наше простое русское „ура“ —куда лучше!—отозвался хозяинъ:—ужъ такъ я эту музыку люблю, такъ люблю, что слаще ея, кажется, и на свѣтѣ-то нѣтъ!

Наконецъ составились танцы. Одинъ изъ червонныхъ валетовъ сѣлъ за фортепьяно и прелюдировалъ кадриль. Но въ ту самую минуту, какъ я становился въ пару съ хозяйскою дочерью, на пожарномъ дворѣ забили тревогу, и гостепріимный хозяинъ сказалъ:

— Господа! милости просимъ на пожаръ!

И затѣмъ обратившись къ старшему городовому Дергунову, присовокупилъ:

— А господъ червонныхъ валетовъ честь честью свести въ чижовку и запереть на замокъ!

Вообще эта зима какъ-то необыкновенно намъ удалась. Рауты и званые вечера слѣдовали одинъ за другимъ; кромѣ того, нерѣдко бывали именинные пироги и замѣчательно большое число крестинъ, такъ какъ жены городовыхъ поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь однимъ своимъ кварталомъ, но принимали участіе въ веселостяхъ всѣхъ частей и кварталовъ. Въ особенности хорошо удался балъ въ 3-ей Адмиралтейской части, потому что вся Сѣнная участвовала въ немъ своими произведеніями. Хотя же по временамъ нашему веселью и мѣшали пожары, но мало-по-малу мы такъ освоились съ этимъ явленіемъ, что пожарные, бывало, свое дѣло дѣлаютъ, а мы—какъ ни въ чемъ не бывало—танцуемъ!

Эта разсѣянная жизнь имѣла для насъ съ Глумовымъ ту выгоду, что мы значительно ободрились и побойчѣли. Покуда мы исключительно предавались удовольствіямъ, доставляемымъ истребленіемъ съѣстныхъ припасовъ, это производило въ насъ отяжелѣніе и въ то же время сообщало физіономіямъ нашимъ унылый и слегка осовѣлый видъ, который могъ подать поводъ къ невыгоднымъ для насъ толкованіямъ. А это положительно намъ вредило и даже въ значительной мѣрѣ парализировало наши усилія въ смыслѣ благопамѣренности.

Въ то время унылый видъ игралъ въ человѣческой жизни очень важную роль: онъ означалъ недовольство существующими порядками и наклонность къ потрясанію основъ. Правда, что прокуроровъ тогда еще не было, а слѣдовательно и потрясеній не такъ много было въ ходу, но все-таки при частяхъ уже существовали слѣдственные пристава, которые тоже не безъ любознательности засматривались на людей, обладающихъ унылыми физіономіями. Поэтому тѣлесное отяжелѣніе, равно какъ и изжога, ежели не всегда служили достаточнымъ поводомъ для діагностическихъ постукиваній, то во всякомъ случаѣ представляли очень достаточныя данныя для возбужденія сомнѣній и запросовъ весьма щекотливаго свойства.

Этихъ сомнѣній и запросовъ я въ теченіе всей моей жизни тщательно избѣгалъ. Я всегда предпочиталъ имъ открытыя изслѣдованія, не потому, чтобы перспектива быть предметомъ начальственно-діагностическихъ постукиваній особенно улыбалась мнѣ, но потому, что я—врагъ всякой неизвѣстности и, вопреки извѣстной пословицѣ, нахожу, что добрая ссора все-таки предпочтительнѣе, нежели худой миръ. Даже тогда, когда дѣйствительно на совѣсти моей тяготѣетъ преступленіе, когда порочная моя воля сама, такъ сказать, вопіетъ о воздѣйствіи—даже и тогда меня не столько страшитъ кара закона, сколько видъ напружинающагося при моемъ приближеніи прокурора. Хочется сказать ему: не суда боюсь, но взора твоего неласковаго! не молніи правосудія приводятъ меня въ отчаяніе, а то, что ты не удостоиваешь меня своею откровенностью! Громи меня! призывай на мою голову мщеніе небесъ, но скажи, чѣмъ я тебя огорчилъ! Разрѣши тенёта суспиціи, которыми ты опуталъ мое существованіе! разъясни мнѣ самому, какою статьею уложенія о наказаніяхъ опредѣляется мое оффиціальное положеніе въ той безконечно-развивающейся уголовной драмѣ, которая, по манію твоему, обнимаетъ всѣ отрасли человѣче-

ской индустріи, отъ воровства-кражи до потрясенія основъ съ прекращеніемъ платежей по текущему счету и утайкою ввѣренныхъ на храненіе бумагъ!

Но ежели я такимъ образомъ думаю, когда чувствую себя дѣйствительно виноватымъ, то понятно, какъ должна была претить мнѣ всякая запутанность теперь, когда я сознавалъ себя вполнѣ чистымъ и передъ Богомъ, и передъ людьми. Къ счастью, новыя знакомства очень скоро вывели меня изъ той угрюмой сферы жранья, въ которую я было-совсѣмъ погрузился. Я понялъ, что истинная благонамѣренность не въ томъ одномъ состоитъ, чтобы въ уединеніи упитывать свои тѣлеса до желаннаго вѣса, но въ томъ, чтобы подавать примѣръ другимъ. Горизонтъ мой незамѣтно расширился, я воспрянулъ духомъ, спалъ съ тѣла и не только не дичился общества, но искалъ его. Унылый видъ, который придавалъ мнѣ характеръ заговорщика, исчезъ совершенно. Вмѣстѣ съ Глумовымъ я проводилъ цѣлыя утра въ дѣланіи визитовъ (иногда изъ Казанской части приходилось по обстоятельствамъ ѣхать на Охту), велъ фривольные разговоры съ письмоводителями, городовыми и подчасками о такихъ предметахъ, о которыхъ даже мыслить прежде рѣшался лишь предварительно удостовѣрившись, что никто не подслушиваетъ у дверей, ухаживалъ за полицейскими дамами, и только скромность запрещаетъ мнѣ признаться, сколькихъ изъ нихъ довелъ я до грѣхопаденія. Словомъ сказать, изъ области благонамѣренности выжидающей я перешелъ въ область благонамѣренности воинствующей и внушилъ наконецъ такое къ себѣ довѣріе, что могъ сквернословить и кощунствовать вполнѣ свободно, въ твердой увѣренности, что самый бдительный полицейскій надзоръ ничего въ этомъ не увидитъ, кромѣ свойственной благовоспитанному человѣку фривольности.

Безсловесность, еще такъ недавно насъ угнетавшая, разрѣшилась самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Мы оба сдѣлались до крайности словоохотливы, но разговоры наши были чисто элементарные и имѣли тотъ особенный пошибъ, который напоминаетъ атмосферу дома терпимости. Содержаніе ихъ главнѣйшимъ образомъ составляли: во-первыхъ, фривольности по части начальства и конституцій и, во-вторыхъ, женщины, но при этомъ не столько сами женщины, сколько ихъ округлости и особыя примѣты.

Мы дѣлали все, что дѣлаютъ молодые свѣтскіе шалопаи, чув-

ствующіе себя въ охотѣ: нанимали тройки, покупали конфекты и букеты, лгали, хвастались, катались на лихачахъ и декламировали эротическіе стихи. И всѣ отъ насъ были въ восхищеніи, всѣ говорили: „да, теперь ужъ совсѣмъ ясно, что это—люди благонамѣренные не токмо за страхъ, но и за совѣсть!“

Наконецъ въ одно прекрасное утро мы были удовольствованы, такъ сказать, по горло: самъ Иванъ Тимоѳеичъ посѣтилъ насъ въ моей квартирѣ!

Признаюсь, долгонько-таки заставилъ ждать почтенный сановникъ этого визита. Цѣлыхъ два мѣсяца прошло послѣ перваго раута въ кварталѣ, а онъ, повидимому, даже забылъ и думать, что существуютъ на свѣтѣ извѣстные законы приличія. Всѣ ужъ по нѣскольку разъ перебывали у насъ: и письмоводители частныхъ приставовъ, и брандтмейстеры, и помощники квартальныхъ, и старшіе городовые: всѣ пили водку, восхищались икрой и балыкомъ, спрашивали, нѣтъ ли Поль-де-Кокца въ переводѣ почитать и проч.—одинъ Иванъ Тимоѳеичъ съ какою-то необъяснимою загадочностью воздерживался отъ окончательнаго сближенія. Не разъ видали мы изъ окна, какъ онъ распоряжался во дворѣ дома насчетъ уборки нечистотъ, и даже нарочно производили шумъ, чтобы обратить на себя его вниманіе; но онъ ограничивался тѣмъ, что дѣлалъ намъ ручкой и вновь погружался въ созерцаніе нечистотъ. Это отчасти обижало насъ, а отчасти заставляло пускаться въ догадки: неужели наше прошлое до того ужъ отягчено преступленіями, что даже волны теперешней благонамѣренности не могутъ обмыть его?

— А порядочно-таки накуралесили мы въ жизни своей!—объяснялъ я Глумову мои сомнѣнія.

— Да, братъ, эти дѣла не такъ-то скоро забываются!—соглашался онъ со мной.

И вотъ стали мы разбирать свое прошлое—и чуть не захлебнулись отъ ужаса. Господи, чего только тамъ не было! И восторгъ по поводу упраздненія крѣпостного права, и признательность сердца по случаю введенія земскихъ учрежденій, и свѣтлыя надежды, возбужденныя опубликованіемъ новыхъ судебныхъ уставовъ, и торжество, вызванное упраздненіемъ предварительной цензуры, съ оставленіемъ ея лишь для тѣхъ, кто по человѣческой немощи не можетъ безцензурности вмѣстить. Однимъ словомъ, всѣ опасности, всѣ неблагопадежности и

неблагонамѣренности, всѣ угрозы, все, что̀ подрываетъ, потрясаетъ, разрушаетъ—все тутъ было! И ничего такого, что̀ созидаетъ, укрѣпляетъ и утверждаетъ, наполняя трепетною радостью сердца всѣхъ истинно любящихъ свое отечество квартальныхъ надзирателей!

— Да вѣдь этакъ мы, хоть тресни, не обѣлимся!—въ отчаяніи восклицалъ я.

— Похоже на то!—какъ эхо вторилъ мнѣ Глумовъ.

— Послушай! кто же, однакожъ, могъ это знать! вѣдь въ то время казалось, что *это* и есть то самое, что̀ созидаетъ, укрѣпляетъ и утверждаетъ! И вдругъ—какой, съ Божьею помощью, переворотъ!

— Мало ли что̀ казалось! надо было въ даль смотрѣть.

— Но вѣдь тогда даже и чины за *это* давали!

— И все-таки. И чины получать, и даже о сочувствіи заявлять —все можно, да съ оговорочкой, любезный другъ, съ оговорочкой! Умные-то люди какъ поступаютъ? Сочувствовать, молъ, сочувствуемъ, но при семъ присовокупляемъ, что ежели приказано будетъ образъ мыслей по сему предмету измѣнить, то мы и отъ этого не отказываемся! Вотъ какъ настоящіе умные люди изъясняются, тѣ, которые и за сочувствіе, и за несочувствіе—всегда получать чины готовы!

И вотъ, въ ту самую минуту, когда Глумовъ договаривалъ эти безнадежныя слова, въ передней какъ-то особенно звякнулъ звонокъ. Объятые сладкимъ предчувствіемъ, мы бросились къ двери... О, радость! Иванъ Тимофеичъ самъ своей персоной стоялъ передъ нами!

— Иванъ Тимофеичъ... ваше благородіе... вы?!

— Самолично. А что̀? заждались?.. ха-ха!

— Да, начинали ужъ, знаете... сомнѣнія разныя...

— Задумались... ха-ха! Ну, ничего! Я вѣдь, друзья, тоже не сразу... выглядываю напередъ! Иногда хоть и замѣчаю, что человѣкъ исправляется, а коли въ немъ еще мало-мальски есть—ну, я и тово... попридержусь! Приласкать-приласкаю, а до короткости не дойду. А вотъ коли по времени увѣрюсь, что въ человѣкѣ ужъ совсѣмъ ничего не осталось—ну, и я на встрѣчу иду. Будьте здоровы, друзья!

Онъ произнесъ послѣднія слова съ горячностью, очень рѣдкою въ лицѣ, обязанномъ наблюдать за своевременною сколкой на улицахъ льда, и затѣмъ, пожавъ намъ обоимъ руки, вошелъ въ квартиру.

— Хорошенькая у васъ квартирка... очень, очень даже удобненькая!—похвалилъ онъ:—вмѣстѣ, что-ли, живете?

— Нѣтъ, я въ рождественской части...—пробормоталъ Глумовъ такимъ голосомъ, какъ будто все сердце у него изболѣло оттого, что онъ лишенъ счастія жить подъ руководствомъ Ивана Тимофеича.

— Ну, Богъ милостивъ! и вы современемъ ко мнѣ переѣдете! —обнадежилъ его Иванъ Тимофеичъ и, обратившись ко мнѣ, весело прибавилъ:—А что, государь мой, водка-то у васъ водится?

— Иванъ Тимофеичъ! вина? Есть лафитъ, есть хересъ... Господи!

— Нѣтъ, рюмку водки и кусокъ чернаго хлѣба съ солью— больше ничего! Признаться, я и самъ теперь на себя пеняю, что раньше посмотрѣть на ваше житье-бытье не собрался... Ну, да думалъ: пускай исправляются — надъ нами не каплетъ! Чистенько у васъ тутъ, хорошо!

Онъ сѣлъ на диванъ и свѣтлымъ взоромъ оглядѣлъ комнату. Но вдругъ лицо его омрачилось: гдѣ-то въ дальнемъ углу онъ замѣтилъ книгу...

— Это „Всеобщій Календарь“!—поспѣшилъ я разувѣрить его и тотчасъ же побѣжалъ, чтобъ принести поличное.

— А... да? а я, признаться, книгу было-заподозрилъ.

— Нѣтъ, Иванъ Тимофеичъ, мы ужъ давно... Давно ужъ у насъ насчетъ этого...

— И прекрасно дѣлаете. Книги—что въ нихъ! Былъ бы человѣкъ здоровъ да жилъ бы въ свое удовольствіе—чего лучше? Безграмотные-то и никогда книгъ не читаютъ, а развѣ не живутъ?

— Да еще какъ живутъ-то!—подтвердилъ Глумовъ.—А которые случайно выучатся, сейчасъ же подъ судъ попадаютъ!

— Ну, не всѣ! Бываютъ и изъ простыхъ, которые съ умомъ читаютъ!—благосклонно допустилъ Иванъ Тимофеичъ.

— И все-таки попадаются. Ежели не въ качествѣ обвиняемыхъ, такъ въ качествѣ свидѣтелей: Помилуйте! развѣ сладко свидѣтелемъ-то быть?

— Какая сладость! Первое дѣло—за сто верстъ киселя ѣсть, а второе—какъ еще свидѣтельствовать будешь! Иной разъ такъ о себѣ засвидѣтельствуешь, что и домой потомъ не попадешь... ахти-хти! грѣхи наши, грѣхи!

Иванъ Тимофеичъ вздохнулъ, опрокинулъ въ ротъ рюмку водки и сказалъ:

— Ну, будьте здоровы, друзья! Понялъ я васъ теперь, даже очень хорошо понялъ!

Мы въ умиленіи стояли противъ него и ждали, что̀ будетъ дальше.

— Хочется мнѣ съ вами по душѣ поговорить, давно хочется! —продолжалъ онъ.—Нутко, скажите мнѣ—вы люди умные! Завелась нынче эта напасть вездѣ... всѣмъ мало, всѣмъ хочется... Ну, чего? скажите на милость: чего?

Я было-приложилъ ужъ руку къ сердцу, чтобъ отвѣчать, что всего довольно и ни въ чемъ никакой надобности не ощущается; вотъ только поскверпословить развѣ... Но, къ счастію, Иванъ Тимоѳеичъ сдѣлалъ знакъ рукой, что моя рѣчь впереди, а покамѣстъ онъ желаетъ говорить одинъ.

— Право, иной разъ думаешь-думаешь: ну, чего? И то̀ перебересь, и другое припомнишь—все у насъ есть! Ну, вы—умные люди! сами теперь по себѣ знаете! Жили вы прежде... что̀ говорить, нехорошо жили! буйно! Одно слово—мерзко жили! Ну, и вамъ, разумѣется, не потакали, потому что кто же за нехорошую жизнь похвалитъ! А теперь вотъ исправились, живете смирно, мило, благородно—спрошу васъ, потревожилъ ли васъ кто-нибудь? А? что? такъ ли я говорю?

— Какъ передъ Богомъ, такъ и...

— Хорошо. А начальство между тѣмъ безпокоится. Туда-сюда —вездѣ мерзость. Даже тайные совѣтники—и тѣ нынче подъ сумнѣніемъ состоятъ! Ни днемъ, ни ночью минуты покоя нѣтъ никогда! Сравните теперича, какъ прежде квартальный жилъ и какъ онъ нынче живетъ! Прежде только одна у насъ и была болячка—пожары! да и тѣ какъ-нибудь... А нынче!

— Да, трудновато-таки вамъ!

— Мнѣ-то? Вы мнѣ скажите: знаете ли вы, напримѣръ, что̀ такое внутренняя политика? ну? Такъ вотъ эта самая внутренняя политика вся теперь на нашихъ плечахъ лежитъ!

— Тсс...

— На насъ да на городовыхъ. А на дняхъ у насъ въ кварталѣ такой случай былъ. Приходитъ въ третьемъ часу ночи одинъ человѣкъ (и прежде онъ у меня на замѣчаніи былъ)—„вяжите, говоритъ, меня, я образъ правленія перемѣнить хочу!“ Ну, натурально, сейчасъ ему, рабу божьему, руки къ лопаткамъ, черкнули куда слѣдуетъ:

такъ-моль и такъ, злоумышленникъ проявился... Только съѣзжается на другой день цѣлая коммиссія, призвали его, спрашиваютъ: какъ? почему? кто сообщники? — а онъ — какъ бы вы думали, что онъ, письма, отвѣтилъ?— „Да, говоритъ, дѣйствительно, я желаю перемѣнить правленіе... рыбинско-бологовской желѣзной дороги!“

— Однакожъ! насмѣшка какая!

— Да-съ. Захотѣлъ посмѣяться и посмѣялся. Въ три часа ночи меня для него разбудили, да часа съ два послѣ этого я во всѣ мѣста отношенія да рапорты писалъ. А послѣ того, только-что-было сонъ заводить началъ, опять разбудили: въ домѣ терпимости демонстрація случилась! А потомъ извозчикъ носъ себѣ отморозилъ—оттирали, а потомъ, смотрю, пора и съ рапортомъ! Такъ вся ночка и прошла.

— И это прошло ему... безнаказанно?

— А что съ нимъ сдѣлаешь? Далъ ему двѣ плюхи, да послѣ самъ же на мировую долженъ былъ на полштофъ подарить!

— Тсс...

— Такъ вотъ вы и судите! Ну да, положимъ, это — человѣкъ пьяненькій, а на пьяницу, по правдѣ сказать, и смотрѣть строго нельзя, потому онъ доходъ казнѣ приноситъ. А вотъ другіе-то, трезвые-то, съ чего на стѣну лѣзутъ? ну, чего надо? а?

— Тоже, должно быть, въ родѣ опьяненія что-нибудь.

— Опьяненіе опьяненіемъ, а есть и другое кое-что. Зависть. Видитъ онъ, что другіе тихо да благородно живутъ — вотъ его и берутъ завидки! Самъ онъ благородно не можетъ жить—ну, и смущаетъ всѣхъ! А съ насъ, между прочимъ, спрашиваютъ! Почему, да какъ, да отчего своевременно распоряженія не было сдѣлано? Вотъ хоть бы съ вами — вы думаете, мало я изъ-за васъ хлопотъ принялъ!

— Иванъ Тимофеичъ! неужто же мы могли...

— И даже очень могли. Теперь, разумѣется, дѣло прошлое— вижу я! даже очень хорошо вижу ваше твердое намѣреніе!—а было-таки времечко, было! Ахъ, да и хитрые же вы, господа! право, хитрые!

Иванъ Тимофеичъ улыбнулся и погрозилъ намъ пальцемъ.

— Наняли квартиру, сидятъ по угламъ, ни сами въ гости не ходятъ, ни къ себѣ не принимаютъ—и думаютъ, что такъ-таки никто ихъ и не отгадаетъ! Ахъ-ахъ-ахъ!

И онъ такъ мило покачалъ головой, что намъ самимъ сдѣлалось весело, какіе мы, въ самомъ дѣлѣ, хитрые! Въ гости не ходимъ, къ себѣ никого не принимаемъ, а между тѣмъ... поди-ка, попробуй зазѣваться съ этакими головорѣзами!

— А я, все-таки, васъ перехитрилъ! — похвастался Иванъ Тимоѳеичъ:—и не то что каждый вашъ шагъ, а каждое слово, каждую мысль—все зналъ! И знаете ли вы, что еслибъ еще немножко... еще бы вотъ чуточку... шабашъ!

Хотя Иванъ Тимоѳеичъ говорилъ въ прошедшемъ времени, но сердце во мнѣ такъ и упало. Вотъ оно, то ужасное квартальное всевѣдѣніе, которое всю жизнь парализовало всѣ мои дѣйствія! А я-то, ничего не подозрѣвая, жилъ да поживалъ, самъ въ гости не ходилъ, къ себѣ гостей не принималъ—а чему подвергался! Немножко, чуточку—и шабашъ! Представленіе объ этой опасности до того взбуторажило меня, что даже сонъ на яву привидѣлся: идутъ, берутъ... пожалуйте!

— Да неужели мы!..—воскликнулъ я съ тоской.

— Было, было—нечего стараго ворошить! И оправдываться не стоитъ.

— Да: но надѣемся, что послѣднія наши усилія будутъ приняты начальствомъ во вниманіе и хотя до нѣкоторой степени послужатъ искупленіемъ тѣхъ заблужденій, въ которыя мы могли быть вовлечены отчасти по неразумію, а отчасти и вслѣдствіе дурныхъ примѣровъ,—вступился, съ своей стороны, Глумовъ.

— Теперь—о прошломъ и рѣчи нѣтъ! все забыто! Пардонъ—общій (говоря это, Иванъ Тимоѳеичъ даже руки простеръ на подобіе того, какъ дѣлывалъ когда-то въ „Ernani“ Граціани, произнося знаменитое „perdono tutti“)! Теперь вы все равно, что вновь родились—вотъ какой на васъ теперь взглядъ. А впрочемъ, заболтался я съ вами, друзья! Прощайте и будьте безъ сумнѣнія! Коли я сказалъ: пардонъ! значитъ, можете смѣло надѣяться!

— Иванъ Тимоѳеичъ! куда же такъ скоро? а винца?

— Винца—это послѣ, на свободѣ когда-нибудь! Вотъ отъ водки и сію минуту—не откажусь!

Онъ опять опрокинулъ въ ротъ рюмку водки и пососалъ языкъ.

— Надо бы мнѣ, впрочемъ, обстоятельно объ одномъ дѣлѣ съ вами поговорить,—сказалъ онъ послѣ минутнаго колебанія:—инте-

ресное дѣльце, а для меня такъ и очень даже важное... да нѣтъ-лучше ужъ въ другой разъ!

— Да зачѣмъ же? Сдѣлайте милость! прикажите!

— Вотъ видите ли, есть у меня тутъ...

Иванъ Тимофеичъ потоптался на мѣстѣ, словно бы его что̀ подмывало, и вдругъ совершенно неожиданно покраснѣлъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—заторопился онъ: — лучше ужъ въ другой разъ! А вы, друзья, между тѣмъ подумайте! чувства свои испытайте! рѣшимость провѣрьте! Можете ли вы своему начальнику удовольствіе сдѣлать? Коли увидите, что въ силахъ—ну, тогда...

Послѣднія слова Иванъ Тимофеичъ сказалъ уже въ передней, и мы не успѣли опомниться, какъ онъ сдѣлалъ намъ ручкой и скрылся за дверью,

Мы въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга. Что̀ такое еще ожидаетъ насъ? какое еще новое „удовольствіе“ отъ насъ потребуется? Не дальше какъ минуту назадъ мы были веселы и безпечны—и вдругъ какая-то новая загадка спустилась на наше существованіе и угрожала ему катастрофою...

Глава III.

— А вѣдь онъ, братъ, насъ въ полицейскіе дипломаты прочитъ! —первый опомнился Глумовъ.

Признаюсь, и въ моей головѣ блеснула та же мысль. Но мнѣ такъ горько было думать, что потребуется „сіе новое доказательство нашей благонадежности“, что я съ удовольствіемъ остановился на другомъ предположеніи, которое тоже имѣло за себя шансы вѣроятности.

— А я такъ думаю, что онъ просто, какъ чадолюбивый отецъ, хочетъ одному изъ насъ предложить руку и сердце своей дочери,— сказалъ я.

— Гм... да... А ты этому будешь радъ?

— Не скажу, чтобы особенно радъ, но надо же и остепениться когда-нибудь. А ежели смотрѣть на бракъ съ точки зрѣнія самосохраненія, то вѣдь, пожалуй, лучшей партіи и желать не надо. Подумай! вѣдь все родство тутъ же, въ своемъ кварталѣ будетъ. Мо-

лодкинъ—кузенъ, Прудентовъ—дяденька; даже Дергуновъ, старшій городовой, и тотъ внучатнымъ братомъ доведется.

— Ну, такъ ужъ ты и прочь себя въ женихи!

— А ты, небось, брезгаешь! Эхъ, Глумовъ, Глумовъ! много брать, невѣстъ въ полиціи и помимо этой! Вотъ у подчаска тоже дочь подростаетъ; теперь-то ты отворачиваешься, да какъ бы послѣ не довелось подчаска папенькой величать!

Но Глумовъ сохранилъ мрачное молчаніе на это предположеніе. Очевидно, идея о родствѣ съ подчаскомъ не особенно улыбалась ему.

— Ну, а ежели онъ мѣста сыщиковъ предлагать будетъ!—возвратился опъ къ своей первоначальной идеѣ.

— Но почему же ты это думаешь?

— Я не думаю, а, во-первыхъ, предусматривать никогда не лишнее, и, во-вторыхъ. Кшепшицюльскій на дняхъ жаловался: „непроченъ, говоритъ, я!“

— Воля твоя, а я въ такомъ случаѣ притворюсь больнымъ!—сказалъ я довольно рѣшительно.

— И это—не резонъ, потому что вѣкъ больнымъ быть нельзя. Не повѣрятъ, доктора освидѣтельствовать пришлютъ—хуже будетъ. Нѣтъ, я вотъ что̀ думаю: за границу на время надо удрать. Выкупныя-то свидѣтельства у тебя еще есть?

— Да какъ тебѣ сказать?—на донышкѣ!

— И у меня дно видно. Плохо, братъ. Всю жизнь эстетиками занимались да цвѣты удовольствія срывали, а теперь, какъ стряслось чортъ знаетъ что̀—и нѣтъ ничего!

— Есть у меня, мой другъ, недвижимость: называется Пролёванная. Усадьба не усадьба, деревня не деревня, пустошь не пустошь... такъ, земля. А все-таки, въ случаѣ чего, по боку пустить можно!

— Пустяки, братъ! Какому чорту твою Пролёванную нужно!

— Нѣтъ, голубчикъ, и до сихъ поръ находятся люди, которымъ нужно... Даже странно: кажется, зачѣмъ? ну, кому надобно?—анъ нѣтъ, выищется-таки кто-нибудь...

— Который тебѣ пятналтынный дастъ. Слушай! говори ты мнѣ рѣшительно: ежели опъ насъ по одиночкѣ будетъ склонять—ты какъ отвѣтишь?

Я дрогнулъ. Не то чтобы я вдругъ получилъ вкусъ къ ремеслу

сыщика, но испытаніе, которое неминуемо повлекъ бы за собой отказъ, было такъ томительно, что я невольно терялся. Притомъ же страсть Глумова къ предположеніямъ казалась мнѣ просто неумѣстною. Конечно, въ жизни все слѣдуетъ предусматривать и на все разсчитывать. но есть вещи до того непредвидимыя, что какъ хочешь ихъ предусматривай, хоть всю жизнь о нихъ думай, онѣ и тогда не утратятъ характера непредвидимости. Стало быть, объ чемъ же тутъ толковать?

— Глумовъ! голубчикъ! не будемъ объ этомъ говорить!—взмолился я.

— Ну, хорошо, не будемъ. А только я все-таки долженъ тебѣ сказать: призови на помощь всю изворотливость своего ума, скажи, что у тебя тетка умерла, что дѣла требуютъ твоего присутствія въ Пролёванной, но... отклони! Нехорошо быть сыщикомъ, другъ мой! Въ крайнемъ случаѣ мы вѣдь и въ самомъ дѣлѣ можемъ уѣхать въ твою Пролёванную и тамъ ожидать, покуда объ насъ забудутъ. Только что мы тамъ ѣсть будемъ?

— Помилуй, душа моя! цыплята, куры—это при домѣ; въ лѣсахъ—тетерева, въ рѣкахъ—рыбы! А молоко-то! а яйца! а лѣтомъ грибы, ягоды! Намеднись намъ рыжиковъ соленыхъ подавали—вѣдь они оттуда!

— Ну, какъ-нибудь устроимъ; лучше землю грызть, нежели... Помнишь, Кишишицюльскій намеднись разсказывалъ, какъ его за бильярдомъ въ трактирѣ потчивали? Такъ-то! Впрочемъ утро вечера мудренѣе, а покуда посмотри-ка въ „распредѣленіи занятій“, гдѣ намъ сегодня увеселяться предстоитъ!

Мы съ новою страстью бросились въ вихрь удовольствій, чтобы только забыть о предстоящемъ свиданіи съ Иваномъ Тимофеичемъ. Но существованіе наше уже было подточено. Мысль, что вотъ-вотъ сейчасъ позовутъ и предложатъ что-то неслыханное, вслѣдствіе чего придется, пожалуй, закупориться въ Пролёванную—эта ужасная мысль слѣдила за каждымъ моимъ шагомъ и заставляла мѣшать въ кадриляхъ фигуры. Видя мою разсѣянность, дамы томно смотрѣли на меня, думая, что я влюбленъ.

— Какой цвѣтъ волосъ вамъ больше нравится, мсьё?—блондинки или брюнетки?—слышалъ я безпрестанно вопросъ.

Наконецъ грозная минута наступила. Кишишицюльскій, придя

рано утромъ, объявилъ, что господинъ квартальный имѣетъ объясниться по весьма важному, лично до него касающемуся дѣлу... и именно со мной.

— Объ чемъ, не знаете?—полюбопытствовалъ я.

Но Кишиницюльскій понесъ въ отвѣтъ сущую околесицу, такъ что я только тутъ понялъ, какъ непріятно имѣть дѣло съ людьми, о которыхъ никогда нельзя сказать навѣрное, лгутъ они или нѣтъ. Онъ началъ съ того, что его начальникъ получилъ въ наслѣдство въ Повѣнецкомъ уѣздѣ пустошь, которую предполагаетъ отдать въ приданое за дочерью („гм... вмѣсто одной, пожалуй, двѣ Проплёванныхъ будетъ!“ мелькнуло у меня въ головѣ); потомъ перешелъ къ тому, что сегодня въ кварталѣ съ утра полы и образа чистили, а что вчера нани квартальная ѣздила къ портнихѣ на Слоновую улицу и заказала для дочери „монтò“. При этомъ панъ Кишиницюльскій хитро улыбался и искоса на меня поглядывалъ.

— Отчего же Глумова не зовутъ?—спросилъ я.

— А якъ-же-жъ можно двохъ!

— Нужно говорить „двѣхъ“, а не „двохъ“, панъ Кишиницюльскій!—наставительно произнесъ Глумовъ и, обратясь ко мнѣ, пропѣлъ изъ „Руслана“:

М-и-и-и-лия дѣ-тти! Не-бо устрро-итъ вамъ рад-дость!

— Ступай, братъ, съ миромъ, и Богъ да опредѣлитъ тебя къ мѣсту по желанію твоему!

Клянусь, я былъ за тысячу верстъ отъ того удивительнаго предложенія, которое ожидало меня!

Когда я пришелъ въ кварталъ, Иванъ Тимоѳеичъ, въ припадкѣ сильной агитаціи, ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Очевидно, онъ самъ понималъ, что испытаніе, которое онъ готовитъ для моей благонамѣренности, переходитъ за предѣлы всего, что̀ допускается уставомъ о пресѣченіи и предупрежденіи преступленій. Вѣроятно въ видахъ смягченія предстоящихъ мѣропріятій, на столѣ была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка „рейскаго“ вина.

— Ну, вотъ и слава Богу!—воскликнулъ онъ, порывисто схватывая меня за обѣ руки, точно боялся, что я сейчасъ выскользну.—Балычка? сижка копченаго? Милости просимъ! Ахъ, да бѣлорыбицы-

то, кажется, и забыли подать! Эй, кто тамъ? Бѣлорыбицу-то, бѣлорыбицу-то велите скорѣе нести!

— Благодарю васъ, я сейчасъ ѣлъ. Да и вы, конечно, заняты... Дѣло какое-нибудь имѣете до меня?

— Да, дѣло, дѣло!—заторопился онъ:—да еще дѣло-то какое! Услуги, мой другъ, прошу! такой услуги... что называется, по гробъ жизни... вотъ какой услуги прошу!

Начало это нѣсколько смутило меня. Очевидно, меня ожидало что-нибудь непредвидѣнное.

— Да, да, да,—продолжалъ онъ суетливо: —давно ужъ это дѣло у меня на душѣ, давно собираюсь... Еще въ то время, когда вы предосудительными дѣлами занимались, еще тогда... Давно ужъ я подходящаго человѣка для этого дѣла подыскиваю!

Онъ оглянулъ меня съ головы до ногъ, какъ бы желая удостовѣриться, дѣйствительно ли я тотъ самый „подходящій человѣкъ", объ которомъ онъ мечталъ.

— Обѣщайте, что вы мою просьбу выполните!—молвилъ онъ, кончивъ осмотръ и взглядывая мнѣ въ глаза.

— Иванъ Тимофеичъ! послѣ всего, что произошло, позволительны ли съ вашей стороны какія-либо сомнѣнія?

— Да, да... довольно-таки вы поревновали... понимаю я васъ! Ну, такъ вотъ что, мой другъ! приступимте прямо къ дѣлу! Мнѣ же и недосугъ: въ Эртелевомъ ледъ скалываютъ, такъ присмотрѣть нужно... Сенаторъ, голубчикъ, тамъ живетъ! нехорошо, какъ замѣчаніе сдѣлаетъ! Ну-съ, такъ изволите видѣть... Есть у меня тутъ пріятель одинъ... такой другъ! такой другъ!

Онъ запнулся и заискивающе взглянулъ на меня, точно ждалъ моей помощи.

— Ну-съ, такъ пріятель... что же этотъ пріятель?—поощрилъ я его.

— Такъ вотъ, есть у меня пріятель... словомъ сказать, Парамоновъ купецъ... И есть у него... Вы какъ насчетъ фиктивнаго брака... одобряете?—вдругъ выпалилъ онъ мнѣ въ упоръ.

— Помилуйте! даже очень одобряю, ежели... — сконфузился я.

— Вотъ именно такъ: ежели! Самъ по себѣ, этотъ фиктивный бракъ—поруганіе, но „ежели"... По обстоятельствамъ, мой другъ,

и закону премѣна бываетъ, какъ изволитъ выражаться нашъ господинъ частный приставъ! Вы что? сказать что-нибудь хотите?

— Нѣтъ, я ничего... я тоже говорю: по обстоятельствамъ и закону премѣна бываетъ—это вѣрно!

— Такъ вотъ я и говорю: есть у господина Парамонова штучка одна... и образованная! въ пансіонѣ училась...

Онъ опять запнулся и въ смущеніи опустилъ глаза.

— Не желаете ли вы вступить съ этой особой въ фиктивный бракъ?—быстро спросилъ онъ меня такимъ тономъ, словно бремя скатилось съ его души.

Къ сожалѣнію, я не могу сказать, что не понялъ его вопроса. Нѣтъ, я не только понялъ, но даже въ вискахъ у меня застучало. Но въ то же время я ощущалъ, что на мнѣ лежитъ какой-то гнетъ, который сковываетъ мои чувства, мѣшаетъ имъ перейти въ негодованіе и даже самымъ обиднымъ образомъ подчиняетъ ихъ инстинктамъ самосохраненія.

Иванъ Тимофеичъ очень тонко подмѣтилъ этотъ разладъ чувствъ. Съ одной стороны, въ вискахъ стучитъ, съ другой—сердце объемлетъ жажда выказать благонамѣренность... Такъ что когда я, вмѣсто отвѣта, въ свою очередь предложилъ вопросъ:

— Но почему же именно я?

То онъ не только не увидѣлъ въ этомъ повода для прекращенія разговора, но еще съ бо́льшею убѣдительностью приступилъ къ дальнѣйшимъ переговорамъ.

— Слушай, другъ!—сказалъ онъ ласково, ободряя меня:—ежели ты насчетъ вознагражденія безпокоишься, такъ не опасайся! Онуфрій Петровичъ и теперь, и на будущее время не оставитъ!

Нервы мои окончательно упали. Я старался что-нибудь сообразить, отыскать что-нибудь—и не могъ. Я безпомощно смотрѣлъ на моего истязателя и бормоталъ:

— Позвольте... что̀ касается до брака... право, въ этомъ отношеніи я даже не знаю, могу ли назвать себя вполнѣ соотвѣтственнымъ лицомъ...

Клянусь, будь на мѣстѣ Ивана Тимофеича самъ Шешковскій—и тотъ бы тронулся моимъ видомъ. И тотъ сказалъ бы себѣ: вотъ человѣкъ, въ которомъ благонамѣренность уже достигла тѣхъ предѣловъ, за которыми дальнѣйшія испытанія становятся въ высшей

степени рискованными. И, сознавши это, отпустилъ бы меня съ миромъ, предварительно обнадеживъ, что начальство очень хорошо понимаетъ мои колебанія и отнюдь не сочтетъ ихъ за противодѣйствіе властямъ. Но у Ивана Тимоѳеича повидимому совсѣмъ не было государственнаго смысла, а потому онъ счелъ возможнымъ идти дальше.

— Да вѣдь отъ васъ ничего такого и не потребуется, мой другъ, —успокоивалъ онъ меня.—Съѣздите въ церковь (у портного Руча вамъ для этого случая „пару“ изъ тонкаго сукна закажутъ), пройдете три раза вокругъ налоя, потомъ у кухмистера Завитаева поздравленіе примете—и дѣло съ концомъ. Вы—въ одну сторону, она—въ другую! Мило! благородно!

Нарисовавъ мнѣ эту картину, онъ очевидно ждалъ, что я сейчасъ же изъявлю согласіе, но я молчалъ.

— А что касается до вознагражденія, которое вы для себя выговорите,—продолжалъ онъ соблазнять меня:—то половину его вы *до*, а другую—*по* совершеніи брака получите. А чтобы васъ еще больше успокоить, то можно и такъ сдѣлать: разрѣжьте бумажки по поламъ, одну половину съ нумерами вы себѣ возьмете, другая половина съ нумерами у Онуфрія Петровича останется... А по окончаніи церемоніи объ половины и соединятся... у васъ!

Я слушалъ эти рѣчи и думалъ, что нахожусь подъ вліяніемъ безобразнаго сна. Какое-то ужасно сложное чувство угнетало меня. Я и благонамѣренность желалъ сохранить, и въ то же время говорилъ себѣ: ну, нѣтъ, вокругъ налоя меня не поведутъ... нѣтъ, не поведутъ! Отсюда—цѣлый рядъ галлюцинацій, обѣщающихъ сверхъестественное и чудесное избавленіе. То думалось: вотъ-вотъ Ивана Тимоѳеича апоплексическій ударъ хватитъ—и вся эта исторія съ фиктивнымъ бракомъ разлетится какъ дымъ. То представлялось: обрушивается потолокъ и повреждаетъ Ивана Тимоѳеича, а меня оставляетъ невредимымъ—и опять все исчезаетъ.

И вотъ именно сверхъестественное и выручило меня. Въ ту самую минуту, какъ я искалъ спасенія въ галлюцинаціяхъ, въ комнату вошло новое лицо, при видѣ котораго я всею силою облегченной груди крикнулъ:

— Иванъ Тимоѳеичъ! вотъ онъ!

Да, это былъ онъ, то-есть избавитель, то-есть „подходящій человѣкъ“, по поводу котораго возможенъ былъ только одинъ во-

просъ: сойдутся ли въ цѣнѣ? То-есть, говоря другими словами, это былъ адвокатъ Балалайкинъ.

Я съ восхищеніемъ смотрѣлъ на него, хотя онъ значительно измѣнился и притомъ не въ свой авантажъ *). По прежнему поступь его была тороплива и въ движеніяхъ скользило легкомысліе, но изнурительныя занятія видимо подѣйствовали, и на лицо уже легли расплюевскія тѣни. Я не скажу, чтобъ Балалайкинъ былъ немытъ или нечесанъ, или являлъ признаки внѣшнихъ поврежденій, но бываютъ такія физіономіи, которыя—какъ ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее ихъ мѣсто не тутъ, гдѣ вы ихъ видите, а въ домѣ терпимости.

Самого Ивана Тимофеича словно свѣтъ озарилъ, когда вошелъ Балалайкинъ.

— Господинъ Балалайкинъ! а я-то... а мы-то... а онъ—вотъ онъ—онъ!—безпорядочно воскликнулъ онъ, раскрывая широкія объятія: —господинъ Балалайка! ахъ ты, ахъ! закусить? рюмочку пропустить?

— Нѣтъ, mon cher, я на минуточку! спѣшу, мой ангелъ, спѣшу!—отнѣкивался Балалайкинъ.—Вотъ что: есть тутъ индивидуй одинъ... взысканіе на него у меня, такъ нужно бы подстеречь...

— Съ удовольствіемъ! и даже съ превеликимъ... сейчасъ! сію минуту! Ахъ ты, ахъ! Да никакъ ты помолодѣлъ! Повернись, сдѣлай милость, дай на себя посмотрѣть!

— Не могу, душа моя, не могу! въ конкурсъ спѣшу! Вотъ записка, въ которой все дѣло объяснено. А теперь прощай!

— Да нѣтъ же, стой! А мы только-что о тебѣ говорили, то-есть не говорили, а чувствовали: кого, бишь, это недостаетъ? Ань ты... вотъ онъ—онъ! Слушай же: вѣдь и у меня до тебя дѣло есть.

Балалайкинъ вынулъ изъ кармана хронометръ, взглянулъ на циферблатъ и сказалъ:

— У меня есть свободнаго времени... да, именно три минуты я могу удѣлить. Конкурсъ открывается въ три часа, теперь безъ пяти минутъ три, двѣ минуты нужно на проѣздъ... да, именно три минуты я имѣю впереди. Ну-съ, такъ въ чемъ же дѣло?

— Скажи: ты всякія порученія исполняешь?

— Всякія. Дальше.

---

*) См. „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности".

— Жениться можешь?

— Это... зависитъ?

— Ну, конечно, не за свой счетъ, а по препорученію!

— Мо... могу!

— Такъ видишь ли: есть у меня пріятель, а у него особа одна... въ родѣ какъ подруга...

— Душенька, то-есть?

— Ну, какъ тамъ по твоему... И есть у него желаніе, чтобы эта особа въ законѣ была... чтобы въ метрическихъ книгахъ и прочее... словомъ, все чтобы какъ слѣдуетъ... А она чтобы между тѣмъ...

— Съ удовольствіемъ, мой другъ, съ удовольствіемъ!

— Ну-съ, такъ что ты за это возьмешь? Она вѣдь, братъ, по-французски знаетъ!

— Гм... Прежде нежели отвѣтить на этотъ вопросъ, я, съ своей стороны, предлагаю другой: кто тотъ смертный, въ пользу котораго вся эта механика задумана?

— Ты прежде скажи...

— Нѣтъ, *ты* прежде скажи, а потомъ и я разговаривать буду. Потому что ежели это дѣло затѣялъ, напримѣръ, хозяинъ твоей мелочной лавочки, такъ напрасно мы будемъ и время по пустому тратить. Я за сотенную марать себя не намѣренъ.

Иванъ Тимофеичъ замялся. Очевидно, онъ имѣлъ въ виду коммиссіонный процентъ и боялся, чтобъ Балалайкинъ не обратился прямо къ Парамонову, *безъ посредства коммиссіонеровъ*. Но послѣ минутнаго размышленія онъ однакожъ рѣшился.

— Ежели я Парамонова Онуфрія Петровича назову —слышалъ?

— Намедни́сь даже въ стуколку съ нимъ вмѣстѣ игралъ,—солгалъ Балалайкинъ:—Фалелѣевъ Сидоръ Кондратьичъ, Бобковъ Герасимъ Ѳомичъ, Генераловъ Ѳедоръ Кузьмичъ, Парамоновъ и я.

— Ну, какъ же по твоему?

— А вотъ какъ. У насъ на практикѣ выработалось такое правило: ежели дѣло вѣрное, то брать десять процентовъ съ цѣны иска, а ежели дѣло рисковашное—то по соглашенію.

— Чудакъ ты! какъ же ты бабу цѣнить будешь!

— Сейчасъ. Сколько господинъ Парамоновъ на эту самую „подругу“ денегъ въ годъ тратитъ?

— Какъ сказать... Одѣваетъ—обуваетъ... ну, экипажъ, квар-

тира... Хорошо содержить, прилично! Меньше какъ двадцатью тысячами въ годъ, пожалуй, не обернется. Ахъ, да и штучка-то хороша!

— А принимая во вниманіе, что купецъ Парамоновъ—мѣняло, а съ такихъ господъ за уродливость берутъ вдвое, то предположимъ, что упомянутый выше расходъ въ данномъ случаѣ возрастетъ до сорока тысячъ.

— Предполагай пожалуй!

— Теперь пойдемъ дальше. Имущества недвижимыя, какъ тебѣ извѣстно, оцѣниваются по десятилѣтней сложности дохода; имущества движимыя, какъ напримѣръ: мебель, картины, произведенія искусствъ—подлежатъ оцѣнкѣ при содѣйствіи экспертовъ. Такъ ли я говорю?

— Такъ-то такъ, да вѣдь тутъ...

— Позволь, объ этомъ будетъ дальше. „Штучка“, о которой идетъ рѣчь, очевидно представляетъ имущество движимое, но притомъ снабженное такими признаками, на которые въ законахъ прямыхъ указаній не имѣется. Поэтому въ дѣлѣ оцѣнки подобнаго имущества необходимо прибѣгнуть къ нѣсколько иному методу, болѣе соотвѣтствующему характеру самой движимости. Такъ напримѣръ, если допустимъ способъ смѣшанный: то-есть, съ одной стороны прибѣгнемъ къ экспертизѣ, а съ другой—не пренебрежемъ и принципомъ десятилѣтней сложности дохода, то, кажется, мы придемъ къ результату довольно удовлетворительному. А именно: въ смыслѣ экспертизы самымъ лучшимъ судьей является самъ господинъ Парамоновъ, который тратитъ на ремонтъ означенной выше движимости сорокъ тысячъ рублей. и тѣмъ самымъ, такъ сказать, опредѣляетъ годовой доходъ съ нея...

— Не *съ нея*, а *ея*...

— *Съ нея* или *ея*—не будемъ спорить о словахъ. Принявъ цифру сорокъ тысячъ, какъ базисъ для дальнѣйшихъ нашихъ операцій, и помноживъ ее на десять, мы тѣмъ самымъ опредѣлимъ и цѣнность движимости цифрою четыреста тысячъ рублей. Теперь идемъ дальше. Эта сумма въ четыреста тысячъ рублей могла бы быть признана правильною, ежели бы дѣло ограничивалось одною описью, но, какъ извѣстно, за описью необходимо слѣдуютъ торги. Какая цѣна состоится на торгахъ—этого мы, конечно, опредѣлить не можемъ, но едва-ли ошибемся, сказавъ, что она должна удвоиться. А затѣмъ

цифра гонорара опредѣляется уже сама собою. То-есть: восемьдесять, а для круглаго счета—сто тысячъ рублей.

Я внималъ ему, затаивъ дыханіе; но когда онъ выговорилъ цифру сто тысячъ, то, признаюсь, у меня даже колѣнки затряслись.

— Берите пятьдесять!—подсказалъ я ему, самъ впрочемъ не понимая, почему мнѣ пришла на умъ именно эта сумма, а не другая.

Но онъ даже не удостоилъ меня взглядомъ.

— Я уже опоздалъ на цѣлую минуту,—сказалъ онъ, смотря на часы:—затѣмъ, прощайте! И буде условія мои будутъ признаны необременительными, то прошу имѣть въ виду!

Нѣсколько минутъ Иванъ Тимофеичъ стоялъ какъ опаленный. Что касается до меня, то я просто былъ близокъ къ отчаянію, ибо за несообразностью рѣчей Балалайкина дѣло, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяніе удесятерило мои силы, сообщило моему языку краснорѣчіе почти адвокатское, а мысли —убѣдительность, которою она едва-ли когда-нибудь обладала.

— Иванъ Тимофеичъ!—воскликнулъ я:—сообразите! Вѣдь это дѣло... вѣдь это такое дѣло, что, право, дешевымъ образомъ обставить его нельзя!

Но онъ повидимому не слыхалъ меня и бормоталъ:

— Дивп бы за дѣло, а то... другой бы даже за удовольствіе счелъ...

И вдругъ, обратившись ко мнѣ:

— Ну, а вы какъ... какого вознагражденія желали бы?—спросилъ онъ и съ горькою усмѣшкой прибавилъ:—*для васъ*, можетъ быть, и двухъ сотъ тысячъ мало будетъ?

Но тутъ-то именно я и показалъ себя.

— Выслушайте меня, прошу васъ!—сказалъ я.—Вы давно уже видите и знаете мое сердце. Вамъ извѣстно, интересанъ ли я и страдаю ли недостаткомъ готовности служить на пользу общую. Въ деньгахъ я не особенно нуждаюсь, потому что получилъ обезпеченное состояніе отъ родителей; что же касается до моихъ чувствъ, то они могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: я готовъ! Но будетъ ли съ моей стороны добросовѣстно отбивать у Балалайкина кушъ, который можетъ обезпечить его на всю жизнь? Онъ—бѣдный человѣкъ, Иванъ Тимофеичъ! и хотя говоритъ, что адвокатура даетъ ему не меньше двадцати-пяти тысячъ въ годъ, но это онъ лжетъ! Помилуйте! развѣ

можно ввѣрять какіе-нибудь серьезные интересы... Балалайкину? И даже самый конкурсъ, на который онъ сейчасъ ссылался — развѣ есть возможность вѣрить въ его существованіе? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Вѣрьте, что, несмотря на свой шикъ, онъ съ каждой минутой все больше и больше погружается въ тотъ омутъ, на днѣ котораго лежитъ Тарасовка! И въ доказательство...

Я взялъ со стола записку, которую оставилъ Балалайкинъ, и прочиталъ:

„По дѣлу о взысканіи 100 рублей съ мѣщанина Лейбы Эзельсона“...

— Понимаете ли вы теперь, *какія* у него дѣла?—продолжалъ я:—и какъ ему нужно, до зарѣзу нужно, чтобъ на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефтъ, въ родѣ, напримѣръ, того, который представляетъ затѣя купца Парамонова?

Иванъ Тимофеичъ молчалъ, но для меня и то было уже выигрышемъ, что онъ *слушалъ* меня. Его взоръ, задумчиво на меня устремленный, казалось, говорилъ: продолжай! Понятно, съ какой радостью я послѣдовалъ этому молчаливому приглашенію.

— Съ другой стороны,—говорилъ я:—вѣдь не вамъ придется платить деньги! Конечно, Балалайкинъ заломилъ цѣну уже совсѣмъ несообразную, но я убѣжденъ, что въ эту минуту онъ самъ раскаивается и горько клянетъ свою несчастную страсть къ хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите нѣсколько прочувствованныхъ словъ—и вы увидите, что онъ сейчасъ же съѣдетъ на десять тысячъ, а можетъ быть и на двѣ! Навѣрное онъ ужъ теперь позабылъ, что сто тысячъ слетѣли у него съ языка. Почему онъ сказалъ сто тысячъ, а не двѣсти, не милліонъ?—не потому ли, что цифра *сто* значится въ запискѣ о взысканіи съ мѣщанина Эзельсона? Я, конечно, этого не утверждаю, но думаю, что это догадка не безосновательная. Завтра онъ принесетъ къ вамъ записку о взысканіи *двухъ* рублей и сообразно съ этимъ уменьшитъ и требованіе свое до *двухъ* тысячъ. Но еслибы даже онъ и окончательно остановился, напримѣръ, на десяти тысячахъ, то, право, это не много! Вѣдь порученіе-то... ахъ, какое это порученіе! И что вамъ, наконецъ? Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бѣднаго человѣка возможности поправить свои обстоятельства?

Я говорилъ долго и убѣдительно, и Иванъ Тимофеичъ былъ тѣмъ

болѣе пораженъ справедливостью моихъ доводовъ, что никакъ не ожидалъ отъ меня такой смѣлой откровенности. Подобно всѣмъ сильнымъ міра, онъ былъ окруженъ плотною стѣной угодниковъ и льстецовъ, которые рѣдко позволяли слову истины достигнуть до ушей его.

— Вы правы!—сказалъ онъ наконецъ, съ какою-то особенною искренностью пожимая мнѣ руку:—и хотя мы не привыкли выслушивать правду, но я долженъ сознаться, что иногда она не безполезна и для насъ. Благодарю! Я давно не проводилъ время съ такой пользой, какъ сегодня утромъ!

Я летѣлъ домой, не чувствуя ногъ подъ собою, и какъ только вошелъ въ квартиру, такъ сейчасъ же упалъ въ объятія Глумова. Я разсказалъ ему все: и въ какомъ я былъ ужасномъ положеніи, и какъ на помощь мнѣ вдругъ явилось нѣчто неисповѣдимое...

— Повѣрь, что это за благонамѣренность нашу!—сказалъ я въ заключеніе.

— Такъ-то такъ, да ты прежде подожди, возьметъ ли еще Балалайкинъ десять-то тысячъ?

— Помилуй, душа моя, какъ ему не взять! вѣдь онъ...

Я съ жаромъ принялся доказывать, что нельзя Балалайкѣ десяти тысячъ не взять, что въ противномъ случаѣ онъ погибнуть долженъ, что десяти тысячъ на полу не поднимешь и что съ десятью тысячами, при настоящемъ паденіи курсовъ на цѣнныя бумаги... И вдругъ, въ самомъ разгарѣ моихъ доказательствъ, меня словно обожгло.

— Глумовъ! да вѣдь Балалайка женатъ и имѣетъ восемь человѣкъ дѣтей!—крикнулъ я не своимъ голосомъ.

Глава IV.

Немедленно приступили мы къ розыску семейнаго положенія Балалайкина, и на другой же день, при содѣйствіи Кшепшицюльскаго, получили слѣдующую справку:

„*Балалайкинъ* (имя и отчество неизвѣстны), адвокатъ. Проживаетъ 2-й адмиралтейской части, въ домѣ бывшемъ Зондермана, на углу Фонарнаго переулка и Екатерининскаго канала. Пишетъ прошенія, приноситъ кассаціонныя и апелляціонныя жалобы и вообще составляетъ всякаго рода бумаги, а въ томъ числѣ и неуказанныя въ

законахъ. Какъ-то: поздравительные стихи для разносчиковъ афишъ и клубныхъ швейцаровъ, куплеты для театра Егарева, азбуки и хрестоматіи, а также любовныя письма (со стихами и безъ стиховъ) для лицъ, не кончившихъ курса въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кромѣ сего, отыскиваетъ, по порученіямъ, жениховъ и невѣстъ, слѣдитъ по газетамъ за объявленіями о пропавшихъ собакахъ и принимаетъ мѣры къ отысканію потеряннаго, занимается устройствомъ предварительныхъ обстановокъ, необходимыхъ для удовлетворительнаго разрѣшенія бракоразводныхъ дѣлъ, и на сей конецъ содержитъ на жалованьи отъ 4-хъ до 5-ти лжесвидѣтелей. Въ пропагандахъ, прокламаціяхъ и вообще ни въ чемъ предосудительномъ не замѣченъ. *Женатъ и имѣетъ восемь дочерей.* Жена никакихъ постоянныхъ средствъ къ пропитанію себя съ семействомъ (въ томъ числѣ восьмидесятилѣтняя старушка-бабушка) не имѣетъ, кромѣ бѣлошвейнаго мастерства, доставляющаго ничтожный доходъ. Живетъ это семейство въ величайшей бѣдности въ селѣ Кузьминѣ, близъ Царскаго Села, получая отъ Балалайкина, въ видѣ воспособленія, не больше десяти рублей въ мѣсяцъ“.

Можно себѣ представить, какъ поразила меня эта реляція!

— Воля твоя,—сказалъ я Глумову:—а я ни подъ какимъ видомъ „на штучкѣ“ купца Парамонова не женюсь. И въ крайнемъ случаѣ укажу на тебя, какъ на болѣе достойнаго.

— Да погоди же голову-то терять,—возразилъ онъ мнѣ спокойно:—вѣдь это еще не послѣднее слово. Балалайкинъ женатъ — въ этомъ, конечно, сомнѣваться нельзя; но развѣ ты не чувствуешь, что тутъ сквозитъ какая-то тайна, которая, я увѣренъ, въ концѣ концовъ, дастъ намъ возможность выйти съ честью изъ нашего положенія.

— Но это—тайна Балалайкина, раскрытіе которой даже вовсе не интересуетъ меня. Для меня въ этомъ дѣлѣ ясно одно: Балалайкинъ женатъ!

— Не горячись, сдѣлай милость. Во-первыхъ, пользуясь стѣсненнымъ положеніемъ жены Балалайкина, можно ее уговорить, за приличное вознагражденіе, на формальный разводъ; во-вторыхъ, ежели это не удастся, можно убѣдить Балалайкина жениться и при живой женѣ. Однимъ словомъ, необходимо прежде всего твердо установить цѣль: во что бы то ни стало женить Балалайку на „штучкѣ“ купца

Парамонова—и затѣмъ мужественно идти къ осуществленію этой цѣли.

Волей-неволей, но пришлось согласиться съ Глумовымъ. Немедленно начертали мы планъ кампаніи и на другой же день приступили къ его выполненію, то-есть отправились въ Кузьмино. Однакожъ и тутъ полученныя на первыхъ порахъ свѣдѣнія были такого рода, что никакого практическаго результата извлечь изъ нихъ было невозможно. А именно, оказалось:

1) Что Балалайкина жена по уши влюблена въ своего мужа и ни о какихъ предложеніяхъ (Глумовъ двадцать-пять рублей давалъ) относительно устройства приличной „обстановки“ въ видахъ расторженія брака—слышать не хочетъ.

2) Что Балалайкинъ сохраняетъ свой бракъ въ большой тайнѣ. Никто въ семьѣ не знаетъ, что онъ—адвокатъ, получающій значительный доходъ отъ поздравительныхъ стиховъ, сочиняемыхъ клубнымъ швейцарамъ. И жена, и старая бабушка убѣждены, что онъ служитъ въ артели посыльныхъ.

3) Что Балалайкинъ наѣзжаетъ въ Кузьмино одинъ разъ въ недѣлю, по субботамъ, всегда въ полной парадной формѣ посыльнаго и непремѣнно на лихачѣ. Тогда въ семьѣ бываетъ ликованье, потому что Балалайкинъ привозитъ дочерямъ пряниковъ, женѣ—моченой груши, а старой бабушкѣ—штофъ померанцевой водки. Всѣ семейные твердо увѣрены, что это—гостинцы ворованные.

— Онъ-то говоритъ, что купцы даютъ,—сказала намъ старуха-бабушка:—да ужъ гдѣ, чай!

А дочка присовокупила:

— И то сказать: трудно въ нашемъ сословіи безъ грѣха прожить: цѣльный день по кухнямъ да по лавкамъ шляются, то видятъ, другое видятъ—какъ тутъ себя уберечи!

Все это было далеко не ноощрительно, однако Глумовъ и тутъ надежды не терялъ.

— И прекрасно,—сказалъ онъ:—пускай себѣ ломается, и безъ нея обойдемся! Теперь по крайней мѣрѣ путаться не станемъ, а прямо будемъ бить на двоеженство!

Словомъ сказать, опасность заставила насъ окончательно позабыть, что намъ предстояло только „родить“, и по уши погрузила насъ въ самую гущу благонамѣренной дѣятельности. Мы вполнѣ

искренно принялись хлопотать, изворачиваться и вообще производить всѣ тѣ акты, съ которыми сопрягается безопасное плаванье по житейскому морю.

Черезъ нѣсколько дней, часу въ двѣнадцатомъ утра, мы отправились въ Фонарный переулокъ, и такъ какъ домъ Зондермана былъ намъ знакомъ съ юныхъ лѣтъ, то отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Признаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, когда мы подошли къ двери, на которой была прибита дощечка съ надписью: „Balalaïkine, avocat“. Увы! въ былое время тутъ жила Дарья Семеновна Кубарева (въ просторѣчьи: „Кубариха“) съ шестью молоденькими и прехорошенькими воспитанницами, которыя называли ее мамашей.

Дарья Семеновна была вдова учителя латинскаго языка, который, къ несчастію, смѣшивалъ герундіумъ съ супинумомъ, и за это былъ преданъ, по распоряженію начальства, суду. А такъ какъ онъ умеръ, не успѣвъ очистить себя отъ обвиненій, то постигшая его невзгода косвеннымъ образомъ отразилась и на его вдовѣ: ей было отказано въ пенсіи. Оставшись безъ всякихъ средствъ къ существованію, Дарья Семеновна понадѣялась-было, что ей удастся продать латинскую грамматику, которую издалъ ея мужъ и безчисленные экземпляры которой, въ ожиданіи судебнаго рѣшенія, украшали ея квартиру, но, увы! судьба и тутъ не оказалась къ ней благосклонною. Рѣшеніе суда не заставило себя долго ждать, но въ немъ было сказано: „хотя учителя Кубарева, за распространеніе въ юношествѣ превратныхъ понятій о супинахъ и герундіяхъ, а равно и за потрясеніе основъ латинской грамматики, и слѣдовало бы сослать на жительство въ мѣста не столь отдаленныя, но такъ какъ онъ, состоя подъ судомъ, умре, то сужденіе о личности его прекратить, а сочиненную имъ латинскую грамматику сжечь въ присутствіи латинскихъ учителей обѣихъ столицъ“. Погоревала-погоревала бѣдная вдова, посовѣтовалась съ добрыми людьми—и вдругъ нашлась. Открыла пансіонъ для дѣвицъ, но, разумѣется, безъ древнихъ языковъ.

Дарья Семеновна была женщина веселая и хлѣбосолка, а потому педагогическая часть въ ея пансіонѣ была нѣсколько слаба. Учили больше хорошимъ манерамъ и свѣтскому обращенію. Каждый вечеръ до поздныхъ пѣтуховъ стоялъ въ ея квартирѣ, какъ говорится, дымъ коромысломъ. Игралъ тапёръ на старенькихъ клавикордахъ; молодые

люди танцовали, курили папиросы, угощались пивомъ, водкой, а изрѣдка и шампанскимъ. По временамъ случались и драки, но хозяйка обладала на этотъ счетъ такимъ тактомъ, что подравшіеся, при первомъ намекѣ на будочника, немедленно унимались и посылали за пивомъ. Только по субботамъ и наканунѣ большихъ праздниковъ дверь квартиры учительницы Кубаревой отпиралась лишь для самыхъ близкихъ знакомыхъ. Въ эти вечера въ комнатахъ зажигались лампадки, воспитанницы умилялись и вздыхали, а Дарья Семеновна набожно говорила:

— Весельемъ людскимъ живу... а Бога помню!

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ Дарья Семеновна умерла, отпраздновавъ двадцатипятилѣтіе своей педагогической дѣятельности, хотя и безъ древнихъ языковъ. Скончалась старушка тихо, въ большомъ креслѣ на колесахъ, съ котораго въ послѣднее время не вставала; скончалась подъ звуки танёра, проводившіе ее въ иной міръ. Я помню: мы безпечно танцовали, въ одномъ углу хлопнула пробка, въ другомъ —раздалась пощечина; смотримъ, а ея ужъ и нѣтъ! Говорятъ, передъ смертью она получила даръ прозорливства и предсказала, что въ квартирѣ ея поселится Балалайкинъ.

Весьма естественно, что, прежде нежели позвонить, мы остановились передъ этою дверью, подавленные цѣлымъ роемъ воспоминаній.

— Тутъ... было?—первый прервалъ молчаніе Глумовъ.

— Да, мой другъ... тутъ!

— Танёра, Ивана Иваныча, помнишь?

— Какъ живой и теперь стоитъ передо мной!

— Представь себѣ! вѣдь онъ отецъ семейства былъ... Я у него дѣтей крестилъ, а Кесеенихъ кумой была, и, какъ сейчасъ помню, онъ насъ въ ту пору шмандткухеномъ угощалъ.

— А Стрекозу помнишь?

— Еще бы! первый мазуристъ на вечерахъ у Дарьи Семеновны былъ! здѣсь, въ этой квартирѣ, и воспитаніе получилъ! А теперь, поди-тко, тайный совѣтникъ, въ коммиссіяхъ засѣдаетъ — рукой до него не достать!

— Вообрази: встрѣчаю я его на дняхъ на Невскомъ, и какъ разъ мнѣ Кубариха на память пришла: помните? говорю. А онъ мнѣ вдругъ стихами:

Вельможу должны украшать
Умъ здравый, сердце просвѣщенно...

И объ Кубарихѣ ни полслова—вотъ онъ нынче какъ объ себѣ полагаетъ!

— Да, братъ, многіе изъ школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Только вотъ мы съ тобой...

Я машинально протянулъ руку и подавилъ пуговку электрическаго звонка. Раздался какой-то унылый, дребезжащій звонъ, совсѣмъ не тотъ веселый, побѣдный, свѣтлый, который раздавался здѣсь когда-то. Одинъ изъ лжесвидѣтелей, о которыхъ упоминалось въ справкѣ, добытой изъ 2-й адмиралтейской части, отперъ намъ дверь и сказалъ, что намъ придется подождать, потому что господинъ Балалайкинъ занятъ въ эту минуту съ кліентами.

Мы вошли въ пріемную комнату, и сердца наши тоскливо сжались. Да, именно въ этой угловой комнатѣ, выходящей окнами и на Фонарный переулокъ, и на Екатериновку, она и скончалась—добрая, незабвенная Кубариха! Вотъ тутъ, у этой стѣны, стояли старыя, разбитыя клавикорды; вдоль прочихъ стѣнъ разставлены были стулья и диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной матеріей; по угламъ помѣщались столики и établissements, за которыми лилось пиво; по срединѣ—мы танцовали. Картины изъ прошлаго, одна за другой, совершенно живыя, такъ и метались передъ моимъ умственнымъ окомъ.

— Дарья Семеновна! тутъ ли вы?—воскликнулъ я, совсѣмъ забывшись подъ наплывомъ воспоминаній.

Увы! ни одинъ звукъ не отвѣтилъ на мой сердечный вопль. Просторная пріемная комната, въ которой мы находились, смотрѣла холодно и безучастно, и убранство ея отличалось строгою простотой, которая совсѣмъ не согласовалась съ профессіей устройства предварительныхъ обстановокъ по бракоразводнымъ дѣламъ. Признаюсь, привличность Балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я ожидалъ увидѣть нѣчто въ родѣ квартиры средней руки кокотки—и вдругъ очутился въ помѣщеніи скромнаго служителя Ѳемиды, понимающаго, что чѣмъ меньше будетъ въ его квартирѣ дракъ, тѣмъ тверже установится его репутація, какъ серьезнаго адвоката. По срединѣ стоялъ дубовый столъ, на которомъ лежали, для увеселенія кліентовъ, избранныя сочиненія Белло въ русскомъ переводѣ; вдоль трехъ стѣнъ

разставлены были стулья изъ цѣльнаго дуба съ высокими рѣзными спинками: а четвертая была занята громаднымъ библіотечнымъ шкафомъ, въ которомъ впрочемъ не было иныхъ книгъ, кромѣ „Полнаго собранія законовъ Россійской Имперіи“. Очевидно, что Балалайкинъ импонировалъ этою комнатою, хотѣлъ поразить ею воображеніе кліента и въ то же время намекнуть, что всякое оскорбленіе дѣйствіемъ будетъ неуклонно преслѣдуемо на точномъ основаніи тѣхъ самыхъ законовъ, которые стоятъ въ этомъ шкафу. Ничего лишняго, мишурнаго, напоминающаго о прелюбодѣяніи и лжесвидѣтельствѣ, не бросалось въ глаза,—только въ углу стоялъ довольно подержанный полуроялъ, отъ котораго нѣсколько отдавало Дарьей Семеновной. Роялъ этотъ, какъ я узналъ послѣ, былъ подаренъ Балалайкину однимъ несостоятельнымъ должникомъ, въ благодарность за содѣйствіе къ сокрытію имущества, и Балалайкинъ, въ свободное отъ лжесвидѣтельствъ время, подбиралъ на немъ музыку куплетовъ, сочиняемыхъ имъ для театра Егарева. Тѣмъ не менѣе, этотъ роялъ такъ обрадовалъ меня, что я подбѣжалъ къ нему, и еслибъ не удержалъ меня Глумовъ, то навѣрное сыгралъ бы первую фигуру кадрили на мотивъ „чижикъ! чижикъ! гдѣ ты былъ?“, которая въ дни моей молодости такъ часто оглашала эти стѣны.

Глумовъ тоже повидимому не ожидалъ подобной обстановки, но онъ не былъ подавленъ ею, подобно мнѣ, а скорѣе какъ бы не вѣрилъ своимъ глазамъ. Чмокалъ губами, тянулъ носомъ воздухъ и вообще подыскивался. И наконецъ отыскалъ.

— Пахнетъ!—сказалъ онъ мнѣ шопотомъ.

Я тоже инстинктивно потянулъ носомъ воздухъ.

— Дарья Семеновна... она! Она эти самые духи употребляла, когда поджидала „гостей“!

Я началъ припоминать... и вдругъ до такой степени вспомнилъ, что даже краска бросилась мнѣ въ лицо.

— Глумовъ! голубчикъ! эти духи... да вѣдь она жива! она здѣсь! —воскликнулъ я внѣ себя отъ восхищенія:—Дарья Семеновна! вы...

И только тогда опомнился, когда Глумовъ, толкнувъ меня подъ локоть, указалъ глазами на двухъ кліентовъ, которые сидѣли въ той же комнатѣ, въ ожиданіи Балалайкина.

По странной игрѣ судьбы, клієнты эти наружнымъ своимъ видомъ напоминали именно то самое прошлое, которое такъ тоскливо заставляло биться мое сердце. Одинъ былъ человѣкъ уже пожилой и имѣлъ физіономію благороднаго отца изъ дома терпимости. Чувство собственнаго достоинства несомнѣнно было господствующею чертою его лица, но въ то же время представлялось столь же несомнѣннымъ, что гдѣ-то, на этомъ самомъ лицѣ, повѣшена подробная такса (видимая впрочемъ только мысленному оку), объясняющая цифру вознагражденія за каждое наносимое увѣчье, начиная отъ самаго тяжкаго и кончая легкою оплеухой. Мнѣ показалось, что гдѣ-то когда-то я видалъ этого человѣка, и чѣмъ болѣе я всматривался въ него, тѣмъ больше росла во мнѣ увѣренность, что видѣлъ я его именно въ этомъ самомъ домѣ.

Да, это *онъ*!—говорилъ я самъ себѣ:—но кто *онъ*? *Тотъ* былъ тщедушный, мизерный; на лицѣ его была написана загнанность, забитость, и фракъ у него... ахъ, какой это былъ фракъ! зеленый, съ потертыми локтями, съ свѣтлыми пуговицами, очевидно перешитый изъ вицмундира, оставшагося послѣ умершаго отъ геморроя титулярнаго совѣтника! А *этотъ*—вонъ онъ какой! Сытъ, одѣтъ, обутъ—чего еще нужно! И все-таки это—*онъ*, несомнѣнно *онъ*, несмотря на то, что смотритъ какъ только сейчасъ отчеканеный мѣдный пятакъ!

Другой клієнтъ былъ совсѣмъ юноша, красный какъ ракъ, безъ всякаго признака капилярной растительности на лицѣ, отчего и казался какъ бы совершенно обнаженнымъ. Онъ напомнилъ мнѣ нѣкоего Жорженьку (нынѣ статскій совѣтникъ и кавалеръ), который въ былое время хотя и не участвовалъ въ общихъ увеселеніяхъ, происходившихъ въ этой залѣ, но всегда въ опредѣленный часъ появлялся изъ внутреннихъ аппартаментовъ и, запыхавшись, съ застѣнчивою торопливостью, перебѣгалъ черезъ залу, причемъ воспитанницы кричали ему: „Жоржонька! Жоржонька! хорошо выдержали экзаменъ?“

Черезъ четверть часа ожиданія, за дверью, ведущею въ кабинетъ Балалайкина, послышался шумъ, и вслѣдъ затѣмъ оттуда вышла, шурша платьемъ и грузно стуная ногами, старуха, очевидно восточнаго происхожденія. Осунувшееся лицо ея было до такой степени раскрашено, что издали производило иллюзію маски, чему очень много способствовали большой и крючковатый грузинскій носъ и два черныхъ глаза, которые стекловидно высматривали изъ впадинъ. Эту

женщину я тоже гдѣ-то и когда-то видѣлъ, да и она меня гдѣ-то и когда-то видѣла, но ни мнѣ, ни ей, конечно, и на мысль не пришло разъяснять, при какихъ обстоятельствахъ произошло наше знакомство. Поддерживаемая Балалайкинымъ подъ руку (онъ называлъ ее при этомъ „княгинею“, но я могъ дать руку на отсѣченіе, что она—сваха отъ Вознесенскаго моста), она медленно направилась къ выходной двери, но, проходя мимо шкафа съ книгами, остановилась, какъ бы пораженная его величіемъ.

— Всѣ читалъ?—спросила она Балалайкина, указывая костлявымъ пальцемъ на корешки переплетовъ.

— Княгиня!—воскликнулъ онъ, какъ бы удивленный, что ему можетъ быть предложенъ такой вопросъ.

— Ну, будь здоровъ!

Проводивши старуху, Балалайкинъ прежде всего обратился къ намъ. Онъ былъ необыкновенно милъ въ своемъ утреннемъ адвокатскомъ неглиже. Черная бархатная жакетка ловко обрисовывала его формы и отлично оттѣняла бѣлизну бѣлья; проборъ на головѣ былъ сдѣланъ такъ тщательно, что можно было думать, что онъ причесывается у ваятеля; лицо, отдохнувшее за ночь отъ вчерашнихъ поврежденій, дышало привѣтливостью и готовностью удовлетворить кліента, что бы онъ ни попросилъ; штаны сидѣли почти идеально; но что всего важнѣе: отъ каждой части его лица и даже тѣла разило духами, какъ будто онъ только-что выкупался въ водахъ Екатерининскаго канала. Онъ напомнилъ намъ, что знакомъ съ нами по Ивану Тимоѳеичу, и изъявилъ надежду, что мы сдѣлаемъ ему честь отзавтракать съ нимъ.

— Черезъ четверть часа я къ вашимъ услугамъ, messieurs, а теперь... вы позволите?—прибавилъ онъ, указывая на ожидавшихъ кліентовъ.

— Ну-съ,—началъ онъ, подходя къ юношѣ:—письмо наше возымѣло дѣйствіе?

— Возымѣло, господинъ Балалайкинъ, только нельзя сказать, чтобы вполнѣ благопріятное.

— Именно?

— Вотъ и отвѣтъ-съ.

Балалайкинъ взялъ поданное письмо и довольно громко прочиталъ: „а ежели ты, щенокъ, будешь еще ко мнѣ приставать“...

— Гм... да... Отвѣтъ не совсѣмъ благопріятенъ, хотя, съ дру-

гой стороны, сердце женщины... Что жъ! будемъ новое письмо сочинять, молодой человѣкъ,—вотъ и все!

— Со стихами бы, господинъ Балалайкинъ!

— Можно. Изъ Виктора Гюго, напримѣръ:

O, ma charmante!
Ecoute ici!
L'amant qui chante
Et pleure aussi!

— Ладно будетъ?

— Хорошо-съ; но вѣдь она по-французски не знаетъ.

— Это ничего; вотъ и вы не знаете, да говорите же: „хорошо“. Неизвѣстность, знаете... она на воображеніе дѣйствуетъ! У грековъ-язычниковъ даже капище особенное было съ надписью: „неизвѣстному богу“... Потребность, значитъ, такая въ человѣкѣ есть! А впрочемъ я и по-русски могу:

Кудри дѣвы-чародѣйки,
Кудри—блескъ и ароматъ,
Кудри—кольца, кудри—змѣйки,
Кудри—бархатный каскадъ!

— Хорошо? приходите завтра—будетъ готово... Цѣна...

Балалайкинъ поднялъ правую руку и показалъ всѣ пять пальцевъ.

— Рублей,—присовокупилъ онъ строго.

— Нельзя ли сбавить, господинъ Балалайкинъ? — взмолился молодой человѣкъ:—ей-Богу, маманя всего десять рублей въ мѣсяцъ даетъ! тутъ и на папиросы, тутъ и на все-съ!

— Нельзя, молодой человѣкъ! желаете имѣть успѣхъ у женщинъ и жалѣете пяти рублей... фуй, фуй, фуй! Ежели маманя даетъ мало денегъ—добывайте сами! Трудитесь, давайте уроки, просвѣщайте юношество! Итакъ, повторяю: завтра будетъ готово. До свиданія... побѣдитель!

Балалайкинъ, въ знакъ окончанія аудіенціи, подалъ юношѣ два пальца, которые тотъ принялъ съ благоговѣніемъ.

— Ну-съ, теперь ваша очередь!—обратился онъ къ пожилому кліенту.

— Вотъ ужъ пять лѣтъ, какъ жена моя вездѣ ищетъ удовлетворенія!—началъ благородный отецъ и вдругъ остановился, какъ

бы выжидая, не нанесетъ ли ему Балалайкинъ какого-нибудь оскорбленія

Балалайкинъ однакожъ воздержался и только сквозь зубы процѣдилъ: „Гм“...

Но на меня этотъ голосъ подѣйствовалъ потрясающимъ образомъ. Я уже не вспоминалъ больше,—я вспомнилъ. Да, это—онъ! твердилъ я себѣ: онъ, тотъ самый, во фракѣ съ умершаго титулярнаго совѣтника! Чтобы провѣрить мои чувства, я взглянулъ на Глумова и безъ труда убѣдился, что онъ взволнованъ не меньше моего.

— Онъ!—шепнулъ онъ, слегка толкнувъ меня локтемъ въ бокъ.

— Жена моя содержитъ гласную кассу ссудъ,—продолжалъ между тѣмъ благородный отецъ, убѣдившись, что никто изъ присутствующихъ не намѣренъ платить по таксѣ даже за самую легкую оплеуху:—я же состою редакторомъ по вольному найму при газетѣ „Краса Демидрона“, служащей органомъ политическихъ и литературныхъ мнѣній Егарева и Малафѣева. Къ сожалѣнію, наша газета, не будучи изъята изъ вѣдомства общей цензуры, въ то же время, по спеціальности, находится въ вѣдѣніи комитета ассенизаціи столичнаго города С.-Петербурга. Не болѣе года, какъ я нахожусь въ должности редактора, и достигъ уже слѣдующихъ результатовъ. Во-первыхъ, отъ непрестанныхъ внушеній—два раза лишался разсудка; во-вторыхъ, отъ ежедневно повторяемаго трепета—получилъ трясеніе головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащаго по вольному найму!

Онъ произнесъ эту вступительную рѣчь съ такимъ волненіемъ, что подъ конецъ голосъ его пресѣкся. Грустно понуривъ голову, высматривалъ онъ однимъ глазкомъ, не чешутся ли у кого изъ присутствующихъ руки, дабы немедленно предъявить искъ о вознагражденіи по таксѣ. Но мы хотя и сознавали, что теперь самое время для „нанесенія“, однако такъ были взволнованы разсказомъ о свойственныхъ вольнонаемному редактору бѣдствіяхъ, что отложили выполненіе этого подвига до болѣе благопріятнаго времени.

— Правда, что взамѣнъ этихъ непріятностей я пользуюсь и нѣкоторыми удовольствіями, именно: 1) имѣю безплатный входъ лѣтомъ въ Демидовъ садъ, а на масляницѣ и на святой пользуюсь правомъ хоть цѣлый день проводить въ балаганахъ Егарева и Малафѣева; 2) въ семи трактирахъ, въ особенности рекомендуемыхъ

нашею газетой вниманію почтеннѣйшей публики, за несоблюденіе въ кухняхъ чистоты и неимѣніе на посудѣ полуды, я по очереди имѣю право однажды въ недѣлю (въ каждомъ) воспользоваться двумя рюмками водки и порціей селянки; 3) ежедневно имѣю возможность даромъ ночевать въ любомъ изъ съѣзжихъ домовъ; и наконецъ 4) могу безпрепятственно присутствовать въ любой изъ камеръ мировыхъ судей при судебномъ разбирательствѣ. Но предоставляю вамъ самимъ, милостивые государи, судить, что значатъ всѣ эти прерогативы въ сравненіи съ исчисленными сейчасъ обязанностями!

Онъ опять поникъ головой, но все доселѣ высказанное имъ дышало такою правдою, что не только намъ, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать какими-либо напоминаніями о скорѣйшемъ приступѣ къ дѣлу.

— Жалованья я получаю двадцать-пять рублей въ мѣсяцъ,— продолжалъ онъ послѣ краткаго отдыха.—Не спорю: жалованье хорошее: но ежели принять во вниманіе: 1) что, по воспитанію моему, я получилъ потребности обширныя; 2) что съѣстные припасы съ каждымъ днемъ дѣлаются дороже и дороже, такъ что рюмка очищенной стоитъ нынѣ десять копѣекъ, вмѣсто прежнихъ пяти,—то и выходитъ, что о бифштексахъ да объ котлеткахъ мнѣ и въ помышленіи держать невозможно!

— Позвольте однако!—не воздержался я:—вѣдь вы сами сейчасъ сказали, что имѣете право на безплатное полученіе ежедневно двухъ рюмокъ водки и порціи селянки! Мнѣ кажется, что въ вашемъ званіи...

— Вамъ кажется, господинъ! Но скажите по совѣсти: можетъ ли быть человѣкъ сытъ и пьянъ, получая въ день одну порцію селянки, составленной изъ веществъ загадочныхъ и трудно-варимыхъ, и двѣ рюмки водки, которыя буфетчикъ съ намѣреніемъ не доливаетъ до краевъ?

Въ голосѣ его звучала такая горькая искренность, что я невольно умолкнулъ.

— По моему воспитанію, мнѣ не только двухъ рюмокъ и одной селянки, а двадцати рюмокъ и десяти селянокъ—и того недостаточно! Ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ! какъ вы однако опрометчивы въ вашихъ сужденіяхъ!—говорилъ между тѣмъ благородный отецъ, строго и наставительно покачивая головой въ мою сто-

рону:—и какъ это вы, милостивый государь, получивши такое образованіе...

— Возвратимтесь къ разсказу, — прервалъ его Балалайкинъ, обязательно посѣшая мнѣ на выручку противъ дальнѣйшихъ реприманловъ старца, у котораго начала уже настолько явственно выступать на лицѣ такса, что я безъ всякихъ затрудненій прочиталъ:

„За словесное оскорбленіе укоризною въ недостаткѣ благовоспитанности, а равно и въ непмѣніи христіанскихъ правилъ... 20 коп.“

Но благородный отецъ унялся не сразу.

— Къ тому же я сластолюбивъ,—продолжалъ онъ.—Я люблю мармеладъ, черносливъ, изюмъ, и хотя входилъ въ переговоры съ купцомъ Елисеевымъ, дабы разрѣшено было мнѣ безплатно входить въ его магазины и пробовать, но получилъ рѣшительный отказъ; купецъ же Смуровъ, вслѣдствіе подобныхъ же переговоровъ, разрѣшилъ выдавать мнѣ въ день по одному поврежденному яблоку. Стало быть, и этого, по вашему, милостивый государь, разумѣнію, для меня достаточно?—вдругъ обратился онъ ко мнѣ.

Дѣлать было нечего. Я вынулъ изъ кармана двугривенный (по таксѣ) и положилъ на столъ, откуда онъ въ одно мгновеніе и исчезъ въ карманъ старца.

— Благодарю васъ, господинъ. Маловато, но я не притѣснителенъ... Штакъ, я сластолюбивъ, и потому имѣю вкусъ къ лакомствамъ вообще и къ дѣвочкамъ въ особенности. Есть у нихъ, знаете...

Старикъ поперхнулся, и все нутро его вдругъ заколыхалось. Мы замерли въ ожиданіи одного изъ тѣхъ пароксизмовъ восторга, которые иногда овладѣваютъ старичками подъ напѣвомъ сладостныхъ представленій; но онъ ограничился тѣмъ, что чихнулъ. Очевидно, это была единственная форма дѣятельнаго отношенія къ красотѣ, которая, при его преклонныхъ лѣтахъ, осталась для него доступною.

— Словомъ сказать, никакъ нельзя остеречься, чтобы рубля или двухъ въ недѣлю не пожертвовать собственно на предметы сластолюбія. Затѣмъ, такъ какъ жена удерживаетъ у меня пятнадцать рублей въ мѣсяцъ за прокормъ и квартиру (и притомъ даже въ такомъ случаѣ, еслибъ я ни разу не обѣдалъ дома), то на такъ-называемыя издержки представительства остается никакъ не больше пяти рублей въ мѣсяцъ. Какъ вы полагаете, милостивый государь, можетъ ли удовлетвориться этимъ благородный человѣкъ, особливо въ виду уста-

повившагося обычая, въ силу котораго всѣ вольнонаемные редакторы разъ въ мѣсяцъ устраиваютъ въ трактирѣ „Старый Пекинъ“ обѣдъ, въ ознаменованіе чудеснаго избавленія отъ множества угрожавшихъ имъ въ теченіе мѣсяца опасностей?

— Конечно, нѣтъ; но вѣдь супруга ваша, какъ содержательница гласной кассы ссудъ, могла бы и не требовать съ васъ платы за содержаніе?—возразилъ Балалайкинъ.

— Что касается до того, куда жена моя употребляетъ свои средства—объ этомъ рѣчь впереди. Теперь же скажу, что супружество, въ томъ видѣ, въ какомъ я онымъ пользуюсь, налагаетъ на меня лишь очень нелегкія обязанности, а правъ не даетъ. Но этого мало, милостивые государи! Не имѣя никакого вліянія на направленіе редактируемой мною газеты, я, тѣмъ не менѣе, ощущаю на себѣ всѣ невзгоды, ее постигающія. Такъ, напримѣръ, когда, по настоянію г. Малафѣева, послѣдовало въ нашемъ изданіи изъясненіе турецкой конституціи и за сіе газета вынуждена была потерпѣть ущербъ, то и я былъ подвергнутъ вычету изъ жалованья въ размѣрѣ пятнадцати копѣекъ въ сутки. Можете судить сами, какое нравственное потрясеніе должна была произвести во мнѣ эта катастрофа, не говоря уже о неоплатномъ долгѣ въ три рубля пятьдесятъ копѣекъ, въ который я съ тѣхъ поръ погрязъ и о возвратѣ котораго жена моя ежедневно настаиваетъ...

Но едва произнесъ онъ эти слова, какъ Глумовъ, движимый великодушіемъ, вынулъ изъ кармана три съ полтиной и положилъ ихъ на столъ.

— Благодарю васъ, достойный молодой человѣкъ! благодарю тѣмъ больше, что, имѣя право за эти деньги поступить со мною по такѣ, вы великодушно не воспользовались этимъ правомъ! Но возвращаюсь къ разсказу. Изъ всего вышеизложеннаго вы, конечно, изволили убѣдиться, милостивые государи, что положеніе редактора газеты по вольному найму вовсе не таково, чтобы возбудить въ комъ-либо зависть. Поэтому вы не удивитесь, если я, въ видахъ воспособленія, рѣшаюсь, даже съ опасностью жизни, прибѣгать къ нѣкоторымъ побочнымъ средствамъ, которыя помогаютъ мнѣ имѣть приличную редакторскому званію одежду и удовлетворять издержкамъ представительства. Эти побочныя средства—вотъ они.

Онъ хлопнулъ довольно грязной рукой по правой щекѣ, и — о

чудо!—такса, которую мы до сихъ поръ видѣли лишь мысленными очами (только однажды я мелькомъ усмотрѣлъ одинъ параграфъ ея), вдругъ засвѣтилась, такъ что мы совершенно явственно прочитали:

Такса.

За словесное оскорбленіе укоризною въ недостаткѣ благовоспитанности и неимѣніи христіанскихъ правилъ			20 к.
Тоже, съ упоминовеніемъ о родителяхъ			50 „
Тоже, съ поднятіемъ руки, но безъ нанесенія .			75 „
За щелчокъ по носу или мазокъ по губамъ. . .	1	р.	— „
Простая оплеуха	1	„	50 „
Оплеуха, ежели при оной получается ощущеніе перстней	1	„	75 „
За нанесеніе по лицу удара рукой съ раскровяненіемъ или разсѣченіемъ какой-либо части онаго (носа, бровей, губъ и проч.)	3	„	— „
Тоже, сапогомъ	3	„	50 „
За вымазаніе лица дегтемъ, саломъ, тѣстомъ и т. п.	4	„	— „
Тоже, веществами, коихъ вывозъ въ дневное время воспрещается	5	„	— „
За окормленіе припасами, производящими тошноту	6	„	— „
За высѣченіе розгами, наединѣ, до 20-ти ударовъ и менѣе	10	„	— „
За каждый ударъ, сверхъ 20-ти по	1	„	— „
Тоже, при благородныхъ свидѣтеляхъ	20	„	— „
За каждый ударъ, сверхъ 20-ти, по	2	„	— „
„ переломъ ребра.	30	„	— „
„ ударъ по головѣ съ проломомъ оной. . . .	50	„	— „

Примѣчаніе 1-е. Оскорбленія кнутомъ, кошками, колѣномъ или подворотнею не допускается вовсе.

Примѣчаніе 2-е. Равнымъ образомъ воспрещаются: выколотіе глаза, откушеніе носа, отсѣченіе руки или ноги, отнятіе головы и

ироч. За всѣ таковыя поврежденія вознагражденіе опредѣляется по суду, по произнесеніи обвинительныхъ и защитительныхъ рѣчей. послѣ чего присяжные засѣдатели удаляются въ совѣщательную комнату и выносятъ обвиняемому оправдательный приговоръ.

— Кажется, такса не обременительная?—обратился онъ къ намъ. когда убѣдился, что мы имѣли время обдумать прочитанное.

— Не только не обременительная,—поспѣшилъ я успокоить его: —но даже, если можно такъ выразиться, соблазнительно умѣренная. Помилуйте! выполненіе по всей таксѣ стоитъ всего сто тридцать семь рублей двадцать копѣекъ; а мало ли на свѣтѣ богатыхъ людей, которымъ ничего не стоитъ бросить такія деньги, лишь бы доставить себѣ удовольствіе!

— И бывали такія особы!—сказалъ онъ съ гордостью, и вслѣдъ затѣмъ съ горечью присовокупилъ:—бывали-съ... въ то время, когда нашъ рубль еще пользовался довѣріемъ на заграничныхъ рынкахъ!

— Но вѣроятно и такса ваша въ то время была соразмѣрно дешевле?

— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ, милостивый государь! Увы, готовность получать оскорбленія съ каждымъ днемъ все больше и больше увеличивается, а предложеніе оскорбленій, напротивъ того, въ такой же пропорціи уменьшается!

— Но во всякомъ случаѣ, если вы позволите, я...

И я немедленно укорилъ его въ непомѣніи христіанскихъ правилъ и положилъ на столъ двугривенный.

— Что касается до меня,—присовокупилъ Глумовъ, соревнуя мнѣ:—то я нахожу, что въ вашей таксѣ всего поразительнѣе—это строгая постепенность вознагражденій. А потому, хотя я и не желаю упоминать о вашихъ родителяхъ, но прошу васъ счесть какъ бы я упомянулъ объ нихъ. Причемъ прилагаю полтинникъ.

Затѣмъ Балалайкинъ, съ своей стороны, замахнулся (но безъ нанесенія) и отсчиталъ три четвертака. И такимъ образомъ, меньше чѣмъ въ минуту, безъ всякихъ безпокойствъ, добрый старикъ получилъ рубль сорокъ пять копѣекъ серебромъ, и вслѣдствіе этого совершенно воспрянулъ духомъ.

— Ну-съ! смотрите-ка теперь вотъ эту штучку! — весело сказалъ онъ, очевидно не желая оставаться у насъ въ долгу за причиненное одолженіе.

Онъ щелкнулъ себя по лѣвой щекѣ, и мы съ новымъ изумленіемъ увидѣли, что и на ней мгновенно начали выступать печатныя строки, такъ что черезъ минуту мы уже могли прочитать слѣдующее курьёзное объявленіе:

„КРАСА ДЕМИДРОНА“.

„Газета ассенизаціонно-любострастная, выходящая въ дни публичныхъ дракъ.

„Давно уже чувствуется въ нашей публикѣ потребность въ обстоятельныхъ свѣдѣніяхъ о происходящихъ въ здѣшней столицѣ дракахъ, а между тѣмъ органа, который удовлетворялъ бы таковому справедливому во всѣхъ отношеніяхъ желанію, или вовсе нѣтъ, или же существуютъ такіе, которые затемняютъ дѣло ненужными философическими размышленіями. Вознамѣрившись пополнить этотъ пробѣлъ, мы предприняли наше изданіе въ надеждѣ, что публика оцѣнитъ наши труды и не пожалѣетъ какихъ-нибудь трехъ рублей въ годъ, за которые получитъ чтеніе достаточно разнообразное и притомъ чуждое всякихъ посягательствъ на потрясеніе чего бы то ни было. Мы не исчисляемъ здѣсь именъ нашихъ сотрудниковъ, но объявляемъ съ понятною гордостью, что большинство нашихъ литературныхъ дѣятелей обѣщало намъ свое благосклонное содѣйствіе, а знаменитый г. Зетъ даже обязался исключительно помѣщать у насъ распутные труды свои. Равнымъ образомъ мы не задаемся никакими широкими или утопическими задачами, а будемъ преслѣдовать одну цѣль: угожденіе читателевой утробы. Въ этихъ видахъ газета наша доставитъ обильное и разнообразное чтеніе по нижеслѣдующимъ отдѣламъ:

„1) Свѣдѣнія о дракахъ въ публичныхъ мѣстахъ, съ подробнымъ изложеніемъ всѣхъ перипетій отъ начала до окончательной развязки. На мѣста дракъ будутъ на счетъ газеты командируемы талантливѣйшіе изъ нашихъ репортеровъ.

„2) Литературно-лакейское обозрѣніе всего происходящаго въ Демидовомъ саду и въ балаганахъ Егарева и Малафѣева. Отдѣломъ этимъ будетъ завѣдывать г. Зетъ.

3) Адресы наилучшихъ кокотокъ, съ краткими ихъ біографіями и съ изложеніемъ приличествующихъ свѣдѣній. Изложеніе сіе мы, конечно, будемъ дѣлать съ соблюденіемъ требуемой приличіями тайны;

но такъ какъ контора редакціи открыта для желающихъ ежедневно отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ пополудни, то въ ней всѣ необходимыя разъясненія могутъ быть даны за самое умѣренное вознагражденіе.

„4) Прогулка по трактирнымъ заведеніямъ, съ изложеніемъ цѣнъ на кушанья и напитки, указаніемъ на особенно замѣчательные предметы гастрономіи и увѣковѣченіемъ именъ расторопнѣйшихъ половыхъ и гарсоновъ. Само собой разумѣется, что особенное вниманіе будетъ обращено на тѣ трактиры, содержатели коихъ обяжутся вносить за сіе въ редакцію опредѣленное вознагражденіе, хотя бы въ кухняхъ ихъ и не было соблюдаемо надлежащей опрятности.

„и 5) Разное. Анекдоты, острыя слова, афоризмы, куплеты, ложные слухи, употребительнѣйшія средства для излеченія отъ любострастныхъ болѣзней и проч.

„Сроками выхода мы себя не стѣсняемъ; но такъ какъ въ драках недостатка не бываетъ, то читатели могутъ быть увѣрены, что газета наша будетъ появляться чаще, нежели нужно.

„Редакторъ по найму: Иванъ Ивановъ Очищенный,
„бывшій пропскій помѣщикъ, преданный суду за злоупотребленіе помѣщичьей властью, а впослѣдствіи танёръ".

Я не успѣлъ еще дочитать объявленія до конца, какъ Глумовъ уже тискалъ благороднаго отца въ своихъ объятіяхъ.

— Иванъ Иванычъ! да вѣдь это ты! ты! ты! ты!—восклицалъ онъ въ неописанномъ восхищеніи.

Глава V.

Итакъ, загадка разъяснилась: передъ нами стоялъ бывшій Кубарихинъ танёръ, свидѣтель игръ нашей молодости! Мы долго не могли придти въ себя отъ восхищенія и въ радостномъ умиленіи поочередно мяли его въ своихъ объятіяхъ. Да и онъ пришелъ въ неописанное волненіе, когда мы неопровержимыми фактами доказали, что никакое alibi въ настоящемъ случаѣ немыслимо.

— „Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ?" —помнишь?—допрашивалъ Глумовъ.

— Помню!—отвѣтилъ онъ, тщетно усиливаясь сообщить твердость дрогнувшему голосу.

— А помнишь ли, какъ я однажды поднесъ тебѣ рюмку водки, настоенную на воспламеняющихъ веществахъ, и какъ ты потомъ чуть съ ума не сошелъ!—припомнилъ и я съ своей стороны.

— Помню!

— А помнишь ли...

Словомъ сказать, припомнили такую массу забавныхъ и вполнѣ культурныхъ шутокъ, что у старика даже волосы дыбомъ встали.

— Тогда еще у меня таксы-то этой не было!—сказалъ онъ, но на этотъ разъ такъ благодушно, что не укоризна слышалась въ его голосѣ, а скорѣе благодарное воспоминаніе о шалостяхъ, свойственныхъ юношамъ, получившимъ образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

— Иванъ Иванычъ! какъ ты выросъ! похорошѣлъ!—тормошилъ его Глумовъ.

— И какъ отлично одѣтъ! — присовокупилъ я: — точно собираешься въ первый разъ показать свою дочь на балѣ у Кессенихъ!

Но послѣднія слова словно обожгли его. Онъ грустно взглянулъ на насъ, и крупныя слезы полились изъ его глазъ, постепенно подмачивая объявленіе объ изданіи газеты „Краса Демидрона“.

— Друзья! не растравляйте старыхъ, но незажившихъ еще ранъ! —обратился онъ къ намъ совершенно растроганный:—дочь, о которой вы говорите, дочь, которая была украшеніемъ баловъ Марцинкевича —ея уже нѣтъ! И моей милой, бѣленькой Амаліи, которая угощала васъ, господинъ Глумовъ, шмандткухеномъ —и ея уже нѣтъ! Всѣхъ, всѣхъ пережило это бѣдное, старое сердце... и не разбилось! О, это было хорошее, свѣтлое, счастливое время, несмотря на то, что я тогда носилъ фракъ, перешитый изъ вицмундира, оставшагося послѣ титулярнаго совѣтника Поприщина!

— Но теперь... развѣ ты не счастливъ?

— О, теперь!!! теперь я — только тѣнь того веселаго Ивана Иваныча, котораго вы когда-то знавали въ этой самой квартирѣ! Хотя же по наружности я и имѣю видъ благороднаго отца, но въ сущности я—таперъ болѣе нежели когда-либо!

— Но отчего же ты помолодѣлъ?

— Такова воля Провидѣнія, которое невидимо утучняетъ меня, дабы хотя отчасти вознаградить за претерпѣваемыя страданія. Ибо спрашиваю я васъ по совѣсти—какое можетъ быть страданіе горше

этого: жить въ постоянномъ соприкосновеніи съ гласною кассою ссудъ и въ то же время получать не болѣе двадцати-пяти рублей въ мѣсяцъ, уплачивая изъ нихъ же около двадцати на свое иждивеніе?

— Послушай, Ваня! да неужели же бѣленькая, маленькая Мальхенъ до того переродилась, что сдѣлалась содержательницей гласной кассы ссудъ?

— Мальхенъ—никогда! Мальхенъ смотритъ теперь съ небеси —и ничего не видитъ! А содержательница гласной кассы ссудъ—это Матрена Ивановна!

— Такъ ты, значитъ, женился въ другой разъ? Да разскажи же, братецъ, разскажи!

– Это тяжелая и скорбная исторія, которую я, впрочемъ, охотно разсказываю всякому, кто предлагаетъ мнѣ серьезное угощеніе. И если вы желаете назначить мнѣ день и часъ въ „Старомъ Пекинѣ“ или въ гостинницѣ „Москва“, то я—готовъ!

— Но отчего же не теперь?—прервалъ Балалайкинъ, вдругъ проникшійся чувствомъ великодушія:—по счастливой случайности, я сегодня совершенно свободенъ отъ хожденія, а что касается до угощенія, то навѣрное я удовлетворю васъ несравненно лучше, нежели какой-нибудь „Пекинъ“!

И мы, и Очищенный охотно согласились. Балалайкинъ хлопнулъ въ ладоши, и по знаку его два лжесвидѣтеля втащили въ комнату громадный подносъ, уставленный водками и закусками, а два другихъ лжесвидѣтеля послѣдовали за первыми съ другимъ подносомъ, обремененнымъ разнообразнымъ холоднымъ мясомъ.

— Рекомендую!—пригласилъ насъ Балалайкинъ:—вотъ эта икра презентована мнѣ Вьюшинымъ за поздравленіе его съ днемъ ангела, а этотъ балыкъ присланъ прямо изъ Кокана бывшимъ мятежнымъ ханомъ Насръ-Эддиномъ за то, что я подыскалъ ему невѣсту. Хотите, я прочту вамъ его рескриптъ?

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Я всегда держу его въ карманѣ, какъ свидѣтельство, что всѣ порученія исполняются мною безъ обмана. Вотъ этотъ рескриптъ:

Копія.

„Достопочтенному, могущественному и милостивому господину аблакату Балалайкѣ, въ Питембурхи.

„Свѣтъ очей моихъ, господинъ аблакатъ Балалайка!

„Докладываю вамъ, что присланную при письмѣ дѣвицу Людмилу мы въ сохранности получили, и все, что̀, по описи, той дѣвицѣ принадлежитъ—все оное оказалось исправно. И пишете вы намъ, что оная Людмила есть дочь кіевскаго князя Свѣтозара, а въ плакатѣ значится: дочь фейерверкера. И для насъ это все единственно, а такъ только къ слову о семъ упоминаемъ, что обманули вы насъ. А впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы, послѣ пораженія нашихъ войскъ подъ Махрамомъ, въ вѣрное подданство Россіи перешли и подъ власть капитана-исправника Сидора Кондратьича подведены, въ первый разъ, по милости оной дѣвицы Людмилы, восчувствовали, что и горесть не безъ утѣшенія бываетъ. И за все то ваше одолженіе и причиненную намъ радость жалуемъ вамъ тартунъ (приношеніе): одинъ глиняный кувшинъ воды и балыкъ вѣсомъ двадцать фунтовъ. Ахъ, отмѣнна балыкъ!

„За симъ, да спасетъ васъ Аллахъ, а я того желаю.

„Бывшій мятежный, а нынѣ вѣрный господина моего Сидора Кондратьича слуга *Сеидъ-Махомедъ-Шаръ-Эддинъ*, лжеханъ".

— Зачѣмъ же онъ воды-то кувшинъ прислалъ?—полюбопытствовалъ я.

— А у нихъ вода въ рѣдкость—вотъ онъ и вообразилъ, что и впрѣсть какъ мнѣ этимъ угодитъ. Хотите, я и кувшинъ покажу?

— Пожалуйста!

Принесли кувшинъ, осмотрѣли. Кувшинъ какъ кувшинъ, только сырой глиной воняетъ.

— Да, господа, немало-таки было у меня возни съ этимъ ханомъ!—сказалъ Балалайкинъ:—трехъ невѣстъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ему переслалъ—и все мало! Теперь четвертую подыскиваю!

— Осмѣлюсь вамъ доложить,—продолжалъ Очищенный:—есть у меня на примѣтѣ дѣвица одна, которая въ отъѣздъ согласна... ахъ, хороша дѣвица!

— Прекрасно-съ, будемъ имѣть въ виду. Однако, признаюсь вамъ, и безъ того отбою мнѣ отъ этихъ невѣстъ нѣтъ. Каждое утро весь Фонарный переулокъ такъ и ломится въ дверь. Даже молодые люди приходятъ—право! звонокъ за звонкомъ.

— Странно, однакожъ, что за всѣ эти хлопоты онъ васъ балыкомъ да кувшиномъ воды отблагодарилъ!—удивился Глумовъ.

— Que voulez-vous, mon cher! Эти ханы... нѣтъ въ мірѣ

существъ неблагодарнѣе ихъ! Впрочемъ, онъ мнѣ еще пару шакаловъ прислалъ, да чорта ли въ нихъ! Позабавился нѣсколько дней, поѣздилъ на нихъ по Невскому, да и отдалъ Росту въ Зоологическій садъ. Главное дѣло, завываютъ какъ-то—ну, и кучера искусали. И представьте себѣ, кромѣ бифштексовъ ничего не ѣдятъ, канальи! И непремѣнно чтобъ изъ кухмистерской Завитаева—извольте-ка отсюда на Пески три раза въ день посылать!

— Тсс...

— А вотъ эти кильки... это достопримѣчательность! Я ихъ самъ, собственными руками, прошлымъ лѣтомъ ловилъ. Вы знаете, вѣдь я, было, въ политикѣ попался... какъ же! да! Ну, и надобно было заграницу удирать. Нанялъ я, знаете, живымъ манеромъ чухонца: айда, мина пуси, сколько, шельма бѣлоглазая, возьмешь Балтійское море переплыть? Взялъ онъ съ меня тысячу рублей денегъ да водки ведро, уложилъ меня на дно лодки, прикрылъ рогожей—валяй по всѣмъ по тремъ! Только какъ къ острову Готланду стали подъѣзжать—тогда выпустилъ. Тутъ-то я и ловилъ кильку, покуда не обнаружилось, что вся эта исторія—одно недоразумѣніе. Да, господа, испыталъ я въ то время! Какъ ни хорошо за границей, а все-таки съ милой родиной разставаться тяжело! Ѣхали мы, знаете, мимо Кронштадта—съ одной стороны Кронштадтъ, а съ другой Свеаборгъ—а я лежу и думаю: вдругъ выпалитъ? Вѣдь броненосецъ пробиваетъ—а мы... что̀ такое мы?!

— Не выпалилъ?

— Нѣтъ, зазѣвались. Помилуйте! броненосцевъ пропускаетъ, а наша лодка... представьте себѣ, орѣховая скорлупа—вотъ какая у насъ была лодка! И вдобавокъ поминутно открывается течь! А впрочемъ я тогда воспользовался, поѣздилъ-таки по Европѣ! Въ Женевѣ былъ—часы купилъ, а потомъ проѣхалъ въ Парижъ—такую, я вамъ скажу, коллекцію фотографическихъ карточекъ пріобрѣлъ—пальчики оближете!

При упоминаніи о карточкахъ Очищенный сладострастно зачавкалъ зубами.

— Мнѣ бы...—промолвилъ онъ, собираясь чихнуть.

— Покажу-съ! я вамъ, господа, все покажу, всѣ мои коллекціи! Такія карточки есть, что даже постичь невозможно—parole d'honneur! Позвольте, что̀ тамъ еще такое? ба! кажется, семга?

Обращаю ваше вниманіе на нее, messieurs! Эту самую семгу Немировичъ-Данченко собственными руками изловилъ! Мы съ нимъ вмѣстѣ въ Соловкахъ были, пиво-медъ пили, но усамъ текло, въ ротъ не попало—такъ вотъ онъ, на память связывающихъ насъ узъ, изловилъ и прислалъ! Теперь отъ нея только хвостъ остался—но удивительный! Немировичъ предковинные анекдоты объ этой семгѣ разсказываетъ. Уморительная, говоритъ, рыба! и умна... совсѣмъ какъ человѣкъ! Сидишь этакъ на берегу моря, разложишь костеръ, вскипятишь въ котелкѣ воду и кликнешь: пси! Ну, она видитъ, что ее-то именно и недостаетъ, чтобъ вышла уха—сейчасъ сама, живая, и приплыветъ! Клянусь! хотите, я васъ съ Немировичемъ познакомлю?

— Непремѣнно! Хотимъ! хотимъ!

— На дняхъ ваше желаніе будетъ выполнено. А вотъ эти фигимиѣ Эюбъ-паша презентовалъ... Теперь, впрочемъ, не слѣдовало бы объ этомъ говорить—война!—ну, да вѣдь вы меня не выдадите! Да вы попробуйте-ка! ароматъ-то какой!

— Эюбъ-то за что же вамъ подарки дѣлаетъ?

— А я тутъ ему одно свѣдѣньице въ дипломатическихъ сферахъ вывѣдалъ... такъ, пустячки!

— Балалайкинъ! пощадите! вѣдь вы себя въ измѣнѣ отечеству обличаете!—воскликнули мы въ ужасѣ.

— Ah, mais entendons-nous! Я, дѣйствительно, свѣдѣньице для него вывѣдалъ, но онъ черезъ это самое свѣдѣньице сраженье потерялъ—помните, въ томъ ущеліи, какъ-бишь его?.. Нѣтъ, господа! я вѣдь въ этихъ дѣлахъ остороженъ! А онъ мнѣ, между прочимъ, презентъ! Однако я его и тогда предупреждалъ. Ну, куда ты, говорю, лѣзешь, скажи на милость! вѣдь если ты проиграешь сраженіе—тебя турки судить будутъ, а если выиграешь—образованная Европа судить будетъ! Подавай-ка лучше въ отставку!

— Не послушался?

— Не послушался—и проигралъ! А жаль Эюба, до слезъ жаль! Лихой малый и даже на турку совсѣмъ не похожъ! Я съ нимъ вмѣстѣ въ баню ходилъ—совсѣмъ какъ есть человѣкъ! только тѣло голубое, совершенно какъ наши жандармы въ прежней формѣ до преобразованія!

Балалайкинъ на минуту задумался, какъ бы захлебнувшись. Очевидно, лганье илыло на него съ такой быстротой, что онъ не успѣ-

валъ справиться съ массами безпрерывно вырабатывающагося матеріала.

— Да, господа, много-таки я въ своей жизни перипетій испыталъ! — началъ онъ вновь: — въ Березовъ сосланъ былъ, пробовалъ картошку тамъ акклиматизировать — не выросла! Но за то много и радостей извѣдалъ! Напримѣръ, восходъ солнца на берегахъ Ледовитаго океана—это что же такое! Представьте себѣ, въ одно и то же время и восходитъ, и заходитъ—гдѣ это увидите? Оттого тамъ никто и не спитъ. Зимой спятъ, а лѣтомъ тюленей ловятъ!

— Желалъ бы я знать: тюленье мясцо—пріятно оно на вкусъ? —полюбопытствовалъ Очищенный.

— Мыломъ отдаетъ, а впрочемъ мы съ Немировичемъ ѣли. Немировичъ, Латкинъ и я. Тамъ, батюшка, лѣтомъ семьдесятъ-три градуса морозу бываетъ, а зимой—это что-жъ! Такъ тутъ и тюленинѣ будешь радъ. И однажды тамъ носъ отморозилъ: высморкался—смотрю, анъ носъ въ рукѣ!

— Ахъ, чортъ побери!

— Да, батюшка. Къ счастью, я сейчасъ же нашелся: взялъ тепленькаго тюленьяго маслица, помазалъ, приставилъ—и вотъ какъ видите!

Онъ предложилъ намъ освидѣтельствовать свой носъ: дѣйствительно, нельзя было даже заподозрить, чтобъ тутъ когда-нибудь пустое мѣсто было.

— Всего я испыталъ! и на золотыхъ пріискахъ былъ; такіе, я вамъ скажу, самородки находилъ, что за одинъ мнѣ разомъ пять лѣтъ каторги сбавили. Теперь онъ въ горномъ институтѣ, въ музеѣ, лежитъ.

— Гм... да? А скажите пожалуйста, слыхивалъ я, что на пріискахъ рабочіе это самое золото очень искусно скрываютъ. Возьметъ, будто бы, иной золотничокъ или два песочку и такъ спрячетъ, что никакими, то-есть, средствами... Правда ли это?

— Не по золотничку, а фунтовъ по пяти разомъ прячутъ — вотъ я вамъ какъ скажу! Я самъ... да что тутъ! вы думаете, состояніе-то мое откуда? Обстановка эта и все?..

— Неужто?

— Все оттуда! тамъ всему начало положено, тамъ-съ! Отыскивая для мятежныхъ хановъ невѣсть, немного наживешь! Чорта съ два —

наживешь тутъ! Тамъ—все; и связи мои всѣ тамъ начались! Я теперь у всѣхъ золотопромышленниковъ по всѣмъ дѣламъ повѣреннымъ состою: женамъ шляпки покупаю, мужьямъ — прически. Сочтите, сколько я за это одного жалованья получаю? А рябчики сибирскіе? а нельма? — это не въ счетъ! Мнѣ намедни купецъ Трапезниковъ мамонтовъ зубъ изъ Иркутска въ подарокъ прислалъ — хотите, покажу?

— Ахъ, сдѣлайте ваше одолженіе!

— И покажу, если впрочемъ въ Зоологическій садъ не отдалъ. У меня денегъ прорва, на сто лѣтъ хватитъ. Въ прошломъ году я въ Ниццу ѣздилъ—смотрю, на горѣ у самаго въѣзда замокъ Одиффрэ стоитъ. Спрашиваю: что стоитъ? — милліонъ двѣсти тысячъ! Дѣлать нечего, вынулъ изъ кармана деньги и отсчиталъ!

— Ахъ, Господи!

Очищенный не выдержалъ: всталъ съ кресла и перекрестился.

— Видалъ я, господинъ Балалайкинъ! даже очень часто видалъ!—сказалъ онъ:—но, признаюсь...

— Я въ Ниццѣ двадцать лѣтъ жилъ, такъ всѣ даже удивлялись. Оркестръ у меня былъ, концерты по пятницамъ...

Балалайкинъ постепенно вошелъ въ такой экстазъ, что пѣна у него показалась у рта. Тяжело становилось.

— Скажите, Балалайкинъ, какъ вамъ приходится покойный Репетиловъ?—спросилъ я, чтобы какъ-нибудь разрѣдить атмосферу лганья.

— Репетиловъ? мнѣ? Помилуйте! да онъ меня отъ купели воспринималъ! Но, кромѣ того, и еще чѣмъ-то приходится. Нашъ родъ очень древній! Мы—проскіе—Прокопа Ляпунова помните? — ну, такъ мы всѣ по женской линіи отъ него. Молчалины, Репетиловы, Балалайкины, Фамусовы—всѣ! А Чацкій Александръ Андреичъ—тотъ на границѣ съ Скопинскимъ уѣздомъ!

— А знаете ли, Балалайкинъ, что про васъ, проскихъ, дурная слава идетъ?

— Это что лгуны-то мы, что-ли? Да, нечего сказать, любятъ-таки мои соотечественники поврать! Представьте себѣ, на дняхъ какой случай былъ. Пріѣзжаетъ ко мнѣ одинъ компатріотъ: „знаешь ли, говоритъ, что твоя родительница опять къ Илюшкѣ Соколову въ

таборъ сбѣжала?“ *) Натурально, сейчасъ же телеграмму въ тристатридцать словъ къ Загорѣцкому: такъ и такъ, нельзя ли предотвратить? И что-жъ? ровно черезъ годъ получаю отвѣтъ: „Помилуй, сердечный другъ! твоя родительница вотъ уже третій годъ, какъ безъ ногъ въ Пропскѣ на постояломъ дворѣ лежитъ!“ Нѣтъ, вы мнѣ скажите, зачѣмъ онъ мнѣ солгалъ?! Взбуторажилъ, заставилъ горячку пороть? а?

Бесѣдуя такимъ образомъ, мы и не замѣтили, какъ съѣли и выпили все, что̀ находилось на подносахъ. Наконецъ Глумовъ первый опомнился.

— А вѣдь мы сѣли совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы пропское вранье слушать, — сказалъ онъ. — Иванъ Иванычъ! ты, кажется, намъ исторію своихъ превращеній обѣщалъ?

— Я готовъ!

— Такъ вотъ что̀, Балалайкинъ! велите-ка вы намъ подать тѣхъ сигаръ, которая вамъ гаванскій губернаторъ за лжесвидѣтельство прислалъ, да ликёрцу того, который вамъ подарилъ Эрберъ за написаніе объявленія о распродажѣ винъ и ликёровъ! — безъ церемоніи распорядился Глумовъ.

Мы перешли въ кабинетъ Балалайкина, и хотя онъ умолялъ насъ прежде всего просмотрѣть пріобрѣтенную имъ въ Парижѣ коллекцію фотографическихъ картинокъ, но мы переломили себя и отложили это благонамѣренное занятіе до болѣе благопріятнаго времени. Усѣвшись кругомъ стола, покуривая удивительнѣйшія „non plus ultra“ и имѣя передъ собою рюмки съ душистымъ ликёромъ des iles, мы были совершенно готовы къ воспріятію исповѣди вольнонаемнаго редактора газеты „Краса Демидрона“.

— Разсказывай-ка, Иванъ Иванычъ, разсказывай, братъ! — молвилъ Глумовъ, усаживаясь поудобнѣе въ кресло и зажмуривая глаза.

Очищенный началъ.

---

*) Для уразумѣнія этого необходимо напомнить читателю, что Балалайкинъ — сынъ извѣстной когда-то въ Москвѣ цыганки Стешки, бывшей, до выхода въ замужство за провинціальнаго секретаря Балалайкина, въ интимныхъ отношеніяхъ съ Репетиловымъ, вслѣдствіе чего Балалайкинъ и говоритъ, что Репетиловъ ему, „кромѣ того, еще тѣмъ-то приходится“ (См. „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности“).

Глава VI.

„Я—отпрыскъ старинаго дворянскаго рода. и настоящая, коренная моя фамилія—Гадюкъ. Очищенными же мы стали звaться недавно, по одному особенному случаю, о которомъ я упомяну въ своемъ мѣстѣ.

„Насчетъ происхожденія моихъ предковъ существуютъ два сказанія: одно, мало достовѣрное, принадлежитъ историку изъ Москвы; другое, еще менѣе достовѣрное, сложилось здѣсь, въ Петербургѣ.

„Маститый московскій историкъ производитъ нашъ родъ изъ доисторическаго Новгорода. Былъ-де новгородскій „благонамѣренный человѣкъ“ (а по другимъ источникамъ—„воръ“), Добромыслъ Гадюкъ, который прежде другихъ возъимѣлъ мысль о призваніи варяговъ, о чемъ и сообщилъ на вѣчѣ прочимъ новгородскимъ обывателямъ. „Съ незапамятныхъ временъ, — сказалъ онъ, — варяги учатъ насъ уму-разуму: жгутъ города и села, грабятъ имущества, мужей убиваютъ, женъ насилуютъ, но и за всѣмъ тѣмъ ни ума, ни разума у насъ нѣтъ. Какъ вы, други милые, полагаете, отчего?“ Но такъ какъ новгородцы, вмѣсто отвѣта, только почесали въ затылкахъ, то Гадюкъ продолжалъ: „А я такъ знаю отчего. Оттого, други милые, что хоть и учатъ насъ варяги уму-разуму, но методы правильной у нихъ нѣтъ. Грабятъ—не чередомъ, убиваютъ—не ко времени, насилуютъ—не по закону. Ну и выходитъ, что мы ихней науки не понимаемъ, а они растолковать ее намъ не могутъ или не хотятъ. Такъ ли я, братцы, говорю?“ Дрогнули сердца новгородцевъ, однако поняли вольные вѣчевые люди, что Гадюкъ говоритъ правду, и въ одинъ голосъ воскликнули: „Такъ!“ —Такъ вотъ что я надумалъ; пошлемте-ка мы къ варягамъ ходоковъ и велимъ сказать: господа варяги! чѣмъ набѣгомъ-то насъ разорять—разоряйте вплотную: грабьте имущество, жгите города, насилуйте женъ, но только чтобъ дѣлалось у насъ все это на предбудущее время... по закону! Такъ ли я говорю?“ Опять дрогнули сердца новгородцевъ, но такъ какъ Гадюкова правда была всѣмъ видима, то и опять всѣ единогласно воскликнули: „такъ!“ Тогда выступилъ впередъ старѣйшина Гостомыслъ и вопросилъ: „А почему ты, благонамѣренный человѣкъ Гадюкъ, полагаешь, что быть ограбленнымъ по закону лучше, нежели безъ закона?“ На что Гадюкъ отвѣтилъ кратко: „Какъ же возможно! по закону или безъ за-

копа! по закону — всѣмъ вѣдомо — лучше! И подивились новгородцы Гадюковой мудрости, и порѣшили: призвать варяговъ и предоставить имъ города жечь, имущества грабить, женъ распловать — по закону!

„Сказано — сдѣлано. Прибыли изъ-за моря три князя: Рюрикъ — въ Новгородъ, Синеусъ — въ Ладогу, Труворъ — въ Изборскъ. Пріѣхали и легли съ дороги спать. Только спятъ они и видятъ во снѣ всѣ трое одинъ и тотъ же рядъ картинъ, прообразующихъ будущія судьбы ихъ новаго отечества. Сначала удѣльный періодъ — князья жгутъ; потомъ татарскій періодъ — татары жгутъ; потомъ московскій періодъ — жгутъ, въ рѣкѣ топятъ и въ синодики записываютъ; потомъ самозванщина — жгутъ, кресты цѣлуютъ, бороды другъ у дружки по волоску выщипываютъ; потомъ лейбъ-кампанскій періодъ — жгутъ, бьютъ кнутомъ, отрѣзываютъ языки, раздаютъ мужиковъ и пьютъ венгерское; потомъ наказъ намѣстникамъ: „како въ благопотребное время на законы наступать надлежитъ“; потомъ учрежденіе губернскихъ правленій: „како таковымъ благопотребнымъ на законъ наступаніямъ приличное въ законахъ же оправданіе находить“; а наконецъ и появленіе прокуроровъ: „како безъ надобности въ сѣти уловлять“. Вскочили три брата въ смущеніи великомъ и не знаютъ, какъ быть. Думаютъ: а что, коли ежели изъ-за насъ вся эта программа да выполнится? И стали они тосковать. Первый затосковалъ Синеусъ въ Ладогѣ — утопился въ озерѣ; второй затосковалъ Труворъ въ Изборскѣ — и повѣсился на возжахъ. Рюрикъ же, какъ имѣлъ умъ свободный, сразу принять напраспую смерть не пожелалъ. Созвалъ онъ вѣче и обратился къ нему съ слѣдующею рѣчью: „Видѣлъ я, господа новгородцы, на новоселье у васъ нехорошій сонъ! Будто бы черезъ меня по всей Руси губернскія правленія пошли, а потомъ и палаты государственныхъ имуществъ. И такъ меня этотъ сонъ разстроилъ, что ужъ и не знаю, какъ съ собой благороднѣе порѣшить: утопиться или повѣситься?“ Но новгородцы, видя, что у князя ихняго умъ свободный, молчали, а про себя думали: не ровенъ случай, и съ петли сорвется, и изъ воды сухъ выйдетъ — какъ тутъ совѣтовать! Гостомыслъ же произнесъ: „гм!“ — и тутъ же испустилъ духъ. Тогда выступилъ впередъ благонамѣренный человѣкъ Гадюкъ и за всѣхъ отвѣтилъ: „А по моему, ваше сіятельство, ежели вся эта программа и подлинно впослѣдствіи выполнится, такъ и тутъ ни топиться, ни вѣшаться резону нѣтъ!“ Задумался Рюрикъ: по праву пришлись ему Гадюковы

слова, но съ другой стороны думается: удѣльный періодъ, московскій періодъ, татарскій періодъ... нехорошо! Какъ бы такъ устроить, чтобы всю вину на самихъ новгородцевъ свалить? „Помилуй, братецъ, —говоритъ,—вѣдь во всѣхъ учебникахъ будетъ записано: вотъ какія дѣла черезъ Рюрика пошли! школяры во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ будутъ долбить: обѣщался-де Рюрикъ по закону грабить, а вонъ что́ вышло!“ — „А наплевать! пускай ихъ долбятъ!“ настаивалъ благонамѣренный человѣкъ Гадюкъ: „вы, ваше сіятельство, только бразды покрѣпче держите, и будьте увѣрены, что черезъ тысячу лѣтъ на этомъ самомъ мѣстѣ“... Тогда Рюрикъ совсѣмъ уже повеселѣлъ: „Видѣлъ я и это во снѣ,—прервалъ онъ Гадюка,—даже художника Микѣшина видѣлъ, но, по скромности, о семъ умолчалъ. Такъ какъ же, господа новгородцы? По вашему, стало быть, наплевать!“ — „Наплевать!“ повторилъ Гадюкъ. И опять подивились новгородцы Гадюковской мудрости и въ одинъ голосъ воскликнули: „Такъ! наплевать!“ Рюрикъ же, натянувъ бразды, сказалъ: „Нинъ быть по вашему!“ и началъ дѣйствовать—по закону!“

— Такъ вотъ каковъ былъ мой первый достовѣрный предокъ! —заключилъ Очищенный, оглядывая насъ торжествующимъ взглядомъ и на минуту прерывая разсказъ, дабы удостовѣриться, какое впечатлѣніе произвела на насъ его генеалогія.

Впечатлѣніе это было разнообразное. Балалайкинъ—повѣрилъ сразу, и былъ такъ польщенъ, что у него въ гостяхъ находится человѣкъ столь несомнѣнно-древней высокопоставленности, что въ знакъ почтительной преданности распорядился подать шампанскаго. Глумовъ, по обыкновенію своему, отнесся равнодушно и даже, пожалуй, скептически. Но я... я припомнилъ! Что-то такое было! говорилъ я себѣ. Гдѣ-то въ прошломъ, на школьной скамьѣ...было, именно было!

— Глумовъ! не помнишь ли?—обратился я къ моему другу.

Не успѣлъ я произнести эти слова... и вдругъ вспомнилъ! Да! это оно, оно самое! Помилуйте! вѣдь еще въ школѣ меня и моихъ товарищей по классу сочиненіе заставляли писать на тему: „Вѣщій сонъ Рюрика“... о, Господи!

— Глумовъ! да неужто же ты не помнишь? еще мы съ тобой соперничали: ты утверждалъ, что вѣче происходило при солнечномъ восходѣ, а я—что при солнечномъ закатѣ? А „крутые берега Волхова, медленно катившаго мутныя волны“... помнишь? А „золотой

Рюриковъ шеломъ, на которомъ, играя, преломлялись лучи солнца"? Еще Аверкіевъ, изображая смерть Гостомысла, написалъ: „слезы тихо струились по челу его"... неужто не помнишь?

Въ виду столь ясныхъ указаній Глумовъ мгновенно преобразился. Сладко намъ было, отрадно. Подъ вліяніемъ наплыва чувствъ мы оба вскочили съ мѣстъ и поцѣловались.

— Помню! все помню! И „шеломъ Рюрика", и „слезы, струившіяся по челу Гостомысла"... помню! помню! помню!—твердилъ Глумовъ въ восхищеніи.—Только, братъ, вотъ что: не изъ „Мароы" ли это „Посадницы" было?

— Помилуй, душа моя! именно изъ „Рюрикова вѣщаго сна"! Мнѣ впослѣдствіи самъ маститый историкъ всю эту продѣлку разсказывалъ... онъ по источникамъ ее проштудировалъ! Онъ, братецъ, даже съ Оффенбахомъ списывался: нельзя ли, молъ, на этотъ сюжетъ оперетку сочинить? И еслибы смерть не пресѣкла дней его въ самомъ разгарѣ подъятыхъ трудовъ...

— А что ты думаешь! вѣдь сюжетъ для оперетки—хоть куда!

— Это, мой другъ, такой сюжетъ! такой сюжетъ! Еслибъ только растолковать Оффенбаху какъ слѣдуетъ! Представь себѣ, напримѣръ, хоръ помпадуровъ! или хоръ капитанъ-исправниковъ! или хоръ судебныхъ слѣдователей по особенно-важнымъ дѣламъ! Вѣдь это что такое!

— Отлично—что и говорить! Да, братъ, изумительный былъ человѣкъ этотъ маститый историкъ: и науку, и свистоляску—все понималъ! А исторію русскую какъ зналъ—даже повѣрить трудно! Начнетъ, бывало, разсказывать, какъ Мстиславы съ Ростиславами дрались—ну, точно самъ очевидцемъ былъ! И что въ немъ особенно дорого было: ни на чью сторону не поровилъ! Мнѣ, говоритъ, все одно: Мстиславъ ли Ростислава, или Ростиславъ Мстислава побилъ, потому что для меня что исторіей заниматься, что бирюльки таскать—все единственно!

— Да вѣдь, въ сущности, оно...

Словомъ сказать, мы бы навѣрное увлеклись воспоминаніями, еслибъ Очищенный не напомнилъ, что ему предстоитъ еще многое разсказать. Исполнивши это, онъ продолжалъ:

„Другое сказаніе насчетъ происхожденія моихъ предковъ сложилось на лонѣ той сыскной исторической школы, которая хотя и имѣетъ своимъ родоначальникомъ Бартенева изъ Москвы, но развилась и на-

стоящимъ образомъ возмужала здѣсь, въ Петербургѣ. Сказаніе это гласитъ кратко: первый Гадюкъ былъ выходецъ изъ Орды, который по распоряженію начальства позналъ Истиннаго Бога, при чемъ воспріемниками были: генералъ-маіоръ Отчаянный и княжна Вертихвостова. Впрочемъ мемуары послѣдней уже представлены потомками ея въ распоряженіе „Русской Старины“ и, безъ сомнѣнія, прольютъ свѣтъ на это замѣчательное происшествіе.

„Я не буду говорить о томъ, которое изъ этихъ двухъ сказаній болѣе лестно для моего самолюбія: и то, и другое не помѣшали мнѣ сдѣлаться вольнонаемнымъ редакторомъ „Красы Демидрона“. Да и не затѣмъ я повелъ рѣчь о предкахъ, чтобы хвастаться передъ вами —у каждаго изъ васъ самихъ навѣрное сзади, по крайней мѣрѣ, по Рединѣ сидитъ—а только затѣмъ, чтобы наглядно показать, къ какимъ полезнымъ и въ то же время неожиданнымъ результатамъ могутъ приводить достовѣрныя изслѣдованія о родопроисхожденіи Гадюковъ.

„Затѣмъ, относительно позднѣйшихъ моихъ предковъ, и Москва, и Петербургъ во всемъ между собою согласны. Однимъ изъ нихъ выщипывали бороды, другимъ—рвали ноздри, третьихъ—били кнутомъ нещадно. Нѣкоторые, однакожъ, уцѣлѣли и были жалованы деревнями, гдѣ, въ свою очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри и били нещадно кнутомъ. Словомъ сказать, въ моемъ родѣ все шло обыкновеннымъ генеалогическимъ порядкомъ, какъ и у всѣхъ вообще Гадюковъ, „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“. Но въ первой половинѣ прошлаго столѣтія, въ царствованіе Елисаветы, случилось нѣчто особенное. Прадѣдъ мой, штабсъ-капитанъ Прокофій Гадюкъ, будучи въ пьяномъ видѣ, измѣнныя рѣчи говорилъ, а сынъ его, Артамонъ, не только о семъ не умолчалъ, но съ представленіемъ ясныхъ отцовой измѣны доказательствъ донесъ по начальству. Вслѣдствіе такового любезно-вѣрнаго поступка Прокофій, по наказаніи кнутомъ и урѣзаніи языка, былъ сосланъ въ заточеніе въ Березовъ; Артамону же было предоставлено: упразднивъ прежнее прозвище „Гадюкъ“, яко омраченное измѣною, впредь именоваться Очищеннымъ. Такъ вотъ откуда происходитъ фамилія Очищенныхъ, а совсѣмъ не отъ водки одного съ нею наименованія.

„Очищенные свили себѣ гнѣздо въ Лебедянскомъ уѣздѣ, интеллигенція котораго издавна славилась гостепріимствомъ и наклонностью

къ игрѣ крапленными картами, чему въ особенности содѣйствовали: существованіе въ городѣ Лебедяни ярмарки и близость Липецкихъ минеральныхъ водъ. Натурально и отецъ мой не могъ противостоять общему настроенію умовъ. Фортуна благопріятствовала ему. Долгое время нашъ домъ стоялъ на такой высотѣ, что даже въ такихъ отдаленныхъ уголкахъ Тамбовской губерніи, каковы уѣзды Елатомскій и Шацкій—и тамъ гордились Очищеными. Тѣмъ не менѣе, я должень сознаться, что въ 1830 году мой отецъ скончался, получивъ ударъ подсвѣчникомъ въ високъ и проживъ предварительно все свое состояніе, за исключеніемъ 30-ти душъ, на долю которыхъ и выпала обязанность лелѣять мою молодость.

„Мнѣ было тогда двадцать лѣтъ и я служилъ юнкеромъ въ бѣлобородовскомъ гусарскомъ полку...“

Очищенный понякъ головой и умолкъ. Мысль, что онъ въ 1830 году остался сиротой, видимо подавляла его. Слезъ, правда, не было видно, но въ губахъ замѣчалось нервное подергиванье, какъ у человѣка, которому инстинктъ подсказываетъ, что въ такихъ обстоятельствахъ только рюмка горькой англійской можетъ принести облегченіе. И дѣйствительно, какъ только желаніе его было удовлетворено, такъ тотчасъ же почтенный старикъ успокоился и продолжалъ:

„Воспитаніе я получилъ классическое, но безъ древнихъ языковъ. Въ то время взглядъ на классицизмъ былъ особенный: всякій, кто обнаруживалъ вкусъ къ женскому полу и притомъ зналъ, что Венера иначе называется Аѳродитою, тѣмъ самымъ уже пріобрѣталъ право на наименованіе классика. Все же прочее, болѣе серьезное, какъ-то: „o tempora! o mores!“, „sapienti sat“, „caveant consules“ и т. д., которыми такъ часто нынѣ украшаются столбцы „Краснаго Демидрона“,—все это я почерпалъ уже впослѣдствіи изъ „Московскихъ Вѣдомостей“.

„Вслѣдъ за отцомъ послѣдовала въ могилу и матушка. Существовать въ полку было нечѣмъ, и я рѣшился выйти въ отставку и поселиться въ деревнѣ. Но тридцать душъ, даже и въ то время, представляли собой только обезпеченный хлѣбъ и квасъ, а я былъ настолько избалованъ классическимъ воспитаніемъ, что ужъ не могъ управлять своими страстями. Не успѣлъ я прожить въ нѣжности и пяти лѣтъ, какъ началось слѣдствіе, потомъ судъ, а наконецъ послѣдовало и рѣшеніе, въ силу котораго я отданъ былъ подъ опеку и въѣздъ

въ имѣніе былъ мнѣ воспрещенъ. Впрочемъ это послѣднее распоряженіе оказалось ужъ лишнимъ, потому что во время этихъ передрягъ имѣніе мое было продано съ аукціона за долги.

„Какъ сейчасъ помню: у меня оставалось въ рукахъ только пятьсотъ рублей ассигнаціями. Я вспомнилъ объ отцѣ и поѣхалъ въ Болховъ на ярмарку за тѣмъ, чтобъ пустить мой капиталъ въ оборотъ. Но, увы! долговременное нахожденіе подъ слѣдствіемъ и судомъ уже подточило мое существованіе! Мой умъ не выказывалъ изобрѣтательности, а робкое сердце парализировало проворство рукъ. Деньги мои исчезли, а самъ я приведенъ былъ моими партнерами въ такое состояніе, что цѣлыхъ полгода долженъ былъ пролежать въ городской больницѣ...

„За что?!

„Послѣ этого я нѣсколько лѣтъ существовалъ исключительно тѣлесными поврежденіями. Не скажу, чтобъ я терпѣлъ нужду—потребность повреждать ближняго существовала тогда въ большихъ размѣрахъ и за удовлетвореніе ея платили хорошія деньги—но постояннаго, настоящаго, все-таки, не было. Одинъ только разъ улыбнулась мнѣ надежда на что-то осѣдлое—это когда я былъ опредѣленъ на должность учителя танцованія въ кадетскій корпусъ, но и тутъ я долженъ былъ сдѣлать подлогъ, то-есть скрыть отъ начальства свою прошлую судимость. Разумѣется, подлогъ обнаружился...

„Васъ, конечно, удивитъ это, господа. Въ настоящее время, когда разрѣшено множество вопросовъ первостепенной важности, вмѣстѣ съ ними рѣшенъ вопросъ о нравственныхъ качествахъ танцовальныхъ учителей. Наша свободная печать съ полною ясностью доказала, что никакая судимость не можетъ препятствовать исполненію тѣхъ спеціальныхъ обязанностей, которыя возлагаются на танцмейстеровъ и танёровъ, и съ тѣхъ поръ эта истина вошла въ общественное сознаніе. Но въ то время смотрѣли на это строже, и отъ танцовальныхъ учителей требовали такой же нравственной безупречности, какой нынѣ требуютъ только отъ содержателей кабаковъ.

„Итакъ, подлогъ обнаружился, и я долженъ былъ оставить государственную службу навсегда. Не будь этого—кто знаетъ, какая перспектива ожидала меня въ будущемъ! Ломоносовъ былъ простой рыбакъ, а умеръ статскимъ совѣтникомъ! Но такъ какъ судьба не допустила меня до высшихъ должностей, то я рѣшилъ сдѣлаться

тапёромъ. Въ этомъ званіи я узналъ мою Мальхенъ, я узналъ васъ, господа, и это одно услаждаетъ горечь моихъ воспоминаній. Вотъ въ этомъ самомъ залѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ рояль господина Балалайкина...

— Иванъ Иванычъ, голубчикъ! сыграй кадриль изъ „Чижика“! —не утерпѣлъ Глумовъ: —да, смотри, настоящимъ манеромъ играй... по тогдашнему!

— Съ удовольствіемъ!—согласился добрый старикъ.

Онъ сѣлъ за фортепьяно и дрожащими руками извлекъ изъ клавишей забытый, но все еще дорогой мотивъ „Чижика“. Игралъ онъ „по тогдашнему“, безъ претензій на тапёрную виртуозность, а такъ, какъ обыкновенно играютъ въ благородныхъ семейныхъ домахъ, гдѣ собирается много веселой молодежи, то-есть: откинувшись корпусомъ на спинку кресла и склонивши голову немножко на бокъ. Онъ и „тогда“ именно такъ игралъ, очевидно желая показать „гостямъ“, что хотя онъ тапёръ, но въ то же время и благородный человѣкъ. Мы съ Глумовымъ тоже вспомнили старину и немножко потанцовали.

Выполнивши это, онъ продолжалъ:

„Съ Мальхенъ я познакомился здѣсь, у Дарьи Семеновны. Она была скромная дѣвушка, бѣленькая, но не очень красивая, и потому никто не хотѣлъ съ нею танцовать. Но я видѣлъ, что ей очень хочется танцовать, и однажды, когда гости ужъ разошлись, подошелъ къ ней и сказалъ: „Мальхенъ! будемте танцовать вмѣстѣ!“ И она отвѣтила: „я согласна“.

„Это было самое счастливое время моей жизни, потому что у Мальхенъ оказалось накопленныхъ сто рублей, да, кромѣ того, Дарья Семеновна подарила ей двѣ серебряныя ложки. Нашлись и другіе добрые люди: нѣкоторые изъ гостей—а въ этомъ числѣ и вы, господинъ Глумовъ!—сложились и купили мнѣ готовую пару платья. Мы не роскошествовали, но жили въ такомъ согласіи, что черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы у насъ родилась дочь.

„Однакожъ вскорѣ случилось событіе, которое омрачило наше счастіе: скончалась добрая Дарья Семеновна. Вы, конечно, помните, господа, какое потрясающее дѣйствіе произвела эта безвременная утрата на всѣхъ „гостей“, но для меня она была вдвойнѣ чувствительна. Я разомъ потерялъ и друга, и единственную доходную статью. Однако Провидѣніе и на этотъ разъ помогло мнѣ.

„Во-первыхъ, у Мальхенъ опять оказалось накопленныхъ сто рублей; во-вторыхъ, репутація моя, какъ тапёра, установилась уже настолько прочно, что изъ всѣхъ домовъ Фонарнаго переулка посылались на меня приглашенія. И въ то же время я былъ почтенъ отъ квартала секретнымъ порученіемъ по части внутренней политики.

„То было время всеобщей экзальтаціи, и начальство квартала было сильно озабочено потрясеніемъ основъ, происшедшимъ по случаю февральской революціи. Но гдѣ же было удобнѣе наблюдать за настроеніемъ умовъ, какъ не въ танцклассахъ? И кто же могъ быть въ этомъ дѣлѣ болѣе компетентнымъ судьей, какъ не тапёръ?

„Я знаю, что нынѣ тапёрами пренебрегаютъ, предпочитая имъ —въ дѣлахъ внутренней политики—лицъ инородческаго происхожденія. Но по моему мнѣнію это неправильно. Тапёръ, прежде всего, довольствуется малымъ вознагражденіемъ (я, напримѣръ, получалъ всего десять рублей въ мѣсяцъ и былъ предоволенъ); во-вторыхъ, онъ не имѣетъ чувства инородческой остервенѣлости, и, въ-третьихъ, онъ настолько робокъ, что лишь въ крайнемъ случаѣ рѣшается на выдумку, и, стало быть, не вводитъ начальство въ заблужденіе. По крайней мѣрѣ я въ теченіе пяти лѣтъ заявилъ лишь о двухъ пропагандахъ, да и то потому только, что письмоводитель квартальнаго непремѣнно этого требовалъ. Напротивъ того, инородецъ, получая почти фельдмаршальское содержаніе, старается показать, что онъ пользуется недаромъ, и вслѣдствіе этого ежеминутно угрожаетъ начальству злоумышленіями.

„По моему—это неблагородно!

„Повторяю: я не роскошествовалъ, но былъ доволенъ. Но на двѣнадцатомъ году моей счастливой супружеской жизни солнце моей жизни вновь омрачилось, и на этотъ разъ—надолго. Сначала бѣжала Мальхенъ съ шарманщикомъ, предварительно похитивъ всѣ мои сбереженія, а черезъ годъ послѣ этого умерла моя дочь. Все рухнуло разомъ: и привязанности, и надежда на дружескую опору въ старости, и сладости любви! Я остался одинъ-на-одинъ съ тапёрствомъ! Правда, у меня еще оставалось утѣшеніе: кварталъ по прежнему не переставалъ удостоивать меня своимъ довѣріемъ; но пять лѣтъ тому назадъ и внутренняя политика отошла отъ меня. Меня нашли недостаточно прозорливымъ, мало проворнымъ и вообще неотвѣчающимъ требованіямъ времени, и мое мѣсто отдали инородцу Кишиницюльскому..."

— Кишишцюльскому! но вѣдь это нашъ другъ! нашъ карточный партнёръ! это, наконецъ, нашъ руководитель на стезѣ благонамѣренности!—воскликнули мы съ Глумовымъ въ одинъ голосъ.

— Да, это онъ,—отвѣтилъ Очищенный:—и онъ всегда такъ поступаетъ. Сначала предложитъ себя въ руководители, потомъ обыграетъ по маленькой и подъ конецъ—предастъ! Ахъ, господа, господа! мало васъ, должно быть, учили; не знаете вы, какъ осторожно слѣдуетъ въ такихъ дѣлахъ поступать!

— Чудакъ! да чего же намъ остерегаться, коли у насъ сердца чисты!

— И съ чистымъ сердцемъ можно иногда неподлежательно возроптать! Доложу вамъ, однажды при мнѣ въ банѣ такой случай былъ. Мылся, между прочими, одинъ молодой человѣкъ, а тутъ же, неподалеку, и господинъ квартальный парился. Ну, въ банѣ, знаете, должностей-то этихъ не различишь, только молодой-то человѣкъ—горячей воды, что-ли, недостало—и не воздержись! Такъ да и перетакъ: что̀, молъ, это за государство такое, въ которомъ даже вымыться порядкомъ нельзя! Словомъ сказать, такую пропаганду пустилъ, что небу стало жарко! И что̀ же! только-что онъ это самое слово вымолвилъ—смотритъ, анъ господинъ квартальный ужъ и мундиромъ оброс! Въ полномъ „парадѣ“, какъ есть, при шпагѣ и шляпѣ; „извольте, говоритъ, милостивый государь, повторить!“ Такъ какъ бы вы думали! года съ четыре послѣ этого молодой-то человѣкъ по судамъ колотился, все чистоту свою доказывалъ.

— Фу-ты!

— Оттого-то я и говорю: не всякому знакомству радоваться надлежитъ. Особливо нынче. Прежде, когда внутренней политикой тапёры завѣдывали, безопаснѣе было. Потому тапёръ—ему что! Ежели ему теперича бутылку пива поставить—онъ и забылъ! А ежели и не забылъ, такъ даже того лучше: самъ по душѣ въ разговоръ вступитъ. Правду, молъ. вы, господинъ, говорите! и то у насъ нехорошо, и другое неладно... словомъ сказать, скверно! да съ начальствомъ-то состязаться намъ не приходится! Почему не приходится? —а потому, сударь, что начальство средства имѣетъ, и ежели напримѣръ... Ну, словомъ сказать, тихо да смирно—смотришь, анъ онъ и смягчился! Былъ заблуждающій, а выпилъ бутылку-другую—

и самъ въ лоно истинныхъ чувствъ поступилъ. И всѣмъ пріятно: и ему пріятно, и начальству, и мнѣ, танёру, хорошо.

— Да вѣдь и мы, братецъ, его, Кшепшицюльскаго-то, который ужъ мѣсяцъ поимъ-кормимъ, да и въ табельку малую толику... Долженъ же онъ это понимать!

Но Очищенный только скептически покачалъ головой въ отвѣтъ.

— Нѣтъ у него въ сердцѣ признательности,—сказалъ онъ:— нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! И самый лучшій относительно его образъ дѣйствій—это съ лѣстницы его спустить.

— А за это, ты думаешь, похвалятъ?

— Ежели протекцію имѣете—ничего. Съ протекціей, я вамъ доложу, въ 1836 году одинъ молодой человѣкъ въ женскую купальню вплылъ—и тутъ сошло съ рукъ! Только извиняться на другой день къ дамамъ ѣздилъ.

Такъ мы и порѣшили: при первомъ удобномъ случаѣ спустить Кшепшицюльскаго съ лѣстницы и потомъ извиниться передъ нимъ. Затѣмъ Очищенный продолжалъ:

„Быть можетъ, я навсегда остался бы исключительно танёромъ, еслибъ судьба не готовила мнѣ новыхъ испытаній. Объявили волю книгопечатанію. Потребовались вольнонаемные редакторы, а между прочимъ и содержатель того увеселительнаго заведенія, въ которомъ я имѣлъ постоянныя вечернія занятія, задумалъ основать органъ для защиты интересовъ любострастія. Узнавши, что я получилъ классическое воспитаніе, онъ, натурально, обратился ко мнѣ. И, къ сожалѣнію, я не только принялъ его предложеніе, но и связалъ себя контрактомъ.

„Но этимъ мои злоключенія не ограничились. Вскорѣ послѣ того на меня обратила вниманіе Матрена Ивановна. Я зналъ ее очень давно—она въ свое время была соперницей Дарьи Семеновны по педагогической части—зналъ за женщину почтенную, удалившуюся отъ дѣлъ съ хорошимъ капиталомъ и съ твердымъ намѣреніемъ открыть гласную кассу ссудъ. И вдругъ эта самая женщина начинаетъ заговаривать... Скажите, кто же своему благополучію не радъ!

„И вотъ, сижу я однажды въ „Эльдорадо“, въ сторонкѣ, пью пиво, а между прочимъ и матеріалъ для предбудущаго нумера газеты собираю—смотрю, присаживается она ко мнѣ. „Такъ и такъ, говоритъ, гласную кассу ссудъ открыть желаю—одобрите вы меня?“

— Коли капиталъ, говорю, имѣете, такъ съ Богомъ!— „Капиталъ, говоритъ, имѣю, только вотъ у мировыхъ придется разговоръ вести, а я, какъ женщина, ничего чередомъ разсказать не могу!“ — Такъ для этого вамъ, сударыня, необходимо мужчину имѣть! — „Да, говоритъ, мужчину!“

„Только всего промежъ насъ и было. Осмотрѣла она меня—кажется, довольна осталась; и я ее осмотрѣлъ: вижу—хоть и въ лѣтахъ особа, однако важныхъ изъяновъ нѣтъ. Глазъ у ней правый вытекъ —педагогическій случай съ однимъ „гостемъ“ вышелъ—такъ вѣдь для меня не глаза нужны! Пришелъ я домой и думаю: не чаялъ, не гадалъ, а какой, можно сказать, оборотъ!

„Обвѣнчались, пріѣзжаемъ изъ церкви домой, и вдругъ встрѣчаетъ насъ... „молодой человѣкъ“! Въ халатѣ, какъ былъ, одна щека выбрита, другая — въ мылѣ; словомъ сказать, даже прибрать себя, подлецъ, не захотѣлъ!

„Съ тѣхъ поръ „молодой человѣкъ“ неотлучно раздѣляетъ наше супружеское счастіе. Онъ проводитъ время въ праздности и обнаруживаетъ склонность къ галантерейнымъ вещамъ. Покуда онъ сидитъ дома, Матрена Ивановна обходится со мной хорошо и снисходитъ къ закладчикамъ. Но по временамъ онъ пропадаетъ недѣли на двѣ и на три и непремѣнно уноситъ при этомъ енотовую шубу. Тогда Матрена Ивановна выгоняетъ меня на розыски и не впускаетъ въ квартиру до тѣхъ поръ, пока „молодого человѣка“ не приведутъ изъ участка... конечно, безъ шубы.

„Теперь я именно переживаю одинъ изъ такихъ тяжелыхъ моментовъ. Сегодня утромъ „молодой человѣкъ“ скрылся и унесъ ужъ не одну, а двѣ шубы. И я вслѣдствіе этого вижу себя на неопредѣленное время лишеннымъ крова...

„Такова правда моей жизни“.

Глава VII.

Глумовъ, который всегда дѣйствовалъ порывами, не воздержался и тутъ. Не успѣлъ Очищенный кончить повѣсть своей жизни, какъ онъ уже воскликналъ:

— Иванъ Иванычъ! да поселись у насъ! Тебѣ что̀ нужно? Щей тарелку?—есть! водки рюмку?—найдется.

— А ежели, по обстоятельствамъ вашихъ дѣлъ, потребуются для васъ лжесвидѣтели, то вы во всякое время найдете ихъ здѣсь... и безвозмездно!—съ своей стороны свеликодушничалъ Балалайкинъ.

— Господа! заключимте четверной союзъ! — въ восторгѣ отозвался и я, едва поспѣвая слѣдить за общимъ потокомъ великодушныхъ порывовъ.

Какъ ни крѣпился добрый старикъ, но въ виду столь единодушнаго выраженія симпатій — не удержался и заплакалъ. Мы взяли другъ друга за руки и поклялись неизмѣнно идти рука въ руку, поддерживая и укрѣпляя другъ друга на стезѣ благонамѣренности. И клятва наша была столь искренняя, что когда послѣдне слово ея было произнесено, то комната немедленно наполнилась запахомъ скотопригоннаго двора.

— Надобно тебѣ сказать, голубчикъ Иванъ Иванычъ,—счелъ долгомъ объяснить Глумовъ за себя и за меня: — что намъ твоя поддержка въ особенности драгоцѣнна. Либералы, братецъ, мы. Вёдрышко на дворѣ — мы радуемся; дождичекъ на дворѣ — мы и въ немъ милость Божію усматриваемъ. И всякій предметъ непремѣнно со всѣхъ сторонъ разсматриваемъ. И съ одной стороны — хорошо, и съ другой — превосходно: а ежели при этомъ принять во вниманіе, что языкъ безъ костей, то лучшаго и желать нельзя! Радуемся, надѣемся, торжествуемъ, славословимъ — и вся недолга. Даже прохожіе удивляются: съ чего, молъ, люди сбѣсились? Вотъ, братъ, какіе грѣхи! Понялъ?

Однако Очищенный недоумѣвалъ.

— Позвольте вамъ доложить, — резонно разсудилъ онъ: — въ чемъ же тутъ грѣхъ состоитъ? Радоваться — вѣдь это, кажется, не воспрещено? И ежели бы, напримѣръ, въ то время, когда я, будучи танёромъ, занимался внутренней политикой...

— То-то вотъ и есть, что въ то время умѣючи радовались: порадуются благороднымъ манеромъ—и перестанутъ! А вѣдь мы какъ радуемся! и день и ночь, и день и ночь! и дома и въ гостяхъ, и въ трактирахъ, и словесно, и печатно! только и словъ: слава Богу! дожили! Ну, и нагнали своими радостями страху на весь кварталъ!

— А главное, радость наша приняла столь неспосный видъ, что многіе сочли ее за вмѣшательство,—въ свою очередь пояснилъ я.

— Понимаю. То самое, значитъ, что̀ еще покойный Ѳаддей

Венедиктовичъ выражалъ: ни одобренiй, ни порицанiй! Ѣшь, пей и веселись!

— Вотъ оно самое и есть. Хорошо, что мы спохватились скоро. Увидѣли, что не выгорѣли наши радости, и, не долго думая, вступили на стезю благонамѣренности. Начали гулять, въ ѣду ударились, папироски стали набивать, а разсужденiе оставили. Потихоньку да полегоньку—смотримъ: польза вышла. Въ короткое время такъ себя усовершенствовали, что теперь только сидимъ да глазами хлопаемъ. Кажется, на что̀ лучше! а? какъ ты объ этомъ полагаешь?

— Чего еще требовать! Глазами хлопаете—ужъ это въ самую, значитъ, центру попали!

— А оказывается, что этого мало, да и сами мы, признаться, ужъ видимъ, что мало. Хорошо-то оно хорошо, а загвоздочка, все-таки, есть. Дикости, видишь ты, въ насъ еще много: сидимъ дома, никого не видимъ, папироски набиваемъ: развѣ настоящiе благонамѣренные люди такъ дѣлаютъ? Нѣтъ, истинно благонамѣренный человѣкъ глазами хлопаетъ — это само по себѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторыя дѣятельныя черты проявляетъ... Вотъ мы подумали-подумали, да и рѣшились одно предпрiятiе къ благополучному концу привести, чтобы не только словомъ и помышленiемъ, но и самимъ дѣломъ заявить...

Глумовъ вдругъ оборвалъ и, обратившись къ Балалайкину, сразу огорошилъ его вопросомъ:

— Балалайкинъ, не лги, а отвѣчай прямо: ты женатъ?

Балалайкинъ на минуту потерялся, такъ что даже солгать не успѣлъ.

— Женатъ, — отвѣтилъ онъ увядшимъ голосомъ и въ то же время недоумѣвающе взглянулъ на Глумова.

— А какъ ты насчетъ двоеженства полагаешь?

Балалайкинъ сейчасъ же опять расцвѣлъ.

— Вообще говоря, — могу! — воскликнулъ онъ весело, но тутъ же, не теряя присутствiя духа, присовокупилъ: — но въ частности это, разумѣется, зависитъ...

— Давай же кончать. Въ два слова... тысячу рублей?

Балалайкинъ встрепенулся.

— Голубчикъ! да вѣдь вы... по Парамоновскому дѣлу?

— Да.

— Помилуйте! мнѣ Иванъ Тимофеичъ, безъ всякаго разговора, ужъ три тысячи надавалъ!

— То была цѣна, а теперь—другая. Въ то время охотниковъ мало было, а теперь ими хоть прудъ пруди. И все охотники холостые, безпрепятственные. Только намъ непремѣнно хочется, чтобъ двоеженство было. На романъ похожѣе.

Балалайкинъ раза три или четыре прошелся по комнатѣ. Цифра застала его врасплохъ, и онъ очевидно боролся съ самимъ собою и разсчитывалъ.

— Меньше двухъ тысячъ нельзя!—сказалъ онъ наконецъ рѣшительно:—помилуйте, господа! тысяча рублей! развѣ это деньги?

— Да ты пойми, за какое дѣло тебѣ ихъ даютъ! — убѣждалъ его Глумовъ: — развѣ труды какіе-нибудь отъ тебя потребуются! Съѣздишь до свадьбы раза два-три въ гости—развѣ это трудъ? тебя же напоятъ-накормятъ, да еще двѣ-три золотушки за визитъ дадутъ —это не въ счетъ! Свадьба, что-ли, тебя пугаетъ? такъ вѣдь и тутъ развѣ настоящая свадьба будетъ?

— А потомъ-то... вы забываете?

— Что же „потомъ“?

— А судъ?

— Чудакъ, братецъ ты! самъ адвокатъ, а суда боится!

Но тутъ ужъ и я счелъ долгомъ вступиться.

— Балалайкинъ! — сказалъ я: — ничего не видя, вы уже заговариваете о судѣ! Извините меня, но это чисто адвокатская манера. Во-первыхъ, дѣло можетъ обойтись и безъ суда, а во-вторыхъ, еслибъ даже и возникло впослѣдствіи какое-нибудь недоразумѣніе, то можно собственно на этотъ случай выговорить... ну, напримѣръ, пятьсотъ рублей.

— Пятьсотъ! Ни одинъ лжесвидѣтель не пойдетъ показывать въ судъ меньше чѣмъ за двѣсти-пятьдесятъ рублей. Это вамъ *я* говорю! А по обстоятельствамъ дѣла ихъ потребуется по малой мѣрѣ два!

— Но вѣдь это же пятьсотъ рублей и есть?

— Позвольте... а что же мнѣ... за труды?

— А тысяча рублей, которую вы получите немедленно по совершеніи обряда!

— Тысяча... тысяча! а моральное безпокойство! а трата времени!

а репутація человѣка, который за тысячу рублей... Тысяча! смѣшно, право! вѣдь мнѣ свои собратья проходу за эту тысячу не дадутъ!

И Балалайкинъ опять въ волненіи зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, безпрестанно и не безъ горечи повторяя:—Тысяча! тысяча!

— Да накинь же ему пять сотенныхъ! — шепнулъ я на ухо Глумову.

Но не успѣлъ онъ послѣдовать моему совѣту, какъ дѣло приняло совершенно неожиданный оборотъ. На помощь намъ явился Очищенный.

— Позвольте мнѣ!—скромно напомнилъ онъ намъ объ себѣ:— я за пятьсотъ...

Эта благотворная диверсія разомъ рѣшила дѣло въ нашу пользу; Балалайкинъ сейчасъ же сдался на капитуляцію, выговоривъ, впрочемъ, въ свою пользу шестьсотъ рублей, которые противная сторона обязывалась выдать въ томъ случаѣ, ежели возникнетъ судебное разбирательство. Затѣмъ подали шампанскаго и условились, что мы съ Глумовымъ будемъ участвовать въ двоеженствѣ въ качествѣ шаферовъ, а Очищенный — въ качествѣ посажёнаго отца. Причемъ послѣдній безъ труда выпросилъ, чтобъ ему было выдано десять рублей въ видѣ личнаго вознагражденія и столько же за прокатъ платья.

Когда всѣ эти подробности были окончательно регламентированы, Глумовъ предложилъ на обсужденіе слѣдующій вопросъ:

— А теперь вотъ что, господа! Предположимъ, что предпріятіе наше будетъ благополучно доведено до конца... Балалайкинъ—получитъ условленную тысячу рублей, мы—попируемъ у него на свадьбѣ и разъѣдемся по домамъ. Послужитъ ли все это въ глазахъ Ивана Тимоѳеича достаточнымъ доказательствомъ, что прежняго либерализма не осталось въ насъ ни зерна?

Мнѣнія раздѣлились. Очищенный, на основаніи прежней таперской практики, утверждалъ, что никакихъ другихъ доказательствъ не нужно; напротивъ того, Балалайкинъ, какъ адвокатъ, настаивалъ, что по малой мѣрѣ необходимо совершить еще подлогъ. Что касается до меня, то хотя я и опасался, что одного двоеженства будетъ недостаточно, но, признаюсь, мысль о подлогѣ пугала меня.

— Собственно говоря, вѣдь двоеженство само по себѣ подлогъ. —скромно замѣтилъ я:—не будетъ ли, стало быть, ужъ черезъ-чуръ однообразно—non bis in idem—ежели мы, совершивъ одинъ под-

логъ, сейчасъ же приступимъ къ совершенію еще другого и притомъ простѣйшаго?

— Теоретически вы приблизительно правы,—возразилъ мнѣ Балалайкинъ:—двоеженство, дѣйствительно, есть не что иное, какъ особый видъ подлога; однакожъ наше законодательство отличаетъ...

И вдругъ меня словно осѣнило.

— Господа! да о чемъ же мы говоримъ! — воскликнулъ я:— жида! жида окрестить!—вотъ что намъ надобно!

Эта мысль рѣшительно всѣхъ привела въ умиленіе, а у Очищеннаго даже слезы на глазахъ показались.

— Знаешь ли что!—сказалъ Глумовъ, съ чувствомъ пожимая мою руку:—эта мысль... зачтется она, братъ, тебѣ!

И немного погодя присовокупилъ:

— Подлогъ, однакожъ, дѣло нелишнее: какъ ни какъ, а безъ фальшивыхъ векселей намъ на нашей новой стезѣ не обойтись! Но жидъ... Это такая мысль! такая мысль! И знаете ли что: мы выберемъ жида бѣлаго, крупнаго, жирнаго; такого жида, у котораго вмѣсто требухи—все ассигнаціи! только одинъ ассигнаціи!

— У меня даже сейчасъ одинъ такой на примѣтѣ есть! — заявилъ Очищенный:—и очень даже охотится.

— И мы подвигнемъ его на дѣла благотворительности, — продолжалъ фантазировать Глумовъ: — фуфайки, напримѣръ, карпетки, носки...

— Но не забывай, мой другъ, и интересовъ просвѣщенія!—напомнилъ я.

— Еще бы! Это—на первомъ планѣ. Вотъ, говорятъ, въ Сибири университетъ учреждаютъ — непремѣнно надобно, чтобъ онъ хоть одну каѳедру на свой счетъ принялъ. Какую бы, напримѣръ?

— Я полагалъ бы каѳедру сравнительной митрогнозіи—для Сибири даже очень приличпо!—предложилъ я.

— Чего лучше! Именно каѳедру сравнительной митрогнозіи— давно ужъ потребность-то эта чувствуется. Ну и еще: чтобы экспедицію какую-нибудь ученую на свой счетъ снарядилъ... непремѣнно, непремѣнно! Сколько есть насѣкомыхъ, гадовъ различныхъ, которые только того и ждутъ, чтобы на нихъ пролился свѣтъ науки! Помилуйте! даже въ вагонахъ на желѣзныхъ дорогахъ вездѣ клопы развелись!

— Позвольте вамъ доложить,—вступился Очищенный:—есть у

насъ при редакціи человѣкъ одинъ, съ малолѣтства сочиненіе „о полярномъ клонѣ“ пишетъ, а публиковать не осмѣливается...

— Почему не осмѣливается?

— Да наблюденія, говоритъ, недостаточно точны. Вотъ еслибы ему по Россіи съ научною цѣлью поѣздить, онъ бы, можетъ, и иностранцевъ многихъ затмилъ.

— Отлично. А какъ ты полагаешь, пріятелю твоему десяти тысячъ на экспедицію достаточно будетъ?

— Помилуйте! да съ этакими деньгами онъ даже къ родственникамъ въ Пермскую губернію съѣздитъ!

— Пускай ѣдетъ. Для пользы науки намъ чужихъ денегъ не жалко. Нѣтъ ли еще какихъ нуждъ? Проси!

— Осмѣлюсь... Вотъ вы изволили сейчасъ насчетъ этой науки выразиться... Митирогнозія, значитъ... Самая эта наука мнѣ знакомая... Такъ нельзя ли каѳедру-то мнѣ предоставить?

— Будемъ имѣть въ виду.

Затѣмъ Очищенный предъявилъ еще нѣсколько ходатайствъ и на всѣ получилъ отъ Глумова благопріятный отвѣтъ. Наконецъ пашъ ordre du jour исчерпался, и Глумовъ, закрывая засѣданіе, счелъ долгомъ произнести краткое резюмé.

— Итакъ, господа,—сказалъ онъ:—всѣ вопросы, подлежавшіе нашему обсужденію, благополучно рѣшены. Вотъ занятія, которыя предстоятъ намъ въ ближайшемъ будущемъ. Во-первыхъ, мы обязываемся женить Балалайкина, при живой женѣ, на „штучкѣ“ купца Парамонова (*одобреніе на всѣхъ скамьяхъ*). Во-вторыхъ, мы имѣемъ окрестить жида; въ-третьихъ, какъ это ни прискорбно, но безъ подлога намъ обойтись нельзя...

Онъ остановился на минуту и вдругъ, какъ бы подъ напіемъ внезапнаго вдохновенія, продолжалъ:

— Позвольте, господа! ужъ если подлогъ необходимъ, то, мнѣ кажется, самое лучшее — это пустить тысячъ на тридцать векселей отъ имени Матрены Ивановны въ пользу нашего общаго друга, Ивана Иваныча? Вѣдь это нашъ долгъ, господа! наша нравственная, такъ сказать, обязанность передъ добрымъ товарищемъ и союзникомъ... Согласны?

Вмѣсто отвѣта послѣдовалъ взрывъ рукоплесканій. Очищенный кланялся и благодарилъ.

— Это даже и для Матрены Ивановны не безъ пользы будетъ! —говорилъ онъ со слезами на глазахъ: — потому, заставитъ ее придти въ себя!

— Прекрасно. Стало быть, и еще одинъ пунктъ рѣшенъ. Объявляю засѣданіе закрытымъ.

Глава VIII.

Мы возвращались отъ Балалайкина уже втроемъ и притомъ въ самомъ радостномъ расположеніи духа. Мысль, что ежели подвигъ благонамѣренности еще не вполнѣ нами совершонъ, то во всякомъ случаѣ мы находимся на прямомъ и вѣрномъ пути къ нему, наполняла наши сердца восхищеніемъ. „Да, теперь ужъ насъ съ этой позиціи не вышибешь!“ твердилъ я себѣ и улыбался такой широкой, сіяющей улыбкой, что стоявшій на углу Большой Мѣщанской будочникъ, завидѣвъ меня, наскоро прислонилъ алебарду къ стѣнѣ, досталъ изъ кармана тавлинку и предложилъ мнѣ понюхать табачку.

Такъ шли мы отъ Фонарнаго переулка вплоть до Литейной, и на всемъ пути будочники дѣлали алебардами „на кра-улъ!“, какъ бы привѣтствуя насъ: „Здравствуйте, вступившіе на истинный путь!“ Придя на квартиру, мы сдали Очищеннаго съ рукъ на руки дворнику и, приказавъ сводить его въ баню, поспѣшили съ радостными вѣстями къ Ивану Тимоѳеичу.

Дежурный подчасокъ сказалъ намъ, что Иванъ Тимоѳеичъ занятъ въ „коммиссіи“, которая въ эту минуту засѣдала у него въ кабинетѣ. Но такъ какъ мы были люди свои, то не только были немедленно приняты, но даже получили приглашеніе участвовать въ трудахъ.

Коммиссія состояла изъ трехъ членовъ: Ивана Тимоѳеича (онъ же презусъ), письмоводителя Прудентова и брандтмейстера Молодкина. Предметъ ея занятій заключался въ разработкѣ новаго устава „о благопристойномъ обывателей въ своей жизни поведеніи“, такъ какъ прежнія по сему предмету „временныя правила“ оказывались преисполненными всякаго рода неясностями и каламбурами, вслѣдствіе чего неблагопристойность возрастала не по днямъ, а по часамъ.

— Прекрасно сдѣлали, что зашли; я и то ужъ думалъ за вами

посылать,—привѣтствовалъ насъ Иванъ Тимоѳеичъ:—вотъ коммиссію на плечи взвалили, презусомъ назначили... Уставъ теперича писать нужно, да писатели-то мы, признаться, горевые!

— А можно полюбопытствовать, въ чемъ состоитъ предметъ занятій коммиссіи?

— Благопристойность вводить хотятъ. Это конечно... много нынче этого невѣжества завелось, въ особенности на улицахъ... Одни направо, другіе—налѣво, одни—идутъ, другіе—невѣдомо зачѣмъ на мѣстѣ стоятъ... Не сообразишь. Ну, и хотятъ это урегулировать...

— Чтобы, значитъ, ежели налѣво идти—такъ всѣ бы налѣво шли, а ежели останавливаться, такъ всѣмъ чтобы разомъ?—выразилъ Глумовъ догадку.

— То, да не то. Въ сущности-то оно, конечно, такъ, да какъ ты прямо-то это выскажешь? Нельзя, мой другъ, прямо сказать—передъ иностранцами нехорошо будетъ—обстановочку надо придумать. Кругленько эту мысль выразить. Чтобы и ослушникъ зналъ, что его по головѣ не погладятъ, да и принужденія чтобы замѣтно не было. Чтобы, значитъ, безъ приказовъ, а такъ, будто всякій самъ отъ себя благопристойность соблюдаетъ.

— Трудная это задача. Любопытно, какъ-то вы справляетесь съ нею?

— Да вотъ вчера „общія положенія“ набросали, а сегодня и „улицу“ прикончили. Написали довольно, только, признаться, не очень-то нравится мнѣ!

— Помилуйте, Иванъ Тимоѳеичъ, чего лучше!—обидѣлся Прудентовъ, который повидимому былъ душою и воротилой въ коммиссіи.

— Порядку, братецъ, нѣтъ. Мысли хорошія, да въ-разбивку онѣ. Вотъ я давеча газету читалъ, такъ тамъ все чередомъ сказано: съ одной стороны нельзя не сознаться, съ другой—надо признаться, а въ то же время не слѣдуетъ упускать изъ вида... Вотъ это—хорошо!

Иванъ Тимоѳеичъ уныло покачалъ головой и задумался.

— Да, нѣтъ у насъ этого...—продолжалъ онъ:—пера у насъ вольнаго нѣтъ! Ужъ, кажется, на что знакомый предметъ—всю жизнь благопристойностью занимался, а пришлось эту самую благопристойность на бумагѣ изобразить—шабашъ!

— Да вы какъ къ предмету-то приступили?—историческій-то обзоръ, напримѣръ, сдѣлали?—полюбопытствовалъ Глумовъ.

— Какой такой историческій обзоръ?

— Какъ же! нельзя безъ этого. Сперва надобно историческій обзоръ, какія въ древности насчетъ благопристойнаго поведенія правила были, потомъ обзоръ современныхъ по сему предмету законодательствъ, потомъ—сводъ мнѣній будочниковъ и подчасковъ, потомъ—объяснительная записка, а наконецъ ужъ и „правила“ или уставъ.

— Такъ вотъ оно какъ!

— Непремѣнно. Нынче ужъ эта мода прошла: присѣлъ, да и написалъ. Нѣтъ, нынче на всякую штуку оправдательный документъ представь!

— То-то я вижу, какъ будто не тово... Невѣдомо будто, съ чего мы вдругъ эту матерію затѣяли...

— Позвольте вамъ доложить,—вступился Прудентовъ,—что въ нашемъ случаѣ ваша манера едва-ли пригодна будетъ.

— Но почему же?

— Да возьмемъ хоша „Современныя законодательства“. Хорошо какъ они удобныя, а коли ежели начальство стѣсненіе въ нихъ встрѣтитъ...

— Голубчикъ! такъ вѣдь о такихъ законодательствахъ можно и не упоминать! Просто: нѣтъ, молъ, въ такой-то странѣ благопристойности—и дѣло съ концомъ.

— Нельзя-съ; какъ бы потомъ не вышло чего: за справку-то вѣдь мы же отвѣчаемъ. Да и вообще скажу: врядъ ли иностранная благопристойность для насъ обязательнымъ примѣромъ служить можетъ. Россія по обширности своей и сама другимъ урокъ преподать можетъ. И преподаетъ-съ.

— Ахъ, да развѣ я говорю объ этомъ? Но вѣдь для вида... поймите вы меня: нужно же видъ показать!

— А для вида—и совсѣмъ нехорошо выйдетъ. Помилуйте, какой тутъ можетъ быть видъ! На дняхъ у насъ обыватель одинъ съ теплыхъ водъ вернулся, такъ сказывалъ: такъ тамъ чисто живутъ, такъ чисто, что плюнуть боишься: совѣстно! А у насъ развѣ такъ возможно? У насъ, сударь, доложу вамъ, на этотъ счетъ полный просторъ долженъ быть данъ!

Возникъ споръ, и я долженъ сказать правду, что Глумовъ вскорѣ вынужденъ былъ уступить. Прудентовъ цѣлымъ рядомъ неопровержимыхъ фактовъ доказалъ, что наша благопристойность такъ близко граничитъ съ неблагопристойностью, что изъ этого созидается нѣчто совершенно своеобразное и намъ однимъ свойственное. А кромѣ того: заграничная благопристойность имѣетъ характеръ исключительно внѣшній (не сквернословь! не буйствуй! и т. п.), тогда какъ наша благопристойность состоитъ не только въ наружныхъ проявленіяхъ благоповеденія, но въ томъ главнѣйше, чтобы обыватель памятовалъ, что жизнь сія есть временная и что самъ онъ—скудельный сосудъ. Такъ напримѣръ: плевать у насъ—можно, а „имѣть дерзкій видъ“—нельзя; митирологіей заниматься—можно, а касаться внутренней политики или разсуждать о происхожденіи міровъ—нельзя.

— А вѣдь онъ, друзья, правду говоритъ!—обратился къ намъ Иванъ Тимоѳеичъ:—точно, что у насъ благопристойность своя, особливая...

— А еще и на слѣдующее могу указать,—продолжалъ побѣдоносно Прудентовъ:—требуется теперича, чтобы мы, между прочимъ, и правила благопристойнаго поведенія въ собственныхъ квартирахъ начертали—гдѣ, спрошу васъ, въ какихъ странахъ вы соотвѣтствующія по сему предмету указанія найдете? А у насъ — безъ этого нельзя.

— Правда!—торжественно подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Правда!—откликнулись и мы.

— Иностранецъ—онъ наглый!—развивалъ свою мысль Прудентовъ:—онъ забрался къ себѣ въ квартиру и думаетъ, что въ неприступную крѣпость засѣлъ. А почему, позвольте спросить?—а потому, сударь, что начальство у нихъ противъ нашего много къ службѣ равнодушнѣе; само ни во что̀ не входитъ и имъ повадку даетъ!

— Правда!—подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Правда!—откликнулись мы.

— Ужъ такъ они тамъ набалованы, такъ набалованы—совѣмъ даже какъ оглашенные!—присовокупилъ Иванъ Тимоѳеичъ:—и къ намъ-то пріѣдутъ — сколько времени, сколько труда нужно, чтобъ ихъ вразумить! Есть у меня въ районѣ французъ-перчаточникъ, только на дняхъ я ему и говорю:—Смотри, Альфонсъ Иванычъ, я къ тебѣ съ визитомъ собираюсь! — „Въ магазинъ?“ спрашиваетъ. —

Нѣтъ, говорю, не въ магазинъ, а туда, въ заднюю каморку къ тебѣ хочу заглянуть, какъ ты тамъ, каково поживаешь, каково приживаешь... республикъ и все такое... Такъ онъ, можете себѣ представить, даже на меня глаза вытаращилъ: „не можетъ это быть!“ говоритъ. Вотъ это какой закоснѣлый народъ!

— И вы... да неужто же вы такъ и оставили это? — возмутились мы съ Глумовымъ до глубины души.

— Что-жъ... я!? Повертѣлся, повертѣлся — вздохнулъ и пошелъ въ овощенную... тамъ ужъ свою обязанность выполнилъ... Ахъ, друзья, друзья! наше вѣдь положеніе... очень даже щекотливое у насъ насчетъ этихъ иностранцевъ положеніе! Разумѣется, предостерегъ-таки я его: смотри, говорю, однако, Альфонсъ Иванычъ, мурлыкай свою республикъ, только ежели, паче чаянія, со двора или съ улицы услышу... оборони Богъ!

— Что жъ онъ?

— Смѣется—что съ нимъ подѣлаешь!

— Однакожъ, какую власть взяли!

— Вольница—одно слово.

— Такъ вотъ по этому образцу и извольте судить, какихъ примѣровъ намъ слѣдуетъ ожидать,—вновь повелъ рѣчь Прудентовъ: —теперича въ нашемъ районѣ этого торгующаго народа—на каждомъ шагу; такъ ежели всякій понятіе это будетъ имѣть, да глаза таращить станетъ—какъ тутъ поступать? А съ насъ, между прочимъ, спрашиваютъ!

— Чтобы нигдѣ ни-ни... упаси Богъ!

— Намъ нужно, чтобъ онъ, яко обыватель, во всякое время всю свою обстановку предоставилъ, а онъ вмѣсто того: „не можетъ это быть!“

— Правда!—подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Правда!—откликнулись мы.

Точно также не выгорѣлъ и вопросъ объ исторической благопристойности, хотя Глумовъ и энергически отстаивалъ его.

— Позвольте вамъ доложить,—возразилъ Прудентовъ:—зачѣмъ намъ исторія? Гдѣ, въ какихъ исторіяхъ мы полезныхъ для себя указаній искать будемъ? Ежели теперича взять римскую или греческую исторію, такъ у насъ ключъ отъ тогдашней благопристойности потерянъ, и подлинно ли была тамъ благопристойность—ни-

чего мы этого не знаемъ. Судя же потому, что въ учебникахъ объ тогдашнихъ временахъ повѣствуется, такъ всѣ эти греки да римляне больше безначаліемъ, нежели благопристойностью занимались.

— А у насъ этого нельзя! да-съ, нельзя-съ! — подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ и при этомъ взглянулъ на насъ такъ внушительно, что я, признаться, даже поненялъ на Глумова, зачѣмъ онъ эту матерію шевельнулъ.

— Кто говоритъ, что можно!—оборонился Глумовъ:—но ежели древніе греческіе и римскіе образцы непригодны, такъ вѣдь у насъ и своя исторія была.

— А насчетъ отечественныхъ историческихъ образцовъ могу возразить слѣдующее: большая часть имѣвшихся по сему предмету документовъ, въ бывшіе въ разное время пожары, сгорѣла, а то, что осталось, содержитъ лишь указанія краткія и недостаточныя, какъ напримѣръ: однимъ—выщипывали бороды по волоску, другимъ — ноздри рвали. Судите поэтому сами, какова у насъ въ древности благопристойность была!

— Голубчикъ! да вѣдь не всѣмъ же... Вѣдь мы съ вами... происходимъ же мы отъ кого-нибудь! Въ Россіи-то семьдесятъ милліоновъ жителей считается, и у всѣхъ были отцы. Уцѣлѣли же, стало быть, они!

— По снисхожденію-съ.

Словомъ сказать, и на исторической почвѣ Прудентовъ оказался неуязвимымъ. И что всего досаднѣе: не только Иванъ Тимоѳеичъ явно склонился на сторону дѣльца-письмоводителя, но и Молодкинъ самодовольно и глупо хихикалъ, радуясь нашему пораженію.

Оставалось послѣднее убѣжище: устныя преданія, народная мудрость, пословицы, поговорки. Но и тутъ Прудентовъ безъ труда восторжествовалъ.

— Насчетъ народной мудрости можно такъ сказать,—возразилъ онъ: — для черняди она полезна, а для высокопоставленныхъ лицъ едва-ли руководствомъ служить можетъ. Устное-то преданіе у насъ и доселѣ одно: „сколько влѣзетъ!“—такъ вѣдь это преданіе и безъ того куда слѣдуетъ, въ качествѣ матеріала, занесено. Что же касается до поговорокъ, то иногда онѣ и совсѣмъ въ нашемъ дѣлѣ непригодны. Возьмемъ для примѣра хоть слѣдующее: Народъ гово-

рить: по Сенькѣ—шапка, а по обстоятельствамъ дѣла выходитъ, что эту поговорку наоборотъ надо понимать.

— Почему же такъ?

— А потому, что потому-съ. Начальство—вотъ въ чемъ причина! Сёнекъ-то много-съ, такъ коли ежели каждый для себя особливой шапки потребуетъ... А у насъ на этотъ счетъ такъ принято: для сокращенія переписки всѣмъ чтобы одна мѣра была! Вотъ мы и пригоняемъ-съ. И правильно это, доложу вамъ, потому что народъ—онъ глупъ-съ.

— Да еще какъ глупъ-то!—воскликнулъ Иванъ Тимоѳеичъ: —то-есть, такъ глупъ, такъ глупъ!

Напоминаніе о народной глупости внесло веселую и легкую струю въ нашъ разговоръ. Сначала говорили на эту тему члены коммиссіи, а потомъ незамѣтно разразились и мы, и минутъ съ десять всѣ хоромъ повторяли: „ахъ, какъ глупъ, ахъ, какъ глупъ!“ Молодкинъ же, воспользовавшись симъ случаемъ, разсказалъ нѣсколько сценъ изъ народнаго быта, право, ничуть не уступавшихъ тѣмъ, которыми утѣшается публика въ Александрійскомъ театрѣ.

— А вы еще объ народной мудрости изволите говорить!—укоризненно заключилъ Прудентовъ, обращаясь къ Глумову.

— И, все-таки, извините меня, а я этого понять не могу! — не унимался Глумовъ:—какъ же это такъ? ни исторіи, ни современныхъ законодательствъ, ни народныхъ обычаевъ—такъ-таки ничего? Стало быть, что̀ вамъ придетъ въ голову, то̀ вы и пишете?

— Прямо отъ себя-съ. Имѣемъ въ виду одно обстоятельство: чтобы для начальства какъ возможно меньше безпокойства было — къ тому и пригоняемъ.

Теорія эта хотя и давно намъ была знакома, но на этотъ разъ она была высказана такъ безыскусственно, прямо и рѣшительно, что мы на минуту умолкли, какъ бы подъ вліяніемъ пріятной неожиданности.

— Любопытно!—произнесъ наконецъ Глумовъ, первый стряхнувъ съ себя гнетъ очарованія.

— А коли любопытно, такъ не угодно ли съ трудами нашими ознакомиться? — предложилъ Прудентовъ. — Намъ даже очень пріятно, что образованные люди прожектами нашими интересуются. Иванъ Тимоѳеичъ, дозволите?

Разумѣется, Иванъ Тимоѳеичъ охотно согласился, и Прудентовъ прочелъ:

УСТАВЪ

О БЛАГОПРИСТОЙНОМЪ ОБЫВАТЕЛЕЙ ВЪ СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОВЕДЕНІИ.

Общія начала.

„Ст. 1-я. Всякій обыватель да памятуетъ, что двѣ главнѣйшихъ цѣли передъ нимъ къ непремѣнному достиженію предстоятъ: въ сей жизни—благопристойное во всѣхъ мѣстахъ нахожденія поведеніе: въ будущей—вѣчное блаженство.

„Ст. 2-я. Обѣ сіи цѣли, составляя начало и конецъ одной и той же, отъ вѣковъ предустановленной и начальствомъ одобренной, цѣпи, состоятъ, однакоже, въ завѣдываніи двухъ совершенно отличныхъ вѣдомствъ. А именно: первая вѣдается обыкновенными, отъ гражданскаго начальства учрежденными властями, вторая же подлежитъ разсмотрѣнію религіи.

„Ст. 3-я. Благопристойность, составляющая предметъ настоящаго устава, по существу своему раздѣляется на внѣшнюю и внутреннюю. По мѣсту же нахожденія обывателя—на благопристойность, обнаруживаемую: а) на улицахъ и площадяхъ, б) въ публичныхъ мѣстахъ и в) въ собственныхъ обывателей квартирахъ.

„Ст. 4-я. Внѣшняя благопристойность выражается въ дѣйствіяхъ и тѣлодвиженіяхъ обывателя: внутренняя создаетъ себѣ храмъ въ сердцѣ его. А посему наболѣе приличными мѣстами наблюденія за первою признаются: улицы, площади и публичныя мѣста; послѣднюю же всего удобнѣе наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей.

„Ст. 5-я. Сіи общія начала, взятыя въ нераздѣльной ихъ совокупности, составляютъ краеугольный камень, на которомъ зиждется все послѣдующее зданіе благопристойности. А равнымъ образомъ и изреченіе: начальству да повинуются, ибо всуе приказанія отдавать, ежели оныя не исполнять“.

— Это—общія начала,—сказалъ Прудентовъ, прерывая чтеніе и самодовольно поглядывая на насъ:—имѣете сдѣлать какое-либо замѣчаніе?

Вмѣсто отвѣта, мы взяли Прудентова за руку и долго и съ чувствомъ жали ее.

— Не только ничего не имѣемъ,—сказалъ Глумовъ взволнованнымъ голосомъ:—но даже... удивительно это, голубчикъ, какъ вы въ нѣсколькихъ штрихахъ всѣ истинныя потребности времени обрисовали! Именно, именно такъ: „собственныя квартиры“!—вотъ гдѣ настоящая нить завязки романа гнѣздится! Само Провидѣніе вамъ, другъ мой, внушило эту мысль!

— Итакъ, будемъ продолжать-съ.

§ 1-й.

О благопристойномъ поведеніи на улицахъ и площадяхъ.

„Ст. 1-я. Въ отношеніи благопристойнаго поведенія на улицахъ и площадяхъ городъ раздѣляется на три района. Первый обнимаетъ собой набережную рѣки Невы отъ крайнихъ предѣловъ Англійской набережной и оканчивая Литейнымъ дворомъ; затѣмъ, идя по Литейной улицѣ до конца оной, поворотитъ по Невскому проспекту до Большой Морской, а оттуда идти по Конногвардейскому бульвару и вновь вступить на Англійскую набережную. Второй районъ составляютъ остальныя части города по сю сторону Невы, за исключеніемъ Рождественской и Нарвской частей, а равно и Васильевскій островъ по 14-ую линію включительно. Въ третій районъ входятъ прочія мѣстности, а также Сѣнная площадь.

„Ст. 2-я. Внутренняя благопристойность во всѣхъ сихъ районахъ требуется одинаковая. Что же касается до благопристойности внѣшней, то, дабы предоставить обывателямъ возможныя по сему предмету облегченія, только въ первомъ районѣ предписывается благопристойность безусловная; затѣмъ во второмъ районѣ допускается благопристойность мѣньшая противъ перваго района; въ третьемъ же районѣ разрѣшаются и прямыя отъ внѣшней благопристойности уклоненія.

„Ст. 3-я. Всѣ вообще площади, улицы и переулки предоставляются въ распоряженіе публики, а посему обывателямъ не возбраняется посѣщеніе ихъ, какъ для прогулокъ, такъ и для прочихъ надобностей, кромѣ впрочемъ вводящихъ въ соблазнъ.

„Ст. 4-я. Всякій приходящій на улицу или площадь имѣетъ право обращаться на оныхъ свободно, не стѣсняя себя одною стороною или однимъ направленіемъ, но переходя, по надобности, и на

другую сторону, а равнымъ образомъ заходя и въ ближайшіе переулки. Но безъ надобности, а тѣмъ паче съ явнымъ намѣреніемъ затруднить надзоръ, соваться взадъ и впередъ воспрещается.

„Ст. 5-я. Однообразной формы одежды для пребыванія на улицахъ и площадяхъ не полагается. Всякій да будетъ одѣтъ какъ самъ пожелаетъ и какъ состоянію его приличествуетъ. Но само собой разумѣется, что выраженіе: „одежда“ должно быть принимаемо въ настоящемъ его значеніи, и что никакой игры словъ по сему поводу не допускается.

„Ст. 6-я. Разрѣшается, при встрѣчѣ съ знакомыми, остановившись или, по желанію, и продолжая совмѣстно путь, вступать въ приличный разговоръ. При семъ подъ выраженіемъ: „приличный разговоръ“ слѣдуетъ разумѣть: а) воспоминанія о пріятно проведенномъ времени; б) предположенія о возможности такого же времяпровожденія въ ближайшемъ будущемъ; в) разспросы о здоровьи начальствующихъ лицъ, а равно родныхъ и близкихъ, не опороченныхъ по суду; г) воспоминанія о слышанномъ и видѣнномъ на экономическихъ обѣдахъ; д) анекдоты изъ жизни цензоровъ Красовскаго и Бирукова; е) разсказы изъ народнаго быта и ж) вообще всякія легкія изреченія, кои не могутъ подать повода для превратныхъ толкованій. Но „критика“ безусловно возбраняется.

„Ст. 7-я. Поговоривъ между собою, обыватели, ежели они при этомъ не сдѣлали другого какого-либо противозаконнаго проступка, могутъ разойтись и не докончивъ начатой матеріи, за что никакому взысканію не подвергаются.

„Ст. 8-я. Воровать, грабить и, тѣмъ паче, убивать не дозволяется вовсе. Лица, учинившія такіе проступки, немедленно отводятся въ ближайшую будку, оттуда въ подлежащій кварталъ, а затѣмъ и въ часть.

„Ст. 9-я. Тѣмъ не менѣе, ежели кто замѣтитъ со стороны проходящаго явное покушеніе на его собственность или жизнь, то не долженъ о семъ заявлять неистовымъ голосомъ, а обязывается, ухвативъ покушающагося за руку, держать крѣпко, дабы не вырвался.

„Ст. 10-я. Ежели бы, паче чаянія, случилось, что потерпѣвшее лицо, не будучи въ состояніи удержать обидчика, выпуститъ его, то такой случай надлежитъ считать неосуществившимся отъ независящихъ обстоятельствъ.

„Ст. 11-я. При встрѣчахъ съ знакомыми дамами предоставляется, отдавъ учтивый поклонъ, разспрашивать о здоровьи. Буде же встрѣтится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продолжать путь въ молчаніи, не дозволяя себѣ никакихъ аллегорическихъ тѣлодвиженій.

„Ст. 12-я. Вообще, да вѣдомо будетъ всѣмъ и каждому, что особа женскаго пола есть существо слабое и снисхожденія заслуживающее. Посему не тотъ достоинъ похвалы, кто оную съ праваго пути на погибельный совратитъ, а тотъ, кто и заблудшую въ лоно цѣломудрія водворитъ.

„Ст. 13-я. Относительно образа мыслей, яко дара сокровеннаго, никакихъ правилъ, въ какой силѣ оный содержать, не полагается. Тѣмъ не менѣе, дабы не оставить желающихъ безъ надлежащаго въ семъ случаѣ наставленія, предписывается будочникамъ, при проходѣ мимо ихъ обывателей, дѣлать соотвѣтствующія духу времени предостереженія.

„Ст. 14-я. Но ежели бы въ выраженіи лица обывателя была замѣчена столь явная злоумышленность, что и сомнѣваться въ оной нельзя, то таковой, безъ потери времени, приводится въ съѣзжій домъ для изслѣдованія.

„Ст. 15-я. При наймѣ извозчиковъ, ежели надобность сія возникнетъ въ первомъ районѣ—слѣдуетъ безусловно воздерживаться отъ сквернословія; во второмъ районѣ—воздерживаться лишь по мѣрѣ возможности; въ третьемъ же районѣ—воздержаніе или невоздержаніе оставляется на каждаго, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, дабы сквернословіе прилагалось не по произволу сквернословящаго, но по заслугамъ сквернословимаго.

„Ст. 16-я. Лица дворянскаго происхожденія да памятуютъ, что ношеніе бородъ имъ несвойственно, а право ношенія усовъ присвоено лишь лицамъ военнаго званія. Равнымъ образомъ и о прическѣ сказать надлежитъ, что оная не должна быть ни слишкомъ длинною, ни слишкомъ короткою. Лучшая прическа—средняя.

„Ст. 17-я. Пѣть и свистать (но не громогласно) не возбраняется, ибо сіе означаетъ удовольствіе. Для начальства же ничто столь не пріятно, какъ ежели подчиненные безъ унылости и во всемъ положась на волю онаго время проводятъ.

„Ст. 18-я. Проходя мимо памятниковъ, надлежитъ, замедливъ

шаги, изобразить на лицѣ восторженность. Если же, по причинѣ охлажденія лѣтъ или вслѣдствіе долговременной и тяжелой болѣзни, восторженность представляется трудно достижимою, то замѣнить оную простою задумчивостью. Какъ восторженность, такъ и задумчивость будутъ въ семъ случаѣ служить доказательствомъ твердаго намѣренія обывателя уподобиться симъ героямъ, дабы впредь проводить время такъ, какъ оные при жизни своей проводили, за что и удостоены отъ начальства монументомъ.

„Ст. 19-я. Когда таковыхъ вознамѣрившихся подражать монументамъ обывателей наберется достаточно, то всѣмъ имъ составляется подробный списокъ, который и препровождается въ особую монументную коммиссію. Сія же послѣдняя, при разсмотрѣніи списковъ, руководится тою мыслью, что чѣмъ болѣе будетъ воздвигнуто монументовъ (хотя бы и среднихъ размѣровъ), тѣмъ охотнѣе всякій будетъ содержать въ своемъ сердцѣ ожиданіе столь отличной награды и въ семъ ожиданіи почерпать поводъ для добродѣтельной жизни.

„Ст. 20-я. При входѣ въ баню воспрещается снимать съ себя одежду, прежде нежели обыватель войдетъ въ притворъ.

„Ст. 21-я. При встрѣчѣ съ лицами высшими предоставляется выражать вѣжливое изумленіе и несомнѣнную готовность претерпѣть, при встрѣчѣ съ равными—гостепріимство и желаніе оказать услугу; при встрѣчѣ съ низшими—снисходительность, но безъ послабленія.

„Ст. 22-я. Подавать нищимъ не возбраняется, но полезно при семъ напоминать имъ, что только тотъ хлѣбъ сладокъ, который добывается трудомъ.

„Ст. 23-я. Ибо только то отечество процвѣтаетъ, которое, давая труду исходъ и направленіе, въ то же время оплодотворяетъ его соотвѣтствующимъ капиталомъ, а въ случаѣ отсутствія такового—кредитомъ, съ обязанностью взятое своевременно съ надлежащими процентами уплатить. Что вполнѣ подтверждается и собесѣдованіями, производимыми на экономическихъ обѣдахъ.

„Ст. 24-я. Равнымъ образомъ и о монетной единицѣ не лишне здѣсь упомянуть. Тщетно будемъ мы употреблять выраженіе „рубль“, коль скоро онъ полтину стоитъ; однако, ежели начальство находитъ сіе правильнымъ, то желаніе его надлежитъ выполнить безпрекословно. Такъ точно и въ прочихъ человѣческихъ дѣлахъ.

„Ст. 25-я. Все, что въ сихъ правилахъ не указано, яко невоз-

браняемое, тѣмъ самымъ уже становится въ разрядъ возбраненнаго. Въ случаѣ же сомнѣнія, лучше всего, не продолжая прогулки, возвратиться домой и тамъ размыслить".

Голосъ Прудентова смолкъ.

— Все?—спросилъ Глумовъ.

— Покуда — все-съ. А тамъ пойдутъ правила о благопристойномъ поведеніи въ баняхъ и другихъ публичныхъ мѣстахъ, и наконецъ о благопристойности въ собственныхъ квартирахъ.

— Голубчикъ! Флегонтъ Васильичъ (такъ звали Прудентова)! позволь мнѣ часика на два твой уставъ! Я тебѣ въ „общія начала" — чуточку „злой и порочной воли" подпущу. Нельзя безъ этого, другъ мой! Голд!

Предложеніе это было сдѣлано такъ искренно и притомъ съ такимъ горячимъ участіемъ, что Прудентовъ не только не обидѣлся, но вмѣсто отвѣта простеръ къ Глумову обѣ руки, вооруженныя проектомъ устава. И мы вдругъ, совершенно незамѣтно, начали съ этой минуты говорить другъ другу „ты".

— Вотъ и прекрасно!—продолжалъ Глумовъ:—кстати, позволь ужъ и параграфъ объ улицахъ просмотрѣть. Шероховатости мѣстами попадаются; сейчасъ: „при входѣ въ баню", и тутъ же слѣдомъ: „при встрѣчѣ съ лицами высшими" —нехорошо, братецъ!

— Да, ужъ поправь! сдѣлай милость, поправь!—присовокупилъ свою просьбу и Иванъ Тимоѳеичъ:—я вѣдь и самъ... Вижу, что не тово... напримѣръ, „равнымъ образомъ и о монетной единицѣ"... а почему „равнымъ образомъ", и точно ли „равнымъ образомъ" — сказать не могу!

— Поправлю! все поправлю! А главное—„злой и порочной воли" подпустить надо! Непремѣнно подпустить. Потому что безъ этого, понимаешь ты, вѣдь и въ „квартиры" войти неловко! А коли „злая и порочная воля" есть, такъ вездѣ тебѣ входъ открытъ!

Глумовъ сложилъ уставъ вчетверо и бережно положилъ его въ карманъ. Потомъ, съ свойственнымъ ему любезно-вызывающимъ видомъ взглянулъ на Ивана Тимоѳеича и продолжалъ:

— Иванъ Тимоѳеичъ! а вѣдь мы... нѣтъ, угадай, съ чѣмъ мы къ тебѣ пришли?

— Водки, что-ли, велѣть подать?—натурально прежде всего догадался Иванъ Тимоѳеичъ.

— Анъ вотъ и не отгадалъ! Водка—само собой, а помнишь объ Парамоновской „штучкѣ“ ты насъ проспалъ? Вѣдь Балалайкинъ-то... со-гла-сил-ся!

— Ну, слава Богу!

— И денегъ, знаешь ли, сколько выпросилъ?.. ты-ся-чу шестьсотъ! Совсѣмъ! и съ будущимъ судебнымъ разбирательствомъ, ежели таковое возникнетъ!

— Слава Богу! слава Богу! вотъ это... ну, слава Богу! Сеслава Богу!—повторялъ Иванъ Тимофеичъ, захлебываясь и пожимая намъ руки:—ну, надо теперь бѣжать, обрадовать старика надо! А къ вечеру и вамъ вѣсточку дамъ, что и какъ... дру-з-з-з-ья!

Мы повеселѣли окончательно, такъ что Глумовъ позволилъ даже себѣ пошутить съ Молодкинымъ, обратившись къ нему съ вопросомъ:

— Ну, а ты, Аѳанасій Семенычъ! что ты молчишь, пріунылъ? какъ будто благопристойность-то эта не совсѣмъ тебѣ понутру?

На что Молодкинъ очень мило отвѣтилъ:

— У меня своя часть—пожары-съ! А благопристойности этой... признаюсь, я даже совсѣмъ не понимаю!

Глава IX.

Придя домой, мы нашли Очищеннаго уже возвратившимся изъ бани. Онъ прохаживался въ довольно близкомъ разстояніи отъ шкафа, въ которомъ хранился графинъ съ водкой, но, къ чести нашего друга, мы должны были сознаться, что въ отсутствіе наше ничего въ квартирѣ у насъ не пропало.

— Вотъ, братъ, могли ли мы думать, выходя сегодня утромъ, что все такъ прекрасно устроится!—сказалъ мнѣ Глумовъ: — и съ Балалайкинымъ покончили, и заблудшаго друга обрѣли, а вдобавокъ еще и на „Уставъ“ наскочили! Вѣдь этакъ, пожалуй, и мы съ тобой косвеннымъ образомъ любезному отечеству въ копель накласть сподобимся!

Слова эти настроили насъ на благодушный ладъ. А такъ какъ праздныго времени у насъ было прòпасть, то мы рѣшились посвятить его благопотребно-философическимъ размышленіямъ. Наше случайное привлеченіе къ участію въ работахъ коммиссіи по составленію „Устава благопристойности“ представило для такихъ размышленій

обильный и вполнѣ подходящій матеріалъ. Въ самомъ дѣлѣ, не предопредѣленіе ли это? Стоитъ только подпустить въ „Уставъ“ съ воробьиную погадку „злой и порочной воли“ (а это вполнѣ теперь отъ насъ зависитъ)—и доступъ въ квартиры сдѣлается свободнымъ навсегда! Не то чтобъ доступъ этотъ не былъ свободенъ и прежде—нѣтъ, въ этомъ отношеніи мы новаторами назваться не можемъ!—но прежде этотъ необходимый актъ общественной безопасности производился какъ-то грубо, а потому казался неестественнымъ. Охочій человѣкъ молча приходилъ въ квартиру, молча же отмыкалъ помѣщенія, и на вопросъ: „чего вы ищете?“ не могъ даже отвѣтить порядкомъ, какая вещь изъ квартирной обстановки ему приглянулась. Развѣ такая форма огражденія домашняго очага можетъ быть названа удовлетворительною? Напротивъ того, теперь, благодаря нашему просвѣщенному содѣйствію, тотъ же охочій человѣкъ совершитъ то же самое, но при этомъ скажетъ: „по слухамъ, въ этой квартирѣ скрывается злая и порочная воля — извольте представить ключи!“ Кто же позволитъ себѣ найти это требованіе ненатуральнымъ?

— Да, господа,—сказалъ Глумовъ:—нерѣдко и малые источники даютъ начало рѣкамъ, оплодотворяющимъ неизмѣримыя пространства. Такъ-то и мы. Пусть эта мысль сопутствуетъ намъ въ трудахъ нашихъ, и да дастъ она намъ силу совершить предпринятое не къ стыду, но къ славѣ нашего отечества!

Разумѣется, я ничего не имѣлъ возразить противъ такого напутствія, а Очищенный даже перекрестился при этомъ извѣстіи и произнесъ:—Дай Богъ счастливо!—Вообще, этотъ добрый и опытный старикъ былъ до крайности намъ полезенъ при нашихъ философическихъ собесѣдованіяхъ. Стоя на одной съ нами благопотребно-философической высотѣ, онъ обладалъ тѣмъ преимуществомъ, что, благодаря многолѣтней тапёрской практикѣ, имѣлъ въ запасѣ множество приличествующихъ случаю фактовъ, которые поощряли насъ къ дальнѣйшей игрѣ ума.

— Къ стыду отечества совершить очень легко,—сказалъ онъ:—къ славѣ же совершить, напротивъ того, столь затруднительно, что многіе даже изъ силъ выбиваются и все-таки успѣха не достигаютъ. Когда я въ Проломновской губерніи жилъ, то былъ тамъ одинъ начальствующій—такъ онъ всегда все къ стыду совершалъ.

Даже посторонніе дивились: спросятъ, бывало: „зачѣмъ это вы, ваше-ство, все къ стыду да къ стыду?“ А онъ: „не могу, говоритъ: радъ бы радостью къ славѣ что-нибудь совершить, а выходитъ къ стыду!“

— Ахъ, чортъ возьми!

— И даже какъ я вамъ доложу! перешелъ онъ послѣ того въ другое вѣдомство, думаетъ: хоть тамъ не выйдетъ ли чего къ славѣ —и хоть ты что хошь! Такъ въ стыдѣ и отошелъ въ вѣчность!

— Однако!

— И когда, при отпѣваніи, отецъ протопопъ сказалъ: „вотъ человѣкъ, который всю жизнь свою, всеусердно тщась нѣчто къ славѣ любезнѣйшаго отечества совершить, ничего, кромѣ дѣйствій, клонящихся къ несомнѣнному онаго стыду, не совершилъ“, то весь народъ, всѣ, кто тутъ были, всѣ такъ и залились слезами!

— Еще бы! разумѣется, жалко!

— И многіе изъ предстоявшихъ начальствующихъ лицъ въ то время на усъ себѣ это намотали!

— Намотали то намотали, да проку отъ этого мало вышло!

— Это ужъ само собой.—А вотъ что вы изволили насчетъ малыхъ источниковъ сказать, что они нерѣдко начало большимъ рѣкамъ даютъ, такъ и это совершенная истина. Источнику, даже самому малому, очень нетрудно хорошей рѣкой сдѣлаться, только одно условіе требуется: понравиться нужно.

— Отчего же ты самъ...

— Удачи мнѣ не было—вотъ почему. Это вѣдь, сударь, тоже какъ кому. Иной, кажется, и не слишкомъ уменъ, а только взглянетъ на лицо начальничье—сейчасъ истинную потребность видитъ; другой же и долго глядитъ, а ничего различить не можетъ. Я тоже однажды „понравиться“ хотѣлъ, анъ, замѣсто того, совсѣмъ для меня другой оборотъ вышелъ.

— Бѣдный ты, бѣдный!

— Да, сударь. Состоялъ я въ то время подъ слѣдствіемъ, по дѣлу о злоупотребленіи помѣщичьей власти, и пріѣхалъ въ губернію хлопотать. Туда-сюда, только и говоритъ мнѣ одинъ человѣкъ: „дѣло твое, говоритъ, даже очень хорошо направить можно, только постарайся *ему* понравиться“. И научилъ онъ меня, знаете, насмѣхъ: „съѣзди, говоритъ, къ обѣднѣ, выпь за здравіе просвирку и свези

ему: страсть, какъ онъ это любитъ!“ Такъ я и сдѣлалъ. Пріѣзжаю это къ нему, прошу доложить, а самъ просвирку въ рукѣ держу. Выходитъ. Взялъ мою просвирку, повертѣлъ въ рукахъ, разломилъ пополамъ, потомъ на-четверо... И вдругъ: „такъ ты, говоритъ, богоодохновенную взятку мнѣ хотѣлъ всучить?.. вонъ!!“

— Не понравился, значитъ?

— То-то, что я совѣтъ-то того человѣка не въ надлежащей силѣ понялъ. Просвирки-то *онъ* дѣйствительно любилъ, да съ начинкою.

— Стало быть, еслибъ ты въ ту пору истинную потребность угадалъ, такъ, можетъ, и теперь бы теченіе имѣлъ да выкупными свидѣтельствами попгрывалъ.

— Безпремѣнно-съ. „Понравиться“ — въ этомъ вся наша здѣшняя жизнь состоитъ. Вотъ, напримѣръ, съ однимъ моимъ знакомымъ какой случай былъ. Начальникъ у него былъ въ родѣ какъ омраченный. Всѣ дѣла департаментскія на цифры переложилъ, на всякій предметъ свою особую форму вѣдомости преподалъ и строгопрестрого слѣдилъ, чтобы ни въ одной, значитъ, графѣ ни одного пустого мѣста не оставалось. Только однажды подали ему вѣдомость —онъ ее и такъ, и этакъ, и сверху внизъ, и снизу вверхъ, и поперекъ — недостаетъ четь копѣйки да и шабашъ! Взбунтовалъ весь департаментъ, ищутъ, шарятъ—нѣтъ четь копѣйки! А онъ, знакомый-то мой, зналъ. Пришелъ это прямо къ начальнику предъ лицо и говоритъ: „вотъ она!“ И точно, стали это, по указанію его, провѣрять—тутъ какъ тутъ! Сейчасъ это его въ баню сводили, насчетъ канцелярскихъ остатковъ вымыли, одѣли, обули—и первымъ человѣкомъ сдѣлали!

Примѣръ этотъ навелъ насъ на мысль, что, независимо отъ умѣнья „понравиться“, въ жизни русскаго человѣка играетъ немаловажную роль и волшебство.

— Загляните въ любую книжку „Русской Старины“, „Русскаго Архива“ —что̀ найдете вы тамъ, кромѣ фактовъ самаго поразительнаго волшебства? —выразилъ свое мнѣніе Глумовъ.

— Да что̀, сударь, въ „Русскую Старину“ заглядывать — и нынѣче этого волшебства даже очень достаточно, —подтвердилъ Очищенный: —такъ довольно, что иногда человѣкъ даже не мыслитъ ни о чемъ — анъ съ нимъ переворотъ. На моей еще памяти случай-то

этотъ былъ, что мылись два человѣка въ банѣ: одинъ—постарше, а другой—молодой. Только постарше-то который и спрашиваетъ молодого: „какіе, по твоему мнѣнію, молодой человѣкъ, необходимѣйшіе законы, въ настоящее время, къ изданію потребны?“ Тотъ взялъ да и назвалъ. И что-жъ! на другой день за нимъ—курьеръ! Посадили раба божьяго въ телѣжку, привозятъ: „извольте, говоритъ, тѣ самые законы написать, о которыхъ вчера въ извѣстномъ вамъ мѣстѣ сужденіе имѣли!“ Ну, онъ сѣлъ и написалъ. Да какъ еще написалъ-то: въ трехъ строкахъ всю, что-ни-на-есть подноготную изобразилъ! А теперь у него, сударь, тысяча душъ въ Саратовской губерніи, да домъ у Харламова моста, да дочь свою онъ за камеръ-юнкера отдалъ... И все черезъ то, что настоящую минуту изобралъ, когда въ баню идти! Какъ вы скажете: отъ себя ему эта мысль пришла, или отъ предопредѣленія?

— Вотъ кабы и намъ...—началъ-было я, увлеченный перспективами волшебства, но Глумовъ не далъ мнѣ кончить.

— Не желай,—сказалъ онъ:—во-первыхъ, только тотъ человѣкъ истинно счастливъ, который умѣетъ довольствоваться скромною участью, предоставленною ему Провидѣніемъ, а во-вторыхъ нелегко, мой другъ, изъ золотарей вышедши, на высотахъ балансировать! Хорошо, какъ у тебя настолько характера есть, чтобъ не возгордиться и не превознестись; но горе, ежели ты хотя на минуту позабудешь о своемъ недавнемъ золотарствѣ! Волшебство, которое тебя вознесло,—оно же и низвергнетъ тебя! Иванъ Иванычъ, правду я говорю?

— Правду, сударь, потому все въ мірѣ волшебство отъ начальства происходитъ. А начальство, доложу вамъ, это такой предметъ: сегодня онъ дастъ, а завтра опять обратно возьметъ. Получать-то пріятно, а отдавать-то ужъ и горыконько. Поэтому я такъ думаю: тотъ только человѣкъ счастливымъ почесться можетъ, который на пути своемъ совсѣмъ начальство избѣжать изловчится.

— Чудакъ! да какъ же ты его избѣгнешь, коли оно всегда тутъ, передъ тобой?

— Коли совсѣмъ нельзя избѣгнуть, тогда, конечно, дѣлать нечего: значитъ, на роду такъ написано. Но коли мало-мальски возможность есть—избѣгай! всѣ силы-мѣры употреби, а избѣгай!

— Трудно, голубчикъ, вотъ что!

— И труда большого нѣтъ, ежели политику какъ слѣдуетъ ве-

сти. Придетъ, напримѣръ, начальство въ департаментъ — встань и поклонись; къ докладу тебя потребуютъ — явись; вопросъ предложитъ—отвѣть что̀ нужно, а разговоръ не затѣвай. Вышелъ изъ департамента — позабудь. Коли видишь, что начальникъ по улицѣ встрѣчу идетъ—зайди въ кондитерскую или на другую сторону перебѣги. Коли столкнешься съ начальникомъ въ жиломъ помѣщеніи —отвернись, скоси глаза...

— Однако, братъ,—это наука!

— Вся наша жизнь есть наука, сударь, съ тою лишь разницей, что обыкновенныя, настоящія науки проникать учатъ, а жизнь, напротивъ того, устраняться отъ проникновенія внушаетъ. И только тогда, когда человѣкъ вотъ эту, жизненную-то, науку себѣ усвоитъ, только тогда онъ и можетъ съ нѣкоторою увѣренностью воскликнуть: да, быть можетъ, и мнѣ Господь Богъ пошлетъ собственною смертью умереть!

Очищенный на мгновеніе потупился. Быть можетъ, его осѣнила въ эту минуту мысль, достаточно ли онъ самъ жизненную науку проникъ, чтобы съ увѣренностью надѣяться на „собственную" смерть? Однако, такъ какъ печальныя мысли вообще не задерживались долго у него въ головѣ, то, немного погодя, онъ встряхнулся и продолжалъ:

— Даже въ любви къ начальству—и тутъ отъ неумѣренныхъ выраженій воздерживаться надлежитъ. Вотъ какъ жизненная-то наука намъ приказываетъ!

— Примѣръ, голубчикъ, примѣръ!

— Разскажу я вамъ, сударь, повѣсть объ одномъ статскомъ совѣтникѣ, который любовью своей двухъ начальниковъ въ гробъ вколотилъ, а отъ третьяго и самъ, наконецъ, возмездіе принялъ. Жилъ-былъ статскій совѣтникъ, и такъ онъ своего начальника возлюбилъ, что даже мнилъ его безсмертнымъ. Куда, бывало, ни пойдетъ начальникъ—всюду статскій совѣтникъ на цыпочкахъ за нимъ слѣдуетъ: куда, бывало, ни взглянетъ начальникъ—на всякомъ мѣстѣ статскій совѣтникъ противъ него очутится; сидитъ, скрестивши на груди руки, и на него глядитъ. Ну, поначалу генералу эта преданность нравилась, однако, съ теченіемъ времени, сталъ онъ мало-по-малу задумываться: что̀-молъ такое это значитъ? и нѣтъ ли тутъ покушенія какого-нибудь? Потому что вѣдь съ этими статскими совѣтниками —

бѣда! какъ разъ приворотнаго зелья подсыплетъ—только и видѣли! И началъ онъ его отъ этой любви отучать. Всячески отучалъ: и наградами обходилъ, и на цѣпь сажалъ, и даже подъ судъ однажды отдалъ. Неймется, да и шабашъ! Чѣмъ больше наказываютъ, тѣмъ пылче и пылче въ статскомъ совѣтникѣ сердце разгорается. И вдругъ, отъ этой ли причины, или отъ чего другого, только началъ начальникъ хирѣть. Хирѣлъ-хирѣлъ да и померъ. Возрыдалъ тогда статскій совѣтникъ, не токмо департаментъ, но и сторожевскую стонами огласилъ. „Когда-то еще, говоритъ, намъ новаго начальника дадутъ, а до тѣхъ поръ кто съ нами по всей строгости поступать будетъ?“ Однако послалъ Богъ ему милость: не усѣлъ онъ глаза просушить, какъ ужъ назначили имъ новаго начальника. Прибылъ въ департаментъ новый генералъ, и какъ былъ насчетъ статскаго совѣтника предупрежденъ, то призвалъ его предъ лицо свое и сказалъ: „предмѣстникъ мой далъ тебѣ раны, азъ же дамъ ти скорпіоны“. Что же, однако, вы думаете! даже и этимъ статскій совѣтникъ не упялся. Скорпіоны такъ скорпіоны! сказалъ онъ въ сердцѣ своемъ, и возлюбилъ новаго начальника пуще, нежели прежняго. И докапалъ-таки его! Пришелъ однажды скорпіонщикъ въ департаментъ, да на любовь статскаго совѣтника такое вдругъ встрѣчу слово пустилъ, что тутъ же имъ и подавился. И опять возрыдалъ статскій совѣтникъ: идетъ это за гробомъ и прямо народъ бунтуетъ. „Вотъ, говоритъ, велятъ на Провидѣніе надѣяться, а гдѣ оно?“ Увидѣли тогда, что дѣло-то выходитъ серьезное и безъ потери времени прислали въ тотъ департаментъ третьяго начальника. Прибылъ онъ къ мѣсту служенія, свѣжій да свѣтлый—весь словно новый мѣдный пятакъ горитъ! Призвалъ-это статскаго совѣтника предъ лицо свое и повелъ къ нему такую рѣчь: „одинъ мой предмѣстникъ далъ тебѣ раны, другой—скорпіоны, азъ же, дабы строптивый твой нравъ навсегда упразднить, истолку тебя въ ступѣ!“ И истолокъ-съ.

— Браво!—какъ-то невольно сорвалось у насъ. Но, разумѣется, мы сейчасъ же поняли, что восклицаніе это неумѣстно и даже жестоко.

— Слушай, другъ!—поспѣшилъ поправиться Глумовъ:—вѣдь это такой сюжетъ, что изъ него цѣлый романъ выкроить можно. Я и заглавіе придумалъ: „Плоды подчиненнаго распутства, или Смерть двухъ начальниковъ и вызванное оною мѣропріятіе со стороны третьяго“.

Написать да фельетонцемъ въ „Красѣ Демидрона“ и пустить... а? какъ ты думаешь, хозяева твои примутъ?

— Помилуйте! съ удовольствіемъ-съ!

— А я такъ, напротивъ, полагаю, что сюжетъ этотъ не романомъ, а трагедіей пахнетъ,—возразилъ я.—Помилуйте! съ одной стороны такая сила беззавѣтной любви, а съ другой—раны, скорпіоны и наконецъ толкачъ! Вѣдь его чинами обходили, на цѣпь сажали, подъ судъ отдали, а онъ все продолжалъ любить! Это ли не трагедія?

Завязался эстетическій споръ. Глумовъ, главнѣйшимъ образомъ, основывалъ свое мнѣніе на томъ, что романъ можно изо всего сдѣлать, даже если и нѣтъ у автора данныхъ для дѣйствительнаго содержанія. Возьми четыре-пять главныхъ дѣйствующихъ лицъ (статскій совѣтникъ, два убіенные начальника, одинъ начальникъ карающій и экзекуторъ, онъ же и казначей), прибавь къ нимъ, въ качествѣ второстепенныхъ лицъ, нѣсколько канцелярскихъ чиновниковъ, курьеровъ и сторожей, для любовнаго элемента введи парочку просительницъ, скомпонуй рядъ любовныхъ сценъ (между статскимъ совѣтникомъ и начальствомъ съ одной стороны, и начальствомъ и просительницами—съ другой), присовокупи нѣсколько упражненій въ описательномъ родѣ, смочи все это психологическимъ анализомъ, поставь въ вольный духъ и жди, покуда не зарумянится. Напротивъ того, трагедія никакихъ околичностей не терпитъ, а прямо требуетъ дѣла. Чтобъ и начало, и середина, и конецъ—все чтобы налицо было, а не то чтобы такъ: гдѣ надоѣло, тамъ и бросилъ.

— Ну, какую ты, напримѣръ, трагедію изъ этого статскаго совѣтника выжмешь?—пояснилъ онъ свою мысль:—любовь его однообразная, почти безпричинная, слѣдовательно никакихъ данныхъ ни для драматической экспозиціи, ни для дальнѣйшей разработки не представляетъ; прекращается она—тоже какъ-то черезъ-чуръ ужъ просто и нелѣпо: толкачомъ! Вѣдь изъ этого матеріала, хоть тресни, больше одного акта не выкроишь!

— Но вѣдь вся наша жизнь, мой другъ, такова! —постарался и возразить: —неужтожъ, по твоему, изъ всей нашей жизни ничего путнаго сдѣлать нельзя?

— И жизнь у насъ—одноактная. Экспозиціи у насъ и само по себы не существуетъ, да къ тому же и начальство въ оба смотритъ!

Чуть что затѣялось — сейчасъ распоряженіе, и „занавѣсъ опускается“.

— Глумовъ! да ты вспомни только! Идетъ человѣкъ по улицѣ, и вдругъ—фюить! Ужели это не трагедія?

— Я и не говорю, что это не трагедія, да представлять-то нечего. Явленіе первое и послѣднее—и шабашъ.

— Это такъ точно,—согласился съ Глумовымъ и Очищенный: —хотя у насъ трагедій и довольно бываетъ, но такъ какъ онѣ по большей части скоропостижный характеръ имѣютъ, оттого и на акты дѣлить ихъ затруднительно. А притомъ позвольте еще доложить: какъ мы, можно сказать, съ малолѣтства промежду скоропостижныхъ трагедіевъ ходимъ, то современемъ такъ привыкаемъ къ нимъ, что хоть и видимъ трагедію, а въ мысляхъ думаемъ, что это просто „такая жизнь“.

Замѣчаніе это вывело на сцену новую тему: „привычка къ трагедіямъ“. Какого рода вліяніе оказываетъ на жизнь „привычка къ трагедіямъ“? Облегчаетъ ли она жизненный процессъ, или же, напротивъ того, сообщаетъ ему новую трагическую окраску, и притомъ еще болѣе горькую и удручающую? Я былъ на сторонѣ послѣдняго мнѣнія, но Глумовъ и Очищенный, напротивъ, утверждали, что только тому и живется легко, кто до того пріюхался къ трагическимъ запахамъ, что ничего ужъ и различить не можетъ.

— Да вѣдь это именно настоящая трагедія и есть!—горячился я:—подумайте! развѣ не ужасно видѣть эти легіоны людей, которые всю жизнь ходятъ „промежду трагедіевъ“ — и даже не понимаютъ этого! Воля ваша, а это такая трагедія,—и притомъ не въ одномъ, а въ безчисленномъ множествѣ актовъ,—объ которой даже помыслить безъ содроганія трудно!

— То-то, что по нашему мѣсту не мыслить надобно, а почаще вспоминать, что выше лба уши не ростутъ!—возразилъ Очищенный: —тогда и жизнь своимъ чередомъ пойдетъ, и даже сами не замѣтите, какъ время постепенно пролетитъ!

— Правильно!—поддержалъ его Глумовъ.

— Зналъ я, сударь, одного человѣка, такъ онъ покуда не понималъ—благоденствовалъ, а понялъ—удавился!

— Вѣрно! А знаешь ли, Иванъ Иванычъ, вѣдь ты—преумный! Только вотъ словно протухъ немного...

Очищенный пріосанился.

— Или вотъ хоть бы про заной,—продолжалъ онъ: — вы думаете, отчего онъ бываетъ? Конечно, и тутъ неглижировка ролю играетъ, однакожъ который человѣкъ „не понимаетъ“ — тотъ не заноетъ.

— А вы когда-нибудь занивали, Иванъ Иванычъ? — полюбопытствовалъ я.

— Было время — ужасти какъ тосковалъ! Ну, а теперь Богъ хранитъ. Постепенно я во всякое время вынить могу, но чтобы такъ: три недѣли не пить, а недѣлю чертить—этого нѣтъ! Живу я смирно, виикать не желаю; что́ и вижу, такъ стараюсь не видѣть—оттого и скриплю. Помилуйте! при моихъ обстоятельствахъ да ежели бы еще виикать—развѣ я былъ бы живъ! А я себя такъ обшлифовалъ, что хоть на куски меня рѣжь—мнѣ и горюшка мало!

Это было высказано съ такою беззавѣтною искренностью, что Глумовъ не выдержалъ и поцѣловалъ старика въ лобъ.

— Ни гордости, ни притязательности во мнѣ нѣтъ, а отъ клюзъ да сутяжничества я и подавно убѣгаю, — продолжалъ Очищенный, очевидно поощренный лаской Глумова.—Ежели оскорбленіе мнѣ нанесутъ—отъ вознагражденія не откажусь, а въ судъ не пойду. Оттого всѣ меня и любятъ. И у Дарьи Семеновны любили, и у Марцинкевича любили. Даже теперь: приду въ кварталъ—сейчасъ дежурный помощникъ табакомъ потчуетъ!

— Вотъ и насъ тоже...—машинально произнесъ я.

— И васъ тоже. Покуда вы виикали—никто васъ не любилъ, а перестали виикать—всѣ къ вамъ съ довѣріемъ! Вотъ хоть бы, напримѣръ, уставъ о благопристойности...

— Гм... да, уставъ! — какъ-то загадочно пробормоталъ Глумовъ.

Я взглянулъ на моего друга, и, къ великому огорченію, замѣтилъ въ немъ большую перемѣну. Онъ, который еще такъ недавно принималъ живое участіе въ нашихъ благонамѣренныхъ преніяхъ, въ настоящую минуту казался утомленнымъ, почти раздраженнымъ. Мало того: онъ угрюмо ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, что́, по моему наблюденію, означало, что его начинаетъ мутить отъ разговоровъ. Но Очищенный ничего этого не замѣчалъ и продолжалъ:

— И вообще скажу: чѣмъ болѣе мы стараемся проникать, тѣмъ

больше получаемъ щелчковъ. Умъ-то, знаете, у насъ выспрь бѣжитъ, а оттуда ему—щелкъ да щелкъ! И резонно. Не чета намъ люди бываютъ, да и тѣ ежели по сторонамъ засматриваются, такъ въ канаву попадаютъ. По моему, такъ: сытъ, обутъ, одѣтъ—ну, и молчи. Коли ты ведешь себя благородно—и съ тобой всякій благородно. Коли ты никого не трогаешь—и тебя никто не тронетъ; коли ты ко всѣмъ съ удовольствіемъ — и къ тебѣ всѣ съ удовольствіемъ! Полегоньку да потихоньку—анъ жизнь-то и прошла! Такъ ли я, сударь, говорю?

— Прравильно!—воскликнулъ Глумовъ, очевидно уже ожесточаясь.

— Покойная Дарья Семеновна говаривала: жизнь наша здѣшняя подобна селянкѣ, которую въ Малоярославскомъ трактирѣ подаютъ. Коли ѣшь ее смаху, ложка за ложкой—ничего, словно какъ и ѣда; а коли начнешь ворошить да разглядывать—стошнитъ!

— Прравильно!—вновь воскликнулъ Глумовъ и при этомъ остановился прямо противъ Очищеннаго, выпучилъ глаза и зубы стиснулъ. Однако Очищенный и тутъ не понялъ.

— Былъ у меня, доложу вамъ, знакомый дѣйствительный статскій совѣтникъ, который къ Дарьѣ Семеновнѣ по утрамъ хаживалъ, такъ онъ мнѣ разсказывалъ, почему онъ именно утромъ, а не вечеромъ ходитъ. Утромъ, говоритъ, я всталъ, умылся...

— Воняетъ! шабашъ!—вдругъ крикнулъ Глумовъ, но на этотъ разъ уже такимъ громовымъ голосомъ, что Очищенный инстинктивно вытянулъ впередъ шею, какъ бы готовясь къ принятію удара.

Глава X.

Къ чести Глумова должно сказать, что онъ, по первому моему слову, не только протянулъ руку Очищенному, но даже извинился, что не можетъ сейчасъ же уплатить что̀ слѣдуетъ по таксѣ о вознагражденіи за оскорбленіе словомъ, потому что мелкихъ денегъ нѣтъ.

— Все равно-съ, послѣ разомъ за все отдадите! — отозвался добродушный старикъ, которому повидимому было даже пріятнѣе получить сразу болѣе или менѣе крупный кушъ, нежели въ нѣсколько пріемовъ по двугривенному.

Такимъ образомъ миръ былъ заключенъ, и мы въ самомъ пріятномъ расположеніи духа сѣли за обѣдъ. Но что̀ еще пріятнѣе: не-

смотря на обильный завтракъ у Балалайкина, Очищенный ѣлъ и пилъ совершенно такъ, какъ будто все происходившее утромъ было не болѣе какъ пріятный сонъ. Каждое кушанье онъ смаковалъ и по поводу каждаго подавалъ драгоцѣнные совѣты, перемѣшивая ихъ съ размышленіями и афоризмами изъ области высшей морали.

— Провизію надо покупать умѣючи,—говорилъ онъ:—какъ во всякомъ дѣлѣ вообще необходимо съ твердыми познаніями приступать, такъ и тутъ. Знающій — выигрываетъ, а незнающій — проигрываетъ. Вотъ, напримѣръ, ветчину, языки и вообще копченье—надо въ Мучномъ переулкѣ пріобрѣтать; рыбу—на Мытномъ; живность, коли у кого времени достаточно есть—на заставахъ у мужичковъ подстерегать. Многіе у мужичковъ даже задаромъ отнимаютъ, но я этого не одобряю.

— Не одобряешь?

— Нѣтъ, не одобряю, потому что такого закона нѣтъ. А на тотъ предметъ, чтобы безъ ущерба для ближняго экономію всякій въ своей жизни наблюдалъ—такой законъ есть. А затѣмъ я вамъ и еще доложу: даже иностранное вино, ежели оно вороваиное, очень недорого купить можно.

— Ахъ, голубчикъ! нельзя ли намъ бутылочекъ съ пятокъ на пробу предоставить?

— Съ удовольствіемъ. Вино, позвольте вамъ сказать, и краденое покупать не грѣхъ, потому что оно отъ избытка. Въ которомъ домѣ избытокъ—служитель отложитъ, что̀ противъ препорціи, къ сторонкѣ, и продастъ. Многіе даже мясо потаенное покупаютъ...

— Неужто и мясо?

— Очень даже легко-съ. Стоитъ только съ поварами знакомство свесть—и мясо, и дичь, все будетъ. Вообще, коли кто съ умомъ живетъ, тотъ и въ Петербургѣ можетъ на свои средства обернуться.

— Примѣръ можешь представить?

— Могу-съ. Зналъ я одного отставного ротмистра, который отъ рожденья самое среднее состояніе имѣлъ, а между тѣмъ каждонедѣльно банкеты задавалъ и, между прочимъ, даже одного румынскаго полководца у себя за столомъ принималъ. А отчего?—оттого, сударь, что съ клубными поварами былъ знакомъ! Въ клубѣ-то по субботамъ обѣдъ, ну, остатки, то да сё, ночью все это къ ротмистру сволокутъ, а на завтра у него полководецъ пищу принимаетъ.

— Да ты и клубскаго-то повара не знаешь ли!

— Помилуйте, даже очень близко. Вы только спросите, кого я не знаю... всѣхъ знаю! Мнѣ каждый торговецъ, противъ обыкновеннаго покупателя, двадцать-тридцать процентовъ уступитъ—вотъ я вамъ какъ доложу! Пришелъ я сейчасъ въ лавку, спросилъ фунтъ икры—мнѣ фунтъ съ четвертью отвѣшиваютъ! спросилъ фунтъ миндалю—мнѣ изюму четверку на придачу завертываютъ! Въ трактиръ пришелъ, спросилъ три рюмки водки—мнѣ четвертую наливаютъ. За три плачу, четвертая—въ знакъ уваженія!

— Послушай! да вѣдь это волшебство!

Но Очищенный не слышалъ восклицанія. Представленіе о закускахъ повидимому ожесточало его, потому что на губахъ у него показалась пѣна и глаза слегка помутились.

— Или, опять, приду я, примѣрно, къ Доминику,—продолжалъ онъ:—народу пропасть, ходятъ, бродятъ, одинъ вошелъ, другой вышелъ; служителя тоже въ разбродѣ—кому тутъ за тобой услѣдить! Съѣшь три куска кулебяки, а говоришь: одинъ!

— И всегда это тебѣ сходило съ рукъ?

— Однажды только недоразумѣніе вышло. Ну, съ мѣсяцъ послѣ того не ходилъ, а потомъ поправился—и опять сталъ ходить!

— Слушай-ка! да ты не служилъ ли въ Взаимномъ Кредитѣ, что коммерческія-то операціи такъ хорошо знаешь?

— Служить не служилъ, а издали точно-что присматривался. Только тамъ, знаете, колесо большое, а у меня—маленькое. А кабы у меня побольше колесцо...

Очищенный на минуту задумался, не то роптца на Провидѣніе, не то соображая, что бы вышло, еслибъ ему выпало на долю большое колесо.

— Помилуйте!—сказалъ онъ наконецъ:—кругомъ, можно сказать, тетерева сидятъ—какъ тутъ пользы не получить! Вотъ хоть бы господинъ Юханцевъ...

— Да, но вѣдь и по владиміркѣ-то съ бубновымъ тузомъ тоже не лестно понтировать!

— Зато онъ программу свою въ совершенствѣ выполнилъ. А тузы, я вамъ доложу, всѣ одинаковы. По мнѣ, хоть всѣ четыре разомъ наклей, да только удовольствіе мнѣ предоставь!

Словомъ сказать, постепенно обмѣниваясь мыслями, мы очень

пріятно пообѣдали. Послѣ обѣда вздумали-было въ табельку сыграть, но почтенный старикъ отказался наотрѣзъ.

— Въ молодости я тоже былъ охотникъ поиграть,—сказалъ онъ:—да однажды мнѣ въ Лебедянп ребро за игру переломили, такъ я съ тѣхъ поръ и далъ обѣщаніе не прикасаться къ этимъ проклятымъ картамъ. И что такое со мною въ ту пору они сдѣлали—такъ это даже разсказать словами нельзя! Въ больницѣ два мѣсяца при смерти вылежалъ!

Отказъ этотъ былъ впрочемъ очень кстати, потому что мы вспомнили, что намъ предстоитъ еще поработать надъ уставомъ о благопристойности.

Прежде всего намъ необходимо было уяснить себѣ цѣль, къ которой должны клониться наши труды. Не имѣя подъ руками ни историческаго обзора благопристойности, ни обозрѣнія современныхъ законодательствъ по этому предмету, ни даже свода мнѣній будочниковъ, мы поняли, что намъ остается одинъ ресурсъ—это выдумать какую-нибудь „идею“, которая остерегла бы насъ отъ разбросанности и дала бы возможность сообщить нашему труду необходимое единство. Уставъ, проектированный Прудентовымъ, довольно прозрачно указывалъ на существованіе такой „идеи“. Онъ говорилъ: „внутреннюю же благопристойность всего удобнѣе наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей“. Итакъ, подъ знаменемъ внутренней благопристойности входъ въ квартиры—вотъ цѣль, къ которой надлежало стремиться.

— Имѣя въ виду эту цѣль,—формулировалъ общую мысль Глумовъ,—я прежде всего полагалъ бы: статью четвертую „Общихъ началъ“ изложить въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, приблизительно такъ: „Внѣшняя благопристойность выражается въ дѣйствіяхъ и тѣлодвиженіяхъ обывателя; внутренняя—созидаетъ себѣ храмъ въ сердцѣ его, *гдѣ на ряду съ нею свиваетъ себѣ гнѣздо и внутренняя неблагопристойность, то-есть злая и порочная человѣческая воля*. На семъ основаніи наиболѣе приличными мѣстами для наблюденія за первою признаются: улицы, площади и публичныя мѣста; послѣднюю же всего удобнѣе наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей, *такъ какъ въ нихъ злая и порочная воля преимущественно находитъ себѣ убѣжище, или въ видѣ про-*

стою попустительства, или же, чаще всего, въ видѣ прямого пособничества". Согласны?

— Согласны!—отвѣтили мы въ одинъ голосъ.

— Ну, а теперь нужно отвѣтить на вопросъ: что такое входъ въ квартиру? Иванъ Иванычъ! сказывай свое мнѣніе!

— По моему, входъ въ квартиру—это означаетъ вступленіе въ оную...

— А вступленіе въ квартиру означаетъ входъ въ оную? Ахъ, голова! голова! развѣ законы такъ пишутъ? Это, братецъ, не водевиль, гдѣ допускаются каламбуры въ родѣ: „начальникъ отдѣленія—отдѣльная статья"! Это—уставъ! Ты какъ?—обратился Глумовъ ко мнѣ.

— По моему мнѣнію, входъ въ квартиру есть такое дѣйствіе, которое, будучи вызвано всегда присущею о нравственномъ положеніи обывателей благопопечительностью, требуетъ необходимыхъ для достиженія его осмотровъ и изслѣдованій.

— И отмычекъ-съ!—скромно присовокупилъ Очищенный.

— И отмычекъ—именно такъ! прекрасно! даже въ университетѣ съ каѳедры лучше не сказать. Одно бы я прибавилъ: „Сіи послѣднія (то-есть, отмычки) за тѣмъ преимущественно потребны, дабы злую и порочную волю въ послѣднихъ ея убѣжищахъ безъ труда обрѣтать". Позволите?

— Голубчикъ!—да развѣ съ нашей стороны бывало когда-нибудь препятствіе?

— Итакъ, опредѣленіе найдено. Теперь необходимо только такимъ образомъ этотъ входъ обставить, чтобы никто ничего ненатуральнаго въ немъ не могъ найти. И знаете ли, объ чемъ я мечтаю? нельзя ли намъ, друзья, такъ наше дѣло устроить, чтобы обывателю даже пріятно было? Чтобы онъ, такъ сказать, всѣмъ сердцемъ? чтобы для него это посѣщеніе...

Глумовъ затруднился; Очищенный подсказалъ:

— Все равно что гость пришелъ...

— Вотъ-вотъ-вотъ! Да и гость-то чтобъ дорогой, желанный-женихъ.

— Но ежели дѣйствіе происходитъ ночью?—рискнулъ я возразить.

— Такъ что-жъ что ночью! Проснется, докажетъ свою благо-

пристойность—и опять уснетъ! Да еще какъ уснетъ-то! слаще прежняго въ тысячу разъ!

— Именно, сударь, такъ!—подтвердилъ и Очищенный:—меня, когда я подъ слѣдствіемъ по дѣлу объ убійствѣ Зона прикосновеннымъ былъ, не разъ этакъ буживали. Встанешь, бывало, сейчасъ это водки, закуски на столъ поставишь, покажешь свою совѣсть—и опять заснулъ! Однажды даже меня въ острогъ послѣ этого повели—я и тамъ крѣпко-прекрѣпко заснулъ!

— Такъ ты и въ острогѣ былъ?

— Вы меня только спросите, сударь, гдѣ я не бывалъ!

— Вотъ видишь, какъ оно легко, коли внутренняя-то благопристойность у человѣка въ исправности. А ежели въ тебѣ этого нѣтъ—значитъ, ты самъ виноватъ. Тутъ, братъ, ежели и не придется тебѣ уснуть—на себя пеняй! Знаете ли, что я придумалъ, друзья? зачѣмъ намъ квартиры наши на ключи запирать? Давайте-ка безъ ключей... мило, благородно!

— А на случай воровъ какъ?

— Гм... на случай воровъ? Ну, въ такомъ разѣ мы вотъ что сдѣлаемъ: чтобы у всякой квартиры два ключа было: одинъ у жильца, а другой—въ кварталѣ!

Однако предложеніе это возбудило споръ. Мы возражали оба, но въ моихъ возраженіяхъ играло главную роль просто инстинктивное безпокойство, тогда какъ возраженія Очищеннаго покоились на данныхъ несомнѣнно реальнаго свойства.

— А ежели, позволю васъ спросить, въ квартирѣ-то касса находится?—протестовалъ онъ.

— Такъ что-жъ что касса! Мы—божьи, и касса наша—божья!

— Ну, нѣтъ, съ этимъ позвольте не согласиться! Мы—это такъ! Но касса!!

Признаться, и я, вспомнивъ объ оставшихся у меня выкупныхъ свидѣтельствахъ, струхнулъ.

— Мы—это такъ!—повторялъ я:—что такое мы? Но... касса!!

И, подобно Очищенному, я поднималъ вверхъ указательный перстъ, въ знакъ неопровержимости довода.

Споръ завязался нешуточный; мы до того разгорячились, что подняли гвалтъ, а за гвалтомъ и не слыхали, какъ кто-то позвонилъ и вошелъ въ переднюю. Каково же было наше восхищеніе, когда

передъ нами, словно изъ-подъ земли, выросли... Прудентовъ и Молодкинъ!

— О чемъ, друзья, диспутъ держите?—привѣтствовалъ насъ Прудентовъ, подавая мнѣ и Глумову руку.—А! и ты, старая корга, здѣсь?—продолжалъ онъ, благосклонно обращаясь къ Очищенному.

— Знакомы?—обрадовался я.

— Съ нимъ-то! да онъ у насъ завсегда въ понятыхъ ходитъ! Полтину въ зубы—и маршъ! А вѣдь мы къ вамъ, друзья, вечерокъ провести собрались!—добавилъ онъ, вновь пожимая намъ руки.

— Флегонтъ Васильичъ! Аоанасій Семенычъ! голубчики! Чѣмъ потчивать! водки, что-ли, подать?

— Водки своимъ чередомъ, а вотъ еще что: Иванъ Тимофеичъ самолично къ вамъ будетъ. Онъ теперь къ Парамонову уѣхалъ, а оттуда—къ вамъ. Насчетъ церемоніалу свадебнаго условиться. Мы и за Балалайкинымъ пожарнаго послали, чтобъ черезъ часъ безпремѣнно здѣсь былъ!

— Господи! а мы-то! вѣдь мы даже не изготовились!

— Ничего, Иванъ Тимофеичъ проститъ. Онъ—парень простой, простыня человѣкъ. Рюмка водки, кусочекъ чернаго хлѣба на закуску, а главное чтобъ превратныхъ идей не было—вотъ и все!

— А мы только-что было за уставъ принялись! Господи! да не нужно ли чего-нибудь? Вина? блюдо какое-нибудь особенное, чтобы по вкусу Ивану Тимофеичу? Говорите! приказывайте! Можетъ быть, онъ разсказы изъ русскаго или изъ еврейскаго быта любитъ, такъ и за разсказчикомъ спосылать можно!

— Ничего не надо, не обременяйте себя, друзья! Коли есть что въ домѣ—прикажите подать, мы не откажемся. А что касается до разсказчиковъ, такъ не трудитесь и посылать. Сегодня у нашего подчаска жена именинница, такъ по этому случаю къ нимъ въ квартиру всѣ разсказчики на померанцевый настой слетѣлись.

Глава XI.

Разумѣется, несмотря на оговорки Прудентова, мы немедленно сдѣлали всѣ распоряженія, чтобы на славу отпраздновать посѣщеніе дорогихъ гостей. Затѣмъ мы сообщили Прудентову тѣ соображенія, вслѣдствіе которыхъ мы нашли полезнымъ ввести нѣкоторыя измѣне-

нія въ „Общія начала“ устава о благопристойности, и встрѣтили съ его стороны полное одобреніе нашей законодательной дѣятельности.

Этотъ дружескій обмѣнъ мыслей привелъ насъ въ самое пріятное расположеніе духа; а дабы скрѣпить нашъ союзъ прочно и навсегда, Прудентовъ и Молодкинъ сообщили намъ краткія біографическія о себѣ свѣдѣнія, чѣмъ, разумѣется, и насъ вызвали на взаимность.

— Я—вятчанинъ,—повѣдалъ намъ Прудентовъ:—отецъ мой былъ первоначально протодіакономъ, по впослѣдствіи, за совершенное преступленіе, былъ лишенъ сана и приговоренъ къ ссылкѣ въ отдаленныя мѣста Сибири. Пожелавши однако остаться на родинѣ, онъ изъявилъ готовность принять должность ката, въ каковой и былъ губернскимъ правленіемъ утвержденъ. Я былъ въ то время малолѣтнимъ, но уже и тогда положилъ въ сердцѣ своемъ нигдѣ не служить, кромѣ какъ по полиціи. А потому, образовавши свой умъ и сердце лишь настолько, насколько это потребно для занятія должности паспортиста—сродственникъ у меня въ этой должности въ Петербургѣ состоялъ, такъ отъ него я объ ней слышалъ—отправился, по достиженіи совершеннаго возраста, въ Петербургъ. Здѣсь моя біографія уже прекращается и начинается формулярный о службѣ списокъ. Пять лѣтъ, въ ожиданіи мѣста паспортиста, я прослужилъ писцомъ; послѣ того въ теченіе восьми лѣтъ состоялъ паспортистомъ, а наконецъ, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ опредѣленъ въ кварталъ письмоводителемъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ произведенъ въ первый чинъ коллежскаго регистратора, а затѣмъ, будучи постепенно повышаемъ, нынѣ состою въ чинѣ титулярнаго совѣтника.

— И ничего—живешь?

— Какъ видите, друзья! Живу и не ропщу, хотя, съ другой стороны, не могу не сказать, что нынче противъ прежняго—куда сдѣлалось труднѣе.

— Что такъ?

— Да почесть что однимъ засвидѣтельствованіемъ рукъ и пробавляемся. Прежде, бывало, выйдешь на улицу—куда ни обернешься, вездѣ источники видишь, а нынче у насъ въ вѣдѣніи только сколка льду на улицахъ да бунты остались; прочее же все по разнымъ вѣдомствамъ разбрелось. А я, между прочимъ, твердо въ своемъ сердцѣ положилъ: какова пора ни мѣра, а во всякомъ случаѣ десять ты-

сячъ накопить и на родину вернуться. Теперь судите сами: скоро ли по копѣйкамъ экую уйму денегъ сколотишь?

— А ты приналягъ!

— То-то что...

Прудентовъ на минуту задумался, но потомъ вдругъ зашевелилъ носомъ и сталъ къ чему-то принюхиваться. А такъ какъ именно въ этой самой комнатѣ хранились послѣднія мои выкупныя свидѣтельства, то я не на шутку испугался и поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— Ну, а ты, Аоанасій Семенычъ?—обратился я къ Молодкину.

— А я-съ — во время пожара на дворѣ въ корзинкѣ найденъ былъ. И такъ какъ пожаръ произошелъ 2-го мая, въ день Аоанасія Великаго, то покойный частный приставъ, Семенъ Иванычъ, и назвалъ меня въ честь святого—Аоанасіемъ, а въ свою честь—Семенычемъ. Обо мнѣ даже дѣло въ консисторіи было: слѣдуетъ ли, значитъ, меня крестить? однако рѣшили: не слѣдуетъ. Такъ что я доподлинно и не знаю, крещеный ли я.

— Ахъ, бѣда какая!

— И вообще у меня жизнь необыкновенная. Именины, напримѣръ, я праздную, а день рожденія—нѣтъ.

— Такъ что по правдѣ-то даже сказать не можешь, родился ли ты настоящимъ образомъ, или такъ какъ-нибудь? — пошутилъ Глумовъ.

— Дѣйствительно-съ. Знаю только, что при пожарной командѣ въ третьей адмиралтейской части воспитаніе получилъ. Покойный Семенъ Иванычъ велѣлъ это меня на пожарную трубу положить и сказалъ при этомъ: „Богъ дастъ, брандтмейстеръ выйдетъ!“ И вышелъ-съ.

— А деньги копишь?

— Нѣтъ, мнѣ незачѣмъ. Я на пожарѣ свѣтъ увидѣлъ, на пожарѣ же и жизнь кончу. Для кого мнѣ копить!

— Чудакъ! да ты бы женился!

— И жениться не вижу надобности, да и вообще склонности ни къ чему, кромѣ пожаровъ, не имѣю.

— Врешь, братъ! Вы, друзья, его про барышню разспросите! —отозвался Прудентовъ.

— Было разъ — это точно. Спасъ я однажды барышню, изъ огня вытащилъ, только, должно быть, не остерегся при этомъ. При-

хожу-это на другой день къ нимъ въ домъ, приказываю доложить, что, моль, тотъ самый человѣкъ явился,—и что-же-съ! онѣ мнѣ съ прислугой десять рублей выслали. Тѣмъ мой романъ и кончился.

Мы съ участіемъ выслушали этотъ разсказъ и искренно пожалѣли о горькой судьбѣ Молодкина, который изъ-за пожаровъ поставленъ въ невозможность пользоваться семейными радостями. а слѣдовательно не можетъ плодиться и множиться.

— Ну, а вы,—обратился къ намъ Прудентовъ:—скажите же и о себѣ что-нибудь, друзья!

— Что мы! Заблудшіе — вотъ мы что! — отвѣчалъ за насъ обоихъ Глумовъ. — Дворяне... и при семъ безъ выкупныхъ свидѣтельствъ! Вотъ какова наша біографія.

— Ужъ будто и совсѣмъ безъ выкупныхъ свидѣтельствъ?

Прудентовъ очевидно шутилъ, но я вспомнилъ, какъ онъ нѣсколько минутъ тому назадъ шевелилъ носомъ, и опять струхнулъ. Къ счастію, насъ избавилъ отъ отвѣта Балалайкинъ, который въ эту минуту какъ разъ подошелъ къ намъ на выручку.

Онъ явился во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и — по какому-то инстинктивному заблужденію — въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ. Словомъ сказать, хоть сейчасъ бери въ руки блюдо и ступай служить у Палкина. При этомъ отъ него такъ разило духами. что Глумовъ невольно воскликнулъ:

— И что это у тебя за гнусная привычка, Балалайкинъ, всякій разъ въ Екатерининскомъ каналѣ купаться передъ тѣмъ какъ въ гости идти!

— Это?—Violettes de Parme—вотъ какіе это духи!—солгалъ Балалайкинъ, и такъ неожиданно поднесъ обшлагъ рукава къ носу Очищеннаго, что тотъ три раза сряду чихнулъ.

Очевидно Балалайкинъ разодѣлся на томъ основаніи, что разсчитывалъ, что его сейчасъ же припустятъ къ двоеженству,—и потому, когда узналъ, что рѣчь идетъ только о предварительныхъ дѣйствіяхъ, то немедленно снялъ нитяныя перчатки и началъ лгать.

— Помилуйте!—жаловался онъ:—ничего толкомъ разсказать не умѣютъ, заставляютъ надѣвать бѣлыя перчатки, скакать сломя голову... Да вы знаете ли, что я одной кліенткѣ въ консультаціи долженъ былъ отказать, чтобъ не опоздать къ вамъ... Кто мнѣ за убытки заплатитъ?

— Ну, что̀ еще! Сложимся по двугривенному съ брата — вотъ и убытки твои!—утѣшалъ его Глумовъ.

— Нѣтъ-съ, тутъ не двугривеннымъ пахнетъ-съ. Во-первыхъ, я вообще меньше ста рублей за консультацію не беру, а во-вторыхъ эта кліентка... Это такая кліентка, я вамъ скажу, что ей самой сто рублей дать мало!

— Стало быть, изъ Фонарнаго переулка?—полюбопытствовалъ Молодкинъ.

— Тамъ ужъ откуда бы ни была, а есть такая кліентка. А кромѣ того у меня сегодня третейскій судъ... какъ я рѣшу, такъ и будетъ!

— Соломонъ!

— Соломонъ не Соломонъ, а тысячу рублей за рѣшеніе пожалуйте!

Очень возможно, что Балалайкинъ пролгалъ бы такимъ образомъ до утра, но Глумовъ, съ свойственною ему откровенностью, прекратилъ его изліянія въ самомъ началѣ, крикнувъ:

— Балалайка! надоѣлъ!

Въ ожиданіи Ивана Тимофеича мы усѣлись за чай и принялись благопотребно сквернословить. Что̀ лучше: снисходительность ли, но безъ послабленія, или же строгость, сопряженная съ невзираніемъ?— вотъ вопросъ, который въ то время волновалъ всѣ умы и который естественно послужилъ темою и для насъ. Прудентовъ былъ на сторонѣ снисходительности и доказывалъ, что только та внутренняя политика преуспѣваетъ, которая умѣетъ привлекать къ себѣ сердца.

— Я, друзья, и съ заблуждающими, и съ незаблуждающими на своемъ вѣку не мало дѣла имѣлъ,—говорилъ онъ:—и могу сказать одно: каждый въ своемъ родѣ. Заблуждающій хорошъ, ежели кто любитъ бесѣдовать; незаблуждающій — ежели кто любитъ выпить или, напримѣръ, на тройкѣ въ никникъ проѣхаться!

— Ты говоришь: бесѣдовать? То-то вотъ, по нынѣшнему времени, это не лишнее ли?

— Почему-же-съ? Ежели о предметахъ, достойныхъ вниманія, и притомъ зная напередъ, что ничего изъ этого не выйдетъ,—отчего же не побесѣдовать? Бесѣда бесѣдѣ тоже рознь, друзья! Иная бесѣда такая бываетъ, что отъ нея никакого вреда, кромѣ какъ вонятъ. Какой же, значитъ, отъ этого вредъ? Купцы, напримѣръ, даже превосходно въ этомъ смыслѣ разговариваютъ.

— Да вѣдь заблуждающаго-то не прельстишь такой бесѣдой!

— А ежели онъ отказывается, такъ и погрозить ему можно. Вообще эта система — самая настоящая: сперва снизойти, а потомъ помаленьку мѣры принимать. Точно также, доложу вамъ, и насчетъ издаваемыхъ въ разное время правилъ и руководствъ. Всегда надо такъ дѣло вести: чтобы сперва началу къ вольному обращенію направлять, а потомъ постепенно отъ онаго отступать...

. . . . . .

Наконецъ въ одиннадцать часовъ сильный звонокъ возвѣстилъ намъ о появленіи Ивана Тимоѳеича.

Онъ явился къ намъ весь сіяющій, въ мундирѣ съ коротенькими фалдочками, держа подъ мышками по бутылкѣ горскаго, которыя и поставилъ на столъ, сказавъ:

— Это вотъ вамъ отъ невѣсты... друзья! А завтра въ четыре часа просимъ хлѣба откушать!

Затѣмъ вынулъ изъ кармана вязанный голубымъ бисеромъ кошелекъ и подалъ его Балалайкину.

— А вотъ это жениху—тебѣ! Ты посмотри, бисеръ-то какой... голубенькій! Сама невѣста вязала... бутончикъ! Ну, друзья! теперь я въ вашемъ распоряженіи! дѣлайте со мной что хотите!

По этому слову мы, съ крикомъ „ура!“, разомъ овладѣли туловищемъ дорогого гостя и начали его раскачивать.

Что происходило потомъ—я помню до крайности смутно. Помню, что я напился почти мгновенно, что Иванъ Тимоѳеичъ плясалъ, что Прудентовъ декламировалъ: „О ты, что въ горести напрасно“, а Молодкинъ показывалъ руками, какъ выкидываютъ на каланчѣ шары во время пожаровъ.

Было совсѣмъ свѣтло, когда дорогіе гости собрались по домамъ. Но что всего замѣчательнѣе, Иванъ Тимоѳеичъ, котораго въ полночь я видѣлъ уже совсѣмъ готовымъ и который и послѣ того ни на минуту не оставлялъ собесѣдованія съ графиномъ, подъ утро началъ постепенно трезвѣть, а къ семи часамъ вытрезвился окончательно.

— А теперь пора и къ рапорту!—сказалъ онъ, надѣвая на голову трехуголку, и совершенно твердыми стопами прослѣдовалъ внизъ, въ сопровожденіи Прудентова и Молодкина.

Глава XII.

На окраинахъ Петербурга, въ нарвской и каретной частяхъ, и теперь встрѣчаются небольшіе каменные дома-особнячки, возбуждающіе въ проѣзжемъ людѣ зависть своею уютностью и хозяйственнымъ характеромъ обстановки. Обыкновенно дома эти снабжены по улицѣ небольшими палисадниками, обсаженными липами и акаціями, а внутри—просторными дворами, гдѣ, помимо конюшенъ, амбаровъ и погребовъ, не въ рѣдкость найти и небольшое огороженное пространство, въ которомъ насажено нѣсколько кустовъ сирени и гдѣ-нибудь въ углу ютится плетеная бесѣдка, увитая бобовникомъ, осыпаннымъ краснымъ цвѣтомъ. Видъ этихъ жилищъ напоминаетъ провинцію, а въ особенности Замоскворѣчье, откуда въ большинствѣ случаевъ и появились первоначальные заселители этихъ мѣстъ. Проѣзжему человѣку сдается, что тутъ пожирается несмѣтное количество пироговъ съ начинкой и другого серьёзнаго харча, что въ хлѣвахъ отпанваются бѣлоснѣжные поросята и откармливаются къ розговинамъ неподвижныя отъ жира свиньи, что на дворѣ гуляютъ стада куръ, а гдѣ-нибудь, въ наполненной водою ямѣ, полощутся утки. Все въ этихъ злачныхъ мѣстахъ поперекъ себя толще, и люди, и животныя. Хозяева — съ трудомъ могутъ продышать скопившіеся внутри храны; кучеръ — отъ сытости не отличаетъ правую руку отъ лѣвой; дворникъ—стоитъ съ метлой у воротъ и брюхо объ косякъ чешетъ, кухарка—то-и-дѣло робятъ родитъ; а лошади, раскормленныя словно доменныя печи, какъ угорѣлыя выскакиваютъ изъ каретнаго сарая, съ полною готовностью вопзить дышло въ любую крѣпостную стѣну.

Именно въ одномъ изъ такихъ особнячковъ обитала Фашушка, „штучка“ купца Парамонова. Солидно и приземисто выглядывалъ ея домъ своими двумя этажами изъ-за ряда подстриженныхъ линъ и акацій, словно приглашая прохожаго наѣсться и выспаться, но въ то же время угрожая ему заливистымъ лаемъ двухъ псовъ, злобно скакавшихъ на цѣпяхъ по обѣимъ сторонамъ каменныхъ службъ. Верхній этажъ, о семи окнахъ на улицу, занимала сама хозяйка; въ нижнемъ помѣщался странствующій полководецъ, Полканъ Самсонычъ Ределя, года полтора тому назадъ возвратившійся изъ земли зулусовъ, гдѣ онъ командовалъ войсками короля Сетивайо противъ англи-

чанъ, а теперь, въ свободное отъ междоусобій время, служившій по займу метрдотелемъ у Фанушки, которая съ великими успѣхами переманила его отъ купца Полякова.

Фанушка происходила отъ благочестиваго корня. Отецъ ея былъ церковнымъ сторожемъ въ селѣ Зяблицынѣ, Моршанскаго уѣзда, мать —пекла просвиры. Но зяблицынская церковь посѣщалась прихожанами не усердно. Самые сильные и зажиточные изъ прихожанъ открыто принадлежали къ мѣнялыной сектѣ, а оставшаяся вѣрною мелюзга была настолько забита и угнетена бѣдностью, что даже въ своихъ естественныхъ передъ мѣнялами преимуществахъ находила мало утѣшенія. Парамоновъ тоже былъ уроженцемъ этого села, и хотя давно перенесъ свою торговую дѣятельность въ Петербургъ, но отъ времени до времени посѣщалъ родное мѣсто и числился главнымъ ревнителемъ тамошняго „корабля“. Благодаря связямъ, заведеннымъ въ Петербургѣ, а также преступному попустительству мѣстныхъ полицейскихъ властей, мѣнялыная пропаганда высоко держала свое знамя въ Зяблицынѣ; такъ что была минута, когда главный ересіархъ, Гузновъ, не безъ нахальства утверждалъ, что скоро совсѣмъ прекращеніе роду человѣческому будетъ, за исключеніемъ лицъ, на заставахъ команду имѣющихъ, которымъ онъ, страха ради іудейска, предоставлялъ плодиться и множиться на законномъ основаніи. Пріѣзды Онуфрія Парамонова въ Зяблицыно имѣли совершенный видъ торжествъ. Онъ разсыпался надъ селомъ золотымъ дождемъ; въ честь его назначались особенныя радѣнія, на которыхъ Гузновъ гремѣлъ и ропцалъ, а „голуби“ кружились и скакали, вскрикивая: „накатилъ, сударь, накатилъ!“ Жертвы мѣнялынаго фанатизма вербовались десятками, а становой приставъ, получивъ мзду, ходилъ по улицѣ и дѣлалъ видъ, что все обстоитъ благополучно.

Въ одну изъ такихъ поѣздокъ Онуфрій Петровичъ доглядѣлъ Фанушку. Дѣвушка она была шустрая и, несмотря на свои четырнадцать лѣтъ, представляла такіе задатки въ будущемъ, что старый голубь даже языкомъ защелкалъ, когда хорошенько вглядѣлся въ нее. И вотъ когда сторожу и просвирнѣ сдѣланы были по ея поводу предложенія—они не устояли. Сразу же приняли большую печать и затѣмъ объявили третью гильдію по городу Моршанску, гдѣ и поселились въ купленномъ для нихъ Парамоновымъ домѣ. А Фанушку увезъ Парамоновъ въ Петербургъ, обѣщавъ родителямъ научить ее

по-французскому и потомъ выдать замужъ за офицера корпуса путей сообщенія, нынѣ впрочемъ не существующаго.

Повидимому первоначальное намѣреніе Онуфрія Петровича заключалось въ томъ, чтобы сдѣлать изъ Фанушки мѣняльную богиню, которая предсѣдательствовала бы на радѣніяхъ, а самому назваться ея сыномъ *); но когда онъ разсмотрѣлъ дѣвочку ближе, то имъ овладѣлъ духъ лакомства, и онъ рѣшилъ поступить съ нею иначе. Отдалъ въ обученіе къ мадамѣ, содержавшей на Забалканскомъ проспектѣ пансіонъ для дѣвицъ, и когда Фанушка выучилась говорить „бонжуръ“ и танцовать па-де-шаль, купилъ на ея имя описанный выше домъ и устроилъ ее въ качествѣ „штучки“.

Фанушка была умна, и потому взглянула на свое положеніе серьезно. Расцвѣвши полнымъ цвѣтомъ, она не увлекалась ни офицерами, ни чиновниками, ни молодыми аспирантами, стадами сновавшими мимо ея окопъ, а пользовалась своею молодостью степенно и безъ доказательствъ. Не пренебрегая радостями любви, она удостоивала довѣріемъ не перваго встрѣчнаго вертопраха, но лишь такого мужчину, который основательностью сужденій и добрымъ повѣденіемъ вполнѣ того заслуживалъ, хотя бы былъ и не первой молодости. И затѣмъ, съ согласія Парамонова, помѣщала избраннаго въ нижній этажъ, въ качествѣ метрдотеля, и всѣмъ служащимъ въ домѣ выдавала въ этотъ день по чаркѣ водки. Стараго „голубя“ она не называла ни плюгавцемъ, ни мѣнялой, а, напротивъ, снисходила къ его калѣчеству, кормила лакомыми блюдами и всегда собственноручно подвязывала ему подъ голый подбородокъ салфетку, такъ какъ старикъ ѣлъ неопрятно и могъ замарать свое полушолковое полукафтанье. Съ своей стороны и Парамоновъ снисходилъ къ ея женской слабости и не заявлялъ ни малѣйшей претензіи, когда она въ первый разъ завела себѣ метрдотеля. Сначала Онуфрій Петровичъ не рѣшался давать ей помногу денегъ, опасаясь, что она дастъ стречка, но мало-по-малу убѣдился въ ея благонадежности и пролилъ на нее такія щедроты, что въ настоящее время она уже самостоятельно объявляла первую гильдію. Впрочемъ лично она торговли не производила, а имѣла на всякій случай на Калашниковской пристани кладовую, на которой красовалась вывѣска съ надписью: „Оптовая

*) Считаю нелишнимъ оговориться: я недостаточно знакомъ съ обрядами и догматами мѣняльной секты, и потому могу впасть въ ошибку.—*Авт.*

торговля первой гильдіи купчихи Фанны Егоровой Стёгнушкиной". По временамъ Парамоновъ отъ имени ея производилъ болѣе или менѣе значительную операцію, и, разумѣется, подносилъ ей хорошій кушъ.

Поведеніе столь основательное несомнѣнно заслуживало достойнаго увѣнчанія. Достигнувъ двадцатипятилѣтняго возраста, Фанушка пожелала прикрыться, и начала мечтать о законномъ бракѣ. Но и тутъ, какъ дѣвица умная, поставила непремѣннымъ условіемъ, чтобъ предполагаемый союзъ ни въ какомъ случаѣ не стѣснилъ ни ее, ни стараго голубя. Претендентовъ явилось множество, и съ оружіемъ, и безъ онаго, но покамѣстъ она еще ни на комъ окончательно не остановила своего вниманія. Однажды, правда, она чуть-было не увлеклась, и именно когда къ ней привели на показъ графа Ламоно, который отрекомендовалъ себя камергеромъ Дона-Карлоса. состоящимъ, въ ожиданіи торжества своего повелителя, на службѣ распорядителемъ танцевъ въ Палѐ-де-Кристаль (рюмка водки 5 к., бутылка пива 8 к.); но Ламоно съ перваго же раза выказалъ алчность, попросивъ заплатить за него извозчику, такъ что Фанушка заплатить заплатила, но отъ дальнѣйшихъ переговоровъ отказалась. Въ сей крайности за устройство брака взялся Иванъ Тимоѳеичъ, и, какъ мы видѣли, сыскалъ адвоката Балалайкина, который хотя и не вполнѣ подходилъ къ этой цѣли, но за то у него въ гербѣ былъ изображенъ римскій огурецъ, обвитый лентой, на которой читался девизъ рода Балалайкиныхъ: *Прасковья мнѣ тетка, а правда мнѣ мать.*

Мы пріѣхали съ Глумовымъ какъ разъ въ четыре часа, хотя у подъѣзда уже стояла двухмѣстная извозчичья карета, въ которой, какъ объяснилъ намъ извозчикъ, пріѣхали посажоные отцы. Внутреннее расположеніе дома Фанушки тоже напоминало Замоскворѣчье и провинцію. Деревянная, выкрашенная желтой краской лѣстница, съ деревянными же перилами и съ узенькимъ ковриком по срединѣ, вела во второй этажъ и заканчивалась небольшою площадкой, въ глубинѣ которой былъ устроенъ чуланъ, отдававшій запахомъ вчерашняго съѣстного, а сбоку виднѣлась дверь въ прихожую. И дверь была старинная, замоскворѣцкая: одностворчатая, массивная, обитая дешевой клеенкой и запиравшаяся старинным замкомъ съ подвижною ручкой. Въ прихожей пахло отчасти ягодами, которыя здѣсь повидимому недавно чистили для варенья, отчасти сапож-

нымъ товаромъ, потому что обыкновенно тутъ пребывалъ старый Родивонычъ, исправлявшій должность комнатнаго лакея и въ свободное время занимавшійся сапожнымъ мастерствомъ, о чемъ и свидѣтельствовала забытая на окнѣ сапожная колодка. Встрѣтилъ насъ именно этотъ самый Родивонычъ, сѣдой, но еще бравый старикъ, въ синемъ суконномъ сюртукѣ, въ бѣломъ галстухѣ и съ очками въ мѣдной оправѣ на носу.

— Невѣсту пропивать пріѣхали?—весело спросилъ онъ насъ: —а у насъ тутъ заминочка вышла: молодецъ-то нашъ заартачился.

— Какъ заартачился?

— Обыкновенно какъ женихи артачатся. Выложи, говоритъ, сначала деньги на столъ, а потомъ и веди хоть въ треподнюю...

— Однако, какъ это непріятно!

— Ничего, обойдется! Молодцинъ ужъ поѣхалъ... Деньгами двѣсти рублей повезъ да платокъ шолковый на шею. Это ужъ сверхъ, значитъ. Пріѣдетъ! только вотъ развѣ что аблакаты они, такъ названіемъ своимъ подорожиться захотятъ, еще рубликовъ сто запросятъ. А мы ужъ и посаженыхъ отцовъ припасли. Пообѣдаемъ, а потомъ и окрутимъ...

Мы вошли въ залу. Это была длинная и узкая комната, три окна которой выходили на улицу, а два—въ сѣни на лѣстницу, по которой мы только-что вошли. По срединѣ залы былъ накрытъ старинный раздвижной столъ со множествомъ колеблющихся ножекъ. Около стола, молча и безшумно ступая ногами, хлопотали двое молодыхъ мѣнялъ, очевидно прихваченныхъ изъ лавки, съ испитыми, блѣдными и безбородыми лицами. Въ сторонѣ, у стола, обремененнаго всевозможными закусками, суетился мужчина въ бѣломъ никейномъ сюртукѣ съ свѣтлыми пуговицами. Это-то именно и былъ странствующій полководецъ. При нашемъ появленіи онъ, проворно переваливаясь и ловко виляя круглымъ брюшкомъ, направился къ намъ на встрѣчу.

Это былъ мужчина лѣтъ пятидесяти, чрезвычайно подвижной и совершенно овальный. Точно весь онъ былъ составленъ изъ разныхъ овалокъ, связанныхъ между собой ниткой, приводимой въ движеніе скрытымъ механизмомъ. Въ срединѣ находился основной овалъ—животъ, и когда онъ начиналъ колыхаться, то и всѣ прочіе овалы и овалики приходили въ движеніе. Выраженіе его лица было любезное и добродушное, такъ что съ перваго взгляда казалось, что на

васъ смотритъ сычугъ изъ колбасной Шписа, получившій способность улыбаться. Хотя же и ходили слухи, будто на полѣ брани онъ умѣлъ сообщать этому сычугу суровые и даже кровожадные тоны, но въ настоящее время, благодаря двухлѣтнему глубокому миру, едва-ли онъ не утратилъ эту способность навсегда. Губы его припухли и покрылись масломъ, вслѣдствіе безпрерывнаго закусыванья, которое впрочемъ не только не умаляло его аппетита, а, напротивъ, какъ бы ожесточало. Глаза были небольшіе, слегка подернутые влагой, что̀ придавало имъ грустно-сантиментальный характеръ. Носъ—мягкій, которому можно было двумя пальцами сообщить какую угодно форму; голосъ—звонкій, чрезвычайно удобный для произнесенія сквернословій, необходимыхъ для побужденія ямщиковъ при передвиженіяхъ къ полямъ брани. Сюртучокъ на немъ былъ снѣжной бѣлизны, а на свѣтло вычищенныхъ пуговицахъ красовался геральдическій знакъ страны зулусовъ: на золотомъ полѣ взвившійся на дыбы змѣй-боа, и по бокамъ его: скорпіонъ и тарантулъ. По толкованію Редеди, аллегорія эта означала самого владыку зулусовъ (змѣй) и двухъ его главныхъ министровъ: министра оздоровленія корней (скорпіонъ) и министра умиротворенія посредствомъ въ отдаленныя мѣста водворенія (тарантулъ).

— Рекомендуюсь!—привѣтствовалъ онъ насъ:—Полканъ Самсоновъ Редедя. Былъ нѣкогда печенѣгъ, а нынѣ всѣ подъ одной державой благоденствуемъ!

Это было высказано съ такою неподдѣльною покорностью передъ совершившимся фактомъ, что когда Глумовъ высказалъ догадку, что, кажется, древніе печенѣги обитали на низовьяхъ Днѣпра и Дона, то Редедя только рукой махнулъ, какъ бы говоря: обитали!! мало ли кто обиталъ! Сегодня ты обитаешь, а завтра—гдѣ ты, человѣкъ!

— Вотъ и балыкъ,—сказалъ онъ вслухъ:—въ первоначальномъ видѣ въ низовьяхъ Дона плавалъ, тоже, чай, думалъ: я-ста да мы-ста! а теперь онъ у насъ на столѣ-съ, и мы имъ закусывать будемъ. Янтарь-съ. Только у мѣнялъ и можно встрѣтиться съ подобнымъ сюжетомъ.

Въ гостиной между тѣмъ гости были ужъ въ сборѣ, но отсутствіе жениха видимо на всѣхъ производило тяжелое впечатлѣніе. На диванѣ, передъ круглымъ столомъ, сидѣла сама Фанушка, въ бѣломъ шолковомъ платьѣ, въ брилліантахъ и съ флёръ-доранжемъ въ вели-

колѣнныхъ черныхъ волосахъ. Это была замѣчательно красивая женщина, прозрачно-смуглая (такъ что бѣлое платье, въ сущности, не шло къ ней), высокая, съ большими темными глазами, опушенными густыми и длинными рѣсницами, съ алымъ румянцемъ на щекахъ и съ алыми же и сочными губами, надъ которыми трепеталъ темноватый пушокъ. Сложена она была какъ богиня; бюстъ не представлялъ ни безъ толку наваленныхъ грудъ, ни той удручающей скатертью дороги, которая благопріятна только для скорой ѣзды на почтовыхъ. Все было на своемъ мѣстѣ, въ пропорцію и настолько пріятно для глазъ, что когда я мелькомъ взглянулъ на себя въ зеркало, то увидѣлъ, что губы мои сами собой сложились сердечкомъ. Повидимому она тоже замѣтила это „сердечко“, и оно было ей не непріятно.

Возлѣ нея, на томъ же диванѣ, сидѣлъ безполезный мѣшало, въ длинномъ черномъ полушолковомъ сюртукѣ, отливавшемъ глянцемъ при всякомъ его движеніи, и не отрывая, по-собачьи, глазъ отъ собесѣдниковъ, тоненькимъ голосомъ велъ пустопорожнюю бесѣду. Лицо у него было отекшее, точно у младенца, страдающаго водянкой въ головѣ; глаза мутные, слезящіеся; на бородѣ, въ видѣ занятыхъ, торчали четыре бѣлые волоска, по два съ каждой стороны; надъ верхнею губой висѣлъ рыжеватый пухъ. Въ довершеніе всего, волосы на головѣ, желто-саврасаго цвѣта, были заботливою рукой Фанушки напомажены и зачесаны черезъ весь обнаженный черепъ, съ уха за ухо.

По обѣимъ сторонамъ стола, на креслахъ, сидѣли посажёные отцы, тайные совѣтники Перекусихинъ 1-й и Перекусихинъ 2-й, уволенные отъ службы въ воздаяніе отличныхъ заслугъ. Оба были грустны. Одинъ—потому, что получилъ уфимскую землю и потомъ ее возвратилъ; другой—потому, что не получилъ уфимской земли и потому ничего не могъ возвратить. Сверхъ того, оба съ утра ничего не ѣли, въ ожиданіи мѣшальной кулебяки, и вслѣдствіе этого, когда разговоръ на минуту перемежался, изъ животовъ ихъ слышалось тихое урчаніе. Вообще это были люди очень несчастные, потому что газеты каждодневно называли ихъ „хищниками“, несмотря на то, что Перекусихинъ 1-й полностью возвратилъ похищенное, а Перекусихинъ 2-й даже совершенно ничего не получилъ. Такъ что и несомнѣнная невинность Перекусихина 2-го не принималась во вниманіе, потому что всякій говорилъ: „а кто ихъ, Перекусихиныхъ, разберетъ!“

У нихъ у однихъ Фанушкины красы не заставляли складываться губы сердечкомъ, такъ что въ этомъ смыслѣ они казались даже мѣняльнѣе самого Парамонова.

У стѣны, по обѣ стороны ломбернаго стола, сидѣли Иванъ Тимоѳеичъ и Прудентовъ, а у окна—Очищенный, приведшій съ собой изъ редакціи „Красы Демидрона“ *нашего собственнаго корреспондента*, совсѣмъ безумнаго малаго, который сидѣлъ вытаращя глаза и жевалъ фіалковый корень.

Отрекомендовалъ насъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Сотрудники наши!—сказалъ онъ кратко:—были заблудшіе, а теперь полезными гражданами сдѣлались...

— Вотъ какъ!—пріятно изумился Перекусихинъ 1-й.

— Ахъ, голуби, голуби!—вздохнулъ Парамоновъ.

— Гдѣ жъ это вы заблудились?—любезно спросила Фанушка и такъ пріятно при этомъ улыбнулась, что Глумовъ стиснулъ зубы и всѣмъ существомъ (очень впрочемъ прилично) устремился впередъ.

— Нельзя сказать, чтобъ въ хорошемъ мѣстѣ,—объяснилъ Иванъ Тимоѳеичъ:—такую чепуху городили, что вспомнить совѣстно. А теперь—такъ поправились, какъ дай Богъ всякому!

Мы были еще въ нерѣшимости, какія выразить чувства по поводу этой аттестаціи, какъ у воротъ раздался стукъ экипажа, и черезъ минуту въ дверяхъ показался Ределя и поманилъ пальцемъ Ивана Тимоѳеича.

Всѣ смолкли, такъ что изъ залы явственно доносился до насъ шопотъ. Еще минута, и Иванъ Тимоѳеичъ, въ свою очередь, поманилъ меня и Глумова.

— Мерзавецъ-то не ѣдетъ!—сообщилъ онъ намъ вполголоса.

— Что же случилось?

— Да такъ вотъ,—объяснилъ Молодкинъ:—пріѣхалъ я, а онъ сидитъ во фракѣ, въ перчаткахъ и въ бѣломъ галстухѣ—хоть сейчасъ подъ вѣнецъ! „Деньги!“ Отдалъ я ему двѣсти рублей—онъ пересчиталъ, положилъ въ ящикъ, щелкнулъ замкомъ: „остальныя восемьсотъ!“ Я туда-сюда—слышать не хочетъ! И галстухъ снялъ. „А ежели, говоритъ, черезъ полчаса остальныя деньги не будутъ на столѣ, такъ я совсѣмъ раздѣнусь, въ баню уѣду“.

— Да ты бы, голубчикъ, ему пригрозилъ: по данной, молъ, власти—въ мѣста не столь отдаленныя!—предложилъ Глумовъ.

— Говорилъ-съ. Не дѣйствуетъ.

— Вотъ вѣдь сквернавецъ какой!—негодовалъ Иванъ Тимоѳеичъ.—А здѣсь между тѣмъ расходъ. Кушанья сколько наготовили. посажёнымъ отцамъ по четвертной заплатили, за прокатъ платья для Очищеннаго отдали, отмѣтчика изъ газеты подрядили, ему самому, невѣжѣ, карету на невѣстинъ счетъ наняли—и по сейчасъ тамъ у крыльца стоитъ...

И вдругъ свѣтлая мысль осѣнила его голову.

— Друзья, да что жъ мы!—воскликнулъ онъ, простирая къ намъ руки:—да вы... ну, что жъ такое! Что на него, на невѣжу, смотрѣть! изъ васъ кто-нибудь... разъ-два-три... Господи благословп! Ягодка-то вѣдь какая... видѣли?

Я такъ и обомлѣлъ при этихъ словахъ, но, по счастію, Глумовъ не потерялъ присутствія духа.

— Не дѣло ты говоришь, Иванъ Тимоѳеичъ,—сказалъ онъ резонно: – во-первыхъ, Балалайкѣ ужъ двѣсти рублей задано; а во-вторыхъ, у насъ впередъ такъ условлено, чтобъ непремѣнно быть двоеженству. А я вотъ что сдѣлаю: сейчасъ къ нему самъ поѣду, и не я буду, если черезъ двадцать минутъ на трензелѣ его сюда не приведу.

Глумовъ уѣхалъ вмѣстѣ съ Молодкинымъ, а я въ видѣ аманата остался у Фанпушки. Разговоръ не вязался, хотя Иванъ Тимоѳеичъ и старался оживить его, объявивъ, что „такъ нынче ягода дешева, такъ дешева—кому и вредно, и тѣ ѣдятъ! а вотъ грибовъ совсѣмъ не видать!“ Но только-что-было мѣняло началъ въ отвѣтъ: „грибки, да ежели въ сметанѣ“, какъ внутри у Перекусихина 2-го произошелъ такой переполохъ, что всѣмъ показалось, что въ сосѣдней комнатѣ заводятъ органъ. А невѣста до того перепугалась, что инстинктивно поднялась съ мѣста, сказавъ:

— Ваши превосходительства! водочки! милости просимъ закусить, господа! не взыщите!

Это разомъ всѣхъ привело въ нормальное настроеніе. Тайные совѣтники забыли объ уфимскихъ земляхъ и, плавно откидывая ногами, двинулись за хозяйкой; Иванъ Тимоѳеичъ бросился впередъ расчищать гостямъ дорогу; Очищенный вытянулъ шею, какъ боевой конь, и щелкнулъ себя по галстуху; даже „нашъ собственный корреспондентъ“—и тотъ сдѣлалъ движеніе языкомъ, какъ будто собрался

его иссосать. Въ тылу, неслышно ступая ногами, шелъ злополучный мѣняло.

У закусочнаго стола насъ встрѣтилъ Редедя, но не сразу допустилъ до водки, а сначала самъ посмаковалъ понемногу отъ каждаго сорта (при этомъ онъ одинъ глазъ зажмуривалъ, а другимъ стрѣлялъ въ пространство, точно провидѣлъ вдали богъ вѣсть какія перспективы) и наконецъ, остановившись на зорной, сдѣлалъ капельмейстерскій жестъ руками:

— Можете смѣло!

То же самое продѣлалъ онъ и надъ закусками; всякаго сорта пожевалъ, объясняя при каждомъ кускѣ, въ чемъ заключаются его достоинства и какіе могутъ быть недостатки. Какая должна быть селедка, ежели она селедка, и какой долженъ быть балыкъ, ежели онъ балыкъ. А такъ какъ замѣчанія свои онъ, сверхъ того, скрашивалъ разсказами изъ жизни достопримѣчательныхъ русскихъ людей, то закусываніе получало разумно-историческій характеръ, и не прошло десяти минутъ, какъ уже мы отлично знали всю русскую исторію восемнадцатаго столѣтія, а благодаря новымъ закусочнымъ подкрѣпленіямъ—надѣялись узнать, что̀ происходило и дальше.

— И гдѣ вы, Фанна Егоровна, такое сокровище отыскали?— спросилъ восхищенный Перекусихинъ 1-й, указывая на Редедю.

— Самъ пришелъ,—очень мило нашлась невѣста.

— Онъ у насъ, вашество, Аника-воинъ, долго на одномъ мѣстѣ не усидитъ! —отозвался старый мѣняло:—изъ похода, да и опять въ походъ... Вотъ и теперь фараоны зовутъ...

— Скажите! и выгодно это? —обратился Перекусихинъ 2-й къ Редедѣ.

— Какъ вамъ сказать... Намедни, какъ ѣздилъ къ зулусамъ, однихъ прогоновъ на сто тысячъ верстъ, взадъ и впередъ, получилъ. На восемнадцать лошадей по три копѣйки на каждую—сочтите, сколько денегъ-то будетъ? На станціяхъ между тѣмъ ямщики и прогоновъ не хотятъ получать, а только „ура“ кричатъ... А потомъ еще суточныя по положенію, да подъемныя, да къ родственникамъ по дорогѣ заѣхать...

— Одного военачальника я зналъ, такъ тотъ, кромѣ прогоновъ, еще на „милую“ тысячъ сто выпросилъ.—сказалъ свое слово Очищенный.

— И это бываетъ,—согласился Ередя.

— Тсс... А хорошая это сторона... Зулусія?

— Такая, вашество, сторона! такая это сторона! Отдай все, да и мало!

— И все тамъ есть? икра, напримѣръ, балыкъ, селедка... все какъ слѣдуетъ?

— Всего вдоволь. И все втупѣ, все равно какъ у насъ богатства въ нѣдрахъ земли. И много, да приступиться не знаемъ. Такъ и они. Осетрины не ѣдятъ, сардинокъ не ѣдятъ, а вотъ змѣи, скорпіоны, летучія мыши—это у нихъ первое лакомство!

— Ахъ-ахъ-ахъ!

Покуда шелъ этотъ разговоръ, Фаинушка отвела меня въ сторону и вполголоса допрашивала:

— Это пріятель вашъ... вотъ который сейчасъ за Балалайкинымъ уѣхалъ?

— Да, пріятель.

— Какой онъ смѣшной!

— Что такъ?

— Давеча я всего два слова сказала, а онъ ужъ и размокъ: глаза зажмурилъ, чуть не свалился... хоть бы людей постыдился!

Она стояла передо мной, держа двумя пальчиками кусокъ балыка и отщипывая отъ него микроскопическіе кусочки своими ровными: бѣлыми зубами. Очевидно, что поступокъ Глумова не только не возмущалъ ее, а скорѣе даже нравился; но съ какою цѣлью она завела этотъ разговоръ? Были ли слова ея фразой, случайно брошенной, чтобъ занять гостя; или же они предвѣщали перемѣну въ судьбѣ моего друга?

— А у насъ сегодня Полканъ Самсонычъ къ фараонамъ уѣзжаетъ,—продолжала она, не глядя на меня.

— Сегодня?

— Да; отпразднуемъ свадьбу у Завитаева, а оттуда поѣдемъ на машину проводить.

— А жалко вамъ его?

— Мнѣ-то? закусываетъ онъ слишкомъ ужъ часто... Надоѣлъ.

— А вамъ нужно...

— Ничего мнѣ не нужно, а вотъ скажите вашему пріятелю, чтобъ онъ за обѣдомъ подлѣ меня сѣлъ. Я хочу ему на ушко одно слово...

Она подняла глаза и не договорила. Перекусихинъ 1-й отдѣлился отъ закусывающихъ и, меланхолически склонивъ на бокъ голову, обстрѣливалъ ее взорами.

Произошла нѣмая сцена.

— Вотъ кабы мнѣ полководцеву-то квартирку!..—безъ словъ ходатайствовалъ тайный совѣтникъ.

— Отдана!—тоже безъ словъ, но твердо и отчетливо отвѣтила Фанушка.

Тутъ только я понялъ, какое великое будущее открывается передъ Глумовымъ.

Глава XIII.

Боевая репутація Редеди была въ значительной мѣрѣ преувеличена. Товарищи его по дворянскому полку, правда, утверждали, что онъ считалъ за собой нѣсколько лихихъ стычекъ въ Ташкентѣ, но при этомъ какъ-то никогда достаточно не разъяснялось, въ географическомъ ли Ташкентѣ происходили эти стычки, или въ трактирѣ „Ташкентъ“, что за Нарвскою заставой. Начальство однакожъ не особенно цѣнило подвиги Редеди и довольно медленно производило его въ чины, такъ что сорока-пяти-лѣтъ отъ роду онъ имѣлъ только полковничій чинъ. Наскучивъ начальственнымъ равнодушіемъ, онъ перемѣнилъ родъ дѣятельности и направился, въ качествѣ обрусителя, въ западный край. Тутъ онъ сразу ознаменовалъ себя тѣмъ, что произвелъ сильную рекогносцировку между жидами, и, сбивъ ихъ съ позицій, возвратился во-свояси, обремененный добычей. Но и этотъ подвигъ не былъ оцѣненъ. Тогда онъ вышелъ въ „чистую“ и напечаталъ во всѣхъ газетахъ слѣдующее объявленіе:

„ПОЛКОВОДЕЦЪ!!!“

„Дѣлаетъ рекогносцировки, беретъ хитростью и приступомъ большія и малыя укрѣпленія, выигрываетъ большія и малыя сраженія, устраиваетъ засады, преслѣдуетъ непріятеля по пятамъ, но въ случаѣ надобности и отступаетъ. Въ особенности можетъ быть полезенъ во время междоусобій. Въ мирное время можетъ быть и редакторомъ газеты. Трезваго поведенія. Спросить Полкана Редедю, Забалканскій проспектъ, домъ № 4-105, на дворѣ, въ палаткѣ. Коммиссіонерамъ не приходить“.

Втайнѣ Ределя разсчитывалъ на Дона-Карлоса, который въ это время поддерживалъ спасительное междоусобіе на сѣверѣ Испаніи. Онъ даже завязалъ съ графомъ Ламподо (о немъ зри выше) переговоры насчетъ суточныхъ и прогонныхъ денегъ; но Ламподо заломилъ за коммиссію пять рублей, а Ределя могъ дать только три. Такъ это дѣло и не состоялось.

Зато въ Африкѣ Ределѣ посчастливилось: онъ получилъ нѣсколько ангажементовъ сряду. Прежде всего его пригласилъ эѳіопскій царь Амонасро (изъ „Аиды“), который возложилъ на него орденъ Аллигатора, и вслѣдъ затѣмъ былъ взятъ въ плѣнъ. Изъ Эѳіопіи Ределя проѣхалъ въ страну зулусовъ, владыка которой, Сетивайо (нынѣ обучающійся въ Лондонѣ парламентскимъ порядкамъ), повѣсилъ ему на шею яйцо строфокамила, и тоже былъ взятъ въ плѣнъ. По пути Ределя не дремалъ и помогалъ экваторіальнымъ державцамъ въ ихъ взаимныхъ пререканіяхъ, причемъ аккуратно сдалъ ихъ другъ другу въ плѣнъ, и вездѣ получилъ прогоны и суточныя по разсчету отъ Петербурга. А теперь къ нему обратился за помощью Араби-паша, который, по словамъ Ределя, былъ его однокашникомъ по дворянскому полку.

Несмотря на то, что Ределя не выигралъ ни одного настоящаго сраженія, слава его, какъ полководца, установилась очень прочно. Московскіе купцы были отъ него въ восхищеніи, а глядя на нихъ, постепенно воспламенялись и петербургскіе патріоты-концессіонеры. Въ особенности плѣнялъ Ределя купеческія сердца тѣмъ, что задачу Россіи на Востокѣ отождествлялъ съ тѣми блестящими перспективами, которыя, при ея осуществленіи, должны открыться для плисовъ и миткалей первѣйшихъ россійскихъ фирмъ. Когда онъ развивалъ эту идею, рисуя при этомъ безконечную цѣпь каравановъ, тянущихся отъ Иверскихъ воротъ до Мадраса, всѣ мануфактуръ-совѣтники кричали „ура“: онъ же, подъ шумокъ, истреблялъ такое количество сиѣдей и питій, что этого одного было достаточно, чтобъ навсегда закрѣпить за нимъ кличку витязя и богатыря. Цѣлыхъ два года онъ пилъ и закусывалъ отчасти на счетъ потребителей плисовъ и миткалей, отчасти на счетъ пассажировъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, такъ что, быть можетъ, принялъ косвенное участіе и въ кукуевской катастрофѣ, потому что нужныя на ремонтъ насыпи деньги были употреблены на чествованіе Ределя. Въ эти два года онъ изнѣжилъ

себя до того, что курилъ сигары не иначе какъ съ золотыми концами, и при этомъ вмѣсто иностранныхъ давалъ имъ собственнаго изобрѣтенія названія: патріотическія и военныя. Напримѣръ, одному сорту онъ далъ кличку „Забалканскія“, въ честь Забалканскаго проспекта, гдѣ онъ первоначально квартировалъ, другому—„Синопъ“, въ честь гостиницы „Синопъ“, въ которой онъ однажды такъ успѣшно маневрировалъ, что ни одного стакана и ни одной тарелки не оставилъ неразбитыми.

Въ этотъ же періодъ привольнаго житья наружность его пріобрѣла ту овальность, которая такъ пріятно поражала всѣхъ, посѣщавшихъ Фанушкину обитель. Но нужно сказать правду: овальность эта болѣе приличествовала метрдотелю, нежели полководцу, потому что послѣдній, какъ тамъ ни говори, все-таки долженъ быть готовъ во всякое время проливать кровь. Поэтому люди, даже искренно расположенные къ Редедѣ, когда узнали о полученномъ имъ отъ Арабинаши приглашеніи—и тѣ сомнительно покачивали головами, не ожидая въ будущемъ ни побѣдъ, ни одолѣній.

— Разъѣлся, старикъ, лѣнивъ сталъ!—говорили они между собой:—посмотрите, вся грудь у него въ складкахъ, точно у стараго раскормленнаго тирольскаго быка!

Нѣкоторые даже пытались отговорить его отъ поѣздки, объясняя что если англичане теперь его возьмутъ въ плѣнъ, то ужъ не выпустятъ, а продадутъ съ аукціона какому-нибудь выжигѣ, который станетъ его возить по ярмаркамъ, а тамъ мальчишки будутъ его дразнить; но перспектива полученія прогонныхъ денегъ до Каира и обратно была такъ соблазнительна, что отяжелѣвшій печенѣгъ остался глухъ ко всѣмъ убѣжденіямъ. Къ тому же и Фанушка явно погрѣшила въ этомъ случаѣ, не только не отговаривая его отъ поѣздки, но, напротивъ, всемѣрно разжигая въ немъ жажду военныхъ подвиговъ.

Отношенія Фанушки къ странствующему полководцу были очень сбивчивы. Наравнѣ съ другими купеческими фирмами, она увлеклась его боевою репутаціей и, какъ уже сказано было выше, не пожалѣла расходовъ, чтобы переманить его отъ Полякова къ себѣ. Но, сошедшись съ нимъ ближе, она скоро убѣдилась, что изъ всѣхъ прежнихъ доблестей въ немъ осталась неприкосновенною только страсть къ закусыванію. Было бы однакожъ несправедливо думать, что Редедя

сознательно обманулъ ее. Вѣроятнѣе всего, что, постепенно закусывая и изыскивая способы для легчайшаго сбыта московскихъ плисовъ и миткалей, онъ и самъ утратилъ привычку критически относиться къ своимъ собственнымъ силамъ. Какъ бы то ни было, но онъ сразу до того вошелъ исключительно въ роль мегрдотеля, что Фанушка даже нѣсколько смутилась. Нѣкоторое время она надѣялась, что вопросъ о выходѣ замужъ за Балалайкина разбудитъ въ немъ инстинктъ полководца; но, къ удивленію, при этомъ извѣстіи онъ только языкомъ щелкнулъ и спросилъ, на сколько персонъ слѣдуетъ готовить свадебный обѣдъ. Тогда она окончательно растерялась. Стала нюхать спиртъ и ходить къ ворожеямъ. Съ ужасомъ видѣла она себя навсегда осужденною на безрадостную жизнь въ обществѣ мѣнялъ, и воображеніе ея все чаще и чаще началъ смущать образъ черноокаго Ламоно... Не разъ она рѣшалась бросить все и бѣжать въ Пале-де-Кристаль, но невидимая рука удерживала ее на стезѣ благоразумія. И не вотще. Въ самую критическую минуту къ ней неожиданно явился на помощь Араби-паша, вызывавшій Редедю на поле брани. Въ одинъ присѣстъ она связала два кошелька: одинъ для Балалайкина, другой—съ надписью золотымъ бисеромъ: „отъ русскихъ дамъ“—отдала Редедѣ для передачи знаменитому египетскому патріоту.

Но возвратимся къ разсказу.

Балалайкина наконецъ привезли, и мы могли приступить къ обѣду. Женихъ и невѣста по обычаю сѣли рядомъ. Глумовъ помѣстился подлѣ невѣсты (онъ даже изумленія не выказалъ, когда я ему сообщилъ о желаніи Фанушки), я—подлѣ жениха. Противъ насъ сѣлъ злополучный мѣняло, имѣя по бокамъ посаженыхъ отцовъ. Прочіе гости размѣстились какъ попало, только Редедя отвелъ себѣ мѣсто на самомъ концѣ стола и почти не сидѣлъ, а стоялъ и, распростерши руки, командовалъ арміей мѣнялъ, прислуживавшихъ за столомъ.

Балалайкинъ былъ одѣтъ щегольски и смотрѣлъ почти прилично. Даже Иванъ Тимоѳеичъ его похвалилъ, сказавши: „ну вотъ, ты теперь себя оправдалъ!“ А невѣста, прежде чѣмъ сѣсть за обѣдъ, повела его въ будуаръ и показала шолковый голубой халатъ и расшитыя золотомъ торжковскія туфли, сказавъ: „это—вамъ!“ Понятно, что послѣ этого веселое выраженіе не сходило съ лица Балалайкина.

Но даже въ эти торжественныя минуты Фанушка не покинула своего „голубя“. Какъ и всегда, она усадила его на мѣсто, завѣсила салфеткой и потрепала по щекѣ, шепнувъ на ухо (но такъ, что всѣ слышали):

— Сиди тутъ, папаша, и не скучай безъ меня! а я на тебя, своего голубка, смотрѣть буду.

За обѣдомъ всѣ гости оживились, и это было въ особенности лестно для насъ съ Глумовымъ, потому что преимущественно мы были предметомъ общихъ разговоровъ и похвалъ. Иванъ Тимоѳеичъ соловьемъ разливался, разсказывая подробности нашего чудеснаго обращенія на стезю благонамѣренности.

— Вижу я,—повѣствовалъ онъ,—что на Литейной неладное что-то затѣвается: сидятъ молодые люди въ квартирѣ—ни сами никуда, ни къ себѣ никого... какая есть тому причина? Однакожъ, думаю: грѣхъ будетъ, ежели сразу молодыхъ людей въ отчаянность привести — подослалъ, знаете, дипломата нашего; говорю: смотри, ежели что—ты въ отвѣтѣ! И что же! не прошло двухъ недѣль, какъ слышу: помилуйте! да они хоть сейчасъ на какую угодно стезю готовы! Ну, я немножко подождалъ-такп, попспыталъ, а потомъ вижу, что медлить нечего—и самъ открылся: будьте знакомы, друзья!

— А теперь они намъ въ письменныхъ дѣлахъ по кварталу помогаютъ,—подтвердилъ Прудентовъ.

— И мнѣ по пожарной части,—отозвался Молодкинъ.

— А сколько тайныхъ благодѣяніевъ дѣлаютъ!—воскликнулъ отъ полноты сердца Очищенный: — одна рука даетъ, другая — не вѣдаетъ.

— Ахъ, голуби, голуби!—воскликнулъ старый мѣняло.

Потокъ похвалъ былъ на минуту прерванъ созерцаніемъ громадной кулебяки, которая оказалась вполнѣ соотвѣтствующею только-что съѣденной ухѣ. Но когда были проглочены послѣдніе куски, Иванъ Тимоѳеичъ вновь и еще съ большимъ рвеніемъ возвратился къ прерванному разговору.

— На дняхъ-это начали мы, по требованію, въ кварталѣ „Уставъ о благопристойномъ во всѣхъ отношеніяхъ поведеніи“ сочинять, — сказалъ онъ:—бились-бились—ни взадъ, ни впередъ! И вдругъ... они! Сейчасъ же сообразили, вникли, промежду себя поговорили — откуда что взялось! Статья за статьей! статья за статьей!

— Такъ вы и законодательными работами занимаетесь?—привѣтливо обратился ко мнѣ Перекусихинъ 1-й.

— Я всѣмъ занимаюсь-съ. И сочинить законъ могу, и упразднить могу. Смотря по тому, что въ сферахъ требуется.

— И представьте, вашество, какую они, въ видахъ благопристойности, штуку придумали! — продолжалъ рекомендовать насъ Иванъ Тимофеичъ:—чтобы при каждой квартирѣ безпремѣнно имѣть два ключа и одинъ изъ нихъ хранить въ кварталѣ!

При этомъ извѣстіи даже Перекусихины рты разинули, несмотря на то, что достаточно-таки понаторѣли въ законодательныхъ трудахъ.

— Чтобъ, значитъ, во всякое время: пришелъ гость, что надобно взялъ и ушелъ!—пояснилъ Очищенный.

— Гм... это... это, я вамъ доложу... это все равно, что безъ мыла въ душу влѣзть!—молвилъ Перекусихинъ 1-й.

— Позвольте однакожъ!—обезпокоился Перекусихинъ 2-й:—а ежели у кого... напримѣръ, деньги?

Опять всѣ разинули рты, ибо слово Перекусихина 2-го было всѣмъ и на всѣхъ нагнало тоску. Но тутъ уже Иванъ Тимофеичъ вступился.

— Ахъ, вашество!—сказалъ онъ съ чувствомъ:—что же такое деньги? Деньги—наживное дѣло! У васъ есть деньги, а вотъ у меня или у нихъ (онъ указалъ на Прудентова и Молодкина) и совсѣмъ ихъ нѣтъ! Да и что за сласть въ этихъ деньгахъ—только соблазнъ одинъ!

— Однако!

— Нѣтъ, я вамъ доложу, — отозвался Перекусихинъ 1-й: — у насъ, какъ я на службѣ состоялъ, одинъ отставной фельдъегерь такой проектъ подалъ: чтобъ весь городъ на отряды раздѣлить. Что ни домъ, то отрядъ со старшимъ дворникомъ во главѣ. А кромѣ того еще летучіе отряды... въ родѣ какъ воспособленіе!

— Вотъ это безподобно!—откликнулись со всѣхъ сторонъ.

— А я такъ иначе бы распорядился,—сказалъ Редедя:—двойные ключи, отряды—это все прекрасно: а я бы по пушечкѣ противъ каждаго дома поставилъ. Въ случаѣ чего: дворникъ! выполняй свою обязанность!

— Безподобно! безподобно!

— И на случай войны не безъ пользы.—согласился Перекусихинъ 2-й.

сихинъ 1-й:—тамъ, какова пора ни мѣра, а мы—готовы! Милости просимъ въ гости, честные господа!

Словомъ сказать, въ какіе-нибудь полчаса выплыло наружу столько оздоровительныхъ проектовъ, что злополучный мѣняло слушалъ-слушалъ, да и пришелъ въ умиленіе.

— Ахъ, голуби, голуби!—вздохнулъ онъ:—все-то вы отягощаетесь! все-то придумываете, какъ бы для насъ лучше да какъ бы удобнѣе... Легко ли дѣло изъ пушекъ палить, а вы и того не страшитесь, лишь бы польза была!

Но упоминовеніе о пушкахъ и возможности войны не могло и на разговоръ не повліять соотвѣтствующимъ образомъ. На сцену выступилъ вопросъ о боевой готовности.

— А какъ вы полагаете, Полканъ Самсонычъ,—спросилъ Перекусихинъ 1-й:—ежели теперича нѣмецъ или турокъ... готова ли была бы Россія дать отпоръ?

— То-есть, ежели сейчасъ... сію минуту... ишши пропало!—отчеканилъ Ределя.

— Что ужъ это такъ... очень ужъ какъ будто рѣшительно!—испугался Перекусихинъ 1-й.

— Да какъ вамъ сказать... Что боевая сила у насъ въ исправности—это вѣрно; и оружіе есть... средственное, по есть—допустимъ и это; и даже порохъ найдется, коли поискать... Но чего нѣтъ, такъ нѣтъ—это полководцевъ-съ! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!

— Ужъ будто...

— Несомнѣнно-съ. И не только у насъ—нигдѣ полководцевъ нѣтъ! И не будетъ-съ.

— Однакоже, если есть потребность въ полководцахъ, то должны же отыскаться и средства для удовлетворенія этой потребности?

— И средства есть. И предлагали-съ.

Ределя видимо ожесточился и началъ съ такою быстротой посылать ножомъ въ ротъ соусъ съ тарелки, что тарелка скрежетала, а сталь ножа, сверкая, отражалась на стѣнѣ въ видѣ мелкихъ зайчиковъ.

— И штука совсѣмъ простая,—продолжалъ Ределя:—учредите международную корпорацію странствующихъ полководцевъ—и дѣло въ шляпѣ. Ограничьте число—человѣкъ пять-шесть, не больше—но только чтобъ они всегда были готовы. Понадобился кому пол-

ководецъ—выбирай любого. А не выбралъ, попадѣялся на своего доморощеннаго—не прогнѣвайся!

— Но кого же въ эту корпорацію назначать будутъ? и кто будетъ назначать?

— Охотники найдутся-съ. Ужъ ежели кто въ себѣ эту силу чувствуетъ, тотъ зѣвать не будетъ. Самъ придетъ и самъ себя объявитъ...

— Гм...

Проектъ былъ удивительно странный, а съ перваго взгляда даже глупый. Но когда стали обсуждать и разсматривать, то и онъ оказался не безъ пользы. Главное, что̀ соблазняло—это легкость добыванія полководцевъ. Понадобилось воевать: господинъ полководецъ Непобѣдимый! вотъ вамъ войско, а сухари „вѣрный человѣкъ“ поставитъ—извольте вести къ побѣдамъ! И поведетъ. Идея эта до того увлекла Перекусихина 2-го, что онъ сейчасъ же началъ фантазировать и отыскивать для нея примѣненія въ другихъ вѣдомствахъ. Оказалось, что точь-въ-точь такія же корпораціи было бы вполнѣ удобно устроить по вѣдомствамъ: финансовъ, путей сообщенія, почтъ и телеграфовъ и проч. Съ этимъ мнѣніемъ согласился и Очищенный.

— Теперича ежели денегъ нѣтъ, если балансъ у кого не въ исправности, — разсуждалъ онъ: — сейчасъ опустилъ руку въ мѣшокъ: господинъ финансистъ Грызуновъ! извольте деньги сыскать!

Мѣняло же, съ своей стороны, такъ разоткровенничался, что чуть-было не обнаружилъ своей коммерческой тайны.

— Ахъ, голуби, голуби!—сказалъ онъ: — и какъ это вы говорите: денегъ нѣтъ—развѣ можно этому быть! Есть онѣ, деньги, только ищутъ ихъ не тамъ, гдѣ онѣ спрятаны!

Тогда начали разсуждать о томъ, гдѣ деньги спрятаны и какъ ихъ оттуда достать. Надѣялись, что Парамоновъ пойдетъ дальше по пути откровенности, но онъ ужъ спохватился и скорчилъ такую мину, какъ будто и знать не знаетъ, чье мясо кошка съѣла. Тогда возложили упованіе на Бога и перешли къ изобрѣтеніямъ девятнадцатаго вѣка. Говорили про пароходы и паровозы, про телеграфы и телефоны, про стеаринъ, парафинъ, оленинъ и керосинъ, и во всемъ видѣли руку Провидѣнія, явно Россіи благодѣющаго.

— Давно ли я самъ въ Москву въ дилижансѣ на четвертыя

сутки поспѣвалъ?—дивился Перекусихинъ 2-й:—а нынче сѣлъ, поѣхалъ и пріѣхалъ!

А Очищенный къ сему присовокупилъ:

— Прежде, вашество, письма-то на почтѣ шильками, изъ конвертовъ вылущивали—какая это времени трата была! А нынче взялъ, надъ паромъ секундочку подержалъ—читай да почитывай!

Опять подивились; но только-что хотѣли разсмотрѣть, слѣдуетъ ли тутъ видѣть руку Провидѣнія, явно Россіи благодѣющаго, какъ Перекусихинъ 1-й далъ разговору нѣсколько иной оборотъ:

— А что, въ этой Зулусіи... финансы есть?—обратился онъ къ Редедѣ.

— Настоящихъ финансовъ нѣтъ, а въ родѣ финансовъ—какъ не быть!

— И деньги, стало быть, чеканятъ?

— Чеканятъ не чеканятъ, а такъ дѣлаютъ. Ѣстъ, напримѣръ, Сетивайо крокодила, маленькую косточку выплюнетъ—рубль серебра, побольше косточку—пять, десять рублей; а ежели кость этакъ вершковъ въ десять выдастся—прямо сто рублей. А министры тѣмъ временемъ такимъ же порядкомъ размѣнную монету дѣлаютъ. Иной разъ какъ присядутъ, такъ въ одинъ день милліончикъ и подарятъ.

— Что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай. Вотъ вѣдь какую лёгость придумали!

— А внутренняя политика у нихъ есть?

— И внутренней политики настоящей нѣтъ, а есть оздоровленіе корней. Тутъ и полиція, и юстиція, и народное просвѣщеніе—все! Возьмутъ этакъ „голубчика“ гдѣ почувствительнѣе, да и не выпускаютъ, покуда всѣхъ не оговоритъ.

— И это лёгость большая.

— А пути сообщенія есть?

— Настоящихъ тоже нѣтъ. Но недавно устроено министерство кукуевскихъ катастрофъ. Стало быть, теперь только строить дороги поспѣвай.

Слово за слово, и житье-бытье зулусовъ открылось передъ нами какъ на ладони. И финансы, и полиція, и юстиція, и пути сообщенія, и народное просвѣщеніе—все у нихъ есть въ изобиліи, но только все не настоящее, а лучше чѣмъ настоящее. Оставалось, стало быть, разрѣшить вопросъ: какимъ же образомъ страна, столь благоустроен-

ная и цвѣтущая, и притомъ имѣя такого полководца, какъ Редедя. такъ легко поддалась горсти англичанъ? Но и на этотъ вопросъ Редедя отвѣтилъ вполнѣ удовлетворительно.

— Оттого и поддалась, что команды нашей они не понимаютъ, —объяснилъ онъ:—я имъ командую: впередъ, ребята! — а они назадъ прутъ! Туда-сюда: стойте, подлецы! —а ихъ ужъ и слѣдъ простылъ! Я-то кой-какъ въ ту пору улепетнулъ, а Сетивайо такъ и остался на тронѣ середь поля!

Пожалѣли. Выпили по бокалу за жениха и невѣсту, потомъ за посажѐныхъ отцовъ, потомъ за Парамонова и наконецъ... за Сетивайо, такъ какъ, по словамъ Редеди, онъ могъ бы быть полезнымъ для Россіи подспорьемъ. Хотѣли еще о чемъ-то поговорить, но отяжелѣли. Наконецъ разнесли фрукты, и обѣдъ кончился. Натурально, я сейчасъ же бросился къ Глумову.

Изъ словъ его я узналъ, что онъ предположилъ завтра же переѣхать на квартиру Редеди. И что̀ всего удивительнѣе — передавая мнѣ о своемъ рѣшеніи, онъ не только не смутился, но даже смотрѣлъ на меня съ бо́льшимъ достоинствомъ, нежели обыкновенно. Признаюсь, я не ожидалъ, что все произойдетъ такъ легко, безъ борьбы, и потому рискнулъ сказать ему, что во всякомъ мало-мальски уважающемъ себя романѣ человѣкъ, задумавшій поступить на содержаніе къ женщинѣ, которая вдобавокъ и сама находится на содержаніи, все-таки сколько-нибудь да покобенится. Но и на это онъ возразилъ кратко, что, однажды рѣшившись вступить на стезю благонамѣренности, онъ уже не считаетъ себя вправѣ кобениться, а идетъ прямо туда, куда никакія подозрѣнія насчетъ чистоты его намѣреній за нимъ не послѣдуютъ. И въ заключеніе назвалъ меня маловѣрнымъ.

Покуда мы такимъ образомъ полемизировали, Фанушка, счастливая и вся сіяющая, выдерживала новую нѣмую сцену со стороны Перекусихина 1-го.

— Такъ не будетъ квартиры? — спрашивалъ взорами тайный совѣтникъ.

— Не будетъ! —взорами же отвѣчала Фанушка.

— Но въ такомъ случаѣ надѣюсь, что хотя квартирныя деньги...

— И квартирныхъ денегъ не будетъ!

— Однако! ха-ха-ха!

Онъ залился горькимъ смѣхомъ, а счастливый Глумовъ толкнулъ меня въ бокъ и шепнулъ на ухо:

— Ты посмотри на нее, бабочка-то какая! А ты еще разговариваешь... чудакъ! Ишь вѣдь она... ахъ!

. . . . . .

Я не стану описывать дальнѣйшія перипетіи торжества; скажу только, что все произошло въ порядкѣ, и баликъ въ кухмистерской Завитаева прошелъ такъ весело, что танцы кончились только къ утру. Всѣ квартальныя дамы литейной и нарвской частей тутъ присутствовали; кавалерами же были по преимуществу „червонные валеты“, которыхъ набралось до двадцати-пяти штукъ, потому что и приставъ нарвской части уступилъ на этотъ вечеръ свой „хоръ“. Но больше и искреннѣе всѣхъ веселился Глумовъ, который совсѣмъ неожиданно получилъ даръ танцовать *мелкіе* танцы. Правда, онъ выполнялъ эту задачу не вполнѣ правильно: то замедлялъ темпъ, то топтался на одномъ мѣстѣ, то вдругъ впадалъ въ бѣшенство и какъ ураганъ мчался по залѣ; но Фанушку даже неправильности его приводили въ восхищеніе. Она не сводила съ него глазъ и потомъ всѣмъ и каждому говорила: „видали ли вы что-нибудь умори тельнѣе и... милѣе?“ Такъ что когда я, удивленный и встревоженный этою внезапностью, потребовалъ у Глумова объясненія, то она не дала ему слова сказать, и молча подала мнѣ съ конфетки билетикъ, на которомъ я прочиталъ:

Любовь сладка, всему научитъ (.)
Коль кровь кипитъ (,) а сердце пучитъ (,)
Напрасно будемъ мы стеречься (,)
Но прелестьми должны увлечься (.)

Alea jacta est...

Удивительно, какъ странны дѣлаются люди, когда ихъ вдругъ охватитъ желаніе нравиться! думалось мнѣ, покуда Глумовъ выдѣлывалъ ногами какіе-то масонскіе знаки около печки. Никакъ онъ не могъ оторваться отъ этой печки, словно невидимая сила приколдовала его къ ней. Лицо его исказилось, брови сдвинулись, зубы скрипѣли. Казалось, онъ даже позабылъ, гдѣ онъ и что съ нимъ происходитъ, а помнилъ только, что у него въ рукахъ находится предметъ, который предстоитъ истребить... А Фанушка не только не сердилась, но весело и добродушно хохотала, видя, что всѣ ея усилія

сорвать его съ мѣста остаются напрасными. Наконецъ послышался трескъ, посыпалась штукатурка, и Глумовъ понесся въ пространство...

Мысль, что еще сегодня утромъ я имѣлъ друга, а къ вечеру уже утратилъ его, терзала меня. Сколько лѣтъ мы были неразлучны! Вмѣстѣ „щупали революцію“, вмѣстѣ ощутили сладкія волненія шкурнаго самосохраненія и вмѣстѣ же рѣшили вступить на стезю благонамѣренности. И вотъ теперь я одинъ долженъ идти по стезѣ, кишащей гадюками.

Я не обманывалъ себя: предстоящій путь усѣянъ опасностями, изъ коихъ многія даже прямо могутъ быть названы подлостями. Но есть подлости, согласныя съ обстоятельствами дѣла, и есть подлости, которыя кромѣ подлости ничего въ результатѣ не даютъ. Сдѣлать подлость съ тѣмъ, чтобы при помощи ея превознестись — полезно; но сдѣлать подлость для того, чтобы прослыть *только* подлецомъ — просто обидно. Но какимъ тонкимъ чутьемъ нужно обладать, чтобы, совершая полезныя подлости, не обременять себя совершеніемъ подлостей глупыхъ и ненужныхъ!

Въ сихъ стѣснительныхъ обстоятельствахъ въ особенности важны помощь и присутствіе *друга*. У друга во всѣхъ подобнаго рода вопросахъ имѣется въ запасѣ и совѣтъ, и слово утѣшенія. Возьмите, напримѣръ, такой случай: вы идете по улицѣ и замѣчаете, что впереди предстоитъ встрѣча, которая можетъ васъ скомпрометтировать. Вы колеблетесь, спрашиваете себя: слѣдуетъ ли перебѣжать на другую сторону, или положиться на волю Божію и принять идущій на встрѣчу ударъ? Вотъ тутъ-то именно и приходитъ на помощь другъ. Ежели возможность убѣжать еще не исчезла, онъ скажетъ: „улепетывай скорѣе!“ Если же время ушло, онъ предостережетъ: „не бѣгай, ибо тебя ужъ замѣтили, и слѣдовательно бѣгство можетъ только безъ пользы опакостить тебя!“ И наконецъ, ежели и за всѣми предосторожностями безъ опакощенія обойтись нельзя — онъ утѣшитъ, сказавъ: „ничего! въ другой разъ мы въ подворотню шмыгнемъ!“

Таковы друзья... конечно, ежели они не шпіоны.

Не скрою однакожъ, что въ моихъ сѣтованіяхъ на Глумова скрывалась и нѣкоторая доля зависти. Оба мы одновременно препоясались на одинъ и тотъ же подвигъ, и вотъ я стою еще въ самомъ началѣ пути, а онъ не только дошелъ до конца, но даже получилъ

квартиру съ отопленіемъ. Ему не предстоитъ ни жида окрестить, ни подложные векселя писать. Поступивъ на содержаніе къ содержанкѣ, онъ сразу такъ украсилъ свой обывательскій формуляръ, что упразднилъ всѣ промежуточныя подробности. Теперь онъ хоть Маратомъ сдѣлайся—и тутъ Иванъ Тимоѳеичъ скажетъ: „не можетъ этого быть!“ А я долженъ весь процессъ мучительнаго оподленія продѣлать съ начала и по порядку; я долженъ на всякій свой шагъ представить доказательство и оправдательный документъ, — и все это для того, чтобы получить въ результатѣ даже не усыновленіе, а только снисходительно брошенное разрѣшеніе: „живи!“

Да, нехорошо, когда старые друзья оставляютъ; даже въ томъ случаѣ нехорошо, когда по справкѣ оказывается, что другъ-дезертиръ всегда былъ, въ сущности, прохвостомъ. Ежели хорошій другъ оставляетъ—горько за будущее; если оставляетъ объяснившійся прохвостъ—обидно за прошедшее. Ну, какъ-таки пятнадцать-двадцать лѣтъ прожить и не замѣтить, что въ двухъ шагахъ отъ тебя — воняетъ! И что, несмотря на эту вонь, ты и душевные чертоги свои, и душевное свое гнопще—все открывалъ настежъ—кому?.. прохвосту! Но кромѣ того, какъ хотите, а и квартира съ отопленіемъ свою прелесть имѣетъ. Перекусихинъ 1-й — тайный совѣтникъ! — какъ ни хлопоталъ, а Фанпушка и вниманія не обратила на его мольбы. А Глумовъ, въ чинѣ коллежскаго ассессора, сразу все получилъ безъ словъ, безъ просьбъ, безъ малѣйшихъ усилій. А потомъ пойдутъ пироги, закуски, да еще мѣняло, пожалуй, въ часть по банкирскимъ операціямъ возьметъ! И все это досталось не мнѣ, добросовѣстному труженику литературы и публицистики (отъ 10 до 15 копѣекъ за строку), а ему... „гулякѣ праздному“!

. . . . . .

О Балалайкинѣ между тѣмъ совсѣмъ забыли. Какъ только пріѣхали къ Завитаеву, Иванъ Тимоѳеичъ, при двухъ благородныхъ свидѣтеляхъ, отдалъ ему остальныя деньги, а съ него взялъ росписку: „Условленную за бракъ сумму сполна получилъ“. Затѣмъ онъ словно въ воду канулъ; впослѣдствіи же, какъ ни добивались отъ него, куда онъ пропалъ, онъ городилъ въ отвѣтъ какую-то неслыханную чепуху:

— Я-то? Я, mon cher, сѣлъ въ шарабанъ и въ Озерки поѣхалъ. Только ѣхалъ-ѣхалъ—что за чудеса!—въ Мустамяки пріѣхалъ.

ѣхалъ! Дѣлать нечего, выкупался въ озерѣ, съѣлъ порцію ухи, купилъ у начальника станціи табакерку съ музыкой — вонъ она, въ прошломъ году мнѣ ее кліентъ приподнесъ — и назадъ! Пріѣзжаю домой — глядь, апелляціонный срокъ пропустилъ... Сейчасъ — въ палату. „Что, говорятъ, испугался?—Ну, ужъ Богъ съ тобой, мы для тебя заднимъ числомъ“...

Такъ что Иванъ Тимоѳеичъ слушалъ-слушалъ и наконецъ не вытерпѣлъ и крикнулъ:

— Экой вѣдь ты... ахъ ты, ахъ!

Наконецъ, въ шестомъ часу утра, когда солнце ужъ наводнило улицу тепломъ и лучами, мы всей гурьбой отправились на николаевскую желѣзную дорогу проводить нашего безцѣннаго полководца. Экстренный поѣздъ, заказанный Араби-пашой, былъ совсѣмъ готовъ, а на платформѣ Редедю ожидала свита, состоявшая изъ двухъ египтянъ, Хлѣбодара и Виночерпія, и одного арапа, котораго, какъ мнѣ показалось, я когда-то видалъ въ художественномъ клубѣ прислуживающимъ за столомъ. При нашемъ появленіи, за неимѣніемъ египетскаго народнаго гимна, присланные московскими миткалевыми фабрикантами пѣвчіе грянули: „Идѣ домувъ муй“.

Редедя молодецкимъ аллюромъ подкатилъ къ свитѣ и скомандовалъ:

— Налѣво круг-гомъ!

Послышался звукъ холоднаго оружія; по направленію къ вагонамъ раздались удаляющіеся шаги.

Когда все смолкло, Редедя обратился къ намъ и, видя, что братья Перекуспхины плачутъ, взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— Успокойтесь, старики. Съѣзжу въ Каиръ, получу прогонныя деньги, сдамъ Араби-пашу въ плѣнъ—жаль однокашника, а дѣлать нечего!—и возвращусь.

Сказавши это, онъ послѣдовалъ въ вагонъ, а за нимъ размѣстились по вагонамъ и пѣвчіе.

Поѣздъ помчался.

Мы долго стояли на опустѣвшей платформѣ и махали платками, желая египтянамъ побѣды и одолѣнія.

— Вотъ увидите,—сказалъ пророческимъ голосомъ Глумовъ: —если Редедя предоставитъ нашимъ миткалямъ путь въ Индію—не миновать ему монумента въ Вознесенскомъ посадѣ!

— А быть можетъ и въ Ножовой линіи, — отозвался чей-то голосъ.

Тогда Очищенный не выдержалъ и торжественно, отъ лица редакціи „Красы Демидрона“, провозгласилъ:

— Sapienti sat!

. . . . . .

Когда я проснулся, на столѣ у меня лежалъ только-что отпечатанный нумеръ „Красы Демидрона“, въ которомъ „нашъ собственный корреспондентъ“ отдавалъ подробный отчетъ о вчерашнемъ празднествѣ. Привожу этотъ отчетъ дословно.

„Вчера на одной изъ невидныхъ окраинъ нашей столицы произошло скромное, но знаменательное торжество. Одно изъ свѣтилъ нашего юридическаго міра, безпропгрышный адвокатъ Балалайкинъ, вступилъ въ бракъ съ сироткой-воспитанницей извѣстнаго банкира Парамонова, Фанной Егоровной Стёгнушкиной, которая, впрочемъ, уже нѣсколько лѣтъ самостоятельно производитъ оптовую торговлю на Калашниковской пристани. Смотря на молодыхъ, можно было только радоваться: оба одинаково согрѣты пламенемъ любви, и оба одинаково молоды и могучи! И вмѣстѣ съ тѣмъ страшно было подумать, какой страстной драмѣ предстояло черезъ нѣсколько часовъ разыграться среди стѣнъ дома Стёгнушкиной, который еще утромъ такъ цѣломудренно смотрѣлся въ волны Обводнаго канала! И сладко, и жутко...

„Всѣмъ извѣстная привѣтливость и любезное обращеніе г. Балалайкина (кто изъ кліентовъ уходилъ отъ него безъ папиросы?) въ значительной степени скрашивала его тѣлесные недостатки; что же касается до невѣсты, то красотою своею она напомнила знойную дочь юга — испанку. Дайте ей въ руки кастаньеты — и вотъ вамъ качуча! И зной, и холодъ, и страстность, и гордое равнодушіе, и движеніе, и покой — все здѣсь соединилось въ одномъ гармоническомъ цѣломъ и образовало нѣчто загадочное, отвратительно-плѣнительное.

„Изъ числа присутствующихъ въ особенности выдавались два маститыхъ сановника, изъ коихъ одинъ, получивъ въ Уфимской губерніи землю, съ благодарностью ее возвратилъ; другой же не возвратилъ, ибо не получилъ. Не менѣе видную роль игралъ и нашъ знаменитый странствующій витязь-богатырь, Полканъ Самсоновичъ

Редедя, который прямо съ праздника умчался въ далекую страну фараоновъ. куда призываетъ его мятежный Арабп-паша.

„Балъ въ кухмистерской Завитаева отличался простодушнымъ увлеченіемъ. Танцовали какъ попало, ибо, благодаря изобильному угощенію, большинство гостей сбросило съ себя оковы свѣтской условности и замѣнило ихъ плѣнительною нестѣснительностью. Однакожъ и затѣмъ нестерпимыхъ невѣжествъ не произошло. Веселье кончилось въ пять часовъ утра, но, весьма вѣроятно, оно продолжалось бы и до настоящей минуты, еслибъ повобрачный не обнаружилъ знаковъ нетерпѣнія (очень естественныхъ въ его положеніи), которые дали понять гостямъ, что молодымъ не до нихъ. Послѣ сего всѣ разъѣхались, а молодые отправились въ свой домъ, на порогѣ котораго ихъ ожидалъ малютка-купидонъ и навѣрное взялъ съ счастливцевъ установленную пошлину, прежде нежели допустилъ ихъ забыться въ объятіяхъ Морфея.

„Не можемъ умолчать при этомъ и еще объ одномъ достопримѣчательномъ фактѣ, вызванномъ тѣмъ же торжествомъ. Двое изъ самыхъ вредныхъ нашихъ нигилистовъ. снисходя къ просьбамъ новобрачныхъ, согласились навсегда оставить скользкій путь либерализма. и тутъ же, при всѣхъ, твердою стопой вступили на стезю благонамѣренности.

„Богъ да поможетъ имъ соблюсти себя въ чистотѣ!“

А еще черезъ часъ я получилъ отъ Глумова депешу:

„Я въ эмпиреяхъ. Съ недѣлю повремени приходить“.

Глава XIV.

Оставшись въ одиночествѣ, я разомъ почувствовалъ свою безпомощность. Зная себя какъ человѣка слабохарактернаго, я не безъ основанія опасался сдѣлаться игралищемъ страстей со стороны всякаго встрѣчнаго, которому вздумалось бы предъявить на меня права. Я мысленно уже видѣлъ устремленныя на меня очи крамолы, я ощущалъ ея тлетворное дыханіе, слышалъ ея льстивыя рѣчи. предвкушалъ свое грѣхопаденіе, и не могъ опредѣлить только одного: какой сортъ крамолы скорѣе пристигнетъ меня. Странные. совершенно невѣроятные слухи ходили въ то время по городу. Одни разсказывали. будто два старые крамольника, Зачинщиковъ и Запѣваловъ, которые еще

при Аннѣ Леопольдовнѣ способствовали вступленію Елисаветы Петровны на прародительскій престолъ, ходятъ по квартирамъ и заставляютъ беззащитныхъ обывателей пѣть вмѣстѣ съ ними тріо изъ „Карла Смѣлаго“, котораго они измѣнически называютъ „Вильгельмомъ Теллемъ“. Другіе, напротивъ, утверждали, что по квартирамъ ходятъ не Зачинщиковъ и Запѣваловъ, а Выжлятниковъ и Борзятниковъ, внучатные племянники Шешковскаго, которые самовольно вынырнули неизвѣстно откуда и требуютъ отъ обывателей, кромѣ паспортовъ, предъявленія образа мыслей и заставляютъ ихъ пѣть: „Звонъ побѣды раздавайся“.

Говорили объ этомъ и на конкахъ, и въ мелочныхъ лавочкахъ, и въ дворницкихъ, словомъ — вездѣ, гдѣ современная внутренняя политика почерпаетъ свои вдохновенія. И странное дѣло!—хотя я, какъ человѣкъ, кончившій курсъ наукъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, не вѣрилъ этимъ разсказамъ, но все-таки инстинктивно чего-то ждалъ. Думалъ: придутъ, заставятъ пѣть... съумѣю ли?

Вообще нынче какъ-то совсѣмъ разучились жить покойно. Всякій (не исключая и несомнѣнныхъ гороховыхъ шутовъ) пристроивается себя къ внутренней политикѣ и, смотря по количеству ожидаемыхъ пироговъ, объявляетъ себя или благонамѣреннымъ, или *нен*благонамѣреннымъ (особенный политическій терминъ, народившійся въ послѣднее время, нѣчто среднее между благовременною благонамѣренностью и благонамѣренностью неблаговременною). Разница тутъ самая пустая, а между тѣмъ люди подстрекаютъ и калѣчатъ другъ друга, утруждаютъ начальство, а въ жизнь вносятъ безтолковѣйшую изъ смутъ. И все изъ-за того, чтобы захватить въ свою пользу безраздѣльную торговлю благонамѣренностью расшивочно и на-выносъ.

Коли хотите, въ этомъ не мало виновато и само начальство. Оно слишкомъ серьезно отнеслось къ этимъ пререканіямъ и повидимому даже повѣрило, что на свѣтѣ существуетъ партія благонамѣренныхъ, отличная отъ партіи *нен*благонамѣренныхъ. И вмѣсто того, чтобы сказать и той, и другой:

Спите! Богъ не спитъ за васъ!

вмѣшалось въ ихъ взаимныя пререканія, поощряло, прижимало, соболѣзновало, предостерегало. А „партіи“, видя это косвенное признаніе ихъ существованія, ожесточались все больше и больше, и

теперь дѣло дошло до того, что угроза каторгой есть самое обыкновенное мѣрило, съ помощью котораго одна „партія“ оцѣниваетъ мнѣнія и дѣйствія другой.

Къ сожалѣнію, всего болѣе страдаютъ отъ этого междоусобія невинные обыватели. Будучи поставлены между враждебныхъ партій, изъ которыхъ каждая угрожаетъ каторгой, и понимая, что̀ собственно въ данномъ случаѣ отъ нихъ требуется, эти люди отрываются отъ своихъ обычныхъ занятій и всецѣло посвящаютъ себя отгадыванію нелѣпыхъ загадокъ. Переживая процессъ этого отгадыванія, одни мечутся изъ угла въ уголъ, а другіе (въ томъ числѣ Глумовъ и я) даже дѣлаются участниками преступленій, въ надеждѣ, что общій уголовный кодексъ защититъ ихъ отъ притязаній кодекса уголовно-политическаго. Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на каждомъ шагу испытывающія и угрожающія лица, слышать вопросы, implicite заключающіе въ себѣ обѣщаніе каторги, вращаться среди полемики, въ основаніи которой положены обвиненія въ измѣнѣ, пособничествѣ, укрывательствѣ и т. п.,—право, это хоть кого можетъ озадачить. А коль скоро произошло озадаченіе, то слѣдомъ за нимъ непремѣнно начинаются метанія, перебѣганія, предательства, позоръ...

Все это я совершенно ясно сознавалъ теперь, въ своемъ одиночествѣ.

Я никакъ не предполагалъ, чтобъ дезертирство Глумова могло произвести такую пустоту въ моемъ жизненномъ обиходѣ. А между тѣмъ, случайно или неслучайно, съ его исчезновеніемъ всѣ мои новые друзья словно сгинули. Три дня сряду я не слышалъ никакихъ словъ, кромѣ краткаго приглашенія: „кушать подано!“ Даже паспорта ни разу не спросили, что̀ уже ясно свидѣтельствовало, что я нахожусь на самомъ днѣ рѣки забвенія.

Ни Иванъ Тимофеичъ, ни Кшешницюльскій, ни Очищенный—никто не поинтересовался мною. Да, признаться, безъ пособія Глумова я вряд-ли и съ умѣлъ бы что-нибудь сказать имъ. Есть люди, съ которыми можно бесѣдовать только сообща, чтобъ товарищъ товарищу помогалъ. Одинъ одно слово броситъ, другой это слово на лету подхватитъ и другое подкинетъ—смотришь, анъ разговоръ. Все равно какъ бумажки на полу: одна бумажка—просто только бумажка, а много бумажекъ—соръ. Раза два я видѣлъ, какъ Молодкинъ проскакалъ на пожарной трубѣ мимо нашего дома и всякій

разъ заглядывалъ въ мои окна и даже посылалъ мнѣ воздушный поцѣлуй. Но какъ я ни заманивалъ его—однажды даже подстерегъ со штофомъ въ одной рукѣ и съ рюмкой въ другой—онъ только головой въ отвѣтъ моталъ. Такъ я и остался ни при чемъ.

Я чувствовалъ, что надо мной что-то виситъ: или трагедія, или шутовство. Въ сущности, впрочемъ, это одно и то же, потому что бываютъ такія жестокія шутовства, которыя далеко оставляютъ за собой коллизіи самыя трагическія. Помнится, Очищенный какъ-то обмолвился, сказавъ, что мы всю жизнь между трагедій ходимъ, и только потому не замѣчаемъ этого, что трагедіи наши черезъ-чуръ ужъ коротенькія и внезапныя. Очевидно, онъ не договорилъ. Трагедіи у насъ дѣйствительно одноактныя (взвился занавѣсъ и тотчасъ же опустился надъ убіенными), но трагедія растянулась на такое безчисленное множество актовъ, какъ нигдѣ. И притомъ осложнилась шутовствомъ. Не обращаемъ же мы на нихъ вниманія совсѣмъ не потому, чтобъ внезапность упраздняла боль, а потому, что дѣваться отъ трагедій некуда, и, слѣдовательно, хоть жалуйся, хоть нѣтъ—все равно, терпѣть надо.

Понятно, что, поджидая съ часа на часъ вторженія въ мою жизнь шутовской трагедіи, я не могъ не волноваться соминѣніями самаго неопрятнаго свойства. А что, если она пристигнетъ меня врасплохъ? что, если она прижметъ меня къ стѣнѣ и скажетъ: выкладывай все, что у тебя есть! не виляй хвостомъ, не путайся въ словахъ, не ссылайся, не оговаривайся, а отвѣчай прямо, точно, опредѣленно!

Какъ я поступлю въ виду этихъ настояній? стану ли просить объ отсрочкѣ? Но вѣдь это именно и будетъ „виляніе хвостомъ“. Скажу ли прямо, что не могу примкнуть къ суматохѣ, потому что считаю ее самою несостоятельною формою общежитія? Но вѣдь суматоха никогда не признаетъ себя таковою, а присвоиваетъ себѣ наименованіе „порядка“...—Кто говоритъ вамъ о суматохѣ? отвѣтятъ мнѣ:—ему о порядкѣ напоминаютъ, къ защитѣ порядка его призываютъ, а онъ „суматоху“ приплелъ... хорошъ гусь!

Ахъ, этотъ шкурный вопросъ! всякую минуту, на всякомъ мѣстѣ онъ такъ и мелькаетъ, такъ и вгрызается въ жизнь!

Нѣтъ ничего капризнѣе недомыслія, когда оно взбудоражено и, вдобавокъ, чувствуетъ, что въ его распоряженіи находится люд-

ское малодушіе и людское пскательство. Оно не упуститъ ни пяди, не задумается ни передъ силой убѣжденій, ни передъ логикой, а будетъ все напирать да напирать. Оно у всѣхъ предполагаетъ отвѣтъ готовымъ (начертаннымъ въ сердцахъ), и потому требуетъ его немедленно, сейчасъ: да или нѣтъ?

. . . . . .

Наконецъ выдалось утро, въ продолженіе котораго предчувствія мои осуществились вполнѣ.

Я сидѣлъ, углубившись въ чтеніе календаря, какъ вдругъ передо мной, словно изъ-подъ земли, выросъ непзвѣстный мужчина (надо сказать, что съ тѣхъ поръ, какъ произошло мое вступленіе на путь благонамѣренности, я держу двери своей квартиры открытыми, чтобъ „гость“ прямо могъ войти въ мой кабинетъ и убѣдиться въ моей невинности).

— За календарь взялись?—привѣтствовалъ онъ меня:—отлично... ха-ха!

Я взглянулъ. Мужчина стоялъ высокій, дородный и повидимому веселый. Большая волосатая голова съ плоскимъ лицомъ, на которомъ природа рѣзко, но безъ малѣйшаго признака тщательности, вырубила полагающіяся по штату выпуклости и углубленія, плотно сидѣла на короткой шеѣ, среди широкихъ плечъ. Весь онъ былъ сколоченъ прочно и могуче, словно всею фигурой говорилъ: мучить понапрасну не стану, а убить—могу. Ноги—какъ у носорога, руки—фельдъегерскія, голосъ—валитъ какъ изъ пропасти. Но не было въ этой фигурѣ клаузы, и это производило до извѣстной степени примиряющее впечатлѣніе. Казалось, что если ужъ нельзя обойтись безъ „гостя“, то лучше пусть будетъ этотъ, наглый, но не клаузный, нежели другой, который, пользуясь безнаказанностью, яко даромъ небесъ, въ то же время вонзаетъ въ васъ жало клаузы. Весьма вѣроятно, что это неуклюжее тѣло когда-то знавало лучшія времена. Сначала жилъ-былъ enfant de bonne maison, потомъ жилъ-былъ лихой корнетъ, потомъ—блестящій вивёръ, потомъ—вивёръ прогорѣвшій, потомъ—ташкентецъ или обруситель и наконецъ—благонамѣренный крамольникъ. И дѣйствительно, когда я всмотрѣлся въ него пристальнѣе, въ головѣ моей что-то мелькнуло, какой-то отрывокъ прошлаго...

— На путь благонамѣренности вступили?.. ха-ха!—продолжалъ онъ, безъ церемоній усаживаясь въ кресло.

Но я все еще вглядывался и припоминалъ. Положительно, что-то было!

— Что глядите—онъ самый и есть... ха-ха!

— Выжлятниковъ! да вѣдь вы находитесь подъ судомъ!—невольно вырвалось у меня.

Я вспомнилъ окончательно. Дѣйствительно, передо мной находился прогорѣвшій вивёръ, котораго я когда-то зналъ полиціймейстеромъ въ Т.

— Эхъ, батюшка, хватились! Я послѣ того еще два раза подъ судомъ былъ. Хотите, я вамъ, въ краткихъ словахъ, весь свой формуляръ разскажу? Отчего-жъ! съ удовольствіемъ! Въ Ташкентѣ—былъ, обрусителемъ — былъ, подъ судомъ—былъ. Купца—билъ. мѣщанина—билъ, мужика—билъ. Водку—пилъ. Ха-ха!

Каждую фразу онъ подчеркивалъ хохотомъ, въ которомъ слышался цинизмъ, страннымъ образомъ перемѣшанный съ добродушіемъ.

— Я, сударь, скептикъ.—продолжалъ онъ,—а можетъ быть и кинивъ. Въ суды не вѣрю и рѣшеній не признаю. Кабы я вѣрилъ, меня бы давно ужъ засудили, а я, какъ видите, живъ. Но къ дѣлу. Такъ вы на путь благонамѣренности вступили?.. ха-ха!

— Но мнѣ кажется, что я и прежде...—оговорился я.

— И прежде, и послѣ, и теперь... не въ томъ дѣло! Я и про себя не знаю, точно ли я благонамѣренный, или только такъ... А вы вотъ что: не хотите ли „къ намъ“ поступить?

— А вы при какой крамолѣ состоите? при потрясательно-злонамѣренной или при потрясательно-благонамѣренной?

— Угадайте!

— Зачѣмъ угадывать? не имѣю надобности.

— Ежели я вамъ назову... ну, хоть „кружокъ любителей статистики“... ха-ха!

— Уставъ утвержденъ?

— Чудакъ вы!

— Въ такомъ случаѣ, извините. Хоть я и люблю статистику, но не чувствую ни малѣйшей потребности прибѣгать къ тайнѣ, коль скоро могу явно...

— А явно—это особо! И явно, и тайно—милости просимъ всячески! А ну-ка, благослови Господи... по рукамъ!

— Ей-Богу, не могу.

— Да вы подумайте, что̀ такое есть ваша жизнь?—вѣдь это кукуевская катастрофа—только и можно сказать про нее! Развѣ вы живете хоть одну минуту та̀къ, ка̀къ бы вамъ хотѣлось?—никогда, ни минуты! читать вы любите—вмѣсто книгъ, календарь перечитываете; общество любите—вмѣсто людей, съ Кшепшицюльскимъ компанію водите! писать любите—стараетесь не буквы, а каракули выводить! Словомъ сказать, постоянно по кукуевской насыпи ѣдете. И все это только для того, чтобъ въ кварталѣ объ васъ сказали: „какой же это опасный человѣкъ! это самый обыкновенный шалопай!“ Ну, сообразно ли это съ чѣмъ-нибудь?

Разумѣется, я и самъ понималъ, что ни съ чѣмъ несообразно, но все-таки повторилъ:—не могу.

— На дняхъ для этой цѣли вы двоеженство устроили,—продолжалъ онъ:—а въ будущемъ, можетъ быть, понадобится и подлогъ...

При этихъ словахъ у меня даже волосы на головѣ зашевелились.

— Да, и подлогъ.—повторилъ онъ:—потому что требованія все повышаются и повышаются, а сообразно съ этимъ должна повышаться и температура вашей готовности... Ну, хорошо, допустимъ. Допустимъ, что вы выполнили свою программу до конца—развѣ это результатъ? Развѣ вамъ повѣрятъ? Развѣ не скажутъ: это въ немъ шкура заговорила, а настоящей искренности въ его поступкахъ все-таки нѣтъ.

Я продолжалъ упорствовать.

— Вотъ еслибы вамъ повѣрили, что вы дѣйствительно... тово... это былъ бы результатъ! А вѣдь, въ сущности, вы можете достигнуть этого результата, не дѣлая никакихъ усилій. Ни разговоровъ съ Кшепшицюльскимъ отъ васъ не потребуется, ни подлоговъ—ничего. Придете прямо, просто, откровенно: вотъ, молъ, я! И все для васъ сдѣлается яснымъ. И вы всѣмъ повѣрите, и вамъ всѣ повѣрятъ. Скажутъ: это человѣкъ искренній, настоящій: ему можно вѣрить, потому что онъ не о спасеніи шкуры думаетъ, а объ ея украшеніи... ха-ха!

— Но этого-то именно я и не хочу... украшеній этихъ!—возмутился я.

— То-то вотъ вы, либералы! И шкуру сберечь хотите, да еще претендуете, чтобы она вамъ даромъ досталась! А вѣдь, по настоящему, надо ее заслужить!

— Послушайте? вѣдь кажется, что шкура и отъ природы даромъ полагается!

— Это смотря. Объ этомъ еще диспутъ идетъ. Нонѣ такъ разсуждаютъ: ты говоришь, что коль скоро ты ничего не сдѣлалъ, такъ, стало быть, шкура — твоя? Анъ это неправильно. Ничего-то не дѣлать всякій можетъ, а ты дѣлать дѣлай, да такъ, чтобъ тебя похвалили!

— Какъ хотите, а это, въ сущности, только кляузно, но не умно!

— И я говорю, что глупо, да вѣдь развѣ я это отъ себя выдумалъ? Мнѣ наплевать—только и всего. Ну, да довольно объ этомъ. Такъ вы объ украшеніи шкуры не думаете? Безкорыстіе, значитъ, въ предметѣ имѣете? Прекрасно. И безкорыстіе—полезная штука. Потому что изъ-подъ безкорыстія-то, смотрите, какія иногда перспективы выскакиваютъ!.. Такъ по рукамъ, что-ли?

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ.

Тогда онъ сталъ убѣждать меня вилотную. Говорилъ, что никакого особливаго оказательства съ моей стороны не потребуется, что все ограничивается одними научными наблюденіями по части основъ и краеугольныхъ камней, и только изрѣдка провѣркою паспортовъ... ха-ха! Что теперь время дачное и поле для наблюденій самое удобное, потому что на дачахъ живутъ на-распашку и оставляютъ окна и двери балконовъ открытыми. Что, собственно говоря, тутъ нѣтъ даже подслушиванія, а именно только статистика, которая, безъ сомнѣнія, не останется безъ пользы и для будущаго историка. И, наконецъ, что мнѣ, какъ изслѣдователю признаковъ современности, не только полезно, но и необходимо освѣжить запасъ наблюденій новыми данными, взятыми изъ сферъ доселѣ мнѣ недоступныхъ.

Словомъ сказать, такъ меня заговорилъ, что я-таки не выдержалъ и заинтересовался.

— Какую же вы статистику собираете?—спросилъ я:—черезъ кого? какъ?

— Статистика наша имѣетъ въ виду приведеніе въ ясность современнаго настроенія умовъ. Кто объ чемъ думаетъ, кто съ кѣмъ и объ чемъ говоритъ, чего желаетъ. Вотъ.

— Чудесно. Стало быть, у васъ для статистическихъ развѣдокъ и довѣренные люди есть?

— Производство развѣдокъ поручается опытнымъ статистикамъ (непремѣнное условіе, чтобъ не меньше двухъ разъ подъ судомъ былъ... ха-ха!), которые устраиваютъ ихъ, согласуясь съ обстоятельствами. Напримѣръ, лѣто нынче стоитъ жаркое, и слѣдовательно много купальщиковъ. Сейчасъ нашъ статистикъ—бултыхъ въ воду!—и начинаетъ нырять.

— Ахъ, Боже! то-то я, купаючись, всякій разъ вижу, что какой-то незнакомецъ около меня круги дѣлаетъ!

— Это онъ самый и есть. А вотъ и другой примѣръ: приспѣло время для фруктовъ—сейчасъ нашъ статистикъ лотокъ на голову, и пошелъ статистику собирать.

— Но слушайте! вѣдь этакъ ваши „статистики“ такихъ чудесъ насоберутъ, что житья отъ нихъ никому не будетъ.

— А я про что-жъ говорю! я про то и говорю, что никому не будетъ житья!

— Но вѣдь это... междоусобіе?

— И я говорю: междоусобіе.

Я удивленно взглянулъ на него во всѣ глаза.

— А вамъ-то что!—воскликнулъ онъ, разражаясь раскатистымъ хохотомъ.

— Какъ что!—заторопился я:—да вѣдь я... вѣдь вы... вѣдь у насъ... есть отечество, родина... вѣдь мы должны... мы не имѣемъ права смущать...

— Чудакъ! шкуру бережетъ, подлоги сбирается дѣлать, а объ отечествѣ плачется!

. . . . . .

Выжлятниковъ пробылъ у меня еще съ часъ и все соблазнялъ. Разсказывалъ, какъ у нихъ хорошо: всѣ подъ нумерами и всѣ переодѣтые—точь-въ-точь какъ въ водевилѣ „Актеръ, какихъ мало“. Руководители имѣютъ въ виду благо общества, и потому дѣйствуютъ безвозмездно; исполнители же блага общества въ виду не имѣютъ, и взамѣнъ того пользуются соотвѣтствующимъ вознагражденіемъ.

— И странное дѣло!—заключилъ онъ:—сколько бы разъ ни былъ человѣкъ подъ судомъ, а къ намъ поступитъ—всѣ судимости разомъ какъ рукой съ него сниметъ!

Къ чести своей, однакожъ, я долженъ сказать, что устоялъ. Одно время чуть-было у меня не сползло съ языка нѣчто въ родѣ обѣщанія подумать и посмотрѣть, но на этотъ разъ, слава Богу, Выжлятниковъ самъ сплошалъ. Снялся съ кресла и оставилъ меня, обѣщавши въ непродолжительномъ времени зайти опять и возобновить разговоръ.

Но въ этотъ день мнѣ особенно посчастливилось: „гости“ слѣдовали одинъ за другимъ. Не успѣлъ я проводить Выжлятникова, какъ появилась особа женскаго пола. Молоденькая, маленькая, не безъ пріятностей, но какъ будто слегка растерянная. Вѣроятно она не сама собой въ крамолу попала, а сначала братцы или кузены воспламенились статистикой, а потомъ ужъ и ее воспламенили. Очевидно она позабыла, зачѣмъ пришла, потому что сѣла противъ меня и долго молча на меня смотрѣла. Мнѣ показалось даже, что у нея на глазахъ навернулись слезки, оттого ли, что ей жалко меня стало, или оттого, что „ахъ, какая я несчастная!“ Наконецъ я самъ рѣшился ей помочь въ ея миссіи.

— Вы отъ крамолы, что-ли?—спросилъ я.

Тогда она вспомнила и пропзнесла:

— Ахъ, да... Голубчикъ! переходите къ намъ!

Это было сказано такъ мило, какъ будто она приглашала меня перейти изъ кабинета въ гостиную. Очень даже возможно, что она именно такъ и смотрѣла на свою миссію, потому что когда я высказалъ ей это предположеніе, она нимало не удивилась и сказала:

— Ну, такъ что-жъ! и перейдите!

Тогда я, взявъ ее за ручки, сказалъ:—Ахъ, Боже мой!—и обѣщалъ...

Потомъ пришелъ преклонныхъ лѣтъ старецъ и отрекомендовался:—Вашъ искренній доброжелатель.—Этотъ началъ безъ обиняковъ:

— Нельзя такъ, сударь мой, нельзя-съ!

— Въ чемъ же я, вашество, провинился?

— Во всемъ-съ. Скверно у насъ, гадко, ни на что непохоже—не спорю! Но такъ... нельзя-съ!

Онъ волновался и безпокоился, хотя не могъ сказать объ чемъ. Повидимому что-то было для него ясно, только онъ не понималъ, что именно. Оттого онъ и повторялъ такъ настойчиво: „нельзя-съ!“ Еще родители его это слово повторяли, и такъ какъ для нихъ, дѣйствительно, было все ясно, то онъ думалъ, что и ему, если онъ будетъ

одно и то же слово долбить, когда-нибудь будетъ ясно. Но когда онъ увидѣлъ, что и онъ ничего не понимаетъ, и я ничего не понимаю, то рѣшился, какъ говорится, „положить мнѣ въ ротъ“.

— Цѣли не вижу-съ!—произнесъ онъ:—не вижу цѣли-съ! Все возможно-съ: и критиковать, и указывать, и предъявлять... но такъ... нельзя-съ!

— Ахъ, вашество!

— Цѣли нѣтъ-съ—это главное. Гадко у насъ, мерзко-съ—это знаетъ всякій! Но надобно имѣть въ виду цѣль, а ея-то я и не вижу-съ!

— Вашество! да кто же нынче какія-нибудь цѣли имѣетъ! Живутъ какъ Богъ пошлетъ. Прошелъ день, прошла ночь, а потомъ опять день да ночь...

— Вы говорите: какъ Богъ пошлетъ?—прекрасно-съ! вотъ вамъ и цѣль-съ! Благополучно прошелъ день, спокойно—и слава Богу! И завтра будетъ день, и послѣ-завтра будетъ день, а вы—живите! И за границей не лучше живутъ! Но тамъ—довольны, а мы—недовольны!

Говоря это, старикъ волновался, волновался и наконецъ такъ закашлялся, что я инстинктивно бросился къ нему и сталъ растирать ему грудь.

— Вотъ видите!—сказалъ онъ, успокоиваясь:—начала-то въ васъ положены добрыя! Вы и ближнему помочь готовы, и къ старости уваженіе имѣете... отчего же вы не во всемъ такъ? Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! дайте мнѣ слово, что вы исправитесь?

— Но что же я такое...

— Ничего „такого“, а просто: такъ нельзя!—загвоздилъ онъ опять:—нельзя такъ, цѣли нѣтъ! И за границей живутъ, и у насъ живутъ; тамъ не рощутъ, а у насъ—рощутъ! Почему тамъ не рощутъ?—потому что рентать не на что! почему у насъ рощутъ?—потому что нельзя не рентать! Постойте! кажется, я что-то такое сказалъ?

— Ничего, вашество, все слава Богу!

— Прекрасно. Обѣщайте же мнѣ...

Но тутъ опять его пристигъ пароксизмъ кашля. Взрывы слѣдовали за взрывами, а въ промежуткахъ онъ говорилъ:

— Тридцать лѣтъ... кашляю... все вотъ такъ... Въ губернаторахъ двадцать лѣтъ кашлялъ... теперь въ званіи сенатора... десять

лѣтъ кашляю... Что, по вашему, это значитъ? А то, мой другъ, что я и еще тридцать лѣтъ прокашлять могу!

— Дай-то Богъ!—отозвался я.

— И даже мѣръ особливыхъ не принимаю, потому что—цѣль вижу!—увѣренно продолжалъ онъ.—Вижу цѣль, и знаю, что созидаемое мною зданіе—прочно! А вы цѣли не видите и строите на пескѣ!... Нехорошо-съ! нельзя-съ!

Онъ всталъ и долго смотрѣлъ мнѣ въ глаза, отечески-укоризненно покачивая головой.

— Утѣшь, мой другъ, старика!—воскликнулъ онъ, простирая ко мнѣ объятія.

Я не выдержалъ и устремился. Я не понималъ, что именно обѣщаю, но обѣщалъ. Онъ же гладилъ меня по головѣ и говорилъ:

— Всегда я утверждалъ, что лаской можно изъ него сдѣлать... все!

Послѣ всѣхъ пришелъ дальній родственникъ (въ родѣ внучатнаго племянника) и объявилъ, что онъ все лѣто ходилъ съ бабами въ лѣсъ по ягоды, и этимъ способомъ успѣлъ прослѣдить два важныя потрясенія. За это онъ, сверхъ жалованья, получилъ сдѣльно 99 р. 3 к., да черники продалъ въ Рамбовѣ на 3 руб. 87 коп. Да, сверхъ того, общество поощренія художествъ обѣщало устроить въ его пользу подписку.

— Не хотите ли, дяденька, поступить?

Но на этотъ разъ я разсердился.

Глава XV.

Весь день я раздумывалъ, какимъ образомъ я выполню принятыя обязательства, или, лучше сказать, какимъ способомъ уклонюсь отъ ихъ выполненія. Еще недавно мы съ Глумовымъ провели день въ окрестностяхъ Петербурга, встрѣтили въ лѣсу статистика, который подъ видомъ собиранія грибовъ производилъ развѣдки. И такъ онъ мнѣ показался нехорошъ изъ себя, что при одной мысли о возможности очутиться въ роли купальщика или собирателя грибовъ меня тошнило. Но спрашивается, что же предстоитъ предпринять, ежели вопросъ будетъ поставленъ такъ: или собирай статистику, или на-

всегда оставайся въ спискѣ неблагонамѣренныхъ и ѣзди по кукуевской насыпи?

Понятно, какъ я обрадовался, когда на другой день утромъ пришелъ ко мнѣ Глумовъ. Онъ былъ веселъ и весь сіялъ, хотя лицо его нѣсколько поблѣднѣло и носъ обострился. Очевидно, онъ прибѣжалъ съ намѣреніемъ разсказать мнѣ эпопею своей любви, но я на первыхъ же словахъ прервалъ его. Не нынче-завтра Выжлятниковъ могъ дать мнѣ второе предостереженіе, а старикъ и дѣвушка навѣрное уже сію минуту поджидаютъ меня. Что же касается до племянника, то онъ, конечно, ужъ доставилъ куда слѣдуетъ статистическій матеріалъ. Какъ теперь быть?

— Бѣжать надо!—сразу рѣшилъ Глумовъ.

— А ты?

— И я за-одно. И Фанушку съ собой возьмемъ... Бабочка-то какая! золото!

— Куда же мы побѣжимъ?

— А будемъ постепенно подвигаться впередъ. Сначала по желѣзной дорогѣ поѣдемъ, потомъ на пароходъ пересядемъ, потомъ на тройкѣ поѣдемъ или опять по желѣзной дорогѣ. Надоѣстъ ѣхать—остановимся. Провизіи съ собой возьмемъ, въ деревню этнографическую экскурсію сдѣлаемъ, молока, чернаго хлѣба купимъ, станемъ пѣсни, былины записывать; если найдемъ слѣпенькаго кобзаря—въ Петербургъ на показъ привеземъ.

— Чудакъ! это прежде былины-то по деревнямъ собирали, а нынче за такое дѣло руки къ лопаткамъ и—маршъ въ холодную!

— А ежели всѣхъ постигаетъ такая участь, такъ и мы отъ міру не прочь. Я ужъ Фанушку спрашивалъ: пойдешь ты за мною въ народъ?—„Хоть на край свѣта!“ говоритъ. Для науки, любезный другъ, и въ холодной посидѣть можно!

— Вотъ, Глумовъ, тебѣ объ дѣлѣ говорятъ, а ты все шутки шутишь!

— Нимало не шучу. Говорю тебѣ: бѣжать надо—и бѣжимъ. Ждать здѣсь нечего. Спасать шкуру я согласенъ, но украшать или приспосабливать ее—слуга покорный! А я же кстати и вѣсточку тебѣ такую принесъ, что какъ разъ къ нашему побѣгу подходитъ. Представь себѣ, вѣдь Онуфрій-то цѣлыхъ полмилліона на университетъ отвалилъ.

— На сибирскій?

— Нѣтъ, новый хочетъ взбодрить, въ новыхъ земляхъ. Въ Самаркандѣ или въ Маргеланѣ—еще не рѣшили.

— А про каѳедру митрогнозіи для Очищеннаго не забылъ?

— Помилуй, Онуфрій самъ именно ее и имѣлъ въ виду. При сношеніяхъ съ инородцами нѣтъ, говоритъ, этой науки полезнѣе.

— То-то будетъ радъ почтенный старичокъ!

— Мы, любезный другъ, и объ Ередѣ вспомнили. Такъ какъ, по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, потребности въ политической экономіи не предвидится, то онъ науку о распространеніи московскихъ плисовъ и миткалей будетъ въ новомъ университетѣ читать.

— И безподобно! Для Маргелана и этихъ двухъ наукъ за глаза довольно!

— Вотъ мы въ ту сторону и направимся среднимъ ходомъ. Сначала къ тебѣ, въ Проплеванную заѣдемъ—можетъ, домъ-то еще не совсѣмъ изнылъ; потомъ къ Моршу, къ Фанушкинымъ сродственникамъ махнемъ, оттуда—въ Нижній-Ломовъ, гдѣ Фанушкина тетенька у богатаго сконца въ кухаркахъ живетъ, а по дорогѣ гдѣ-нибудь и жида окрестимъ. Ужъ Онуфрій объ этомъ и переговоры какіе-то втайнѣ ведетъ. Надѣется онъ современемъ изъ жида мѣнялу сдѣлать.

— Но если мы уѣдемъ, кто же объ университетѣ хлопотать будетъ?

— А мы Балалайкину полную довѣренность выдадимъ. Онъ, братъ, что̀ угодно выхлопочетъ!

— Глумовъ! такъ пошлемъ же поскорѣй за Очищеннымъ!

— И за нимъ, и за Балалайкинымъ. Переговоримъ что слѣдуетъ, а потомъ всѣ вмѣстѣ—обѣдать къ Фанушкѣ.

Черезъ часъ Очищенный и Балалайкинъ были уже съ нами. Почтенный старикъ, услыхавъ объ ожидающей его на Востокѣ просвѣтительной миссіи, хотѣлъ- было, въ видѣ образчика, произнести нѣсколько съ ногъ сшибательныхъ выраженій, но отъ слезъ ни слова не могъ выговорить. Когда же успокоился, то просилъ объ одномъ: чтобъ предположенное по штату жалованье начать производить ему, не дожидаясь открытія университета, а теперь же, со дня объявленія ему радости. Что же касается до Балалайкина, то и онъ очень серьезно отнесся къ предстоящей обязанности, такъ что когда Глумовъ предостерегъ его:

— Ты смотри, Балалайка! въ одно ухо влѣзь, а въ другое вылѣзь!—то онъ пріосанился и увѣреннымъ тономъ отвѣтилъ:

— За меня, господа, не безпокойтесь! Я одно такое средство знаю, что самый „что̀ называется“—и тотъ не рѣшится его употребить! А я рѣшусь.

Тогда мы убѣдились, что дѣло просвѣщенія русскаго Востока находится въ хорошихъ рукахъ, и уже совсѣмъ-было собрались къ Фаннушкѣ, какъ Очищенный остановилъ насъ.

— Ужъ коли на то пошло, — сказалъ онъ, — такъ и я свой секретъ открою. Выдумалъ я штуку одну. Не то чтобы особливую, но пользительную. Какъ вы думаете, господа, ежели теперича по всей Россіи обязательное страхованіе жизни ввести — выйдетъ изъ этого польза или нѣтъ?

Вопросъ этотъ настолько озадачилъ насъ, что мы смотрѣли на Очищеннаго, вытаращивъ глаза. Но Глумовъ уже что-то схватилъ налету. Онъ одинъ глазъ зажмурилъ, а другимъ вглядывался: это всегда съ нимъ бывало, когда онъ соображалъ или вычислялъ.

— По новѣйшимъ извѣстіямъ, сколько имѣется въ Россіи жителей?—продолжалъ Очищенный.

— По послѣднему календарю Суворина, въ 1879 году числилось 98.516.398 душъ,—отвѣтилъ я.

— Значитъ, если обложить по рублю съ души — будетъ 98.516.398 рублей. Хорошо. Это — доходъ. Теперича, при ежегодномъ взносѣ по рублю съ души, какъ вы думаете, какую на случай смерти премію можно назначить? Такъ, круглымъ числомъ?

Бросились къ Суворинскому календарю, стали искать, нѣтъ ли статьи о движеніи народонаселенія, но таковой не оказалось. Тогда начали припоминать, что̀ говорилось по этому поводу въ старинныхъ статистикахъ, и припомнили, что, *кажется*, средній человѣческій возрастъ опредѣлялся тридцатью-однимъ годомъ.

— Тридцать-одинъ рубль,—предложилъ Глумовъ.

— А я назначаю тридцать-пять! — воскликнулъ Очищенный въ порывѣ великодушія.

— Что̀ ты! — набросились мы на него: — ты пойми, кто воспользуется твоимъ страхованіемъ! вѣдь мужикъ воспользуется! ему и тридцати-одного рубля за глаза довольно!

Но Очищенный убѣдительно просилъ удержать цифру 35, такъ

какъ въ виду народной политики эта надбавка можетъ послужить хорошей рекомендаціей.

— Теперича, какое, по вашему мнѣнію, ежегодно число смертей можетъ быть?—продолжалъ онъ.

Опять бросились къ календарю и опять ничего не нашли. Но приблизительно вывели, что съ 1870 года по 1879-й средній ежегодный приростъ населенія простирался до 1.500.000 душъ. Но сколько ежегодно было родившихся и сколько умершихъ? — Это взялся опредѣлить уже самъ Очищенный при пособіи Кокоревскаго глазомѣра.

— Изъ 98.516.398 душъ предположимъ на половину бабъ,— сказалъ онъ:— получится круглымъ числомъ 49 милліоновъ бабъ. Изъ нихъ на половину откинемъ старыхъ и малыхъ — останется двадцать четыре съ половиной милліона способныхъ къ дѣторожденію. Изъ этой половины откинемъ хоть тоже половину безплодныхъ и могущихъ вмѣстить дѣвство — останется съ небольшимъ двѣнадцать милліоновъ. Каждая изъ этихъ плодущихъ бабъ пущай разъ въ три года родитъ—кажется, довольно?—получится четыре милліона рожденій. Выключите отсюда приростъ въ полтора милліона — опредѣлится смертность въ два съ половиной милліона душъ. По тридцати-пяти рублей на каждую умирающую душу— сколько это денегъ будетъ?

— Восемьдесятъ-семь милліоновъ съ половиной!—бойко отвѣтили мы.

— А ежели вычесть этотъ расходъ изъ дохода (въ 98 съ половиной милліоновъ), сколько въ пользу страхового общества останется прибыли?

— Один-над-цать мил-лі-о-новъ!!

— Только и всего-съ.

Очищенный торжественно умолкъ. На насъ слова: „страховое общество“, тоже подѣйствовали подавляющимъ образомъ. Никакъ мы этого не ожидали. Мы думали, что старикъ просто, отъ нечего дѣлать, статистикой балуется, а онъ, поди-тко, какую штуку удралъ!

— Это, братецъ, такъ хорошо,—первый опомнился Глумовъ: —что я предполагаю изъ прибылей жертвовать по рублю серебромъ въ пользу новорожденныхъ... въ родѣ какъ на обзаведеніе!

— А я—половину акцій оставляю за собой!—прибавилъ Бала-

лайкинъ; но Очищенный такъ на него зарычалъ, что онъ сейчасъ же согласился на одну четверть.

— Позвольте, господа!—съ своей стороны отозвался я: — все это отлично, но мы упустили изъ вида одно: недоимщиковъ. Извѣстно, что русскій крестьянинъ...

Я уже совсѣмъ-было собрался прочитать лекцію о свойствахъ русскаго крестьянина, но Очищенный на первыхъ же порахъ прервалъ меня.

— А для насъ тѣмъ и лучше-съ,—сказалъ онъ просто.

— Какъ такъ?

— А вотъ какъ-съ. Всякій, кто хоть разъ не взнесъ своевременно рубля серебромъ, тѣмъ самымъ навсегда лишается права на страховую премію—это правило-съ. Теперь возьмите: сколько найдется такихъ, которые много лѣтъ платятъ и вдругъ потомъ перестаютъ?—вѣдь прежнія-то уплаты, стало быть, полностью въ пользу общества пойдутъ! А во-вторыхъ и еще: предположимъ, что число недоимщиковъ возрастетъ до одной трети; стало быть, доходъ общества, приблизительно, уменьшится на тридцать-три милліона рублей. Но вѣдь одновременно съ этимъ уменьшится и количество выдаваемыхъ премій, да не на треть уменьшится, а на половину и даже болѣе. Почему на половину?—а по той простой причинѣ, что смертность между недоимщиками всегда бываетъ больше, нежели между исправными плательщиками. И такимъ образомъ, ежели это предположеніе осуществится, мы будемъ имѣть дохода шестьдесятъ-пять милліоновъ, а расхода на уплату одного милліона трехсотъ тысячъ премій потребуется сорокъ милліоновъ пятьсотъ тысячъ. Въ остаткѣ четырнадцать милліоновъ.

— Браво, Иванъ Иванычъ, браво!—воскликнули мы.

— Но скажи мнѣ, голубчикъ, какими судьбами ты до такой изумительной комбинаціи дошелъ?—полюбопытствовалъ Глумовъ.

— Богъ меня большими дарованіями не наградилъ,—отвѣтилъ почтенный старикъ скромно:—но я и изъ маленькихъ стараюсь извлечь что могу. Похаживаю между людьми, прислушиваюсь. Намедни слышу, одинъ умный господинъ предлагаетъ проектъ: учредить страховое общество на случай крушенія желѣзнодорожныхъ поѣздовъ. Чтобъ съ каждаго, значитъ, пассажира необременительный, но обязательный сборъ былъ, а потомъ, въ случаѣ крушенія, чтобы премія

—хорошо-съ?—Ну, слушалъ я, слушалъ—и вдругъ мнѣ блеснуло: а что, ежели эту самую мысль да въ обширныхъ размѣрахъ осуществить? И придумалъ.

— И какъ еще придумалъ!—похвалилъ Глумовъ:—и дѣточекъ не забылъ! Добрый ты — вотъ что въ тебѣ дорого! Теперича, возьмемъ хоть такой случай: умираетъ какой-нибудь одномѣсячный пузырь... Прежде—какъ было? И гробикъ ему отецъ съ матерью сдѣлай, и попу за погребенье отдай—смотришь, пять-то рублей между рукъ ушли! Изъ какихъ доходовъ? гдѣ бѣдняку мужичку эти пять рублей достать?—А на будущее время: умеръ пузырь—сейчасъ семейству тридцать-пять рублей... вотъ вамъ! Тридцать рублей, какъ копѣечка, чистаго барыша! а въ крестьянскомъ быту на тридцать-то рублей корову купить можно! Шутка!

— И даже прекраснѣйшую-съ,—подтвердилъ Очищенный.

Затѣмъ оставалось только приступить къ развитію дальнѣйшихъ способовъ осуществленія выдумки Очищеннаго; но я, будучи въ этотъ день настроенъ особенно придирчиво, счелъ нужнымъ предложить собранію еще одинъ, послѣдній, вопросъ.

— Прекрасно,—сказалъ я:—но меня смущаетъ одно. Упомянули вы про народную политику. Допустимъ, что при ней вамъ легко будетъ исходатайствовать разрѣшеніе на осуществленіе предпріятія, польза коего для народа несомнѣнна. Но представьте себѣ такой случай: завтра народная политика выходитъ изъ употребленія, а на ея мѣсто вступаетъ политика *не*народная. Какъ въ семъ разѣ поступить? Не предвидите ли вы, что данное вамъ разрѣшеніе будетъ немедленно отмѣнено? И въ такомъ случаѣ какую будутъ имѣть цѣнность ваши акціи или паи?

Но тутъ уже самъ Глумовъ взялъ на себя разъяснить мнѣ неосновательность моего возраженія.

— Чудакъ!— сказалъ онъ: — да развѣ мы на акціи-то любоваться будемъ? Сейчасъ мы ихъ на биржу—небось, разберутъ! А продавши, мы и къ сторонкѣ. Развѣ что для близиру оставимъ штучекъ по пяти. Иванъ Иванычъ! такъ ли я говорю?

— Точно такъ-съ.

Такимъ образомъ всѣ недоумѣнія были устранены, и ничто уже не мѣшало намъ приступить къ дальнѣйшей разработкѣ. Три главные вопроса представлялись: 1) что удобнѣе въ подобномъ пред-

пріятіи: компанія ли на акціяхъ, или товарищество на вѣрѣ? 2) Сколько въ томъ и другомъ случаѣ слѣдуетъ выпустить акцій или паевъ? и 3) какую номинальную цѣну назначить для тѣхъ или другихъ?

Всѣ три вопроса были рѣшены единогласно. По первому вопросу отдано предпочтеніе компаніи на акціяхъ, такъ какъ компаніи эти безъимянныя, да, сверхъ того, съ акціями и на биржу пролѣзть легче, нежели съ тяжеловѣсными товарищескими паями (сравни: легкую кавалерію и тяжелую). По второму вопросу найдено возможнымъ выпустить милліонъ акцій съ купонами, на манеръ акцій новоторжской желѣзной дороги (дожидайся!), причемъ на каждой акціи написать: „выпускъ первый", чтобы публика была обнадежена, что будетъ и второй выпускъ, и что, слѣдовательно, предпріятіе затѣяно солидное. По третьему вопросу—хотя эгоистическій инстинктъ и нашептывалъ намъ назначить цѣну акціи возможно бо́льшую, но, къ чести нашей, чувство благоволенія къ нуждающемуся человѣчеству одержало верхъ. Имѣя въ виду, что акціи не будутъ стоить намъ ни копѣйки и что, въ видахъ успѣшнаго сбыта ихъ въ публику, необходимо, чтобъ они были доступны преимущественно для маленькихъ кошельковъ, мы остановились на двадцати-пяти рубляхъ, справедливо разсуждая, что и затѣмъ въ раздѣлъ между учредителями поступятъ двадцать-пять милліоновъ рублей.

Но металлическихъ или ассигнаціонныхъ?

По этому вопросу послѣдовало разногласіе. Балалайкинъ говорилъ прямо: металлическіе лучше, потому что съ ними дѣло чище. Я говорилъ: хорошо, кабы металлическіе, но не худо, ежели и ассигнаціонные. Глумовъ и Очищенный стояли на сторонѣ ассигнаціоннаго рубля, прося принять во вниманіе, что наша „большая" публика утратила даже представленіе о металлическомъ рублѣ.

— До металлическихъ ли намъ! — говорилъ Глумовъ: — вотъ французъ Бонту́—тотъ металлическими укралъ...

Но, произнеся слово: „укралъ", онъ инстинктивно обернулся, точно хотѣлъ удостовѣриться, не постороннiй ли кто-нибудь вошелъ и выразился такъ рѣзко?

— Кто сказалъ: „укралъ"? — спрашивалъ онъ, не вѣря, что онъ самъ, собственнымъ языкомъ, произнесъ это слово. И видя, что никого постороннихъ нѣтъ, пришелъ къ заключенію, что ему только померещилось.

Тѣмъ не менѣе эпизодъ этотъ случился весьма кстати, потому что сразу рѣшилъ дѣло въ пользу ассигнаціоннаго рубля.

Но когда дѣло дошло до раздѣла акцій, мы постепенно до того ожесточились, что всѣ вопросы опять всплыли наружу. Прежде всего Глумовъ настаивалъ, чтобъ Фаинушка была признана учредительницей. Это значительно уменьшало долю каждаго; но такъ какъ Глумовъ пригрозилъ перерывомъ спотеній, то пришлось согласиться, съ тѣмъ однакожъ, чтобъ при первомъ выпускѣ негласно напечатать лишнихъ сто тысячъ акцій, которыя и отдать Фаинушкѣ. Затѣмъ тотъ же Глумовъ возбудилъ вопросъ объ участіи Парамонова, но тутъ ужъ безъ разговоровъ рѣшили: напечатать еще сто тысячъ запасныхъ акцій и передать ихъ Парамонову по 25 рублей за каждую, а имѣющіеся получиться черезъ таковую продажу два милліона пятьсотъ тысячъ рублей обратить въ запасный капиталъ. Когда, такимъ образомъ, основной акціонерный капиталъ оказался нетронутымъ, мы подѣлили его между собой на четыре части поровну каждому. Но тутъ какъ-то вдругъ всѣмъ показалось мало. Всѣ и всѣхъ начали укорять по очереди. Очищеннаго укоряли за то, что онъ бросаетъ чужія деньги, назначая премію въ количествѣ 35 рублей вмѣсто 31-го; Глумова—за то, что онъ бросилъ четыре милліона въ пользу новорожденныхъ; меня—за то, что я своимъ двоедушіемъ способствовалъ устраненію металлическаго рубля. Больше всѣхъ волновался Балалайкинъ, у котораго даже глаза налились кровью.

— За что я страдаю? я-то за что страдаю?—кричалъ онъ до тѣхъ поръ, покуда Глумовъ не схватилъ его въ охапку и не вынесъ на лѣстницу.

Но когда это было выполнено и между нами понемногу водворился миръ, мы вдругъ вспомнили, что безъ Балалайкина намъ все-таки никакъ нельзя обойтись. Всѣ мы уѣзжаемъ—кто же будетъ хлопотать объ утвержденіи предпріятія? Очевидно, что только одинъ Балалайкинъ и можетъ въ такомъ дѣлѣ получить успѣхъ. Но счастіе и тутъ благопріятствовало намъ, потому что въ ту самую минуту, когда Глумовъ уже рѣшился отправиться на розыски за Балалайкинымъ, послѣдній обѣжалъ черезъ дворъ и по черной лѣстницѣ опять очутился между нами.

— Я вамъ это дѣло такъ обдѣлаю,—говорилъ онъ, совершенно забывъ о случившемся: — я такую одну штуку знаю, что просто ни

одинъ, ну, самый „что̀ называется“, и тотъ не рѣшится... а я рѣшусь!

Такимъ образомъ все кончилось благополучно, и мы могли съ облегченнымъ сердцемъ отправиться обѣдать къ Фанушкѣ. Два блестящихъ дѣла получили начало въ этотъ достопамятный день: во-первыхъ, основанъ заравшанско-ферганскій университетъ и, во-вторыхъ, русскому крестьянству оказано существенное воспособленіе. Все это прекрасно выразилъ Глумовъ, который, указывая на Очищеннаго, сказалъ:

— Вотъ вамъ, господа, и примѣръ, и поученіе! Почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ есть, такъ сказать, первообразъ всѣхъ нашихъ финансистовъ. Онъ не засматривается по сторонамъ, не хитритъ, не играетъ статистикой, не знаетъ извилистыхъ путей, а говоритъ прямо: по рублику съ души! Или, говоря другими словами: съ голаго по ниткѣ— проворному рубашка! А дураку—шишъ! Такъ ли я говорю?

Глава XVI.

Мы выѣхали изъ Петербурга впятеромъ: мѣняло, Фанушка, Очищенный, Глумовъ и я. Сверхъ того, мы рѣшились взять съ собой благонадежнаго человѣка, который въ пути долженъ былъ вести журналъ всѣмъ нашимъ дѣйствіямъ, разговорамъ и помышленіямъ. Предосторожность эта казалась намъ нелишнею, потому что въ случаѣ еслибъ насъ застигъ „гость“, то журналъ представлялъ для насъ оправдательный документъ: читай! Сначала мы думали воспользоваться для этой цѣли Кшепшицюльскимъ, но онъ оказался неграмотнымъ, да, сверхъ того, очень ужъ счастливо игралъ въ преферансъ. Тогда, съ одобренія Ивана Тимофеича, мы остановили свой выборъ на „нашемъ собственномъ корреспондентѣ“, и, какъ будетъ видно ниже, не ошиблись въ этомъ предпочтеніи.

Маршрутъ нашъ лежалъ прямо на Моршу, гдѣ ожидали насъ „сродственники“ Фанушки. Но на пути Глумовъ передумалъ и уговорилъ насъ высадиться въ Твери, съ тѣмъ, чтобы сдѣлать на пароходѣ экскурсію по Волгѣ до Рыбинска.

— Во-первыхъ, Волга произведетъ въ насъ подъемъ чувствъ, —сказалъ онъ:—а во-вторыхъ, задавшись просвѣтительными цѣлями, мы не должны забывать, что рано или поздно намъ все-таки придется

отсидѣть свой срокъ въ холодной, а быть можетъ и совершить прогулку съ связанными назадъ руками. По моему мнѣнію, съ этимъ дѣломъ нужно покончить какъ можно скорѣе: отстрадать сколько слѣдуетъ и затѣмъ, заручившись свидѣтельствомъ, что всѣ просвѣтительные обряды выполнены нами сполна, благополучно слѣдовать дальше. Свидѣтельство это мы будемъ предъявлять на всѣхъ заставахъ, и такъ какъ изъ него будетъ явствовать, что мы свое получили, то мы хоть сто университетовъ открывай — никто насъ не тронетъ. Стало быть, вся задача состоитъ въ томъ, чтобъ пострадать по возможности удобнѣе. И я имѣю всѣ основанія думать, что отбыть эту повинность въ Тверской губерніи выгоднѣе. Тверская губернія изстари славится своимъ либерализмомъ. Этого одного достаточно. чтобы съ упованіемъ вступить подъ сѣнь тамошняго института урядниковъ. Господа! я предлагаю прокричать „ура!“ за процвѣтаніе и благоденствіе Тверской губерніи вообще и тверскихъ урядниковъ въ особенности!

Рѣчь эта, заключавшая въ себѣ цѣлую политическую программу, была принята нами очень сочувственно. Мы прокричали троекратное „ура“, а на другой день, въ шесть часовъ утра, уже устраивались въ Твери на пароходѣ, который отчаливалъ въ Рыбинскъ.

Не успѣли мы умыться и напиться чаю, какъ „нашъ собственный корреспондентъ“ принесъ, на общее одобреніе. тетрадку. на заглавномъ листѣ которой было изображено:

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛЪ

экспедиціи, снаряженной 1-ой гильдіи купцомъ Парамоновымъ на предметъ открытія заравшанскаго университета.

День 1-й.

„*Отъѣздъ изъ Петербурга*: Августа „ „ дня въ $3^1/_2$ часа пополудни, съ почтовымъ поѣздомъ.

„*Дѣйствія*. По вступленіи въ вагонъ, занимались усаживаніемъ, послѣ чего вынули коробокъ съ провизіей и почернали въ оном, покуда не стемнѣло. Въ надлежащихъ мѣстахъ выходили на станціи для обѣда, чая и ужина. Ночью—спали.

„*Разговоры* происходили по преимуществу о пользѣ просвѣщенія, а также о томъ, кто истинно счастливый человѣкъ. По сему послѣднему поводу Онуфрій Петровичъ Парамоновъ сообщилъ, что Перекусихинъ 1-й открылся ему въ намѣреніи принять малую печать. На что̀ ему было отвѣтствовано: „съ живѣйшимъ удовольствіемъ могу вашему превосходительству радость сію предоставить. Но такъ какъ г. Перекусихинъ 1-й назначилъ за отчужденіе цѣну десять тысячъ рублей, а г. Парамоновъ, въ виду преклонныхъ его лѣтъ, предложилъ лишь пятьсотъ рублей, то дѣло до времени разошлось. Кромѣ того къ числу разговоровъ можетъ быть отнесено и то, что г. Глумовъ, обращаясь къ Фаинѣ Егоровнѣ Стёпушкиной, назвалъ ее „королевой“. Но при семъ оговорился, что выраженіе это употреблено имъ не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ мечталъ возвести Фаину Егоровну на румынскій или сербскій престолъ, но въ смыслѣ владычицы его, Глумова, сердца. Каковымъ разъясненіемъ всѣ остались довольны, а въ томъ числѣ и невидимо присутствовавшій при разговорѣ штабъ-офицеръ.

„*Помышленій* въ сей день никто не имѣлъ.

„На другой день, въ пять часовъ утра, прибытіе въ Тверь и пересадка на пароходъ“.

Всѣ признали эту редакцію вполнѣ удовлетворительною и поспѣшили скрѣпить журналъ своими подписями.

Погода однакожъ не благопріятствовала намъ. Небо кругомъ обложило свинцовыми облаками, изъ которыхъ сѣялся тонкій и совершенно осенній дождикъ. Словно сѣтью застилалъ онъ передъ нашими глазами и даль, въ которую Волга катила свои волны, и плоскіе берега рѣки, на которыхъ по мѣстамъ чернѣли сиротливыя, точно оголенныя избушки. Благодаря этому, подъемъ чувствъ, на который мы разсчитывали, не состоялся. Народу на палубѣ было не больше двадцати человѣкъ, да и тѣ молчаливо ютились подъ тентомъ, раздирая руками вяленую воблу. Исключеніе составлялъ молодой дьяконъ съ бѣлесымъ лицомъ, бѣлесыми волосами и бѣлесыми же глазами въ выцвѣвшемъ шалоновомъ подрясникѣ. Онъ шагалъ взадъ и впередъ по палубѣ, а по временамъ прислонялся къ борту (преимущественно въ нашемъ сосѣдствѣ) и смотрѣлъ въ даль, пошевеливая намокшими плечами и какъ бы подсчитывая встрѣчавшіяся на пути церкви. Но мнѣ ужъ и тогда показалось, что онъ „соби-

растъ статистику". Въ каютахъ совсѣмъ никого не было. Поваръ, въ курткѣ, до такой степени замазанной, что, казалось, ею, вытирали полъ, въ бездѣйствіи стоялъ въ дверяхъ кухни, не ожидая ничего хорошаго. Лакей, заспанный, съ распухшимъ лицомъ, въ запятнанномъ сюртукѣ, плевалъ направо и растиралъ лѣвою ногой. Пароходъ былъ колесный, старой конструкціи, пыхтѣлъ, громыхалъ, скрипѣлъ, видимо доживая свой вѣкъ. Въ ушахъ отчетливо отдавалось мѣрное хлопанье колесныхъ лопастей, сопровождаемое выкриками лоцмана, вывѣрявшаго фарватеръ. „Четыре! пять! пять! четыре! три!"—словно сквозь сонъ голосилъ онъ, поглядывая на капитана. Какую-то тоскливую грусть навѣвали и эти звуки, и весь этотъ плоскій пейзажъ.

Наконецъ дождь загналъ насъ въ каюту; но тутъ стало еще скучнѣе. Главное, не знали мы, что̀ предпринять. Хотѣли спросить какой-нибудь ѣды, но вспомнили поварову куртку и забоялись. Предметовъ для разговора тоже не отыскивалось, а между тѣмъ разговаривать было необходимо, потому что въ противномъ случаѣ могли появиться „помышленія". И тогда нашъ журналъ будетъ испорченъ навсегда. Попробовалъ-было Глумовъ предложить вопросъ: „отъ какихъ причинъ происходитъ скука?"—но тотчасъ же взялъ свой вопросъ назадъ, какъ могущій дать поводъ къ превратнымъ толкованіямъ. Съ своей стороны и я предложилъ вопросъ: „гдѣ обитаетъ истинное счастье, въ палатахъ или въ хижинахъ?"—но тоже поспѣшилъ взять его назадъ, потому что и здѣсь представлялся поводъ для превратныхъ толкованій. И хорошо мы сдѣлали, потому что „нашъ собственный корреспондентъ" уже впился въ насъ глазами и, казалось, только и ждалъ, что̀ будетъ дальше.

Тогда Глумовъ началъ говорить о Корчевѣ. Новое (1-я пароходная станція) мы ужъ проѣхали, за нимъ слѣдовала Корчева. Оказалось, что мы знали только одно: что Корчева есть Корчева. Но существуютъ ли въ ней кожевенные и мыловаренные заводы—доподлинно никому не было извѣстно. Правда, Очищенный сообщилъ, что однажды въ редакціи „Красы Демидрона" была получена корреспонденція, удостовѣрявшая, что въ Корчевѣ живетъ булочникъ, который *каждый день* печетъ свѣжія французскія булки, но редакція напечатать эту корреспонденцію не рѣшилась, опасаясь, нѣтъ ли тутъ какого-нибудь иносказанія. Однакожъ этого было достаточно, чтобы

у всѣхъ разгорѣлись аппетиты и явилось желаніе остановиться въ Корчевѣ. Напрасно убѣждалъ я, что несравненно цѣлесообразнѣе остановиться въ Угличѣ, гдѣ дѣлаютъ знаменитую угличкую колбасу —никто меня не слушалъ. Пароходъ сразу такъ простылѣлъ, что всѣ рады были всякому поводу, чтобъ уйти отъ сырости и удручающихъ пароходныхъ звуковъ въ тишину и тепло.

— Что же такое!—говорилъ Глумовъ:—Корчева такъ Корчева! поживемъ денька два-три, осмотримъ достопримѣчательности, а тамъ пожалуй и въ Угличъ махнемъ!

Корчева встрѣтила насъ недружелюбно. Было не больше пяти часовъ, когда пароходъ причалилъ къ пристани: но, благодаря тучамъ, кругомъ обложившимъ небо, сумерки наступили раньше обыкновеннаго. Дождь усилился, почва размокла, берегъ былъ совершенно пустыненъ. И хотя до постоялаго двора было недалеко, но такъ какъ ноги у насъ скользили, то мы черезъ великую силу, вымокшіе и перепачканные, добрались до жилья. Тутъ только мы опомнились и не безъ удивленія переглянулись другъ съ другомъ, словно спрашивая: гдѣ мы?

— Кого чорта насъ сюда занесло!—внезапно и какъ-то сердито поставилъ вопросъ „нашъ собственный корреспондентъ“.

Голосъ его звучалъ пророчески. Обыкновенно онъ держалъ себя молчаливо и даже робко, такъ что самыя свойства его голоса были намъ почти неизвѣстны. И вдругъ оказалось, что у него гнѣвный басъ, осложненный перепоемъ.

Но никто не отвѣтилъ на вопросъ, и Глумовъ возвратилъ насъ къ чувству дѣйствительности, сказавъ:

— Господа! паспорта готовьте! чтобы по первому же слову, сейчасъ...

Постоялый дворъ былъ старинный, какіе нынче можно встрѣтить только въ самыхъ отдаленныхъ захолустьяхъ, куда ужъ совсѣмъ никому ни зачѣмъ ѣхать не нужно. Обширный и темный дворъ съ бревенчатымъ накатомъ, прогнившимъ и улитымъ скотскою мочей, темные сѣни съ колеблющейся лѣстницей и съ самоваромъ, поставленнымъ на самомъ пути и распространяющимъ кругомъ угаръ и смрадъ. Направо—большая изба, въ которой ютится семейство хозяина и пускается черный народъ, прямо—двѣ небольшія „чистыя“ горницы для постояльцевъ почище, съ подслѣповатыми и позеленѣв-

шими окнами, изъ которыхъ видѣлась площадь, а за нею Волга. Все тутъ было старинное, дореформенное, когда-то имѣвшее смыслъ и цѣль, но давнымъ-давно запустѣвшее, покачнувшееся и пахнущее нежилымъ. Сами хозяева повидимому смотрѣли на свой „домъ“ какъ на мѣсто для ночлеговъ, и перенесли свою дѣятельность въ небольшую пристройку, вмѣщавшую въ себѣ лавочку, изъ которой продавался всякій бросовый товаръ на потребу крестьянскому люду.

Кое-какъ однакожъ мы размѣстились и, разумѣется, прежде всего потребовали самоваръ. Но—увы!—знаменитыхъ булокъ, на которыя мы возлагали столько надеждъ, не оказалось. Недѣлю тому назадъ булочника переманили въ Калязинъ, и Корчева, дотолѣ на зависть всему Поволжью изготовлявшая булки и куличи, окончательно утратила всякое обаяніе.

— Что же у васъ есть?—спросилъ Глумовъ у хозяина.

— Соборъ-съ.

— Гм... соборъ... Соборъ — это, братецъ... Изъ съѣстного, спрашиваю я, что есть?

— Яицъ ежели поискать...

Хозяинъ, корчевской мѣщанинъ Разноцвѣтовъ, говорилъ вяло и неохотно. Это былъ мужчина лѣтъ подъ шестьдесятъ, на видъ еще здоровый и коренастый, но внутренно—угнетенный. Когда-то онъ зналъ лучшія времена. Домъ у него кишѣлъ проѣзжимъ людомъ, закромы были полны овсомъ и другимъ хлѣбнымъ товаромъ; сверхъ того, онъ держалъ нѣсколько троекъ лошадей. Не широко и прежде жилось въ Корчевѣ, но, все-таки, что-то было, хоть хлѣбомъ пахло. Въ то время Разноцвѣтовъ ходилъ въ плисовыхъ шароварахъ и въ александрицкой рубахѣ на выпускъ; онъ, не торопясь, отпускалъ и принималъ, не метался, какъ угорѣлый, въ погонѣ за грошомъ, а спокойно, съ достоинствомъ ростилъ брюхо, подсчитывая гривну къ гривнѣ и запирая выручку въ кованный сундукъ съ гулкимъ замкомъ. И вдругъ подкралось разоренье. Пришло оно такъ, что никому не вѣрилось; всѣ думали, что шутки шутятъ. Сначала свиснулъ на Волгѣ пароходъ, а Разноцвѣтовъ, стоя на берегу, глядѣлъ, какъ „Русалка“ громыхаетъ колесами, и приговаривалъ: „поплавай, чортова кукла, поплавай! не много наплаваешь!“ А черезъ годъ пришлось сократить ямщину на половину, потому что сѣздокъ повалилъ въ Новое. Потомъ объявилась эмансипація: помѣщикъ на первыхъ

порахъ побаловался съ выкупными свидѣтельствами, но черезъ короткое время вдругъ безъ остатка исчезъ: крестьянинъ обрадовался волѣ и разбрелся по дальнимъ заработкамъ. Дома остались хворые, да старые; да малые. Базаръ опустѣлъ до того, что даже торговля сусломъ уже не представляла ничего соблазнительнаго. Пришлось ямщину нарушить совсѣмъ. Потомъ объявили волю винну, и Разноцвѣтовъ на минуту взыгралъ. Прежде всѣхъ открылъ на постояломъ дворѣ продажу вина распивочно и на-вынось, думалъ: теперь-то мужички загуляютъ! Мужички, дѣйствительно, загуляли, но такъ какъ въ каждомъ деревенскомъ углу объявился свой „тутошный“ Разноцвѣтовъ, который за водку бралъ и оглоблю, и подкову, и старыя сапожныя голенища, то понятно, что процвѣли сельскіе самозванцы-Разноцвѣтовы, а коренной оплошалъ. Потомъ начали проводить желѣзныя дороги: изъ Бологова пошла на Рыбинскъ, изъ Москвы—на Ярославль, а про Корчеву до того забыли, что и къ промежуточнымъ станціямъ этихъ дорогъ отъ нея ѣзды не стало... И осталось у Разноцвѣтова отъ прежняго привольнаго житья только пространное брюхо, которое нечѣмъ было наполнить.

— Спалить бы нашу Корчеву надо!—говорилъ негодующій Разноцвѣтовъ, нервно шевеля плечами.

Но, вопреки его пророчествамъ, она и сейчасъ стоитъ цѣлехонька, хотя видимо съ каждымъ годомъ изнываетъ, пріобрѣтая все болѣе и болѣе опальный характеръ.

— Да вы бы, голубчикъ, велѣли курочку поймать! —попытался Глумовъ пронять Разноцвѣтова лаской.

— Поймать курицу можно, только вѣдь въ горсти ее не сваришь,—отвѣтилъ хозяинъ угрюмо.

Однакожъ дѣло кое-какъ устроилось. Поймали разомъ двухъ курицъ, выпросили у протопопа кастрюлю и, вмѣсто плиты, подъ навѣсомъ на кирпичикахъ сварили супъ. Мало того: хозяинъ добылъ гдѣ-то связку окаменѣлыхъ баранокъ и крохотный засушенный лимонъ къ чаю. Мы опасались, что вся Корчева сойдется смотрѣть, какъ имущіе классы супъ изъ курицы ѣдятъ, и, чего добраго, произойдетъ еще революція, однако Богъ миловалъ. Поѣвши, всѣ ободрились и почувствовали приливъ любознательности.

— Хозяинъ! есть у васъ достопримѣчательности какія-нибудь?

— Соборъ-съ,—отвѣчалъ Разноцвѣтовъ нѣсколько ласковѣе.

убѣдившись, что впереди его ожидаетъ пожива.—Евангеліе-съ... крестъ напрестольный...

— А кромѣ собора... напримѣръ, фабрики, заводы?..

— Нѣтъ, заведеніевъ у насъ и встарину не бывало, а теперь и подавно.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Такъ другъ около дружки колотимся. И сами своихъ дѣловъ не разберемъ.

— Можетъ быть, кружева плетете? или—ну, что бы еще?—ну, ковры, ленты, гильзы?..

— У насъ, сударь, пуговицу пришить некому, а вы: „кружева“!

— Что же вы дѣлаете?

— Пакенты платимъ. Для пакентовъ только и живемъ.

— Чудакъ! да вѣдь на патенты-то откуда-нибудь достать надо!

— Затѣмъ и колотимся. У кого овца заулишняя выскочитъ—овцу продастъ; у другого насѣдка цыплятъ выведетъ—ихъ на пароходъ сбудетъ. Получитъ рублишко—пакентъ купитъ.

— Ахъ, голуби, голуби!—жалостливо воскликнулъ мѣшало.

Это было до того необыкновенно—эти люди, живущіе исключительно для покупки патентовъ—что Фанушка слушала-слушала и расхохоталась: ахъ, какъ весело! Но тотчасъ же притихла, какъ только увидѣла, что Глумовъ бросилъ на нее молніеносный взглядъ.

— Стало быть, осматривать у васъ нечего?

— Соборъ-съ,—повторилъ Разноцвѣтовъ, а черезъ секунду припомнилъ:—вотъ еще старичокъ ста-семи лѣтъ у насъ проживаетъ, такъ, можетъ, на него посмотрѣть захотите...

Мы переглянулись, и на всѣхъ лицахъ прочли: булокъ нѣтъ, заведеній нѣтъ, кружевъ не плетутъ, ковровъ не ткутъ—непремѣнно на старичка взглянуть надо!

Между разговорами и не видали, какъ время прошло. Опять приволокли самоваръ, усадили съ собой хозяина и стали вторично пить чай. За чаемъ завели разговоръ о томъ, какимъ бы образомъ поднять умственное и экономическое положеніе Корчевы.

— Вамъ бы каплуновъ подкармливать. Вонъ Ростовъ—далеко ли?—а какъ черезъ каплуновъ процвѣлъ! — предложилъ Глумовъ.

— Никакъ намъ это невозможно,—отвѣтилъ Разноцвѣтовъ скромно.

— Почему же?

— Никогда нашъ каплунъ противъ ростовскаго не выйдетъ!

— Да отчего же, голубчикъ?

— Такъ ужъ... въ Ростовѣ „слово“ такое знаютъ—оттого и каплунъ тамошній въ славѣ. А нашъ каплунъ—хошь ты его раскорми—все равно, его никто ѣсть не станетъ.

— Ахъ, Господи!

— Вонъ въ Кимрѣ сапогомъ промышляютъ,—въ свою очередь продолжалъ я:—и вы бы, на кимряковъ глядя...

— Тоже и насчетъ сапога. Мѣстомъ это. Коли гдѣ ему природное мѣсто—онъ идетъ, а коли мѣсто для него не потрафило—хоть ты его тачай, хоть нѣтъ, все едино! Отъ Бога не положено, значитъ...

— Голубчикъ! да что же вы такъ ужъ обезкураживаетесь... подбодрились бы, что-ли!

— Не мало бодриться пытали. И сами бодрились, и начальство бодрило. Былъ здѣсь помѣщикъ одинъ—ужъ на что прокуратъ!—сахаръ вздумалъ дѣлать... Свеклы насѣялъ, заводъ выстроилъ. Апъ вмѣсто свеклы-то у него выросла морковь.

— Что вы!!

— Вѣрно докладываю. Такая, стало быть, здѣсь земля. Чего ждешь—она не родитъ, а чего не чаешь—обору нѣтъ!

— Какъ же бы, однако, помочь вамъ?

— Какъ помочь! была-было помощь, да и та мимо проѣхала!

— Что же такое?

— Въ прошломъ году Вздошниковъ купецъ объявилъ: коли кто сицилиста ему предоставитъ—двадцать-пять рублей тому человѣку награды! Ну, и наловили. Въ ту пору у насъ великій другъ дружку ловилъ. Только онъ что же, мерзавецъ, издѣлалъ! Видитъ, что дѣло къ расплатѣ—сейчасъ и на попятный: „это, говоритъ, сицилисты ненастоящіе!“ Такъ никто и не попользовался; только народу, человѣкъ никакъ съ тридцать, попортили.

— А вы бы стребовали со Вздошникова-то?

— Кто съ него стребуетъ, съ выжиги экого. Онъ нынче всѣмъ у насъ орудуетъ, и полицу, съ исправникомъ вмѣстѣ, подъ нозѣ себѣ

покорилъ. Чуть кто супротивное слово скажетъ—сейчасъ: „сицилистъ!“ Однимъ этимъ словомъ всѣхъ кругомъ окружилъ. Весь торгъ въ свои руки забралъ, не даетъ никому вздыху, да и шабашъ!

— Чего же исправникъ-то смотритъ?

— Нельзя, говоритъ, ничего не подѣлаешь... Потому человѣкъ на вѣрной линіи стоитъ... это Вздошниковъ-то! Ахъ, кабы знàто да вѣдано!

— И вы бы?

— А то какъ же. . всякому своѝ жалко... Одно только слово, ашъ оно дороже сахарнаго завода стóитъ! Знай кричи: сицилистъ!—да денежки обирай! Съумѣли бы и мы.

Разноцвѣтовъ отеръ потъ съ лица и озабоченно почесалъ животъ.

— Вонъ брюхо какое выростилъ... съ чего бы кажется?—сказалъ онъ уныло:—а оно, между прочимъ, ѣсть проситъ!

— Такъ вы кушайте!—пошутила Фаннушка.

— То-то, что...

Онъ постепенно ожесточался. Взялъ со стола окаменѣлую баранку и сразу перегрызъ ее пополамъ, точно топоромъ разсѣкъ. И при этомъ показалъ сплошной рядъ бѣлыхъ, крѣпкихъ и ровныхъ зубовъ.

— Зубы-то у васъ какіе!—удивилась Фаннушка.

— И зубы есть... и брюхо, и зубы... только на какой предметъ?

Очищенный обидѣлся: ему показалось, что Разноцвѣтовъ рощетъ.

— Ахъ, Никифоръ Мосеичъ! какъ это вы такъ! Зубы отъ Бога, а вы: на какой предметъ!!

— Вотъ это самое я и говорю. Зубами грызть надо, а ежели зря ими щелкать—чтò толку! То же самое и насчетъ брюха: коли въ ёмъ корка сухая болтается—ни красы въ ёмъ, ни радости... такъ, мѣшокъ!

Разноцвѣтовъ перекусилъ другую баранку и замолчалъ. Молчали и мы. Фаннушка закрыла глазки отъ утомленія и жалась къ Глумову; мѣняло жадно впился глазами въ хозяина и, казалось, въ разсчетѣ на постигшее его оголтѣніе, обдумывалъ какую-то комбинацію.

— А по моему, хозяинушко, начальство слабенько за вами присматриваетъ,—вновь началъ Очищенный:—кабы оно построже васъ подтянуло, такъ и процвѣтаніе давно бы явилось.

— И начальство у насъ бывало всякое,—отвѣтилъ Разноцвѣтовъ:—иной начальникъ мѣрами кротости донималъ, другой—стро-

гостью. Было у насъ разговору!—Отчего у насъ фабрикъ-заводовъ нѣтъ? отчего гостиный дворъ не выстроенъ? отчего пожарной трубы исправной нѣтъ? каланчи? мостовыхъ? фонарей?.. Ахъ, варвары, молъ, вы!

— Такъ неужто-жъ только на этомъ одномъ благія начинанія и кончились?

— Кабы кончились! А то мѣсяцъ дадутъ дыхнуть—и опять за свое: отчего фабрикъ-заводовъ нѣтъ? Отчего площадь немощепая стоитъ?.. Ахъ, растакіе, молъ, вы варвары!

Разноцвѣтовъ перекусилъ баранку, опрокинулъ чашку, положилъ на дно крохотный огрызокъ сахара и грузно снялся со скамейки.

— Прощенья просимъ! За чай, за сахаръ!—поблагодарилъ онъ и хотѣлъ уже удалиться, какъ вдругъ что-то вспомнилъ и совсѣмъ уже ожесточился.

— Да вы откелева сами-то будете?—спросилъ онъ строго.

— Изъ Петербурга,—отвѣтилъ Глумовъ за всѣхъ.

— Проѣздомъ, значитъ?

— Нѣтъ, такъ... посмотрѣть захотѣлось... Свѣдѣнія кое-какія собрать...

— Чего собирать-то?..

— Ну, вотъ, напримѣръ, нравы... Промысловъ, вы говорите, у васъ нѣтъ, такъ вѣроятно есть нравы... Пѣсни подблюдныя, свадебныя, хороводныя, обычаи, сказки, преданія... Въ иныхъ мѣстахъ вотъ браки „уводомъ“ совершаются...

— Можетъ, у васъ о Мамелфѣ Тимоѳеевичѣ какой-нибудь варіантъ есть,—пояснилъ я:—или вотъ нѣтъ ли слѣпенькаго пѣвца...

Но Разноцвѣтовъ серьезно разсматривалъ насъ и неодобрительно качалъ головой.

— А пачпорты у васъ есть?

„Вотъ оно... начинается!“—мелькнуло у меня въ головѣ.

— Есть паспорты,—отвѣтилъ Глумовъ.

Хозяинъ словно преобразился. Лицо у него сдѣлалось суровое, голосъ рѣзкій, сухой.

— То-то,—сказалъ онъ почти начальственно:—нонѣ съ этимъ строго. Коли кто куда пріѣхалъ, долженъ дѣло за собой объявить. А коли кто зря ѣздитъ—руки къ лопаткамъ и въ холодную!

Онъ ушелъ, а мы остались погруженные въ раздумье. Въ самомъ

дѣлѣ, вѣдь мы и не подумали, что прежде всего нужно дѣло за собой объявить. Какое дѣло? Ежели объявить, что собираемъ статистику—никто не повѣритъ. Скажутъ: какая въ Корчевѣ статистика? Корчева какъ Корчева. Фабрикъ-заводовъ нѣтъ, каланчи нѣтъ, мостовыхъ нѣтъ, гостинаго двора нѣтъ, а все остальное—обыкновенно какъ въ прочихъ мѣстахъ. Да и компанія слишкомъ велика для статистики собралась Зачѣмъ, напримѣръ, попала сюда 1-й гильдіи купчиха Стёгнушкина? къ чему понадобился мѣшяло?

Ежели объявить: путешествуемъ, только и всего—пожалуй и еще несообразнѣе покажется. Спросятъ: для чего путешествуемъ? и такъ какъ мы никакого другого отвѣта дать не можемъ, кромѣ: путешествуемъ!—то и опять спросятъ: для чего путешествуемъ? И будутъ спрашивать дотолѣ, покуда мы сами не отдадимъ себя въ руки правосудія.

Ежели сказать, что купецъ Парамоновъ, купно съ купчихою Стёгнушкиной, затѣяли коммерческое предпріятіе—опять никто не повѣритъ. Какое можетъ осуществиться въ Корчевѣ предпріятіе? что въ Корчевѣ родится? Морковь?—такъ и та потому только уродилась, что сѣяли свеклу, а посѣяли бы морковь—навѣрнякa уродился бы хрѣнъ... Такая ужъ здѣсь сторона. Кружевъ не плетутъ, ковровъ не ткутъ, поярковъ не валяютъ, сапоговъ не тачаютъ, кожъ не дубятъ, мыла не варятъ. Въ Корчевѣ только слезы льютъ да зубами щелкаютъ. Ясно, что человѣку промышленному, предпріимчивому ѣздить сюда незачѣмъ.

Господи! хоть бы развязка поскорѣе! въ „холодную“ такъ въ „холодную“! Сколько лѣтъ прожили, никогда въ „холодной“ не бывали—надо же когда-нибудь!

Положеніе было трагическое. Къ счастію, я вспомнилъ, что верстахъ въ тридцати отъ Корчевы стоитъ усадьба Проплёванная, къ которой я какъ будто имѣю нѣкоторое касательство. Дремлетъ теперь Проплёванная, забытая, оброшенная, заглохшая, дремлетъ и не подозрѣваетъ, что владѣлецъ ея въ эту минуту сидитъ въ Корчевѣ, былины собираетъ, подблюдныя пѣсни слушаетъ...

— Да просто скажемъ, что Фанна Егоровна сторговала у меня Проплёванную!—предложилъ я.

Глумовъ подозрительно взглянулъ на меня. Очевидно, у него мелькнула въ головѣ мысль, не задумалъ ли я, пользуясь симъ слу-

чаемъ, сюрпризомъ спустить Фанушкѣ свою дѣдину и отчину? Фанушка тоже изумилась, словно и у нея что-то закружилось въ головкѣ; а что̀ касается до „нашего собственнаго корреспондента“, то онъ прямо воскликнулъ:

— Вотъ такъ ловко!

Разумѣется, я безъ труда оправдался, объяснивъ, что ни задатка, ни запродажной росписки—ничего не требую. Что, конечно, я готовъ продать Проплёванную всякому, кто заблагоразсудитъ сдѣлать изъ нея увеселительную резиденцію, но къ насильству даже въ этомъ случаѣ прибѣгать не намѣренъ. Выслушавши это, всѣ успокоились и признали мой проектъ весьма цѣлесообразнымъ. Поэтому условились такъ: сначала мы скажемъ, что пріѣхали для осмотра Проплёванной, а потомъ опять юркнемъ на пароходъ, какъ будто не сошлись въ цѣнѣ.

Но покуда мы толковали, снова пришелъ хозяинъ и на этотъ разъ объявилъ, что насъ безъ потери времени требуютъ въ полицейское управленіе.

Разумѣется, мы съ радостью поспѣшили на приглашеніе.

Глава XVII.

Дѣло обошлось очень мило и просто.

Ни исправника, ни помощника его въ городѣ не было. Насъ принялъ непремѣнный членъ, ветхій старичокъ, по имени Пантелей Егорычъ, и сейчасъ же предупредительно посадилъ.

— Ахъ, господа, господа!

Онъ качалъ головой и смотрѣлъ на насъ—впрочемъ не столько укоризненно, сколько жалѣючи. Какъ будто говорилъ:°какіе большіе выросли, а самыхъ простыхъ вещей не знаете! Мы сидѣли и ждали.

— Знаете, какія нынче времена, а что̀ дѣлаете!—произнесъ онъ, все больше и больше проникаясь состраданіемъ.

Дѣло происходило въ распорядительной камерѣ. По срединѣ комнаты стоялъ столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; въ углу—другой столъ поменьше, за которымъ, надъ кипой бумагъ, сидѣлъ секретарь, человѣкъ еще молодой, и тоже жалѣючи глядѣлъ на насъ. Изъ-за стеклянной перегородки видѣлась другая, болѣе обширная комната, уставленная покрытыми черной клеенкой столами, за кото-

рыми занималось съ десятокъ молодыхъ канцеляристовъ. Лампы коптѣли; воздухъ насыщенъ былъ острыми міазмами дешеваго керосина.

— Михалъ Михалычъ! посмотрите... тамъ!—обратился Пантелей Егорычъ къ секретарю.

Секретарь направился къ перегородкѣ, пріотворилъ дверь, заглянулъ въ канцелярію и доложилъ, что никого за дверьми нѣтъ, всѣ при дѣлѣ. Съ своей стороны Пантелей Егорычъ приподнялъ сукно и заглянулъ, нѣтъ ли кого подъ столомъ.

— Ну, зачѣмъ?—началъ онъ, удостовѣрившись, что никого нѣтъ:—Ну, что такое Корчева? А между тѣмъ себя подвергаете, а насъ подводите... Ахъ, господа, господа!

Мы продолжали молчать. Не то чтобы мы не понимали, а оправдательныхъ словъ не могли отыскать.

— Знаете, какія нынче строгости — и рѣшаетесь! знаете, сколько вездѣ гаду развелось — и рискуете! Вонъ Вздошниковъ только и ждетъ... чай, и сію минуту изъ окна высматриваетъ... Ахъ, господа, господа!

— Но что же мы...—заикнулся-было Глумовъ.

— Знаю, что ничего,—перебилъ Пантелей Егорычъ:—и вы ничего. и я ничего, и всѣ ничего... Объ Вздошниковѣ слыхали? Ахъ, господа, господа!

— Да ужъ простите насъ ради Христа!—рѣшился я покончить все сразу.

— Что меня просите! Богъ можетъ простить или не простить, а я что! Ну, скажите на милость, зачѣмъ? Съ какою цѣлью? почему? Какую такую сладость вы надѣялись въ нашей Корчевѣ найти?

— Но вѣдь, кажется, паспорты у насъ въ исправности? — опять вступился Глумовъ.

— И паспорты. Что такое паспорты? Паспорты всегда и у всѣхъ въ исправности! Вотъ намедни тоже—по базару человѣкъ ходитъ. Есть паспортъ?—есть! Смотримъ: съ иголочки.—Ну, съ Богомъ. А спустя недѣлю оказывается, что этого самаго человѣка ужъ три года ищутъ. А онъ, между прочимъ, у насъ по базару ходилъ, и мы его у себя. какъ и путнаго, прописали. Да.

— Но вѣдь изъ одиночнаго случая нельзя же заключать...

— И это я знаю. Да развѣ я заключаю? Я радъ бы радостью,

только вотъ... Вздошниковъ! И Корчева тоже! Ну, что такое? зачѣмъ именно Корчева? Промысловъ нѣтъ, торговли нѣтъ, произведеній нѣтъ... развѣ что соборъ! Такъ и соборъ въ Кимрѣ лучше! Михалъ Михалычъ! что это такое?

Михалъ Михалычъ осклабился.

— Это такъ точно-съ,—пошутилъ онъ:—даже рыба, и та во весь опоръ мимо Корчевы мчится. Въ Твери или въ Кимрѣ ее ловятъ, а у насъ—не приспособились.

— Ничего у насъ нѣтъ, а вы—рискуете! И себя подвергаете, и насъ подводите!

— Можетъ быть, господамъ отдохнуть захотѣлось?—вступился за насъ секретарь.

— И отдохнуть... отчего бы на пароходѣ не отдохнуть? Плыли бы себѣ да плыли. Ну, въ Калязинѣ бы высадились—тамъ мощи, монастырь. Или въ Угличѣ—тамъ домикъ Дмитрія Царевича... А Корчева... что такое? какая тому причина?

Къ великому моему ужасу, Глумовъ забылъ о нашемъ уговорѣ насчетъ Проплёванной, и вдругъ брякнулъ:

— Да просто полюбопытствовалъ.

— А я объ чемъ же говорю! Почему? какъ? Ежели есть причина—любопытствуйте! а коли нѣтъ причины... право, ужъ и не знаю! Вѣдь я это не отъ себя... мнѣ что! По моему, чѣмъ больше любопытствующихъ, тѣмъ лучше! Но времена нынче... и притомъ Вздошниковъ!

— Да кто же, наконецъ, этотъ Вздошниковъ? что это за сила такая?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ... Вздошниковъ,—только и всего.

Онъ постепенно все больше и больше волновался и наконецъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Какъ мнѣ теперича поступить?—произнесъ онъ, останавливаясь противъ меня.

— Право, Пантелей Егорычъ, мы ничего...

— Знаю я, что ничего. До сихъ поръ—ничего, а завтра можетъ быть—чего! На этомъ нынче все и вертится. Ну, что такое? Плыли, плыли, и вдругъ... Корчева!

Очевидно, что „Корчева“ у него коломъ въ горлѣ застряла и никакъ онъ не могъ ее проглотить.

— Пантелей Егорычъ! да вѣдь мы только на денекъ. Посмотримъ достопримѣчательности, и опять въ путь.

— Какія такія достопримѣчательности?

— Соборъ, напримѣръ.

— Соборъ? ну, соборъ... положимъ. Это похвально.

— Еще сказывали намъ, что въ Корчевѣ ста-семи лѣтъ старичокъ живетъ.

— Ну, и старичокъ... пожалуй! Старость уважать—это...

— Можетъ быть, и еще что нибудь найдется...

— Что вы! что вы! ничего у насъ нѣтъ!—заговорилъ онъ быстро, словно боялся, чтобъ и въ самомъ дѣлѣ чего не нашлось.

— У мѣщанина Презентова маховое колесо посмотрѣть можно... въ родѣ какъ perpetuum mobile,—подсказалъ секретарь.—Самъ выдумалъ.

— Нечего, нечего смотрѣть. Только время терять да праздность поощрять!—зачастилъ Пантелей Егорычъ.—Такъ вотъ что, господа: встаньте вы завтра пораньше, сходите въ соборъ, помолитесь, потомъ, пожалуй, старичка навѣстите, а тамъ и съ Богомъ.

— Пантелей Егорычъ! позвольте perpetuum mobile посмотрѣть!

— Вотъ вы какіе! И охота вамъ, Михалъ Михалычъ, смущать! Ахъ, господа, господа! И что такое вамъ вздумалось! Въ дождикъ, въ сырость, въ слякоть... какая причина? Вотъ еслибъ господинъ исправникъ былъ въ городѣ—тогда точно... Онъ имѣетъ на этотъ предметъ полномочія, а я...

Онъ имѣлъ доброе сердце и просвѣщенный умъ, но былъ бѣденъ и дорожилъ жалованьемъ. Впослѣдствіи мы узнали, что и у исправника, и у его помощника тоже были добрыя сердца и просвѣщенные умы, но и они дорожили жалованьемъ. И всѣ корчевскіе чиновники вообще. Добрыя сердца говорили имъ: оставь! а жалованье подсказывало: какъ бы чего изъ этого не вышло!

— Пантелей Егорычъ! дѣточки у васъ есть?—спросилъ Глумовъ, вдругъ проникаясь жалостью.

— То-то... шесть дочерей. Невѣсты...

— Такъ мы завтра... чѣмъ свѣтъ...

— Ахъ, что вы! я вѣдь не къ тому...—вдругъ застыдился онъ.—Отчего же не посмотрѣть—посмотрите!

— Нѣтъ, ужъ что же, ежели...

— Ахъ, нѣтъ, я не въ томъ смыслѣ! У насъ вѣдь традиціи... мы помнимъ!.. Да, было времечко, было! Соборъ, старичка... ну, пожалуй perpetuum mobile... Только вотъ задерживаться лишнее время... Вѣдь паспорты у нихъ въ исправности, Михалъ Михалычъ? какъ вы скажете... а?

— Вполнѣ-съ.

— Ну, что-жъ, и съ Богомъ. Вы не подумайте... Прежде у насъ и въ заводѣ не было паспорты спрашивать, да, признаться, и не у кого было — все свои. Никто изъ чужихъ къ намъ не ѣздилъ... А нынѣче вотъ—ѣздятъ!

Представленіе о жалованьи вновь смутило его. Онъ пытливо взглянулъ на насъ и силился что-то угадать. Но ничего не угадалъ.

— Михалъ Михалычъ?—вопросительно-тоскливо обратился онъ къ секретарю.

— Думается, что ничего...

— Ну, такъ съ Богомъ! полюбопытствуйте!—сказалъ онъ рѣшительно и, обратившись къ Фанушкѣ, прибавилъ:—и вы, сударыня?

— И я-съ.

— Вамъ-то бы... А впрочемъ, отчего же... нынѣче мода на это... Акушерки, стенографистки, телеграфистки... Дай Богъ счастливо, господа!

Онъ благосклонно пожалъ намъ руки, вручилъ паспорта и отпустилъ насъ.

На другой день, только-что встали—смотримъ, два письма: одно отъ Перекусихина 1-го къ мѣнялѣ, другое—отъ Балалайкина къ Глумову *). Перекусихинъ подавался. Онъ сознался, что первоначальныя его претензіи были чрезмѣрны, и соглашался убавить ихъ на половину. Балалайкинъ увѣдомлялъ, что по обоимъ порученнымъ ему дѣламъ онъ подалъ прошенія въ интендантское управленіе. Мысль о заравшанскомъ университетѣ была всѣми интендантами встрѣчена сочувственно, а проектъ учрежденія общества обязательнаго страхованія жизни—даже съ восторгомъ. Но Балалайкинъ долженъ былъ „пообѣщать“.

*) Пусть читатель ничему не удивляется въ этой удивительной исторіи. Я и самъ отлично понимаю, что никакихъ писемъ въ Корчевѣ не могло быть получено, но что же дѣлать, если такъ вышло. Вѣдь, собственно говоря, и въ Корчевѣ никто изъ насъ не былъ, однако выходитъ, что были.

Послѣ слова: „пообѣщать“, онъ поставилъ цѣлую строку точекъ и затѣмъ прибавилъ: „грустно, а дѣлать нечего!“

— Вотъ вѣдь прохвостъ!—безъ церемоніи выругался Глумовъ, скомкавъ письмо.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ показалось удивительнымъ, съ какой стати Балалайкинъ съ вопросомъ о заравшанскомъ университетѣ обратился въ интендантское управленіе? Даже въ корчевское полицейское управленіе — и то, казалось, было бы цѣлесообразнѣе. Полицейское управленіе представило бы куда слѣдуетъ, оттуда бы тоже написали куда слѣдуетъ, а въ дорогѣ оно бы и разрѣшилось. Но такой комбинаціи, въ которую бы съ пользой для просвѣщенія могло войти интендантское управленіе, даже придумать никто не могъ.

Одинъ Очищенный не раздѣлялъ нашихъ недоумѣній.

— А я такъ напротивъ думаю,—объяснилъ онъ.—По моему, всякое дѣло, ежели его благополучно свершить желаютъ, непремѣнно слѣдуетъ съ интендантскаго управленія начинать. Ближе къ цѣли.

— Чудакъ! да что же у интендантства общаго, напримѣръ, съ университетомъ?

— Общаго нѣтъ, а „привышные“ люди въ интендантствѣ служатъ—вотъ что. Зря за дѣло не возьмутся, а ежели возьмутъ, такъ сдѣлаютъ.

— Какъ же они подступятся къ дѣлу, коли оно даже не ихняго вѣдомства?

— Такъ и подступятся. Напишутъ. А ежели долго отвѣта не будетъ, опять напишутъ. Главное дѣло — разговоръ завести. А можетъ быть и интендантскія науки какія-нибудь придумаютъ—тогда и безъ переписки, промежду себя, дѣло оборудуютъ.

Стали разсуждать: могутъ ли существовать интендантскія науки? —и должны были сознаться, что не только могутъ существовать, но и существуютъ. Наука о печеніи солдатскихъ сухарей—профессоръ Коганъ; наука о мясныхъ и винныхъ порціяхъ—профессоръ Горвицъ; наука о выдачѣ квитанцій за непоставленный провіантъ—профессоръ Макшеевъ. Это только для начала, а ежели дальше перечислять, то пожалуй и въ глазахъ зарябитъ. Десяти факультетовъ мало, и что всего важнѣе—навѣрное ни одна каѳедра никогда вакантной не будетъ. Конечно, такой характеръ университета не вполнѣ будетъ соотвѣтствовать мысли жертвователя, но для начала и это хорошо. Уни-

верситетъ, да еще заравшанскій... вѣдь это что!? А за свою каѳедру Очищенный не боялся. Безъ восточныхъ языковъ въ заравшанскомъ краю обойтись ни подъ какимъ видомъ нельзя, а митрологія — это вѣдь и есть самый коренной восточный языкъ.

Что же касается до обязательнаго страхованія жизни, то хотя этотъ предметъ никоимъ образомъ въ предѣлы интендантскаго вѣдомства не входитъ, однако, подумавши, и объ немъ „написать“ можно. Что бы, напримѣръ, написать? да просто: „признавая необходимымъ, въ видахъ успѣшнѣйшаго продовольствія арміи и флотовъ...“ А потомъ оно ужъ само собой пойдетъ. И чтобы было вѣрнѣе, непремѣнно нужно написать не туда, куда слѣдуетъ, а куда-нибудь въ бокъ. А оттуда опять въ бокъ напишутъ. И всѣ кругомъ зажужжатъ. Зажужжатъ почты и телеграфы, зажужжатъ финансы, пути сообщенія, иностранныя исповѣданія... Тогда ужъ и *настоящему* вѣдомству волей-неволей придется зажужжать. Смотришь, анъ дѣло и въ шляпѣ.

Поэтому мы рѣшили: ожидать отъ Балалайкина дальнѣйшихъ подвиговъ.

Что же касается до Перекусихина, то объ немъ мы совсѣмъ не имѣли сужденія, предоставивъ его участь усмотрѣнію моршанскаго мѣняльнаго корабля.

Былъ ужъ одиннадцатый часъ утра, когда мы вышли для осмотра Корчевы. И съ перваго же шага насъ ожидалъ сюрпризъ: кромѣ насъ, и еще путешественникъ въ Корчевѣ сыскался. Щеголь въ гороховомъ пальто *), въ цилиндрѣ—ходитъ по площади и тросточкой помахиваетъ. Всматриваюсь: словно на вчерашняго дьякона похожъ... онъ. онъ самый и есть!

— Глумовъ! смотри, вчерашній-то дьяконъ... вонъ онъ!—воскликнулъ я въ испугѣ.

Но Глумовъ, вмѣсто того, чтобы отвѣтить на мое восклицаніе, въ свою очередь встревоженно крикнулъ:

— Смотри! смотри! вонъ туда! въ тотъ уголъ!

Смотрю и не вѣрю глазамъ: въ углу площади—другой путешественникъ гуляетъ! И тоже въ гороховомъ пальто и въ цилиндрѣ. Вотъ такъ штука!

---

*) Гороховое пальто—родъ мундира, который, по слухамъ, одно время былъ присвоенъ собирателямъ статистики.

Помелькали-помелькали, и вдругъ въ нашихъ глазахъ исчезли, словно сквозь землю провалились.

Инстинктивно мы остановились и начали искать глазами, нельзя ли спрятаться гдѣ-нибудь въ конопляхъ. Но въ Корчевѣ и коноплей нѣтъ. Стали припоминать вчерашній день, не наговорили ли чего лишняго. Оказалось, что въ сущности ничего *такого* не было, однакожъ...

— Однако, братъ, ты завелъ-таки насъ!—малодушно укорилъ я Глумова.

Но онъ ужъ и самъ сознавалъ свою ошибку. Сконфуженно смотрѣлъ онъ на Фанушку, какъ бы размышляя: за что я легкомысленно загубилъ такое молодое, прелестное существо? Но милая эта особа не только не выказывала ни малѣйшаго упынія, но, напротивъ, съ беззавѣтною бодростью глядѣла въ глаза опасности.

— Положимъ, что мы ничего *такого* не сдѣлали и не сказали, —продолжалъ я приставать:—но вѣдь этого недостаточно. По нынѣшнимъ обстоятельствамъ теплота чувствъ нужна, дѣятельная теплота, а мы ее-то и прозѣвали...

Тѣмъ не менѣе, бодрость Фанушки на всѣхъ подѣйствовала возстановляющимъ образомъ, такъ что меня ужъ не слушали. Какъ-то разомъ всѣ сознали себя невиноватыми, а извѣстное дѣло, что ежели человѣкъ невиноватъ, то ты хоть его рѣжь, хоть жги—онъ все-таки будетъ невиноватъ. Удивительно, какъ окрыляетъ это сознаніе! какую-то смѣлость и гордость вливаетъ. Даже мѣняло—и тотъ почувствовалъ себя до такой степени невиноватымъ, что тутъ же далъ обѣщаніе, что ежели теперь благополучно пронесетъ, то онъ сполна отвалитъ Перекусихину проспмый имъ кушъ.

Разумѣется, Глумовъ только того и ждалъ. По его иниціативѣ мы взяли другъ друга за руки и троекратно прокричали: „рады стараться, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ствдо!“ Смотримъ—анъ и гороховое пальто тутъ же съ нами руками сцѣпилось? И только-что мы хотѣли ухватиться за него, какъ его ужъ и слѣдъ простылъ.

Глава XVIII.

Соборъ оказался отличный: просторный, свѣтлый. Мы осмотрѣли все въ подробности, и стѣны, и иконостасъ, и ризницу. Все было въ наилучшемъ видѣ. Прекраснѣйшее напикадило, массивное евангеліе,

изящной работы напрестольный крестъ—все одно къ одному. И при этомъ вездѣ оказался жертвователемъ купецъ Вздошниковъ.

— А въ будущемъ году господинъ Вздошниковъ обѣщаютъ колоколъ соорудить—тогда пожалуй и въ Кимрѣ намъ позавидуютъ! —сообщилъ отецъ дьяконъ, показывавшій намъ достопримѣчательности собора. — А еще черезъ годикъ и наружную штукатурку они же возобновятъ.

И тѣмъ не менѣе, купецъ Вздошниковъ не только Корчеву, но и весь Корчевской уѣздъ у себя въ плѣну держитъ. Одною рукою жертвуетъ, а другою — въ карманахъ у обывателей шаритъ, причемъ, конечно, и „баланецъ“ соблюдаетъ. Во всѣхъ кабакахъ у него часть, и ежели Разноцвѣтовъ прогорѣлъ, то потому единственно, что не захотѣлъ покориться, тягаться вздумалъ. А то бы и онъ теперь у Вздошникова на побѣгушкахъ бѣгалъ и, въ воздаяніе, щи бы съ требушиной ѣлъ. Кромѣ того, Вздошниковъ и виноградныя вина дѣлаетъ: мадеру, портвейнъ, лафитъ, рейнвейнъ. И все съ золотыми ярлыками и съ обтянутыми фольгой пробками. Въ Кашинѣ эти вина дѣлаютъ на манеръ иностранныхъ, а Вздошниковъ дѣлаетъ ужъ на манеръ кашинскихъ. Но и тѣ, и другія — все равно, что иностранныя. Онъ же, Вздошниковъ, рощами торгуетъ, и, съ божьей помощью, довелъ сажень дровъ ужъ до пяти рублей.

— Мѣсто наше бѣдное,—сказалъ отецъ дьяконъ:—ежели всѣ захотятъ кормиться, только другъ у дружки безъ пользы куски отымать будутъ. Сыты не сдѣлаются, а по пустому разсорятъ. А ежели одному около всѣхъ кормиться—это можно!

Когда же мы уже раскланивались на крыльцѣ, то прибавилъ:

— А вонъ и домъ его каменный на бугорочкѣ стоитъ—всей Корчевѣ красота! Сходите, полюбопытствуйте. У него и сейчасъ два путешественника закусываютъ.

Но мы поспѣшили къ старичку, хотя, въ виду общенія Вздошникова съ гороховыми пальто, чувство самосохраненія должно было бы подсказать намъ, что сходить поклониться человѣку, въ домѣ котораго повидимому была штабъ-квартира корчевской благонамѣренности,—голова не отвалится.

Старичокъ дѣйствительно оказался древній: зубовъ нѣтъ, глаза вытекли, черепъ — совсѣмъ голый. Вмѣсто всего — свидѣтельство корчевского полицейскаго управленія, удостовѣряющаго, что предъ-

явитель сего, мѣщанинъ Описимъ Дадоновъ, имѣетъ сто семь лѣтъ, *или болѣе, или менѣе*. Сидѣлъ Дадоновъ въ большомъ истрепанномъ креслѣ, подаренномъ ему покойнымъ историкомъ Погодинымъ, „въ воспоминаніе пріятно проведенныхъ минутъ“; на немъ была надѣта чистая бѣлая рубашка, а на ногахъ лежало ситцевое стеганое одѣяло: очевидно, что домашніе были заранѣе предувѣдомлены объ нашемъ посѣщеніи. Но въ комнатѣ было душно; ее и лѣтомъ рѣдко освѣжали, потому что старикъ боится заболѣть и умереть. У старичка есть дочь, большуха, которая тоже неподвижно полулежитъ на лавкѣ, подъ образами, и тоже не можетъ сказать, когда она родилась, а помнитъ только, что въ тотъ годъ, когда была „некрутчина“. И у нея нѣтъ ни волосъ, ни зубовъ, но зрѣніе она еще сохранила, хотя впрочемъ слабое, и вслѣдствіе этого часто глотаетъ мухъ. За старикомъ прислуживаетъ „молодуха“, женщина лѣтъ шестидесяти-пяти, которая еще бодрится, но жалуется, что ноги у нея мозжатъ. Молодуха приняла насъ радушно и тотчасъ же показала свидѣтельство.

— Посмотрите на нашего старичка — вотъ и пакетъ у насъ, не обманываемъ! деньги за него каждый годъ платимъ—сорокъ копѣечекъ!

И она указала на сорокакопѣечную марку, которая была прилѣплена къ свидѣтельству, въ знакъ того, что старикъ — казенный. Сверхъ того, она вынула изъ стола и показала намъ засиженный мухами листъ, на которомъ знаменитые посѣтители вписывали свои имена. Замѣчательнѣе всего были слѣдующія подписи: „Сумлеваюсь, штопъ сей старикъ наказаніе шпицрутенами выдержалъ. Гр. Алексѣй Аракчеевъ“, и подъ нею: „всемъ же сумлеваюсь генералъ-майёръ Бритый“. Послѣднимъ подписался академикъ Михаилъ Погодинъ (іюль 1862 года) и съ тѣхъ поръ уже никто къ старичку не заглядывалъ.

— Да вѣдь въ шестьдесятъ-второмъ году ему и девяноста лѣтъ не было — что же тутъ было любопытствовать? — усомнился я.

— А кто его, батюшка, знаетъ, сколько ему лѣтъ!—возразила молодуха:—лѣтъ ужъ сорокъ все сто-семь ему лѣтъ значится—ужъ и старѣться то онъ словно пересталъ!

Начали мы предлагать старичку вопросы: но оказалось, что онъ только одно помнитъ: сначала родился, а потомъ жилъ. Даже объ Аракчеевѣ утратилъ всякое представленіе; хотя, по словамъ „боль-

шухи", послѣдній пригрозилъ ему записать безъ выслуги въ апшеронскій полкъ рядовымъ, ежели не прекратитъ тунеядства. И непремѣнно выполнилъ бы свою угрозу, еслибъ самъ въ скоромъ времени не подпалъ опалѣ.

Таковъ неумолимый законъ судебъ! Какъ часто человѣкъ, въ пылу непредусмотрительной гордыни, сулитъ содрать шкуру со всего живущаго, и вдругъ—открывается транъ, и онъ самъ проваливается въ преисподнюю... изъ ликующаго дѣлается стенящимъ—а тѣ, которые вчера ожидали содранія кожи, внезапно расправляютъ крылья и начинаютъ дразниться: что взялъ? грибъ съѣлъ! Ахъ, господа, господа! а что, ежели...

— Но вы-то сами что-нибудь помните?—обратился Глумовъ къ молодухѣ.

— Какъ не помнить... пожаръ былъ! всѣ въ ту пору погорѣли... А послѣ, черезъ десять лѣтъ, только-что обстроились, опять пожаръ!

— Ну, что пожары! насчетъ обычаевъ здѣшнихъ не можете ли что сказать? Напримѣръ, пѣсни, пляски, хороводы, сказки, преданія...

Молодуха задумалась. Очевидно, не поняла вопроса.

— Время какъ проводите?—пояснилъ я:—пѣсни играете? хороводы водите? сказки сказываете?

— Строго попѣ. Вотъ прежде точно что противъ дому на площади хороводы игрывали... А попѣ ровно и не до сказокъ. Все одно что въ гробу живемъ...

— Отчего же, вы полагаете, такая перемѣна случилась? оттого ли, что внутренняя политика измѣнила направленіе, или оттого, что пѣть не объ чемъ стало?

Но старуха опять не поняла.

— Какъ бы вамъ это объяснить? Ну, напримѣръ... что, бишь? ну, напримѣръ, литература... Прежде, бывало, господа литераторы и пѣсни играли, и хороводы водили, а нынче хрюканье всѣ голоса заглушило... отчего?

— Урядники попѣ...—несмѣло отвѣтила молодуха, точно сама сомнѣвалась, угадала ли.

— Вотъ и прекрасно. Корреспондентъ! зашиши! Урядники. Ну, а еще что можете сказать? чѣмъ, напримѣръ, живете? кормитесь помаленьку?

— Такъ коё-чѣмъ. Тальки пряду; продамъ—хлѣба куплю. Мыкаемся тоже. Старичокъ-то вонъ мяконькаго все проситъ...

— А какъ вы примѣчаете, когда изобильнѣе жилось: прежде или нынче?

— Какъ можно суѓроти прежняго! прежде-то мы...

— Щи мы, сударь, прежде ѣли!—крикнула изъ угла старуха, вращая потухающими глазами. И словно въ изступленіи повторила: —щи ѣли! щи!

— Кашки бы...—сочувственно пискнулъ старичокъ, словно икнулъ.

— Но отчего же вдругъ такое оскудѣніе?

— Да какъ сказать... не вдругъ оно... Сегодня худо, завтра хуже, а напослѣдокъ и еще того хуже...

— Ну, а урядники... не думаете ли вы, что они и въ этомъ отношеніи...

— Должно быть, что они...

Но тутъ случилось нѣчто диковинное. Не успѣла молодуха порядкомъ объясниться, какъ вдругъ, словно громъ, среди насъ упала фраза:

— Урядники да урядники... Да говорите же прямо: оттого, молъ, старички, худо живется, что правового порядка нѣтъ... ха-ха!..

Мы удивленно переглянулись, но оказалось, что никто изъ насъ этой фразы не произносилъ. Въ то же время мы почувствовали какое-то дуновеніе, какъ у спиритовъ на сеансахъ. И вдругъ мимо насъ шмыгнуло гороховое пальто и сейчасъ же растаяло въ воздухѣ.

— Это не настоящее пальто... это спектръ его!—шепнулъ мнѣ Глумовъ:—внутри оно у насъ... въ сердцахъ нашихъ... Все равно, какъ жаждущему вода видится, такъ и намъ... Всѣ видѣли?

Оказалось, что *мы* видѣли, но изъ хозяевъ никто не видѣлъ и не слышалъ.

— Прежде-то въ нашемъ мѣстѣ и куръ, и утокъ, и гусей водили,—продолжала молодуха.—Я-то ужъ не застала, а дѣдушка сказывалъ. А нынче и коршуну во всей Корчевѣ поживиться нечѣмъ!

— Щи ѣли! щ-ш-ши!—опять цыркнула старуха озлобленно.

— А когда щи-то ѣли—вы еще застали?—продолжалъ допрашивать Глумовъ молодуху.

— На кончикѣ. Помню, что до двадцати лѣтъ ѣдала, а потомъ...

Но въ это время таинственный голосъ опять прозвучалъ:

— А по вашему, стоитъ только правовой порядокъ завести — и щи явятся... Либералы... ха-ха!

Спектръ гороховаго пальто выступилъ на секунду въ воздухѣ и растаялъ.

Мы поспѣшили распластиться и уйти. Машинально разспросили дорогу къ изобрѣтателю perpetuum mobile и машинально же дошли до его избы, стоявшей на краю города.

Мѣщанинъ Презентовъ встрѣтилъ насъ съ какою-то тихою радостью: очевидно, онъ не былъ избалованъ судьбою. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, худой, блѣдный, съ большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались къ шеѣ. Изба у него была достаточно просторная, но цѣлая половина ея была занята большимъ маховымъ колесомъ, такъ что наше общество съ трудомъ въ ней размѣстилось. Колесо было сквозное, со спицами. Ободъ его, довольно объемистый, сколоченъ былъ изъ тесинъ, на подобіе ящика, внутри котораго была пустота. Въ этой-то пустотѣ и помѣщался механизмъ, составляющій секретъ изобрѣтателя. Секретъ, конечно, не особенно мудрый, въ родѣ мѣшковъ, наполненныхъ пескомъ, которымъ предоставлялось взаимно другъ-друга уравновѣшивать. Сквозь одну изъ спицъ колеса продѣта была палка, которая удерживала его въ состояніи неподвижности.

— Слышали мы, что вы законъ вѣчнаго движенія къ практикѣ примѣнили?—началъ я.

— Не знаю, какъ доложить,—отвѣтилъ онъ сконфуженно:—кажется, словно бы...

— Можно взглянуть?

— Помилуйте! за счастье...

Онъ подвелъ насъ къ колесу, потомъ обвелъ кругомъ. Оказалось, что и спереди, и сзади—колесо.

— Вертится?—спросилъ Глумовъ.

— Должно бы, кажется, вертѣться... Капризится будто...

— Можно отнять запорку?

Презентовъ вынулъ палку—колесо не шелохнулось.

— Капризится!—повторилъ онъ:—надо имѣть дать.

Онъ обѣими руками схватился за ободъ, нѣсколько разъ повер-

нулъ его вверхъ и внизъ и наконецъ съ силой раскачалъ и пустилъ —колесо завертѣлось. Нѣсколько оборотовъ оно сдѣлало довольно быстро и плавно— слышно было, однакожъ, какъ внутри обода мѣшки съ пескомъ то напираютъ на перегородки, то отваливаются отъ нихъ —потомъ начало вертѣться тише, тише; послышался трескъ, скрипъ, и наконецъ колесо совсѣмъ остановилось.

— Зацѣночка, стало быть, есть, — сконфуженно объяснилъ изобрѣтатель и опять напрягся и размахалъ колесо.

Но во второй разъ повторилось то же самое.

— Скажите, сами вы до этого дошли?—спросилъ Глумовъ, стараясь сообщить своему голосу по возможности ободряющій топъ.

— Охота у меня... Только вотъ настоящимъ образомъ дойти не умѣю...

— Трепія, можетъ быть, въ разсчетъ не приняли?

— И треніе въ разсчетѣ было... Что треніе! Не отъ трепія это, а такъ... Иной разъ словно порадуетъ, а потомъ вдругъ... закапризничаетъ, заупрямится—и шабашъ! Кабы колесо изъ настоящаго матерьялу было сдѣлано, а то такъ, обрѣзки кое-какіе... Недостатки наши...

— Кто-нибудь осматривалъ у васъ колесо?

— Были-съ.

— И что же?

Презентовъ стоялъ, понуривъ голову, и молчалъ.

Я инстинктивно оглянулъ горницу, и самъ опустилъ голову: такъ въ ней было все непріютно, голо, словно вымерочно. Въ углу—одинокій образъ, съ воткнутой сзади, почти истлѣвшей отъ времени вербой; голая лавка, голыя стѣны, порожній столъ. На окнѣ стояла глиняная кружка съ водой и рядомъ лежалъ толстый сукрой чернаго хлѣба. Можетъ быть, это былъ завтракъ, обѣдъ и ужинъ Презентова. Не замѣчалось ни одного изъ признаковъ, говорящихъ о хозяйственности, о пріютѣ. Даже неопрятности, столь обыкновенной въ мѣщанской избѣ, не было, а именно какая-то унылая заброшенность. И на общемъ фонѣ этой оголтѣлости и вымерочности какъ-то необыкновенно спротливо выступалъ этотъ человѣкъ, самъ оголтѣлый и вымерочный. Какъ онъ тутъ жилъ? Собственно говоря, разъ колесо было налажено, ему и дѣлать ничего не оставалось. Вѣроятно онъ населялъ это пространство призраками своей фантазіи, или, угнетаемый мечтательной

праздностью, проводилъ дни въ безсильномъ созерцаніи заколдованнаго колеса, изнывая отъ жгучихъ стремленій къ чему-то безмѣрному, необъятному, которое именно неясностью своихъ очертаній покоряло его себѣ.

— Вы бы къ какому-нибудь дѣлу попроще приспособились,— участливо посовѣтовалъ ему Глумовъ.

Презентовъ продолжалъ молчать.

— Допустимъ даже, что задача ваша достижима; но вѣдь это предпріятіе сложное, далекое... На пути къ нему есть множество задачъ, болѣе доступныхъ, разработка которыхъ, и сама по себѣ полезная, могла бы, сверхъ того, и лично вамъ оказать поддержку...

— Мнѣ что! вотъ колесо настоящимъ бы образомъ...—промолвилъ онъ тихо.

— Въ этихъ словахъ звучала такая убѣжденность, что Фанушкѣ вдругъ взгрустнулось.

— Хозяюшка у васъ есть?—спросила она ласково.

— Одинъ я. И женатъ не былъ. Матушка у меня, съ годъ назадъ, померла — съ тѣхъ поръ одинъ и живу. И горницу прибрать некому!—прибавилъ онъ, конфузливо улыбаясь.

Признаюсь, я думалъ, что Фанушка вынетъ изъ бумажника сторублевую и скажетъ: вотъ вамъ... на колесо!—однако милая дамочка съ минуту погрустила, а вслѣдъ затѣмъ опять оправилась.

— А давно вы этимъ дѣломъ занимаетесь?—продолжалъ допрашивать Глумовъ.

— Да и не помню ужъ... Охота такая...

— Подумайте, однакожъ. Сколько лѣтъ вы одну работу работаете, а гдѣ же результаты?

— Можетъ, и дойду.

Дальнѣйшій разговоръ былъ невозможенъ. Даже Глумовъ, отъ природы одаренный ненасытнымъ любопытствомъ, и тотъ понялъ, что продолжать ворошить этого человѣка, въ угоду воякерской любознательности, неумѣстно и безсовѣстно. Какъ вдругъ Очищенный, невѣдомо съ чего, всполошился.

— А податей много сходитъ?—спросилъ онъ.

— Податей нынче не берутъ, а пакенты велятъ брать.

Онъ поспѣшно вынулъ изъ стола промысловое свидѣтельство (цѣна 2 р. 50 к.) и показалъ намъ. Быть можетъ, у него въ головѣ

мелькнуло, что мы собственно для того и пришли, чтобъ удостовѣриться.

— Дорогонько! — молвилъ Очищенный, инстинктивно обводя взоромъ комнату.

— Для чего же вамъ свидѣтельство? Вѣдь вы постояннымъ промысломъ не занимаетесь?—удивился Глумовъ.

— Случается. Намедни-сь господину исправнику табакерку съ музыкой чинилъ, а мѣсяцъ назадъ помѣщику одному вѣялку привезли, такъ сбирать ѣздилъ. Набѣгаетъ тоже работишка.

— Ну, а вообще живется какъ?

Начался заправскій допросъ. Какія пѣсни, сказки; нѣтъ ли слѣпенькаго пѣвца... Куда бы онъ привелъ насъ — не знаю. Быть можетъ, къ вопросу о недостаточномъ вознагражденіи труда или къ вопросу о накопленіи и распредѣленіи богатствъ, а тамъ, полегоньку да помаленьку, и прямо на край бездны. Но гороховое пальто и на этотъ разъ не оставило насъ.

— Да что же вы спрашиваете? развѣ можно жить въ странѣ, въ которой правового порядка нѣтъ? Личность—не обезпечена, завтрашній день—неизвѣстенъ... Либералы... ха-ха!—произнесло оно отчетливо и звонко.

Опять почувствовали мы знакомое дуновеніе и опять мимо насъ промелькнула гороховая масса, увѣнчанная цилиндромъ; промелькнула и растаяла.

— Спектръ!—воскликнулъ Глумовъ:—но спектръ спасительный, господа! Онъ посылается намъ для того. чтобъ мы знали, что можно и что нельзя... Итакъ, возблагодаримъ...

. . . . . .

Хотя мы и обѣщали Пантелею Егорычу, при первой возможности, отправиться дальше, но пароходъ не приходилъ, и мы поневолѣ должны были остаться въ Корчевѣ. По возвращеніи на постоялый дворъ, мы узнали, что Разноцвѣтовъ гдѣ-то купилъ, за недоимку, корову и расторговался говядиной. Часть туши онъ уступилъ намъ и сварилъ отличныя щи. остальное—продалъ на сторону. А на вырученныя деньги накупилъ патентовъ.

Какъ бы то ни было, но мы наѣлись. А наѣвшись, возмечтали. Наступили сумерки — нужно было какъ-нибудь скоротать вечеръ. Попробовали-было загадать: что такое Корчева?—Но отвѣтъ былъ

черезъ-чуръ ужъ короткій: Корчева есть Корчева. Тогда Глумовъ предложилъ прочитать намъ лекцію изъ исторіи, на что мы съ радостью согласились. Настолько, насколько это было возможно въ скромной обстановкѣ постоялаго двора, онъ коснулся призванія варяговъ, потомъ безпрепятственно облетѣлъ періоды: удѣльный, татарскій, московскій, петербургскій, и приступилъ къ современности. Но едва вымолвилъ онъ вступительныя слова: „Современность, переживаемая нами, подобна камаринскому мужику, который...“ — какъ вдругъ нѣкто неожиданно произнесъ:

— Извольте повторить, что вы сказали!

Мы обернулись: въ дверяхъ стояло гороховое пальто.

Спектръ это былъ, или не спектръ?

Въ одну секунду мы потушили свѣчу и, шмыгнувъ мимо непрошеннаго гостя, очутились на улицѣ.

Глава XIX.

Цѣлую ночь мы бѣжали. Дождь преслѣдовалъ насъ, грязь забрасывала съ ногъ до головы. Куда надѣялись мы убѣжать? — на этотъ вопросъ врядъ-ли кто-нибудь изъ насъ далъ бы отвѣтъ. Еслибъ мы что-нибудь сознавали, то, разумѣется, поняли бы, что какъ ни великъ Божій міръ, но отъ спектровъ, его населяющихъ, все-таки спрятаться некуда. Жестокая и чисто-животная паника гнала насъ впередъ и впередъ.

Я слышалъ, какъ Фанушка всхлипывала отъ боли, силясь не отставать, какъ „нашъ собственный корреспондентъ“ задыхался, неся въ груди зачатки смертельнаго недуга; какъ мѣняло, дойдя до экстаза, восклицалъ: „накатилъ, сударь, накатилъ!“ А дождь свирѣпѣлъ больше и больше и небо все гуще и гуще заволакивалось тучами. Ни одного жилья мы не встрѣтили, и какъ насъ не съѣли волки — этого я понять не могу. Навѣрное они кое-что слышали объ насъ отъ урядниковъ и опасались отнять у насъ жизнь, потому что съ нашимъ исчезновеніемъ могли затеряться корни и нити, которые имѣло въ виду гороховое пальто. Какъ бы то ни было, но этимъ чисто-охранительнымъ соображеніямъ мы были обязаны жизнью.

Наконецъ однакожъ выбились изъ силъ. Повидимому былъ уже часъ пятый утра, потому что начиналъ брезжить свѣтъ и на общемъ

фонѣ сѣрыхъ сумерекъ стали понемногу выступать силуэты. Передъ нами разстилался прудъ, за которымъ темнѣла какая-то масса.

Вглядываюсь, и не вѣрю глазамъ — передо мною Проплёванная! *) Она, она, она. Вонъ и дорога, ведущая въ усадьбу. По одну сторону — большой прудъ, обсаженный березами, по другую — старинный „плодовитый“ садъ. А вонъ и барскій домъ, сѣрый, намокшій, едва выдѣляется изъ сумерекъ, а за домомъ опять темная масса — это другой садъ, при самомъ домѣ. Но гдѣ же „красный“ дворъ? гдѣ флигеля, конюшня, скотная?

Съ самой „катастрофы“ я не былъ въ Проплёванной. Въ то время я впопыхахъ пріѣхалъ, впопыхахъ что-то кончилъ, чѣмъ-то распорядился и впопыхахъ же уѣхалъ. Стараго Аверьяныча приставилъ хранить господское добро и получать „ренду“ за сверхпадѣльную землю. Эту „ренду“, въ количествѣ трехсотъ рублей, я получалъ до такой степени аккуратно, что даже дворникъ, носившій въ кварталъ повѣстку для засвидѣтельствованія, радостно говорилъ: „ренду съ вотчины получили!“ Получалъ я также отъ времени до времени доносы, обвинявшіе Аверьянова въ кражѣ, хищеніи, грабежѣ и другихъ уголовныхъ преступленіяхъ, но такъ какъ я на доносы не откликался, то постепенно все стихло. И я непремѣнно забылъ бы о существованіи отчины и дѣдины, еслибъ три сотенныя бумажки ежегодно не напоминали мнѣ, что гдѣ-то существуетъ защищенное межевыми знаками „мѣстоположеніе“, которое признаетъ меня своимъ владыкою.

Радость, которую во всѣхъ произвело открытіе Проплёванной, была неописанная. Фанпушка разрыдалась; Глумовъ блаженно улыбался и говорилъ: „ну вотъ! ну вотъ!“ Очищенный и мѣняло присѣли на пеньки, сняли съ себя сапоги и радостно выливали изъ нихъ воду. Даже „нашъ собственный корреспондентъ“, который, кромѣ водки, вообще ни во что не вѣрилъ — и тотъ вспомнилъ о Богѣ и перекрестился. Всѣмъ представилось, что наконецъ-то обрѣтено злачное мѣсто, въ которомъ тепло и уютно и гдѣ не настигнутъ ни подозрѣнія, ни навѣты.

---

*) Оффиціальное названіе усадьбы — „Золотое дно“; „Проплёванною“ же она называлась въ просторѣчіи, потому что во времена оны прежній владѣлецъ проигралъ ее моему дѣдушкѣ въ плевки.

— Урядники-то, полно, тутъ есть ли?—самонадѣянно воскликнулъ Глумовъ, но тутъ же одумался и суевѣрно прибавилъ:—сухо дерево, завтра пятница!

Я провелъ своихъ спутниковъ къ барскому крыльцу и самъ отправился разыскивать Аверьяныча. Но таково дѣйствіе „власти земли“, что по мѣрѣ того, какъ я углублялся въ подвластное мнѣ пространство, я чувствовалъ, какъ внутри меня начинаютъ разгораться хозяйскіе инстинкты. Я шелъ на поиски и озирался по сторонамъ. Прудъ—цѣлъ, но не выловлены ли караси? Красный дворъ—вотъ онъ, но кругомъ его прежде была рѣшотка—гдѣ она? Вотъ тутъ, въ углу, стоялъ флигель, а теперь навалена куча мусора, по которому привольно разрослась крапива. Вотъ тутъ стояла кудрявенькая береза—тетенька Варвара Ивановна посадила—а теперь торчитъ пень. Гдѣ конюшни? куда дѣлся скотный дворъ? Лошади были! коровы были! овца! Вспомнились доносы, и хозяйское сердце заныло. Самъ виноватъ! какъ-то само собой складывалось въ умѣ. Надлежало тогда же сломя голову летѣть въ Пролёванную, выслѣдить, уличить, а буде нужно, то и ходатайствовать по судамъ. Флигель-то—онъ, на худой конецъ, пятьдесятъ цѣлковыхъ стоилъ, а ежели на охотника... Но, съ другой стороны, припомнилось и то, что Аверьянычъ отъ времени до времени, кромѣ „ренды“, и еще какія-то деньги присылалъ. Какія? Помню, словно сквозь сонъ, что онъ сначала писалъ: „продали лошадь саврасую палочницу“, потомъ: „продали мерина голубого“; потомъ: корову, другую корову... и, кажется, флигель? Помнится, что объ скотной я даже самъ что-то писалъ... кажется, Марьѣ-вдовѣ, да Акулинѣ-перевезенкѣ, за вѣрную службу, подарилъ? Объ опѣ, помнится, на судьбу жаловались: „служили мы папенькѣ-маменькѣ вашимъ, въ слезахъ хлѣбъ ѣли, а нонѣ слезы остались, а хлѣба нѣтъ“...

И все-таки, когда я уѣхалъ изъ Пролёванной, усадьба была цѣла. Это первоначальное впечатлѣніе вытѣснило всѣ послѣдующія подробности. Красный дворъ былъ обсаженъ березками и обнесенъ рѣшоткой; теперь березки стали большими березами, а рѣшотки нѣтъ, и дворъ весь изъѣзженъ. Точно также оба сада были обнесены частоколомъ, а теперь и они слились съ проѣзжей дорогой: всякій входи и въѣзжай куда хочешь. Яблони-то цѣлы ли? вишни? Вонъ отъ оранжереи только труба торчитъ, да и у той половина кирпи-

чей растаскана. Помню, громадная липа, старая-престарая, стояла направо отъ дома—сколько цвѣту съ нея собиралось и какія массы пчелъ жужжали въ ея непросвѣтной листвѣ!—гдѣ она? А за липой старая березовая аллея шла. Какъ сейчасъ помню: у крайней березы, внизу, одинъ бокъ былъ точно кровью залитъ, потому что весной изъ нея точили березовицу... гдѣ эта аллея? Правда, въ этой сторонѣ и теперь еще виднѣются издали какіе-то гиганты, но уже не сплошною массой, а въ одиночку. И какъ-то сердито качаютъ они вершинами, словно отбиваются отъ одолѣвающаго ихъ молодого древеснаго подсѣда...

Всѣ эти воспоминанія и представленія безпорядочно мелькали въ головѣ, замедляя мои поиски. Весьма вѣроятно, что вслѣдъ за симъ же все разъяснится и сыщется, но хозяйскіе инстинкты такъ упорны, что я съ трудомъ овладѣлъ собой. Гдѣ же скрывается однакожъ Аверьянычъ? Кругомъ было пусто, и кромѣ чириканья проснувшихся воробьевъ, ничего не было слышно. Въ полуверстѣ чернѣлъ поселокъ, надъ которымъ уже носился дымъ отъ затапливаемыхъ печей; но я зналъ, что Аверьянычъ не имѣлъ на селѣ родныхъ, у которыхъ могъ бы пріютиться. Наконецъ я припомнилъ, что въ саду была когда-то поставлена банька, и направился туда.

Садъ заросъ и заглохъ необыкновенно; не видно было ни клумбъ, ни дорожекъ. Только одна тропинка шла вглубь отъ ветхой калитки, которая еще держалась на одной петлѣ, прислонившись къ столбу, составлявшему часть исчезнувшей рѣшотки. Когда-то въ саду было посажено нѣсколько разныхъ сортовъ тополей; теперь эти тополи разостлали свои корни по всему саду и подошли къ самому дому. Были тутъ прежде цѣлыя клумбы зимующихъ розъ, были группы воздушнаго жасмина, жимолости, бузины; была большая продольная аллея изъ сиреней и нѣсколько боковыхъ аллей изъ акацій—теперь все это исчезло, порабощенное тополемъ. Только безчисленная масса воробьевъ свободно ютилась въ этой чащѣ, которая такъ переплелась и перепуталась, какъ будто хотѣла защитить себя отъ посторонняго вторженія. Я знаю многихъ, на которыхъ картина подобной заброшенности производитъ чарующее впечатлѣніе, но мнѣ, при видѣ ея, просто сдѣлалось обидно. Какъ будто изъ всей этой густой, приземистой массы неслись мнѣ на встрѣчу слова: нечего тебѣ здѣсь дѣлать, нечего! нечего!

Аверьянычъ сидѣлъ на приступочкѣ банпаго крыльца и жевалъ. Но, увидѣвъ посторонняго человѣка, испугался и торопливо спряталъ за пазуху ломоть чернаго хлѣба. Онъ еще былъ живъ, хотя до того состарѣлся, что лицо его какъ бы подернулось мхомъ. Услышавши шумъ, выглянули изъ дверей Марья-вдова и Акулина-перевезенка, которыя очевидно жили тутъ же. У Марьи-вдовы была дочь Полька, карлица, робкая, косноязычная, съ кошачьими зрачками и выпяченнымъ брюшкомъ, которая спокопъ вѣку находилась при домѣ „въ дѣвчонкахъ“,—и опа на крыльцо выбѣжала. И несмотря на то, что ей было за пятьдесятъ—все еще смотрѣла дѣвчонкой.

— Полька! когда же ты замужъ-то выйдешь? — пошутилъ я по-барски.

Тогда только всѣ опомнились.

— Ахъ, да никакъ это баринъ!

И до того обрадовались, что прослезились и бросились „ручку“ ловить. Какъ будто у этихъ людей накануѣ доѣденъ былъ послѣдній каравай хлѣба, и не спустись я къ нимъ, словно съ облаковъ, на завтра же имъ угрожала неминучая смерть.

— Живы?—продолжалъ я шутить.

— Что намъ дѣется! Мы поиѣ—казенные. Ни въ огнѣ не горимъ, ни въ водѣ не топемъ,—пошутили и они въ тонъ мнѣ.

И, на секунду пригорюнившись, въ одинъ голосъ прибавили:

— Красавецъ вы нашъ!

Наконецъ отперли двери дома и отворили ставни. Съ перваго же шага насъ такъ и обдало опальными запахами. Въ залѣ половицы слегка колебались, штукатурка кусками валялась на полу, а на потолкѣ виднѣлись бурые круги вслѣдствіе течи; по срединѣ комнаты стоялъ круглый банкетный столъ, на которомъ лежалъ старинный-старинный нумеръ „Московскихъ Вѣдомостей“. Въ гостиной было совсѣмъ темно отъ тополей, которые хлестали въ окна намокшими вѣтвями. Въ маменькиной спальной поселилось семейство хомяковъ, которые повидимому не имѣли никакого представленія о человѣкѣ и его свойствахъ, потому что нимало не смутились при нашемъ появленіи и продолжали бѣгать другъ за другомъ. Словомъ сказать, всюду, куда мы ни проникали, насъ въ одно мгновеніе пронзало сыростью, вымороч ностью, запустѣніемъ.

Такою предстала передо мной колыбель, убаюкивавшая мою

юность золотыми снами. Все здѣсь взывало къ памяти прошлаго. Не было въ этомъ домѣ окна, изъ котораго я несчетное число разъ не вопрошалъ бы пространство, въ смутномъ ожиданіи волшебства; не было въ этомъ саду куста, который не подглядѣлъ бы потаеннаго процесса, совершавшагося въ юношѣ, того творческаго процесса, въ которомъ, какъ солнечный лучъ въ утреннихъ сумеркахъ, брезжится будущій „человѣкъ“. Не было пяди земли, которая не таила бы слова обличенія въ нѣдрахъ своихъ, которая не могла бы свидѣтельствовать...

И все это: и домъ, и садъ, и земля — стояло забытое, оброшенное, почти поруганное...

Чуть-чуть было я не разнѣжился; но общее положеніе послѣ ночныхъ приключеній было таково, что подавляло всякій порывъ чувствительности. Прежде всего намъ требовалось сухое бѣлье и платье, а потомъ — пища. Принесли связку ключей, и послѣ непродолжительныхъ поисковъ добыли цѣлую кучу бѣлья и женскихъ блузъ. Но по части мужскихъ одѣяній ничего не нашлось, кромѣ четырехъ дворянскихъ мундировъ, въ которыхъ папенька и дѣдушка въ свое время щеголяли на выборахъ. Мундиры были необыкновенно странные: съ коротенькими таліями и длинными узенькими фалдами назади. Кое-гдѣ сукно было побито молью, а на одномъ мундирѣ оказалось даже вывороченнымъ; шитье потемнѣло и отдавало запахомъ мѣди. Дѣлать однакожъ было нечего, пришлось одѣться въ мундиры; но такъ какъ ихъ было только четыре, то на мѣняλу, въ воздаяніе отличныхъ заслугъ, возложили блузу. Часа черезъ два мы были уже обсушены и обогрѣты; а когда Марья-вдова накормила насъ яичницей, то всѣ ночныя злоключенія забылись, и мы почувствовали себя такъ хорошо, какъ будто всю жизнь провели въ мундирахъ, готовые защищать свои дворянскія права.

Между тѣмъ на селѣ пріѣздъ нашъ произвелъ впечатлѣніе. Первымъ толкнулся въ усадьбу батюшка и стыдливо потупилъ глаза, увидѣвъ меня въ папенькиныхъ штанахъ съ отложнымъ гульфомъ. Но когда узналъ, что Проплёванную торгуетъ у меня кунчиха Стёгнушкина, которая будетъ тутъ жить и служить молебны и всенощныя, то ободрился и сталъ считать на пальцахъ: одинъ двугривенный, да другой двугривенный, да четвертакъ... Потомъ прибѣжалъ деревенскій староста и разсказалъ, что пришли на село въ побывку

два солдата; одинъ говоритъ: скоро опять крѣпостное право будетъ; а другой говоритъ: и земля, и вода, и воздухъ—все будетъ казенное, а казна ужъ отъ себя всѣмъ раздавать будетъ. Такъ которому солдату вѣрить?

— Какъ это... „казенное“?—не понялъ я.

— Рѣшительно, то-есть, все... какъ есть!—пояснилъ староста.

Вопросъ былъ мудреный; пахло превратными толкованіями. Ежели отвѣтить, что оба солдата врутъ—скажутъ пожалуй, что я подрываю авторитетъ арміи и флотовъ. Ежели склониться на сторону одного изъ двухъ вѣстовщиковъ, такъ неизвѣстно, который изъ нихъ превратнѣе. Кажется, какъ будто первый солдатъ меньше превратенъ, нежели второй, а впрочемъ..

— Богу молиться нужно!—замѣтилъ я наконецъ, взглянувъ на батюшку.

— И я имъ тоже говорю,—отозвался батюшка:—не надѣйтесь ни на князи, ни на сыны человѣческіе, а къ Богу прибѣгайте!

Тогда староста широко перекрестился и спросилъ:

— А пачпорты есть?

И въ объясненіе своего требованія (все-таки я когда-то ему „замѣсто отца“ былъ!) понесъ околесную, изъ которой можно было только разобрать: „почему что“ да „спаси Богъ!“ И въ заключеніе: „нонѣ строго!“

— Вонъ ужъ Усиленья на дворѣ,—сказалъ онъ:—а мы, благослови Господи, сѣять-то и не зачинали!

— Что такъ?

— Все сицилистовъ ловимъ. Намеднись всѣмъ опчествомъ двое сутокъ въ лѣсу ночевали, искали его—анъ онъ, каторжный, у всѣхъ на глазахъ убёгъ!

— Сицилистъ-то?!

— Онъ самый. Видимъ, что бѣжитъ... ахъ, батюшки! господа хрестьяне! вонъ онъ! лови, братцы, лови!—Куда-те! такъ между пальцевъ, словно вьюнъ, уползъ!

Послѣ старосты пришла дѣвушка съ села и возвѣстила, что посадскія дѣвки просятъ позволенія хороводы передъ домомъ играть и новую помѣщицу повеличать (вѣсть о пріѣздѣ Фанушки для покушки Проплёванной съ быстротою молніи проникла во всѣ дворы).

Послѣднимъ пришелъ мѣстный кабатчикъ, подъ предлогомъ, не

нужно ли чаю-сахару, но въ сущности для того, чтобъ прочитать у Фанушки въ глазахъ, не намѣревается ли она завести въ Пролёванной свой кабакъ.

Но у всѣхъ, даже у карлицы Польки, былъ на умѣ затаенный вопросъ: какимъ образомъ мы, именующіе себя „интеллигентами“ и представителями „правящихъ классовъ“, *несвойственно* прибѣжали пѣшкомъ, вмѣсто того, чтобъ торжественно въѣхать на двухъ-трехъ тройкахъ съ малиновымъ звономъ?

Но кромѣ того могъ возникнуть и другой вопросъ, касавшійся лично меня, а именно: *настоящій* ли это баринъ пріѣхалъ, не подложный ли, надѣвшій только личину его?

Я и самъ понималъ важность и даже естественность этихъ вопросовъ, и не безъ опасенія ждалъ минуты, когда они настолько созрѣютъ, что ни батюшка, ни староста, ни кабатчикъ не будутъ уже въ состояніи держать языкъ за зубами. Судьба, по истинѣ, была несправедлива къ намъ. Ни присутствіе мѣнялы, ни участіе въ нашихъ похожденіяхъ столь несомнѣнно позорнаго человѣка, какъ Очищенный,—ничто не тронуло жестоковыйную ябеду, которой современная испуганность предоставила привилегію раздавать патенты на благонадежность и неблагонадежность. Мы не спорили противъ силы вещей; напротивъ, безпрекословно подчинились ей и начертали такую программу, въ которой было и двоеженство, и подлоги—кажется, на что́ лучше! И что-жъ, вмѣсто того, чтобъ оказать намъ сочувствіе и поддержку, вмѣсто того, чтобъ сказать: зачѣмъ совершать подлоги! можно и безъ подлоговъ на правильной стезѣ стоять!—насъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ цѣлая масса внезапностей, которыя поселяютъ въ сердцахъ нашихъ меланхолію и нерѣшительность...

Чего собственно добивалось отъ насъ безсмысленное гороховое пальто, по милости котораго мы такъ неожиданно очутились въ Пролёванной? Ежели оно серьезно представляло свой принципъ собиранія статистики, то не могло же оно не понимать, что людямъ, которые посѣщаютъ квартальные балы, играютъ въ карты съ квартальными дипломатами, сочиняютъ уставы о благонравственномъ поведеніи и основываютъ университеты съ цѣлью распространенія митрогнозіи, слѣдуетъ предоставить полный просторъ, а не слѣдить за каждымъ ихъ шагомъ и тѣмъ менѣе пугать. Что́ было предосудительно-революціоннаго въ нашемъ вчерашнемъ собесѣдованіи съ

старичкомъ и съ мѣщаниномъ Презентовымъ? Какую особливую опасность представляло даже сдѣланное Глумовымъ (и неоконченное) сравненіе современности съ камаринскимъ мужикомъ?—Рѣшительно, ни революціоннаго, ни предосудительнаго, ничего въ этихъ постукахъ не было. Но еслибъ даже и представилось что-нибудь предосудительное и небезопасное, то не слѣдовало ли бы взглянуть на эти постуки какъ на случайныя уклоненія, къ которымъ новообращенный прибѣгаетъ, чтобы сорвать сердце за утраченный стыдъ? Вѣдь надо же и **ему какое-нибудь утѣшеніе оставить.**

Нѣтъ, какъ хотите, а даже въ сферѣ ябеды торжествующая современность заявляетъ себя не только несостоятельною, но просто глупою. Я знаю, что система, допускающая пользованіе услугами завѣдомыхъ прохвостовъ, въ качествѣ сдерживающей силы относительно людей убѣжденія, существуетъ не со вчерашняго дня, но, по моему мнѣнію, давность въ подобномъ дѣлѣ есть прецедентъ по малой мѣрѣ неумѣстный. Въ сущности, это совсѣмъ не система, а злодѣйство. Изъ человѣка—положимъ, заблуждающагося, но въ идейномъ смыслѣ все-таки возвышающагося надъ общимъ уровнемъ—дѣлаютъ загадку, и угадываніе этой загадки предоставляютъ прохвосту... ужели это не злодѣйство? Вы представьте только себѣ, какъ этотъ злополучный игнорантъ, поводя носомъ въ воздухѣ, приступаетъ къ человѣческой душѣ и начинаетъ въ ней по складамъ разбирать: буки-азъ—ба, вѣди-азъ—ва... Что онъ пойметъ?—Въ наилучшемъ случаѣ онъ будетъ разѣвать ротъ и хлопать глазами. Но если у него есть стремленіе показать товаръ лицомъ и если, кромѣ того, у него окажется еще волчій аппетитъ, такъ вѣдь онъ не затруднится даже напоминаніемъ, а просто-на-просто, заручившись какимъ-нибудь хлёсткимъ словомъ, начнетъ съ его помощью уловлять вселенную. Нѣтъ, какъ хотите, а **это положительное злодѣйство.**

Міръ убѣжденій и міръ шалопайства суть два совершенно различные міра, не имѣющіе *ни одной* точки соприкосновенія. Это истина, непререкаемость которой должна быть *для всѣхъ* обязательною. Допустите въ сферѣ убѣжденій самую густую окраску заблужденія, такъ вѣдь и тогда прежде всего надо умѣть опредѣлить, въ чемъ именно заключается заблужденіе и почему непремѣнно предполагается, что оно должно нанести ущербъ сложившейся современности. Развѣ невѣжественный прохвостъ можетъ возвыситься до пости-

женія столь сложныхъ и трудныхъ явленій? Нѣтъ, онъ только будетъ выкрикивать безсмысленное слово, и подъ его защитою станетъ сваливать въ одну кучу все разнообразіе аспираційй человѣческой мысли. Вообразите, какъ должно быть трудно выслушивать наблюденія этихъ людей, которые смѣшиваютъ Прудона съ Юханцевымъ и Гарибальди съ Ределею!

Встарину ябеда какъ будто умѣе была. Она задавалась вполнѣ опредѣленною и притомъ доступною ея пониманію цѣлью, и только въ ея предѣлахъ предъявляла свои требованія. Все лишнее, не вмѣщавшееся въ эти предѣлы, она отсѣкала, какъ бы говоря: у меня и настоящаго дѣла довольно, а въ остальномъ, буде это окажется нужнымъ, пусть разбираются послѣдующія ябеды! Это, быть можетъ, концентрировало жестокость, но въ то же время устраняло отъ нея характеръ шутовства и надругательства. Нынче, благодаря чрезмѣрному размноженію шалопаевъ, до того все перепуталось, что трудно даже опредѣлить, что изъ безпрерывно наростающей массы сплетенъ представляетъ реальность, а что безъ дальнихъ словъ, слѣдуетъ бросить на съѣденіе собакамъ. Благодаря этой путаницѣ, самыя существенныя и трудныя задачи жизни дѣлаются достояніемъ невѣжественнѣйшихъ добровольцевъ, и затѣмъ недомысліе и даже явная безсмыслица являются главнымъ обвинительнымъ пунктомъ, противъ котораго даже возражать противно... Ясно, что это даже не обвиненіе, не преслѣдованіе, а просто шутовство и надругательство.

Сознавать себя со всѣхъ сторонъ опутаннымъ сѣтью шалопайства—развѣ это не горшая изъ обидъ? Видѣть шалопайство вторгающимся во всѣ жизненныя отношенія, нюхающимъ, чѣмъ пахнетъ въ человѣческой душѣ, читающимъ по складамъ въ человѣческомъ сердцѣ, и чувствовать, что наболѣвшее слово негодованія не только не живетъ ничьихъ сердецъ, а, напротивъ, безсильно замираетъ на языкѣ—развѣ можетъ существовать болѣе тяжелое, болѣе удручающее зрѣлище! Повторяю: ябеда существовала искони, въ качествѣ подспорья, но она вращалась въ извѣстной сферѣ, ограничивалась даннымъ кругомъ явленій и рѣдко выходила за предѣлы своей спеціальности. Нынѣ она обмірщилась, расплылась, расползлась, утратила всякое представленіе о границахъ и мѣрѣ и—что всего важнѣе—захватила въ свои тиски обиходъ „средняго“ человѣка и на немъ по преимуществу сосредоточила силу своихъ развращающихъ экспериментовъ.

Но, можетъ быть, это-то именно и погубитъ ее.

— Какъ ты думаешь, погибнетъ ябеда?—обратился я къ Глумову.

— Непремѣнно,—отвѣтилъ онъ, сразу отгадавъ мои мысли.— Во-первыхъ, она слишкомъ разбросалась и всѣ свои задачи потопила въ массѣ околичностей; во-вторыхъ, она кровно обидѣла „средняго“ человѣка, для котораго вопросъ о цѣлости шкуры представляется существеннѣйшею задачей всей жизни.

— Вотъ мы, напримѣръ...

— Ну, да, именно мы, „средніе“ люди. Сообрази, сколько мы испытали тревогъ въ теченіе одного дня! Во-первыхъ, во всѣ лопатки бѣжали тридцать верстъ; во-вторыхъ, насъ могли съѣсть волки, мы въ яму могли попасть, въ болотѣ загрузнуть; въ-третьихъ, не успѣли мы обсушиться, какъ опять этотъ омерзительный вопросъ: начпорты есть? А вотъ ужо погоди: свяжутъ намъ руки назадъ и поведутъ на веревочкѣ въ Корчеву... И ради чего? что мы сдѣлали?

— Прекрасно; но какимъ же образомъ средній человѣкъ успѣетъ побѣдить ябеду?

— А вотъ именно этимъ вопросомъ, который я сейчасъ сдѣлалъ. Будетъ и въ домахъ, и на улицахъ, и на распутіяхъ, и шопотомъ, и вполголоса, и громко спрашивать: что мы сдѣлали? Только и всего. Высшаго разряда интеллигентъ не спизойдетъ до этого вопроса, мелкая сошка — не возвысится до него, а „средній“ человѣкъ именно какъ разъ ему въ мѣру пришелся. Средній человѣкъ до болѣзненности чувствителенъ къ тѣмъ благамъ, совокупность которыхъ составляетъ жизненный комфортъ. Не къ ѣдѣ одной, не къ одному прилично сытому платью, а къ комфорту вообще, и въ томъ числѣ къ свободѣ мыслить и выражать свои мысли по-человѣчески. И вотъ, когда онъ замѣчаетъ, что въ его мысль залѣзаетъ шалопай, когда онъ убѣждается, что шалопай на каждомъ шагу ревизуетъ его душу, дразнитъ его и отравляетъ его существованіе сплетнями—онъ начинаетъ метаться и закипать. Нѣкоторое время онъ, конечно, сдерживаетъ себя и вилетъ—вотъ какъ мы, напримѣръ: шутка сказать, съ Очищеннымъ связались!—но потомъ разѣваетъ ротъ и кричитъ: за что? что я сдѣлалъ?!

— А потомъ?

— Чудакъ! А потомъ, разумѣется, и остальные средніе люди

разѣваютъ рты: и въ самомъ дѣлѣ, что же онъ сдѣлалъ? И выходитъ нѣмая сцена — въ родѣ какъ въ „Ревизорѣ“ — для постановки которой приходится прибѣгать къ содѣйствію балетмейстера.

Глумовъ помолчалъ съ минуту и продолжалъ:

— Высоко-интеллигентнаго человѣка легко изолировать, потому что онъ относится къ мелочамъ индифферентно. Его можно вырвать изъ рядовъ человѣческихъ и скомкать, потому что средній человѣкъ не заступится за него, а только будетъ стыдливо замыкать уши и жмурить глаза. Мелкая сошка — та сама руки протянетъ: вяжите, батюшки! мы люди привышные? А средній человѣкъ—тотъ галдѣть будетъ. У него, куда онъ ни обернется—вездѣ „свой братъ“, которому онъ будетъ жаловаться и руки показывать: „смотрите, запястья-то какъ натерли! это мнѣ-то натерли! мнѣ, дворянскому сыну, мнѣ, правящему классу... руки натерли!“

Произнося послѣднія слова, Глумовъ вдругъ ожесточился и даже погрозилъ пальцемъ въ пространство. Очевидно на него подѣйствовалъ дворянскій мундиръ, который былъ на его плечахъ.

Тогда и я, почувствовавъ на плечахъ мундиръ, въ свою очередь разсердился.

— И кто же надругается надъ нами!—воскликнулъ я:—шваль отпѣтая надругается! отребье, не помнящее родства! Надъ нами, надъ дворянскими дѣтьми! За что? Что мы сдѣлали?

И оба вдругъ, точно наступивъ другъ другу на мозоли, вскочили, отворили окно и крикнули:

— За что? что мы сдѣлали?

Смотримъ, а на дорогѣ, передъ самой усадьбой стоитъ мужчина.

Это былъ урядникъ: на головѣ—кепи; сбоку — шашка; усы—нафабрены. Онъ стоялъ и въ задумчивости смотрѣлъ на березки, которыми былъ обсаженъ красный дворъ, словно разсчитывалъ, сколько тутъ можетъ выйти саженъ дровъ.

— А ты еще сомнѣвался, есть ли въ Проплёванной урядникъ! —шопотомъ указалъ я Глумову.

— Смотри! смотри! не одинъ, а цѣлыхъ два!—воскликнулъ онъ вмѣсто отвѣта.

Дѣйствительно, изъ-за крапивы, росшей на мѣстѣ стараго флигеля, показался другой урядникъ, тоже въ кепи и при шашкѣ. Не успѣли они сдѣлать другъ другу подъ козырекъ, какъ съ разныхъ

сторонъ къ нимъ подошло еще десять урядниковъ. Одинъ изъ нихъ поймалъ по дорогѣ пригульнаго поросенка, другой—вынулъ изъ-подъ курицы только-что снесенное яйцо; остальные не принесли ничего и были печальны.

Началось совѣщаніе („можетъ быть, предположеніе о *непостоянствѣ* барина уже созрѣло и формулировалось", невольно мелькнуло у меня въ головѣ). Сначала распредѣлили наблюдательные пункты; потомъ стали обсуждать, съ которой стороны ловче повести атаку: со стороны лѣса или со стороны болота. Но ничего не вышло, потому что пригульный поросенокъ овладѣлъ всѣми ихъ мыслями. Тогда рѣшили: представить по начальству о милостивомъ разрѣшеніи объявить Проплёванную въ осадномъ положеніи, а въ ожиданіи отвѣта изловить другого пригульнаго поросенка (буде возможно, съ кашею), а равно и курицу, снесшую яйцо.

— Говорилъ я тебѣ! — сказалъ Глумовъ въ испугѣ: — говорилъ, что не миновать намъ веревочки!

Глава XX.

Тоска овладѣла нами, та туная, щемящая тоска, которая нападаетъ на человѣка въ предчувствіи загадочной и ничѣмъ не мотивированной угрозы. Бываютъ времена, когда такого рода предчувствія захватываютъ цѣлую массу людей и, словно злокачественный туманъ, стелются надъ мѣстностью, превращая ее въ Чурову долину. Въ особенности памятно мнѣ въ этомъ смыслѣ одно лѣто. Сидишь, бывало, дома — чудятся шорохи, точно за дверью, въ потемкахъ, кто-то ручку замка нащупываетъ; выйдешь на улицу — чудится, точно изъ каждаго окна кто-то пальцемъ грозитъ. Допустимъ, что все это только чудится и что на самомъ дѣлѣ ничто *необыкновенное* не угрожаетъ, но вѣдь и миражи могутъ измучить, ежели вплотную налягутъ.

Именно такого рода миражи обступили насъ вслѣдъ за урядницкимъ совѣщаніемъ.

Сумерки уже наступили и приближеніе ночи пугало насъ. Очищенному и „нашему собственному корреспонденту", когда они бывали возбуждены, по ночамъ являлись черти: прочимъ хотя черти не являлись, но тоже казалось, что человѣка легче можно спанать въ

спящемъ положеніи, нежели въ бодрственномъ. Поэтому рѣшились бодрствовать какъ можно дольше, и когда я предложилъ, чтобъ скоротать время, устроить „литературный вечеръ“, то всѣ съ радостью ухватились за эту мысль.

Прежде всего мы обратились къ Очищенному. Это былъ своего рода Одиссей, котораго жизнь представляла такое разнообразное сцѣпленіе реальнаго съ фантастическимъ, что можно было цѣлый мѣсяцъ прожить въ захолустьѣ, слушая его разсказы, и не переслушать всего. Почтенный старичокъ охотно согласился на нашу просьбу, и дѣйствительно разсказалъ сказку столь несомнѣнно фантастическаго характера, что я рѣшился передать ее здѣсь дословно, ничего не прибавляя и не убавляя. Вотъ она.

Сказка о ретивомъ начальникѣ,

КАКЪ ОНЪ СВОИМЪ УСЕРДІЕМЪ ВЫШЕЕ НАЧАЛЬСТВО ОГОРЧИЛЪ.

„Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ-былъ ретивый начальникъ. Случилось это давно, еще въ ту пору, когда промежду начальниковъ такое правило было: стараться какъ можно больше вреда дѣлать, а ужъ изъ сего само собой впослѣдствіи польза произойдетъ.

„— Обывателя надо сначала скрутить,—говорили тогдашніе генералы:—потомъ въ бараній рогъ согнуть, а наконецъ, въ отдѣлку, ежовой рукавицей пригладить. И когда онъ вышколится, тогда ужъ самъ собой постепенно отдышется и процвѣтетъ.

„Правило это ретивый начальникъ безъ труда на носу у себя зарубилъ. Такъ что когда онъ, впослѣдствіи, „ввѣренный край“ въ награду за понятливость получилъ, то у него ужъ и программа была припасена. Сначала онъ науки упразднитъ, потомъ городъ сналитъ и наконецъ населеніе испугаетъ. И всякій разъ будетъ при этомъ слезы проливать и приговаривать: „видитъ Богъ, что я сей вредъ для собственной ихней пользы дѣлаю!“ Годикъ-другой такимъ образомъ попалитъ—смотришь, анъ ввѣренный-то край и остепениться помаленьку сталъ. Остепенялся да остепенялся—и вдругъ каторга!

„Каторга, то-есть общежитіе, въ которомъ обыватели не въ свое дѣло не суются, пороху не выдумываютъ, передовыхъ статей не пишутъ, а живутъ и постепенно блаженствуютъ. Въ будни работу ра-

ботаютъ, въ праздники за начальство Богу молять. И оттого у нихъ все какъ по маслу идетъ. Наукъ нѣтъ—а они хоть сейчасъ на экзаменъ готовы; вина не пьютъ — а питейный доходъ возрастаетъ да возрастаетъ; товаровъ изъ-за границы не получаютъ—а пошлины на таможняхъ поступаютъ да поступаютъ. А онъ, ретивый начальникъ, только смотритъ да радуется; бабамъ по платку даритъ, мужикамъ —по красному кушаку.—Вотъ какова *моя* каторга! говоритъ:—вотъ зачѣмъ я науки истреблялъ, людей калѣчилъ, города огнемъ палилъ! Теперь понимаете?

„— Какъ не понимать—понимаемъ.

„Въ этой надеждѣ пріѣхалъ онъ на свое мѣсто и началъ вредить. Вредитъ годъ, вредитъ другой. Народное продовольствіе прекратилъ, народное здравіе — упразднилъ, письмена — сжегъ и пепелъ по вѣтру развѣялъ. На третій годъ сталъ себя провѣрять — что̀ за чудо!—надо бы, по настоящему, ввѣренному краю ужъ процвѣсти, а онъ даже остепениться не начиналъ! Какъ ошеломилъ онъ съ перваго абцуга обывателей, такъ съ тѣхъ поръ они распахня ротъ и ходятъ...

„Задумался ретивый начальникъ, припялся разыскивать: какая тому причина?

„Думалъ-думалъ, и вдругъ его словно свѣтъ озарилъ. „Разсужденіе“ —вотъ причина. Сталъ онъ припоминать разные случаи, и чѣмъ больше припоминалъ, тѣмъ больше убѣждался, что хоть и много онъ навредилъ, но до *настоящаго* вреда, до такого, который бы всѣхъ сразу прищемилъ, все-таки не дошелъ. А не дошелъ потому, что этому препятствовало „разсужденіе“. Сколько разъ съ нимъ бывало: разбѣжится, размахнется, закричитъ: „разнесу!“— анъ вдругъ „разсужденіе“: какой же ты, братецъ, оселъ! Ну, онъ и спасуетъ. А кабы не было у него „разсужденія“, онъ бы давно до каторги дѣло довелъ.

„— Давно бы вы у меня отдышались! — крикнулъ онъ не своимъ голосомъ, сдѣлавши это открытіе.

„И погрозилъ кулакомъ въ пространство, думая хоть этимъ послѣднюю пользу ввѣренному краю принести.

„На его счастіе, жила въ городѣ колдунья, которая на кофейной гущѣ будущее отгадывала, а между прочимъ умѣла и „разсужденіе“ отнимать. Побѣжалъ онъ къ ней, кричитъ: „отымай!“ Ви-

дить колдунья, что дѣло къ спѣху, живымъ манеромъ сыскала у него въ головѣ дырку и подняла клапанчикъ. Вдругъ что-то изъ дырки свинуло... шабашъ! Остался нашъ парень безъ разсужденія...

„Разумѣется, очень радъ. Сталъ ѣсть — куска до рта донести не можетъ, все мимо. Хохочетъ.

„Сейчасъ побѣжалъ въ присутственное мѣсто. Сталъ по срединѣ комнаты и хочетъ вредъ сдѣлать. Только хотѣть-то хочетъ, а какой именно вредъ и какъ къ нему приступить—не понимаетъ. Таращитъ глазами, губами шевелитъ—больше ничего. Однако такъ онъ однимъ своимъ неразсудительнымъ видомъ всѣхъ испугалъ, что разомъ всѣ разбѣжались. Тогда онъ ударилъ кулакомъ по столу, раскололъ его и убѣжалъ.

„Прибѣжалъ въ поле. Видитъ — люди пашутъ, боронятъ, косятъ, гребутъ. Знаетъ, сколь необходимо сихъ людей въ рудники заточить, а какимъ манеромъ—не понимаетъ. Вытаращилъ глаза, отнялъ у одного пахаря косулю и разбилъ въ дребезги; но только-что бросился къ другому пахарю, чтобъ борону разнести, какъ всѣ испугались, и въ одну минуту поле опустѣло. Тогда онъ разметалъ только-что сметанный стогъ сѣна и убѣжалъ.

„Воротился въ городъ. Знаетъ, что надобно его съ четырехъ концовъ запалить, а какимъ манеромъ—не понимаетъ. Вынулъ, по привычкѣ, изъ кармана коробочку спичекъ, чиркаетъ, да не тѣмъ концомъ. Взбѣжалъ на колокольню и сталъ бить въ набатъ. Звонитъ часъ, звонитъ другой, а что за причина—не понимаетъ. А народъ между тѣмъ сбѣжался, спрашиваетъ: „гдѣ, батюшко, гдѣ?“ Наконецъ усталъ звонить, сбѣжалъ внизъ, опять вынулъ коробку со спичками, зажегъ ихъ всѣ разомъ, и только-было ринулся въ толпу, какъ всѣ мгновенно брызнули въ разныя стороны, и онъ остался одинъ. Тогда побѣжалъ домой и запершя на ключъ.

„Сидитъ недѣлю, сидитъ другую; вреда не дѣлаетъ, а только не понимаетъ. И обыватели тоже не понимаютъ. Тутъ-то бы имъ и отдышаться, покуда онъ безъ вреда запершись сидѣлъ, а они вмѣсто того испугались. Да нельзя было и не испугаться. До тѣхъ поръ все вредъ былъ и всѣ отъ него пользы съ часу на часъ ждали; но только-что было, польза наклевываться стала, какъ вдругъ все кругомъ стихло: ни вреда, ни пользы. И чего отъ этой тишины ждать—не-

извѣстно. Ну. и оторопѣли. Бросили работы, попрятались въ норы, азбуку позабыли, сидятъ и ждутъ.

„А у него между тѣмъ опять разсужденіе прикапливаться стало. Однажды выглянулъ онъ въ окошко и какъ будто понялъ,

„— Кажется, я однимъ своимъ неразсудительнымъ видомъ *настоящій* вредъ сдѣлалъ!—воскликнулъ онъ и сталъ ждать: вотъ сейчасъ соберутся передъ домомъ обыватели и будутъ каторги просить.

„Но сколько онъ ни ждалъ, никто не пришелъ. Повидимому все уже у него на чеку: и поля заскорбли, и рѣки обмелѣли, и стада сибирская язва косѣкла, и письмена пропали; еще одно усиліе—и каторга готова! Только вопросъ, съ кѣмъ же онъ устроитъ ее, эту каторгу? Куда онъ ни посмотритъ, вездѣ пусто; только „мерзавцы“, словно комары на солнышкѣ, стадами играютъ. Такъ вѣдь съ ними съ одними и каторгу устроить нельзя. Потому что и для каторги не лебедникъ праздный нуженъ, а коренной обыватель, работяга, смирный.

„Разсердился. Вышелъ на улицу, сталъ въ обывательскія норы залѣзать и по одиночкѣ народъ оттолѣ вытаскивать. Вытащитъ одного—приведетъ въ изумленіе; другого—тоже въ изумленіе приведетъ. Но тутъ опять бѣда. Не успѣетъ до крайней норы дойти—смотритъ, анъ прежніе опять въ норы уползли...

„Тогда онъ рѣшился. Вышелъ изъ воротъ и пошелъ прямикомъ. Шелъ, шелъ и пришелъ въ большой городъ, въ которомъ вышнее начальство резиденцію имѣло.

„Смотритъ—и не вѣритъ глазамъ своимъ! Давно ли въ этомъ самомъ городѣ „мерзавцы“ на всѣхъ перекресткахъ программы выкрикивали, а „людишки“ въ норахъ хоронились—и вдругъ теперь все наоборотъ! Людишки безъ задержки по улицамъ ходятъ, а „мерзавцы“ въ норахъ попрятались!

„Куда ни взглянетъ—вездѣ изобиліе плодовъ земныхъ. Зайдетъ въ трактиръ — „никогда, сударь, такъ бойко не торговали!“ Заглянетъ въ калашную—„никогда столько калачей не пекли!“ Завернетъ въ бакалейную лавку—„икры, сударь, наготовиться не можемъ! сколько привезутъ, столько сейчасъ и расхватаютъ!“

„— Что за причина?—спрашиваетъ онъ у знакомыхъ и незнакомыхъ:—какой такой *настоящій* вредъ вамъ учинилъ, отъ котораго вы вдругъ такъ ходко пошли?

„— Не отъ вреда это,—отвѣчаютъ ему:—а напротивъ. Новое

начальство у насъ нынѣче; оно всѣ вреды упразднило — отъ этого такъ у насъ и хорошо.

„Отправился ретивый начальникъ по начальству. Видитъ: домъ, гдѣ начальникъ живетъ, новой краской выкрашенъ; швейцаръ—новый, курьеры—новые. А наконецъ и самъ начальникъ—съ иголочки. Отъ прежняго начальника вредомъ пахло, отъ новаго — пользою. Прежній начальникъ соловѣлъ, новый—соловьемъ щелкаетъ. Улыбается, руку жметъ, садиться проситъ... ангелъ!

„Дѣлать нечего, сталъ онъ докладывать. И что дальше докладываетъ, то гаже выходитъ. Такъ, моль, и такъ, сколько ни дѣлалъ вреда, а пользы ни на грошъ изъ того не вышло. Не можетъ отдышаться ввѣренный край, да и шабашъ.

„— Повторите!—не понялъ новый начальникъ.

„— Такъ и такъ. Никакимъ манеромъ до *настоящаго* вреда дойти не могу!

„— Что такое вы говорите?

„Оба разомъ встали и смотрятъ другъ на друга. И вдругъ новый начальникъ вспомнилъ, что онъ самъ сколько разъ въ этомъ смыслѣ для своего предмѣстника циркуляры изготовлялъ.

„— Ахъ, такъ вы вотъ объ чемъ!—расхохотался онъ. — Но вѣдь мы ужъ эту манеру оставили! Нынѣче мы вреда не дѣлаемъ, а только пользу. Ибо *невозможно въ рѣку нечистоты валить и ожидать, что отъ сего вода въ ней слаще будетъ.* Зарубите это себѣ на носу.

„Воротился ретивый начальникъ во ввѣренный край и съ тѣхъ поръ у него на носу двѣ зарубки. Одна (старая) гласитъ: „достигай пользы посредствомъ вреда"; другая (новая): „ежели хочешь пользу отечеству сдѣлать, то..." Остальное на носу не умѣстилось.

„Но иногда онъ принимаетъ одну зарубку за другую. Тогда выходитъ такъ: что ѣлъ, что купалъ—все едино".

Сказочка Очищеннаго всѣмъ понравилась. Въ особенности всѣхъ утѣшило то, что участь ввѣреннаго края разрѣшилась по возможности благополучно. Одна Фашушка, по наивности, предъявила нѣкоторыя сомнѣнія. Сначала обезпокоилась тѣмъ, какимъ образомъ могло случиться, что ретивый начальникъ такъ долго не зналъ, что въ главномъ городѣ новое начальство новые порядки завело?—на что

Глумовъ резонно отвѣтилъ: „оттого и случилось, что дѣло происходило въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, а гдѣ именно—угадай!“ Потомъ изъявила сожалѣніе, зачѣмъ новое начальство старую зарубку на носу у ретиваго начальника не только не уничтожило, а даже какъ будто въ силѣ оставило?—на что Глумовъ тоже резонно объяснилъ: „затѣмъ и оставило, что, можетъ быть, понадобится“.

— Не для того мы, мой другъ, здѣсь собрались, чтобъ критиковать,—прибавилъ онъ солидно:—а для того, чтобы время съ пользою провести. Вотъ и я спервоначалу думалъ: какой, молъ, оболтусъ этотъ ретивый начальникъ, ишь вѣдь что выдумалъ!—а теперь и самъ вижу, что безъ того, чтобъ городокъ-другой не спалить, ихнему брату нельзя. Управить вѣдь нужно, а какъ ты управишь, коль скоро у тебя въ рукахъ нѣтъ ни огня, ни меча? Такъ-то. Ну, да ладно. Чья теперь очередь разсказывать? Онуфрій Петровичъ! ты, кажется, жизнеописаніе свое хотѣлъ разсказать... начинай, другъ!

Но злополучный мѣняло, вмѣсто того, чтобъ приступить къ разсказу, вынулъ изъ кармана замасленную бумагу, въ родѣ лавочнаго счета, и предъявилъ ее намъ, сказавъ:

— Вотъ моя жизнь!

ЖИЗНЕОПИСАНІЕ

1-й гильдіи купца Онуфрія Петровича Парамонова.

Въ 1818 году, Января 15-го, при рожденіи плачено:

Попамъ	100 р.	— к.
Въ нижній земскій судъ	100 „	— „
Прочимъ судіямъ	100 „	— „

Въ 1826 году Іюлія 30-го при принятіи родителями печати, якобы въ сонномъ видѣ сіе случилось, плачено всѣмъ вопче. . 5,000 „ — „

Тогда же покупано для господина исправника:

Икры боченокъ	15 „	50 „
Балыковъ пара	16 „	65 „
Вина Марсалы	30 „	— „
Дѣтямъ исправницкимъ орѣховъ . . .	1 „	25 „
Попу Микитѣ сантурпискаго	12 „	— „

Со 1818 по 1838 г. плачено:

За исхожденіе по 100 руб. ежегодно ному	2,000	р. — к.
За „житіе“ въ земскій судъ	7,350	„ — „
Въ 1829 году за одолѣніе побѣды надъ турками дадено	750	„ — „

Доздѣ ассигнаціями.

Въ 1838, по случаю переложенія ассигнацій на серебро, всѣмъ вопче. Господи благослови!	1,000	„ — „

серебромъ

Въ 1839 г. Іануарія 15-го по случаю совершенныхъ лѣтъ и принятія малой печати якобы въ сонномъ видѣ произошло. . . .	5,000	„ — „
Пріѣзжалъ чиновникъ изъ губерніи для ревизіи по онному же дѣлу; дадено. . . .	7,000	„ — „
Ему же часы съ репетиціей	350	„ — „
По сему же случаю начальнику губерніи, на вдовъ и сиротъ	5,000	„ — „
На украшеніе монастырей	5,000	„ — „
Въ 1842 по случаю учрежденія губернскихъ правленій.	6,000	„ — „
По сему же случаю исправнику тарантасъ покупанъ.	300	„ — „
Съ 1838 по 1845 г. за продолженіе житія по 1,000 р.	7,000	„ — „
За исхожденіе	3,500	„ — „
Въ 1845 году въ Петербургъ поѣхали, въ Ряжскѣ исправникъ хотѣлъ слѣдствіе о растратѣ ввѣреннаго имущества начать, плачено	2,000	„ — „
Тоже въ Рязани	1,500	„ — „
Тоже въ Коломнѣ	1,500	„ — „
Бронницы ночью проѣхали	100	„ — „
Въ Москвѣ хотѣли въ Сибирь сослать .	15,000	„ — „
Въ Клину за освидѣтельствованіе . .	500	„ — „
Въ Твери тожъ.	1,000	„ — „

Въ Торжкѣ	750	р.	— к.
Въ Вышнемъ-Волочкѣ	1,000	„	— „
Въ Валдаѣ колокольчиковъ накупили .	5	„	— „
Въ Крестцахъ ямщикъ задами провезъ .	100	„	— „
Въ Новгородѣ губернаторъ на чашку чая звалъ	3,000	„	— „
Пріѣхали въ Петербургъ	50,000	„	— „
Въ 1846 году отъ Министра генералъ всѣхъ вопче тревожилъ.	45,000	„	— „
Особливо тревожилъ	50,000	„	— „
Въ 1847 г. Статскій совѣтникъ тревожилъ	25,000	„	— „
Въ 1849 г. по случаю побѣды одолѣнія надъ мятежными Венграми	15,000	„	— „
На усиленіе средствъ	10,000	„	— „
Въ 1853 году на арміи и флоты. . .	75,000	„	— „
Въ 1854 году на тотъ же предметъ . .	50,000	„	— „
Въ 1855 году по случаю окончанія въ знакъ радости	50,000	„	— „
Съ 1845 по 1856 г. окладъ по 6,000 р. въ годъ	66,000	„	— „
Въ 1857 году, по случаю дороговизны припасовъ, окладъ увеличенъ до 10,000 р. въ годъ, причемъ на вопросъ: „а кромѣ сего?“ отвѣтствовано: „посмотримъ“.			
Въ 1858 году за „посмотримъ“. . .	10,000	„	— „
Въ 1862 г. по случаю реформы окончанія.	10,000	„	— „
Въ 1863 году призывалъ генералъ и чаемъ потчивалъ. Дадено на общеполезное устройство	25,000	„	— „
Въ 1864 году оному же генералу на покупку имѣнія взаймы дадено	40,000	„	— „
Въ 1865 году, по поводу разныхъ случаевъ внезапностей	30,000	„	— „
Въ семъ же году нѣмецкій принецъ пріѣзжалъ. чай у насъ въ домѣ кушалъ, взаймы дадено	6,200	„	— „

Оный же принцъ, отъѣзжая, вновь взаймы выпросилъ	6,200	р.	62 к.
Адъютанту его	3,000	„	— „
Прочимъ всѣмъ.	3,200	„	— „
Въ 1866 году по случаю свободы книгопечатанія.	50	„	— „
Въ 1867 году, на предметы вопче . .	5,000	„	— „
Въ 1870 году квартальному надзирателю на университеты.	600	„	— „
Въ 1871 году ему же на распространеніе здравыхъ понятій	1,000	„	— „
Въ 1872 г. ему же на памятникъ Пушкину	—	„	15 „
Въ 1873 году призывалъ генералъ. На усиленіе средствъ	16,000	„	— „
Въ 1874 г. на устройство асфальтовой мостовой	7,200	„	— „
Въ 1875 г. на сады и увеселенія . .	2,000	„	— „
Въ 1876 г. на изданіе лексикона . .	100	„	— „
Въ 1877 г. въ кварталъ на потреотизмъ.	95,000	„	— „
Въ 1878 г. на сей же предметъ . . .	87,000	„	— „
Въ 1879 г. призывалъ генералъ. На усиленіе средствъ	20,000	„	— „
Нѣмецкій принцъ въ свое мѣсто проѣзжалъ	12,400	„	— „
Въ 1880 г. на необходимости . . .	25,000	„	— „
Съ 1859 по 1880 г. включительно за „посмотримъ“	120,000	„	— „
Съ 1867 по 1880 годъ включительно оклада	140,000	„	— „
Итого съ 1815 по 1880 г. включительно Ассигнаціями:	15,475	р.	40 к.
Серебромъ:	1,167,465	„	77 „

Конецъ.

— Вотъ это, братъ, такъ жизнеописаніе!—въ восторгѣ воскликнулъ Глумовъ.—Выходитъ, что ты въ теченіе 62 лѣтъ „за житіе“ всего-на-все улатилъ серебромъ милліонъ сто семьдесятъ одну тысячу восемьсотъ восемьдесятъ семь рублей тридцать одну копѣйку. Ни копѣйки больше, ни копѣйки меньше—вся жизнь какъ на ладони! Ну, право, недорого обошлось!

— Живу-съ,—скромно отвѣтилъ Парамоновъ.

— Вотъ именно. Въ другомъ бы царствѣ съ тебя милліоновъ бы пять слупили, да еще въ клѣткѣ по ярмаркамъ показывать возили бы. А у насъ начальники хлѣбъ-соль съ тобой водятъ. Право, дай Богъ всякому! Ну, а въ промежуткахъ что же ты дѣлалъ?

Парамоновъ не попялъ сразу.

— Вотъ, напримѣръ: далъ ты въ 1872 году на памятникъ Пушкину 15 копѣекъ, а въ слѣдующемъ году „на усиленіе средствъ“ 16,000 рублей. Въ промежутокъ-то что же было?

— Жилъ-съ.

— Прекрасно. Живи и впредь. Корреспондентъ! очередь за тобой!

„Корреспондентъ“ всталъ и скромно произнесъ:

— Разсказа у меня на-готовѣ нѣтъ: но, ежели угодно, я могу прочитать фельетонъ, написанный мной для „Краснаго Демидрона“...

— А это и еще лучше. Сообща выслушаемъ, а можетъ быть и посовѣтуемъ... Прекрасно. Читай, братецъ!

„Корреспондентъ“ началъ:

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМЪ.

„Негодяй—властитель думъ современности. Породила его современная нравственная и умственная муть, воспитало, укрѣпило и окрылило—современное инкурное малодушіе.

„Я не хочу сказать этимъ, что онъ явился въ міръ только вчера, но утверждаю, что именно вчера онъ облекся въ тѣ ликующія одежды, которыя дозволяютъ безошибочно указать на него въ толпѣ: вотъ негодяй! И въ древности, и въ новѣйшія времена—всегда существовалъ негодяй (иначе откуда же мы получили бы представленіе о позорѣ?), но онъ прятался въ темныхъ извилинахъ человѣконенавистническаго ремесла и тамъ накостилъ, слѣдуя въ этомъ примѣру своего прототипа, сатаны.

„Что такое сатана?—это грандіознѣйшій, презрѣннѣйшій и ограниченнѣйшій негодяй, который не можетъ различить ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общаго, ни частнаго, и которому ясны только чисто личные и притомъ ближайшіе интересы. Поэтому его называютъ врагомъ человѣческаго рода, пакостникомъ, клеветникомъ. И по той же причинѣ мѣсто дѣйствія ему отводятъ подъ землей, въ темномъ мѣстѣ, въ аду.

„Подобно сему, во тьмѣ же дѣйствовалъ доселѣ и папереникъ сатаны, и „негодяй". Объ немъ знали, но его не видѣли; его чувствовали, но не осязали.

„Нынѣ—не такъ. Нынѣ негодяй созналъ самого себя, и на вопросъ: что есть негодяй?—отвѣчаетъ смѣло: негодяй—это я! Подобно отцу своему, сатанѣ, онъ не чувствуетъ даже потребности выяснить себѣ сущность негодяйской профессіи, а прямо на глазахъ у всѣхъ совершаетъ негодяйскіе поступки и во всеуслышаніе говоритъ негодяйскія рѣчи.

„Смотрите, какъ твердо онъ ступаетъ по негодяйской стезѣ и какими непзреченно-безстыжими глазами взираетъ на все живущее! Прислушайтесь, какою увѣренностью звучитъ его голосъ, когда онъ говоритъ: да, я негодяй! Ограниченность мысли породила въ немъ наглость; наглость, въ свою очередь, застраховала его отъ возможности какихъ-либо потрясеній. Взглянувши на него, вы не запутаетесь въ опредѣленіяхъ: вы скажете прямо: это негодяй!—и все для васъ будетъ ясно. Никогда не было ничего столь простого, выяснившагося, цѣльнаго. Онъ какъ-то сразу просіялъ изъ тьмы и самъ о себѣ засвидѣтельствовалъ.

„И проникъ всюду. Во всѣ слои такъ-называемаго общества, во всѣ профессіи, во всѣ мѣста. Вездѣ онъ является съ открытымъ лицомъ, вездѣ возвѣщаетъ о себѣ: вы меня знаете?—я негодяй! Я—ярмо, призванное раздавить жизнь. Я—позоръ, призванный упразднить убѣжденіе, честность, правду, самоотверженіе. Я—распутство, поставившее себѣ задачей наполнить вселенную гноемъ измѣны, подкупа, вѣроломства, предательства.

„Вы встрѣтитесь съ нимъ и въ великосвѣтскомъ салонѣ, и на купеческомъ именинномъ пирогѣ, и за скромною трапезой чиновника, и въ театрѣ, и въ трактирѣ, и на конкѣ. И всюду онъ проповѣдуетъ: нѣтъ выхода внѣ негодяйства! всѣ будутъ негодяями, всѣ! будутъ!

будутъ! Ибо онъ ищетъ утопить въ позорѣ не только себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее.

„И все стихаетъ при его появленіи, все ждетъ, какой новый позоръ провѣщаютъ его позорныя уста. Онъ не довольствуется инсинуаціей, какъ его негодяи-предшественники, но прямо источаетъ ложь, хулу и клевету. Прямо утверждаетъ: негодяйство—вотъ единственная почва, на которой человѣкъ можетъ стоять твердо, на которой онъ можетъ дѣлать не мечтательное, а дѣйствительное дѣло.

„Спросите его, что̀ онъ разумѣетъ подъ *дѣйствительнымъ* дѣломъ—онъ и на это дастъ ясный отвѣтъ. Дѣйствительное современное дѣло,—скажетъ онъ,—это измѣна и предательство: это прекращеніе жизни, это возвратъ къ мраку временъ. Возразите ему: но вѣдь человѣческое общество не можетъ питаться одной измѣной, однимъ междоусобіемъ: оно обязано сѣять сѣмена будущаго... Онъ и на это отвѣтитъ: будущее можетъ занимать только опасныхъ мечтателей: негодяй же довольствуется тѣмъ, что̀ составляетъ насущную задачу дня!

„Онъ скажетъ это такъ авторитетно и вѣско, что споръ прервется самъ собой...

„Случалось ли вамъ, читатель, присутствовать при подобныхъ спорахъ? Сначала вы слышите общій говоръ и шумъ, потомъ начинаете въ этомъ шумѣ различать какую-то крикливую, рѣзкую поту; постепенно эта нота звучитъ громче и громче и наконецъ раздается одна.

„Спорящіе стихли; комната наполняется шопотомъ, среди котораго отъ времени до времени раздается тихій, словно вымученный смѣхъ...

„Ахъ, этотъ смѣхъ! что̀ въ немъ слышится? рабское ли поощреніе, робкій ли протестъ, или просто-на-просто безсиліе?

„Что до меня, то мнѣ въ этомъ смѣхѣ чудится вопль. Нѣтъ подъ ногами почвы! некуда прислониться! нечѣмъ защититься! Передъ глазами кишитъ толпа, въ которой каждый чувствуетъ себя одинокимъ, заподозрѣннымъ, безсильнымъ, неприкрытымъ, каждый видитъ себя предоставленнымъ исключительно самому себѣ. Ни дѣло, ни подвигъ—ничто не можетъ защитить, потому что между дѣломъ и объектомъ его кинута цѣлая пропасть. Да и то ли еще это дѣло, тотъ ли подвигъ? нѣтъ ли тутъ ошибки, недоумѣнія?

. . . . . .

„На дняхъ я съ нимъ встрѣтился. Съ нимъ, съ негодяемъ.

„— Ужели вы искренно думаете, что можно воспитать общество въ ненависти къ жизни, къ развитію, къ движенію?—спросилъ я его.

„— Непремѣнно,—отвѣтилъ онъ.—Пора покончить съ призраками, и покончить такъ, чтобъ они уже никогда болѣе не возвращались и не возмущали правильнаго теченія жизни.

„— Позвольте однакожъ! вѣдь то, что вы называете призраками, представляетъ собой существеннѣйшую потребность человѣческой мысли?

„— Мысли растлѣнной, утратившей представленіе о границахъ —да. Для такой мысли призраки необходимы. Но такую мысль слѣдуетъ не поощрять, а остепенять, вводить въ предѣлы.

„— Но какимъ же образомъ вы введете ее въ предѣлы,—да и въ какіе еще предѣлы,—коль скоро она, по самой своей сущности, чужда имъ?

„— Гм... средства найдутся.

„— Баранiй рогъ? ежовыя рукавицы?

„— И онѣ. Хотя надо сознаться, что эти средства не всегда бываютъ достаточны.

„— Стало быть, подкупъ? предательство? измѣна?

„— Э-эхъ, государь мой! сколько вы страшныхъ словъ разомъ выпустили! А вѣдь ежели вмѣсто нихъ употребить выраженіе: „обязательная, насущная потребность дня“, то, право, будетъ и понятно, и совершенно достаточно.

„— И вы увѣрены, что это синонимы?

„— Совершенно.

„Онъ подалъ мнѣ руку и уже хотѣлъ идти своей дорогой, какъ вдругъ я замѣтилъ у него на лицѣ что-то странное. Всматриваюсь— слѣды человѣческой пятерни.

„— Что такое у васъ на лицѣ?—спросилъ я.

„— Пятерня. Это отъ прошлаго либеральнаго паскудства осталось. Пройдетъ. И впредь не будетъ... ручаюсь!

„И поднявъ гордо голову, онъ прослѣдовалъ дальше: я же, поджавши хвостъ, возвратился въ домъ свой.

„Здѣсь я тѣ же самыя предположенія объ устраненіи призраковъ прочиталъ систематически изложенными въ газетной передовой статьѣ. Статья написана была бойко и авторитетно. Съ полною увѣренностью эта утверждала, что дѣло человѣческой мысли проиграно навсегда и

что отнынѣ человѣкъ долженъ руководиться не „произвольными“ требованіями разума и совѣсти, которыя увлекаютъ его на путь погони за призрачными идеалами, но тѣми скромными охранительными инстинктами, которые удерживаютъ его на почвѣ здоровой дѣйствительности. Инстинкты эти говорятъ человѣку о необходимости питанія, передвиженія, успокоенія, и имъ несомнѣнно должны быть предоставлены всѣ средства удовлетворенія и самая широкая свобода. Въ этой широкой свободѣ найдется мѣсто и для работы мысли, ибо никакое, самое простѣйшее требованіе человѣческаго организма не можетъ обойтись безъ ея участія. Поэтому рѣчь идетъ совсѣмъ не объ томъ, чтобъ погубить мысль, а лишь объ томъ, какъ и куда ее примѣнить. Въ сущности, свобода желательна, и пусть царствуетъ она вездѣ... за исключеніемъ области мечтательности...

„Прочитавши это, я вспомнилъ, что еще не обѣдалъ. И такъ какъ въ карманѣ у меня было всего два двугривенныхъ, то для моей мыслительной способности дѣйствительно сейчасъ же нашлась работа: ухитриться такъ, чтобъ изъ этихъ двухъ двугривенныхъ вышелъ и обѣдъ, и чай, и хоть полъ-колбасы на ужинъ. И когда я дѣйствительно ухитрился, то, ложась на ночь спать, почувствовалъ себя сыномъ отечества и гражданиномъ.“

Корреспондентъ.

Фельетонъ этотъ произвелъ очень разнообразное впечатлѣніе. Мѣшало совсѣмъ ничего не понялъ. Фанушка поняла только то мѣсто, которое относилось до двухъ двугривенныхъ („ахъ, бѣдненькій!“). Очищенный, въ качествѣ вольнонаемнаго редактора „Краснаго Демидрона“, соображалъ: пройдетъ или не пройдетъ? Я—скорѣе склоненъ былъ похвалить, хотя казалось нѣсколько страннымъ, съ чего вдругъ вздумалось „нашему собственному корреспонденту“ заговорить о „негодяѣ“. Что же касается Глумова, то онъ положительно не одобрилъ.

— Все это, братецъ, лиризмъ,—сказалъ онъ:—а лиризмомъ ты никого, по нынѣшнему времени, не прошибешь. Читатель прочтетъ, пожалуй даже продекламируетъ, скажетъ: il y a là dedans un joli mouvement oratoire—и опять за свое примется. Негодяй пребудетъ негодяемъ, предатель—предателемъ, трусъ—трусомъ. На твоемъ мѣстѣ я совсѣмъ бы не такъ поступилъ: негодяя-то не касался бы

(съ него вѣдь и взять нечего), а вотъ на эту мякоть ударилъ бы, по милости которой „негодяй“ процвѣтаетъ и которая весь свой протестъ выражаетъ въ томъ, что при появленіи „негодяя“ въ подворотню прячется.

— Можно и это, — согласился „нашъ собственный корреспондентъ“.

— Ну, вотъ. Я знаю, что ты малый понятливый. Такъ вотъ ты слѣдующій свой фельетонъ и начни такъ: „въ прошлый, молъ, разъ я познакомилъ васъ съ „негодяемъ“, а теперь, молъ, позвольте познакомить васъ съ тою средою, въ которой онъ, какъ рыба въ водѣ, плаваетъ“. И чеши! чеши! Заснули, молъ? очумѣли отъ страха? Да по головамъ-то тукъ-тукъ! А то что въ самомъ дѣлѣ! Ее, эту мякоть, честью просятъ: проснись! — а она только сопитъ въ отвѣтъ!

— Можно-съ,—вновь подтвердилъ корреспондентъ.

— И прекрасно сдѣлаешь. А теперь давайте продолжать. За кѣмъ очередь?

Очередь оказалась за Фанпушкой. Но вмѣсто того, чтобъ сказать что-нибудь, она вынула изъ кармана листочекъ и, зардѣвшись, подала его Глумову.

Глумовъ прочиталъ:

ОЛЕНЬКА

или

Вся женская жизнь въ нѣсколькихъ часахъ.

„Въ нѣкоторой улицѣ жила при родителяхъ дѣвушка Оленька, а напротивъ, въ собственномъ домѣ, жилъ молодой человѣкъ Петръ. Только увидѣлись они одинъ разъ на бульварѣ, и началъ Петръ Оленьку звать: приходи, Оленька, послѣ обѣда въ лѣсъ погулять. Сперва Оленька отказалась, а потомъ пошла. И когда, погулявши, воротилась домой, то увидѣла, что узпала многое, чего прежде, не бывши въ лѣсу, не знала. Тогда она сказала: чтобы еще больше знать, я завтра опять въ лѣсъ гулять приду. Приходи, Петенька, и ты. И такимъ манеромъ они очень часто гуляли, а потомъ Петеньку въ солдаты отдали“.

Конецъ.

Успѣхъ этой вещицы превзошелъ всѣ ожиданія. Всѣ называли Фанушку умницей и поздравляли литературу съ новымъ свѣжимъ дарованіемъ. А Глумовъ не выдержалъ и крикнулъ: „ахъ, милая!“ Но главнымъ образомъ всѣхъ восхитила мысль, что еслибъ всѣ такъ писали, тогда цензорамъ нечего было бы дѣлать, а слѣдовательно и цензуру можно бы упразднить. А упразднивши цензуру, можно бы и опять...

Дальнѣйшая очередь была за мной. Но только-что я приступилъ къ чтенію „Исторической догадки“: *Кто были родители камаринскаго мужика?*—какъ послышался стукъ въ наружную дверь. Сначала стучали легко, потомъ сильнѣе и сильнѣе, такъ что я, переполошенный, отворилъ окно, чтобъ узнать, въ чемъ дѣло. Но въ ту самую минуту, какъ я оперся на подоконникъ, кто-то снаружи вцѣпился въ мои руки и сжалъ ихъ какъ въ клещахъ. И въ то же время, едва не сбивъ меня съ ногъ, въ окно вскочилъ мужчина въ кепи и при шашкѣ.

Это былъ урядникъ.

Глава XXI.

Обаяніе исконнаго тверского либерализма сказалось и здѣсь. Во всѣхъ распоряженіяхъ выразилось чувство мѣры и благожелательности. Долгъ былъ выполненъ безъ послабленія, но при семъ предполагалось, что мы не осуждены и, слѣдовательно, можемъ быть невинны. Насъ обыскали, но когда ничего, кромѣ ношебнаго платья, не нашли, то на насъ не кричали: врешь, подавай!—какъ будто бы мы могли, по произволенію, тутъ же родить тюки съ прокламаціями. Насъ не погнали въ глухую ночь, но дали отдохнуть, собраться съ духомъ, напиться чаю и даже дозволили совершить путину до Корчевы въ дворянскихъ мундирахъ, такъ какъ одежда, въ которой мы прибѣжали въ Пролёванную, еще не просохла какъ слѣдуетъ. Вообще безполезныхъ жестокостей допущено не было, а полезныя были по возможности смягчены.

Но за то, какъ только златоперстая Аврора брызнула на крайнемъ востокѣ первыми снопами пламени, мѣстный урядникъ уже выполнялъ свою обязанность.

Когда мы вышли изъ дома, на дворѣ стояла довольно густая

толпа народа. Мнѣ казалось, что всѣ пристально въ меня вематриваются, какъ бы стараясь угадать: нашъ баринъ или не нашъ? Очевидно, что способъ прибытія моего въ Проплёванную возъимѣлъ свое дѣйствіе, и вопросъ: дѣйствительно ли прибѣжалъ настоящій помѣщикъ, или какой-нибудь подмѣнный?—игралъ очень большую роль въ нашемъ приключеніи. Двойственное чувство овладѣло толпою: съ одной стороны—радость, что черезъ нашу поимку государство избавилось отъ угрожавшей ему опасности; съ другой—свойственное русскому человѣку чувство состраданія къ „узнику“, который почему-то всегда предполагается страдающимъ „запанрасно“. Но разсчитывалъ ли кто-нибудь, что изъ всего этого можетъ произойти „награда“—этого сказать не умѣю.

Насъ ожидалъ другой урядникъ (я узналъ въ немъ того, который наканунѣ поймалъ пригульнаго поросенка) въ путевой формѣ, и при немъ двое сотскихъ и шесть человѣкъ десятскихъ. Этотъ конвой долженъ былъ сопровождать насъ до Корчевы. У десятскихъ въ рукахъ были веревки: но намъ не связали рукъ (какъ это сдѣлали бы, напримѣръ, въ Орловской или Курской губерніяхъ), а только предупредили, что въ случаѣ попытки къ бѣгству хотя одного изъ насъ правила объ употребленіи шиворота будутъ немедленно выполнены надъ *всѣми*. Впрочемъ я долженъ сказать правду, что, дѣлая это предостереженіе, урядникъ былъ взволнованъ, а нѣкоторые изъ десятскихъ плакали. Пришелъ и батюшка, и сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ на тему: „гдѣ корень зла?“—а въ заключеніе обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „Богомъ васъ заклинаю, господинъ пришлецъ! отвѣтьте: вы—потомокъ отцовъ вашихъ, или не вы?“ Но когда я вмѣсто отвѣта хотѣлъ обратиться къ народу съ объясненіемъ моей невинности, то сотскіе и десятскіе затрещали въ трещотки и заглушили мой голосъ. Несмотря на это, многія сердобольныя женщины подбѣгали къ намъ и подавали кто каленое яйцо, кто кусокъ ватрушки, кто пару печеныхъ картофелинъ. И урядникъ очевидно только для проформы называлъ ихъ „сволочью“ и „паскудами“.

Наконецъ мы тронулись. Утро было свѣтлое, солнечное и обѣщало жаркій день. Трава, улитая дождемъ, блестѣла подъ косыми лучами солнца матовымъ блескомъ, словно опушенная инеемъ. По дорогѣ во множествѣ пестрѣли лужи.

— Съ Богомъ! трогай!—далъ сигналъ конвоировавшій урядникъ.

— Счастлйво!—откликнулись ему изъ толпы.

Въ другой губерніи навѣрное нашлись бы кандалы или по крайней мѣрѣ конскія путы, но въ Тверской губерніи повидимому самое представленіе объ этихъ орудіяхъ истязанія исчезло навсегда. Въ другой губерніи намъ непремѣнно отъ времени до времени „накладывали“ бы, а въ Тверской губерніи самой потребности въ „накладываніи“ никто не ощущалъ. Вотъ какая это губернія. Долгъ, одинъ только долгъ! безъ послабленій, но и безъ присовокупленій! – таковъ былъ девизъ Тверской губерніи еще въ то время, когда Тверь боролась съ коварной Москвой, и Москва ее за это слопала. Такимъ же остался онъ и теперь. А урядникъ къ сему присовокупилъ: „ужо разберутъ!“—что также свидѣтельствовало о легальности, ибо въ другихъ губерніяхъ урядники говорятъ: „ужо покажутъ, какъ Кузькину мать зовутъ!“

Мы шли вольнымъ аллюромъ и разсуждали, что лучше: благосклонная ли легальность безъ послабленій, или благожелательный произволъ, тоже безъ послабленій? И все какъ-то у насъ выходило: все равно.

Но, въ сущности, было далеко не все равно, и Глумовъ совершенно основательно замѣтилъ, что легальность безъ послабленій есть уже какъ бы заря правового порядка. И когда мы разсмотрѣли вопросъ со всѣхъ сторонъ, то должны были согласиться съ Глумовымъ. И это насъ утѣшило.

Такова Тверская губернія. Искони она вопіетъ: наказывайте! жмите изъ насъ масло! но по закону!—И ее наказываютъ.

Урядникъ тоже вступилъ съ нами въ собесѣдованіе и укрѣплялъ въ насъ вѣру въ корчевское правосудіе. Это былъ лихой малый, по происхожденію дворянинъ, а по убѣжденіямъ принадлежалъ къ либеральному лагерю. Онъ служилъ въ урядникахъ въ ожиданіи правового порядка и тяготился своимъ званіемъ. И ежели сносилъ это иго безъ явнаго ропота, то потому только, что дома, по его словамъ, жрать было нечего, а онъ имѣлъ наклонность къ ѣдѣ. Поэтому, когда я ему далъ пару каленыхъ яицъ изъ числа пожертвованныхъ, онъ съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку и попросилъ кусокъ ватрушки.

— А насчетъ Корчевы вы не безпокойтесь,—сказалъ онъ:—у

касъ все по закону. Коли есть законъ—шабашъ; коли нѣтъ закона—милости просимъ въ кутузку.

— Стало быть, и коли есть законъ, и коли нѣтъ его...

— Ну, да, ужъ это во всякомъ случаѣ.

И, погодя немного, прибавилъ:

— Вотъ когда правовой порядокъ выйдетъ, тогда и урядникамъ веселѣе служить будетъ. Сейчасъ-это пришелъ, взялъ „его“... за что? что за причина?—Пожалуйте! тамъ разберутъ!

— Да вѣдь и нынче — вы сами сейчасъ говорили — разберутъ?

— Разберутъ, да не такъ. Нынче—разберутъ, а тогда—рѣшатъ. Нынче безъ правъ пропишутъ, а тогда—по правамъ прописывать станутъ. Ни лишковъ, ни недостачи—ни-ни! Въ препорцію.

Намъ предстояло пройти пѣшкомъ слишкомъ тридцать верстъ. Бо́льшая часть пути шла песчанымъ грунтомъ, но, благодаря дождямъ, песокъ умялся, и ногамъ было довольно легко. Но по временамъ встрѣчались низинки, на довольно большое пространство пересѣкавшія дорогу и переполненныя водой—тогда мы вынуждались снимать съ себя обувь и боскомъ переходили съ суши на сушь. Однакожъ, послѣ двухъ часовъ ходьбы, солнце порядкомъ-таки стало припекать, и мы почувствовали невыразимую истому во всѣхъ членахъ. Поэтому мы не безъ удовольствія увидѣли въ сторонѣ деревушку, на краю которой стояла просторная изба.

Эта деревушка была мнѣ знакома. Когда-то еще въ дѣтствѣ я кармливалъ тутъ лошадей, проѣзжая школьникомъ на каникулы и съ каникулъ. Деревушка отстояла отъ нашей усадьбы всего въ двѣнадцати-тринадцати верстахъ, но тутъ жилъ мужикъ Кузьма, котораго тогдашніе помѣщики называли „министромъ“ и съ которымъ мои родители любили бесѣдовать и совѣтоваться. Поэтому привалъ здѣсь дѣлался обязательно, несмотря на близость разстоянія. Уже въ то время Кузьмѣ было лѣтъ пятьдесятъ: стало быть, теперь ему катило подъ сто. Когда я проѣзжалъ здѣсь въ послѣдній разъ, онъ былъ еще живъ, но уже мало распоряжался по хозяйству, а только крапилъ семейную казну и бродилъ около усадьбы, осматривая, нѣтъ ли гдѣ порухи. Отмѣна крѣпостного права застала его врасплохъ, и онъ не зналъ, радоваться ему или нѣтъ. Но такъ какъ на первыхъ порахъ у помѣщиковъ еще водились деньги и они безпрестанно сло-

нялись взадъ и впередъ съ жалобами, предложеніями земельныхъ обрѣзковъ и т. д., то и Кузьмѣ кой-что перепадало въ этой сутолокѣ за овесъ, за „тепло“ и за съѣденныя яичницы. Это были дни радости. Но черезъ годъ, черезъ два маятное движеніе угомонилось и трактъ запустѣлъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ запустѣла и чистая горница въ домѣ Кузьмы. Старикъ возроптalъ.

Впрочемъ благосостояніе Кузьмы стояло уже настолько прочно, что домъ его и теперь глядѣлъ такъ же хозяйственно и солидно, какъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Оказалось, что онъ еще живъ и даже бродитъ, съ грѣхомъ пополамъ, по избѣ, но плохо видитъ и никакъ не можетъ затвердить слово: „спиплисты“, которое въ деревнѣ пріобрѣло право гражданственности и повторялось въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ. Оказалось также, что о поимкѣ нашей здѣсь уже знали отъ гонца, который ѣздилъ въ Корчеву съ извѣстіемъ о появленіи въ Проплёванной людей, ведущихъ себя „нѣкако странно“ (донесеніе для урядника редижировалъ батюшка). Поэтому, какъ только насъ привели, вся деревня, отъ мала до велика, высыпала на улицу. И таково обаяніе предполагаемаго злоумышленія (можетъ быть, вслѣдствіе смѣшенія этого понятія съ представленіемъ о начальствѣ), что, при нашемъ появленіи, тѣ, у которыхъ были на головахъ шапки, инстинктивно сняли ихъ. Разумѣется, я прежде всего поспѣшилъ къ Кузьмѣ, надѣясь, что буду имѣть случай вспомнить прошлое и умилиться. Но старикъ принялъ меня сурово.

— На кого ты руку поднялъ?—неожиданно напустился онъ на меня, широко разѣвая ротъ, въ которомъ уже не было ни одного зуба и который вслѣдствіе этого былъ скорѣе похожъ на зіяющую темную впадину, чѣмъ на ротъ.

Онъ выкрикнулъ это такъ громко и авторитетно, что домочадцы, собравшіеся въ избѣ, въ испугѣ смотрѣли на меня и, крестясь, шептали: „Спаси, Господи! Богородица Усиленья!“ А внукъ Кузьмы, мужчина лѣтъ сорока, достававшій для насъ въ шкафу чайную посуду, еще усилилъ впечатлѣніе, прибавивъ виолголоса:

— Не трожь, дѣдушка! баринъ-то нынь обмѣнный!

— На кого ты руку поднялъ? — повторилъ старикъ. — Какіе родители-то у тебя были, а ты... а-а-ахъ! Папынька! мамынька! хоть ихъ-то бы ты постыдился... а-а-ахъ!

Наконецъ урядникъ положилъ конецъ этой сценѣ, сказавъ:

— Дѣдушка! не замай арестанта! Не ты въ отвѣтѣ будешь, коли онъ надъ собой что̀ сдѣлаетъ!

Тѣмъ не менѣе выходка старика произвела свое дѣйствіе; да и слово: „арестантъ“ было произнесено и должно было отозваться на насъ очень горько. Покуда мы отдыхали, въ избу то-и-дѣло входили „сусѣди“. Взойдетъ, перекрестится на образа, поглядитъ на насъ, послушаетъ и уйдетъ. Съ улицы тоже до насъ доходили смутные звуки, свидѣтельствовавшіе, что „здоровый народный смыслъ“ начинаетъ закипать. Урядникъ безпрестанно то входилъ въ избу, то выходилъ на улицу, потому что и его начали обвинять въ укрывательствѣ и называть потатчикомъ. Одинъ благомысленный старичокъ прямо поставилъ вопросъ: „коли ежели они арестанты—почему же на нихъ нѣтъ кандаловъ?“ Кузьма же хотя и переталъ кричать, но продолжалъ зудѣть себѣ подъ носъ:

— Теперича что̀ я долженъ съ избой со своей сдѣлать? Кто въ ней теперича сидитъ? какіе люди? на кого они руку подняли? Коли ежели по настоящему, сжечь ее слѣдуетъ, эту самую избу—только и всего!

Но слѣдомъ затѣмъ, совсѣмъ неожиданно, прибавилъ:

— Чай-то свой, что-ли, у васъ? или нашъ будете пить? У насъ чай хорошій, ханскій!

Однимъ словомъ, положеніе, постепенно осложнялось, сдѣлалось подъ конецъ настолько грознымъ, что урядникъ нашъ оказался не на высотѣ своей задачи! И когда настало время идти дальше, онъ растерянно предложилъ мнѣ:

— Вашескородіе! позвольте руки связать! какъ бы чего не случилось!

Разумѣется, мы согласились съ радостью.

Когда мы вышли на улицу и урядникъ, указывая на насъ, связанныхъ по рукамъ, спросилъ толпу: „любо, ребята?“ — то толпа радостно загалдѣла: „любо, любо!“ а какая-то молодая бабёнка, забѣжавши впередъ, сдѣлала неприличіе. Но больше всего торжествовали мальчишки. Съ свойственною этому возрасту жестокостью они скакали и кувыркались передъ нами, безразлично называя насъ то сицилистами, то измѣнниками, а меня лично—подмѣннымъ барномъ. Съ версту провожали они насъ своими пѣстовыми криками, пока наконецъ урядникъ не выхватилъ изъ толпы одного и не отстегалъ

его прутомъ. И тутъ, стало быть, либеральное начальство явилось нашимъ защитникомъ противъ народной немезиды, имъ же впрочемъ по недоумѣнію возбужденной.

Всю остальную дорогу мы шли уже съ связанными руками, такъ какъ населеніе, по мѣрѣ приближенія къ городу, становилось гуще, и урядникъ, въ виду народнаго возбужденія, не смѣлъ уже допустить никакихъ послабленій. Вездѣ на насъ стекались смотрѣть; вездѣ, при нашемъ появленіи, кричали: „сицилистовъ ведутъ!“ а въ одной деревнѣ даже хотѣли насъ судить народнымъ судомъ, то-есть утопить въ прудѣ...

Словомъ сказать, это была ликвидація ителлигенціи въ пользу здороваго народнаго смысла, ликвидація до такой степени явная и безспорная, что даже сотскіе и тѣ поняли, что еще одинъ шагъ въ томъ же направленіи—и нельзя будетъ разобрать, гдѣ кончается „измѣна“ и гдѣ начинается здравый народный смыслъ.

Въ Корчеву мы пришли въ исходѣ восьмого часа вечера, когда уже были зажжены огни. Насъ прямо провели въ полицейское управленіе; но такъ какъ это было 25-го августа, память апостола Тита и тезоименитство купца Вздошникова, у котораго по этому случаю было угощеніе, то въ управленіи, какъ и въ первый разъ, оказался одинъ только Пантелей Егорычъ.

— Ахъ, господа, господа!—встрѣтилъ онъ насъ:—предупреждалъ я васъ! предостерегалъ! просилъ!.. Что это... и руки связаны?.. вотъ вы до чего себя довели!

— Да прикажите же руки-то развязать!—взмолился наконецъ Глумовъ.

— Руки... ужъ и не знаю... какъ законъ! Ахъ, въ какое вы меня положеніе ставите! Такой пыньче день... Исправникъ—у именинника, помощникъ—тоже... даже письмоводителя нѣтъ... Ушелъ и ключи отъ шкаповъ унесъ. И дѣло-то объ васъ у него въ столѣ спрятано... Ахъ, господа, господа!

— Такъ пошлите за исправникомъ—и дѣлу конецъ!—настаивалъ Глумовъ.

— Вотъ то-то и есть... какъ это вы такъ легко обо всемъ говорите! Пошлите за исправникомъ! А какъ вы полагаете: человѣкъ исправникъ или нѣтъ? Можетъ онъ одинъ вечерокъ въ свое удовольствіи провести?

— Ничего мы не полагаемъ; знаемъ только, что у насъ руки связаны и что нужно, чтобъ кто-нибудь распорядился ихъ развязать.

— А кто виноватъ? кто въ Корчеву безъ надобности пріѣхалъ? Ѣхали бы въ Калязинъ, ну, въ Угличъ, въ Рыбну, а то нашли куда! Знаете, какія нынче времена, а ѣдете!

Вѣроятно этому либеральному разговору не было бы конца, еслибъ конвоировавшій насъ урядникъ самъ не отправился отыскивать исправника. Черезъ полчаса передъ нами стоялъ молодой малый, свѣтскій и либеральный, и въ какія-нибудь десять минутъ все разъяснилось. Оказалось, что насъ взяли безъ всякой надобности и что начальство было введено въ заблужденіе—только и всего. Поэтому, извинившись передъ нами за „безпокойство“ и пожуривъ урядника за то, что онъ связалъ намъ руки,—*чего въ Корчевскомъ уѣздѣ никогда не бывало*,— исправникъ въ заключеніе очень мило пошутилъ, сказавъ намъ:

— Нынче мы, знаете, руководствуемся не столько закономъ, сколько заблужденіями...

Затѣмъ, звякнувъ шпорами и пожелавъ, чтобы Богъ благословилъ наши начинанія, онъ отрядилъ десятскаго, который и проводилъ насъ на постоялый дворъ.

Такъ какъ пароходъ долженъ былъ придти только на слѣдующій день, то мы и рѣшились посвятить предстоящій вечеръ выполненію той части нашей программы, въ которой говорится о составленіи подложныхъ векселей. Очищенный безъ труда написалъ заднимъ числомъ на свое имя десять векселей, каждый въ двадцать-пять тысячъ рублей, отъ имени временной с.-петербургской 2-й гильдіи купчихи изъ дворянъ Матрены Ивановны Очищенной. Одинъ изъ этихъ векселей почтенный старичокъ тутъ же пожертвовалъ на заравшанскій университетъ.

Но въ тотъ же вечеръ насъ ожидало горестное извѣстіе. Балалайкинъ прислалъ телеграмму, которая гласила слѣдующее:

„Пожертвованныя на университетъ деньги растрачены. Похититель скрылся. Приняты мѣры. Сто рублей отыскано“.

Въ отвѣтъ на каковое извѣстіе мы съ своей стороны телеграфировали:

„Поднимаемъ бокалы за процвѣтаніе... да здравствуетъ!“

На другой день, когда мы направились къ пароходной пристани, ко мнѣ подошелъ мѣщанинъ Презентовъ и сказалъ:

— Вашескородіе! позвольте вамъ доложить... не посовѣтуете ли вы мнѣ птицу начать!

— Какую птицу!

— Летать чтобы... Въ Кашинѣ, сказываютъ, діаконъ заштатный ужъ сдѣлалъ птицу...

— Летаетъ?

— Такъ на вершокъ отъ земли... прыгнетъ и опять сядетъ... А я надѣюсь, что она у меня вполнѣ полетитъ.

— Ахъ, голубчикъ! да разумѣется! что же вы медлите! Дѣлайте птицъ, изобрѣтайте ковры-самолеты... И вдругъ, чего добраго, полетите!

Глава XXII.

Въ Корчевѣ намъ сказали, что въ Кашинѣ мы найдемъ именно такого жида, какого намъ нужно. Сверхъ того хотѣлось взглянуть и на тѣ виноградники, которые даютъ матеріалъ для выдѣлки знаменитыхъ кашинскихъ винъ. А такъ какъ, судя по полученной отъ Балалайкина телеграммѣ, дѣло о заравшанскомъ университетѣ очевидно позамялось, и слѣдовательно въ Самаркандъ спѣшить было незачѣмъ, то мы и направили свой путь къ Кашину.

На пароходѣ мы встрѣтили компанію, настолько многочисленную, что сама прислуга повидимому была изумлена. Въ Корчевѣ скупили весь бѣлый хлѣбъ, всѣхъ цыплятъ и выпили все сусло, такъ что мѣстныя торговки въ этотъ день запаслись лишнимъ рублишкомъ на покупку патентовъ. Единственный пароходный гарсонъ, съ подвязанной щекой и распухлымъ лицомъ, безъ устали бѣгалъ сверху внизъ и обратно, гремя графинами и рюмками. Изъ аршинной кухни, входъ въ которую былъ загороженъ спиною повара, несло чѣмъ-то прокислымъ — не то лѣнивыми щами, не то застоявшимися помоями. Возвращалось во-свояси цѣлое стадо „свѣдущихъ людей“. И тѣ, которые успѣли сказать „вѣское слово“, и тѣ, которые пришли, понюхали и ушли. Въ каютѣ перваго класса шелъ шумный разговоръ, касавшійся преимущественно внутренней политики, и свѣдѣнія, которыя мы здѣсь получили, были самаго прискорбнаго свойства. По отзывамъ насса-

жировъ, реакція, на время понурившая голову, вновь ее подняла. Въ обществѣ царствовалъ мракъ, уныніе и междоусобіе: такъ-называемые „правящіе классы“ раздѣлились на два враждебныхъ лагеря. Партія, во главѣ которой стоялъ либеральный тайный совѣтникъ Губошлеповъ, безъ боя сложила оружіе—и вдругъ, словно сквозь землю, провалилась; самъ Губошлеповъ удалился въ деревню и нынѣ креститъ дѣтей у урядника. Напротивъ того, партія статскаго совѣтника Долбий торжествуетъ на всѣхъ пунктахъ и горитъ нетерпѣніемъ сразиться, съ тѣмъ однакоже, что она будетъ поражать, а противники будутъ лишь съ раскаяніемъ претерпѣвать пораженіе. А Долбия ходитъ по улицамъ, распѣвая пѣсню объ антихристѣ:

Народился злой антихристъ,
Во всю землю онъ вселился,
Во весь міръ вооружился...

и открыто возвѣщаетъ близкое прекращеніе рода человѣческаго. И полицейскіе чины, вмѣсто того, чтобы вести его за такія слова въ кутузку, дѣлаютъ—при его проходѣ—подъ козырекъ.

Но что для насъ было всего больше узнать—Иванъ Тимофеичъ былъ вынужденъ подать въ отставку, потому что въ проектированномъ (даже не опубликованномъ, а только проектированномъ!) имъ „Уставѣ о благопристойномъ во всѣхъ отношеніяхъ поведеніи“ былъ усмотрѣнъ московскими охотнорядцами злонамѣренный якобинскій ядъ. Не обошлось тутъ и безъ предательства, въ которомъ роль главнаго дѣйствующаго лица—увы!—игралъ Прудентовъ. Вознамѣрившись подкузьмить Ивана Тимофеича, съ тѣмъ чтобы самому сѣсть на его мѣсто, онъ тайно послалъ въ московскій Охотный рядъ корреспонденцію, въ которой доказывалъ, что ядовитыя свойства проектированнаго въ кварталѣ „Устава“ происходятъ-де оттого, что во время его составленія господинъ начальникъ квартала находился-де подъ вліяніемъ вожаковъ революціонной партіи, свившей-де гнѣздо на Литейной. А онъ, Прудентовъ, не разъ-де указывалъ господину начальнику на таковые и даже предлагалъ-де ввести въ „Уставъ“ особливый параграфъ такого-де содержанія: „Всякій желающій имѣть разговоръ или собесѣдованіе у себя на дому, или въ иномъ мѣстѣ, обязывается наканунѣ дать о семъ знать въ кварталъ, съ приложеніемъ программы вопросовъ и отвѣтовъ, и, по полученіи на сіе разрѣшенія, вызвавъ

необходимое для разговора лицо, привести намѣреніе свое въ исполненіе". Но введенію этого параграфа воспротивились-де упомянутые выше революціонные вожаки, съ которыми, по слабохарактерности, соглашался и начальникъ квартала...

И что же однако! Иванъ-то Тимоѳеичъ пострадалъ, да и Прудентовъ не уцѣлѣлъ, потому что на него, въ свою очередь, донесъ Кшешницюльскій, что онъ-де въ родительскую субботу блиновъ не печетъ, а тѣмъ самымъ якобы тоже злонамѣренный якобинскій духъ предъявляетъ. И теперь оба, и Иванъ Тимоѳеичъ, и Прудентовъ, помирившись, живутъ гдѣ-то на огородахъ въ нарвской части и состоятъ въ оппозиціи. А Кшешницюльскій перешелъ въ православіе и служитъ приспѣшникомъ въ клубѣ Взволнованныхъ Лоботрясовъ.

Но что сталось съ Молодкинымъ—этого никто сказать не могъ. Счастливый Молодкинъ! ты такъ незамѣтенъ въ своей пожарной спеціальности, что даже клеветы не въ силахъ тебя уязвить! А мы-то волнуемся, спрашиваемъ себя: кто истинно счастливый человѣкъ? — Да вотъ кто—Молодкинъ!

— Да, теперь въ Петербургѣ — ой-ой!—прибавилъ свѣдущій человѣкъ, разсказавшій намъ эти подробности.

Но, повторяю, для насъ лично этотъ разсказъ имѣлъ и другое очень существенное значеніе: очевидно, что революціоперы, которыхъ въ данномъ случаѣ разумѣетъ Прудентовъ, были...

Бываютъ такіе случаи. Придешь совсѣмъ въ постороннее мѣсто, встрѣтишь совсѣмъ постороннихъ людей, ничего не ждешь, не подозрѣваешь, и вдругъ въ ушахъ раздаются какіе-то звуки, напоминающіе, что гдѣ-то варится какая-то каша, въ расхлебаніи которой ты рано или поздно, но несомнѣнно долженъ будешь принять участіе...

— Главное то обидно,—жаловался Глумовъ:—что все это негодяй Прудентовъ налгалъ. Предложи онъ въ ту нору параграфъ о разговорахъ—да я бы обѣими руками подписался подъ нимъ! Помилуйте! производить разговоры по программѣ, утвержденной кварталомъ, да пожалуй еще при депутатѣ отъ квартала—вѣдь это ужъ такая „благонравственность", допустивши которую и „Уставовъ" писать нѣтъ надобности. Параграфъ первый и единственный—только и всего.

А въ каютѣ между тѣмъ во всѣхъ углахъ раздавались жалобы, однѣ только жалобы.

— Развѣ такое общество, какъ наше, можно называть обществомъ!—жалуется „свѣдущій человѣкъ“ изъ-подъ Краснаго-Холма. —Ни духа предпріимчивости, ни иниціативы—ничего! Предлагалъ я, напримѣръ, коротенькую линію отъ Краснаго Холма до Бѣжецка провести — не понимаютъ, да и все тутъ! Первый вопросъ: что̀ возить будете?—ну, не глупость ли? Помилуйте, говорю: вы только желѣзный путь намъ выстройте, а ужъ тамъ сами собой предметы объявятся... не понимаютъ! Не понимаютъ, что желѣзные пути сами родятъ перевозочный матеріалъ! Я къ Гницбургу — не понимаетъ! На-голо̀ ужъ высчитываю: яйца, говорю, курятный товаръ, грибы, сушопая малина— это и теперь у всѣхъ на виду, а впослѣдствіи постепенно явится и многое другое... Не понимаетъ! Я—къ Розенталю —въ зубъ толкнуть не смыслитъ! Я—туда-сюда: никому ни до чего дѣла нѣтъ! Вотъ и живи въ такомъ обществѣ!

— Нынче ужъ и насъ, адвокатовъ, въ неблагонамѣренности заподозрили,—сообщаетъ адвокатъ изъ-подъ Углича.—Мы шкуру съ живого содрать готовы — кажется, чего ужъ! — а они кричатъ: неблагонамѣренные!

— Нынче объ насъ. судьяхъ, только и словъ, что мы основы трясемъ, — соболѣзнуетъ „несмѣняемый“ изъ-подъ Пошехонья: — каждый день съ утра до вечера только и дѣлаешь, что прописываешь, только объ одномъ и думаешь, какъ бы его, потрясателя-то, хорошенько приспоровить, а по-ихнему выходитъ, что оттого у насъ основы не держатся, что сами судьи ихъ трясутъ... Это мы-то трясемъ!

— Чортъ знаетъ на что̀ похоже! — ропщетъ землевладѣлецъ изъ-подъ Мологи: — сыроварню хотѣлъ устроить — говорятъ: соціалистъ! Это я-то... соціалистъ! Въ драгунахъ служилъ... представьте себѣ!

— Хоша бы эти самыя основы—какъ ихъ слѣдуетъ понимать? —объясняетъ свои сомнѣнія рыбинскій купчина-хлѣботорговецъ.— Теперича ежели земля перестала хлѣбъ родить—основа это или нѣтъ?.. Оттого ли она перестала родить, что лѣность засиліе взяла, или оттого, что такой карахтеръ ей Богъ далъ? Какъ? что̀? Отъ кого въ эфтимъ разѣ объясненія ожидать? А у насъ, между прочимъ, задатки заданы, потому что мы ни лѣностевъ этихъ, ни карахтеровъ не знаемъ, а помнимъ только, что родители наши производили, и мы производить

должны. А намъ говорятъ: погоди! земля не уродила! А какъ же задатки, позвольте спросить? основа это или нѣтъ? Или опять: система эта самая водяная... Погрузились, плывемъ — благослови, Господи! И вдругъ: стой, воды нѣтъ!.. основа это или нѣтъ? А у насъ, между прочимъ, контрактъ съ англичиномъ. А ему вынь да положь. Какъ же, молъ, я, Архипъ Албертычъ, безъ воды въ баркѣ поѣду? А онъ нашихъ порядковъ не знаетъ, ему на чемъ хошь поѣзжай... Я триста, четыреста тысячъ въ одно лѣто теряю — основа это или нѣтъ? Позвольте васъ спросить: ежели васъ сегодня по карману — разъ, завтра—два, послѣ-завтра—три, а впослѣдствіи, можетъ, и больше... и при семъ говорятъ: „основы“... то въ какой, напримѣръ, силѣ оное понимать?

Купчина останавливается на минуту, чтобъ передохнуть, и затѣмъ уже обращается лично ко мнѣ.

— Позвольте васъ, господинъ, спросить. Теперича вотъ эта самая рыба, которая сейчасъ въ Волгѣ плаваетъ: ожидаетъ она или не ожидаетъ, что современемъ къ намъ въ уху попадетъ?

— Безъ сомнѣнія, не ожидаетъ, потому что рыба, которая разъ въ ухѣ побывала, въ рѣку ужъ возвратиться не можетъ. Слѣдовательно, некому и сообщить прочимъ рыбамъ, къ какимъ послѣдствіямъ ихъ ведетъ знакомство съ человѣкомъ.

— А мы вотъ и знаемъ, что̀ такое уха, и опять въ уху лѣземъ. Какъ это понимать?

— Приспособляться надо. А еще лучше, ежели будете жить такъ, какъ бы совсѣмъ не было ухи. Старайтесь объ ней позабыть.

— Нельзя ее забыть. Еще дѣдушки наши объ этой ухѣ твердили. Рыба-то вишь какъ въ водѣ играетъ—а отчего?—оттого самаго, что она ухи для себя не предвидитъ! А мы... До игры ли мнѣ теперича, коли у меня цѣлый караванъ на мели стоитъ? И какъ это Господь Богъ: къ твари—милосердъ, а къ человѣку—немилостивъ? Твари этакую лёгость далъ, а человѣку въ ономъ отказалъ? Неужто тварь больше заслужила?

— А со мной что̀ случилось—потѣха!—повѣствуетъ „свѣдущій человѣкъ“ изъ-подъ Костромы:—стоимъ мы съ Иванъ-Павлычемъ у Вольфа въ ресторанѣ и разговариваемъ. Объ транзитѣ, объ рублѣ, о бюджетѣ—словомъ сказать, обо всемъ. Съ нимъ соглашаемся, съ другимъ—никакъ согласиться не можемъ. Смотримъ, откуда ни возь-

мись—неизвѣстный мужчина! Сталъ около насъ, руки назадъ заложилъ, точно вѣкъ съ нами знакомъ.—Вамъ что̀ угодно?—спрашиваетъ его Иванъ Павлычъ. „А вотъ, говоритъ, слушаю, объ чемъ вы разговариваете“. И такъ это натурально, точно дѣло дѣлаетъ...—Поздно спохватились,—говоритъ Иванъ Павлычъ:—мы ужъ обо всемъ переговорили.—Хорошо. Выходимъ, знаете, изъ ресторана — и онъ за нами. Мы прямо—и онъ прямо; мы въ сторону—и онъ въ сторону! Дошли до околоточнаго — онъ къ нему; вотъ они — указываетъ на насъ — объ формахъ правленія разговариваютъ. Въ кварталъ. Квартальнаго — нѣтъ: въ нарядъ ушелъ. „Извольте подождать“. Сидимъ часъ, сидимъ другой; писаря съ пашпросами мимо бѣгаютъ, сторожа въ передней махорку курятъ, со двора вонище несетъ; на полу—грязь, по дивану — клопы ползаютъ. Сидимъ. Ужъ передъ самымъ обѣдомъ слышимъ: въ передней движеніе. Докладываютъ: „политическихъ, вашескородіе, привели“. Входитъ квартальный. „Имя, отчество, фамилія? чѣмъ занимаетесь?“—Такіе-то. Свѣдущіе люди. Прибыли въ столицу по вызову на предметъ разсмотрѣнія.—Удивился. „Что за причина?“ — Не знаемъ. „Объ формахъ правленія въ кофейной у Вольфа разговаривали!“—подскочилъ тутъ письмоводитель. „Ахъ, господа, господа!“ Ну, отпустилъ и даже пошутилъ: „да послужитъ сіе вамъ урокомъ!“

— Только и всего?

— Будетъ съ насъ.

— А вы бы жаловались...

— Жаловаться не жаловались, а объясненіе—имѣли. Выходитъ, что существуютъ резоны. Конечно, говорятъ, эти добровольцы-шалыганы всѣмъ по горло надоѣли, но нельзя не принять во вниманіе, что они на правильной стезѣ стоятъ. Ну, мы махнули рукой, да и укатили изъ Питера.

— А по моему мнѣнію,—ораторствуетъ въ другомъ углу „свѣдущій человѣкъ“ изъ-подъ Романова:—всѣ эти акцизы въ одно бы мѣсто собрать да по душамъ въ поровѣнку и разложить. Тамъ хоть пей, хоть не пей, хоть кури, хоть не кури, а свое—отдай!

— Какъ же это такъ... одинъ пьетъ, другой — не пьетъ, а вдругъ непьющій за пьющаго плати!

— Зачѣмъ такъ! Коли кто пьетъ—тотъ особливо по вольной цѣнѣ заплати. Водка-то, коли безъ акциза — чего она стоитъ?—

грошъ стоитъ!—А тутъ опять—конкуренція. Въ ту пору и заводчики, и кабатчики—всѣ другъ дружку побивать будутъ. Вѣдь она почесть задаромъ пойдетъ, водка-то! Выпилъ стаканъ, выпилъ два—въ мошнѣ-то и незамѣтно, убавилось или нѣтъ. А казнѣ между тѣмъ лёгость. Ни надзоровъ, ни дивидендовъ, ни судовъ—ничего не нужно. Бери денежки, загребай!

— А недоимки?

— И противъ недоимокъ средство есть: почаще подъ рубашку заглядывать. Прежде, когда своевременно вспрыскивали—и недоимокъ не было; а нынче, какъ пошли въ ходъ нѣжничанья да филантропія—и недоимки явились.

Такъ-то такъ...

Мнѣ лично ужасно эти разговоры не нравились. Во-первыхъ, думалось: вотъ люди, которые жалуются, что имъ дохнуть не даютъ, а между тѣмъ смотрите, какъ разговариваютъ! Стало быть, одно изъ двухъ: или они врутъ, или всѣ эти соглядатайства, сопряженныя съ путешествіями по кварталамъ, не достигаютъ цѣли и никого не устраиваютъ. Ихъ пожурятъ, отпустятъ, а они опять за свое—развѣ можно назвать это результатомъ? А во-вторыхъ, и опасеньице было: разговариваютъ да разговариваютъ, да вдругъ и въ самомъ дѣлѣ о бюджетахъ заговорятъ! куда тогда дѣваться? На палубу уйти—и тамъ о бюджетахъ разговариваютъ; во второй классъ спуститься—тамъ купцы третьей гильдіи, за четвертной бутылью, антихриста поджидаютъ; въ третій классъ толкнуться—тамъ мужичьё аграрные вопросы разрѣшаетъ...

Къ счастію, кто-то упомянулъ объ „Аннѣ Ивановнѣ“, и общественное вниманіе каюты разомъ шарахнулось въ эту сторону. Довольно значительная группа свѣдущихъ людей лично знала Анну Ивановну; другія же группы хотя и не знали именно этой Анны Ивановны, но знали Клеопатру Ивановну, Дарью Ивановну, Наталью Ивановну и проч., которыя представляли собой какъ бы безчисленные оттиски одной и той же Анны Ивановны. Такъ что, напримѣръ, Клеопатра Ивановна была угличкою Анной Ивановной, а Анна Ивановна была калязинскою Клеопатрой Ивановной и т. д. Всѣ вообще Анны Ивановны — лихія, гостепріимныя, словоохотливыя, иногда некрасивыя, но всегда подманчивыя и задорливыя. Всѣ любятъ исключительно мужское общество, охотно берутся управить

тройкой бѣшеныхъ коней—причемъ надѣваютъ плисовую безрукавку и красную канаусовую рубаху—и не поморщась выпиваютъ стаканъ шампанскаго на брудершафтъ. Одинъ изъ нихъ—вдовы, другія хотя имѣютъ мужей, но маленькихъ и почти всегда недоумковъ (чаще всего родители Анны Ивановны прельщаются ихъ относительнымъ матеріальнымъ довольствомъ); изрѣдка попадаются и дѣвицы, но почти исключительно у матерей, которыя сами были въ свое время Аннами Ивановнами. Для немногихъ „свѣдущихъ людей", застрявшихъ въ своихъ захолустьяхъ, для господъ офицеровъ расквартированнаго въ уѣздѣ полка и для судебныхъ приставовъ—Анны Ивановны представляютъ сущій кладъ. И по пути, и безъ пути—всегда у Анны Ивановны двери настежъ, всегда и тепло, и свѣтло, и на столѣ закуска стоитъ. И мужъ тутъ же сидитъ, почевать унимаетъ. И прислуга на крыльцо встрѣчать бѣжитъ—горничныя въ сарафанахъ, лакеи въ поддёвкахъ—и изо всѣхъ силъ суетится, чтобъ угодить, потому что и прислугѣ пріятно пожить весело, а у кого же весело пожить, какъ не у Анны Ивановны. Цѣлый день у Анны Ивановны огонь подъ плитой разведенъ, цѣлый день готовятъ, пекутъ, самовары грѣютъ, кофей разносятъ. А на какія средства она все это печетъ и варитъ—она и сама едва-ли знаетъ. Говорятъ, будто она въ прошломъ году лѣску продала, да что-то ужъ часто она этотъ самый лѣсъ продаетъ. Говорятъ также, будто она кругомъ въ долгу—пастуху задолжала! за пастушину два года не платитъ!—съ ужасомъ восклицаютъ сосѣднія помѣщицы, которыя, въ ожиданіи сумы, на обухѣ рожь молотятъ—но она не платитъ, не платитъ, и вдругъ какъ-то обернется да всѣмъ и заплатитъ. Правда, что кто ни пріѣдетъ къ ней, всегда что-нибудь привезетъ, да она и сама не скрываетъ этого. Прямо такъ и встрѣчаетъ: „что привезли? волоките!" И тутъ же все привезенное выпоитъ и выкормитъ. Словомъ сказать, живетъ Анна Ивановна въ свое удовольствіе, а какъ это у нея выходитъ, ей до того дѣла нѣтъ.

Въ большей части случаевъ Анна Ивановна, даже перейдя границу сорокалѣтняго возраста, все еще бодро держитъ въ рукахъ знамя уѣздной львицы; но иногда случается и такъ: покуда она гарцуетъ въ своемъ Сань-Суси, по сосѣдству, въ Монплезирѣ, вдругъ объявляется другая Анна Ивановна. Столь же лихая и подманчивая, но молодая, дѣятельная, старающая нетерпѣніемъ покорить себѣ всѣ

сердца. Тогда наступаютъ для старой Анны Ивановны скорбные, полные жгучей боли дни. Начинается борьба. Старая Анна Ивановна скачетъ на тройкѣ съ *своими* кавалерами мимо Монплезира; новая Анна Ивановна, на *своей* тройкѣ, съ *своими* кавалерами, скачетъ мимо Санъ-Суси. Горланятъ пѣсни, гаркаютъ, отбиваютъ на-скаку у бутылокъ горлышки. Старая Анна Ивановна куритъ папиросы десятками; новая Анна Ивановна въ одинъ день выкуритъ цѣлую сотню. Старая Анна Ивановна вылавливаетъ въ прудахъ и въ рѣчкѣ всѣхъ карасей и обкармливаетъ ими своихъ кавалеровъ; новая Анна Ивановна говоритъ майору Оглашенному: „Оглашенный! когда же вы привезете стерлядей?“ и черезъ три дня послѣ карасиной вакханаліи кормитъ своихъ кавалеровъ стерляжьей ухой. Старая Анна Ивановна пускаетъ въ ходъ выраженія, отъ которыхъ кавалерамъ дѣлается тепло; новая Анна Ивановна загибаетъ такія словечки, отъ которыхъ даже небу становится жарко... Мало-по-малу однакожъ положеніе выясняется рѣзче и рѣзче. Первыми дезертируютъ изъ лагеря старой Анны Ивановны господа штабъ- и оберъ-офицеры; затѣмъ свѣдущіе люди, и дольше другихъ ей остаются вѣрными судебные пристава. Но наконецъ и они, прослышавши объ утѣхахъ, ареною которыхъ сдѣлался Монплезиръ, вдругъ пропадаютъ. Анна Ивановна остается одна, глазъ-на-глазъ съ маленькимъ человѣкомъ, котораго она называетъ своимъ мужемъ...

Санъ-Суси приходитъ въ запустѣніе. Лѣски, которые его окружали, сведены, пустошà—проданы. Прислуга, привыкшая къ вѣчной суматохѣ, начинаетъ роптать и требовать разсчета; пастухъ – тоже не хочетъ больше ждать, а разносчикъ Фока, столько лѣтъ снабжавшій Анну Ивановну въ кредитъ селедками и мещерскимъ сыромъ, угрожаетъ ей мировымъ судьею и дѣлаетъ какіе-то нелѣпые намеки. Въ усадьбу, когда-то наполненную шумомъ и гвалтомъ, потихоньку-потихоньку заползаютъ окрестные кабатчики и люди духовнаго вѣдомства. „А Анна-то Ивановна, представьте... съ батюшкинымъ братомъ!“ или: „вѣдь Анна-то Ивановна... съ Разуваевымъ!“ весело гогочутъ въ Монплезирѣ, разсказывая похожденія старой уѣздной сахарницы. Но какую муку переживаетъ при этой метаморфозѣ маленькій Анны-Ивановнинъ мужъ—для изображенія этого нуженъ цѣлый особый этюдъ и такое особливое сочетаніе красокъ, котораго я, къ сожалѣнію, не имѣю въ своемъ распоряженіи.

Какъ бы то ни было, но въ нашей каютѣ разговоръ зашелъ на тему объ Аннѣ Ивановнѣ. Сквернословили ходко, весело, шумно — всѣ разомъ. Всякій старался щегольнуть, сообщить что-нибудь особенное, но ничего особеннаго не выходило, потому что у всѣхъ была одна и та же Анна Ивановна, съ одпѣми и тѣми же примѣтами. Всѣ надъ нею слегка подсмѣивались, но было очевидно, что всякій, пріѣхавши въ свое мѣсто, сейчасъ же сломя голову поскачетъ въ Монплезиръ. И у всѣхъ, безъ изъятія, были припасены для Анны Ивановны петербургскіе подарки, начиная съ шляпы и кончая страсбургскимъ паштетомъ.

Наконецъ, однакожъ, надоѣло и сквернословить; на нѣсколько минутъ всѣ примолкли, какъ будто поглупѣли. Доканчивали прерванныя рѣчи, досмѣивались, повторяли избранныя мѣста. Сумерки между тѣмъ окончательно потемнѣли и пароходъ приближался къ Кимрѣ, гдѣ, по росписанію, назначена на ночь стоянка. Зажгли единственную на всю каюту лампу, которая жалобно звенѣла матовымъ колпакомъ и пламя которой представлялось мутно-свѣтящеюся точкой среди облаковъ табачнаго дыма. Кто-то крикнулъ: „господа! въ винтъ! кто желаетъ въ винтъ, господа?“ и сейчасъ же набралось два стола. Въ каютѣ водворилась тишина. Играющіе сосредоточились; оставшіеся внѣ игры—размѣстились по угламъ и вполголоса возобновили прерванную бесѣду объ Аннѣ Ивановнѣ и ея свойствахъ. Нѣкоторые спозаранку улеглись спать.

И мы намѣревались послѣдовать примѣру послѣднихъ, но покуда собирались—случился казусъ. Въ Кимрѣ ввалился въ каюту новый пассажиръ, офицеръ (разумѣется, отставной) и сразу сталъ называть Парамонова „тетенькой“. Подсѣлъ и началъ; „ахъ, тетенька! сто лѣтъ, сто зимъ! какъ дѣточки? что дяденька? неужто до сихъ поръ грѣшите... ахъ, тетенька!“ Въ сущности, эта кличка до такой степени мѣтко воспроизводила Парамонова въ перлъ созданія, что мнѣ показалось даже страннымъ, какъ это я давно не угадалъ, что Парамоновъ—тетенька; но офицеръ все дѣло испортилъ тѣмъ, что, замѣтивъ успѣхъ своей клички, началъ ужъ черезъ-чуръ назойливо щеголять ею. Съ полчаса онъ не отходилъ отъ Парамонова и самымъ идіотскимъ образомъ мучительствовалъ надъ нимъ, приплетая тутъ и Гоголя (офицеръ былъ „образованный“), и „стаметовыя юпки“, и классическое „Обмокни“ и т. д. Злосчастный мѣняло сначала улы-

бался, но потомъ оторопѣлъ и сталъ испуганно озираться. Мы съ Глумовымъ сидѣли какъ на иголкахъ и думали: вотъ будетъ штука, если изъ-за мѣнялы придется выходить съ офицеромъ на смертный бой? Фаинушка жалась и, кажется, понимала, что офицеръ затѣялъ эту исторію единственно съ цѣлью блеснуть передъ нею; „корреспондентъ“ обдумывалъ фельетонъ подъ названіемъ: „Интеллигентные дикари“, въ которыхъ ставилъ обществу „Самолетъ“ вопросъ: отвѣчаетъ ли оно за спокойствіе и безопасность ѣдущихъ на его пароходахъ пассажировъ? Одинъ Очищенный нашелся. Онъ потребовалъ бутылку „ямайскаго“ и началъ потчивать. Ромъ вообще дѣйствуетъ серьезно и быстро, а кашинскій въ особенности. Въ настоящемъ случаѣ ромъ до того воняялъ клопомъ, что всѣ пассажиры инстинктивно начали чесаться, а офицеръ, выпивая рюмку за рюмкой, въ скоромъ времени ощутилъ себя окруженнымъ видѣніями. И въ довершеніе всего, увидѣвъ въ зеркалѣ собственную фигуру, вообразилъ, что это непріятель, который вызываетъ его на единоборство, и обнажилъ саблю. Тогда ужъ и другіе пассажиры сочли долгомъ вступиться; произошла краткая, но вразумительная суматоха, и черезъ десять минутъ благодѣтельный сонъ смыкалъ вѣжды разбушевавшагося героя.

На другой день, высадившись раннимъ утромъ въ Сергіевкѣ, мы часовъ около семи были въ Кашинѣ.

Глава XXIII.

Кашинъ—уѣздный городъ Тверской губерніи; имѣетъ, по календарю, до семи съ половиной тысячъ жителей и лежитъ на рѣкѣ Кашинкѣ, которая скромно катитъ среди города свои волны въ зеленыхъ берегахъ. Нѣкогда Кашинъ былъ стольнымъ городомъ и соперничалъ съ Тверью, но нынѣ даже съ Бѣжецкомъ соперничать не дерзаетъ. Нѣкогда въ рѣкѣ Кашинкѣ водились пискари, а нынѣ остались только лягушки и головастики. Что Кашинъ въ свое время принадлежалъ къ числу цвѣтущихъ русскихъ муниципій—объ этомъ и донынѣ свидѣтельствуетъ великое множество церквей, изъ которыхъ нѣкоторыя считаютъ не болѣе трехъ-четырехъ домовъ въ приходѣ, но и за всѣмъ тѣмъ могутъ существовать, благодаря прежде сдѣланнымъ щедрымъ вкладамъ. Я самъ хорошо помню, какъ въ тридцатыхъ годахъ и даже въ сороковыхъ годахъ помѣщики не

только Кашинскаго, но и смежныхъ уѣздовъ ѣздили въ Кашинъ веселиться и запасались тамъ бакалеей и модными товаромъ. И помѣщики кашинскіе были веселые, и усадьбы у нихъ веселыя, и гости къ нимъ пріѣзжали веселые; но весело ли жилось въ этихъ веселыхъ мѣстахъ рабамъ—объ этомъ сказать не умѣю. У меня было въ Кашинскомъ уѣздѣ нѣсколько кузенъ, и я, будучи ребенкомъ, жадно слушалъ ихъ разсказы о томъ, какая въ Кашинѣ безподобная икра, какія бесѣдки *), витушки **) и какъ весело живутъ тамошніе помѣщики, переѣзжая всѣмъ домомъ отъ одного къ другому; днемъ ѣдятъ, лакомятся вареньемъ и пастилою, играютъ въ фанты, въ жмурки, въ сижу-носижу и танцуютъ кадрили и экосезы, а ночью гости, за недостаткомъ отдѣльныхъ компатъ, спятъ въ-повалку. Мнѣ казалось, что Кашинъ есть нѣчто въ родѣ свѣтлаго помѣщичьяго рая, и я горько роптalъ на Провидѣніе, уродившее меня не въ Кашинѣ, а въ глухой Калязинской Мещорѣ, гдѣ помѣщики въ-повалку не спали, въ сижу-носижу не играли, экосезовъ не танцовали, а жили угрюмо, снѣдаемые клопами и завистью къ счастливымъ кашинцамъ ***).

Въ настоящее время Кашинъ представляетъ собой вымороченный городъ, еще болѣе унылый, нежели Корчева. Ибо Корчева и прежде не отличалась щеголеватостью—въ ней только убогой пахло—а въ Кашинѣ пахло бакалеей, бонбономъ и женскими атурами. Такъ что къ нынѣшнему корчевскому запустѣнію въ современномъ Кашинѣ присовокупляется еще паутина временъ, которая, какъ извѣстно, распространяетъ отъ себя острый запахъ затхлости, свойственной упраздненному зданію.

---

*) Печенье изъ тѣста, сдобнаго или кислаго, смотря по вкусу. Имѣло форму фасада открытой садовой бесѣдки (въ родѣ большой кибитки, кругомъ заплетенной акаціями) и состояло изъ множества тонкихъ хлѣбныхъ палочекъ. Украшалось по желанію сусальнымъ золотомъ, изюмомъ и миндалинами.

**) Такое же печенье: форма продолговатая, имѣющая видъ заплетенной косы.

***) Я еще засталъ веселую помѣщичью жизнь и помню ее довольно живо. Въ Кашинѣ я, впрочемъ, не бывалъ, но и въ нашемъ, сравнительно угрюмомъ, Калязинскомъ уѣздѣ прорывались веселые центры, напримѣръ на Хотчѣ и въ особенности въ селѣ Воскресенскомъ, гдѣ жило до семи помѣщичьихъ семей, которыя, несмотря на скудныя средства, ничѣмъ другимъ не занимались, кромѣ хлѣбосольства. Когда-нибудь я надѣюсь возобновить въ своей памяти подробности этой недавней старины, которая исчезла на нашихъ глазахъ, не оставивъ по себѣ *никакого* слѣда.

На постояломъ дворѣ мы узнали, что жидъ, котораго мы разъискиваемъ, живетъ въ богатой княжеской усадьбѣ, верстахъ въ десяти отъ города, и управляетъ приписанымъ къ этой усадьбѣ имѣніемъ. Или, въ сущности, не управляетъ, а арендуетъ его, сводитъ лѣсъ, донимаетъ мужичковъ штрафами и понемногу распродаетъ мебель, скотъ и движимость вообще. Окреститься онъ затѣялъ въ видахъ пріобрѣтенія правъ осѣдлости, а наставляетъ и утверждаетъ его въ вѣрѣ изверженный за пьянство изъ сана древній дьяконъ, который, по старости, мухъ не ловитъ, но водку пить еще можетъ.

Мы рѣшили ѣхать туда на другой день, а въ ожиданіи предприняли подробный осмотръ кашинскихъ достопримѣчательностей.

Разумѣется, прежде всего насъ заинтересовало кашинское винодѣліе. Съ давнихъ поръ оно составляло предметъ милліонныхъ оборотовъ, послужило основаніемъ для милліонныхъ состояній и питало помѣщичій патріотизмъ во всей восточной полосѣ Тверской губерніи. Я помню время, когда вся калязинская Мещора самонадѣянно восклицала: „ничего намъ отъ иностранцевъ не надо! каретники у насъ —свои, столяры — свои, повара — свои, говядина, рыба, дичина, овощъ—все свое! вина виноградпаго не было—и то теперь въ Кашинѣ научились дѣлать!“ Только объ наукахъ *своихъ* Мещора не упоминала, потому что при крѣпостномъ правѣ и безъ наукъ хорошо жилось.

И пила Мещора рублевые (на ассигнаціи) кашинскіе хереса, пила и похваливала. Сначала съ этихъ хересовъ тошнило, но потомъ привычка и патріотизмъ дѣлали свое дѣло.

Нынѣ кашинское винодѣліе слегка пошатнулось, вѣроятно впрочемъ только временно. Во-первыхъ, сошли со сцены коренные основатели и заправители этого дѣла; а во-вторыхъ, явилась ему сильная конкурренція въ Ярославлѣ. Однакожъ и донынѣ кашинскому вину довѣряютъ больше, чѣмъ ярославскому, а кашинскіе рейнвейны, особливо ежели съ золотыми ярлыками, и теперь служатъ украшеніемъ такъ-называемыхъ губернаторскихъ обѣдовъ.

Оказалось, что никакихъ виноградниковъ въ Кашинѣ нѣтъ, а винодѣліе производится въ принадлежащихъ виноѣламъ подвалахъ и погребахъ. Процессъ выдѣлки изумительно простой. Въ основаніе каждаго сорта вина берется подлинная бочка изъ-подъ подлиннаго вина. Въ эту подлинную бочку наливаются въ опредѣленной пропорціи

астраханскій чихирь и вода. Подходящую воду доставляетъ рѣка Кашинка, но въ послѣднее время дознано, что рѣка Которосль (въ Ярославлѣ) тоже въ изобиліи обладаетъ хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняетъ отъ бочки надлежащимъ запахомъ, тогда приступаютъ къ сдабриванію его. На бочку вливается ведро спирта, и затѣмъ, смотря по свойству выдѣлываемаго вина: на мадеру—столько-то патоки, на малагу—дегтя, на рейнвейнъ—сахарнаго свинца и т. д. Эту смѣсь мѣшаютъ до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается однородною, и потомъ закупориваютъ. Когда вино отстоится, приходитъ хозяинъ или главный прикащикъ и сортируетъ. Плюнетъ одинъ разъ — выйдетъ просто мадера (цѣна 40 к.); плюнетъ два раза—выйдетъ цвей-мадера (цѣна отъ 40 коп. до рубля); плюнетъ три раза — выйдетъ дрей-мадера (цѣна отъ 1 р. 50 к. и выше, ежели, напримѣръ, мадера столѣтняя). Точно такъ же малага, просто малага, малага vieux и малага très vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger. Но ежели при этомъ случайно плюнетъ высокопоставленное лицо, то выйдетъ Cabinet-Auslese, то-есть: лучше не надо. Таковы кашинскія вина *).

Когда вино поспѣло, его разливаютъ въ бутылки, на которыя наклеиваютъ ярлыки, и прежде всего поятъ имъ членовъ врачебной управы. И когда послѣдніе засвидѣтельствуютъ, что лучше ничего не пивали, тогда вся заготовка сплавляется на нижегородскую ярмарку и оттуда на-расхватъ разбирается для всей Россіи. Пьютъ исправники, пьютъ мировые судьи, пьютъ помѣщики, пьютъ купцы, и никто не знаетъ, чье „сдабриванье“ онъ пьетъ.

Разумѣется, прикащики и намъ любезно предложили пробу. Нѣкоторые изъ насъ выпили и не могли вмѣстить; но „корреспондентъ“ и Очищенный попросили по другой, сказавши: „было бы мокрò да въ горлѣ першило!“ И имъ не только не отказали въ повтореніи, но отпустили по бутылкѣ высшихъ сортовъ на дорогу.

Соображенія высшаго экономическаго и политическаго порядка

---

*) Разумѣется, я описываю процессъ выдѣлки кашинскаго вина на основаніи устныхъ разсказовъ, за достовѣрность которыхъ ручаться не могу. За одно ручаюсь: виноградниковъ ни въ Кашинѣ, ни въ Ярославлѣ нѣтъ, а между тѣмъ виноградное вино выдѣлывается во множествѣ и самыхъ разнообразныхъ сортовъ.

такъ и лѣзли въ голову по этому поводу. Начались дебаты, въ которыхъ приняли живое участіе и прикащики. Экономическая точка зрѣнія была совершенно ясна. Во-первыхъ, вытѣсняя съ внутреннихъ рынковъ дорогой иностранный товаръ и замѣняя его однороднымъ собственнаго производства (и притомъ не стоющимъ выѣденнаго яйца), кашпискіе винодѣлы тѣмъ самымъ увеличиваютъ производительную силу страны. Во-вторыхъ, тѣ же винодѣлы, давая прилпчный заработокъ нуждающимся въ немъ, тѣмъ самымъ распространяютъ въ странѣ довольство и преподаютъ средства для безбѣднаго существованія многимъ семьямъ, которыя безъ этого подспорья были бы вынуждены прибѣгнуть къ зазорнымъ ремесламъ. И въ-третьихъ, наконецъ, устраняя изъ обращенія иностранный продуктъ, винодѣлы сохраняютъ внутри государства цѣлый ворохъ ассигнацій, которыя, будучи водворены въ ихъ карманахъ, дадутъ возможность повернуть „торговый баланецъ“ въ пользу Россіи.

Принимая во вниманіе все вышензложенное, прикащики единогласно полагали: ввозъ иностранныхъ винъ въ Россію воспретить навсегда, о чемъ и послать телеграммы въ московскій Охотный рядъ для повсемѣстнаго опубликованія.

— Постойте!—остановилъ я ихъ:—но какъ же вы съ таможеннымъ доходомъ устроитесь? Извѣстно вамъ, что иностранное вино оплачивается золотыми пошлинами...

— А таможенный доходъ—это само по себѣ,—отвѣтили они безъ затрудненія.—Какъ это можно, чтобы таможенный доходъ не поступалъ... да это спаси Богъ! Таможенный доходъ, позвольте вамъ доложить, завсегда долженъ полностью поступить. Мы это даже очень хорошо понимаемъ.

И тутъ же, въ живыхъ и наглядныхъ образахъ, доказали свое пониманіе.

— Вотъ извольте, вашескородіе, смотрѣть. Въ семъ мѣстѣ, скажемъ примѣрно, скрозь дыра—значитъ, и вода въ ёмъ не держится. А въ семъ мѣстѣ—грунтъ; значитъ, и вода въ ёмъ завсегда есть. Такъ точно и въ эфтомъ дѣлѣ: въ одномъ мѣстѣ вода скрозь течетъ, а въ другомъ—накапливается.

— Но ежели вездѣ дыра?

— Ахъ, вашескородіе! развѣ это возможно!

Разумѣется, я успокоился, и такимъ образомъ фискально-финансовое затрудненіе было безъ хлопотъ устранено.

Политическая точка зрѣнія была еще яснѣе. Прежде всего кашинское винодѣліе развязываетъ руки русской дипломатіи. Покуда его не существовало, на рѣшенія дипломатовъ могли оказывать давленіе такіе вопросы: а что, ежели французъ не дастъ намъ лафитовъ, нѣмецъ—рейнвейновъ, испанецъ—хересовъ и мадеръ? Что будемъ мы пить? Чѣмъ гостей потчивать? А теперь эти вопросы падаютъ сами собой: все у насъ свое—и лафиты, и рейнвейны, и хереса. Да еще лучше, потому что „ихнее“ вино—вредительное, а наше—пользительное. Съѣлъ лишнее, выпилъ ли—съ „ихняго“ вина голова болитъ, а съ кашинскаго—только съ души тянетъ. Дайте только ходъ кашинскимъ винамъ, а тамъ ужъ дѣло само собой на чистоту пойдетъ. Сгрубилъ нѣмецъ, зазнался—не надо намъ твоихъ рейнвейновъ, жри самъ!—а отвѣчай прямо: какая тому причина?

Но главнымъ образомъ кашинскому винодѣлію предстоитъ содѣйствовать разъясненію Восточнаго вопроса. Что нынче въ Средней Азіи пьютъ?—все иностранное вино, да все дорогое. Перепьются, да съ нами же въ драку лѣзутъ. А дай-ка кашинскимъ винамъ настоящій ходъ—да мы и въ Афганистанъ, и въ Белуджистанъ, и въ Кабулъ проникнемъ, всѣхъ своими мадерами зальемъ!

— Потому что наше вино сурьезное,—въ одинъ голосъ говорили прикащики,—да и обойдется дешевле, потому что мы его на всякомъ мѣстѣ сдѣлать можемъ. Агличинъ, примѣрно, за свою бутылку рубль проситъ, а мы полтинникъ возьмемъ; онъ семь гривенъ, а мы сорокъ копѣечекъ. Мы, сударь, лучше у себя дома лишнихъ десять копѣечекъ накинемъ, нежели противъ агличина силоховать! Сунься-ко онъ въ ту пору съ своей малагой—мы ему носъ-то утрёмъ! Задаромъ товаръ отдадимъ, а ужъ своихъ не сконфузимъ!

Затѣмъ тонъ собесѣдованія, повышаясь все больше и больше, получилъ такую патріотическую окраску, въ которой утопали и экономическія, и политическія соображенія.

— Да мы, вашескородіе, отъ себя цѣлый полкъ снарядимъ!—въ энтузіазмѣ восклицалъ главный прикащикъ.—За сербовъ ли, за болгаръ ли—только шепни Максиму Липатычу: Максимъ, молъ, Липатычъ! сдѣйствуй!—сейчасъ, въ одну минуту... ребята, впередъ!

— Ужъ и то, ничего не видя, сколько отъ Максимъ-Липатыча

здѣшнему городу благодѣяніевъ вышло! — какъ эхо отозвался другой прикащикъ. — У Максима Исповѣдника кто новую колокольню взбодрилъ? Къ Ѳедору Стратилату кто новый колоколъ пожертвовалъ? Звонъ-то одинъ... А сколько напикадиловъ, свѣщей, лампадъ, ежели счесть!

— Кажное воскресенье у кажной церкви молодецъ съ мѣшкомъ мѣдныхъ денегъ стоитъ, нищую братію одѣляетъ!—свидѣтельствовалъ третій прикащикъ.

— И что̀ за причина, вашескородіе!—удивлялись прочіе прикащики:—всѣ будто бы прочіе народы и выдумки всякія выдумывать могутъ, и съ своимъ дѣломъ управляться могутъ — одни будто бы русскіе ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ! Да мы, вашескородіе, коли ежели насъ допустить — всѣхъ произойдемъ! Сейчасъ умереть, коли не произойдемъ!

Однимъ словомъ, ежели съ кашинской мадеры, какъ въ томъ сознались сами прикащики, съ души тянетъ, за то кашинскій подъемъ чувствъ оказался безусловно доброкачественнымъ и достойнымъ похвалы. Только вотъ зачѣмъ прикащики прибавили: „коли ежели допустить“? Кто же не допускаетъ? Кажется, что у насъ насчетъ рейнвейновъ свободно...

— Послушай! вѣдь у насъ насчетъ хересовъ и мадеръ свободно! —обратился я къ Глумову, когда мы покончили осмотръ винодѣлія: —какъ ты полагаешь?

— Разумѣется, свободно.

— Почему же кашинскіе винодѣлы до сихъ поръ не проникли ни въ Афганистанъ, ни въ Белуджистанъ, а все какого-то „полнаго хода“ своему вину ждутъ?

— Да потому вѣроятно, что покуда еще около себя побираются. Дай срокъ, у своихъ изъ кармановъ повыберутъ, а потомъ и въ Белуджистанъ съ подводами потянутся.

Въ заключеніе Очищенный сообщилъ намъ пріятную вѣсть. Въ редакціи „Красы Демидрона“ имѣются достовѣрныя свѣдѣнія, что примѣръ кашинскихъ винодѣловъ уже нашелъ подражателей. Не говоря объ Ярославлѣ, котораго лафиты, подправленные чернилами и сандаломъ, могутъ смѣло соперничать съ фирмой Oldekopp Marillac —во многихъ мелкихъ уѣздныхъ городахъ (какъ напримѣръ въ Крапивиѣ, Саранскѣ, Лукояновѣ и проч.), гдѣ доселѣ производился

только навозъ, положено прочное основаніе винодѣлію, которое до извѣстной степени уже и конкуррируетъ съ кашинскимъ и ярославскимъ. Примѣру этихъ городовъ несомнѣнно послѣдуютъ: Шацкъ, Лашшевъ, два Ардатова, всѣ Спасски и проч. — и тогда періодъ „выбиранія около себя“ сократится самъ собой. А когда выбирать около себя будетъ ужъ нечего, тогда волей-неволей придется нанимать подводы въ Белуджистанъ. А разъ белуджистанскій рынокъ будетъ завоеванъ для кашинскихъ хересовъ, тогда нашимъ винодѣламъ останется только оправдать довѣріе начальства, а намъ, всѣмъ остальнымъ—высоко держать русское знамя.

— Лёгость большая будетъ, — заключилъ Очищенный, и мы охотно съ нимъ согласились.

Послѣ винодѣленъ мы хотѣли приступить къ осмотру замѣчательныхъ кашинскихъ зданій и церквей, но вспомнили, что въ Кашинѣ существуетъ окружной судъ, и направились туда. Къ тому же и хозяинъ постоялаго двора предупредилъ насъ, что въ это утро должно слушаться въсудѣ замѣчательное политическое дѣло, развязки котораго вся кашинская интеллигенція ожидала съ нетерпѣніемъ *).

Какъ я уже сказалъ выше, въ рѣкѣ Кашинкѣ издревле въ изобиліи водились пискари. Но недавно количество ихъ стало постепенно убывать, и, какъ это всегда у насъ водится, полиція прозѣвала это знаменательное явленіе. Хватились тогда, когда осталась лишь небольшая шайка, которая явно посмѣивалась надъ всѣми усиліями гражданъ водворить ее въ уху. Бросились ловить —не тутъ-то было: пискари вильнули хвостомъ и у всѣхъ на виду исчезли. Трудно было, конечно, оправдать полицію, но, съ другой стороны, трудно было и обвинить. Во всякомъ случаѣ поймали только одного хвораго пискаря, которому врачи предписали лежать въ тинѣ, но и оттуда полиція достала его. Нарядили слѣдствіе; прокуроры и слѣдователи два года сряду не выходили изъ рѣки Кашинки, разыскивая корни и нити, допрашивая лягушекъ и головастиковъ, и послѣ невѣроятныхъ усилій пришли къ такому результату: пойманъ хворый пискарь, а прочіе

*) Само собою разумѣется, что слѣдующее за симъ описаніе окружного суда не имѣетъ ничего общаго съ реальнымъ кашинскимъ окружнымъ судомъ, а заключаетъ въ себѣ лишь типическія черты, свойственныя третьеразряднымъ судамъ, изъ которыхъ нѣкоторые ужъ благосклонно закрыты, а другіе ожидаютъ своей очереди.

неизвѣстно куда исчезли. Въ этомъ видѣ дѣло представлено было въ судъ, которому и предстояло воздать каждому по дѣламъ его. Скрывшіеся пискари должны были судиться заочно по обвиненію въ самовольномъ оставленіи отечества, а пойманный хворый пискарь — по обвиненію въ знаніи о семъ и недонесеніи подлежащимъ властямъ. Дѣло было громкое и обѣщало привлечь массу публики.

Мы пришли въ судъ въ исходѣ одиннадцатаго; но такъ какъ засѣданіе должно было открыться не ранѣе часа, то никого еще не было, кромѣ сторожей и приказныхъ низшаго оклада. Судъ помѣщается въ каменномъ зданіи довольно внушительныхъ размѣровъ, но плохо ремонтируемомъ. Внутри пахнетъ уныніемъ и упраздненностью, какъ и повсюду въ Кашинѣ. Швейцаръ — старый, заплесневѣлый, сидитъ въ бумазейной курткѣ и не торопясь чиститъ булаву; а жена его, въ каморкѣ, готовитъ щи, запахъ которыхъ сообщаетъ строенію жилой характеръ. Повидимому старикъ одичалъ въ бездѣйствіи, потому что онъ встрѣтилъ насъ сердито и процѣдилъ сквозь зубы: „нелегкая спозаранку принесла!“ Но когда мы, снявъ верхнее платье, дали ему по гривеннику за храненіе, онъ на минуту просіялъ, гривенники спряталъ за щеку, а намъ указалъ на лавку: „сидите!“

— Много бываетъ у васъ въ судѣ дѣловъ, старинушка? — ласково вступилъ съ нимъ въ разговоръ Очищенный.

— Никакихъ у насъ дѣловъ нѣтъ, — отвѣтилъ старикъ сердито: — кто ни идетъ, ни ѣдетъ — все мимо. Прежде, когда помѣщики были — точно что пріѣзжали тягаться; а нынче шабашъ.

— Что за причина такая?

— Прикончили, значитъ. Имущество продали, а сами на теплыя воды уѣхали. А кои остались — тѣ и безъ суда другъ у дружки рвутъ.

— Да, строгія нынче времена! — вздохнулъ Очищенный и не безъ умиленія подумалъ: „вотъ кабы такимъ же манеромъ и Матрена Ивановна: не доводя до суда, вынула бы денежки да и заплатила бы по векселямъ... мило, благородно“.

— Дураковъ нонѣ много уродилось, — философствовалъ между тѣмъ швейцаръ: — вотъ умные-то и рвутъ у нихъ. Потому ежели дуракъ въ судъ пойдетъ — какую онъ тамъ правду сыщетъ? какая такая дурацкая правда бываетъ? Еще съ него же всѣ штрафы взыщутъ: нишкни, значитъ, коли ты дуракъ!

И, порѣшивъ такимъ образомъ съ гражданскими дѣлами, прибавилъ:

— У насъ нонѣ и уголовщина—и та мимо суда прошла. Развѣ который ужъ воръ съ амбиціей, такъ тотъ суда запроситъ, а прочихъ всѣхъ воровъ у насъ сами промежду себя рѣшатъ. Прибьютъ либо искалѣчатъ — поди, жалуйся! Прокуроры-то наши глаза проглядѣли, у окошка ждамши, не приведутъ ли кого—не ведутъ да и шабашъ! Самый нашъ судъ бѣдный. Все равно какъ у поповъ приходы бываютъ: у одного тысяча душъ въ приходѣ, да все купцы да богатѣи, а у другого и ста душъ нѣтъ, да и у тѣхъ на десять душъ одна корова. У чего тутъ кормиться попу?

Словомъ сказать, старикъ шибко негодовалъ и даже себя считалъ несправедливо приниженнымъ запустѣлостью суда, въ дверяхъ котораго его, безъ всякой надобности, заставляютъ стоять въ галунахъ, въ перевязи, и выдѣлывать булавой артикулы при проходѣ членовъ и прокуроровъ, которые и сами-то идутъ въ судъ лишь оттого, что дѣваться имъ больше некуда.

— Набрали цѣлое стадо приказныхъ, — ворчалъ онъ безъ умолку:—а они только папироски курятъ, сорятъ да перья сосутъ. Или теперича паутина — сколько ее на потолкахъ набралось! — а какъ ты ее оттолѣ достанешь? Ты ее растревожь—анъ она клочьями повисла; одно мѣсто на потолкѣ бѣлое открылось, а прочее все точно сажей вымазано. Самый, то-есть, самый у насъ бѣдный судъ!

Но мнѣ лично именно *такой* судъ и казался идеальнымъ: именно такой судъ нуженъ. Чтобы никто въ немъ не судился, чтобы лѣстница была неметена, чтобъ паутина застилала потолки, чтобъ швейцаръ былъ небритъ, а швейцарова жена чтобы щи варила. И чтобы, за всѣмъ тѣмъ, всякій, при видѣ этого неметенаго суда, понималъ, что часъ воли Божіей—вотъ онъ. И прокуроры чтобы, на всякій случай, въ окна смотрѣли, только на улицу бы не выбѣгали, когда кого-нибудь ведутъ на веревочкѣ, не спрашивали бы: со взломомъ или безъ взлома? Меня не огорчило бы, еслибъ даже судебный персоналъ оставался въ прежнемъ составѣ и продолжалъ бы получать присвоенные по штатамъ оклады. Во-первыхъ, покуда судъ не упраздненъ, нельзя упразднить и служителей его („чѣмъ же мы виноваты, что у насъ дѣлъ нѣтъ?“), а во-вторыхъ, вѣдь надо же между кѣмъ-нибудь казенные доходы дѣлить, такъ ужъ пусть лучше получаютъ тѣ, кои дѣла не дѣлаютъ,

а отъ дѣла не бѣгаютъ, нежели тѣ, кои безъ пути, аки левъ рыкаяй, рыщутъ, искій кого поглотити.

А исподволь, можетъ быть, удалось бы и полнаго упразднепія достигнуть. Никого не обижая, не увольняя и не упраздняя, а постепенно прекращая замѣну упалыхъ. Вѣдь это только съ непривычки кажется, что безъ судовъ минуты нельзя прожить; я же, напротивъ того, позволяю себѣ думать, что ежели люди перестанутъ судиться, то это отнюдь не сдѣлаетъ ихъ несчастными. Я знаю, что идея эта непрактическая и что надѣяться на ея осуществленіе — все равно, что поджидать скораго пріѣзда Улиты (по пословицѣ: Улита ѣдетъ, когда-то будетъ), но и за всѣмъ тѣмъ надѣюсь. Но, разумѣется, еслибъ мнѣ сказали: выбирай между прежнимъ кашинскимъ уѣздным судомъ и нынѣшнимъ кашинскимъ окружнымъ судомъ, я, не задумываясь, крикнулъ бы послѣднему: vivat, crescat et floreat! Помилуйте! ужъ одно то чего стоитъ, что въ дверяхъ нынѣшняго окружного суда стоитъ швейцаръ съ булавой, тогда какъ въ передней кашинскаго уѣзднаго суда вѣчно стучалъ сапожной колодкой солдатъ въ изгребной рубахѣ и съ поврежденной на ученьяхъ скулой!..

Но этотъ день, какъ я уже сказалъ выше, составлялъ исключеніе въ практикѣ кашинскаго окружного суда.

Судились искари, исконные кашинскіе обыватели, и притомъ въ такомъ интересномъ преступленіи, которое самою новизною озадачило всѣхъ кашинскихъ консерваторовъ (кашинскіе виподѣлы и витушечники — консерваливы по преимуществу, ибо знаютъ, чье мясо кошка съѣла). Съ половины двѣнадцатаго уже началось движеніе въ окрестностяхъ суда. Швейцаръ, весь вышитый, съ желтой перевязью черезъ плечо и съ булавой въ правой рукѣ, стоялъ на вытяжку у дверей, готовый выдѣлать всѣ требуемые практикой суда артикулы. Прежде всего повалила меньшая братія, которая при входѣ набожно крестилась, какъ бы отмаливаясь отъ тюрьмы и отъ сумы, а въ началѣ перваго начали собираться „чины“. Первые пришли прокуроры. Увидѣвши насъ, они остановились въ швейцарской и стали вслухъ обсуждать вопросъ: „ежели воръ въ шкатулкѣ сломаетъ замокъ и унесетъ оттуда три копѣйки — это, несомнѣнно, будетъ кража со взломомъ; но ежели онъ, вмѣсто того, чтобъ ломать замокъ, всю

шкатулку унесетъ—какъ слѣдуетъ это дѣйствіе понимать?“ *) Но, ничего не рѣшивъ, щелкнули языками и стали подниматься по лѣстницѣ вверхъ. Слѣдомъ за прокурорами прибыли члены суда. Они солидно взбирались по лѣстницѣ и вели солидный разговоръ, неизмѣнно начинавшійся словами: „въ практикѣ кишинскаго окружного суда установился прецедентъ“... Сначала одинъ эти слова скажетъ, потомъ другой повторитъ, потомъ третій, а швейцаръ смотритъ на нихъ и не нарадуется. Вообще эти люди повидимому отлично понимали, что двадцатаго числа каждаго мѣсяца ничто не воспрепятствуетъ имъ воспользоваться присвоеннымъ отъ казны содержаніемъ. Кишинка можетъ выйти изъ береговъ и потопить казначейство, огонь можетъ истребить его, но *иныя* деньги ни въ огнѣ не сгорятъ, ни въ водѣ не потонутъ. Напослѣдокъ, по наружности суетливо, но въ сущности виновато, проскользнуло штукъ двадцать адвокатовъ, которые, увидѣвъ насъ, ужасно обрадовались, предполагая, что вотъ, молъ, тягаться пришли. Но радость ихъ была кратковременна, и когда мы объяснили цѣль нашего прихода, то лица ихъ выразили столь искреннюю печаль, что Глумовъ поспѣшилъ предложить имъ по папироскѣ. Затѣмъ они всей ватагой ринулись наверхъ, какъ бы опасаясь потерять горячіе слѣды, оставленные членами суда и прокурорами.

Намъ эти бѣдняки показались заслуживающими полнаго снисхожденія. Они имѣли хорошій аппетитъ и нѣкоторое время разсчитывали на удовлетвореніе онаго, какъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно, въ практикѣ кишинскаго окружного суда установился прецедентъ: никакихъ дѣлъ не судить, а собираться лишь для чтенія законовъ...

Съ половины перваго начался приливъ чистой публики. Прибылъ исправникъ, изящный молодой человѣкъ, съ проборомъ посреди головы; вынулъ щеточку съ зеркальцемъ, посмотрѣлся и вышелъ на крыльцо въ ожиданіи дамъ. Къ нему присоединилось съ десятокъ офицеровъ квартирующаго въ уѣздѣ полка. Дамочки не замедлили. Первою подкатила щегольская линейка, въ которой, словно на никникъ, пріѣхала изъ подгороднаго имѣнія мѣстная львица съ цѣлымъ выводкомъ дамочекъ. За линейкой послѣдовалъ цѣлый рядъ экі-

*) Нынѣче, какъ я слышалъ, вопросъ этотъ уже разрѣшенъ. Можно и замокъ въ шкатулкѣ сломать, и самую шкатулку унести—какъ кому удобнѣе.

нажей, подвозя новые и новые выводки. Слышался говоръ и смѣхъ; у всѣхъ дамочекъ оказывался въ туалетѣ какой-нибудь безпорядокъ; у однѣхъ что-то развязалось, у другихъ—разстегнулось. Всѣ хохотали и кричали: „ахъ, какъ весело!“ Исправникъ, какъ первый (послѣ прокурора) въ городѣ кавалеръ, не успѣвалъ завязывать и застегивать. Господа офицеры оказывали содѣйствіе.

Поднялись наверхъ и мы.

Зала была совершенно полна. Дамочки, гражданскаго и военнаго вѣдомствъ въ перемежку, сидѣли въ первомъ ряду и весело переговаривались между собой на французскомъ діалектѣ. Сзади нихъ тѣснился цвѣтъ мѣстныхъ свѣдущихъ людей и земскихъ дѣятелей, въ перемежку съ офицерами. Въ глубинѣ—толпилась меньшая братія. Судебные пристава, блистая отчищенными наново цѣпями, въ новенькихъ мундирчикахъ и красиво выгибая шеи, говорили дамочкамъ „бонжуръ“ и подвигали имъ стулья. Многіе изъ нихъ состояли на счету жениховъ и умѣли танцовать мазурку. Подсудимый писарь, еле живой, лежалъ въ неглубокой тарелкѣ на скамьѣ подсудимыхъ и тяжело дышалъ жабрами. Сзади его стояли два жандарма съ саблями наголо; рядомъ—расположилась защита въ составѣ двухъ адвокатовъ: Шестакова (испорченное отъ Chaix d'Estange) и Перьева (испорченное отъ Berryer). Каѳедру обвиненія занялъ прокуроръ Громобой, который вошелъ въ залу суда, мечтательно играя поясницей и склонивши головушку на правую сторонушку. Въ граціозно откинутой рукѣ его блестѣлъ золотой пенсне; сочныя губы (созданныя для поцѣлуя) слегка вздрагивали; глаза (съ поволокою) смотрѣли грустно. Онъ уныло окинулъ дамскій цвѣтникъ, какъ бы заранѣе испрашивая прощенія за кровожадность, съ которою онъ будетъ требовать смерти для подсудимаго писаря, и общихъ оздоровительныхъ мѣръ для всего общества. При этомъ взглядѣ дамочки инстинктивно поправили платья, потому что Громобой занималъ въ кашинской судебной труппѣ амплуа premier amoureux, въ родѣ какъ, напримѣръ, Бертонъ или Вормсъ въ Михайловскомъ театрѣ, въ Петербургѣ. Въ числѣ свидѣтелей больше всѣхъ выдавалась старая лягушка (по вызову обвинительной власти), та самая, которая когда-то

...на лугу, увидѣвши вола,
Задумала сама въ дородствѣ съ нимъ сравняться...

но, вопреки свидѣтельству дѣдушки Крылова, не лопнула (лягушки удивительно какъ эластичны), а явилась въ настоящемъ дѣлѣ главной доносчицей. За нею виднѣлось нѣсколько десятковъ мелкихъ головастиковъ, большая часть которыхъ была вызвана защитой, и наконецъ, въ особой лоханп, широко разинувъ пасть, нервно плескалась щука, относительно которой Громобой былъ долгое время въ нерѣшительности: вызвать ли ее въ качествѣ свидѣтельницы, или же посадить на скамью обвиняемыхъ въ качествѣ укрывательницы, такъ какъ большая часть оставившихъ отечество пискарей была ею заглотана. На столѣ вещественныхъ доказательствъ лежали: во-первыхъ, карась, долженствовавшій быть на скамьѣ подсудимыхъ, но ошибкою зажаренный въ сметанѣ; во-вторыхъ, точный фотографическій снимокъ со струй, которыя образовались въ рѣкѣ при поспѣшномъ бѣгствѣ пискарей. За рѣшеткой присяжныхъ засѣдателей не было никого, потому что процессъ былъ политическій, а у присяжныхъ засѣдателей политическаго смысла не полагается.

Ровно въ часъ, самый лихой изъ судебныхъ приставовъ возгласилъ: „судъ идетъ!“—и вслѣдъ за этимъ возгласомъ въ залу вышли: Иванъ Иванычъ, Петръ Иванычъ и Семенъ Иванычъ. Но такъ какъ они были въ мундирахъ и при цѣпяхъ, то назывались не Иванами Иванычами, а судьями. Впечатлѣніе, произведенное ихъ появленіемъ, было самое примиряющее. Всѣмъ показалось, что вмѣстѣ съ ними пришла и Прасковья Ивановна, и что сейчасъ она скажетъ: „милости просимъ закусить!“ А ежели закуски и не будетъ, то во всякомъ случаѣ Иванъ Иванычъ разскажетъ, какой съ нимъ вчера казусъ былъ. Игралъ онъ въ винтъ: такъ—онъ съ Семенъ-Иванычемъ, а такъ—Петръ Иванычъ съ Ефремъ-Иванычемъ. Только назначаетъ онъ три въ пикахъ, а Семенъ Иванычъ перебиваетъ: „въ такомъ разѣ я назначаю три въ червяхъ!“ А у него, Иванъ-Иваныча, ни одной червонки нѣтъ, а у Семенъ-Иваныча нѣтъ ни одной пиковки. Видитъ онъ бѣду неминучую, назначаетъ четыре въ пикахъ, а Семенъ Иванычъ опять перебиваетъ: „а я въ такомъ разѣ четыре въ червяхъ!“ И остались безъ четырехъ...

Разумѣется, Иванъ Иванычъ ничего подобнаго не разсказалъ (онъ такъ глубоко затаилъ свое горе, что даже Семену Иванычу не мстилъ, хотя со вчерашняго дня отъ всей души его ненавидѣлъ), но общая увѣренность въ неизбѣжности этого разсказа была до того

сильна, что когда началось чтеніе обвинительнаго акта, всѣ удивленно переглянулись между собою, какъ бы говоря: помилуйте! да это совсѣмъ не то!

Сущность обвинительнаго акта заключалась въ слѣдующемъ. Издревле рѣка Кашинка славилась своими пискарями. Во всѣ времена обыватели города ловили пискарей всѣми дозволенными способами и готовили изъ нихъ прекраснѣйшую уху, о чемъ еще въ XIV столѣтіи свидѣтельствовалъ кашинскій лѣтописецъ. Однажды установившись на прочномъ основаніи, дѣло это шло своимъ порядкомъ, не порождая преувеличенныхъ надеждъ, но не возбуждя ни въ комъ и тревожныхъ опасеній. Только въ 1723 году рѣка Кашинка едва не опустѣла, такъ какъ всѣхъ пискарей потребовали въ Петербургъ ко двору, въ видахъ обрусенія рѣки Мьи (нынѣшняя Мойка). Но большинство тогдашнихъ пискарей сказалось въ „нѣтѣхъ“, и года черезъ два-три убыль безъ труда пополнилась. За исключеніемъ этого кратковременнаго случая, недостатка въ пискаряхъ никогда не замѣчалось, хотя въ иной годъ попадались пискари крупнѣе, а въ другой—мельче. Но съ начала шестидесятыхъ годовъ, вмѣстѣ съ наступленіемъ эпохи реформъ, начинаются между пискарями волненія. Вмѣсто того чтобъ быть благодарными за дарованіе свободы, они придумываютъ всевозможныя уловки для избѣжанія закидываемыхъ сѣтей и неводовъ, и въ то же время цѣлыми массами эмигрируютъ изъ родной рѣки. Куда они эмигрировали—это и доселѣ составляетъ тайну, но самый фактъ эмиграціи былъ уже тогда замѣченъ нѣкоторыми благомыслящими гражданами. Опасаясь, что вкусная и питательная уха, которою они привыкли подкрѣплять свои силы, въ непродолжительномъ времени отойдетъ въ область преданія, они настойчиво указывали подлежащей власти на угрожающую опасность; но такъ какъ въ то же время все вообще правительство было за-одно съ пискарями, то понятно, что и мѣстная полицейская власть не сочла себя вправѣ употребить энергическія усилія, дабы пресѣчь зло въ самомъ его зародышѣ. И вотъ зло развилось. Въ теченіе всего прошлаго года не было поймано ни одного пискаря, а въ нынѣшнемъ году, съ вскрытіемъ рѣки, повторилось то же явленіе. Тогда полицейская власть встревожилась и рѣшилась вмѣшаться. Громогласно давъ мятежникамъ три предостереженія относительно непремѣнной явки въ уху, она закинула разомъ нѣсколько неводовъ; но, про-

тащивъ ихъ по всему протяженію рѣки въ предѣлахъ городской черты, ничего не изловила, кромѣ головастиковъ и лежащаго въ тарелкѣ больного пискаря. Въ такомъ видѣ это дѣло поступило на распоряженіе прокурорской власти, которая сочла необходимымъ подвергнуть его тщательному изслѣдованію. Слѣдствіе, произведенное подъ личнымъ наблюденіемъ прокурора окружного суда, съ участіемъ всѣхъ прокуроровъ и судебныхъ слѣдователей кашинскаго округа, привело къ слѣдующимъ результатамъ: А. *Относительно всѣхъ вообще пискарей.* Несомнѣнно, что съ ихъ стороны былъ въ настоящемъ случаѣ заговоръ и предумышленное сопротивленіе властямъ. Будучи, по закону, обязаны являться, по первому требованію, въ уху, они не только не обратили должнаго вниманія на сдѣланныя имъ полицейскою властью предостереженія, но прямо ослушались ея приглашеній, несомнѣнно дѣйствуя при этомъ по обдуманному напередъ общему плану. Доказательствъ существованія этого общаго плана имѣется въ дѣлѣ болѣе нежели достаточно. Во-первыхъ, пискари исчезли изъ рѣки именно въ ту самую минуту, когда начальство изготовляло, для поимки ихъ, сѣти и невода. Очевидно, они были предупреждены. И дѣйствительно, въ дѣлѣ имѣются данныя, доказывающія, что ихъ предупредилъ о дѣлаемыхъ приготовленіяхъ карась, жившій у исправника въ прудѣ, соединяющемся съ рѣкою Кашинкой протокомъ. Самъ карась чистосердечно сознался въ этомъ преступленіи, оправдываясь, будто бы онъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ на основаніи какого-то циркуляра. Но по какому вѣдомству, когда и за какимъ № былъ изданъ этотъ циркуляръ—указать не могъ. Къ сожалѣнію, этотъ карась былъ, по недоразумѣнію, изжаренъ въ сметанѣ, въ какомъ видѣ находится нынѣ на столѣ вещественныхъ доказательствъ (секретарь подходитъ къ столу, поднимаетъ сковородку съ загаженнымъ мухами карасемъ и говоритъ: „вотъ онъ!“); но еслибъ онъ былъ живъ, то, несомнѣнно, въ видахъ смягченія собственной вины, пролилъ бы свѣтъ на это, впрочемъ, и безъ того уже ясное обстоятельство. Стало быть, пискари знали; а ежели знали, то должны были спокойно плавать и съ довѣріемъ ожидать. Но они, вмѣсто того, обдумали общій планъ, которымъ и воспользовались въ рѣшительную минуту. Во-вторыхъ, самый процессъ бѣгства свидѣтельствуетъ объ его предумышленности. Бѣгство совершилось съ быстротой, совершенно несвойственной пискарямъ, что

доказывается точнымъ фотографическимъ снимкомъ струй, оставленныхъ бѣжавшими. Стѣпъ взглянуть на этотъ снимокъ (секретарь беретъ его со стола и говоритъ: „вотъ онъ!“), чтобъ убѣдиться, что такую путаницу перекрестныхъ слѣдовъ могутъ оставить только существа, достовѣрно знающія, что̀ ожидаетъ ихъ впереди, и потому имѣющія полное основаніе спѣшить. Говорятъ, будто бы пискари оттого такъ быстро прыснули въ разныя стороны, что испугались щуки, которая въ это время заплыла въ Кашинку изъ Волги; но спрошенная по сему предмету щука представила къ слѣдствію одобрительное свидѣтельство отъ полиціи, изъ котораго видно, что она неоднократно и прежде появлялась въ рѣкѣ Кашинкѣ, и всегда съ наилучшими намѣреніями. Но кромѣ того, даже вызванные защитой головастики —и тѣ свидѣтельствуютъ, что еще задолго до исчезновенія пискарей у нихъ уже были шумныя сходки, на которыхъ потрясались основы и произносились пропаганды и превратныя толкованія; а лягушка, видѣвшая въ лугу вола, прямо показываетъ, что не только знаетъ о сходкахъ, но и сама не разъ тайно, залегши въ грязь, на нихъ присутствовала и слышала собственными ушами, какъ однажды было рѣшено: въ уху не идти. Такимъ образомъ, исчезновеніе съ одной стороны совершилось быстро, а съ другой—медленно и обдуманно. Затѣмъ, хотя слѣдствіе и не разъяснило достовѣрнымъ образомъ, куда дѣвались мятежные пискари: оставили ли они отечество навсегда, или до сихъ поръ укрываются въ волнахъ онаго, но обстоятельство это для правосудія безразлично. Они не явились по вызову начальства, а это больше нежели оставленіе отечества. Б. Что̀ же касается, *въ частности*, до находящагося на скамьѣ подсудимыхъ больного пискаря, то хотя онъ и утверждаетъ, что ничего не зналъ и не знаетъ объ этой исторіи, потому-де, что былъ боленъ и по совѣту врачей лежалъ въ илѣ, но запирательству его едва-ли можно дать вѣру, ибо вѣковой опытъ доказываетъ, что больные злоумышленники очень часто бываютъ вреднѣе, нежели самые здоровые.

„А посему и принимая во вниманіе все вышеизложенное,—заключалъ обвинительный актъ,—предаются уголовному суду нижеслѣдующія лица: А. Заочно—*всѣ вообще бѣжавшіе изъ рѣки Кашинки пискари*, по обвиненію: 1) въ недозволенномъ оставленіи отечества, или въ преступленіи, оному равносильномъ; 2) въ преду-

мышленномъ сопротивленіи подлежащей власти, выразившемся въ неявкѣ, по ея вызову, въ уху, и 3) въ составленіи заговора съ цѣлью неисполненія законныхъ требованій начальства, хотя и безъ намѣренія ниспровергнуть оное. Каковыя преступленія предусмотрѣны 666 ст. всѣхъ томовъ св. зак. Росс. Имп. Б. *Пискарь безъ имени и отчества, извѣстный подъ названіемъ Ивана Хворова*—по обвиненію въ знаніи изложенныхъ выше поступковъ и дѣяній и въ недонесеніи объ нихъ подлежащей власти, при чемъ хотя и не было съ его стороны дѣятельнаго участія въ заговорѣ, но сіе произошло не отъ воли его, а отъ воспрепятствованія хворостью, по предписанію врачей. Каковое преступленіе предусматривается уложеніемъ о наказаніяхъ, карманнымъ онаго изданіемъ".

Глава XXIV.

Чтеніе обвинительнаго акта произвело смѣшанное впечатлѣніе. Всѣ отдавали справедливость бдительности прокурорскаго надзора, но въ то же время чувствовали невольное состраданіе къ бѣдному больному пискарю, который два цѣлыхъ года томился въ тарелкѣ (даже воду въ ней не каждый день освѣжали), тогда какъ главные злоумышленники плавали на свободѣ, насмѣхаясь надъ всѣми усиліями правосудія. Въ особенности же сожалѣлъ о подсудимомъ одинъ изъ конвоировавшихъ его жандармовъ, рядовой Тарара, который тѣсно сблизился съ нимъ во время двухлѣтнихъ скитаній по слѣдствіямъ и полюбилъ его какъ сына. Во всякомъ случаѣ всѣхъ нѣсколько утѣшило, что пискаря будутъ судить не по большому уложенію, а по карманному. Только дамочки оставались легкомысленно-индифферентными къ участи подсудимаго и, сравнивая его мизерную, изнуренную фигурку съ цвѣтущими и пышущими здоровьемъ кашинскими свѣдущими людьми, отдавали предпочтеніе послѣднимъ.

Затѣмъ, когда волненіе мало-по-малу улеглось, Иванъ Иванычъ позвонилъ въ колокольчикъ, и началось представленіе подъ названіемъ:

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПИСКАРЬ

или

ДРАМА ВЪ КАШИНСКОМЪ ОКРУЖНОМЪ СУДѢ.

Двѣ картины.

Сцена представляетъ залу засѣданій, свойственную кашинско-бѣлозерско-устюженскому окружному суду. Дѣйствующія лица и обстановка поименованы и описаны выше.

Картина первая.

Иванъ Иванычъ. Подсудимый Иванъ Хворовъ! разскажите, что̀ вамъ извѣстно по настоящему дѣлу?

Подсудимый (*дѣлаетъ чрезмѣрныя усилія, чтобъ отвѣтить, но ничѣмъ не можетъ выразить свою готовность, кромѣ чуть замѣтнаго движенія хвостомъ*).

Иванъ Иванычъ (*не понимая*). Я долженъ замѣтить вамъ, подсудимый, что чѣмъ больше вы будете упорствовать... (*Петръ Иванычъ высовывается впередъ.*) Вы желаете предложить вопросъ, Петръ Иванычъ? (*Къ публикѣ.*) Господа! Петръ Иванычъ имѣетъ предложить вопросъ!

Петръ Иванычъ (*говоритъ солидно, произнося слова въ носъ*). Въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ... (*Умолкаетъ и прислушивается, какъ будто эти слова сказалъ не онъ, а Семенъ Иванычъ.*)

Иванъ Иванычъ. Подсудимый! вы слышали? (*Пискарь молчитъ.*) Повторяю вамъ, пискарь...

Жандармъ Тарара (*движимый жалостью*). Пѣпъ боленъ. Дýже, вашескородіе, нездоровъ.

Иванъ Иванычъ (*пошептавшись съ Семеномъ и Петромъ Иванычами*). Но ежели такъ... Господинъ прокуроръ! не угодно ли вамъ будетъ дать по сему предмету заключеніе?

Прокуроръ (*постыдно перелистываетъ карманное уложеніе, но ничего подходящаго не находитъ*). Мм... мм... я полагалъ бы... я полагаю, что, въ виду болѣзненнаго состоянія подсудимаго, можно ограничиться предложеніемъ ему краткихъ и несложныхъ вопросовъ, на которые онъ могъ бы отвѣчать необременительными тѣлодвиженіями. Нѣтъ сомнѣнія, что господа защитники, ко-

торымъ долженъ быть понятенъ языкъ пискарей, не откажутъ суду въ разъясненіи этихъ тѣлодвиженій.

Адвокаты Шестаковъ и Перьевъ (*увлекаясь легкомысленнымъ желаніемъ уязвить прокурора и въ то же время запасаясь кассаціоннымъ поводомъ*). Съ своей стороны, мы думаемъ, что языкъ пискарей болѣе извѣстенъ обвинителю, нежели намъ; ибо онъ цѣлые два года жилъ въ рѣкѣ, разыскивая корни и нити по этому дѣлу.

Иванъ Иванычъ. Что же теперича дѣлать?

Голосъ изъ публики. Самое лучшее—выпить и закусить. (*Общій смѣхъ.*)

Иванъ Иванычъ (*сердито ищетъ глазами, но въ то же время машинально третъ рукою подъ ложечкой*). Предваряю, что я дальнѣйшихъ нарушеній порядка не потерплю. Ибо еслибъ даже и чувствовалась потребность закусить, то въ этомъ еще ничего нѣтъ предосудительнаго. И притомъ все въ свое время. Господа судебные пристава! извольте смотрѣть въ оба! (*Въ публикѣ новый взрывъ смѣха.*) Нечего смѣяться-съ! стыдно-съ! Повторяю свой прежній вопросъ: что̀ теперича дѣлать? (*Семенъ Иванычъ выдвигается впередъ.*) Вы желаете сказать ваше мнѣніе, Семенъ Иванычъ? (*Къ публикѣ.*) Господа! Семенъ Иванычъ имѣетъ сказать нѣсколько словъ!

Семенъ Иванычъ (*встаетъ и бравируетъ, какъ будто хочетъ сказать, что онъ и не въ такихъ передѣлкахъ бывалъ*). Въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ... (*Краснѣетъ и садится.*)

Иванъ Иванычъ (*вспоминая о вчерашнемъ винтѣ и желая уязвить Семена Иваныча*). То-то... „прецедентъ“! Господинъ прокуроръ! прошу васъ дать заключеніе!

Прокуроръ (*судорожно хватается за карманное уложеніе, но въ судебныя пренія неожиданно вмѣшивается жандармъ Тарара*).

Тарара. Позвольте, вышескородіе, мнэ за него говорить! Я усё панымаю!

Иванъ Иванычъ. Вотъ и прекрасно. Стало быть, мы можемъ продолжать судебное слѣдствіе... Отвѣчайте, подсудимый! признаете ли вы себя виновнымъ?

Тарара. У чѣмъ, вашескородіе?

Иванъ Иванычъ (*дразнится*). У чѣмъ?! У усёмъ!

Тарара. Виноватъ, вышескородіе!

Иванъ Иванычъ. То-то. Подсудимый! Слышите?

Тарара. Точно такъ, вашескородіе.

Иванъ Иванычъ. Итакъ, подсудимый сознался. Теперича можно, стало быть, приступить къ выслушиванію свидѣтельскихъ показаній. Господинъ секретарь! всѣ свидѣтели на-лицо?

Адвокатъ Шестаковъ. Я имѣю сдѣлать заявленіе. Подсудимый никакого сознанія не дѣлалъ, а созналось за него совершенно постороннее дѣлу лицо. Прошу занести объ этомъ въ протоколъ.

Иванъ Иванычъ (*качая головой*). Ахъ-ахъ-ахъ! всегда-то вы такъ, господинъ Шестаковъ! Правосудіе идетъ своимъ ходомъ, а вы препятствуете! Какъ же съ этимъ намъ быть? господинъ прокуроръ! ваше заключеніе!

Прокуроръ (*перелистываетъ карманное уложеніе и дѣлаетъ видъ, что нашелъ*). Полагаю, что домогательство защиты слѣдуетъ оставить безъ послѣдствій... на основаніи 1679-ой статьи...

Адвокатъ Перьевъ (*язвительно*). Статья, о которой говоритъ обвинитель, касается раскольниковъ, не пріемлющихъ священства, а къ процессуальной сторонѣ политическихъ дѣлъ никакого отношенія не имѣетъ.

Иванъ Иванычъ. Ахъ-ахъ-ахъ! Какъ же это, Ѳедоръ Павлычъ, вы такъ? спапашплись... а? (*Головастики смѣются.*) Вы чего смѣетесь! ждите своей очереди! Ѳедоръ Павлычъ! за вами слово!

Прокуроръ (*нимало не смущаясь и смотря на Перьева въ упоръ*). Это по одному изданію—дѣйствительно такъ, а по другому изданію та же 1679-ая статья...

Иванъ Иванычъ. Такъ я и зналъ. А все вы, господинъ Перьевъ! Правосудіе идетъ своимъ ходомъ, а вы прерываете! Предупреждаю, что ежели это повторится еще разъ, я лишу васъ слова. Я добръ, но не потерплю, чтобы правосудіе встрѣчало препятствія на пути своемъ!

Адвокатъ Перьевъ. Позвольте, Иванъ Иванычъ!

Иванъ Иванычъ. Здѣсь не Иванъ Иванычъ, а *господинъ судья*.

Перьевъ (*не обращая вниманія*). Ахъ, Иванъ Иванычъ!

Иванъ Иванычъ (*строго*). Вы упорствуете, господинъ Перьевъ? Лишаю васъ слова. Извольте немедленно оставить скамью защиты!

Петръ Ивановичъ и Семенъ Ивановичъ (*вмѣстѣ*). Въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ...

Иванъ Ивановичъ. Ну, да, прецедентъ. Господинъ Шестаковъ! Вамъ однимъ ввѣряется защита интересовъ вашего кліента. А теперь будемъ выслушивать свидѣтелей.

Перьевъ постыдно обираетъ бумаги съ конторки и съ радостью удаляется въ публику. Въ это время въ двери, позади судей, показывается голова Прасковьи Ивановны. Судебный приставъ постыдно перетрызываетъ залу засѣданій и, пошептавшись около дверей, вполголоса докладываетъ Ивану Ивановичу, что Прасковья Ивановна привезла четыре сорта пирожковъ.

Иванъ Ивановичъ (*вставая*). Засѣданіе суда прерывается на двадцать минутъ! (*Къ прокурору.*) Ѳедоръ Павлычъ! милости просимъ! (*Къ защитнику.*) А васъ не зову: вы правосудіе тормозите! (*Уходятъ.*)

Зала оживаетъ. Кавалеры мгновенно устремляются къ дамочкамъ съ коробками, наполненными конфектами; дамочки безъ всякой причины хохочутъ. Изъ совѣщательной камеры появляются три судебные пристава, неся по блюду съ пирожками „отъ Прасковьи Ивановны“, которые мгновенно расхватываются. Адвокатъ Шестаковъ вынимаетъ ватрушку и ѣстъ. Свидѣтельница-лягушка, завидѣвши даму съ непомѣрно-развитыми атурами, начинаетъ надуваться съ очевиднымъ намѣреніемъ „въ дородствѣ съ ней сравняться“, но судебный приставъ прикрикиваетъ на нее: „тсс... гадина!“ Нѣкоторые изъ меньшей братіи достаютъ изъ кармановъ вяленую воблу и хотятъ ѣсть, но судебный приставъ кричитъ на нихъ: „Господа! здѣсь вонять не дозволяется! кто хочетъ ѣсть воблу, пусть идетъ на крыльцо: въ свое время я дамъ звонокъ!“

Картина вторая.

Иванъ Ивановичъ (*входитъ изъ совѣщательной камеры, доканчивая слова молитвы*)... и не введи насъ небеснаго Твоего царствія... Петръ Ивановичъ! Семенъ Ивановичъ! садитесь пожалуйста! Ѳедоръ Павлычъ! милости просимъ! Да! такъ на чемъ, бишь,

мы остановились? на допросѣ свидѣтелей... Вотъ и прекрасно. Господа головастики! разскажите, что̀ вамъ извѣстно по этому дѣлу? Не стѣсняйтесь! хотя вы вызваны защитой, но можете свидѣтельствовать и противъ подсудимаго!

Адвокатъ Шестаковъ. Осмѣлюсь доложить суду, что свидѣтели, по закону, допрашиваются каждый отдѣльно...

Иванъ Иванычъ. А вы опять тормозить правосудіе! Я — слово, а онъ—два! я—два, а онъ—десять! а-а-ахъ! Вотъ погодите! будете ужо̀ рѣчь говорить, и я тоже... Слова вымолвить не дамъ! (*Грозитъ пальцемъ.*)

Голосъ изъ публики. Ну, что̀ ужъ, Иванъ Иванычъ, не всяко лыко въ строку!

Иванъ Иванычъ. Кто тамъ еще говоритъ? Кто позволяетъ себѣ? Господа судебные пристава! вы чего смотрите! (*Къ исправнику.*) Такъ вы, Михалъ Михалычъ, народъ распустили... Такъ набаловали! такъ распустили... смотрѣть скверно! (*Къ головастикамъ.*) Ну-съ, господа головастики, что же вы стали! Отвѣчайте! (*Незамѣтно просовываетъ подъ мундиръ руку и растопыриваетъ у жилета нѣсколько пуговицъ. Вполголоса.*) Вотъ теперь—хорошо.

Головастики (*всѣ разомъ ребяческими голосами*). Виноваты, вашескородіе!

Тарара (*вспомнивъ, какъ онъ часъ тому назадъ отвѣчалъ*). У чего̀мъ виноваты?—сказывайте!

Иванъ Иванычъ. Замѣститель подсудимаго! вы не имѣете права тормозить правосудіе. (*Къ головастикамъ.*) Постойте! въ чемъ же, однако, вы признаете себя виновными, господа? Кажется, никто васъ не обвиняетъ... Живете вы смирно, не уклоняетесь: ни вы никого не трогаете, ни васъ никто не трогаетъ... ладко̀мъ да мирко̀мъ —такъ ли я говорю? (*Въ сторону.*) Однако эти пироги... (*Растопыриваетъ потихоньку еще нѣсколько пуговицъ.*) Ну-съ, такъ разсказывайте: что̀ вамъ по дѣлу извѣстно?

Головастики (*хоромъ*). Знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ!

Иванъ Иванычъ. Не знаете?... ну, такъ я и зналъ! Потревожили васъ только... А впрочемъ это не я, а вотъ онъ... (*Указываетъ на Шестакова.*) Другихъ перебивать любитъ, а самъ... Много за вами блохъ, господинъ Шестаковъ! ахъ, какъ много! (*Къ головасти-*

камъ.) Вы свободны, господа! (*Смотритъ на прокурора.*) Кажется, я могу... отпустить?

Прокуроръ. Со стороны обвиненія препятствія не имѣется.

Адвокатъ Шестаковъ. Но, можетъ быть, впослѣдствіи...

Иванъ Иванычъ (*авторитетно*). Вы свободны, господа головастики! *Судъ* увольняетъ васъ—да! И никто его этого права лишить не можетъ—да! Ни адвокаты, ни разадвокаты... никто! Гдѣ вы желаете быть водворенными? въ прудѣ или въ рѣкѣ? Во вниманіе къ вашему чистосердечію, судъ даетъ вамъ право выбора... да!

Головастики. Намъ бы, вашескородіе, въ прудѣ пріятнѣе.

Иванъ Иванычъ. Ежели пріятнѣе въ прудѣ—ступайте въ прудъ... Но ежели бы вамъ было пріятнѣе возвратиться въ рѣку—скажите! не стѣсняйтесь. (*Головастики молчатъ.*) Стало быть, въ прудѣ лучше? Такъ я и зналъ. Господинъ судебный приставъ! оберите ихъ и водворите въ прудѣ... Это *суда* распоряженіе дѣлаетъ, а какъ объ этомъ другіе-прочіе думаютъ—пускай при нихъ и останется!

Судебный приставъ (*обираетъ головастиковъ въ мѣшокъ и отдаетъ сторожу, вполголоса*). Вали ихъ... въ мѣста не столь отдаленныя!

Иванъ Иванычъ. Свидѣтельница-лягушка! разскажите, что вамъ извѣстно по этому дѣлу?

Лягушка (*квакаетъ толково и даже литературно; въ патетическихъ мѣстахъ надувается, и тогда на спинѣ у нея выступаютъ рубиновыя пятна*). Я—старая лягушка, опытная. Живу въ здѣшней рѣкѣ больше сорока лѣтъ и всю подноготную знаю. Прежде было у насъ здѣсь очень хорошо и жили мы не плоше капинскихъ помѣщиковъ. Всего было довольно, и главное—все задаромъ. Одной икры, бывало, искари сколько наготовятъ—ужъ на что мы жадны были, а и то половины не пріѣдали. Думали въ эту пору, что и конца краю нашимъ радостямъ не будетъ, да и не было бы, кабы мы сами себя кругомъ не обвиноватили. Откуда начали къ намъ модныя идеи приходить—и сама ума не приложу, а только потихоньку да помаленьку—смотримъ, анъ между нами ужъ и измѣнники проявились. Дальше—хуже. Я ужъ и тогда на стражѣ стояла, за сто лѣтъ впередъ загадывала. Говорила я въ ту пору нашимъ старикамъ: надо-де этихъ умниковъ своимъ судомъ судить—а меня

не послушали: „ничего-де, люди молодые, сами-де остепенятся, какъ въ совершенный разумъ взойдутъ“. Послѣ спохватились, да ужъ поздно было. Началось съ того, что успѣли наши умники на свою сторону цаплю переманить. Усядутся, бывало, старички на бережку, начнутъ объ своихъ дѣлахъ квакать—глядь, а надъ ними цапля кружитъ. Кинется сверху какъ стрѣла изъ лука, выхватитъ старичка, да и унесетъ въ посу. Сначала мы думали, что это административную высылку означаетъ, а потомъ узнали, что дѣйствительно это такъ и есть. Ну, и забоялись. А въ рѣкѣ въ нашей, между прочимъ, ужъ и бунты начались. У насъ вѣдь не только пискари, а и гольцы прежде водились—вотъ они-то и зачали первые. Первые не захотѣли въ уху являться, первые изъ рѣки всѣмъ стадомъ ушли—это еще въ самомъ началѣ реформъ было—а ужъ за ними и пискари тронулись. Пискарь—рыба робкая, вашескородіе! убывала она не разомъ, а небольшими партіями; вотъ почему долгое время и не вдомёкъ было, что между ними бунтъ пошелъ. Однако постепенно начали примѣчать: нынче—одинъ косячокъ уплылъ, черезъ недѣлю—другой, еще черезъ недѣлю—третій. Икра-то прежде задаромъ была, потомъ, въ началѣ реформъ, ей цѣну сорокъ копѣекъ поставили, а тутъ вдругъ—два съ полтиной фунтъ! А за икрою и прочее въ томъ же мачтабѣ. Сдѣлалось такъ, что хоть однимъ иломъ питайся, да и того пожалуй на всѣхъ не хватитъ. Видимъ: плохое наше дѣло, господа! Основы—потрясены, авторитеты—подорваны, власти—бездѣйствуютъ, суды—содѣйствуютъ... смотрѣть скверно! Ну, и стали мы тогда квакать. Квакали, квакали, и наконецъ доквакались. Вилъ господинъ исправникъ нашему кваканью и началъ приготовлять невода...

Адвокатъ Шестаковъ (*прерываетъ*). А скажите, свидѣтельница, икра-то дешевле стала отъ вашего кваканья?

Лягушка (*вся покрываясь рубиновыми пятнами, прерывисто*). Икра-то... икра... нѣтъ, икра не дешевле стала... не дешевле, не дешевле! А все оттого, что вотъ вы... да вотъ они (*хочетъ вильнуться въ меньшую братію*)... кабы вотъ васъ... да вотъ ихъ... (*Задыхается и нѣкоторое время только открываетъ ротъ. Дамы въ восторгѣ машутъ ей платками.*)

Иванъ Иванычъ (*приломивая, что и въ его жизни было что-то похожее, съ участіемъ*). Успокойтесь, сударыня! Отдох-

нитe. Высказываемыя вами чувства столь похвальны, что судъ можетъ и подождать.

Лягушка (*послѣ кратковременнаго отдыха*). Только сижу я однажды вечеромъ на стражѣ и по привычкѣ во всю глотку квакаю: разрушены! подорваны! потрясены! Вдругъ слышу: въ водѣ что-то плеснуло; оглядываюсь — щука. А она, вашескородіе, давно на меня заглядывается, потому что хоть я и благонамѣренная, но щуки, коли ежели до пищи дѣло коснется, этого не разбираютъ. Подплыла ко мнѣ щука и говоритъ: „прыгни, голубушка, въ воду, я тебѣ что-то скажу!“ А я смотрю ей въ глаза, словно околдованная, и все думаю: прыгну да прыгну!—какъ только Богъ спасъ! Однако одумалась: ладно, говорю, ты лучше въ водѣ свои рѣчи говори, а я тебя съ берегу послушаю. Ну, она видитъ, что съ меня взятки гладки, и говоритъ: „вотъ ты по доносчицкой части состоишь, цѣлый день безъ ума квакаешь, а не видишь, что у тебя подъ носомъ дѣлается—пискари-то вѣдь ужъ скоро остатніе отъ васъ уплывутъ“. —Какъ такъ? говорю:—„Да такъ, говоритъ, я ужъ съ недѣлю ихъ поджидаю: какъ только подплывутъ къ Волгѣ—тутъ имъ всѣмъ отъ меня одно рѣшеніе выйдетъ!“ Сказала, хлопнула хвостомъ и уплыла. А я бочкомъ да ползкомъ—на дно рѣки! подползла вотъ къ этому пискарю, который теперь судится, да въ грязь и легла. Лежу часъ, лежу другой—слышу: собираются. Окружили этого самаго Хворова и стали галдѣть. И чего только я тутъ ни наслушалась, вашескородіе—даже сказать скверно. Все-то у насъ гадко, все-то скверно, все-то передѣлать да разорить нужно. Рѣку чтобъ поровну подѣлить; харчъ чтобы для всѣхъ вольный былъ: богатыхъ или тамъ бѣдныхъ, какъ нонѣ—этого чтобы не было, а были бы только бѣдные; начальство чтобъ упразднить, а прочимъ чтобъ своевольничать: кто хочетъ, пущай по волѣ живетъ, а кто хочетъ—пущай въ уху лѣзетъ... А одинъ—risum teneatis, amici!—даже такую штуку предложилъ: „лягушекъ, говоритъ, безпремѣнно изъ нашей рѣки чтобы выжить, потому что рѣка эта завсегда была наша, дѣдушки наши въ ней жили, и мы хотимъ жить“...

Прокуроръ (*прерывая*). Не можете ли вы, свидѣтельница, сказать опредѣлительнѣе, какую роль игралъ на этой сходкѣ подсудимый Хворовъ?

Лягушка (*озлобленно*). Онъ-то! да онъ, вашескородіе, первый

поджигатель и есть. Кабы не его наученье, да мы бы теперь... никакихъ бы у насъ безпокойствъ не было! Самый это что̀-ни-на-есть вредительный пискарь! Кто что̀ ни скажетъ, хоша бы самую, что̀ называется, безлѣпицу, а онъ подхватитъ, да еще противъ того вдвое! Это хоть у кого угодно справьтесь, у любого головастика спросите: знаешь Ивана Хворова?—всякій скажетъ, каковъ таковъ онъ пискарь есть! Прошипитъ-это, что̀ ему надо, свой ядъ выпуститъ, всѣхъ науськаетъ, а самъ въ тину спрячется! Такой это... ну, такой, что еслибъ теперича не поймали его, были ли бы мы въ живыхъ—ужъ я и не знаю! (*Хочетъ разсказать анекдотъ изъ жизни Хворова, но Иванъ Иванычъ, опасаясь, не вышло бы какой непристойности, прерываетъ.*)

Иванъ Иванычъ. Полагаю, что вопросъ, предложенный г. прокуроромъ, разъясненъ достаточно. Продолжайте, свидѣтельница, вашъ разсказъ, не увлекаясь обстоятельствами, къ дѣлу не относящимися.

Лягушка. Только шумѣли они, шумѣли—слышу, еще кто-то пришелъ. А это карась. „Спасайтесь, кричитъ, господа! сейчасъ васъ ловить будутъ! мнѣ исправникова кухарка сказала, что и невода ужъ готовы!“ Ну, только-что онъ это успѣлъ выговорить—всѣ пискари такъ и брызнули! И объ Хворовѣ позабыли... бѣгутъ! Я было за ними—куда тебѣ! Ну, да ладно, думаю, не далеко уйдете: щука-то—вотъ она! Потомъ ужъ я слышала...

Иванъ Иванычъ. Садитесь, лягушка. Это все, что̀ суду нужно было отъ васъ знать. Далѣе вы будете свидѣтельствовать ужъ по слуху, а въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ: „не всякому слуху вѣрь“... Кажется, я такъ говорю, господа? (*Семенъ Ивановичъ и Петръ Ивановичъ утвердительно киваютъ головами.*) Вы исполнили свой долгъ, лягушка, съ чѣмъ васъ и поздравляю. Затѣмъ, живите смирно, никого не трогайте, и васъ никто не тронетъ; а ежели что̀ замѣтите вредное—идите къ намъ: теперь вамъ эта дорога извѣстна. А мы ужъ распорядимся, потому что это наша обязанность. Ежели что̀ похвальное узнаемъ—мы поощримъ; ежели непохвальное—по головкѣ не погладимъ. Вотъ вамъ пискарь—сидитъ! а за что̀ сидитъ?—за то, что дѣлалъ непохвальное! Кабы онъ похвально себя держалъ—не за жандармами бы сидѣлъ, а можетъ быть субсидіи бы получалъ; а вздумалъ буя-

нить да фордыбачить — не прогнѣвайся, посиди! И всѣ будутъ сидѣть. (*Голосъ изъ публики:* „правильно!“ *Иванъ Иванычъ пучитъ глаза.*) А вотъ я этого грубіяна, который меня прерываетъ, за ушко да на солнышко... Итакъ, повторяю: ежели что̀ замѣтите — идите къ намъ, а сами не распоряжайтесь, потому что это въ кругъ вашихъ обязанностей не входитъ. Нынче много такихъ модниковъ развелось, которые думаютъ: зачѣмъ я въ судъ пойду? — лучше самъ распоряжусь. И оттого у насъ въ судѣ по цѣлымъ мѣсяцамъ засѣданій не бываетъ — зачѣмъ же судъ? Но вы такъ не дѣлайте. Садитесь: еще разъ поздравляю васъ. Щука! Продолжайте разсказъ лягушки! какая была ваша роль въ этомъ дѣлѣ?

Щука (*разъваетъ пасть, чтобы лжесвидѣтельствовать, но при видѣ ея разинутой пасти подсудимымъ овладѣваетъ ужасъ. Онъ нечистово плещется въ тарелкѣ и даже подпрыгиваетъ съ видимымъ намѣреніемъ перескочить черезъ край. У щуки навертываются на глазахъ слезы отъ умиленія, причемъ пасть ея инстинктивно то разъвается, то заглатываетъ. Однакожъ, мало-по-малу, движенія пискаря дѣлаются менѣе порывистыми; онъ уже не скачетъ, а только содрогается. Еще одно, два, три содроганія и...*).

Тарара (*вынимаетъ подсудимаго за хвостъ и показываетъ суду; голосомъ, въ которомъ звучитъ торжественность*). Уже вме́ръ!!!

Иванъ Иванычъ (*взволнованный*). Да послужитъ сіе намъ примѣромъ! Уклоняющіеся отъ правосудія да знаютъ, а прочіе пусть остаются безъ сомнѣнія! Жаль пискаря, а нельзя не сказать: самъ виноватъ! Кабы не заблуждался, можетъ быть и теперь былъ бы цѣлёхонекъ! И насъ бы не обременилъ, и самъ бы чѣмъ-нибудь полезнымъ занялся. Ну, да впрочемъ что̀ объ томъ говорить: умеръ — и дѣло съ концомъ! Господинъ прокуроръ! ваше заключеніе?

Прокуроръ (*скороговоркой, на подобіе, какъ причетники, въ конецъ обѣдни: „Слава Отцу... слава Тебѣ!“ произносятъ*). Полагаю, за смерт... сужден... пр'кр'тить.

Иванъ Иванычъ. Такъ я и зналъ. А о прочихъ, объ отсутствующихъ... неужто продолжать?

Прокуроръ. О прочихъ надлежитъ постановить заочное рѣшеніе.

Иванъ Иванычъ. И это я зналъ. Семенъ Иванычъ! Петръ

Иванычъ! какъ вы полагаете? какъ слѣдуетъ заочно съ бунтовщиками поступить?

Прокуроръ (*встаетъ, чтобы напомнить о существованіи совѣщательной комнаты для постановленія рѣшеній; но въ эту минуту судебный слѣдователь подаетъ ему телеграмму. Читаетъ*). „Отъ казанскаго прокурора кашинскому. Въ рѣкѣ Казанкѣ поймана шайка кашинскихъ пискарей. Повидимому бунтовщики. Подробности почтой".

Иванъ Иванычъ. Однако порядкомъ-таки отчесали! Сколько это отсюда верстъ?

Прокуроръ. Въ виду полученной телеграммы полагаю сужденіе о противозаконномъ оставленіи отечества кашинскими пискарями пріостановить.

Иванъ Иванычъ (*на все согласенъ*). Что-жъ, пріостановить, такъ пріостановить. Покуда были подсудимые, и мы сужденіе имѣли; а нѣтъ подсудимыхъ—и намъ сужденіе имѣть не о комъ. Коли некого судить, стало быть и... (*Просыпается.*) Что, бишь, я говорю? (*Смотритъ на часы и пріятно изумляется.*) Четвертый часъ въ исходѣ! время-то какъ пролетѣло! Семенъ Иванычъ! Петръ Иванычъ! милости просимъ!

(*Уходятъ. Зала медленно пустѣетъ.*)

Мы тоже поспѣшили домой. Судъ произвелъ на насъ самое отрадное впечатлѣніе, хотя трагическая смерть пискаря и примѣшивала нѣкоторую горечь въ наши свѣтлыя воспоминанія. Главнымъ образомъ, манера Ивана Иваныча понравилась. Вотъ человѣкъ: говоритъ строгія слова, а всѣмъ пріятно. Даже адвокатъ Шестаковъ—и тотъ только видъ дѣлаетъ, что боится, а въ сущности онъ хорошо понимаетъ, что Иванъ Иванычъ проститъ. Вотъ пискарь—тотъ дѣйствительно умеръ, но и онъ умеръ не отъ Ивана Иваныча, а оттого, что заблуждался. А не заблуждался бы—и теперь былъ бы цѣлёхонекъ.

Но то-то вотъ и есть, что все это утонія. Иванъ Иванычъ говоритъ: не заблуждайся! Семенъ Иванычъ скажетъ: не воруй! а Петръ Иванычъ: не прелюбодѣйствуй! Кого тутъ слушать? Этакъ всѣ-то начнутъ говорить—и конца краю разговорамъ не будетъ! И вдругъ

выскочитъ изъ-за угла Держиморда и крикнетъ: это еще что̀ за пропаганды такія!

Во всякомъ благоустроенномъ обществѣ по штатамъ полагаются: воры, неисправные арендаторы, доносчики, издатели „Помой“, прелюбодѣи, кровосмѣсители, лицемѣры, клеветники, грабители. А прочее все—утопія.

Надо сказать правду, что съ нѣкотораго времени меня и Глумова начинали томить предчувствія. Навѣрно отдадутъ насъ подъ судъ! думалось намъ, а невидимая сила такъ и толкала на самое дно погибели. Убѣжденіе въ неизбѣжности конца съ присяжными засѣдателями съ особенною ясностью представлялось теперь, когда мы своими глазами увидѣли, съ какою неумытною строгостью относится правосудіе даже къ такому преступленію, какъ неявка въ уху. Ужъ если Хворовъ долженъ былъ смертью искупить свои миніатюрныя заблужденія, то что̀ же предстоитъ намъ за участіе въ подлогѣ, двоеженствѣ, въ покушеніи основать заравпанскій университетъ?

— Какъ ты думаешь, по совокупности будутъ судить?—обратился я къ Глумову.

— Непремѣнно.

— Такъ что ежели въ разныхъ мѣстахъ преступленія были сдѣланы, то судить будутъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ было совершено послѣднее?

— Гдѣ прежде хватятся, тамъ и будутъ.

— Вотъ кабы у Ивана Иваныча!

— Да, братъ, у Ивана Иваныча—это...

— Чего лучше, кабы у Ивана Иваныча!—отозвался и Очищенный, вслушавшись въ нашъ разговоръ. — Только вѣдь Матрена Ивановна—она по мѣсту жительства...

Словомъ сказать, чтобъ быть подсудными Ивану Иванычу, намъ нужно было теперь же какую-нибудь такую подлость сдѣлать, чтобъ сейчасъ же насъ въ острогъ взяли и слѣдствіе начали. А потомъ ужъ къ этому слѣдствію и прочія вины будутъ постепенно присовокуплять.

Въ раздумьи вступили мы подъ сѣнь постоялаго двора, но тутъ насъ ожидала радость. На мое имя было получено письмо. Вскрываю —и не вѣрю глазамъ своимъ... отъ клуба Взволнованныхъ Лоботрясовъ! Освѣдомившись о нашихъ усиліяхъ вступить на стезю благо-

намѣренности, клубъ, по собственному почину, записалъ насъ всѣхъ шестерыхъ въ число своихъ членовъ, съ обложеніемъ соотвѣтственною данью на увеселеніе (описка, вмѣсто: „усиленіе“) средствъ. А именно: купецъ Парамоновъ обязывается ежегодно вносить по 25 тысячъ, купчиха Стёпушкина—по 10 тысячъ, а всѣ прочіе—по десяти рублей. Причемъ давалось намъ знать: а) что всѣ содѣянныя нами доселѣ преступленія прощаются намъ навсегда; б) что взносы могутъ быть производимы и фальшивыми кредитками, такъ какъ лоботрясы, имѣя прочныя связи во всѣхъ слояхъ общества, берутся сбывать ихъ за настоящія.

— Глумовъ!—воскликнулъ я въ восторгѣ:—смотри! Лоботрясы простили насъ! А мы-то унывали... маловѣры!

Глава XXV.

Ночью Глумову было сонное видѣніе: стоитъ будто бы передъ нимъ Стыдъ. Къ счастію, въ самый моментъ его появленія Глумовъ перевернулся на другой бокъ, такъ что не успѣлъ даже разсмотрѣть, каковъ онъ изъ себя. Помнитъ только, что приходилъ Стыдъ—и больше ничего. Сообщивъ мнѣ объ этомъ утромъ, онъ задумался.

— Да, братецъ, ежели онъ повадится...—началъ онъ, но, не докончивъ фразы, махнулъ рукой и сталъ торопиться въ дальнѣйшій путь.

Княжеская усадьба, которую арендовалъ искомый еврей, отстояла отъ города верстахъ въ сорока, на сѣверъ, по направленію къ Бѣжецку. Не доѣзжая верстъ десять, начались княжескія владѣнія, о чемъ свидѣтельствовали поставленные по обѣимъ сторонамъ дороги столбы, украшенные стертыми княжескими гербами. Затѣмъ верстъ семь подъ-рядъ тянулось обнаженное пространство, покрытое мхомъ и усѣянное пнями, изъ которыхъ ближайшіе къ дорогѣ уже почернѣли и начали загнивать. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ здѣсь росъ отличнѣйшій сосновый лѣсъ, но еврей-арендаторъ начисто его вырубилъ, а современемъ надѣялся выкорчевать и пни, съ тѣмъ, чтобы кромѣ мховъ ничего ужъ тутъ не осталось. Версты за три пошли поля, и впереди показалось большое село, а по сторонамъ нѣсколько мелкихъ деревень. За селомъ темнѣла господская усадьба.

Въ свое время здѣсь была полная чаша. Мужики въ имѣніи

жили исправные, не вымученные ни непосильною барщиной, ни чрезмѣрными данями. Помѣщичье хозяйство также цвѣло, потому что владѣлецъ былъ человѣкъ толковый, понимавшій, что во всякомъ дѣлѣ долженъ быть общій планъ, умѣвшій начертать себѣ этотъ планъ, а затѣмъ и прослѣдить за его выполненіемъ. Тѣмъ не менѣе, новшествъ никакихъ никогда въ имѣніи не вводилось и на всемъ лежала печать самой строгой старозавѣтности. По старинному, поля дѣлились на три части; травосѣянія не существовало, лѣса́ береглись пуще глазу. Владѣлецъ не былъ жаденъ и довольствовался тѣмъ—впрочемъ довольно значительнымъ—доходомъ, который, благодаря умѣнью пользоваться крѣпостною силою, самъ плылъ къ нему въ руки.

Князь Спиридонъ Юрьевичъ Рукосуй-Пошехонскій былъ потомокъ очень древняго рода и помнилъ это очень твердо. Онъ зналъ, что родичи его были вождями тѣхъ пошехонцевъ, которые начали свое историческое существованіе съ того, что въ трехъ соснахъ заблудились, а потомъ рукавицъ искали, а рукавицы у нихъ за поясомъ были. Многіе изъ его предковъ цѣловали кресты, многимъ были урѣзаны языки; не мало было и такихъ, которыхъ заточали въ Пелымъ, Березовъ и другія, болѣе или менѣе отдаленныя мѣста. Вообще это былъ родъ строптивый, не умѣвшій угадать благопріятнаго историческаго момента и потому въ особенности много пострадавшій во время петербургскаго періода русской исторіи. Въ XVIII столѣтіи Рукосуи совсѣмъ исчезли изъ Пошехонья, уступивъ мѣсто болѣе счастливымъ лейбъ-кампанцамъ, брадобрѣямъ и истопникамъ, и только одному изъ нихъ удалось сохранить за собой теплый уголъ, но и то не въ Пошехонье, гдѣ процвѣло древо князей Рукосуевъ, а въ Кашинскомъ намѣстничествѣ. Здѣсь князья Рукосуи окончательно угомонились: оставили всякія притязанія на дворскую дѣятельность и служебное значеніе, и всецѣло предались сельскому строптельству.

Нынѣшній владѣлецъ усадьбы, князь Спиридонъ Юрьевичъ, въ свое время представлялъ типъ патріарха-помѣщика, который ревниво слѣдилъ за каждымъ крестьянскимъ дворомъ, входилъ въ мельчайшія подробности мужицкаго хозяйства, любя наказывалъ и любя поощрялъ, и во всѣхъ случаяхъ стоялъ за своихъ крестьянъ горой, настойчиво защищая ихъ противъ притязаній и наѣздовъ мѣстныхъ властей. Крестьянинъ представлялъ для него, такъ сказать, излюбленное занятіе, которое не давало заглохнуть его мысли и въ то же время опре-

дѣляло его личное значеніе на лѣстницѣ общественной іерархіи. Или, говоря другими словами, князь считалъ себя отвѣтственнымъ не только *передъ* крестьяниномъ, но и *за* крестьянина. Поэтому онъ не позволялъ себѣ ни одного изъ тѣхъ общедоступныхъ безчеловѣчій, которыми до краевъ было преисполнено крѣпостное право, и любилъ, чтобъ на крестьянъ его указывали какъ на образцовыхъ, а на его личное управленіе—какъ на примѣръ разумной попечительности, „впрочемъ безъ послабленій". Но въ то же время онъ требовалъ, чтобъ и мужички цѣнили его заботы, и не терпѣлъ ничего выдающагося. „Выскочекъ" и „похвальбишекъ" онъ безъ потери времени сдавалъ въ рекруты, но квитанціи не оттягивалъ въ свою пользу, а жаловалъ въ тѣ семьи, положеніе которыхъ требовало, по его мнѣнію, поддержки. Даже выдающейся зажиточности онъ недопускалъ, а велъ всѣхъ ровно, какъ бы постоянно держа въ рукахъ вѣсы, на которыхъ поперемѣнно взвѣшивались всѣ мужички, съ цѣлью уравненія излишковъ и недостатковъ. И затѣмъ, когда убѣждался, что у всѣхъ мужичковъ имѣется полный штатъ живого и мертваго инвентаря, когда видѣлъ, что каждый мужичокъ выѣзжаетъ на барщину въ чистой, незаплатанной рубахѣ, то радовался. И радовался всего больше тому, что этотъ результатъ достигнутъ не строгостью, а мѣрами его личнаго попечительнаго вмѣшательства.

Выходя изъ идеи попечительства, князь не любилъ и отхожихъ промысловъ, называя ихъ баловствомъ. Паспорты выдавались въ его имѣніи съ чрезвычайными затрудненіями, причемъ спрашивалось, куда, зачѣмъ и по какой причинѣ понадобилась отлучка, а по возвращеніи требовался подробный отчетъ, сколько отпущенный пріобрѣлъ, ходя „по волѣ", сколько прожилъ и сколько принесъ домой. Князь былъ убѣжденъ, что крестьянинъ рожденъ для земли, и проводилъ эту мысль съ нѣкоторою назойливостью. Съ такою же ревнивою заботливостью наблюдалъ онъ и за нравственностью крестьянъ, и за исполненіемъ ими религіозныхъ обязанностей. Ссоръ не терпѣлъ; неповиновенія не только себѣ и поставленнымъ отъ него начальникамъ, но и внутри самихъ семей—не допускалъ. Любострастіемъ не занимался, хотя овдовѣлъ въ молодыхъ лѣтахъ, и только экономка Маруша, преданнѣйшее и безотвѣтнѣйшее существо, свидѣтельствовала о его барской и человѣческой слабости. Но ни школы, ни больницы въ княжескомъ имѣніи не существовало. Вмѣсто школы князь

всѣхъ деревенскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ обучалъ церковному хоровому пѣнію, и сверхъ того его дочь позволяла себѣ имѣть двухъ-трехъ учениковъ изъ мальчиковъ, которые случайно понравились ей своею шустростью. Этихъ учениковъ обыкновенно опредѣляли впослѣдствіи въ дворовые, и съ этою цѣлью обучали въ Москвѣ полезнымъ мастерствамъ. Что же касается до больницы, то она замѣнялась тѣмъ, что добрая княжна лично ходила по избамъ, гдѣ оказывались больные, и подавала имъ помощь по лечебнику Енгалычева. И такъ какъ это были люди простые, да и болѣзни у нихъ были простыя, то дѣло леченія шло успѣшно.

Любили ли князя мужички — неизвѣстно; но такъ какъ недовольства никто никогда не заявлялъ, то этого было достаточно. Нѣсколько чинно и какъ будто скучновато смотрѣла сельская улица, однакожъ князь не препятствовалъ крестьянской веселости и даже по праздникамъ лично ходилъ на село смотрѣть, какъ дѣвки хороводы водятъ. Но очевидно было, что сердце его все-таки преимущественно радовалось не хороводамъ, а тому, что вездѣ пахнетъ печенымъ хлѣбомъ, а иногда и убоиной. Поэтому экономическое положеніе крестьянъ представлялось блестящимъ (не было нуждающихся уже по тому одному, что не представлялось физической возможности стать въ положеніе нуждающагося), а веселость крестьянская являлась въ умаленіи. Поэтому же, быть можетъ, сосѣдніе крестьяне, не столь изысканные помѣщичьей попечительностью, называли крестьянъ села Благовѣщенскаго (имѣніе князя) „идолами“, и благовѣщенцы нельзя сказать чтобъ охотно откликались на это прозвище.

Въ моментъ, когда грянули первые отдаленные раскаты эмансипаціи, князю было уже подъ-пятьдесятъ. Дѣтей у него было двое. Дочь Варвара, лѣтъ двадцати-пяти, которую онъ какъ-то забылъ выдать замужъ, и сынъ Юрій, года на два моложе сестры, служившій въ Петербургѣ въ кавалеріи. Дочь была очень скромная дѣвушка, которая страстно любила отца и была необычайно добра къ крестьянкамъ и дворовымъ дѣвушкамъ. Она тоже понимала, что предки ея цѣловали кресты, и потому старалась поступать такъ, какъ, по свидѣтельству ея любимца, Вальтеръ-Скотта, поступали на дальнемъ западѣ владѣтельницы замковъ: помогала, лечила, кормила бульономъ, воспринимала отъ купели новорожденныхъ, дарила дѣтямъ рубашонки и т. п. Сынъ былъ покуда только офицеръ, а что изъ него выработ-

тается впослѣдствіи, когда онъ надѣлаетъ долговъ—этого еще никто угадать не могъ.

Еще одна особенность: мѣстные дворяне не любили князя. Онъ жилъ изолированною, занятою жизнью, не ѣздилъ въ гости, не украшалъ своимъ присутствіемъ уѣздныхъ сборищъ и пикниковъ, да и самъ не дѣлалъ пріемовъ, хотя имѣлъ хорошій доходъ и держалъ отличнаго повара. Въ отместку за такое „неякшаніе“ его постоянно выбирали попечителемъ хлѣбныхъ магазиновъ, несмотря на то, что онъ лично никогда не ѣздилъ на дворянскіе выборы. И ему стоило большихъ хлопотъ и расходовъ, чтобъ избавиться отъ навязанной должности.

Въ 1862 году князь разсердился, хотя крестьяне ничѣмъ его не прогнѣвили. Реформа подѣйствовала на него такъ оглушительно, что, казалось, мозги его внезапно повернулись вверхъ дномъ. Онъ пересталъ понимать самыя простыя вещи. Когда онъ услышалъ, какъ все село разомъ заорало (нельзя было не орать: и батюшка, и становой приглашали), то почувствовалъ, что внутри у него что-то словно оборвалось. Однакожъ онъ не сталъ дразниться и приставать, какъ большинство его сосѣдей, а сразу счелъ все прошлое покончennымъ. Чтобъ не устанавливать *никакихъ* отношеній къ крестьянамъ и не входить съ ними ни въ какія соглашенія, онъ выписалъ изъ Кашина двухъ стрикулистовъ и передалъ имъ въ руки уставное дѣло, а самъ сейчасъ же нарушилъ барскую запашку, запродалъ три четверти живого инвентаря, заколотилъ большинство службъ и распустилъ дворовыхъ, кромѣ тѣхъ, которые не шли сами, или тѣхъ, безъ которыхъ на первыхъ порахъ нельзя было обойтись. И въ заключеніе, во всѣ мѣста послалъ заявленія, что отнынѣ существованіе его, въ виду возбужденія крестьянъ, представляется небезопаснымъ.

Нѣкоторое время онъ продолжалъ однакожъ жить въ усадьбѣ. Пріѣзжалъ къ нему изъ Петербурга двадцати-двухъ-лѣтній поручикъ сынъ и пробовалъ утѣшить старика, обнадеживая, что графъ Иванъ Александровичъ надѣется все повернуть на старую колею: но князь выслушалъ, на минуту просіялъ улыбкой—и не повѣрилъ. Главное, онъ потерялъ вѣру въ дворянство, которое, по его мнѣнію, вело себя самымъ легкомысленнымъ образомъ: сначала фрондировало, потомъ смирилось и наконецъ теперь судится съ хамами у мировыхъ посредниковъ... эмиссаровъ Пугачева! Убѣжденія свои относительно

роли, которую дворянство *обязано* играть въ государствѣ, онъ успѣлъ привить и дочери, и разъ что „занятіе“ мужичкомъ устранилось, разговоры о необходимости дворянскаго возрожденія сдѣлались единственнымъ матеріаломъ, съ помощью котораго наполнялся обнаружившійся безконечный досугъ. Пробовали они пріобщить къ этимъ собесѣдованіямъ и молодого поручика, но послѣдній охотнѣе разсуждалъ о кобылѣ и ея свойствахъ, и потому, какъ только расчувствовавшійся отецъ отсчиталъ ему, сверхъ положенія, хорошій кушъ, онъ счелъ себя вполнѣ удовлетвореннымъ и укатилъ въ Петербургъ. Старый князь остался одинъ-на-одинъ съ княжною и съ экономкой Марфушей, которая впрочемъ исключительно занималась тѣмъ, что гнала изъ усадьбы приходившихъ съ жалобами мужиковъ.

А стрикулисты между тѣмъ дѣлали свое дѣло безъ послабленія, Отрѣзывали лѣса и луга, а изъ остального устраивали крестьянскіе надѣлы (въ родѣ какъ западни), имѣя при этомъ въ разсчетѣ, чтобъ мало-мальски легкомысленная крестьянская курица непремѣнно по нѣскольку разъ въ день была уличаема въ безвозмездномъ пользованіи господскими угодьями, а слѣдовательно и въ потрясеніи основъ.

Когда все было покончено—слѣдуетъ замѣтить, что для введенія уставной грамоты все-таки потребовалась команда,—началась борьба. Ее вели тѣ же стрикулисты, но вели назойливо и неумѣло, такъ что гвалтъ отъ ежедневныхъ перекоровъ, несмотря на всѣ предосторожности, не могъ не доноситься и до княжеской усадьбы. Князь сердился больше и больше, и въ то же время все сильнѣе и сильнѣе укоренялось въ немъ убѣжденіе о личной его небезопасности въ сосѣдствѣ „неблагодарныхъ“. Онъ тревожно прислушивался къ каждому шороху, держалъ наготовѣ заряженный револьверъ, не тушилъ по ночамъ огней, худо ѣлъ, худо спалъ. Наконецъ въ немъ созрѣла странная мысль: отдать имѣніе въ аренду еврею и поселиться въ городѣ. Ему почему-то казалось, что еврей лучше, нежели всевозможные стрикулисты, съумѣетъ отмстить за него; что онъ ловчѣе вызудитъ запутавшійся мужицкій пятакъ, чище высосетъ мужицкій сокъ и вообще успѣшнѣе разоритъ то мужицкое благосостояніе, которое самъ же онъ, князь Рукосуй, въ теченіе столь многихъ лѣтъ неустанно созидалъ. Правда, что въ то время еще не народилось ни Колупаевыхъ, ни Разуваевыхъ, и князь не зналъ, что для извлеченія му-

жицкихъ соковъ не нужно особенно-злостныхъ ухищреній, а слѣдуетъ только утромъ разостлать тенета и уйти къ своему дѣлу, а вечеромъ эти тенета опять собрать, и все запутавшееся въ нихъ, связавъ въ узелъ, бросить въ амбаръ для храненія вмѣстѣ съ прочими такими же узлами.

Однимъ словомъ, ничѣмъ не мотивированное ожесточеніе князя противъ крестьянъ приняло, съ теченіемъ времени, размѣры какого-то безконечнаго горячечнаго бреда, который одинаково былъ мучителенъ и для бредившаго, и для тѣхъ, которые составляли предметъ бреда.

Еврей сыскался. Одинъ изъ разжившихся желѣзнодорожниковъ, статскій совѣтникъ Воозъ Давыдычъ Ошмянскій, рекомендовалъ молодому князю своего собственнаго брата, Лазаря, который давно уже жаждалъ найти самостоятельный гешефтъ. Наружность Лазарь имѣлъ очень приличную. Это былъ еврей уже культивированный, понявшій, что по нынѣшнему времени прежде всего необходимо освободиться отъ еврейскаго облика. Явился онъ въ Благовѣщенское въ щегольской гороховой жакеткѣ, въ цвѣтномъ галстухѣ, съ золотымъ пенсне́ на носу, выстриженный à la malcontent, безъ малѣйшаго признака пейсовъ. Онъ скромно рекомендовалъ себя русскимъ моисеева закона и говорилъ по-русски осторожно, почти правильно, хотя не могъ сладить съ буквою *р*, и сверхъ того вмѣсто „что“ произносилъ „ишто“, вмѣсто „откуда“ — „ишкуда“, вмѣсто „въ село“ — „уфсело“ и вмѣсто „сдѣлать“ — „издѣлать“. Сверхъ того, когда унывалъ, то присѣдалъ, а когда торжествовалъ, то начиналъ махать руками. Человѣкъ онъ былъ молодой, кругличатый, съ пунцовыми губами, пухлыми руками, съ глазами выпяченными какъ у рака и съ нѣкоторою наклонностью къ округленію брюшной полости. Но всего больше въ немъ понравилось князю, что когда онъ говорилъ о мужикѣ, то въ углахъ его рта набивалась слюна, которую онъ очень аппетитно присасывалъ.

Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, князь заключилъ съ Ошмянскимъ безобразнѣйшій и исполненный недомолвокъ контрактъ и затѣмъ уѣхалъ изъ Благовѣщенскаго. Но для столицъ онъ черезъчуръ одичалъ, а Кашинъ — ненавидѣлъ, считая его прикосновеннымъ къ постигшей его катастрофѣ. Поэтому поселился въ Бѣжецкѣ. Тамъ онъ выстроилъ домъ, развелъ при немъ садъ, и жилъ съ дочерью,

окруженный вымирающими стариками, да и самъ постепенно дряхлѣя и впадая въ ребячество. Постороннихъ людей онъ боялся и окончательно сдѣлался отшельникомъ. Утромъ запирался въ кабинетѣ и писалъ сочиненіе о необходимости учрежденія „Общества Странствующихъ Дворянъ“, на обязанность котораго онъ возлагалъ хожденіе въ народъ съ цѣлью распространенія здравыхъ понятій о значеніи и роли дворянства въ государствѣ. Около двухъ часовъ пополудни выходилъ къ обѣду во фракѣ и бѣломъ галстухѣ и ѣлъ изысканныя блюда съ изысканными названіями, въ родѣ: „bombes de pommes de terre à la Sardanapal“, „purée de carrottes à la Jean le Terrible“, „oeufs sur le plat orné de soukharis à la Souwaroff“ и т. д. По вечерамъ занимался съ дочерью столоверченіемъ и вызываніемъ духовъ. Но и духовъ вызывалъ все такихъ, которые были прикосновенны къ реформѣ: графовъ Ланского и Ростовцева, тайныхъ совѣтниковъ: Левшина, Милютина, Соловьева и т. п. Онъ старался ихъ убѣдить и усовѣстить, но успѣвалъ въ этомъ только отчасти. Ланской и Ростовцевъ дѣйствительно какъ будто сознавались, что поторопились; Левшинъ не сознавался, но говорилъ: „чѣмъ же я виноватъ?“ а Милютинъ и Соловьевъ являлись на зовъ неохотно и, явившись, ограничивались тѣмъ, что называли князя „старымъ колпакомъ“.

Такой образъ жизни представлялся столь страннымъ, что бѣжецкія власти встревожились. Въ самомъ дѣлѣ, человѣку слѣдовало бы жить или въ столицѣ, или въ Кашинѣ, а онъ живетъ въ Бѣжецкѣ, живетъ запершись, ни съ кѣмъ не видится, даже въ церковь не ходитъ; днемъ пишетъ какія-то записки, а по вечерамъ производитъ таинственныя дѣйствія. Даже запоемъ не пьетъ, что̀, все-таки, было бы смягчающимъ обстоятельствомъ. Разумѣется, явилось желаніе внести свѣтъ въ это загадочное существованіе, узнать, насколько оно согласуется съ существующими на сей предметъ предписаніями. Исполненіе этой задачи принялъ на себя мѣстный околоточный Терѣнкинъ, который тутъ же схвастнулъ, что хотя онъ и значится по метрикамъ рожденнымъ отъ притыкинскаго станціоннаго смотрителя *), но, въ сущности, въ *это время* названный отецъ его ѣздилъ за почтальона въ

*) Притыкино—станція на почтовомъ трактѣ между Тверью и Калязиномъ.

Калязинъ, а мать оставалась дома одна, какъ вдругъ въ Притыкино прибылъ князь проѣздомъ въ имѣніе...

Въ одно прекрасное утро въ княжескій домъ явился молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, отрекомендовался мѣстнымъ околоточнымъ надзирателемъ и, враспохъ поцѣловавъ у князя ручку, сразу сталъ называть его „папенькой“. Князь изумился.

— Что такое вы говорите?—спросилъ онъ строго.

— А какъ же, папенька-съ... Изволите помнить, въ сорокъ-третьемъ году въ Притыкинѣ... Такъ это я-съ!—отозвался Терпенкинъ съ невозмутимою душевною ясностью.

Князь покраснѣлъ и промолчалъ. Онъ вспомнилъ, что въ Притыкинѣ дѣйствительно что-то было, но никакъ не могъ представить себѣ, чтобъ изъ этого могъ выйти околоточный надзиратель. Княжна, случайно присутствовавшая при этой сценѣ, тоже покраснѣла („однакожъ maman была еще въ это время жива!“ мелькнуло у нея въ головѣ), и послѣ того дня два дулась на отца. Но потомъ не только простила, но даже стала относиться къ нему нѣжнѣе („вотъ у меня папа-то какой!“).

Терпенкинъ однакожъ добился своего. Началъ ходить къ князю съ поздравленіемъ по воскресеньямъ и праздникамъ, и хотя въ большинствѣ случаевъ не допускался дальше передней, куда ему высылалась рюмка водки и кусокъ пирога, но все-таки успѣлъ подобрать съ полу черновую бумагу, въ которой кратко были изложены права и обязанности членовъ Общества Странствующихъ Дворянъ.

Находку эту бѣжецкія власти поспѣшили представить по начальству: но вмѣсто ожидаемаго поощренія получили отъ послѣдняго вразумленіе, изъ котораго явствовало, что еслибы всѣ жители Тверской губерніи, подобно князю Рукосую-Пошехонскому, занимались составленіемъ проектовъ о странствующихъ дворянахъ, то губернія сія давно была бы благополучна.

Съ тѣхъ поръ князя оставили въ покоѣ...

А имѣніе его между тѣмъ съ каждымъ годомъ все больше и больше приходило въ упадокъ. Еврей не дремалъ: рубилъ лѣса, продавалъ движимость, даже всѣхъ крупныхъ карасей въ прудѣ выловилъ. Только внѣшній обликъ усадьбы оставался неприкосновеннымъ, т.-е. паркъ, барскій домъ, теплицы и оранжереи, потому что князь требовалъ, чтобы въ февралѣ у него непремѣнно былъ на столѣ

свой свѣжій огурецъ (salade de concombres à la Roukossouy). Даже молодой князь ни разу не посѣтилъ усадьбы, хотя неоднократно грозился „обревизовать жида". Но Оппянскій всегда своевременно узналъ объ этихъ угрозахъ, и, для предупрежденія опасности, отправлялся самолично въ Петербургъ. Тамъ онъ очень ловко пользовался денежными затрудненіями молодого человѣка и за ничтожныя суммы получалъ отъ него разрѣшенія на продажу лѣсовъ. Разрѣшенія эти сами по себѣ не имѣли законной силы, но Лазарь зналъ, что если старый князь и узнаетъ о нихъ, то „повести дѣла" не захочетъ. Сверхъ того онъ охотно давалъ молодому человѣку и взаймы; такъ что, въ концѣ концовъ, у него оказалась порядочная груда векселей, которые и писались, и переписывались изъ года въ годъ. На послѣднихъ по времени уже красовалась подпись: генералъ-маіоръ князь Рукосуй-Пошехонскій. Очевидно, молодой человѣкъ (ему было въ описываемую эпоху съ небольшимъ сорокъ лѣтъ) преуспѣлъ.

Но выжимать сокъ изъ крестьянъ Оппянскому удалось только въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ, потому что послѣ этого на селѣ пришли въ совершенный разумъ свои собственные евреи, въ лицѣ Астафьича, Финагеича и Прохорыча, которые тѣмъ легче отбили у наглаго пришельца сосательную практику, что умѣли дѣйствовать и калякать съ мужичкомъ по душѣ и по-божецки.

Когда мы пріѣхали въ Благовѣщенское, въ немъ не осталось уже и слѣдовъ прежней зажиточности. Избы стояли почернѣвшія, покривившіяся, съ полуразрушенными дворами, разоренными крышами и другими изъянами. Вдали, на пригоркѣ, виднѣлось крестьянское стадо, малорослое и малочисленное. По пустынной улицѣ безъ пути ходили одинокіе пѣтухи и тщетно сзывали куръ. Только пять-шесть исправныхъ домовъ блестѣли на солнцѣ новыми тесовыми крышами; очевидно, они принадлежали упомянутымъ выше Финагеичу и Прохорычу, и еще кое-кому изъ сельскихъ властей. Въ селѣ было три кабака: одинъ при въѣздѣ, другой—при выѣздѣ, третій—въ центрѣ, на базарной площади. Ни направо, ни налѣво сельчанину нельзя было выйти, да и по середкѣ усидѣть трудно: вездѣ и расшивочно, и на выносъ—какъ хочешь.

Въ одномъ изъ этихъ кабаковъ (центральномъ), при которомъ было такъ-называемое „чистое" отдѣленіе, остановились и мы.

Глава XXVI.

Оставивши товарищей на селѣ, мы съ Глумовымъ направились въ усадьбу. Арендаторъ стоялъ на крыльцѣ княжескаго дома (онъ занималъ нижній этажъ) и толково объяснялъ мужичку, почему именно ему выгоднѣе быть слопанымъ имъ, евреемъ, нежели Астафьичемъ, который тоже разѣвалъ на мужичка пасть. Мужичокъ чесался и повторялъ: „что говорить! извѣстно, выгоднѣе!“ но въ самой его манерѣ чесаться было видно, что онъ такъ только, изъ вѣжливости, „подражалъ“ еврею, а въ сущности замышлялъ измѣну. А Ошмянскій, проникая его мысль, говорилъ: „вашему брату тоже пальца въ ротъ не клади“...

Узнавъ о цѣли нашего пріѣзда, Ошмянскій сначала не понялъ и присѣлъ. Но когда мы объяснили ему, что мы странствующіе дворяне, предпринявшіе подвигъ самосохраненія, и съ этою цѣлью предлагающіе свои услуги всѣмъ евреямъ, желающимъ обратиться на истинный путь, и когда Глумовъ какъ бы невзначай махнулъ у него подъ носомъ синей ассигнаціей, то онъ выпрямился и радостно замахалъ руками. Ассигнація же въ это время исчезла безъ остатка.

Оказалось, что со стороны Ошмянскаго была предпринята цѣлая комбинація. Объектомъ ея былъ впрочемъ не онъ лично, а одинъ его бѣдный родственникъ, Мошка, котораго онъ, изъ состраданія, пріютилъ у себя. Вообще предпріятіе было очень запутанное, и впослѣдствіи одна газета совершенно справедливо выразилась о немъ такъ: „вотъ горькій, но вполнѣ естественный плодъ ложнаго положенія евреевъ во внутреннихъ губерніяхъ Россіи!“

Дѣло въ томъ, что Лазарь, какъ некрещеный еврей, не имѣлъ права самостоятельно жить въ Каширскомъ уѣздѣ, и ежели его до сихъ поръ не тревожили, то единственно только по упущенію. Но безсрочно надѣяться на упущенія невозможно, тѣмъ болѣе, что Астафьичъ, Финагенчъ и Прохорычъ успѣли кое-что пронюхать, и вслѣдствіе этого начали похваляться и угрожать. Ошмянскій заметался и призвалъ на помощь всю остроту ума; но какъ онъ ни присѣдалъ, какіе ни придумывалъ извороты, перспектива въ будущемъ представлялась одна: обязательное выселеніе по первому извѣщенію любого изъ Финагенчей. Правда, что онъ ужъ былъ сытъ по горло

и даже самъ нерѣдко мечталъ пуститься въ болѣе широкое плаваніе, но оставалась еще одна какая-то невырубленная пустошонка, и онъ чувствовалъ смертельную тоску при одной мысли, что она выскользнетъ у него изъ рукъ. Поѣхалъ онъ въ Кашинъ къ стрикулистамъ, и тамъ ему дали совѣтъ. Оказывалось, что если у него найдется родственникъ, который согласится перейти въ христіанство, то стоитъ только обдѣлать это дѣло, и Лазарь получитъ право жить у этого родственника въ гостяхъ безсрочно и невозбранно. Натурально, Ошмянскій вспомнилъ объ Мошкѣ, и, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, рѣшился, при помощи Мошки, устроить кощунственный гешефтъ.

Мошка согласился съ радостью, но выговорилъ, чтобы сверхъ похлебки изъ фасоли, которою онъ въ качествѣ бѣднаго родственника исключительно питался, ему давали ежедневно еще по двѣ головки чеснока. Мало того: онъ до такой степени распалился ревностью, что сталъ приставать къ рабочимъ, чтобъ они при встрѣчѣ съ нимъ показывали свиное ухо, что̀ послѣдніе охотно и исполняли.

Для того, чтобъ Мошкинъ энтузіазмъ не простылъ, Ошмянскій напялъ въ Кашинѣ стараго, извергнутаго изъ сана за пьянство дьякона, Мину Праздникова. Дьяконъ взялъ съ него недорого: два съ полтиной за всю выучку и сверхъ того по полуштофу пѣшнаго въ день, ибо, по преклонности лѣтъ, болѣе вмѣстить ужъ не могъ. Но такъ какъ онъ отъ старости и вина до того обезумѣлъ, что и самъ все перезабылъ, то приступилъ къ дѣлу чрезвычайно странно. Во-первыхъ, для начала заставилъ Мошку съѣсть углицкую колбасу, и во-вторыхъ, сказалъ: „а теперь кричи: ура!“ Мошка колбасу съѣлъ и попросилъ еще; потомъ крикнулъ „ура“, разъ, другой—и это ему тоже понравилось. Вслѣдствіе этого, будучи, по случаю предстоящей перемѣны въ судьбѣ, уволенъ отъ занятій въ конторѣ, онъ по цѣлымъ днямъ слонялся съ извергнутымъ дьякономъ по парку, рвалъ зубами колбасу и кричалъ „ура“.

Когда Мошка совсѣмъ освоился съ колбасой, тогда извергнутый дьяконъ, который полюбилъ его какъ роднаго сына, сказалъ:

— Мошка! видѣлъ я давеча, что Лазарь пятналтынный на столѣ въ залѣ оставилъ. Поди и унеси его, а унесши сбѣгай къ Финагенчу и купи косушку пѣшнаго. Хочу тебя къ спвухѣ пріучить.

Такъ Мошка и сдѣлалъ. Половину косушки Мина Праздниковъ выпилъ самъ, а другую половину почти насильно вылилъ Мошкѣ въ

горло. И когда, поздно вечеромъ, они возвращались изъ парка домой и Мошка совсѣмъ безъ нути оралъ, то Мина, усмотрѣвъ въ лицѣ Оттянскаго укоризненное выраженіе, объяснилъ:

— Это ничего. Это отъ избытка чувствъ!

Черезъ мѣсяцъ, когда Оттянскій освѣдомился у Праздникова, каковы успѣхи дѣлаетъ его ученикъ, изверженный дьякопъ, предварительно хлопнувъ Мошку ладонью по лбу, кратко, но вразумительно отвѣтилъ:

— Башка!

Разумѣется, Оттянскій прежде всего обратился съ просьбой о воспріемничествѣ къ князю и къ княжнѣ. Но князь былъ въ это время до того погруженъ въ пререканія съ духомъ тайнаго совѣтника Соловьева по дѣлу о несвоевременности крестьянской реформы, что врядъ-ли даже понялъ, о чемъ Лазарь его проситъ. Что же касается до княжны, то она сначала согласилась и даже приступила къ кройкѣ и шитью ризокъ, но когда узнала, что Мошка большой, то покраснѣла и отказалась наотрѣзъ. Лазарь очутился въ большомъ затрудненіи вслѣдствіе этой неудачи, и уже подумывалъ, не пригласить ли въ кумовья Прохорыча, а въ кумы Финагеичеву жену. Этимъ смѣлымъ шагомъ онъ разсчитывалъ достигнуть примиренія съ обоими сельскими магнатами, а впослѣдствіи даже заключить съ ними союзъ съ тѣмъ, чтобъ соединенными силами ударить на Астафьича и утопить послѣдняго въ ложкѣ воды.

Въ такомъ положеніи находилось дѣло, когда мы пріѣхали въ Благовѣщенское. Мина Праздниковъ уже цѣлыхъ шесть недѣль проживалъ въ усадьбѣ и все говорилъ, что Мошка еще не готовъ. Лазарь начиналъ тяготиться этими проволочками. Правда, старикъ не требовалъ увеличенія гонорара, но онъ съѣдалъ харча по малой мѣрѣ на двадцать копѣекъ въ сутки, да сверхъ того ежедневно выпивалъ условленный полштофъ, а это тоже денегъ стоило. Да и Мошка набаловался при немъ; сталъ поворовывать, пить, буянить и вообще вести себя подобно охотникамъ-рекрутамъ, покуда не крикнутъ имъ: лобъ! „Ахъ, кабы поскорѣе сбыть съ рукъ это дѣло,—разсуждалъ самъ съ собою Лазарь,—а тамъ ужъ я Мошку подтяну! Я ему, подлецу, всякую головку чеснока приномню! Я на немъ вымещу, я его“... Но вдругъ въ головѣ его промелькнула изумительная мысль: а что, ежели Мошка возьметъ да скажетъ: „довольно вы у меня, Лазарь

Давыдычъ, въ гостяхъ пожили! хочу я теперича, чтобы вы уѣхали обратно въ Оттяны!"? При этомъ предположеніи Лазарь не только присѣлъ, но и глаза зажмурилъ. „Что я тогда съ нимъ издѣлать буду!" затосковалъ онъ, разсчитывая по пальцамъ, сколько Моника со дня рожденія одного хлѣба у него съѣлъ, не говоря уже о фасоли и чеснокѣ.

Вообще у Оттянскаго было много заботъ, которыя отравляли его существованіе. И прежде всего—громадное семейство. Жена его Рахиль, почему-то Францовна (онъ звалъ ее: Рахэль), народила ему цѣлую охапку дѣтей. Каждому предстояло приготовить гешефтъ, а для гешефта—деньги. Деньги, разумѣется, найдутся — онъ это зналъ... но вдругъ ихъ у него отнимутъ! Не взломомъ, не разбоемъ —Боже упаси!—а просто скажутъ: нажилъ деньги, а теперь отдавай!.. „ай вай, что тогда изъ нами будетъ!" Что будетъ съ Эвелемъ, съ Рувимомъ, съ Борухомъ, съ Зельмапомъ, съ Лейбою, съ Ицекомъ, съ Сарой, съ Агарью, съ Ребеккой и наконецъ съ маленькой Эсирью, которую за ея роскошныя рыжія кудри называли Уріевой женой? Конечно, онъ бо́льшую часть капитала припряталъ, но вѣдь бываетъ и такъ, что спрятать—спрячешь, а потомъ не знаешь, какъ и достать. Спряталъ онъ ихъ, напримѣръ, уфъ банкъ, а самъ, по манію генералъ-маіора Отчаяннаго, очутился уфъ Америкѣ.... Доставай оттуда! переписывайся! доказывай!

Эта мысль ужасно его мучила. Даже ночью онъ видѣлъ передъ собой бѣду какъ живую, вскакивалъ съ постели, обливался холоднымъ потомъ и проклиналъ... Припоминалъ онъ, какъ полководцы, пріѣзжавшіе къ его брату, финансовому тузу, занимать деньги, говаривали: „а что бы вамъ, Воозъ Давыдычъ... право! махните-ка... а?"—И Воозъ Давыдычъ не обрывалъ ихъ, а только скромно возражалъ, что „покуда" еще не предвидится надобности... Покуда! стало быть, когда-нибудь надобность все-таки можетъ придти? Припоминалъ онъ также, какъ однажды одинъ изъ полководцевъ, въ первый разъ увидѣвъ его у брата, сказалъ: „а тебя, пархатый, хочешь сейчасъ къ Татьянѣ Борисовнѣ свезу?" Припоминалъ онъ все это, и проклиналъ, проклиналъ безъ конца. И чѣмъ больше проклиналъ, тѣмъ жаднѣе набрасывался на гешефты, сосалъ, грызъ, рвалъ...

Завѣтнѣйшею его мечтою было заполучить желѣзную дорожку.

Сначала... хоть узкоколейную. Вотъ каширскіе патріоты давно ужъ ропщутъ, что размаху имъ не даютъ—на что бы лучше! А не то можно и изъ Углича линійку провести. Капиталъ у Лазаря есть; не громадный, правда, но вѣдь не въ капиталѣ сила, а въ томъ, чтобъ имѣть подъ рукою запасъ дураковъ. А въ этомъ отношеніи Воозъ поможетъ. Денегъ не дастъ, но пути покажетъ и дураковъ подыщетъ... А что если онъ проектъ-то выѣдаетъ, да самъ для себя дорожку и отхлопочетъ? И останется онъ, Лазарь, въ дуракахъ... „Ахъ, братъ, братъ! неужто ты это сдѣлаешь? неужто ты еще не сытъ?“

А желѣзнодорожное дѣло онъ знаетъ: еще подросткомъ онъ служилъ сряду нѣсколько лѣтъ на одной дорогѣ, сперва на побѣгушкахъ, потомъ въ писаряхъ, а наконецъ и десятникомъ. Въ то время строителемъ дороги былъ молодой инженеръ, который его все палкой по головѣ билъ—вотъ его онъ и сдѣлаетъ главноуправляющимъ *своими дорогами*. Отъ него онъ „науку“ узналъ, ума набрался, а теперь можетъ и самъ что угодно выстроить. И рабочихъ онъ дешево найметъ, а коли дорожиться будутъ, то обсчитаетъ... нѣтъ, пускай ужъ лучше дешево найметъ! А впрочемъ обсчитать пожалуй выгоднѣе. Не по одиночкѣ, а непремѣнно разомъ всѣхъ. По одиночкѣ—пожалуй заплатить присудятъ, а когда *всѣ разомъ* будутъ разсчета требовать, то выйдетъ бунтъ, а тамъ какъ разъ и неповиновеніе властямъ...

„А гдѣ же у насъ гаспадинъ исправникъ тутъ?“

И вотъ онъ выстроилъ одну дорожку, выстроилъ другую, и окончательно основался въ Петербургѣ. Купилъ въ Большой Морской домъ, прямо противъ дома Воозa; оба по двѣ француженки содержатъ, оба на пріюты жертвуютъ. И ѣздятъ другъ къ другу: „я—къ нему, онъ—ко мнѣ“. Лѣтомъ онъ поѣдетъ Эмсъ, чтобы легче экспекторировать, въ сентябрѣ ѣдетъ купаться въ Трувиль, потомъ въ Парижъ, въ Ниццу... И вездѣ ему скучно. Вездѣ его преслѣдуетъ представленіе о какой-то фантастической ѣдѣ, которая ему приличествуетъ и которую онъ не можетъ назвать, о какой-то женщинѣ съ диковиннымъ секретомъ, за который онъ дорого бы заплатилъ, но который еще сама природа покуда не догадалась создать... А инженеръ между тѣмъ дороги ему строитъ. Заглянетъ онъ между дѣломъ въ Петербургъ и обревизуетъ счеты. Потомъ задастъ полководцамъ тонкій обѣдецъ, а послѣ обѣда въ зубахъ ковыряетъ. И опять въ Ниццу, въ Парижъ... И вдругъ опять... эта ужасная мысль! Ѣдятъ

у него полководцы, чествуютъ гостепріимнаго хозяина, хвалятъ вино, сигары; но вотъ одинъ изъ нихъ отдѣляется и дружески хлопаетъ его по колѣнкѣ: „а что бы вамъ, Лазарь Давыдычъ, тово... махни-ка, братъ... а?“ Лазарь блѣднѣетъ отъ злобы, но и въ мечтахъ не можетъ отыскать приличный отвѣтъ. Такой отвѣтъ, чтобъ былъ храбрый. И убѣждается, что даже наверху благополучія ему нѣтъ другого выхода, кромѣ какъ проклинать...

О возстановленіи іудейскаго царства онъ не мечталъ: слишкомъ онъ былъ для этого реалистъ. Не могъ даже вообразить себѣ, что онъ будетъ тамъ дѣлать. Вѣдь Іерусалимъ навѣрное не отдадутъ; развѣ вотъ Сихемъ—такъ ужъ лучше въ Каширскомъ уѣздѣ у Мошки въ гостяхъ жить. Конечно, и въ Сихемъ можно мамзель Жюдикъ выписать... Никогда онъ Жюдикъ не видалъ, но, будучи сладострастенъ, распалялся на вѣру. Давно ужъ онъ понималъ, что Рахэль ему не пара. А притомъ слишкомъ ужъ часто родитъ. Поэтому, въ мечтахъ о предстоящей привольной жизни въ Петербургѣ, онъ постоянно отдѣлялъ въ предполагаемомъ собственномъ домѣ особый апартаментъ для себя. Рахэль, съ дѣтьми, гувернантками и гувернерами, онъ помѣститъ въ бель-этажѣ; подыщетъ троихъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, которые будутъ составлять ей партію въ винтъ, а самъ поселится въ rez de chaussée и будетъ принимать Жюдикъ. Лоночетъ Жюдикъ, какъ оглашенная, по-французски, а онъ съ полководцами сидитъ и хохочетъ. А чему хохочетъ—не знаетъ.

По временамъ передъ нимъ возставало его далекое дѣтство. Ахъ, что такое тамъ было... фа!! Родился онъ въ Ошмянахъ, въ полуразвалившейся хижинѣ, выходившей своими четырьмя окнами въ улицу, наполненную навозомъ. Отецъ его былъ честный старый еврей, ремесломъ лудильщикъ, и буквально помиралъ съ голода, потому что лудильщиковъ въ городѣ расплодилось множество, а лудить было нечего. Но старикъ бодрился. Онъ не измѣнялъ завѣту предковъ, не снималъ съ головы ермолки, ни длиннополаго заношеннаго ламбсердака съ плечъ, не обрѣзывалъ пейсовъ и по цѣлымъ вечерамъ, обливаясь слезами, пѣлъ псалмы, возвѣщавшіе и славу Іерусалима, и его паденіе. Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ бѣдныхъ, восторженныхъ евреевъ, которые среди зловонія и нечистотъ уѣзднаго городка умѣютъ устроить для себя мучительно-возвышенный миражъ, который въ одно и то же время и изнуряетъ, и даетъ силу жить. Лазарь и теперь еще какъ живого

представлялъ себѣ этого сухого старика, который до самой смерти не переставалъ стучать паяльникомъ, добывая кусокъ для одолѣвавшей его семьи.

Но къ воспоминаніямъ объ отцѣ онъ относился какъ-то загадочно, какъ будто говорилъ: а кто же ему велѣлъ зѣвать! И Воозъ былъ въ отрочествѣ лудильщикомъ, и онъ, Лазарь, тоже. И теперь еще есть у него въ Ошмянахъ два родные брата въ лудильщикахъ, и онъ собирается послать имъ пятьдесятъ цѣлковыхъ, да все забываетъ. Но Воозъ рано прозрѣлъ, а за Воозомъ черезъ нѣсколько лѣтъ прозрѣлъ и Лазарь. Воозъ сразу пошелъ ходко; выхолился, вычистился, выказалъ недюжинныя способности, завелъ прическу à la Capoul и понравился банкиршѣ. А тамъ подошелъ хорошій гешефтъ, онъ нырнулъ... и вынырнулъ; потомъ опять вынырнулъ, и опять. Теперь живетъ чуть не въ десяти дворцахъ—во всѣхъ мало-мальски стоющихъ европейскихъ городахъ по одному—завелъ льстецовъ и напусто ужъ не плюнетъ—извините! Лазарь же хоть и не столько преуспѣлъ, а все-таки успѣлъ уничтожить тотъ особливый наружный обликъ, который запираетъ еврею входъ въ жизнь. Онъ ходитъ въ жакеткѣ, причесывается à la malcontent, а захочетъ, такъ отпуститъ волосы и проборъ по срединѣ головы изваяетъ. Вообще онъ пожаловаться на судьбу не можетъ. Хоть и далеко ему до брата, но...

Покуда такимъ образомъ передъ умственными нашими взорами развертывалась жизнь Ошмянскаго, онъ пригласилъ насъ въ домъ. Но повелъ насъ не въ нижній этажъ, гдѣ ютилось семейство и откуда неслись раздирающіе крики малолѣтнихъ евреевъ, а наверхъ, въ комнаты, выговоренныя княземъ для себя на случай пріѣзда. Мы вошли въ обширное, вполнѣ барское помѣщеніе, въ которомъ впрочемъ сохранилось ужъ очень мало мебели. Высокія парадныя комнаты выходили окнами на солнечную сторону; воздухъ былъ сухой, чистый, легкій, несмотря на то, что ужъ много лѣтъ никто тутъ не жилъ. Лазарь выводилъ насъ вездѣ и, не переставая, жаловался.

— Одинхъ дровъ саженъ сто на отопленіе этихъ сараевъ въ годъ выходитъ,—говорилъ онъ:—да сколько на оранжереи, да на теплицы! И все это я долженъ *своими* дровами отоплять! Доказывалъ я молодому князю, что гораздо было бы выгоднѣе верхній этажъ снять, и даже деньги хорошія предлагалъ, а онъ старика боится. Думаетъ, что здѣсь умереть захочетъ, да гдѣ ужъ! А тутъ одного кирпича

сколько — подумайте! Да и нижній этажъ облегчился бы, а чтобы въ немъ жить было веселѣе, я бы и паркъ вырубилъ — вонъ хоть до тѣхъ поръ (онъ показалъ пальцемъ что-то далеко). Подумайте, какія деревья — дубы, лиственницы, кедры есть! — сколько тутъ добра! И все пропадаетъ задаромъ. А въ особенности оранжереи — вотъ онѣ у меня гдѣ сидятъ! Садовники народъ балованный, а имъ жалованье плати. Кто плати? — все я. А уничтожьте эти непужныя затѣи — сколько одного кирпича! Старикъ ничего этого во вниманіе не беретъ, а я отдувайся!

Пожаловавшись, разсказалъ намъ изложенныя выше подробности о старомъ князѣ и выразилъ надежду, что съ его смертью легче будетъ съ наслѣдникомъ дѣло имѣть. Любитъ онъ, Лазарь, нынѣшнюю молодёжь — такая она бодрая, дѣльная! Никакихъ сантиментовъ: деньги на столъ — и весь разговоръ тутъ.

— А у старика, я знаю, есть капиталъ, — прибавилъ онъ: — только онъ бо́льшую часть дочери отдастъ, а та — въ монастырь... Вотъ тоже, я вамъ скажу (онъ тоскливо замоталъ головой)! Ежели бы я былъ правительство, я бы...

— Но такъ какъ вы правительствомъ никогда не будете... — строго прервалъ его Глумовъ, но не кончилъ, потому что Лазарь, при первыхъ же звукахъ его голоса, до того присѣлъ, что мы съ минуту думали, что онъ совсѣмъ растаялъ въ воздухѣ. Однакожъ черезъ минуту онъ опять осуществился.

— А имѣніе перейдетъ къ сыну, — продолжалъ онъ: — вотъ тогда...

И въ знакъ восторга замахалъ руками, какъ до-реформенный телеграфъ.

Между тѣмъ сквозь открытыя окна снизу, изъ стряпущей, до насъ доносились съѣстные запахи. Пахло жареным лукомъ, кочерыжками и чѣмъ-то въ родѣ мытаго бѣлья. Послѣдній запахъ издавалъ жареный гусь, которому, по преклонности лѣтъ и недугамъ, оставалось жить всего двадцать четыре часа и котораго Ошмянскій, скрѣпя сердце, приказалъ зарѣзать. Поэтому-то, быть можетъ, такъ и ревѣли внизу маленькіе евреи, не подозрѣвая, что Лазарь рѣшилъ въ умѣ своемъ наградить гусемъ не всѣхъ, но лишь достойнѣйшихъ. Одну минуту мы думали, что радушный хозяинъ и насъ пригласитъ хлѣба-соли отвѣдать, да онъ и самъ уже началъ:

— А можетъ быть вы издѣлаете мнѣ удовольствіе...

Но сейчасъ же испугался и, чтобъ окончательно не возвратиться къ этому предмету, убѣжалъ на балконъ, гдѣ нѣкоторое время обмахивался платкомъ, чтобъ придти въ себя. Наконецъ онъ кликнулъ работника, чтобъ разыскать Мошку и Праздникова, и позеленѣлъ отъ злости, узнавъ, что оба еще наканунѣ съ вечера отправились за двадцать верстъ на мельницу рыбу ловить и возвратятся не раньше завтрашняго утра.

Приходилось ждать на селѣ. Впрочемъ для насъ это было даже пріятно. Ни дѣлъ, ни занятій впереди не предстояло; развѣ вотъ подъ судъ отдадутъ, такъ для этого мы всегда куда слѣдуетъ вовремя поспѣемъ. А между тѣмъ наступали свѣтлые, сухіе дни, какими иногда сентябрь награждаетъ нашъ сѣверъ. Хотя днемъ солнце еще порядкомъ грѣло, но въ тѣни уже чувствовалась свѣжесть наступающей осени. Воздухъ былъ необыкновенно прозраченъ, гулокъ и весь напоенъ ароматами созрѣвающихъ овощей и душистыхъ огородныхъ травъ. Въ подросшей за лѣто травѣ еще стрекотали кузнечики, а около кустовъ и деревьевъ дрожали нити паутины—вѣрные признаки предстоящаго продолжительнаго вёдра. Листья еще крѣпко держатся на вѣткахъ деревьевъ и только чуть-чуть начинаютъ буреть; георгины, штокрозы, резеда, душистый горошекъ—все это слегка поблѣднѣло подъ вліяніемъ утренниковъ, но еще въ полномъ цвѣту, и вездѣ жужжатъ міріады пчелъ, которыя, какъ чиновники передъ реформой, спѣшатъ добрать послѣднія взятки. Кругомъ—просторъ, тишина, грудь не надышется. Каждая птица въ небѣ видна, каждый ударъ цѣпа на гумнѣ слышенъ; бѣлая церковь на пригоркѣ такъ и искрится; вода въ прудѣ—какъ хрусталь. Чудно, чудно, чудно. А въ Петербургѣ, быть можетъ, въ это самое время въ воздухѣ порхаетъ ужъ изморозь и улицы наполнились тою подлою слизью, которая въ одну минуту превращаетъ пѣшехода въ чушку. Чиновники ужъ переѣхали съ дачъ; во всякомъ окнѣ видѣется по бабѣ, перетирающей на зиму стекла; начинаютъ подтапливать печи, готовить зимнія рамы. Статскій совѣтникъ Дыба ужъ закашлялъ и будетъ всю зиму закатывать, а сосѣдъ его, статскій совѣтникъ Удавъ, всю зиму будетъ удивляться, какъ это Дыбу не разорветъ, а самъ въ то же время станетъ благимъ матомъ кричать: „ахъ, батюшки, геморрой!!“

Убѣдившись, что мы не заявляемъ ни малѣйшихъ претензій на

жареная гуся, Ошмянскій повеселѣлъ и съ удовольствіемъ согласился сопровождать насъ по парку. Паркъ былъ большой и роскошный; именно такой, какіе иногда во снѣ снятся и о которыхъ на яву говорятъ: вотъ бы гдѣ жить и не умирать! Нельзя сказать, чтобъ Ошмянскій содержалъ его исправно; но такъ какъ главную его красу составляли мощныя деревья, то подъ сѣнью ихъ растительность на дорожкахъ и безъ чистки пробивалась туго. Бесѣдка была всего одна, на берегу большого пруда, но безъ портиковъ и безъ надписей. Ни насыпныхъ холмовъ, ни искусственныхъ проваловъ, ни мостиковъ, ни мостовъ, ни статуй съ отбитыми носами и руками не было. Вообще замѣчалось полное отсутствіе затѣйливости и сантиментальности; только на одной старой дуплистой березѣ были вырѣзаны французскія буквы D. S. По свидѣтельству Ошмянскаго, эти инициалы были вырѣзаны княжною и означали: Дементій Савоськинъ—имя и фамилія землемѣра, пріѣзжавшаго въ Благовѣщенское для повѣрки межъ. Савоськинъ имѣлъ черныя кудри, которыя очень холилъ, хотя начальство не разъ сажало его за нихъ на гауптвахту и стригло подъ гребенку. Княжна видѣла землемѣра только издали и никогда не молвила съ нимъ ни слова, но кудри его произвели на нее впечатлѣніе. Впрочемъ весь сердечный переполохъ, произведенный Савоськинымъ, выразился единственно въ томъ, что княжна очень осторожно узнала имя и фамилію землемѣра и нѣжнѣе нежели обыкновенно поцѣловала въ этотъ день старика-отца. Затѣмъ ушла въ дальнюю аллею, вырѣзала на березѣ завѣтныя буквы и взгрустнула...

Весь остальной день мы занимались статистикой. Ходили по крестьянскимъ дворамъ, считали скотъ и домашнюю птицу, приводили въ извѣстность способы питанія, промыслы, нравы, обычаи, но больше всего старались разузнать, можно ли разсчитывать на политическую благонадежность обывателей и на готовность ихъ отстаивать основы. Въ результатѣ изысканій оказалось слѣдующее:

Жителей въ селѣ Благовѣщенскомъ 546 душъ мужескаго пола, изъ коихъ половина въ отходѣ. Женщинъ никто не считалъ и количество ихъ опредѣляется словомъ: достаточно.

Дворовъ—123. Жители—тѣлосложенія крестьянскаго, безъ надежды на утучненіе. Домовъ, имѣющихъ видъ жилищъ и снабженныхъ исправными дворами, семь; прочія крестьянскія избы обветшали;

дворы раскрыты, ворота поломаны, плетни растасканы. Вѣроисповѣданія—обыкновеннаго.

Скотоводство и птицеводство. Лошадей въ селѣ 57; изъ нихъ 23 принадлежатъ мѣстнымъ Финагенчамъ, а 34 приходятся на остальные 116 дворовъ. Коровъ 124, изъ конхъ 26 принадлежатъ Финагенчамъ. Куръ и пѣтуховъ 205 штукъ.

Промыслы. Половина населенія уходитъ въ Москву и въ приволжскіе города, гдѣ промышляетъ по трактирной части и уплачиваетъ за все село казенные сборы. Воровъ въ селѣ считаютъ двадцать-четыре человѣка.

Торгуютъ крестьяне гвоздями, вытаскиваемыми изъ стѣнъ собственныхъ избъ, досками, выламываемыми изъ собственныхъ клѣтей и воротъ, сошниками собственныхъ сохъ, а равно находимыми на дорогѣ подковами. Всѣ сіи товары сбываются ими мѣстнымъ Финагенчамъ въ обмѣнъ на водку.

Питаніе. Жители къ питанію склонны. Любятъ говядину, свинину, баранину, кашу съ масломъ и пироги. Но способовъ для питанія не имѣютъ. А потому довольствуются хлѣбомъ и замѣняющими оный суррогатами. Нужно впрочемъ сказать, что и Финагенчи, обладающіе достаточными средствами, налегаютъ преимущественно на суровую и малопитательную ѣду, лишь бы животъ наѣдался. Самоваровъ на селѣ 8.

Правовъ и обычаевъ не имѣется, такъ какъ таковые, еще при крѣпостномъ правѣ, уничтожены, а послѣ того, за объявленіемъ воли вину, не успѣли народиться. Къ числу правовъ и обычаевъ, признаки которыхъ уже до извѣстной степени обозначились, слѣдуетъ отнести: во-первыхъ, стремленіе къ увеличенію государственнаго дохода посредствомъ посѣщенія кабаковъ, и, во-вторыхъ, правило, на основаніи котораго обыватель, взявшій весной у Финагенча полпуда муки, осенью возвращаетъ пудъ и сверхъ того, на гуляніяхъ, убираетъ ему полдесятины луга.

Политическая благонадежность обывателей безусловно хороша, чему много способствуетъ неимѣніе въ селѣ школы. О формахъ правленія не слышно; объ революціяхъ извѣстно только одно: что когда вводили уставную грамоту, то пятаго человѣка наказывали на тѣлѣ. Основы защищать—готовы.

Статистика вышла коротенькая, скудная цифровыми данными и,

можетъ быть, даже невѣрная, такъ что, по совѣсти говоря, каждый изъ насъ могъ бы написать ее, сидя гдѣ-нибудь въ Разъѣзжей и не бывши въ Благовѣщенскомъ. Да такъ вѣроятно и пишется большинство статистикъ, а публицисты дѣлаютъ изъ нихъ невѣрные выводы и пишутъ невѣрныя передовыя статьи. Вотъ почему цензурное вѣдомство и предостерегаетъ: объ одномъ не пиши, объ другомъ помолчи, а объ третьемъ совсѣмъ позабудь. Потому что писать надобно такъ, чтобы вѣрно было.

Тѣмъ не менѣе, когда прочиталъ нашу статистику Прохорычъ (у котораго мы остановились), то онъ остался такъ доволенъ, что воскликнулъ: „вѣрно! именно такъ! именно нужно нашему брату почаще подъ рубашку заглядывать!“ Но изъ чего этотъ новоявленный публицистъ вывелъ такое заключеніе—сказать не умѣю.

Въ трудахъ нашихъ по статистическимъ изысканіямъ оказывалъ существенную помощь Ошмянскій, о чемъ и считаю долгомъ здѣсь засвидѣтельствовать, принося почтеннѣйшему Лазарю Давыдовичу, отъ лица своего и своихъ товарищей, искреннѣйшую признательность за его просвѣщенное и притомъ безвозмездное содѣйствіе.

Ночью опять являлся во снѣ Глумову Стыдъ. „И даже сказалъ что-то, но вотъ хоть убей—не упомню!“ разсказывалъ мнѣ Глумовъ. Да и со мной что-то было: моментально я почувствовалъ, что меня вдругъ какъ бы обожгло. Очевидно, это было предостереженіе.

— Надо, братецъ, спѣшить!—торопилъ меня Глумовъ.

Куда спѣшить?—мы и сами, признаться, не отдавали себѣ отчета. Предпринявъ подвигъ самосохраненія и не имѣя при этомъ иного руководителя, кромѣ испуга, мы очень скоро очутились въ такомъ водоворотѣ шкурныхъ демонстрацій, что и сами перестали понимать, гдѣ мы находимся. Мы инстинктивно говорили себѣ только одно: спасаться надо! спѣшить! И безъ оглядки куда-то погружались и все никакъ не могли нащупать дна... А между тѣмъ дно было уже почти подъ ногами, сплошь вымощенное статьями уголовнаго кодекса...

Проснулись мы очень рано. Пастухъ гналъ по улицѣ стадо; бабы, растрепанныя, заспанныя, бѣжали, съ прутьями въ рукахъ, за коровами, которыя останавливались вездѣ, гдѣ замѣчались признаки какой-нибудь растительности. Пыль густымъ облакомъ стояла надъ селомъ, переливаясь радугой подъ лучами только-что всплывшаго востока. Мы направились въ паркъ: Ошмянскій очевидно еще спалъ, но

у пруда уже мелькали человѣческія фигуры. Къ величайшему нашему удивленію, это оказались Праздниковъ и Мошка. Оба, засучивъ штаны, бродили по краямъ пруда и ловили бреднемъ мелкихъ карасиковъ.

Праздниковъ — высокій, коренастый мужчина, съ громадной головой, на которой только на нижней части затылка уцѣлѣли сѣдые волосы. Прожилъ онъ на свѣтѣ восемьдесятъ годовъ, но на видъ ему можно было дать не больше шестидесяти, несмотря на безмѣрное питіе. Выраженіе его лица было почти безумное, чему впрочемъ много содѣйствовали незрячіе глаза, изъ которыхъ на одномъ уже совсѣмъ насѣлъ катарактъ, а на другомъ назрѣлъ только въ половину. Говорилъ онъ низкимъ басомъ, но съ непріятными переливами, которые обыкновенно являются слѣдствіемъ продолжительныхъ запоевъ. Щеки имѣлъ красныя, носъ жирный, разрисованный подъ мраморъ, руки —исполинскія, покрытыя волосами и синими узлами жилъ. Одѣтъ былъ въ длиннополый подрясникъ, на манеръ причетническаго, несмотря на то, что ношеніе этой одежды было ему, какъ извергнутому, воспрещено.

Мошка представлялъ совершеннѣйшій контрастъ Праздникову. Это былъ совсѣмъ мизерный человѣчекъ, крохотный, худенькій, узкоплечій, съ колючими глазками и блѣднымъ, старчески-измятымъ личикомъ. Видомъ своимъ онъ напоминалъ принущеннаго къ выводку цыпленка, котораго насѣдка-мачиха исклевала насквозь. И голосъ у него былъ отчасти дѣтскій, отчасти птичій. При первомъ же взглядѣ на него являлось убѣжденіе, что онъ голоденъ, но что, какъ его ни корми, никакая пища не пойдетъ ему впрокъ. Праздниковъ увѣрялъ, что у него внутри гнѣздо.

— Гдѣ у прочихъ желудокъ, а у него гнѣздо,—говорилъ онъ, —вотъ оно распространенія пищѣ и не даетъ.

И дѣйствительно, даже въ эту самую минуту жестокость, съ которою онъ выдиралъ запутавшуюся въ ячейкахъ бредня рыбёшку, была поразительна. Онъ дергалъ рыбу, мялъ ее, выворачивалъ ей жабры, и ежели не ѣлъ тутъ же живьемъ, то потому, что спѣшилъ какъ можно больше изловить, опасаясь, какъ бы не застигнулъ Лазарь и не отнялъ.

Увидѣвши насъ, Мошка весь затрепыхался и чуть-было не утонулъ.

— Рыбу ловите?—спросилъ я, чтобы вступить въ разговоръ.

— Да, вотъ будущаго выкреста кормить буду, — отвѣтилъ Праздниковъ:—я-то, признаться, не ѣмъ. Аппетита не имѣю—давно ужъ онъ у меня пропалъ. А у него гнѣздо внутри, такъ словно въ прорву. Наловимъ малую толику, а потомъ уйдемъ въ лѣсъ и испечемъ.

Мы легко объяснились насчетъ цѣли нашего пріѣзда въ Благовѣщенское, но когда узнали, какъ странно поступалъ въ этомъ дѣлѣ Праздниковъ, то такъ и ахнули.

— Знаете ли, чему вы за это подвергаетесь?—съ азартомъ накинулся я на него.—Что вы такое надѣлали? развѣ таковы правила, на основаніи которыхъ въ данномъ случаѣ надлежитъ поступать?

Но Праздниковъ повидимому даже не понималъ, въ чемъ дѣло.

— Какій-такій правила!—удивлялся онъ:—кабы онъ былъ человѣкъ, а то... жидъ! да и жидъ-то какой... клопъ! Мошка! раздѣвайся!

Сначала Мошка было-заметался; но фатумъ очевидно уже тяготѣлъ надъ нимъ, и онъ раздѣлся...

— Вотъ вѣдь онъ какой!—воскликнулъ Праздниковъ, ткнувъ въ него пальцемъ: — а вы о какихъ-то правилахъ толкуете... правила!

Съ этими словами онъ раздвинулъ правую пятерню и, ущемивъ Мошку за ребра между первымъ и указательнымъ перстами, поднялъ его на воздухъ.

Это было движеніе фатальное. Оттого ли, что старческая рука ослабла, или оттого, что Мошка непокойно держалъ себя „между перстовъ“, какъ бы то ни было, но тѣло его моментально выскользнуло изъ дьякопской пятерни и громко шлепнулось въ воду. Не успѣли мы опомниться, какъ злосчастный Мошка испустилъ раздирающій крикъ, затѣмъ сдѣлалъ два-три судорожныхъ движенія въ водѣ... и смолкъ...

Это была уже уголовщина.

Я взглянулъ на Глумова и встрѣтилъ и его устремленные на меня глаза. Мы поняли другъ друга. Молча пошли мы отъ пруда, по не къ дому, а дальше. А Праздниковъ все что-то бормоталъ, повидимому даже не подозрѣвая страшной истины. Дойдя до конца парка, мы очутились на полѣ. Увы! въ этотъ моментъ мы позабыли

даже о томъ. что оставляемъ позади четверыхъ вѣрныхъ товарищей...

Передъ нами лежали три сказочныя дороги: прямо, направо и налѣво...

Глава XXVII.

Замѣчательно, что разъ человѣкъ вступилъ на стезю самосохраненія, онъ становится дѣятелемъ какъ бѣсъ. Бѣжитъ во всѣ лопатки впередъ, и уже никакія ухищренія либерализма, какъ бы они ни были коварны, не остановятъ его. Подставьте ему ножку—онъ перескочитъ; устройте на пути заборъ—перелѣзетъ; киньте поперекъ рѣку—переплыветъ; воздвигните крѣпостную стѣну—прошибетъ лбомъ.

Около полдёнъ мы были уже въ Бѣжецкѣ...

Насъ самихъ это изумило. Вотъ уже третій городъ Тверской губерніи, въ который бросаетъ насъ судьба. Зачѣмъ? Не хочетъ ли она дать намъ почувствовать, что мы посланы въ міръ для того, чтобъ издать статистическое описаніе городовъ Тверской губерніи? Вѣдь существуетъ же мнѣніе, что всякій человѣкъ съ тѣмъ родится, чтобъ какую-нибудь задачу выполнить. Одинъ — для того, чтобъ опустошить огнемъ и мечомъ; другой—для того, чтобъ опустошенное возстановить; третій наконецъ для того, чтобъ написать статистическое описаніе города Череновца. Я лично зналъ человѣка, который съ отличіемъ окончилъ курсъ наукъ, и потомъ двадцать лучшихъ лѣтъ жизни слонялся по архивамъ, преодолѣвалъ всякія препятствія, выслушивалъ отъ архиваріусовъ колкости—и въ концѣ концовъ издалъ сочиненіе подъ названіемъ: „Родъ кунцовъ Голубятниковыхъ“. И въ тотъ самый день, когда былъ выданъ изъ цензурнаго комитета билетъ на выпускъ книги, умеръ. Или, говоря другими словами, все земное совершилъ.

Какъ бы то ни было, но я рѣшительно уклонился отъ осмотра бѣжецкихъ достопримѣчательностей и убѣдилъ Глумова прямо отправиться на станцію желѣзной дороги, съ тѣмъ чтобы съ первымъ же поѣздомъ уѣхать въ Петербургъ. Однакожъ и на этотъ разъ случилось обстоятельство, которое удержало насъ въ прежней фантастической обстановкѣ.

Въ станціонномъ залѣ мы нашли многочисленную компанію, ко-

торая ѣла, пила и вела шумную бесѣду. По объясненію буфетчика, компанію составляли представители весьёгонской интеллигенціи, которые устроили кому-то проводы. Не успѣли мы проглотить по рюмкѣ водки, какъ начались тосты. Застучали стулья, пирующіе встали, и одинъ изъ нихъ звонко и торжественно провозгласилъ:

— За здоровье нашего русскаго Гарибальди!

Мы невольно обернулись и—можете себѣ представить нашъ испугъ! — въ самомъ челѣ стола, въ роли виновника торжества, увидѣли... Ределю!

Трудности египетскаго похода нимало не измѣнили его *). По-прежнему лицо его было похоже на улыбающійся фаршированный сычугъ; попрежнему отливала глянцемъ на солнышкѣ его лысина и весело колыхался овальный животъ; попрежнему губы припухли отъ безпрерывнаго закусыванія, а глаза подергивались мечтательностью при первомъ намекѣ объ ѣдѣ. Словомъ сказать, попрежнему все въ немъ было такъ устроено, чтобъ никому въ цѣломъ мірѣ не могло придти въ голову, что этотъ человѣкъ многія царства разорилъ, а прочія совсѣмъ погубилъ...

Разумѣется, мы сейчасъ же присоединились къ сонму чествователей...

Въ два слова Ределя разсказалъ намъ свои похожденія. „Дѣло Араби-паши не выгорѣло. Это ему Ределя на первомъ же смотру предсказалъ. — Представьте себѣ, вывели на смотръ войско, а оно три дня не ѣвши; мундирчики—въ лохмотьяхъ, подметки—изъ картонной бумаги, ружья — кремневыя, да и кремней-то нѣтъ, а вмѣсто нихъ чурки, выкрашенныя подъ кремень. „Повѣришь ли, говоритъ Араби: — все было: и сухари, и мундиры, и ружья — и все интендантскіе чиновники разворовали!“ —Да позволь, говорю, мнѣ хоть одного, для примѣра, повѣсить! — „Нельзя, говоритъ, закона нѣтъ!“ — Это въ военное-то время... законъ!! Впрочемъ и это бы еще ничего, а вотъ что ужъ совсѣмъ худо: выправки въ войскѣ нѣтъ. Имъ командуютъ: „ребята, впередъ!“—а они: „у насъ, ваше благородіе, сапогъ нѣтъ!“ — Ну, натурально, стали отступать. Отступали-отступали, наконецъ, смотрю: гдѣ войско?—нѣтъ никого!—На силу

*) Напоминаю читателямъ, что Ределя — странствующій полководецъ, который только-что воевалъ въ Египтѣ, по приглашенію Араби-паши.

удралъ...—А теперь Редедя возвращается изъ поѣздки по Весьёгонскому уѣзду, куда былъ приглашенъ мѣстной интеллигенціей для чествованія, въ качествѣ русскаго Гарибальди.

— Да здравствуетъ русскій Гарибальди!—крикнули въ одинъ голосъ весьёгонскіе интеллигенты.

Они имѣли видъ восторженный. Будучи отъ природы сжигаемы внутреннимъ пламенемъ и не находя поводовъ для его питанія въ предѣлахъ Весьёгонскаго уѣзда, они невольно переносили свои восторги на предпріятія отдаленныя, почти сказочныя, и съ помощью воображенія успѣвали обмануть себя. Даже теперь, въ виду несомнѣннаго пораженія Редеди, они не лишали его довѣрія и продолжали уповать, что когда-нибудь онъ ихъ разутѣшитъ. И вотъ, обездоленные всевозможными бреднями и антибреднями, они не задумываются на послѣдніе гроши выписать Редедю, чтобы хотя по поводу египетскихъ дѣлъ излить ту полноту чувства, которая не нашла себѣ удовлетворенія ни въ вопросѣ о заготовленіи бѣлья для земскихъ больницъ, ни въ вопросѣ объ установленіи на мостахъ и переправахъ однообразныхъ и необременительныхъ таксъ...

Они не производятъ ни плисовъ, ни миткалей; поэтому открытіе пути въ Индію отнюдь не можетъ непосредственно ихъ интересовать. Но они испытываютъ адскую скуку, и вслѣдствіе этого Редедя, который всю жизнь тормошился и никогда не унывалъ, вызываетъ въ нихъ восторгъ. Стало быть, не все еще затянуло болото; стало быть, есть еще возможность о чемъ-то думать, на что-то тратить силы, помимо распредѣленія пунктовъ для содержанія земскихъ лошадей... И вотъ они жадно вглядываются въ это смутное „нѣчто“ и вопіютъ: „да здравствуетъ нашъ русскій Гарибальди!“

— Прогоны-то получилъ ли?—озаботился за Редедю Глумовъ.

— Прогоны мнѣ Арабп-паша въ оба конца впередъ уплатилъ, равно какъ и полугодовое жалованье невзачетъ,—отвѣтилъ Редедя: —ну, а порціоны, должно быть, придется на томъ свѣтѣ угольками получить.

— Ахъ, Полканъ Самсонычъ, Полканъ Самсонычъ! когда-то угомонишься ты!

Оказалось, что онъ угомонится лишь тогда, когда покоритъ подъ нозъ торгаша-англичанина, который у него „вотъ гдѣ сидитъ“.

— Да на какой тебѣ его ладъ...—началъ-было Глумовъ, но

весьёгонцы такъ на него окрысились, что онъ счелъ болѣе благоразумнымъ умолкнуть.

Изъ послѣдующаго разговора выяснилось, что Ередя ненавидѣлъ англичанина, во-первыхъ, за то, что онъ торгашъ и возвышенныхъ чувствъ не имѣетъ, а во-вторыхъ за то, что онъ препятствуетъ сбыту московскихъ плисовъ и миткалей и тѣмъ замедляетъ разрѣшеніе Восточнаго вопроса. Но существовало, сверхъ того, обстоятельство, затрогивавшее Ередю лично. Еще будучи кадетомъ, онъ купилъ однажды перочинный ножичекъ, на лезвіѣ котораго было выштамповано: „аглицкой“, а черезъ два дня этотъ ножичекъ сломался —„вотъ вамъ доказательство“! А послѣ того онъ сталъ покупать завьяловскіе ножички, и они ломаются—„вотъ вамъ другое доказательство“! Съ тѣхъ поръ и стало въ немъ накапливаться: то платокъ „аглицкой“ полиняетъ, то сукно „аглицкое“ окажется съ пятнами. И теперь у него такой проектъ: пробраться съ горстью храбрецовъ въ Индію и уговорить тамошнихъ вассальныхъ державцевъ свергнуть постыдное англійское иго. Съ этою цѣлью онъ спѣшитъ теперь въ Кашинъ, гдѣ у него назначено свиданіе съ мѣстными винодѣлами, а изъ Кашина проѣдетъ въ Москву, гдѣ ужъ все на мази. Въ Москвѣ купитъ географію Смирнова, и по первопуткѣ, черезъ Саратовъ, Кандагаръ и Кашемиръ, укатитъ, прямо въ то самое мѣсто, гдѣ раки зимуютъ.

— Мѣста-то какія: Кашемиръ, Гюллистанъ! —восклицаетъ онъ, играя животомъ. —Женщины-то какія! „Груди твои какъ два бѣлыхъ козленка! лоно твое“... ффу!

Однимъ словомъ, такъ всѣхъ встревожилъ, что разгорячennые весьёгонцы хоромъ грянули: *Вотъ мчится тройка удалая!*—а Глумовъ поцѣловалъ виновника торжества въ лысину и взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— Пошли тебѣ Богъ!—признаться сказать, не чаялъ я, чтобѣ развязка была такъ близка; ну, а теперь вижу...

Разговорились, конечно, и объ Египтѣ. Любопытнѣйшая страна. Каждый годъ въ ней происходитъ разлитіе Нила, и когда вода спадетъ, то образуется почва, въ которую стоитъ только зерно бросить, а потомъ только знай поспѣвай собирать. Собственно египтяне представляютъ собою аристократію и исповѣдуютъ магометанство, а чернядь—феллахи, которые исповѣдуютъ все, что велятъ. Въ древности

страной правили фараоны, а теперь правятъ хедивы, которые платятъ дань султану турецкому, но постоянно съ нимъ пикируются. При фараонахъ воздвигнуты были пирамиды и обелиски, при хедивахъ ничего не воздвигнуто. Одинъ изъ фараоновъ погибъ въ Красномъ морѣ, преслѣдуя евреевъ, и Редедя лично то мѣсто осматривалъ. Старожилы разсказываютъ, что встарину здѣсь, полѣвѣе, бродъ былъ, а фараонъ ошибся, взялъ вправо, да такъ съ колесницей и ухнулъ. Но главное украшеніе и надежду Египта составляютъ крокодилы. Способнѣйшихъ изъ нихъ назначаетъ хедивъ губернаторами въ дальнія провинціи: Дарфуръ, Суданъ и т. д. А такъ какъ крокодилы въ Египтѣ плодятся безпрепятственно, то и недостатка въ кандидатахъ на губернскія мѣста никогда не бываетъ, чему многія иностранныя государства завидуютъ.

— Ну, а ѣда въ Египтѣ какова? — полюбопытствовалъ Глумовъ.

— Ѣда средственная. Феллахи — тѣ ящерицами питаются; а градоначальники и военачальники хоть и сладко жрутъ, но все пальцами. И непремѣнно поджавши ноги.

— Тсс...

— Зато по женской части — малина! Не успѣешь, бывало, мигнуть ординарцу: какъ бы, братецъ, баядерочку промыслить — глядь, а ужъ она, бестія, тутъ какъ тутъ! Тѣло смуглое, точно постнымъ масломъ вымазанное, груди — какъ голенища, а въ рукахъ — бубенъ! „Эй, жги, говори!“ — ни дать, ни взять, какъ въ Москвѣ, въ Грузинахъ.

Изъ закусокъ въ Египтѣ только сардинки и можно ѣсть. Сельди — съ запашкомъ, а икры да балыка ни за какія деньги достать нельзя. Финансовъ тамъ и въ заводѣ нѣтъ; рублей не видать, а водятся полтинники, да и тѣ смахиваютъ на четвертаки. Такъ что приходится занимать солдатъ усиленнымъ моціономъ, чтобы они забыли объ жалованьи. Торговля ведется исключительно сфинксами и муміями, а много ли ими наторгуешь? Судовъ — нѣтъ, а вмѣсто нихъ правило: сколько заслужилъ, столько и получи! Равнымъ образомъ нѣтъ ни наукъ, ни литературы, а слѣдовательно нѣтъ и превратныхъ толкованій. Упованій у египтянъ тоже нѣтъ, кромѣ одного: когда русскіе выгонятъ торгашей-англичанъ изъ Индіи, тогда и они поправятся. А почему и въ какомъ смыслѣ „поправятся“ — неизвѣстно.

Извѣстно только, что каждый разъ, какъ онъ, Редедя, развивалъ свои предположенія относительно Индіи, то даже крокодилы — и тѣ плакали.

Много и кромѣ этого любопытнаго разсказалъ Редедя про Египетъ, но иногда почему-то сдавалось, что онъ словно не объ Египтѣ, а объ Весьёгонскомъ уѣздѣ разговариваетъ. Напримѣръ: и весьёгонцамъ хочется Индію подъ нозѣ покорить, и египтянамъ—тоже, а зачѣмъ—ни тѣ, ни другіе не знаютъ. Или: и въ Египтѣ насчетъ недоимокъ строго, и въ Весьёгонскомъ уѣздѣ строго, а денегъ ни тутъ, ни тамъ—нѣтъ.

Чѣмъ-то фантастическимъ отдавало отъ этихъ разсказовъ, а мы, все-таки, слушали и наматывали себѣ на усъ. Что такое Редедя? откуда онъ вышелъ? въ силу чего мечется? дѣйствительно ли онъ додумался до какой-то задачи, или же задача свалилась къ нему зря? а можетъ быть и не задача совсѣмъ, а просто, какъ говорится, восца. Или, можетъ быть, сказокъ онъ въ дѣтствѣ начитался, какъ Иванушко-дурачокъ жаръ-птицу добывалъ, на саночкахъ-самокаточкахъ ѣздилъ, на коврѣ-самолетѣ леталъ. Ну, и пошелъ по слѣдамъ. Глумовъ даже не утерпѣлъ, чтобъ не формулировать этихъ догадокъ.

— Слушаю я тебя, голубчикъ,—сказалъ онъ:—да только диву даюсь. Такъ ты говоришь, такъ говоришь, что другому, кажется, и словъ-то такихъ не подобрать... Точно ты изъ тьмы кромѣшной выбѣжалъ, и вдругъ тебя ослѣпило... И съ тѣхъ поръ ты ни устоять, ни усидѣть не можешь...

— И не усижу,—твердо отвѣтилъ Редедя:—покуда хоть одинъ горганъ-англичанинъ останется въ Индіи—не усижу!

А весьёгонцы слушали эти рѣчи и плескали руками. И кричали: „браво, русскій Гарибальди! живіо! урраaa!“ А одинъ, помоложе, даже запѣлъ: „allons, enfans de la patrie“...

Плескали руками и мы съ Глумовымъ, во-первыхъ, потому, что попробуй-ка въ семъ разѣ не поплескать—какъ разъ въ измѣнники попадешь, а во-вторыхъ и потому, что, въ сущности, это была своего рода беллетристика, а до беллетристики всѣ мы, грѣшнымъ дѣломъ, падки. И Глумовъ очень чутко выразилъ общее настроеніе, сказавъ:

— Шествуй, братъ! такая ужъ, видно, у тебя планида... Но географію Смирнова все-таки купи, потому что въ противномъ слу-

чаѣ, подобно древнему фараону, заѣдешь вправо, и тогда помнпай какъ звали!

Разговоръ этотъ, вмѣстѣ съ возгласами и перерывами, длился не болѣе часа, а все, что̀ можно было сказать, было̀ уже исчерпано. Водворилось молчаніе. Сначала одинъ зѣвнулъ, потомъ—всѣ зазѣвали. Однакожъ сейчасъ же сконфузились. Чтобы поправиться, опять провозгласили тостъ: „за здоровье русскаго Гарибальди!“—и стали цѣловаться. Но и это заняло не больше десяти минутъ. Тогда кому-то пришла на умъ счастливая мысль: потребовать чаю.—и всѣ помыслы мгновенно перенеслись къ Китаю.

— Вотъ бы намъ куда!—молвилъ одинъ изъ весьёгонцевъ.

— Ужъ мы одной ногой—тамъ-съ! а современемъ и другой ногой будемъ-съ! — обнадежилъ Ередя, и при этомъ сообщилъ, что китайцы производятъ торговлю чаемъ, фарфоромъ и тушью, а питаются птичьими гнѣздами.

Опять водворилось молчаніе. Вдругъ одинъ изъ весьёгонцевъ началъ ожесточенно чесать себѣ поясницу, и на лицѣ его такъ ясно выступила мысль о персидскомъ порошкѣ, что я невольно подумалъ: вотъ-вотъ сейчасъ пойдетъ рѣчь о Персіи. Однакожъ онъ только покраснѣлъ и промолчалъ; должно быть, посовѣстился, а можетъ быть и чесаться больше ужъ не требовалось.

Пользуясь этою передышкой, я сѣлъ на дальнюю лавку и задремалъ. Сначала видѣлъ во снѣ „долину Кашемира“, потомъ—„розу Гюлистана“, потомъ — „груди твои какъ два бѣлыхъ козленка“, потомъ—пріѣхалъ, будто бы, я въ Весьёгонскъ, и не знаю, куда оттуда бѣжать, въ Устюжну или въ Череповецъ... И вдругъ меня кольнуло. Открываю глаза, смотрю... Стыдъ!! Не бичующій и даже не укоряющій, а только какъ бы недоумѣвающій. Но одного этого „недоумѣнія“ было достаточно, чтобъ мнѣ сдѣлалось невыносимо жутко.

Цѣлая масса вопросовъ вдругъ закружилась въ моей головѣ. Какъ будто я только сейчасъ проснулся послѣ долгаго сна, наполненнаго безобразнѣйшими сновидѣніями. Сновидѣнія эти стояли передо мной какъ живыя, со всѣми живыми подробностями, почти доступными осязанію; и такъ какъ они воплощали собой вчерашній день, то я не только отказаться отъ нихъ, но и усомниться въ ихъ подлинности не могъ. Но и за всѣмъ тѣмъ я не понималъ. Я отдавалъ себѣ вполнѣ ясный отчетъ въ фактической сторонѣ этихъ сновидѣній:

въ какой формѣ они зародились, какъ потомъ перешли черезъ цѣлую свиту лицъ, городовъ, мѣстностей (Иванъ Тимофеичъ, Балалайкинъ, Очищенный, Корчева, Самаркандъ и т. д.), но какую связь имѣли эти измѣненія формъ съ моимъ внутреннимъ существомъ, съ моимъ сознаніемъ—этого я никакъ прослѣдить не могъ. Очевидно, я жилъ подъ вліяніемъ какого-то страшнаго нравственнаго угнетенія, которое низводитъ человѣка на степень автомата. Я помнилъ, что познакомился съ Парамоновымъ, съ Прудентовымъ, съ Ределей, что былъ въ Корчевѣ, въ Кашинѣ, но въ силу чего я сдѣлалъ эти знакомства и совершилъ эти путешествія—я не могъ понять. Очевидно, что даже теперь, въ эту минуту, я былъ угнетенъ. И чувствовалъ, что у меня замираетъ сердце, что все мое существо переполнено смутной тревогой и что глаза мои почти инстинктивно избѣгаютъ встрѣчи съ посторонним взоромъ...

Такъ подѣйствовала на меня встрѣча съ Стыдомъ.

— За здоровье русскаго Гарибальди! живіо! урраа!—опять и опять грянуло въ моихъ ушахъ.

Стулья на этотъ разъ усиленно застучали. Въ залѣ произошло общее движеніе. Дорожный телеграфъ далъ знать, что поѣздъ выѣхалъ съ сосѣдней станціи и черезъ двадцать минутъ будетъ въ Бѣжецкѣ. Въ то же время въ залу ворвалась кучка новыхъ пассажировъ. Поднялась обычная дорожная суета. Спѣшили брать билеты, закусывали, выпивали. Стыдъ—скрылся. Мы съ Глумовымъ простились съ Ределей и выбѣжали на платформу. Какъ вдругъ мой слухъ поразилъ разговоръ:

— На самомъ, значитъ, мелкомъ мѣстѣ, — разсказывала одна чуйка другой:—только рыло и окунули, даже затылка не замочили!..

— Подохъ?

— Тутъ же и пузыри сталъ пущать. Дьяконъ-то, вишь, слѣпой: стоитъ да бормочетъ, а ихъ и слѣдъ простылъ!

— Сколь много нонѣ этой пакости завелось! Безпремѣнно это дѣло разъяснить надо!

— Товарищей ихнихъ и теперь за караулъ взяли. Четверо. И баба съ ними увязалась. Сегодня же всѣхъ въ Кашинъ отправили. А за тѣми, за двоими, во всѣ концы гонцовъ разослали...

Мы съ Глумовымъ стояли другъ противъ друга и безмолвно прислушивались.

— Начинается!—наконецъ произнесъ я.

— И какая, братецъ, это съ моей стороны была гадость!—отвѣчалъ онъ:—даже объ Фанпушкѣ позабылъ... убѣжалъ!

— Послушай... а вѣдь намъ въ Кашинъ ѣхать надо! — предложилъ я.

— И непремѣнно вмѣстѣ съ Ределею, — прибавилъ Глумовъ. —И его будутъ искать, и Балалайкина, и Прудентова... всѣхъ!

— Ты думаешь, стало быть, что теперь *все*... *вся* дѣла наши должны обнаружиться?

— Непремѣнно *вся*. И я увѣренъ, что и Иванъ Тимофеичъ, и Прудентовъ, и Балалайкинъ—*вся* непремѣнно соберутся въ Кашинѣ. Вотъ увидишь. Что такое сама по себѣ смерть жида? Это одинъ изъ эпизодовъ современныхъ вѣяній—и больше ничего. Не этотъ фактъ важенъ, а то, что времена назрѣли. Остается пропѣть заключительный куплетъ и раскланяться.

Я слушалъ Глумовскія предсказанія и сопоставлялъ ихъ съ недавнимъ появленіемъ Стыда. И чѣмъ болѣе я думалъ надъ этимъ, тѣмъ больше находилъ связи, тѣмъ больше убѣждался, что времена дѣйствительно созрѣли.

Въ два слова мы объяснили Ределѣ о тяжкомъ подозрѣніи, котораго мы безвинно сдѣлались жертвами. Но онъ выслушалъ насъ съ обычнымъ своимъ легкомысліемъ и повидимому даже не разобралъ, въ чемъ дѣло.

— Жида утопили! — воскликнулъ онъ: — и испугались! да я ихъ массами... массами... плотину изъ нихъ въ Западной Двинѣ...

Тройка, долженствовавшая увезти его въ Кашинъ на совѣщаніе съ винодѣлами, уже съ часъ ожидала у подъѣзда. Еще разъ провозгласили тостъ—послѣдній—и черезъ десять минутъ мы уже были за стѣнами Бѣжецка.

Глава XXVIII.

Но здѣсь я обращаюсь къ снисходительности читателя.

Я долженъ кончить съ этой исторіей, хоть скомкать ее, но кончить. Я самъ не разсчитывалъ, что слово: „конецъ“, напишется такъ скоро и предполагалъ провести моихъ героевъ черезъ всѣ мытарства, составляющія естественную обстановку карьеры самосохраненія. Не

знаю, сладилъ ли бы я съ этой сложной задачей; но знаю, что долженъ отказаться отъ нея и на скорую руку свести концы съ концами.

Во все продолженіе моей литературной дѣятельности я представлялъ собою утопающаго, который хватается за соломенку. Покуда соломенки были, я кое-какъ держался; но какъ скоро нѣтъ и соломенокъ—ясное дѣло, что приходится утонуть.

Я надѣюсь, что читатель отнесется ко мнѣ снисходительно. Но ежели бы онъ напомнилъ мнѣ объ отвѣтственности писателя передъ читающей публикой, то я отвѣчу ему, что отвѣтственность эта взаимная. По крайней мѣрѣ я совершенно искренно убѣжденъ, что въ большемъ или меньшемъ пониженіи литературнаго уровня читатель играетъ очень существенную роль.

Мысль о солидарности между литературой и читающей публикой не пользуется у насъ кредитомъ. Какъ-то черезъ-чуръ охотно предоставляютъ у насъ писателю играть роль вьючнаго животнаго, обязаннаго нести бремя всевозможныхъ отвѣтственностей. Не сдается, что недалеко время, когда для читателя само собой выяснится, что добрая половина этого бремени должна пасть и на него.

Впрочемъ это матерія пространная, и рѣчи объ ней должны быть пространныя...

Вкратцѣ наши дальнѣйшія похожденія заключались въ слѣдующемъ:

Пріѣхавши въ Кашинъ, мы немедленно отъявились къ Ивану Ивановичу. Но послѣдній, похваливъ насъ за то, что мы не обѣгаемъ кашинскаго суда, объявилъ, что насъ уже ищутъ. И не по одному только дѣлу объ утопленіи жида, но и по всѣмъ вообще содѣяннымъ нами въ разное время и въ различныхъ мѣстахъ преступленіямъ. Ищутъ также и Редедю, который обвиняется въ сношеніяхъ съ египетскими агитаторами и въ распространеніи вредныхъ мечтаній въ средѣ московскихъ ситцевыхъ фабрикантовъ. Для опознанія нашихъ личностей въ Кашинъ привезенъ подъ карауломъ одинъ изъ вреднѣйшихъ злоумышленниковъ (не Иванъ ли Тимофеичъ? мелькнуло у меня въ головѣ), который уже имѣлъ очной сводъ съ пойманными въ селѣ Благовѣщенскѣ четверыми сообщниками нашими, и послѣдніе во всемъ чистосердечно признались. Затѣмъ остается сдѣлать такой же очной

сводъ съ нами, и насъ завтра же увезутъ, за карауломъ, на судьбище въ Петербургъ.

И такъ какъ у Ивана Иваныча, въ минуту нашего посѣщенія, собралась партія въ винтъ, и между винтящими оказался и прокуроръ, то насъ, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, отправили въ острогъ. Тамъ мы нашли, кромѣ товарищей по путешествію, еще Ивана Тимофеича, который, какъ увидѣлъ насъ, сейчасъ же воскликнулъ:—Они самые и есть!—Очной сводъ былъ конченъ.

Въ Петербургѣ насъ судили. Прокуроръ произнесъ блестящую рѣчь, изъ которой я приведу лишь то, что̀ касалось меня и Глумова. Мы оба обвинялись въ однихъ и тѣхъ же преступленіяхъ, а именно: 1) въ тайномъ сочувствіи къ превратнымъ толкованіямъ, выразившемся въ тѣхъ уловкахъ, которыя мы употребляли, дабы сочувствіе это ни въ чемъ не проявилось; 2) въ сочувствіи къ мечтательнымъ предпріятіямъ вольнонаемнаго полководца Редеди; 3) въ томъ, что мы поступками своими вовлекли въ соблазнъ полицейскихъ чиновъ литейной части, послѣдствіемъ какового соблазна было со стороны послѣднихъ бездѣйствіе власти; 4) въ покушеніи основать въ Самарканде университетъ и въ подговорѣ къ тому же купца Парамонова; 5) въ томъ, что мы, зная силу законовъ, до нерасторжимости браковъ относящихся, содѣйствовали совершенію брака адвоката Балалайкина, при живой женѣ, съ кунчихой Фанной Стёгнушкиной; 6) въ томъ, что мы, не участвуя лично въ написаніи подложныхъ векселей отъ имени содержательницы кассы ссудъ Матрены Очищенной, не воспрепятствовали таковому писанію, хотя имѣли полную къ тому возможность; 7) въ томъ, что, будучи на постояломъ дворѣ въ Корчевѣ, занимались сомнительными разговорами и, между прочимъ, подстрекали мѣщанина Красноцвѣтова къ возмущенію противъ купца Вздошникова; 8) въ принятіи отъ купца Парамонова счета, подъ названіемъ „Жизнеописаніе“, и въ несвоевременномъ его опубликованіи и 9) во всемъ остальномъ.

Къ нашему счастью, обвинитель слишкомъ увлекся щегольскою стороной своей задачи и потому былъ черезъ-чуръ ужъ блестящъ. Онъ въ особенности настаивалъ на девятомъ пунктѣ обвиненія: а такъ какъ этотъ пунктъ требовалъ абсолютной свободы краснорѣчія, то мало-по-малу обвинитель дѣйствительно освободилъ себя отъ всѣхъ узъ, кромѣ мундира. Фактическая сторона не только отодвинулась на зад-

ній планъ, но совсѣмъ исчезла. Образовалась картина, въ которой, сверхъ грома и молніи, было еще землетрясеніе. А такъ какъ надъ землетрясеніями человѣческій судъ не властенъ, то вышло пустое дѣло.

Мы защищались сами и, могу сказать съ гордостью, вели это дѣло очень ловко. Прокурорскому землетрясенію мы противопоставили чистосердечный и трогательный разсказъ о нашемъ обращеніи на путь самосохраненія. Мы не отрицали, что грѣшки за нами водились. Мы даже прямо сознались, что, будучи воспитаны въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, мы охотно поддавались обольщеніямъ разума, но въ то же время самымъ убѣдительнымъ образомъ доказали, что обольщенія эти были своевременно нами поняты и вполнѣ искуплены послѣдующимъ нашимъ поведеніемъ. Такъ что дѣйствія, которыя составляютъ, такъ сказать, ядро обвиненія, не только не обвиняютъ насъ, а, напротивъ, оправдываютъ и обѣляютъ. Не для сокрытія вреднаго образа мыслей предприняли мы знакомство съ Кшешницюльскимъ, Прудентовымъ, Очищеннымъ и проч., а для того, чтобы засвидѣтельствовать передъ цѣлымъ міромъ о нашей зрѣлости и готовности. Мы не хитрили и не разставляли ловушекъ полицейскимъ чинамъ, и объятія, которыя мы раскрывали имъ, не были лжеобъятіями. Но ежели и за всѣмъ тѣмъ въ дѣйствіяхъ нашихъ усматривается что-либо сомнительное, то это произошло единственно отъ неопытности и отъ недостатка руководящихъ указаній.

— Подобно утлому челну,—говорилъ прерывистымъ отъ волненія голосомъ Глумовъ,—носились мы, безъ кормила и весла, по волнамъ, и только звѣзды небесныя взирали на насъ съ высоты. Невинность, сказалъ гдѣ-то безсмертный Шекспиръ, подобна пустой бутылкѣ, которую можно наполнить какимъ угодно содержаніемъ. Вотъ эту-то пустую бутылку и представляли мы собой, ибо хотя первоначальная невинность и была нами утрачена, но обращеніе наше на путь возрожденія подарило насъ второю невинностью, еще болѣе прочною, нежели первая. Но напрасно протягивали мы нашу пустую бутылку для наполненія—мы вынуждены были наполнять ее сами, подъ личною отвѣтственностью, чѣмъ придется. Мы раскрывали объятія, а намъ устраивали западни; мы устремлялись въ лоно, а попадали... въ гущу! Можно ли вообразить себѣ зрѣлище болѣе потрясающее! Вы видѣли здѣсь Кшешницюльскаго, господа судьи! видѣли только въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, откуда онъ далъ показаніе... А мы не только

видѣли его, но играли съ нимъ цѣлые мѣсяцы въ карты... единственно для того, чтобы доказать нашу зрѣлость! И онъ сдавалъ игры, при которыхъ объявлявшій игру въ самомъ счастливомъ случаѣ оставался безъ двухъ... Вотъ элементы, которые испытывали насъ и на глазахъ которыхъ совершалось наше возрожденіе... Но и за всѣмъ тѣмъ рѣшимость наша не только не поколебалась, но росла съ каждымъ днемъ больше и больше...

Я же, съ своей стороны, присовокупилъ, что хотя обвиненіе и ставитъ намъ въ преступленіе подстрекательство купца Парамонова къ основанію заравшанскаго университета, но изъ обстоятельствъ дѣла ясно усматривается, что Парамоновъ рѣшился на этотъ поступокъ совсѣмъ не вслѣдствіе нашего подговора, а потому, что мѣщане вообще, по природѣ своей, горазды основывать университеты.

Такимъ образомъ политическая часть процесса была очищена. Что же касается до части общеуголовной, то намъ ничего не стоило доказать, что со стороны Балалайкина не только не существовало самаго факта двоеженства, но даже не было и приготовленій къ этому, такъ какъ ни покупка для Балалайкина халата, ни приглашеніе братьевъ Перекусихиныхъ, ни ужинъ въ кухмистерской Завитаева, ни въ какомъ смыслѣ преступленіями названы быть не могутъ. Равнымъ образомъ не было и участія въ составленіи подложныхъ векселей, такъ какъ не существовало самаго факта написанія, а было только *упражненіе* въ таковомъ, причемъ бумага со столбиками была употреблена не съ намѣреніемъ, а по неимѣнію въ городѣ Корчевѣ другой. Затѣмъ о случаѣ смерти жида Мошки мы даже распространяться не стали. Былъ жидъ—и нѣтъ его. А гдѣ теперь витаетъ душа его, и даже безсмертна ли она—намъ неизвѣстно.

Словомъ сказать, мы вышли изъ суда обѣленными, при общемъ сочувствіи собравшейся публики. Мужчины поздравляли насъ, дамы плакали и махали платками. Вмѣстѣ съ нами признаны были невинными и прочіе наши товарищи, исключая впрочемъ Ределя и „Корреспондента“. Первый, за распространеніе вредныхъ мечтаній въ средѣ ситцевыхъ фабрикантовъ, былъ присужденъ къ заключенію въ смирительный домъ; послѣдній, за написаніе, въ „Проплёванной“, фельетона о „негодяѣ“—къ пожизненному трепету.

Но настоящій успѣхъ ждалъ насъ впереди. На другой день насъ посѣтилъ извѣстный меценатъ и мануфактуръ-совѣтникъ Кубышкинъ

и сдѣлалъ намъ самыя лестныя предложенія. Замѣтивъ въ насъ наклонность къ здравомыслію и желая воспользоваться этою способностью въ видахъ распространенія собственной фабрики ситцевъ и миткалей, онъ задумалъ основать собственный Кубышкинскій литературно-политическій органъ, который проводилъ бы его, Кубышкинскія, идеи. Сущности этихъ идей онъ намъ не раскрылъ, но показалъ образчикъ ситцевъ (тутъ были и „веселенькіе“ для молодыхъ, и „сурьезные“ для старухъ), и при этомъ такъ характеристично погладилъ бороду и щелкнулъ языкомъ, что мы и безъ объясненій поняли. Газета предполагалась ежедневная и должна была появляться часомъ раньше, нежели прочія газеты. Гонораръ намъ будетъ назначенъ „глядя по дѣлу“, причемъ, конечно, онъ насъ „не обидитъ“. Но сверхъ гонорара намъ предоставлялось по воскресеньямъ имѣть у Кубышкина обѣденный столъ, „наравнѣ съ генералами“. Писать и редактировать статьи мы вольны по своему усмотрѣнію. Кубышкинъ же будетъ только направлять и вдохновлять насъ. Вспомнили и объ Редедѣ, которому предоставлялось присылать изъ смирительнаго дома статьи по Восточному отдѣлу. Что же касается до отдѣла: „Нашъ петербургскій high life“, то веденіе его возлагалось на Очищеннаго. Съ этою цѣлью ему купили въ Апраксиномъ хорошую фрачную пару и нѣсколько паръ бѣлыхъ нитяныхъ перчатокъ и наняли отъ Бореля татарина, который въ нѣсколько уроковъ выучилъ его, какъ держать въ рукахъ подносъ. Одному „Корреспонденту“ не нашлось мѣста въ газетѣ, но тутъ ужъ ничего нельзя было подѣлать, потому что Корреспондентъ“ Морозовскіе ситцы предпочиталъ Кубышкинскимъ, и ни онъ, ни Кубышкинъ не соглашались ни пяди уступить изъ своихъ убѣжденій.

Разумѣется, мы съ радостью приняли всѣ эти условія и сейчасъ же придумали для газеты названіе: „Словесное Удобреніе“.

Черезъ мѣсяцъ вышелъ въ свѣтъ первый нумеръ „Удобренія“, и такъ какъ газета появлялась ежедневно часомъ раньше другихъ, то, натурально, всѣ кухарки, идучи на рынокъ, запасались ею.

Статьи о томъ, что всякое время имѣетъ свою особую задачу и что задача эта должна быть выполнена, хоть бы сущность ея и противорѣчила требованіямъ строгой нравственности—это мы писали. Статьи о томъ, что съ одной стороны всего у насъ довольно, а съ другой—ничего у насъ нѣтъ,—тоже мы писали. Статьи о томъ, что всѣ ино-

странные ситцы и миткали слѣдуетъ безусловно къ ввозу запретить, а наши ситцы и миткали, нагрузивъ на подводы, везти куда глаза глядятъ—тоже мы. Статьи о томъ, что мыслить не воспрещается, но *какъ мыслить*?—мы. Страннымъ образомъ заботы о благоустройствѣ и благочиніи переплетались у насъ съ заботами о ситцахъ и миткаляхъ, такъ что успѣхъ или неуспѣхъ послѣднихъ являлся какъ бы указателемъ того или другого уровня благочинія. Скажу болѣе: такъ какъ ситцы представляли кульминаціонный пунктъ, подъ сѣнію котораго ютились всѣ надежды и упованія „Удобренія“, то по временамъ мы не прочь были даже допустить вмѣшательство потрясательныхъ элементовъ, лишь бы пристроить ситцы. И именно ситцы Кубышкинскіе. Идя по этому пути и постепенно разъярясь, мы дошли наконецъ до какого-то проницающаго пафоса. Не довольствуясь изгнаніемъ съ внутреннихъ рынковъ иностранныхъ ситцевъ, мы требовали такой же проскрипціи для ситцевъ Морозова, потомъ—Цинделя, и наконецъ—*всѣхъ*, кромѣ Кубышкинскихъ. Только Кубышкинъ, только онъ одинъ могъ съ пользой для себя (по ошибкѣ, мы писали: „для государства“) одѣть въ ситцевыя рубахи какъ русскихъ подданныхъ, такъ и персіянъ, бухарцевъ, хивинцевъ, индійцевъ и прочихъ иновѣрцевъ. А также единовѣрныхъ намъ болгаръ и сербовъ.

Этой ситцевой пропагандѣ сильно помогалъ Ределя. Каждое утро его, подъ конвоемъ, приводили изъ смирительнаго дома въ редакцію; тутъ онъ на картѣ вымѣривалъ циркулемъ кратчайшій путь изъ Москвы въ Индію, и выходило ужасно близко. Затѣмъ онъ садился и писалъ статьи, въ которыхъ сыпучимъ пескамъ противопоставлялъ смѣющіеся оазисы, а временному недостатку воды—ея благовременное изобиліе и притомъ отмѣннаго качества. Пользуясь симъ случаемъ, онъ называлъ верблюдовъ „кораблями пустыни“ и совѣтовалъ всегда имѣть въ резервѣ нѣсколько лишнихъ верблюдовъ, такъ какъ въ пустынѣ они представляютъ подспорье („извѣстно, что верблюды“ и т. д.), благодаря которому устраняется недостатокъ въ водѣ. Хороши также для этой цѣли кокосовые орѣхи, покуда они не дозрѣли и изобилуютъ молокомъ.

Что касается Очищеннаго, то хроника его имѣла двойственный характеръ. Въ мясоѣдъ онъ писалъ, что никогда нашъ high life не былъ такъ оживленъ, и что на дняхъ была свадьба графа Ѳедорова съ княжной Григорьевой и потомъ балъ у молодыхъ. Лѣстница была

устлана роскошными восточными коврами и убрана тропическими растеніями, подъ сѣнію которыхъ, на каждой ступенькѣ, было поставлено по лакею въ костюмахъ временъ Людовика XV. Одни парики на лакеяхъ, по удостовѣренію обворожительной хозяйки, стоили по пятидесяти рублей за штуку, а что̀ стоили башмаки и чулки — еще не подано счетовъ. Съ наступленіемъ поста Очищенный восклицалъ: „а теперь, mesdames, надо приниматься за грибки!“ и разсказывалъ, съ какимъ самоотверженіемъ очаровательная княжна Зизи Прокофьева кушаетъ маринованные рыжички, а почтенные родители смотрятъ на нее и приговариваютъ: „мы должны сіе кушанье любить, ибо оно напоминаетъ намъ, что мы въ сей жизни путники“...

Результаты этихъ усилій превзошли всѣ ожиданія. Сначала газету покупали только кухарки, но потомъ стали покупать лакеи, дворники и наконецъ кабатчики. Кабатчикъ Разуваевъ говорилъ прямо, что еслибъ ему удалось отыскать здравомыслящихъ людей, которые съ такимъ же самоотверженіемъ ежедневно доказывали бы, что Колупаевскія и Вздошниковскія водки слѣдуетъ упразднить, а его, Разуваевскія, водки сдѣлать для всѣхъ благомыслящихъ людей обязательными, то онъ, „кажется, тыщъ бы не пожалѣлъ“. Но хотя намъ были сдѣланы въ этомъ смыслѣ лестныя предложенія, однако мы устояли и пребыли вѣрными Кубышкину.

Дальше—больше. „Удобреніе“ мало-по-малу проникло и въ міръ бюрократіи. Сначала насъ читали только канцелярскіе чиновники, потомъ стали читать столоначальники, а наконецъ и начальники отдѣленія. И тутъ мы получили лестныя предложенія отъ департамента Раздачъ и Дивидендовъ, которому мы позволяли себѣ дѣлать отъ времени до времени довольно ѣдкіе реприманды; однакожъ и на этотъ разъ мы устояли и пребыли вѣрными Кубышкину.

Наконецъ наступилъ вожделѣнный день: „Удобреніе“ попало въ изящныя ручки графини Ѳедоровой, рожденной княжны Григорьевой! Послѣдовали настоятельнѣйшія предложенія. Самъ графъ Ѳедоровъ пріѣзжалъ къ намъ для переговоровъ. Но мы остались вѣрными Кубышкину.

Ибо Кубышкинъ былъ знамя!

И многіе за это знамя держались!

А онъ (то-есть Кубышкинъ) только пыхтѣлъ и радовался, глядя на насъ. Передовыхъ статей онъ лично не читалъ—скучно!—но при-

казывалъ докладывать, и на докладѣ всякій разъ сбоку писалъ: „вѣрно“. Но статьи Очищеннаго онъ читалъ самъ отъ первой строки до послѣдней, и когда былъ особенно доволенъ, то въ первый же воскресный день, передъ закуской, собственноручно подносилъ своему фавориту рюмку сладкой водки, говоря:

— Это тебѣ... въ знакъ!

Гонорара опредѣленнаго онъ намъ не назначилъ, но отъ времени до времени „отваливалъ“; причемъ всякій разъ говорилъ: напоминать мнѣ незачѣмъ, я самъ вашу нужду знаю“. Въ общемъ результатѣ мы были сыты. И чѣмъ больше мы были сыты, тѣмъ больше ярились.

Наконецъ до того разъярились, что стали выбѣгать на улицу и суконными языками, облитыми змѣинымъ ядомъ, изрыгали хулу и клевету. Проклинали человѣческій разумъ и указывали на него какъ на корень гнетущихъ насъ золъ; предвѣщали всевозможныя бѣдствія; поселяли въ сердцахъ тревогу; сѣяли ненависть, раздоръ и междоусобіе и проповѣдовали всеобщее упраздненіе. И въ заключеніе—роптали, что намъ не внимаютъ.

И за всѣмъ тѣмъ, воротившись домой, ѣли, пили, спали и вообще производили всѣ отправленія, какія человѣческому естеству свойственны.

Глава XXIX.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ разгарѣ этой лихорадочной дѣятельности мы совсѣмъ забыли о Стыдѣ.

Но онъ объ насъ не забылъ.

Я помню, что наканунѣ вечеромъ мы общими силами написали громовую статью, въ которой доказывали, что общество находится на краю бездны. „Дѣло совсѣмъ не въ поимкѣ такъ-называемыхъ упразднителей общества,—гремѣли мы,—которые, какъ ни опасны, но представляютъ, въ сущности, лишь слѣпое орудіе въ рукахъ ловкихъ людей, а въ томъ, чтобы самую мысль, мысль, мысль человѣческую окончательно упразднить. Покуда это не сдѣлано—ничего не сдѣлано; ибо въ ней, въ ней, въ ней, въ этой развращающей мысли, въ ея подстрекательствахъ заключается источникъ всѣхъ

угрозъ. И ежели не будетъ принято въ этомъ смыслѣ энергическихъ мѣръ, и притомъ въ самомъ неотложномъ времени, то послѣдствія этой нерѣшительности прежде всего отразятся на нашей промышленности. Фабрика Кубышкина первая вынуждена будетъ на половину сократить производство своихъ ситцевъ и миткалей... Спрашивается: что станется съ массой рабочихъ, которую это сокращеніе производства оставитъ безъ заработковъ? и на кого ляжетъ отвѣтственность за ту неурядицу, которая можетъ при этомъ произойти?"

Стыдъ начался съ того, что на другой день утромъ, читая „Удобреніе", мы не повѣрили глазамъ своимъ. Мысль, что эту статью мы сами выдумали и сами изложили, была до такой степени далека отъ насъ, что, прочитавъ ее, мы въ одинъ голосъ воскликнули: „однако! какія нынѣче статьи пишутъ!" И почувствовали при этомъ такое колючее чувство, какъ будто насъ кровно обидѣли.

Однимъ словомъ, мы позабыли...

Но припоминать все-таки пришлось, и мы припомнили. Работа припоминанія началась совершенно случайно. Пришелъ Очищенный и принесъ фельетонъ, въ которомъ разсказывалъ, что на дняхъ баронесса Марья Карловна каталась на тройкѣ по Островамъ въ сопровожденіи графа Сергѣя Ѳедорыча. Каждую недѣлю ходилъ къ намъ Очищенный съ урочнымъ фельетономъ, и всегда встрѣчалъ у насъ радушный пріемъ; но на этотъ разъ намъ показалось страннымъ: какимъ образомъ попалъ къ намъ этотъ злокачественный старикъ? И мы начали вглядываться въ него. Вглядывались, вглядывались, и вдругъ что-то въ глазахъ нашихъ освѣтилось... Сначала одинъ пунктъ, потомъ дальше, дальше — разомъ цѣлый пожаръ! Всѣ сновидѣнія, вся явь—все разомъ вспыхнуло.

— „Удобреніе"-то—вѣдь это нашихъ рукъ дѣло!..—растерянно произнесъ Глумовъ.

— И эта статья, которую мы сейчасъ читали... тоже нашихъ рукъ дѣло!—какъ эхо отозвался я.

Насъ охватилъ испугъ. Какое-то тупое чувство безвыходности, почти доходившее до остолбенѣнія. Повидимому мы только собирались съ мыслями и даже не задавали себѣ вопроса: что жъ дальше? Мы не гнали изъ квартиры Очищеннаго, и когда онъ настаивалъ, чтобъ его статью отправили въ типографію, то безмолвно смотрѣли ему въ глаза. Наконецъ пришелъ изъ типографіи метранпажъ и сталъ

понуждать насъ, но, не получивъ удовлетворенія, долженъ былъ уйти во-свояси.

Кое-какъ однакожъ газетное дѣло уладилось. Въ трактирѣ „Ерши“ нашли на наше мѣсто двухъ публицистовъ, привели къ Кубышкину и засадили за работу. Черезъ два часа передовая статья была ужъ готова. Въ ней доказывалось, что ежели для пьющихъ важно опредѣлить, съ какой именно рюмки они приходятъ въ опьяненіе, то тѣмъ паче необходима подобная опредѣлительность въ разныхъ отрасляхъ административной дѣятельности. Ибо вездѣ человѣкъ встрѣчается съ этой роковою рюмкой: но только тотъ называется мудрымъ, который умѣетъ предугадать ее и воздержаться.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ: но Кубышкинъ понялъ это только тогда, когда читатели потребовали отъ него объясненій. Тогда, дѣлать нечего, пришлось этихъ публицистовъ разсчитать и посылать за другими въ гостинницу „Москва“.

Нашли и тамъ пару. Эти поправили дѣло, написавъ отъ редакціи объясненіе, въ которомъ удостовѣрили, что все сказанное въ предыдущемъ нумерѣ объ рюмкахъ есть плодъ недоразумѣнія и что новая редакція „Удобренія“ (меня и Глумова Кубышкинъ уже уволилъ) приметъ притчу о роковой рюмкѣ лишь для собственнаго поученія. Затѣмъ слѣдовала большая передовая статья, въ которой развивалась мысль, что по случаю предстоящихъ праздниковъ Пасхи предстоитъ усиленный спросъ на яйца, что несомнѣнно сообщитъ народной промышленности новый толчокъ. А ежели къ этому прибавить куличи и пасхи, то вотъ вамъ, въ какихъ-нибудь два-три дня, цѣлый милліонъ, пущенный въ народное обращеніе!

А мы между тѣмъ все еще сбирались съ мыслями. Мы даже не говорили другъ съ другомъ, словно боялись, что объясненіе ускоритъ какой-то моментъ, который мы чувствовали потребность отдалить. И тутъ мы лавировали и лукавили, и тутъ надѣялись, что Стыдъ пройдетъ какъ-нибудь самъ собою, измором...

Но вдругъ мы почувствовали тоску. Не ту тоску праздности, которую ощущаетъ человѣкъ, не знающій, какъ убить одолѣвающій его досугъ, и не ту безсознательно-пьяную прострацію силъ, которая приводитъ человѣка къ петлѣ, къ проруби, къ дулу пистолета. Нѣтъ, это была тоска вполнѣ сознательная, трезвая, которая и разрѣшенія требовала сознательнаго, а не случайнаго. Боль, которую она прино-

сила за собой, была тѣмъ мучительнѣе, что каждый ея уколъ воспринимался не только въ той силѣ, которая ей присуща, но и въ той, утроенной, удесятеренной, которую ей придавалъ доведенный до болѣзненной чуткости организмъ. Это была не казнь, а та предшествующая ей четверть часа, въ продолженіе которой читается приговоръ, а осужденный окостенѣлыми глазами смотритъ на ожидающую его плаху.

Однимъ словомъ, это была тоска проспувшагося Стыда...

Мы не спрашивали себя, что̀ такое Стыдъ, а только чувствовали присутствіе его. И въ насъ самихъ, и въ обстановкѣ, которою мы были окружены, и на улицѣ — вездѣ. Стыдъ написанъ былъ на лицахъ нашихъ, такъ что прохожіе въ изумленіи вглядывались въ насъ...

. . . . . .

Что̀ было дальше? къ какому мы пришли выходу?—пусть догадываются сами читатели. Говорятъ, что Стыдъ очищаетъ людей—и я охотно этому вѣрю. Но когда мнѣ говорятъ, что дѣйствіе Стыда захватываетъ далеко, что Стыдъ воспитываетъ и побѣждаетъ—я оглядываюсь кругомъ, припоминаю тѣ изолированные призывы Стыда, которые отъ времени до времени прорывались среди массъ Безстыжества, а затѣмъ все-таки канули въ вѣчность... и уклоняюсь отъ отвѣта.

II.

ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКЪ

[1881—1882 гг.]

Письмо первое.

Милая тетенька!

Помните ли вы, какъ мы съ вами волновались! Это было такъ недавно. То расцвѣтали надеждами, то увядали; то поднимали голову, какъ бы къ чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно все, что̀ нужно, услышали; то устремлялись впередъ, то жались къ сторонкѣ... И бредили, бредили, бредили—безъ конца!

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому что была увѣренность, что вотъ-вотъ опять сейчасъ расцвѣтешь... Въ самомъ ли дѣлѣ расцвѣтешь, или это такъ только видимость одна—и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомыхъ: „слышали? а? вотъ такъ сюрпризъ!“

То-есть, по правдѣ-то говоря, изъ насъ двоихъ волновались и „бредили“ вы одинъ, милая тетенька. Я же собственно говорилъ: „Зачѣмъ вы, тетенька, къ болгарамъ ѣдете? зачѣмъ вы хотите присутствовать на процессѣ Засуличъ? зачѣмъ вы концерты въ пользу курсистокъ устраиваете? Сядемте-ка лучше рядкомъ, сядемъ да посидимъ“... Ахъ, какъ вы на меня тогда разсердились!

— Сидите вы! — сказали вы мнѣ: — а я пойду туда, куда влекутъ меня убѣжденія! Mais savez-vous, mon cher, que vous allez devenir pouilleux avec vos „сядемъ да посидимъ“...

Именно такъ по-французски и сказали: „pouilleux“, потому что вѣдь нельзя же по-русски сказать: „обовшивѣете“!

Повторяю: я лично не волновался. Однакожъ не скрою, что къ вашимъ волненіямъ я относился до крайности симпатично, и не разъ съ гордостью говорилъ себѣ: „Вотъ она, тетенька-то у меня какова! Къ болгарамъ въ пользу Баттенбергскаго принца агитировать ѣздитъ!

Милану прямо въ лицо говоритъ: дерзай, княже! „Идé домувъ муй?“ съаккомпанименто̀мъ гитары поетъ—какой еще родственницы нужно?“ Говорилъ да говорилъ, и никакъ не предвидѣлъ, что на нынѣшнемъ консервативно-околоточномъ языкѣ мои симпатіи будутъ называться укрывательствомъ и попустительствомъ...

Но теперь, когда попустительства начинаютъ выходить изъ меня сòкомъ, я малу-по-малу прихожу къ сознанію, что былъ глубоко и непростительно неправъ. Знаете ли вы, что̀ такое „сокъ“, милая тетенька? „Сокъ“—это то самое вещество, которое, будучи своевременно выпущено изъ человѣка, въ одну минуту уничтожаетъ въ немъ всякіе „бреды“ и возвращаетъ его къ пониманію дѣйствительности. Именно такъ было со мной. Покуда я кòко съ сокомъ былъ—я ничего не понималъ; теперь же, будучи лишенъ сока—все попялъ. Правда, я лично не агитировалъ въ пользу Баттенбергскаго принца, но все-таки сидѣлъ и приговаривалъ: „ай да тетенька!“ Лично я не плескалъ руками ни оправдательнымъ, ни обвинительнымъ приговорамъ присяжныхъ, но все-таки говорилъ: „слышали? тетенька-то какъ отличилась?“ А главное: я „подпѣвалъ“ (не „бредилъ“, въ истинномъ значеніи этого слова, а именно „подпѣвалъ“)—этого ужъ я никакъ скрыть не могу! Такъ вотъ какъ соберешь все это въ одинъ фокусъ, да прикинешь, что̀ за сіе, по усмотрѣнію управы благочинія, полагается—даже волосъ дыбомъ встанетъ!

Позвольте однакожъ, голубушка! Могъ ли я не попустительствовать и не „подпѣвать“, если вы, при каждомъ случаѣ, когда я хотѣлъ трезвенное слово сказать, перебивали меня: „pouilleux!“? Помнится, какъ-то разъ я воскликнулъ: „ничего намъ не нужно, кромѣ утирающаго слезы жандарма!“—а вы потрепали меня по щечкѣ и сказали: „дурашка!“ Какъ я тогда обидѣлся! какъ горячо началъ доказывать, что меня совсѣмъ не такъ поняли! И вдругъ, самъ не помню какъ, такую высокую ноту взялъ, что даже вы всполошились и начали меня успокоивать! А кто меня до этой высокой ноты довелъ?!

Спрашиваю я васъ: приметъ ли все это въ соображеніе управа благочинія, хоть въ качествѣ смягчающаго вину обстоятельства?

Но, кромѣ того, и еще—хоть вы мнѣ и тетенька, но лѣтъ на десятокъ моложе меня (мнѣ 56 лѣтъ) и обладаете такими грасами, которыя могутъ встревожить какого угодно pouilleux. Когда вы вхо-

дите, вся въ кружевахъ и въ прошивочкахъ, въ гостиную, когда сквозь эти кружева и прошивочки вдругъ блеснетъ въ глаза волна... Ахъ, тётенька! хоть я, при моихъ преклонныхъ лѣтахъ, болѣе теоретикъ, нежели практикъ въ такого рода дѣлахъ, но мнѣ кажется, что еслибъ вы чуточку распространили вырѣзку въ вашемъ лифѣ, то, клянусь, самый заматерѣлый pouilleux—и тотъ не только бы на процессъ Засуличъ, но прямо въ огонь за вами пошелъ!

Ужели же и этого не приметъ въ соображеніе управа благочинія?

Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю васъ, сваливаю на васъ мою вину! Во-первыхъ, чѣмъ же я виноватъ, коли инстинктъ мнѣ подсказываетъ: разскажи да разскажи! А во-вторыхъ, предавая васъ, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче такъ все упрощено, что ужъ нѣтъ ни зачинщиковъ, ни понустителей, ни укрывателей — одни виноватые. Стало быть, всѣ мои ссылки на васъ и на кого бы то ни было напрасны и служатъ только къ безкорыстному разъясненію дѣла, а не къ личному моему обѣленію. И что всего любопытнѣе: я очень хорошо это понимаю, и все-таки отъ предательства воздержаться не могу: такъ и нудитъ инстинктъ, такъ и подманиваетъ на встрѣчу. Это ужъ вѣянье такое, и всѣ мы, которые когда-либо были одержимы „бредами“ или „подвываніями“ — всѣ мы обязываемся принимать его въ разсчетъ.

Одно меня утѣшаетъ: вѣдь и вы, мой другъ, не лишены своего рода ссылокъ и оправдательныхъ документовъ, которые можете предъявить едва-ли даже не съ бо́льшимъ успѣхомъ, нежели я—свои. Въ самомъ дѣлѣ, виноваты ли вы, что ваша manière de causer такъ увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока-пяти лѣтъ сохранили атуры и контуры, отъ которыхъ мгновенно шалѣютъ les messieurs?

Знаете ли, впрочемъ, что̀? Иногда мнѣ кажется, что управа, разсмотрѣвъ нашъ прежній образъ мыслей и принявъ во вниманіе нашъ образъ мыслей нынѣшній (какой, съ Божьею помощью, поворотъ!), просто-на́-просто возьметъ да и сдастъ наше дѣло въ архивъ. Или, много-много, внушеніе сдѣлаетъ: смотрите, дескать, чтобы на будущее время „бредней“ — ни-ни!

— Помилуйте, вашество! кто же нынче о бредняхъ думаетъ? Бредни... фуй!

Это впрочемъ скажете, тетенька, вы, а не я. А я ужъ потомъ за вами въ огонь и въ воду...

И поѣдете вы, вся въ кружевахъ и прошивочкахъ, вашу волю по городу съ визитами развозить. „Бредни“!.. но вѣдь это смѣхъ. право! Бредни... по развѣ можно безъ омерзѣнія объ этомъ говорить! Вотъ сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!

Но скорѣе всего, даже „разсмотрѣнія“ никакого мы съ вами не дождемся. Забыли объ насъ, мой другъ, просто забыли—и все тутъ. А ежели не забыли, то, не истребовавъ объясненія, простили. Или же (тоже не истребовавъ объясненія) записали въ книгу живота и при семъ имѣютъ въ виду... Вотъ въ скольких смыслахъ можетъ быть обезпечено наше будущее существованіе. Не скрою отъ васъ, что изъ нихъ самый невыгодный смыслъ—третій. Но вѣдь какъ хотите, а мы его заслужили.

Тѣмъ не менѣе я убѣжденъ, что ежели мы будемъ сидѣть смирно, то никакіе смыслы насъ не коснутся. Сядемъ по уголкамъ, закроемъ лица платками—авось не узнаютъ. У тѣхъ, скажутъ, человѣческія лица были, а это какіе-то истуканы сидятъ... Вотъ было бы хорошо, кабы не узнали! Обманули... ха-ха!

Но какъ это, тетенька, подло!

Не бойтесь же, милая. Вотъ вы теперь въ деревню уѣхали: авось-молъ тамъ меня не достанутъ! Ну, и прекрасно. Поживите тамъ, подышите воздухомъ полей, посмотрите, какъ доятъ коровъ и стригутъ барашковъ, поговорите съ вашимъ урядникомъ, полюбуйтесь на житье-бытье мужичковъ... и вдругъ васъ осѣнитъ мысль: „Какая я, однакожъ, глупенькая была! бреднями занималась! Правду Nicolas (это я) говорилъ: съ насъ совершенно достаточно утирающаго слезы жандарма!“ И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смѣло велите закладывать лошадей и катите опять въ Петербургъ. Ручаюсь, что кромѣ похвалы ничего не услышите.

А въ Петербургѣ вы найдете — меня. Сижу я здѣсь, какъ дятелъ на сосновомъ суку, и съ утра до вечера все долблю: не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! Пріѣзжайте и будемъ вмѣстѣ долбить—повадливѣе!

Ужасно какое множество нынче этихъ дятловъ развелось. Шляются, слюною брызжутъ, очами грозятъ, долбятъ да другъ на друга посматриваютъ: кто кого передолбитъ?

Впрочемъ вся заслуга отрезвленія (ибо я увѣренъ, что этотъ процессъ уже совершился въ васъ) на вашей, душенька, сторонѣ. Я же какъ прежде былъ хорошъ, такъ и теперь хорошъ.

Всегда я думалъ, что вся бѣда наша въ томъ, что мы черезъ-чуръ много шума дѣлаемъ. Чуть что — сейчасъ шапками закидать норовимъ, а не то такъ и кукишъ въ карманѣ покажемъ. Ну, разумѣется, слушаютъ-слушаютъ насъ да и прихлопнутъ. Умѣй ждать, а не умѣешь —нѣтъ тебѣ ничего! Такъ что еслибъ мы умѣли ждать, то, мнѣ кажется, давно бы ужъ дождались.

И въ счастіи, и въ несчастіи, мы всегда предваряемъ событія. Да и воображеніе у насъ какое-то испорченное: всегда провидитъ бѣду, а не благополучіе. Еще не пахло крестьянской волей, а мы ужъ кричали: эмансипація! Еще всѣ по горло сыты были, а мы ужъ на всѣхъ перекресткахъ голосили: голодъ! голодъ! Ну, и докричались. И эмансипація, и голодъ дѣйствительно пришли. Что-жъ, легче, что-ли, отъ этого вамъ, милая тетенька, стало?

Не я одинъ, но и графъ Твэрдоонто это замѣтилъ. „Когда я былъ у кормила, — говорилъ онъ мнѣ: — то покуда не издавалъ циркуляровъ объ голодѣ — всѣ по горло были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сдѣлать зависящее по сему предмету распоряженіе — изо всѣхъ угловъ такъ и полѣзло! У самаго послѣдняго мужика въ брюхѣ пусто стало!“

Еще бы! Мужику только повадку дай! Онъ лошуть хочетъ отъ сытости, а все кричитъ: жрать!

Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные насчетъ книгопечатанія законы издать! Только я одинъ говорилъ: и безъ нихъ хорошо! По моему и вышло: коли хорошо, такъ и безъ законовъ хорошо! А вотъ теперь посидимъ да помолчимъ — смотришь, и законы будутъ. Да такіе ясные, что небо съ овчинку покажется. Ахъ, господа, господа! представляю себѣ, какъ вамъ будетъ лестно, когда васъ „по правилу“ начнутъ въ три кнута жарить!

Вотъ еслибы мы были простые тати — слова нѣтъ, я бы и самъ скораго суда запросилъ. Но вѣдь мы, тетенька, „разбойники печати“... Ахъ, голубушка! произношу я эту несносную кличку и всякій разъ думаю: сколько нужно было накопить въ душѣ гною, какимъ нужно было сознавать себя негодяемъ, чтобы такимъ прозвищемъ стошнило!

Поэтому-то вотъ я и говорилъ всегда: человѣческое благополучіе въ тишинѣ созидаться должно. Если ужъ не миновать намъ благополучія, такъ оно и само насъ найдетъ. Вотъ какъ теперь: нигдѣ не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между тѣмъ созидается да созидается.

Не въ словахъ дѣло, а въ дѣлѣ — и это я тоже говорилъ. Можно ли дѣло дѣлать, когда кругомъ гвалтъ и шумъ?—нельзя! Ну, стало быть, молчи и не мѣшай!

Словесный хлѣбъ можетъ представлять потребность только для досужихъ людей; трудящіеся же да вкушаютъ хлѣбъ съ лебедой! Вотъ общее правило, милая тетенька. Давно мы съ вами бредимъ, а много ли набредили? Такъ лучше посидимъ да поглядимъ— „оно“ вдругъ на насъ само собою нахлынетъ!

Еслибъ при московскихъ князьяхъ да столько разговору было, никогда бы имъ не собрать русской земли. Еслибъ при Іоаннѣ Грозномъ вы, тетенька, во всеуслышаніе настаивали: „непремѣнно намъ нужно Сибирь добыть“ —никогда бы Ермакъ Тимоѳеичъ намъ ея изъ полы въ полу не передалъ. Еслибъ мы не держали языкъ за зубами —никогда бы до воротъ Мерва не дошли... Все русское благополучіе съ незапамятныхъ временъ въ тиши уединенія совершалось. Оттого оно и прочно.

Вонъ Франція намеднись какой-то дрянной Тунисишко захватила, а сколько изъ этого разговоровъ вышло! А отчего? Оттого, голубушка, что не успѣли еще люди порядкомъ намѣтиться, какъ кругомъ ужъ галдѣнье пошло. Одни говорятъ: „нужно взять!“ другіе—„не нужно брать!“ А кабы они чередомъ намѣтились да потихоньку дѣльце обдѣлали: вотъ, молъ, вамъ въ день ангела... съ нами Богъ!—у кого же бы повернулся языкъ супротивное слово сказать!?

Человѣку данъ одинъ языкъ, чтобъ говорить, и два уха, чтобы слушать: но почему ему данъ одинъ носъ, а не два—этого я ужъ не могу доложить. Ахъ, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, бредили-бредили —и что̀ вышло? Уѣхали теперь въ деревню и стараетесь передъ урядникомъ образомъ мыслей щегольнуть. Да хорошо еще, что хоть теперь-то за умъ взялись; а что̀ было бы, еслибы...

А я, напротивъ, сижу на сосновомъ суку да все старую пѣсню долблю. Старую да хорошую. И можетъ быть, за мою простоту, до чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, ужъ и начинаю додалбли-

ваться. Хорошо у насъ нынѣче, тихо! Давно такъ не бывало. Встрѣчаются люди на Невскомъ: „что̀ новаго?“—Да ничего не слыхать.—„Ну, и славу Богу“. Или въ клубѣ: „что̀ въ газетахъ пишутъ?“—Ничего не пишутъ.—„Ну, и слава Богу“... Вотъ увидите, милая тетенька, что изъ этого непремѣнно выйдетъ благополучіе. И не я одинъ, всѣ надѣются. На дняхъ встрѣчаю князя Букназба̀: „мы, говоритъ, не болтовней занимаемся, а дѣло дѣлаемъ“.

Богъ въ помочь!

И точно: давно ли, кажется, мы за умъ взялись, а какая перемѣна во всемъ видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, къ чему ни приступишься, все словно оторонь тебя беретъ. Все думалось: что̀-то тетенька скажетъ? А нынѣче что̀ хочу, то̀ и дѣлаю; хочу—стою, хочу—сижу, хочу—хожу. А дома сидѣть надоѣсть—на улицу выйду. И взять съ меня нечего, потому что я весь тутъ!

Пришелъ я на дняхъ въ Лѣтній садъ обѣдать. Потребовалъ карточку, вижу: судакъ „авабля“ *); спрашиваю: — Да можно ли? — „Нынѣче все, сударь, можно!“ — Ну, давай судакъ „авабля“! — Оказалась мерзость. Но вѣдь не это, тетенька, дорого, а то, что вотъ и мерзость, а всякому ѣсть ее вольно!

А какія тамъ, тетенька, салфетки у прислужниковъ подъ мышками торчатъ! Совершенныя мокрыя дѣтскія пеленки! Не ходите туда, голубушка!

Итакъ, повторяю: тихо вездѣ, скромно, но притомъ—свободно. Вотъ нынѣче какое правило! Встанешь утромъ, просмотришь газеты—благородно. „Изъ Белебея пишутъ“, „изъ Конотопа пишутъ“... Не горитъ Конотопъ да и шабашъ! А прежде—помните, когда мы съ вами, тетенька, „бредили“ — сколько разъ опъ отъ этихъ нашихъ бредней изъ конца въ конецъ выгоралъ! Даже „Правительственный Вѣстникъ“—и тотъ въ этомъ отличнѣйшемъ газетномъ хорѣ какимъ-то горькимъ диссонансомъ звучитъ. Все что-то о хлѣбахъ публикуетъ: не поймешь, произрастаютъ или не произрастаютъ.

Я думаю впрочемъ, тетенька, что въ концѣ концовъ произрастутъ. Потому что ужъ если теперь намъ Богъ, за нашу тихость, не подастъ, такъ ужъ послѣ того я и не знаю...

„Бредни“ теперь всѣ подходя ругаютъ, да вѣдь, по правдѣ-то

*) Испорченное отъ: „au vin blanc“. Приведено текстуально.

сказать, и похвалить ихъ нельзя. Даже и вы, я полагаю, какъ съ урядникомъ разговариваете... ахъ, тетенька! Кабы не было у васъ въ ту пору этихъ прошпвочекъ, давно бы я васъ на путь истинный обратилъ. А я вотъ заглядывался, глазами косилъ, да и довелъ дѣло до того, что пришлось вамъ въ деревнѣ спасаться! Бросьте, голубушка! Подумайте: разъ Богъ спасетъ, въ другой — спасетъ, а въ третій, пожалуй и не помилуетъ.

Но что всего пріятнѣе: самую видную роль въ этой поголовной руготнѣ играютъ „новообращенные". Старые „управцы" — тѣ усѣкновляютъ спокойно, безъ разговоровъ, точно пирогъ съ капустой ѣдятъ; новые — доказываютъ, полемизируютъ и предварительно кусаютъ. Иной новобранецъ до того осмѣлился, что такъ-таки прямо въ глаза начальству отчеканиваетъ: расшпи! И не боится. И гребень у него покраснѣетъ, и хвостъ вѣеромъ распустится—тетеревъ на току да и полно! Но я-то вѣдь, тетенька, не забылъ. Такимъ же точно страстнымъ тетеревомъ онъ былъ и тогда, когда—помните?—онъ же захлебывался въ восторгѣ отъ „бредней"!

Во всякомъ случаѣ, голубушка, если вы вздумаете навѣдаться въ Петербургъ, то пожалуйста держите ухо востро. Представьте себѣ, что вамъ завсегда сопутствуетъ вашъ добрый урядникъ — такъ и ведите себя. Потому что неравно вдругъ какой-нибудь добровольцъ закричитъ: караулъ!

И всѣ-то нынче чего-то ищутъ; даже такіе люди ищутъ, которымъ давнымъ-давно во всѣхъ инстанціяхъ отказано. И только на одномъ свои права и основываютъ: „пора эти бредни бросить!" Но что же они, милая тетенька, вмѣсто бредней предлагаютъ? А предлагаютъ они, голубушка, благополучіе Россіи — только и всего.

Только они думаютъ, что безъ нихъ это благополучіе совершиться не можетъ. Когда мы съ вами, во время оно, бреднями развлекались, намъ какъ-то никогда на умъ не приходило, съ нами онѣ осуществятся, или безъ насъ. Намъ казалось, что, коснувшись всѣхъ, онѣ коснутся, конечно, и насъ, но того, чтобы при семъ утащить кусокъ пирога... сохрани Богъ! Но вѣдь то были бредни, мой другъ, которыя какъ пришли, такъ и ушли. А нынче — дѣло. Для дѣла люди нужны, а люди—вотъ они!

Ужасно замученный видъ имѣютъ эти люди, покуда ищутъ и разнюхиваютъ. Худые, блѣдные, испитые, съ пересохшимъ горломъ,

съ воспаленными глазами. И только одно твердятъ: „бредни!“ Встрѣчаться съ ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, какъ завижу „искателя“, сейчасъ—шмыгъ въ ресторанъ. Хочу—растегай ѣмъ: хочу—бутербродъ ухвачу! Все нынѣче можно.

И всѣ эти „искатели“ другъ друга подстерегаютъ и ругательски другъ друга ругаютъ. Встрѣтилъ я на дняхъ Удава—онъ Дыбу ругаетъ; встрѣтилъ Дыбу—онъ Удава ругаетъ. И тотъ, и другой удостовѣряютъ: — Вотъ помяните мое слово, что ежели только онъ (имя рекъ) „достигнетъ“—онъ вамъ покажетъ, гдѣ раки зимуютъ!

Вотъ вѣдь это какіе, тетенька, люди: знаютъ, гдѣ раки зимуютъ!

Но мнѣ-то, мнѣ-то зачѣмъ это знать? Конечно, оно любопытно, но иногда, право, выгоднѣе безъ любопытства вѣкъ прожить. Признаюсь, я даже не удержался и спросилъ Удава: „да неужто же нужно, чтобы я зналъ, гдѣ раки зимуютъ?“ А онъ въ отвѣтъ: „ужъ тамъ нужно или не нужно, а какъ будутъ показывать, такъ и вы въ числѣ прочихъ узнаете!“

Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажетъ, гдѣ раки зимуютъ, завтра—куда Макаръ телятъ не гонялъ, послѣ-завтра—куда воронъ костей не заносилъ, а въ заключеніе объяснитъ, какъ Кузькину мать зовутъ! Вотъ сколько наукъ!

И добро бы мы этихъ наукъ не знали, а то вѣдь наизусть отъ первой страницы до послѣдней во всѣхъ подробностяхъ проштудировали—и все оказывается мало!

Но когда мы окончательно обогатимся знаніями, тогда курсъ наукъ нашихъ будетъ полонъ, и мы начнемъ показывать товаръ лицомъ. Изобрѣтемъ сначала порохъ, потомъ компасъ, потомъ книгопечатаніе, а между прочимъ пожалуй откроемъ и Америку.

И все-таки сдается: нѣтъ ужъ, пусть лучше ни Удавъ, ни Дыба не „достигнутъ“! Побѣгаютъ, помятутся, да съ тѣмъ пусть и отъѣдутъ. Вотъ это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помолитесь, чтобъ они не достигли!

Представляю я себѣ, какъ вы, бѣдненькая, проводите время въ деревнѣ.

Встанете утромъ, помолитесь и думаете: „а вѣдь и я когда-то бреднями занималась!“ Потомъ позавтракаете, и опять: „вѣдь и я когда-то“... Потомъ погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству

и всѣмъ домочадцамъ пожалуетесь: „вѣдь и я“... Потомъ обѣдъ, а съ нимъ и опять та же неотвязная дума. Послѣ обѣда бѣжите къ батюшкѣ, и вся въ слезахъ: „батюшка! отецъ Андронъ! вѣдь когда-то“... Наконецъ, на сонъ грядущій, призываете уряднпка и уже прямо высказываетесь: „главное, голубчикъ, чтобъ бредней у насъ не было!“

Но вѣдь и робѣть черезъ-чуръ тоже не годится, мой другъ. Излишняя робость можетъ грудку высушить—и тогда навѣки пропалъ для васъ очень важный оправдательный документъ.

На вашемъ мѣстѣ я поступилъ бы такъ. Прежде всего безусловно утаплъ бы отъ домашнихъ происходящія въ душѣ вашей тревоги. Домашніе—народъ узко-себялюбивый и даже тривіальный; не качество идей ихъ увлекаетъ, а удача. Ежели вы устраиваете комфортабельно ихъ жизнь при помощи „бредней“—они будутъ говорить: „ай да тетенька!“ Если вы того же самаго результата достигаете при помощи „антибредней“—они и тогда будутъ восклицать: „ай да тетенька!“ Ни въ тревогахъ, ни въ сомнѣніяхъ вашихъ они не примутъ участія, потому что на ихъ взглядъ все и всегда ясно. Разскажите имъ, что именно васъ мутитъ—они сейчасъ все до ниточки на бобахъ разведутъ. То-есть, собственно говоря, ничего не разведутъ, а будутъ одно и тоже долбить: „да вѣдь это, наконецъ, ясно!“ Ибо никто лучше ихъ не понимаетъ, что во всякомъ дѣлѣ на первомъ планѣ стоитъ благополучіе (съ лебедой въ резервѣ) и тишина (съ урчаніемъ въ резервѣ). И ежели вы за всѣмъ тѣмъ не перестаете упорствовать въ непониманіи сего, то даже малолѣтки будутъ къ вамъ приставать: „тетенька, да неужто-жъ вы этого не понимаете?“ И станутъ издѣваться надъ вами, такъ что въ концѣ концовъ окажется, что всѣ они—умники, а вы одна между ними—дура дурой.

Но что всего хуже—насмѣяться-то они насмѣются, а помочь не помогутъ. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете: „ахъ, вѣдь и я когда-то бредила!“ но все-таки понимаете, что, пожизни пробредивши, нельзя сбросить съ себя эту хмару такъ же легко, какъ смѣняютъ старое, заношенное бѣлье. А домочадцы ваши этого не понимаютъ. Отроду они не бредили — оттого и внутри у нихъ не скребетъ. А у васъ скребетъ.

Вотъ къ батюшкѣ прибѣгнуть въ горести—это я вамъ совѣтую. Батюшка справится въ Потребникѣ и все разсудитъ: не даромъ же

имя ему Андронъ (отъ „Андроны ѣдутъ“). И въ заключеніе простить, потому что такова его обязанность. Но главная польза, отъ сего проистекающая, будетъ заключаться въ томъ, что вы-то сами непремѣнно утѣшеніе получите. Въ раскаяніи есть нѣчто до того сладкое, что оно само себѣ довлѣетъ. Сидитъ человѣкъ, и тихія слезы текутъ по его щекамъ... Говорятъ, будто слезы служатъ выраженіемъ страданія, а подите-ка отыщите что-нибудь слаще этихъ слезъ! „Ахъ, не могу!.. ахъ, не буду!.. батюшка! поддержите!“ —„Успокойтесь, сударыня!“

А ежели попикъ у васъ ловкій да въ семинаріи учился хорошо, такъ онъ пожалуй цѣлую предику по этому случаю произнесетъ. „Что привело тебя ко мнѣ, чадо мое?—скажетъ:—и привело въ смущеніи, въ горѣ, въ слезахъ? Не смерть ли досточтимыхъ родителей?—такъ вѣдь, кажется, родителей давно у тебя нѣтъ! не болѣзнь ли любимыхъ дѣтей?—такъ вѣдь, кажется, они, слава Богу, здоровы! Что же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожаръ ли? не утрата ли имущества? не ослушаніе ли подчиненныхъ и присныхъ твоихъ?“... Вотъ тутъ-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой утѣшенною.

Можете переговорить и съ урядникомъ, но при этомъ совѣтую не терять самообладанія. Скажите просто: „вотъ, моль, какіе слухи ходятъ, такъ вы ужъ пожалуйста!“ Только и всего. Какъ будто вы тутъ въ сторонѣ: замѣтили—и горюшка мало. Но, ради всего святого, не влюбитесь въ урядника, ибо въ такомъ случаѣ ваши прелестныя прошивки пропахнутъ тютюномъ и овчинами. Этого, тетенька, и начальство не требуетъ, а что касается до партикулярныхъ людей, то, право, они совершенно равнодушно отнесутся къ тому, какія высокія цѣли руководятъ вами въ этомъ случаѣ, а будутъ только примѣчать, что урядникъ новое купѐ купилъ да усы фабрить началъ. И прозовутъ они васъ „урядницей“, и такъ популяризируютъ эту кличку, что вамъ прохода по деревнѣ отъ нея не будетъ.

Случаевъ такого необдуманнаго увлеченія урядниками не мало встрѣчается въ исторіи. Я самъ лично одну дамочку зналъ, которая долгое время стригла себѣ волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали „стрижкой“ и „нигилисткой“. И вдругъ влюбилась въ землемѣра (всѣ землемѣры, по природѣ, консерваторы), купила шиньонъ, и съ тѣхъ поръ только и словъ: „ахъ, эти скверныя стрижки!“

„ахъ, эти немытыя нигилистки!“ Но что-жъ она этимъ выиграла? Только то и выиграла, что не только „стрижки“ и „нигилистки“, но и самыя землемѣрши стали ее „землемѣршею“ величать...

Стало быть, во всемъ должна быть мѣра, милая тетенька. Мѣра—въ паренiи чувствъ и мыслей и мѣра—въ предательствѣ. Такъ что ежели который человѣкъ всю жизнь „бредилъ“, а потомъ, по обстоятельствамъ, нашелъ болѣе выгоднымъ „антибредить“, то пускай онъ не прекращаетъ своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредить, потомъ еще потише, и еще, и еще, и наконецъ—молчокъ! Тогда онъ ужъ безстрашно можетъ, на всей своей волѣ, антибредомъ заняться, и всѣ будутъ говорить: „изъ какого укромнаго мѣста этотъ безвѣстный рыцарь явился? что-то мы его какъ будто прежде не замѣчали“! А между тѣмъ—онъ самый и есть!

Вообще же мой совѣтъ таковъ: какъ можно больше самообладанiя. Отказывайтесь отъ бреда постепенно и не вводя въ соблазнъ. Не клевещите на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклинайте вашего прошлаго! Ибо, по правдѣ говоря, какой же былъ и бредъ-то вашъ, милая тетенька! Порѣзвились, пошалили—только начальству удовольствiе доставили! Съ батюшкой, однакожъ, можете быть откровенны; а что касается до урядника, то объ одномъ прошу: ради Бога, берегите ваши прошивки! Помните, что по спротству вашему эти прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохранить его незапятнаннымъ, дабы дѣти ваши съ гордостью могли воскликнуть: „вотъ онѣ, маменькины прошивки! точно сейчасъ только со станка сняты!“

Тетенька! пріѣзжайте въ Петербургъ! Не бойтесь, милая, не стыдитесь! Забудьте—и все будетъ хорошо.

Какъ только вы пріѣдете, я сейчасъ васъ на Острова повезу. Заѣдемъ къ Дороту; я себѣ спрошу ботвиньи, вы—мороженаго... Вотъ вѣдь у насъ нынче какъ! Потомъ отправимся на pointe и будемъ смотрѣть, какъ солнце за будку садится. Потомъ домой—баиньки. Это первый день.

На второй день, съ утра—крестины у дворника. Вы—кума, швейцаръ Оедоръ—кумъ. Я—принесъ двугривенный на зубокъ. Подаютъ пирогъ съ спгомъ—это у дворника-то! Подумайте, тетенька, какъ въ самое короткое время уровень народнаго благосостоянiя под-

нялся! Съ крестинъ поднимаемся домой — рано! Да не хотите ли, тетенька, въ Павловскъ, въ Озерки, въ Рамбовъ? сдѣлайте милость, не стѣсняйтесь! Явимся на музыку; захотимъ — сядемъ, не захотимъ — будемъ подъ-ручку гулять. А погулявши, воротимся домой — ба́ньки!

На третій день — въ участокъ... то-бишь, утро посвятимъ чтенію „Московскихъ Вѣдомостей“. Нехорошо проведемъ время, а дѣлать нечего. Нужно, голубушка, отъ времени до времени себя провѣрять. Потомъ — на Невскій, послушать, какъ надорванные людишки надорваннымъ голосомъ вопіютъ: „прочь бредни, прочь!“ А мы пройдемъ мимо, какъ будто не понимаемъ, чье мясо кошка съѣла. А вечеромъ на свадьбу къ городовому — дочь за подчаска выдаетъ — вы будете посаженой матерью, я — шаферомъ. Выпьемъ по бокалу — и домой ба̀ньки.

На четвертый день — дождикъ. Будемъ сидѣть дома. На обѣдъ: уха стерляжья, filets mignons, цыпленочекъ, спаржа и мороженое — вы, тетенька, корсета-то не надѣвайте. Хотите, я вамъ цѣлый ворохъ „La vie parisienne“ предоставлю? Ахъ, милая, какія тамъ картинки! Клянусь, еслибы вы были мужчина — не разстались бы съ ними. А къ вечеру опять развёдрилось. Ma tante! да не поѣхать ли намъ въ „Русскій Семейный Садъ“? — Поѣхали.

На пятый день у тетеньки головка болитъ. Сидите вы, вся въ пропивочкахъ, и только плечики у васъ вздрагиваютъ. Ахъ, ma tante! какъ бы я хотѣлъ быть этою пропивочкой!.. вонъ той, которая сначала въ бокъ, а потомъ все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь же, голубушка! И вдругъ... вы погрозили пальчикомъ... „Шалунъ!“ Да кто же, милая, шалунъ-то? Я ли, шестидесятилѣтній вертопрахъ, или пальчикъ... ахъ, этотъ пальчикъ? Но вы только вздыхаете въ отвѣтъ и вспоминаете... Помните, тетенька, какъ лейбъ-гвардіи кирасирскаго полка штабсъ-ротмистръ Левъ Полугаровъ („къ сему заемному письму“ и т. д.) посадилъ васъ на ладонку, да такъ къ брачному алтарю и доставилъ? Вотъ вы когда еще „бредить“-то начали! Но оставимъ прошлое и обратимся къ дѣйствительности. Тетенька! какъ бы я хотѣлъ быть вашимъ чулочкомъ!.. „Mais vous finirez par prononcer le mot: caleçons... mauvais sujet!“ возмущаетесь вы... Однакожъ, хоть вы и возмущаетесь, но, въ сущности, вѣдь не сѐрдитесь, милая? За что̀ же тутъ сердиться — вѣдь нынче

все можно! Въ такихъ разговорахъ проходитъ дѣло до вечера, а тамъ —опять бàиньки.

Шестой день. „Сегодня я хочу кутить!“ —говорите вы, и мы отправляемся въ „Самаркандъ“. Но тамъ застаемъ драку. Выбѣгаетъ къ намъ самъ хозяинъ и говоритъ: „Это ничего! Это офицеры купца бьютъ! сейчасъ кончатъ!“ Заказываемъ обѣдъ, спрашиваемъ шампанскаго и смотримъ другъ на друга. Припоминаемъ, какіе бываютъ на свѣтѣ „разговоры“, и никакъ припомнить не можемъ. Наконецъ я говорю: „а можетъ быть въ эту самую минуту какая-нибудь коммиссія безъ шума, безъ хвастовства, заботится объ насъ, благополучіе наше созидаетъ?“ —Finissez!— „Что? не нравится вамъ это напоминаніе, тетенька? все еще, видно „бредни“-то въ головкѣ ходятъ! Ну, нечего дѣлать, коли не нравится, ѣдемъ домой, и—бàиньки“.

На седьмой день мы всѣ слова перезабыли. Сидимъ другъ противъ друга и вздыхаемъ. Сверхъ того, я лично чувствую, что у меня во всемъ тѣлѣ зудъ. Господи! да ужъ не кузька ли на меня напалъ?

Вотъ вамъ цѣлая недѣля. Ежели мало, можно и другую такую же подобрать.

Это подробности, а вотъ и общія правила:

1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тривіально и запоздало. Нынче—все можно.

2) О „бредняхъ“ лучше всего позабыть, какъ будто ихъ совсѣмъ не было. Даже въ „антибредни“ не очень азартно пускаться, потому что и онѣ пріѣдаться стали.

Знаете ли, милая тетенька, мнѣ кажется, что скоро всѣхъ этихъ искателей и лаятелей будутъ въ участокъ брать, а тамъ имъ, вытрезвленія ради, поясницы будутъ дегтемъ мазать.

Пріѣзжайте, голубушка!

Письмо второе.

Вотъ, тетенька, какая вы милая! Побывали въ Петербургѣ и сами убѣдились, какъ у насъ хорошо. Все именно такъ и произошло, какъ я въ прошломъ письмѣ проектировалъ. И сидѣли мы, и ходили, и стояли—какъ кто хотѣлъ. А изъ публичныхъ дѣйствій—побывали въ „Самаркандѣ“, катались по Островамъ, у дочери горо-

дового на свадьбѣ присутствовали и проч. И никто насъ за это не забранилъ. Какъ пріѣхали вы къ намъ, такъ и уѣхали — на собственномъ иждивеніи, безъ провожатаго. А отчего?—оттого, голубушка, что такое нынѣче общее правило: питать довѣріе даже относительно такихъ лицъ, которыя, судя по ихъ антецедентамъ, отнюдь довѣрія не заслуживаютъ.

Предполагается, что жизнь со всѣми „сыграетъ штуку". Однихъ —„образумитъ" окончательно, другихъ—ежели и не „образумитъ", то заставитъ глотать „бредни", притворяться, подлясывать, произносить вымученныя, исполненныя антибредней professions de foi. Именно сама жизнь это сдѣлаетъ, а совсѣмъ не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверхъ дномъ, замученная, мечущаяся подъ гнетомъ паники. А мы съ вами будемъ сидѣть и радоваться. Ибо ничто такъ не веселитъ, какъ видъ человѣка, приведеннаго къ одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стопетъ, а онъ пляшетъ... ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждаетъ, а онъ *самъ собой* кричитъ: эй, жги, говори!—ха-ха! Значитъ, понимаетъ, чье мясо кошка съѣла... ха-ха! Помилуйте! да одной этой забавы по горло достаточно, чтобъ расхотѣлось не весьма требовательныхъ зрителей! А ежели къ этому, въ видѣ обстановки, прибавить толпы скалящихъ зубы ретирадниковъ, а вдали, „у воды", массы обезумѣвшихъ отъ мякинпаго хлѣба „комарсовъ"—просто со смѣха умереть можно! Особливо ежели въ домашнемъ обиходѣ нѣтъ ни наукъ, ни искусствъ, ни промышленности, ни денегъ, ни дѣла...

А второе нынѣшнее правило: не стѣснять дѣйствій, кои безспорно человѣческому естеству свойственны. Какъ напримѣръ: пить чай съ фляниовскими калачами, ходить по улицѣ, даже не имѣя уважительныхъ для передвиженія причинъ, и т. п. А такъ какъ мы съ вами именно только такія дѣйствія и совершали, то никто насъ въ баранiй рогъ и не согнулъ: пускай гуляютъ. Но ежели бы мы увлеклись и вздумали напомнить, что „errare humanum est", то намъ объяснили бы, что это пословица, вышедшая изъ употребленія, и что не только ссылаться на нее, но и сомнѣній по ея поводу возбуждать не надлежитъ. Просто-на-просто надо позабыть. Это, тетенька, третье нынѣшнее правило, и оно такъ существенно, что я позволю себѣ остановиться на немъ нѣсколько подробнѣе.

Родопроисхожденіе этого третьяго общаго правила, какъ и всего

вообще, чѣмъ красна наша жизнь, до крайности просто. „Надоѣло“ —это во-первыхъ. Тошно смотрѣть (а по другимъ: „взбѣсить можетъ“), какъ люди путаются—пусть лучше прямой дорогой въ Демидронъ *) идутъ. Во-вторыхъ, и хлопотъ съ „errare“ много: однихъ новыхъ околоточныхъ сколько потребуется. А въ-третьихъ, по нынѣшнему времени, не „errare“ нужно, а „внушать довѣріе“. Только и всего. Вспомните древнихъ римлянъ: заблуждались они да заблуждались (они и пословицу-то эту выдумали), а что изъ того вышло?— сначала паденіе западной римской имперіи, а потомъ и восточной. А еслибъ они не заблуждались, по ѣздили въ „Самаркандъ“, то римская-то имперія и поднесь, пожалуй, процвѣтала бы; вандалы же, сарматы и скиѳы и сейчасъ гоняли бы Макаровыхъ телятъ и въ лѣсахъ Германіи, и на низовьяхъ Дуная и Днѣпра.

Все это такъ умно и основательно, что не согласиться съ этими доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнѣвъ. Но не могу не сказать, что мнѣ, какъ человѣку, тронутому „бреднями“, все-таки по временамъ представляются кое-какія возраженія. И прежде всего слѣдующее: что же, однако, было бы хорошаго, еслибъ сарматы и скиѳы и доднесь гоняли Макаровыхъ телятъ? Вѣдь пожалуй и мы съ вами паслись бы, въ такомъ случаѣ, гдѣ-нибудь на берегахъ Мьи? **)

Похоже на то, что паслись бы. Какъ ни ненадежна пословица, упразднившая римскую имперію, но сдается, что еслибъ она не пользовалась такою популярностью, то многое изъ того, что нынѣ заставляетъ биться наши сердца гордостью и восторгомъ, развилось бы совсѣмъ въ другомъ направленіи, а можетъ быть и окончательно захирѣло бы въ зачаточномъ состояніи. Могло ли бы, напримѣръ, состояться призваніе варяговъ, еслибы „errare“ своевременно не повредило восточную римскую имперію и черезъ то не заставило бы ея околоточныхъ смотрѣть на этотъ фактъ сквозь пальцы? А еслибы не состоялось призваніе варяговъ, то не было бы удѣльнаго періода, не было бы боярина Кучки и основанія Москвы, не было бы основанія города Санкть-Петербурга и учрежденія института урядниковъ. Вотъ

*) Извѣстное въ Петербургѣ увеселительное заведеніе, украшеніе котораго составляетъ дѣвица Филиппо.

**) Старинное названіе рѣки Мойки.

что надѣлало „errare humanum est“. Имѣемъ ли же мы право такъ строго относиться къ нему?

Вообще ничто въ мірѣ не пропадаетъ даромъ, милая тетенька. Въ сущности, и восточная римская имперія не пропала, а только мѣста, насиженныя „порфирородными и „багрянородными“, заняли „мохамедовы сыны“. „Порфирородные“-то ушли, а восточные римляне и при „мохамедовыхъ сынахъ“ остались при прежнихъ занятіяхъ, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что уже не „багрянородные“, а мохамедовы сыны мужей обратили въ рабство, а женъ и дѣвъ (которыя получше) разобрали по рукамъ. Но, Богъ дастъ, и мохамедовы сыны уйдутъ, а на ихъ мѣстѣ явятся или Георгъ греческій, или Карлъ румынскій, или Миланъ сербскій, или наконецъ Баттенбергскій принцъ. А восточные римляне по прежнему останутся при своихъ занятіяхъ и по прежнему Баттенбергскій принцъ мужей обратитъ въ рабство, а женъ и дѣвъ уведетъ въ плѣнъ. И все это совершится при помощи „errare humanum est“.

Но, можетъ быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть и независимо отъ „errare humanum est“... Совершенно съ вами согласенъ. Какъ могли бы возникнуть?—да такъ, какъ-нибудь. Тутъ „тянъ“, тамъ „лянъ“ — смотришь, анъ и „карабь“. Въ ляповую пору да въ тяповыхъ головахъ такія ли предпріятія зарождаются! А сколько мы ляповыхъ поръ пережили! сколько тяповыхъ головъ перевидѣли!

Но этого мало. Оставимъ въ сторонѣ событія мірового значенія и обратимся къ нашей обыкновенной, будничной дѣйствительности. И тутъ мы на каждомъ шагу убѣждаемся, какіе глубокіе слѣды повсюду оставило послѣ себя „errare humanum est“. Эти прелестныя ботинки, которыя такъ обаятельно держатъ въ плѣну вашу ножку — онѣ плодъ заблужденій, потому что „башмачникъ“ безчисленное множество столѣтій заблуждался, плетя лапти или выкраивая изъ сырыхъ кожъ безобразные широги, покуда наконецъ дошелъ до того перла созданія, который представляетъ собой современная изящная ботинка. Эти прошивочки, сквозь которыя пробивается нѣчто плѣнительно-розовое—и онѣ плодъ заблужденій, потому что трудно даже представить себѣ, милая тетенька, что̀ вышло бы, если бы горькая необходимость заставила васъ украсить вашу грудку *первыми* кружевами, сплетенными *первой* кружевницей (говорятъ, будто въ Кадии-

ковскомъ уѣздѣ плетутъ хорошія кружева—не вѣрьте этому, голубушка!). Эти отлично выпеченныя, мягкія какъ пухъ булки, которыя мы ѣдимъ—плодъ заблужденій, ибо *первый* хлѣбникъ непремѣнно началъ съ мѣсива, котораго въ наше время не станетъ ѣсть даже „торжествующая свинья“ (см. „За рубежемъ“, гл. VI). Даже малороссійское сало—ужъ на что̀ гаже!—и то плодъ заблужденій, потому что прототипъ его есть сало, которымъ современные намъ кабатчики смазываютъ оси своихъ „кунецкихъ“ телѣжекъ. А у насъ съ вами оси патентованныя (смазываемыя особеннымъ составомъ), потому что мы ѣздимъ въ изящныхъ каретахъ, первообразъ которыхъ однакожъ представляетъ собою... телѣга!

Когда все это, и міровое, и будничное, представляется уму во всѣхъ деталяхъ и развѣтвленіяхъ и когда, въ то же самое время, въ ушахъ звенятъ клики околоточной литературы, провозглашающей упраздненіе девиза, благодаря которому мы имѣемъ крупповскія пушки, ружья-шассиò и филипповскіе калачи — право, становится жутко. Такъ вотъ и кажется, что сейчасъ принесутъ корыто съ мѣсивомъ и скажутъ: лакай! Или заставятъ бѣжать въ лѣсъ и тамъ собственными зубами зайцевъ ловить. Изловимъ, перекусимъ косому горло, въ крови перепачкаемся да такъ сырьемъ все нутро до самой мездры и выѣдимъ! И потеряемъ при этомъ и ощущеніе холода, и ощущеніе стыда! будемъ мчаться по горамъ и по доламъ безъ перчатокъ, съ нечищенными ногтями, съ обвислыми животами (вспомните: въ старину москвичи называли рязанцевъ „кособрюхими“ — стало быть, такой примѣръ ужъ былъ), съ обросшими шерстью поясницами, а быть можетъ и съ хвостами! Потому что все это: и ощущеніе холода, и ощущеніе стыда, и упругіе животы, и выхоленныя поясницы — все это послѣдствія „errare humanum est“.

Таковы соображенія, которыя возникаютъ во мнѣ при мысли о третьемъ нынѣшнемъ общемъ правилѣ. И не могу не сознаться, что при существованіи ихъ подчиненіе этому правилу становится дѣломъ очень тяжелымъ, почти несноснымъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни жаль разставаться съ тѣмъ или другимъ излюбленнымъ девизомъ, но если разъ признано, что онъ „надоѣлъ“ или черезъ-чуръ много хлопотъ стоитъ—дѣлать нечего, приходится

зайцевъ зубами ловить. Главное дѣло, общая польза того требуетъ, а передъ идеей общей пользы должны умолкнуть всѣ случайныя соображенія. Потому что общая польза—это, съ одной стороны... а впрочемъ что̀, бишь, такое общая польза, милая тетенька?

Въ старину мы были не особенно сильны по части опредѣленій и въ большинствѣ случаевъ полагали такъ: общая польза есть польза квартальныхъ надзирателей. Или, говоря другими словами, общая польза есть то̀, что̀ приноситъ надзирателямъ доходъ (безгрѣшный) или обезпечиваетъ ихъ спокойствіе. Но нынѣ это ученіе признается уже неудовлетворительнымъ, и сами участковые надзиратели откровенно заявляютъ, что не ради ихъ общая польза существуетъ, а, напротивъ того, они ради общей пользы получаютъ присвоенное содержаніе. Подобно сему должны мыслить и прочіе обыватели, хотя бы и безъ надежды на полученіе содержанія.

Именно такъ я и поступаю. Когда мнѣ говорятъ: „надоѣло!“ — я отвѣчаю: „помилуйте! хоть кого взбѣситъ!“ Когда продолжаютъ: „и безъ eггаге хлопотъ много“—я отвѣчаю: „чего же лучше, коли можно прожить безъ eггаге!“ Когда же заканчиваютъ: „не заблуждаться по нынѣшнему времени приличествуетъ, а внушать довѣріе!“ —я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный видъ, беру въ руки тросточку и выхожу гулять на улицу.

Теперь лѣто, и на петербургскихъ улицахъ пропасть рабочаго люда. Необходимо, чтобъ эти люди питали довѣріе. Бредетъ какой-нибудь радимичъ или корела, съ лопатой и киркой на плечѣ, и непремѣнно вздыхаетъ (и объ чемъ это они вздыхаютъ?). И вотъ, на встрѣчу его вздохамъ сорвался съ цѣпи человѣкъ, у котораго на лбу такъ и горитъ: „въ надеждѣ славы и добра“... Смотритъ на него корела и долго ничего не понимаетъ. Однакожъ, постепенно окрыляется, окрыляется—и вдругъ мысль: вѣдь это значитъ, что недоимки простятъ!“ И что̀ же! куда разомъ все подѣвалось: и вздохи, и задавленный видъ! Пошелъ корела, какъ ни въ чемъ не бывало, лопатой поковыривать, киркой постукивать... Богъ въ помощь, корела!

Вы скажете, можетъ быть, что это съ его стороны своего рода „бредни“ —такъ что̀-жъ такое, что бредни! Это бредни здоровыя, которыя необходимо поощрять: пускай бредитъ корела! Безъ такихъ бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше странствіе... спросите у вашего добраго деревенскаго старосты, чѣмъ было

бы наше земное странствіе, еслибъ насъ не поддерживала надежда на сложеніе недоимокъ?

На дняхъ я зашелъ въ курятную лавку и въ одну минуту самымъ простымъ способомъ всѣмъ тамошнимъ „молодцамъ“ бальзамъ довѣрія въ сердца пролилъ.—Почемъ, спрашиваю, пару рябчиковъ продаете?—„Рубль двадцать, господинъ!“—Тогда, махнувъ въ воздухѣ тросточкой, какъ дѣлаютъ всѣ благонамѣренные люди, когда желаютъ, чтобы по щучьему велѣнію двугривенный превратился въ полуимперіалъ, я воскликнулъ:—Истинно говорю вамъ: не успѣетъ курица яйцо снести, какъ эта самая пара рябчиковъ будетъ только сорокъ копѣекъ стоить!

Почему я это сказалъ и какимъ образомъ оно у меня вышло—я самъ не могу объяснить. Вѣроятнѣе всего, что я солгалъ (нынче общее правило: лгать, покуда не уличатъ). Но надо было видѣть, какъ эти простодушные люди при моихъ словахъ встрепенулись и ободрились. „Да мы всей душой!“—„да для насъ же лучше!“—„да у насъ тогда отбоя отъ покупателевъ не будетъ!“—только и слышалось со всѣхъ сторонъ. И замѣтьте, что я ни однимъ словомъ объ „таксѣ“ не намекалъ. Ибо „такса“ напоминаетъ отчасти о соціализмѣ, отчасти о бывшемъ министрѣ внутреннихъ дѣлъ Перовскомъ и отчасти о водевилистѣ Каратыгинѣ, который въ водевилѣ „Булочная“ возвелъ ученіе о „таксѣ“ въ перлъ созданія „Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce bas monde!“—какъ сказалъ нѣкогда Ламартинъ.

Такова программа всякаго современнаго дѣятеля, который объ общей пользѣ радѣетъ. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по лавкамъ и... внушать довѣріе. Ибо ежели мы не будемъ ходить по лавкамъ, то у насъ пожалуй на вѣчныя времена цѣна пары рябчиковъ установится въ рубль двадцать копѣекъ. Подумайте объ этомъ, тетенька!

Только ужъ само собою разумѣется, что если мы рѣшаемся „внушать довѣріе“, то объ „errare“ надо отложить попеченіе и для себя, и для другихъ. Потому что, въ противномъ случаѣ, возьметъ „молодецъ“ въ руки счеты, насчетъ прокладывать да высчитывать, и окажется, что ничего дешеваго у насъ въ будущемъ, кромѣ кузьки да гессенской мухи, не предвидится.

Такимъ образомъ оказывается, что „внушать довѣріе“—значитъ перемѣщать центръ „бредней“ изъ одной среды (уже избередившейся) въ другую (еще не искушенную бредомъ). Напримѣръ, мы съ вами обязываемся воздерживаться отъ бредней, а корела пусть бредитъ. Мы съ вами пусть не надѣемся на сложеніе недоимокъ, а корела—пусть надѣется. И все тогда будетъ хорошо, и мы еще поживемъ. Да какъ еще поживемъ-то, милая тетенька!

Но что же нужно сдѣлать для того, чтобы забредило такое подавленное суровою дѣйствительностью существо, какъ корела?—Очень немногое: нужно только имѣть на-готовѣ запасъ фантастическихъ картинъ, смыслъ которыхъ былъ бы таковъ: вотъ радости, которыя тебя впереди ожидаютъ! Или, говоря другими словами, надобно постоянно и безъ устали лгать.

Отсюда новый девизъ: „humanum est mentire“, которому предназначено замѣнить вышедшую изъ употребленія римскую пословицу и съ помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать нашъ жизненный обиходъ. Весь вопросъ заключается лишь въ томъ, скоро ли насъ уличатъ! Ежели не скоро—значитъ, мы устроились до извѣстной степени прочно; ежели скоро—значитъ, надо лгать и устраиваться сызнова.

Задача довольно трудная, но она будетъ въ значительной мѣрѣ облегчена, ежели мы дисциплинируемъ языкъ такимъ образомъ, чтобы онъ лгалъ самостоятельно, то-есть какъ бы не во рту находясь, а гдѣ-нибудь за пазухой.

Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что между прежнимъ, такъ сказать, до-реформеннымъ лганьемъ и нынѣшнимъ—такая же разница, какъ между лимономъ только-что сорваннымъ съ дерева и лимономъ выжатымъ. Прежнее лганье было сочное, пахучее, ядрёное; нынѣшнее лганье—дряблое, безухаанное, вымученное.

До-реформенные лгуны составляли какъ бы особую касту (не всякій сознавалъ себя достаточно одареннымъ), въ родѣ старинныхъ „явныхъ прелюбодѣевъ“ или нынѣшнихъ разсказчиковъ изъ народнаго быта. Они лгали не отъ нужды, а потому, что „веселіе Руси есть лгати“. Поэтому лганье ихъ было восторженное, художественно-образное и чуждое всякой тенденціозности. Память о лгунахъ нашей черноземной полосы жива и поднесь; но, увы! старые тамбовцы-лгуны

постепенно вымираютъ, а потомки ихъ, пропившіеся и прогорѣвшіе, довольствуются невинным бормотаніемъ.

Я помню, какъ при мнѣ однажды тамбовскій лгунище разсказывалъ, какъ его (онъ говорилъ: „одного моего друга“, но по искаженіямъ лица и дрожаніямъ голоса было ясно, что рѣчь идетъ о немъ самомъ) въ клубѣ за фальшивую игру въ карты били. Сначала вымазали горячей котлеткой лицо; потомъ приклеили къ голой спинѣ бубноваго туза; потомъ, встряхнувъ, поставили на колѣни и велѣли прощенья просить, и наконецъ уже начали настоящимъ образомъ бить. Кто-то крикнулъ: „вымазать ему, мерзавцу, дегтемъ спину!“ —но тутъ ужъ полиціймейстеръ вступился. Передавая эти потрясающія подробности, разсказчикъ видимо переживалъ незабвенныя минуты, о которыхъ повѣствовалъ. Когда рѣчь шла о котлетѣ—его лицо сжималось и голова пригибалась, какъ бы уклоняясь отъ прикосновенія посторонняго тѣла; когда дѣло доходило до приклейки бубноваго туза, спина его вздрагивала; когда же онъ приступилъ къ разсказу о встряскѣ, то простиралъ руки и встряхивалъ ими воображаемый предметъ. Однимъ словомъ, выходило и образно, и талантливо. Но въ то же время было несомнѣнно, что онъ по крайней мѣрѣ на двѣ трети налгалъ. Взявши въ основу истинное происшествіе, онъ постепенно увлекался художественными инстинктами (а можетъ быть и состраданіемъ къ самому себѣ) и доходилъ до небылицъ. Скажи онъ просто: били!—право, этого было бы совершенно достаточно, чтобъ пробудить жалость во всѣхъ сердцахъ. Но у него горѣло воображеніе, но сердце его учащенно билось и накипѣвшія слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!

Такъ что, въ заключеніе, позабывъ, что разсказываетъ о другѣ, и отождествивъ себя съ нимъ, онъ воскликнулъ:

— Вотъ она, ключица-то! это мнѣ въ ту пору переломили! Чисто отдѣлали... а?

Смотримъ: ключица какъ ключица—цѣлёхонька! Ахъ, Иванъ Иванычъ!

Словомъ сказать, еще немного—и эти люди рисковали сдѣлаться беллетристами. Но въ то же время у нихъ было одно очень цѣнное достоинство: всякому съ перваго же ихъ слова было понятно, что они лгутъ. Слушая до-реформеннаго лжеца, можно было рисковать,

что у него отсохнетъ языкъ, а у слушателей уши, но никому не приходило въ голову основывать на его повѣствованіяхъ какіе-нибудь разсчеты или что-нибудь серьезное предпринять.

Нынѣче на сцену выступили лгуны мало талантливые, тусклые по формѣ и тенденціозные по существу.

По формѣ современное лганье есть не что иное, какъ грошовая будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгунъ говоритъ „да“ тамъ, гдѣ слѣдуетъ сказать „нѣтъ“—и наоборотъ. Только и всего. Нѣтъ ни украшеній, ни слезъ, ни смѣха, ни перла созданія—одна дерюжная, чортъ ее знаетъ, правда или ложь. До такой степени „чортъ ее знаетъ“, что ежели вамъ въ глаза уже триста разъ сряду солгали, то и въ триста-первый разъ не придетъ въ голову, что вы слышите триста-первую ложь.

По существу современное лганье коварно и въ то же время тенденціозно. Оно представляетъ собой послѣднее убѣжище, въ которомъ мудрецы современности надѣются укрыться отъ напора развивающихся требованій жизни; послѣднее средство, съ помощью котораго они думаютъ поработить въ свою пользу обезумѣвшее подъ игомъ злоключеній большинство.

Дерюжность формы въ особенности дѣлаетъ нынѣшнюю ложь опасною. Она отнимаетъ возможность выяснить цѣли лганья, а стало быть и устеречься отъ него. Сверхъ того, лжецъ новой формаціи никогда не интересуется, какого рода страданія и боли можетъ привести за собою его ложь, потому что подобнаго рода предвидѣнія могли бы разбудить въ немъ стыдъ или опасенія и, слѣдовательно, стѣснить его свободу. Разъ навсегда сбросивъ съ себя иго напоминаній и уколовъ, онъ лжетъ нагло, безсердечно и самодовольно, такъ что даже достаточно проницательные люди внимаютъ ему въ недоумѣніи или же, въ крайнемъ случаѣ, видятъ въ его лганьѣ простую безсмыслицу.

Представьте себѣ, что вы въ первый разъ очутились въ Петербургѣ и желаете знать, какимъ образомъ пройти, напримѣръ, въ Гороховую улицу. И вотъ первый лжецъ посылаетъ васъ на Обводный каналъ, а по прибытіи туда васъ принимаетъ второй лжецъ и говоритъ: надо идти на Выборгскую Сторону. Вы измучились, погубили пропасть времени, вы въ изумленіи спрашиваете себя: зачѣмъ понадобилась эта мистификація?—а въ эту самую минуту къ вамъ под-

ходитъ третій лжецъ и совѣтуетъ поискать Гороховую въ окрестностяхъ Екатерингофа. Спрашивается: какой имѣете вы резонъ не послѣдовать этому совѣту? И вы опять губите время, опять изнуряетесь, не понимаете, что̀ такое случилось.

Вотъ нынѣшніе лгуны каковы.

Я не спорю, что всю эту процедуру охотно продѣлалъ бы и дореформенный лгунъ: но, выполняя ее, онъ былъ бы искренно убѣжденъ, что это значитъ „дураковъ учить“. И долго бы заливался смѣхомъ при мысли, „какую рожу дуракъ состроитъ, когда въ Екатерингофъ приметъ“. Нынѣшній лгунъ даже подобными неумными мотивами не задается. Онъ лжетъ на всякій случай, но лжетъ не потому, что у него въ горлѣ застряла случайная безсмыслица, а потому, что ложь сдѣлалась руководящимъ принципомъ его жизни, исходнымъ пунктомъ всей его жизнедѣятельности. Или, говоря другими словами, *онъ лжетъ потому, что, по нынѣшнему времени, нельзя назвать правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю.*

Мнѣ кажется, что въ послѣднихъ, подчеркнутыхъ мною словахъ заключается вся разгадка современнаго лганья. Прежде мы лгали, потому что была потребность *скрасить* правду жизни; нынче — лжемъ потому, что *боимся притронуться* къ этой правдѣ. Какъ будто въ самомъ воздухѣ разлито нѣчто предостерегающее: „Смотри! только пикни!—и всѣ эти основы, краеугольные камни и величественныя зданія—все разлетится въ прахъ!“ Или яснѣе: ежели ты скажешь правду, то непремѣнно сквозь землю провалишься; ежели солжешь—можетъ быть, время какъ-нибудь и пройдетъ.

Понятное дѣло, что послѣднее все-таки выгоднѣе.

Вѣроятно вы удивитесь моимъ опасеніямъ относительно основъ и краеугольныхъ камней. Возможное ли дѣло, скажете вы, чтобъ имъ угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро въ каждомъ городѣ заведено по исправнику, а въ каждомъ селеніи по уряднику, которые только и дѣлаютъ, что наблюдаютъ за незыблемостью краеугольныхъ камней? Да, наконецъ, и ежечасный опытъ ужели не убѣждаетъ?..

Убѣждаетъ, голубушка, и не только убѣждаетъ, но даже сомнѣнія не оставляетъ. Лично я всегда вѣрилъ въ краеугольные камни

и продолжаю вѣрить. Нельзя не вѣрить, когда ежечасно собственными глазами видишь, какъ потрясателя на веревочкѣ ведутъ въ участокъ, и когда ежедневно узнаешь изъ газетъ, какъ ловко съ ихнимъ братомъ распоряжаются въ судебныхъ инстанціяхъ. Но согласитесь, что ежели на каждой россійской соснѣ сидитъ по воронѣ, которыя всѣ въ одинъ голосъ кричатъ: „посрамлены основы! потрясены!“—то какдую жецѣну можетъ имѣть мнѣніе человѣка, положимъ, благонамѣреннаго, но затерянаго въ толпѣ? И притомъ такого, который, вопреки всѣмъ вороньимъ свидѣтельствамъ, утверждаетъ, что никогда околоточные надзиратели не были такъ дѣятельны, никогда основы не стояли такъ прочно и незыблемо, какъ теперь? Вѣдь человѣкъ-то этотъ, пожалуй, подозрительный! Вѣдь онъ-то, пожалуй, самый потрясатель и есть!

А сверхъ того, право, дѣло совсѣмъ не въ защитѣ основъ и даже не въ томъ, незыблемо ли онѣ стоятъ, или шатаются. Очень это нужно вороньему роду! Ему нужно одно: чтобы въ общественномъ сознаніи произошелъ оптическій переполохъ, благодаря которому и незыблемо стоящія основы казались бы расшатанными и неограждеными. Потому что переполохъ развязываетъ имъ руки и сообщаетъ ихъ крикамъ авторитетность. Увы! нынче даже въ нашей небогатой численнымъ персоналомъ литературѣ (еще недавно столь гадливой) завелись цѣлые рои паразитовъ, которые только и живутъ, что переполохами да неплатежемъ арендныхъ денегъ.

Несомнѣнно, что эти каркающіе мудрецы—просто-на-просто проходимцы. Но они знаютъ, какого рода каркапье требуется въ данный моментъ на рынкѣ,—и это обезпечиваетъ имъ успѣхъ. Не факты дѣйствительнаго грабежа и вопіющаго предательства священнѣйшихъ интересовъ страны приводятъ ихъ въ негодованіе, но попытки отнестись къ этимъ фактамъ сознательно и указать ихъ значеніе въ связи съ общимъ жизненнымъ строемъ. Подобныя указанія для нихъ—ножъ вострый, потому что когда ихъ формулируютъ, то они сами сознаютъ себя Юханцевыми и Базенами и начинаютъ мучиться опасеніями, какъ бы не разгадали ихъ игры. Что же удивительнаго, что они надсѣдаются, каркая: „посрамлены основы! потрясены!“ Это не крикъ сердца, а только предумышленный отводъ глазъ. А простодушные люди проходятъ мимо и думаютъ: должно быть, и дѣйствительно наше дѣло плохо, коль скоро весь сосновый боръ по-

головно закаркалъ! И чувствуютъ, какъ постепенно ими овладѣваетъ оторопь.

Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой всѣ послѣдующія лжи. Вотъ почему прочная постановка этой лжи прежде всего необходима каркающимъ мудрецамъ.

Какъ истинно русскій человѣкъ, и я не изъятъ отъ простодушія и соединенныхъ съ нимъ предразсудковъ, а потому воронье карканье и на меня наводитъ суевѣрную оторопь, сопряженную съ ожиданіемъ грозящей опасности. Помилуйте! вѣдь отъ этихъ распутныхъ птицъ всего ждать можно! Вѣдь ихъ нельзя ни убѣдить, ни усовѣстить, потому что онѣ сами себя заранѣе во всемъ убѣдили и простили. Онѣ не чувствуютъ потребности ни въ одной изъ тѣхъ святынь, которыя для каждаго честнаго человѣка обязательно хранить въ своемъ сердцѣ. Нѣтъ для нихъ ничего дорогого, завѣтнаго, такъ что даже съ представленіемъ объ отечествѣ въ ихъ умахъ соединяется только представленіе о добычѣ—и ничего больше. Все это сообщаетъ ихъ дѣятельности такой размахъ, такую безграничность свободы, какая обыкновенному смертному совсѣмъ недоступна. Съ непзреченнымъ злорадствомъ набрасываются эти блудницы на облюбованную добычу, усиливаясь довести ее до степени падали, и когда эти усилія, благодаря общей смутѣ, увѣнчиваются успѣхомъ, онѣ не только не чувствуютъ стыда, но съ безконечнымъ нахальствомъ и полнѣйшею увѣренностью въ безнаказанности срамословятъ: „это мы сдѣлали! мы! эта безмолвная, лежащая во прахѣ падаль—нашихъ рукъ дѣло!“

И мы съ вами должны сложить руки и выслушивать эти срамословія въ подобающемъ безмолвіи. потому что наша рѣчь впереди. А можетъ быть, ни впереди, ни назади—нигдѣ нашей рѣчи нѣтъ и не будетъ.

Конечно, и это карканье, и его постыдныя послѣдствія могли бы быть легко устранены, еслибъ мы рѣшились сказать себѣ: а ну-те, вспомнимте почтенную римскую пословицу да и постараемся. при ея пособіи, опредѣлить, отчего приплодъ Юханцевыхъ съ каждымъ годомъ усиливается, а приплодъ Аристидовъ въ такой же прогрессіи уменьшается? Но, къ сожалѣнію, не отъ насъ съ вами зависитъ осуществленіе этого разумнаго проекта. Воспоминаніе о паденіи римской имперіи такъ огорошило воображеніе простодушныхъ россіянъ, что,

несмотря на то, что послѣ того состоялось открытіе Америки и изобрѣтеніе пороха, они все-таки лучше рѣшаются лгать, нежели заблуждаться.

А какъ бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да блуждали, а нѣкоторые изъ насъ, можетъ быть, нашли бы и просвѣты. А основы тѣмъ временемъ стояли бы себѣ да стояли; архистратиги же, приставленные для наблюденія за нами, записывали бы наши блужданія на бумажкѣ и сносили бы эти бумажки въ коммиссію. Въ какую коммиссію — это безразлично. Зайдите въ любой казенный домъ — вездѣ хоть какую-нибудь коммиссію да найдете. Такъ вотъ туда. А въ коммиссіи бумажки наши разсортировали бы, наклеили бы на картонные листы, предметъ къ предмету, и затѣмъ...

Дальнѣйшій ходъ дѣла извѣстенъ. Но какія бы рѣшенія коммиссія ни приняла, во всякомъ случаѣ дѣло обошлось бы тихо, благородно. Въ самомъ крайнемъ случаѣ, еслибъ не послѣдовало даже никакихъ рѣшеній, то вѣдь и это ужъ былъ бы результатъ громадный. Во-первыхъ, удовлетворена была бы благородная (humanum est — что̀ можетъ быть этого выше!) потребность блужданія; во-вторыхъ, краеугольные камни были бы основательно ощупаны, и оказалось бы, что они цѣлёхоньки.

И что̀-жъ! вмѣсто всего этого, мы предпочитаемъ городить какую-то фантастическую чепуху на томъ только основаніи, что заблужденія, дескать, могутъ что-то подорвать, а въ лганьѣ якобы заключается творческая сила!

Однако я замѣчаю, что на каждомъ шагу впадаю въ противорѣчія. Съ одной стороны, я очень хорошо понимаю, что въ виду общей пользы необходимо отказаться отъ заблужденій; но, съ другой стороны, какъ только начну приводить это намѣреніе въ исполненіе, такъ, незамѣтно для самого себя, слагаю заблужденіямъ панегирикъ. Но, право, это зависитъ не отъ меня. Вся обстановка нашего существованія такова, что никакимъ образомъ отъ двоегласія не убѣжишь. Въ молодости за нами наблюдали, чтобы мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службѣ, такъ что всѣ усилія наши были направлены къ тому, чтобъ въ одномъ лицѣ совмѣстить и человѣка, и чиновника. Это ли было не двоегласіе? Теперь отъ насъ требуютъ, чтобъ мы исключительно объ общей пользѣ радѣли, а между тѣмъ далеко ли время, когда въ „бредняхъ“ (упразд-

ніе крѣпостного права — развѣ это не величайшая изъ „бредней“!) не только ничего потрясательнаго не видѣлось, но и прямо таковыя признавались благопотребными и споспѣшествующими? Какъ тутъ сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбѣжно восторжествуетъ и что затѣмъ, хочешь не хочешь, а все остальное придется „бросить“. Но покуда какъ будто еще совѣстно. А ну какъ въ этомъ „благоразумномъ“ поступкѣ увидятъ измѣну и назовутъ за него ренегатомъ? Съ какими глазами покажусь я тогда своимъ друзьямъ — хоть бы вамъ, милая тетенька? Неужто-жъ на старости лѣтъ придется новыхъ друзей, новыхъ тетенекъ искать? — тяжело вѣдь это, голубушка!

Нѣкоторые полагаютъ, что ренегатамъ живется хорошо и что они двойные оклады за свое ренегатство получаютъ. Право, это не такъ. Конечно, по нуждѣ и ренегата иногда чествуютъ, но внутренно его все-таки презираютъ. И тѣ презираютъ, которыхъ онъ предалъ, и тѣ, въ пользу которыхъ совершилъ предательство. Послѣдніе, впрочемъ, не столько презираютъ, сколько спѣшатъ надругаться. Они не могутъ забыть, что ренегатъ когда-то былъ ихъ противникомъ, и потому, какъ только онъ сбѣжалъ изъ первоначальнаго лагеря, такъ сейчасъ его забираютъ въ лапы: попался! теперь только держись! Одинъ подойдетъ — въ лицо плюнетъ, другой подойдетъ — плюху дастъ. А ренегатъ притворяется, будто не понимаетъ. Но чего ему это притворство стоитъ... ахъ, тетенька! Итакъ, разсказы о двойныхъ окладахъ и о томъ, будто бы ренегатовъ подъ образа сажаютъ, положительно принадлежатъ къ области баснословія. Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тѣхъ поръ, пока не успѣютъ выкушать его въ помояхъ; когда же убѣдятся, что онъ по уши погрузился въ золото и что возвратъ въ первобытное состояніе для него ужъ немыслимъ, то ограничиваются скудными подачками и изобильными пинками. Ренегатъ прочно утвердившійся на высотѣ — рѣдкость; но и такому обыкновенно по смерти втыкаютъ въ могилу осиновый колъ.

Впрочемъ все, что я сейчасъ объ ренегатахъ сказалъ — все это *прежде* было. А впредь, можетъ быть, и дѣйствительно ихъ будутъ кормить брусникой, сдобренной тѣмъ медомъ, о которомъ и въ пѣснѣ поется. Ничего — съѣдятъ. Недаромъ же масса кандидатовъ на это званіе съ каждымъ днемъ все увеличивается да увеличивается.

И все-таки, рано или поздно, а придется „бросить“. Ибо жизненная машина такъ премудро устроена, что если не „бросишь“ motu proprio, то, все равно. обстоятельства тебя къ одному знаменателю приведутъ. А въ практическомъ отношеніи развѣ не одинаково, отчего ты кувыркаешься: оттого ли, что душа въ тебѣ играетъ. или оттого, что кошки на сердцѣ скребутъ? Говорятъ, будто въ сихъ случаяхъ самое лучшее—помереть. Но развѣ это разрѣшеніе?

Итакъ, во имя „общей пользы“! Воспряньмте, тетенька. и будемте лгать! Господи благослови!

Прежде всего установимъ исходный пунктъ: основы потрясены. Повторяю: это будетъ ложь несомнѣнная, но она необходима для прикрытія всѣхъ остальныхъ лжей. Она огорошитъ общество и сдѣлаетъ его способнымъ принимать небылицы за правду, дѣйствительность накаркашную за дѣйствительность реальную. А это для насъ — самое важное.

Что̀ нужды, что основы и не думаютъ шататься—пускай простодушные люди вѣрятъ, что онѣ не только шатаются, но и окончательно посрамлены. Это поразитъ ихъ воображеніе, а намъ поможетъ изъ нихъ веревки вить. Пускай они мечутся въ нелѣпомъ переполохѣ—мы скажемъ имъ, что это переполохъ спасительный, въ концѣ котораго стоитъ торжество „общей пользы“. Пускай, въ слѣпомъ недоумѣніи. они остервенятся въ виду всякой попытки ввести въ жизнь элементъ сознательности—мы поощримъ эти остервенѣнія, потому что какъ только мы допустимъ вторгнуться элементу сознательности, такъ тотчасъ же, вслѣдъ за этимъ вторженіемъ, исчезнетъ все наше обаяніе, и мы сойдемъ на степень обыкновенныхъ огородныхъ пугалъ.

Вотъ, милая тетенька, что такое общая польза. ради которой мы съ такимъ самоотверженіемъ обязываемся примѣнять къ жизни творческую силу лганья. Предоставляю вашей проницательности судить, далеко ли она ушла въ этомъ видѣ отъ тѣхъ старинныхъ опредѣленій. которыя. какъ я упомянулъ выше, отождествляли ее съ пользою квартальныхъ надзирателей. Я же къ сему присовокупляю: прежде хоть квартальные „пользу“ видѣли, а нынче...

Подумайте только! пара рябчиковъ рубль двадцать копѣекъ стоитъ—надо же чѣмъ-нибудь этотъ фактъ объяснить! Хорошо, что я нашелся, предсказавъ, что не успѣетъ курица яйцо снести, какъ та же самая пара рябчиковъ будетъ сорокъ копѣекъ стоить (это произ-

вело такъ-называемое „благопріятное“ впечатлѣніе); но, во-первыхъ, находчивость не для всѣхъ обязательна, а во-вторыхъ, коли по правдѣ-то сказать, вѣдь я и самъ никакой пользы отъ моего предсказанья не получилъ. И на другой день съ меня тѣ же рубль двадцать взяли, и на третій, и такъ до сихъ поръ. Стало быть, надо утѣшить и меня. А чѣмъ же цѣлесообразнѣе можно утѣшить, какъ не утвержденіемъ, что всему причина—потрясеніе основъ?

Или еще: стонутъ древляне, оголтѣли радимичи, а корела даже не помнитъ, съ которыхъ поръ одной пушниной питается. Надо утѣшить и ихъ: успокойся, корела! дай только съ основами управиться, и все будетъ: и мамонъ чистымъ хлѣбомъ набьешь, и недоимки очистишь!

Покуда корела вѣритъ въ страшныя слова, покуда ее можно ошеломлять упоминовеніемъ о „потрясенныхъ основахъ“, надо пользоваться ея простодушіемъ. Надо, чтобъ она постоянно видѣла впереди благополучныя перспективы, всеминутно вѣрила, надѣялась и ждала, но подъ однимъ непремѣннымъ условіемъ: что все сіе лишь тогда совершится, когда краеугольные камни будутъ утверждены.

Одно только смущаетъ меня, милая тетенька. Многіе думаютъ, что вопросъ о пользѣ „отвода глазъ“ есть вопросъ болѣе чѣмъ сомнительный, и что каркать о потрясеніи основъ, когда мы отлично знаемъ, что послѣднія какъ нельзя лучше ограждены—просто безсовѣстно. А другіе идутъ еще дальше и прямо говорятъ, что еще во стократъ безсовѣстнѣе, ради торжества завѣдомой лжи, производить переполохъ, за которымъ нельзя распознать ни подлинныхъ очертаній жизни, ни ея дѣйствительныхъ запросовъ и стремленій.

Несмотря на то, что адепты „общей пользы“ грозятъ заполонить вселенную, мнѣнія объ ихъ безсовѣстности, отъ времени до времени, еще прорываются въ обществѣ и, признаюсь, порядочно-таки колеблютъ мою готовность плыть по теченію. Сущность этихъ мнѣній заключается въ томъ, что потрясательная практика должна быть тщательна отдѣлена отъ общаго хода жизни и что вѣдать этой практикой надлежитъ людямъ особеннымъ, нарочито къ тому приспособленнымъ. Пускай они ловятъ потрясателей, но пускай эта ловля не препятствуетъ естественному росту жизни...

Не знаю, можетъ быть я и неправъ, но эта теорія мнѣ по душѣ, и кажется, что невдолгѣ она восторжествуетъ. Поэтому даже могу подать вамъ благой совѣтъ. Ежели вашъ урядникъ обратится къ вамъ съ просьбой: „вмѣсто того, чтобы молочными-то скопами заниматься, вы бы, сударыня, хоть одного потрясателя мнѣ изловить пособили!“ то смѣло отвѣчайте ему: „мы съ вами въ совершенно различныхъ сферахъ работаемъ: вы—обязываетесь хватать и ловить; я—обязываюсь о преуспѣяніи молочнаго хозяйства заботиться; не будемъ другъ другу мѣшать, а останемся каждый при своемъ!“ Я положительно убѣжденъ, что самъ исправникъ, ежели только ему вѣрно будетъ переданъ вашъ отвѣтъ—и тотъ скажетъ, что вы правы.

Потому что ежели мы всѣ бросимся хватать и ловить, то кончится тѣмъ, что мы другъ друга переловимъ и останемся въ дуракахъ.

И не будетъ у насъ ни молока, ни хлѣба, ни изобилія плодовъ земныхъ, не говоря уже о наукахъ и искусствахъ. Мало того: мы можемъ очутиться въ положеніи человѣка, котораго съ головы до ногъ облили керосиномъ и зажгли. Допустимъ, что этотъ несчастливецъ и въ предсмертныхъ мукахъ будетъ свои невзгоды ставить на счетъ потрясеннымъ основамъ, но развѣ это облегчитъ его страданія? развѣ воззоветъ его къ жизни?

А лгуны—гдѣ они будутъ тогда? придутъ ли они на помощь къ погибающему? принесутъ ли ему облегченіе? Нѣтъ, не придутъ и не принесутъ, потому что имъ незачѣмъ приходить и нечего принести. Совершивши свое неистовое дѣло, они поспѣшатъ уйти прочь, чтобы продолжать пропаганду человѣконенавистничества дальше и дальше.

Весь запасъ, который они могутъ предложить на предметъ дальнѣйшаго существованія, ограничивается ранами, скорпіонами и лексикономъ неистовыхъ восклицаній: „держи! лови!“ Этотъ запасъ представляетъ *единственную правду*, которую каркающіе мудрецы имѣютъ за собой. Все остальное—и угрозы, и перспективы—все это не болѣе, какъ лганье, пущенное въ ходъ ради переполоха, имѣющаго дать имъ возможность ловить рыбу въ мутной водѣ.

Но можно ли жить съ одними скорпіонами, хотя бы и сдобренными лганьемъ?

Письмо третье.

Знаете, что̀ я выдумалъ, милая тетенька? Обратимтесь-ка мы къ содѣйствію общества. Я слышу отсюда, какъ вы восклицаете: „ахъ, опять эти бредни!“ Нѣтъ, это не бредни, мой другъ. Коли хотите, это небольшое лганье, но не бредни... отнюдь! Вѣдь мы устроимъ наше предпріятіе не какъ-нибудь, а умненько. Не будемъ обязываться, ни временемъ, ни мѣстомъ, вообще никакими формами, а просто кликнемъ кличъ.

Господа обыватели! милости просимъ, чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Высказывайтесь. Но чуръ! высказываться не сговариваясь, а вразбродъ; не черезъ зачинщиковъ, а каждый за свой счетъ; не задаваясь превратными толкованіями, а попросту безъ затѣй; не настаивая, но предоставляя.... Ибо лишь подъ условіемъ полной независимости „содѣйствій“ можно различить, у кого гропъ за душой, а у кого и совсѣмъ ничего нѣтъ. Но для чего же это содѣйствіе намъ понадобилось?—удивитесь вы.—А для того, голубушка, чтобы прикрыться и прожить. Правда, до сихъ поръ мы и безъ „содѣйствій“ были живы, но нынѣче такъ вышло, что съ помощію однихъ столоначальниковъ жить какъ будто зазорно. Чиновничество-то вѣдь, какъ оказывается, не благоустроило насъ, а погубило. Безсильное въ дѣлахъ строгости и скорости, оно легкомысленно просмотрѣло исчезновеніе нашихъ краеугольныхъ камней и не приняло соотвѣтствующихъ мѣръ къ упроченію нашихъ основъ!—такъ воніютъ всѣ современные русскіе дѣльцы.

Вмѣсто того, чтобы смотрѣть въ оба, оно своимъ гнилымъ либеральничаніемъ положило основаніе смутѣ, грозящей обществу разрушеніемъ. И кромѣ того оно заслонило собою живую, здоровую Русь. Такъ обратимтесь же къ нимъ, къ этимъ неначатымъ, неиспорченнымъ русскимъ силамъ, которыя не знаютъ ни превратныхъ толкованій, ни ватерклозетовъ, ни конституцій, ничего занесеннаго къ намъ съ гнилого Запада! Пусть онѣ скажутъ трезвенное слово, пускай помогутъ намъ въ дѣлѣ возстановленія потрясенныхъ основъ!

Такъ воніютъ всѣ современные русскіе мудрецы: и тѣ, которые заражаютъ своимъ дыханіемъ воздухъ Москвы, и тѣ, которые собственнымъ иждивеніемъ издаютъ брошюры въ Берлинѣ и Лейпцигѣ. А намъ съ вами это подавно на руку, потому что мы и прежде были

извѣстны, какъ люди, при которыхъ „содѣйствіи“ плохо не кладн. Стало быть и прекрасно. Распоясывайтесь же, неиспорченныя силы! Сказывайте, какія есть за вами трезвенныя слова! Только повторяю: не скопомъ, а каждый пусть растабарываетъ за себя.

И вотъ на нашъ кличъ изъ всѣхъ норъ выползаютъ „содѣйствователи“. Первымъ выступаетъ Ивановъ, который наивно думаетъ, что „потрясеніе основъ“ спрятано у кого-нибудь въ карманѣ, и потому предлагаетъ всѣхъ обыскать. Лично за себя онъ не боится. Съ одной стороны, душа его чиста, какъ только-что вычищенная выгребная яма; съ другой стороны, она до краевъ наполнена всякими готовностями, какъ яма сто лѣтъ нечищенная. Естественно, что онъ горитъ нетерпѣніемъ показать свой товаръ лицомъ. Слѣдомъ за Ивановымъ является Ѳедотовъ; этотъ когда-то былъ высѣченъ и никакъ не можетъ объ этомъ забыть. Потому утверждаетъ, что только власть сильная и вооруженная карами можетъ удержать Россію на краю пропасти. За ними выходитъ на сцену Пафнутьевъ (тоже былъ своевременно сѣченъ) съ обширной запиской въ рукахъ, въ которой касается вещей знаемыхъ (съ ироніей) и незнаемыхъ (съ упованіемъ на милость Божію), и въ заключеніе бормочетъ, что ради спасенія общества гнилое и либеральничающее чиновничество слѣдуетъ упразднить, а вмѣсто него учредить „средостѣніе“, сопутствуемое „оздоровленіемъ корней“. За Пафнутьевымъ идутъ разныхъ шерстей ублюдки. Во-первыхъ, маркизъ Шассе-Круазе, который сѣтуетъ на то, что, живя безвыѣздно въ Курской губерніи, только онъ съ семьей да съ гувернанкой-нѣмкой и посѣщаетъ храмъ Божій. Во-вторыхъ, баронъ Ферфлюхтеръ, который ни на что особенно не сѣтуетъ, но язвительно спрашиваетъ, почему же ничего подобнаго не встрѣчается въ Остъ-Зейскомъ краѣ? И наконецъ, князь Мирза-Мамай Тохтамышевъ, который пишетъ кратко: „Ничто съ нами издѣлалось—ни э-понимаю“. Вотъ какое богатство „содѣйствій“ сразу на свѣтъ Божій выползло. И что хочешь, то съ ними и дѣлай! Хочешь величественное зданіе общественнаго благоустройства воздвигай, хочешь въ помойную яму вали! Но я съ своей стороны полагаю: въ помойную яму ближе.—И что въ особенности дорого: за каждымъ Ивановымъ масса Ивановыхъ; за каждымъ Пафнутьевымъ легіоны Пафнутьевыхъ. И всѣ въ одинъ голосъ каркаютъ: „обыскать! въ баранiй рогъ согнуть! къ одному знаменателю привести!“

Какое величественное зрѣлище! И какъ должны быть счастливы мы съ вами, тетенька, что догадались отыскать выходъ благонамѣренному огню, сожигающему сердца этихъ не весьма изобрѣтательныхъ людей! Но вы вѣдь опять, пожалуй, возразите: „неужели-жъ, однакожъ,—скажите,—въ плотной массѣ Ивановыхъ не найдется такихъ, которымъ не безъизвѣстны и другого рода слова?“ Не спорю, вѣроятно такіе Ивановы гдѣ-нибудь и ютятся; такъ вѣдь это, мой другъ, Ивановы не-благонамѣренные, которыхъ содѣйствіе намъ ненужно. Какимъ же образомъ они найдутся, коль скоро никто ихъ не ищетъ? Замѣтьте разъ навсегда: когда кличутъ кличъ, то изъ норъ выползаютъ тѣ Ивановы, которые нужны, а тѣ, которые ненужны, остаются въ норахъ и трепещутъ. Это само собой такъ дѣлается, ибо таковъ естественный законъ благоустройства и благочинія. И, надо прибавить, законъ очень цѣлесообразный, потому что онъ устраняетъ разномысліе и подтверждаетъ вожделѣнное „единеніе“ съ присовокупленіемъ (въ небольшой дозѣ) „средостѣнія“ и (больше чѣмъ нужно) „оздоровленія корней“. Благодаря этому закону, трепещущіе Ивановы безмолвствуютъ, а дерзающіе славословятъ: „всѣхъ въ три кнута жарь!“ И затѣмъ, такъ какъ только одни эти славословія и слышны, то совокупность ихъ и составляетъ то „содѣйствіе“, которое должно насъ удовлетворить. Да, милая тетенька, „жарь“—таковъ смыслъ современныхъ „содѣйствій“. Всѣхъ жарь, а въ томъ числѣ и ихъ, прохвостовъ. Тѣмъ-то и хороши наши Ивановы, Пафнутьевы и проч., что они не только чужой, но и своей шкуры не жалѣютъ. А не жалѣютъ они своей шкуры потому, что таково ея провиденціальное назначеніе, отчасти же потому, что если имъ одну шкуру спустить, то мигомъ наростетъ другая. Эта послѣдняя увѣренность до такой степени окрыляетъ ихъ, что они подставляютъ свои спины почти играючи.

Въ виду столь беззавѣтной готовности, что надлежитъ предпринять? Не знаю, какъ вы, милая тетенька, а я положительно утверждаю: жарить—только и всего. Во-первыхъ, вѣдь и мы съ вами, когда эту кампанію предпринимали, развѣ мы не молили втайнѣ у судьбы: ахъ, кабы вышло: „жарить!“ А во-вторыхъ, этого, очевидно, требуетъ современный общественный геній. Во всякомъ случаѣ, достовѣрно извѣстно, что „содѣйствіе общества“ отвѣтило намъ словомъ: „жарь!“ Небольшое, но золотое это слово. Кромѣ того, что къ нему испокон вѣка всѣ привыкли, самое содержаніе его до такой степени просто.

что достаточно быть заурядным прохвостом, чтобы осуществить его во всѣхъ частяхъ. А главное—онъ даетъ намъ отличнѣйшую точку опоры для воздѣйствій въ будущемъ. Отнынѣ никто ужъ не обвинитъ насъ въ произволѣ, потому что на всѣ обвиненія мы отвѣтимъ: „за нами стоитъ общество!“ И ежели затѣмъ, сильные общественнымъ содѣйствіемъ, мы напишемъ на нашемъ знаменп: „жарь!“ то эхо должнъ можетъ уже, сколько угодно, перехватить это слово изъ одного конца Россіи въ другой, и мы не будемъ имѣть надобности краснѣть.

Право, съ такими „содѣйствователями“ жить еще можно, но только, разумѣется, чтобы никто не видалъ.

Увидятъ—засмѣютъ. А намъ что за дѣло! Мы будемъ свое долбить: жарь! Да пожалуй, ради прилику, слегка понатужимся, будто бы собираемся нѣчто родить; а прохожіе. видя эти потуги, будутъ ахать: „Вотъ какъ тетенькѣ трудно! Сокомъ, должно быть, „содѣйствіе“-то наше изъ нея выходитъ!“ Смотришь, анъ годикъ, другой, межъ разговоровъ и пройдетъ. А все оттого, что мы съ самаго начала умно это дѣло повели. Соблюди мы условія времени и мѣста, собери Ивановыхъ чередомъ, да предоставь имъ выбрать изъ своей среды зачинщиковъ—совсѣмъ другое бы вышло. Ивановъ—онъ въ народѣ конфузливъ. Поставь его на юру, да заставь всенародно признаться—у него языкъ, пожалуй, къ гортани прилипнетъ, или же такое что-нибудь внезапное возвѣститъ, что у насъ съ вами уши завянутъ. А вразсыпную, да ежели притомъ удостовѣренъ, что никто объ его подвигахъ не провѣдаетъ, онъ все, что отъ родителей слышалъ, то и выложитъ. Не скрою отъ васъ, что какъ ни безобиднымъ кажется это простомысленное единогласіе, но находятся же люди, которыхъ и это начинаетъ тревожить. И не простецы какіе-нибудь, какъ, напримѣръ. мы съ вами, а люди опытные, искушенные жизнію.

Слово „жарь“ напоминаетъ мнѣ нѣчто приказательное, въ родѣ mandat impératif, да и самое единомысліе представляется назойливостью, могущею перейти въ своеволіе и стѣснить свободу воздѣйствій. Что бы, кажется. проще сказать: „что угодно?“ говорятъ они: и скромно, и благородно, и безъ хлопотъ. Такъ вотъ, нѣтъ же. словно сбѣсились... „жарь“! Крамольники! Въ числѣ такихъ прихотливыхъ людей—и Ноздревъ (помните. Ноздревъ, съ которымъ мы

когда-то познакомились у Гоголя). Не пугайтесь, однакожъ, — это далеко ужъ не тотъ буянъ Ноздревъ, котораго мы знавали въ цвѣтущую пору молодости (помилуйте, на балу сѣлъ на полъ и ловилъ дамъ за подолы!), но солидный, хотя прогорѣвшій консерваторъ. Штука въ томъ, что ему посчастливилось сдѣлать какой-то удивительно удачный доносъ, который сначала обратилъ на него вниманіе охранительной русской прессы, а потомъ дальше да выше—и вдругъ въ немъ совершился спасительный переворотъ. Теперь пьетъ онъ только померанцевку, трактиръ посѣщаетъ только ради внутренней политики и обѣ бакенбарды содержитъ одинаковой длины и одинаковой пушистости.

Словомъ сказать, стоитъ на высотѣ положенія и нимало не тяготится этимъ. Встрѣтились мы съ нимъ на дняхъ, на Невскомъ, и признаюсь вамъ, первымъ моимъ движеніемъ было бѣжать. Однако, вижу, что малый-то серьезный, того гляди, городового кликнетъ: дѣлать нечего, подошелъ и началъ льстить (ужасно во мнѣ эта черта въ послѣднее время обострилась, и все оттого, что коммиссія, занимающаяся щекурнымъ вопросомъ, до сихъ поръ не привела своихъ трудовъ къ окончанію). Прежде всего, разумѣется, вспомнили, какъ мы съ нимъ и съ Чичиковымъ (вотъ истинный-то охранитель былъ! и какъ бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постояломъ дворѣ ѣли: потомъ перешли къ Межуеву... Ахъ, тетенька, какое волшебное это было время! Представьте себѣ: тогда можно было поросенка подъ хрѣномъ на постояломъ дворѣ достать!

И можно было видѣть мужика, который ѣлъ „добры щи и пиво пилъ“!

Гдѣ это было? Въ какой губерніи, въ какомъ уѣздѣ? И кто, въ то время, въ томъ мѣстѣ, былъ становымъ приставомъ? Признаюсь, у меня даже голосъ дрогнулъ при мысли, что всѣ эти факты прошли у насъ передъ глазами, и что они возникли безъ малѣйшаго участія земства, единственно помощью волшебника-станового... Но едва я освѣдомился о Межуевѣ, какъ Ноздревъ почти съ нетерпѣніемъ прервалъ меня: „Ну, что тамъ про Межуева вспоминать! Извѣстно, въ земствѣ больничные рукомойники лудитъ! Вы лучше про меня спросите! Вѣдь я, батюшка, охранителемъ сдѣлался-съ! Въ дѣятели попалъ! въ дѣятели, да-съ!“ И онъ разсказалъ все по порядку. Какъ до начала карьеры онъ сдѣлалъ доносъ, какъ это блестящее

дѣло обратило на него вниманіе, какъ вслѣдствіе этого онъ попалъ въ члены (не платящіе) „Общества частной инціативы спасенія“. Какъ онъ первый возбудилъ мысль о „содѣйствіяхъ“, а послѣ того былъ выбранъ въ учрежденную при обществѣ коммиссію для разбора обывательскихъ содѣйствій. „Теперь я состою главнымъ дѣлопроизводителемъ этого учрежденія,—прибавилъ онъ солидно:—получаю прекраснѣйшее содержаніе, пользуюсь любовью подчиненныхъ, и ежели пожелаю, — могу жениться на купчихѣ съ хорошимъ состояніемъ.

Нѣкоторое время я слушалъ его и ничего не понималъ. Я даже заглянулъ ему въ лицо, чтобы удостовѣриться, обѣ ли бакенбарды у него цѣлы. Но онъ смотрѣлъ смѣло и, повидимому, былъ такъ увѣренъ, что земля — что́ онъ ни говори — подъ нимъ, что мнѣ ничего другого не оставалось, какъ сказать себѣ: по крайней мѣрѣ на этотъ разъ онъ не вретъ.

Вообще говоря, я не любопытенъ, но нынѣче такое любопытнѣйшее время и такіе любопытнѣйшіе люди на сцену выступили, что, право, какого хотите равнодушнаго человѣка ожжетъ.

Дѣлать нечего, завернули въ трактиръ и взяли особенный кабинетъ. Затѣмъ рюмку померанцевки, подовый пирогъ: — признавайся!

И началъ онъ мнѣ, милая тетенька, сказки разсказывать...

— Коммиссія наша, говоритъ, учрежденіе не частное, да и не казенное. Съ одной стороны. она будто частное, но съ субсидіей; съ другой стороны, какъ будто казенное, но съ тѣмъ, чтобъ объ этомъ никому не говорить. Для начатія дѣйствій у насъ открыто два отдѣленія: одно подъ названіемъ: „Что̀ нужно?“, а другое подъ названіемъ: „Что̀ не нужно?“. Въ ближайшемъ будущемъ предполагается, впрочемъ, открыть еще третье отдѣленіе, подъ названіемъ: „И да, и нѣтъ“; или: „Ненужное не важнѣе ли нужнаго?“. Но такъ какъ финансы нашего общества не особенны, то до поры до времени дѣла этого отдѣленія отчасти оставляются безъ разсмотрѣнія, отчасти же распредѣляются между сторожами подъ руководствомъ отставного архиваріуса, у котораго на лбу написано: „что̀ сей сонъ значитъ?“

— Ноздревъ, вы врете!—не удержался я.

— Съ мѣста не сойти, коли вру! Да вы, милый человѣкъ, не кипятитесь, а лучше велите-ка графинчикъ на столъ поставить. И

миѣ повадиѣе будетъ, да и половому не придется за каждой рюмкой въ буфетъ бѣгать.

— Что̀ графинчикъ! Хоть цѣлую батарею. Сдѣлайте милость, разсказывайте!

Онъ выпилъ одну за другой три рюмки, обсосалъ усы и продолжалъ:

— Ну-съ, такъ вотъ. Поустроились мы для начала и объявили конкурсъ: „Господа обыватели! Что нужно? Чего не нужно? Отвѣтствуй, другъ, рѣши мое сомнѣнье! Посодѣйствуйте!“ Думали, значитъ, что десятокъ, другой, выскочитъ! Анъ вышла неожиданность. Не успѣли объявить, какъ ихъ словно прорвало—отовсюду такъ и лѣзутъ! Изъ Карасубазара, и изъ Пинеги, и изъ Челябы, и изъ Колы, —словомъ сказать, цѣлый бунтъ!

— О чемъ же они пишутъ?

— Да всѣ одно слово долбятъ: жарь! Только непремѣнно всякій при этомъ какую-нибудь сказку скажетъ. Одинъ пишетъ: „а еще присовокупляю, что до приведенія въ порядокъ умовъ необходимо всѣ учебныя заведенія закрыть“. Другой присовокупляетъ: „Изложивъ все сіе по сущей совѣсти, повергаю себя и свою семью, изъ собственныхъ малолѣтнихъ дѣтей и сиротъ, и племянниковъ состоящую, на усмотрѣніе“. А третій, пользуясь симъ случаемъ, пишетъ доносъ на сосѣда-помѣщика, на попа, на сельскаго учителя....

— Какой, однакоже, прекрасный наплывъ чувствъ!

— Н-да!.. Наплывъ! И мы-то сгоряча думали, что наплывъ...

— Послушайте! да неужто даже этого мало?

— Мало, не мало, а нахально, возмутительно—вотъ что̀! Скажите на милость: жарь! Какъ будто и словъ другихъ въ русскомъ лексиконѣ не нашлось! Приказывать изволятъ! А? Вѣдь это не содѣйствіемъ пахнетъ, а „разнузданностію страстей“... Безъ нихъ, изволите видѣть, не знаютъ! Ахъ ты, сдѣлай милость! А если жарить по обстоятельствамъ признается неудобнымъ? А если для такой операціи не имѣется въ виду достаточно опытныхъ исполнителей? А ежели по обстоятельствамъ...

— Но вѣдь они и нѣкоторыя практическія мѣры предлагаютъ. Доносятъ на учителей, на поповъ, совѣтуютъ закрыть учебныя заведенія, произвести всенародный обыскъ, учредить „средостѣніе“, „оздоровленіе корней“...

Но Ноздревъ не слушалъ меня. Въ пылу негодованія онъ опрокинулъ новую рюмку водки, и такъ несчастливо, что поперхнулся и весь посинѣлъ. Съ полчаса двое половыхъ колотили его въ загривокъ, пока наконецъ выходили.

— Поросята! — продолжалъ онъ въ изступленіи: — ласки не понимаютъ! снисхожденіе оказать нельзя! Языкъ, изволите видѣть, отвалится — „какъ угодно“ сказать. Крррамольники!..

— На чемъ же, однакожъ, вы порѣшили? — спросилъ я, весь сжимаясь отъ страха при видѣ этого неожиданнаго изступленія. Ноздревъ уже разинулъ ротъ, чтобы продолжать свой разсказъ, какъ случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное. Въ дверяхъ показалась — и сейчасъ же, впрочемъ, скрылась — чья-то голова. Ноздревъ, увидѣвъ ее, вдругъ поблѣднѣлъ. Затѣмъ онъ какъ-то судорожно заторопился, схватилъ двугривенный, который я плохо держалъ въ рукахъ, и не успѣлъ я крикнуть: держи, лови! — какъ онъ ужъ былъ за порогомъ трактира.

Внезапный перерывъ разговора, столь благопріятно начавшагося, весьма меня огорчилъ. Во-первыхъ, я намѣревался еще поспорить съ Ноздревымъ и доказать ему, что онъ черезъ-чуръ прихотливъ. Во-вторыхъ, меня очень интересовало знать, какъ поступитъ онъ съ простодушными содѣйствователями, которыхъ усердіе, имъ же самимъ вызванное, перешло, по его мнѣнію, въ „разнузданность страстей“. Въ-третьихъ, наконецъ, мнѣ чуялось, что онъ далеко не все открылъ мнѣ, и что за фантастическими формами, въ которыя онъ облекъ свой разсказъ, скрывается какое-то ядро, которое было бы не лишнее раскусить. Раскусить и, разумѣется, сейчасъ же выплюнуть. Коли хотите, негодованіе Ноздрева на рѣзкій характеръ современныхъ обывательскихъ содѣйствій не лишено было извѣстной доли основательности, потому что если поставить рядомъ выраженія „жарь“ и „какъ угодно“, то, конечно, придется отдать преимущество послѣднему.

Слово „жарь“ (особенно въ тысячекратно повторенномъ видѣ) имѣетъ въ себѣ нѣчто принудительное, почти революціонное. Оно декретируетъ цѣлую систему, и притомъ декретируетъ устами такихъ людей, которые ѣли до сихъ поръ изъ одного корыта съ поросятами. Понимаютъ ли эти люди значеніе произносимаго ими возгласа, могутъ ли они уяснить себѣ, сколько новыхъ расходовъ потребуетъ его

осуществленіе — это болѣе чѣмъ сомнительно. Я, по крайней мѣрѣ, думаю, что они потому только выкрикиваютъ: „жарь“, что слышали, какъ ихъ родители то же самое слово провозглашали, pro domô suâ, на конюшняхъ и на псарняхъ. Но они положительно не понимаютъ, что жарить не всегда удобно и возможно, что вообще сѣченіе потребуетъ цѣлую армію исполнителей, съ новыми штатами и приличнымъ содержаніемъ, и что, во всякомъ случаѣ, требованіе, выраженное въ формѣ столь рѣзко обязательной, должно стѣснять свободу воздѣйствій, и вслѣдствіе этого казаться опаснымъ. Ибо стоитъ лишь стать на покатость, а тамъ оно уже само собой подъ гору пойдетъ. Сначала кричать: „жарь!“, а потомъ пожалуй будутъ кричать: „довольно жарить!“ Понятно, что подобнаго рода перспективы не могутъ не тревожить такихъ опытныхъ знатоковъ человѣческаго сердца, какъ Ноздревъ. Но, съ другой стороны, Ноздревъ неправъ въ томъ отношеніи, что хотя, съ точки зрѣнія удобства, выраженіе „какъ угодно“ и не оставляетъ желать ничего лучшаго, но изъ него, какъ ни верти, все-таки, никакого „дѣйствительнаго содѣйствія“ не выжмешь. Коли хотите, это—почтительное подтвержденіе накопленной вѣками мудрости, это—прекрасный порывъ благороднаго чувства, но—и только. Тогда какъ слово „жарь“ въ одно и то же время заключаетъ въ себѣ идею содѣйствія и идею подтвержденія. Что оно грубовато и не стоитъ выѣденнаго яйца—это несомнѣнно; но и это слѣдуетъ приписать не разнузданности страстей, а скорѣй незаконченности нашихъ бытовыхъ формъ, невыработанности обывательской фразеологіи и недостатку воображенія. Ноздревъ и самъ не сказалъ бы ничего другого, если бы стоялъ у корыта, отъ котораго самовольно отлучился; но такъ какъ онъ добрался до ясель, то и возмечталъ, что оттуда какіе-то горизонты видить... Однако, въ сущности, онъ видитъ такую же фигу, какую видятъ и прочіе современные фиговидцы, и только трактирные пропойцы могутъ вѣрить, что онъ имѣетъ въ виду спасеніе общества. А потому сдается, что въ дѣйствительности правъ-то не онъ, а простодушный грубый Ивановъ. Ибо послѣдній чутьемъ угадалъ, что̀ нужно, и съумѣлъ эту нужду облечь въ приличествующую форму. Но во всякомъ случаѣ, если бы даже слово „жарь“ и признано было лозунгомъ, знаменующимъ приближеніе разнузданности страстей, то, по мнѣнію моему, было бы совершенно достаточно замѣтить Ивановымъ, что они черезъ-чуръ ужъ расшѣлись, и что

дальнѣйшее ихъ пѣніе въ томъ же революціонномъ смыслѣ будетъ мгновенно подавлено силою оружія. Тогда они сами догадаются, что зашли далеко, и будутъ на-ново редактировать свои „содѣйствія“ приблизительно въ такомъ родѣ: „жарь, а впрочемъ какъ угодно“.

И все обойдется благородно. Но было бы въ высшей степени несправедливо и даже жестоко подвергать ихъ за сіе заточенію, какъ это, повидимому, намѣревается пропагандировать Ноздревъ.

Непрактично отталкивать отъ себя дѣтей природы, хотя бы послѣднія, по незнанію орографіи и знаковъ препинанія, и допустили нѣкоторыя невѣжества. Пускай лучше въ воздухѣ нехорошо пахнетъ, нежели огорчать невинныхъ людей, которые чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Ибо ежели мы таковыхъ отъ себя отженимъ, то на комъ же будемъ осуществлять опыты „средостѣнія“ и съ кѣмъ предпримемъ трудъ „оздоровленія корней“? Да и кто же наконецъ, чортъ побери, пойдетъ кромѣ нихъ въ товарищи... къ Ноздреву?! Ахъ, это „оздоровленіе корней“—вы не можете себѣ представить, голубушка, какъ мнѣ его хочется! Думается, что какъ только оно осуществится, такъ сейчасъ же исчезнутъ съ лица земли и пустомысленные риторы, и всуе трубящіе трубачи, и шипящіе жабы,—однимъ словомъ, все, что̀ съ такою назойливостью безнаказанно наполняетъ современную атмосферу міазмами смуты и мятежа. Подумайте, милая! когда же, въ самомъ дѣлѣ, трепетамъ нашимъ настанетъ конецъ? Когда наступитъ пора производительности и изслѣдованія, и прекратится пора ядовитыхъ шипѣній, науськивающихъ содѣйствій и пустопорожнихъ трубныхъ звуковъ? Вѣдь ужъ не о „бредняхъ“ идетъ рѣчь —ахъ, что̀ вы!—а о простомъ, простѣйшемъ „житіи“, о самой скромной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ. Шекспиры, Данты, Шиллеры, Байроны, вы, которые говорили человѣку о свободѣ, напоминали ему о совѣсти, — не до васъ намъ! Мы до того ошалѣли, что еслибы вы явились въ эту минуту, мы, не обинуясь, причислили бы васъ къ „лику мошенниковъ пера“ и „разбойниковъ печати“! Не вы теперь нужны, а городовые — что-жъ дѣлать! какъ-нибудь проживемъ и съ ними! Но пускай же судьба избавитъ насъ хоть отъ шипѣній и подлыхъ трубныхъ звуковъ, благодаря которымъ нѣтъ честнаго человѣка, который не носилъ бы тревоги въ сердцѣ своемъ!

Итакъ, начало „содѣйствія“ положено и находится въ опыт-

ныхъ рукахъ Ноздрева. Но какое же дальнѣйшее развитіе „Общество частной инициативы спасенія“ предполагаетъ дать своему предпріятію? Вѣдь не ограничится же оно въ самомъ дѣлѣ занесеніемъ въ свои скрижали слова „жарь“? Какъ хотите, а этого недостаточно. Исторія наша въ послѣднее время такъ быстро шагнула впередъ, такъ много представила неожиданныхъ и своеобразныхъ фактовъ, что для разрушенія имъ нужны уже не слова, не отвлеченности, не теоріи и даже не угрозы. Нужна „организація“, такая организація, которая давала бы практическіе результаты, которая „жарила“ бы не словомъ, но „прямо оставляя знаки на тѣлѣ“. Только тогда, когда содѣйствіе явится въ формѣ подобной организаціи, только тогда можно будетъ его назвать „подлиннымъ содѣйствіемъ“. Спрашивается: созрѣло ли какое-нибудь предпріятіе въ этомъ родѣ? Раздѣлены ли обыватели на овецъ и козлищъ съ тѣмъ, чтобы первыя пребывали въ надеждѣ на сложеніе недоимокъ, а послѣднія въ унынін ожидали рѣшенія своей участи? Предаваясь размышленіямъ, я уныло доѣдалъ свой бифштексъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что на моемъ плечѣ покоится чья-то рука. Оборачиваюсь—половой... Ахъ, тетенька, все мое столбовое дворянство такъ и вскипѣло! И знаете ли, какая мысль прежде всего осѣнила мою голову? Это—мысль: какъ они, однакожъ, забылись съ тѣхъ поръ, какъ пошли толки о средостѣніи и оздоровленіи корней!

Да, милый другъ! Сегодня онъ руку на плечо гостю положитъ, завтра развалится противъ него на стулѣ и спроситъ: „А Московскія Вѣдомости читаете?“—Послѣ-завтра будетъ испытывать, согласнаго ли съ нимъ гость образа мыслей, и ежели дѣло ему покажется не совсѣмъ яснымъ, то подастъ ему вчерашнюю, разогрѣтую котлетку и скажетъ: „А свѣжія котлетки—тѣмъ, которые почище!“ И будетъ у насъ братство и равенство,—а свобода и раньше была. Къ счастью, однакожъ, дѣло разъяснилось довольно обыкновеннымъ образомъ.

— Не изумляйтесь,—сказалъ онъ мнѣ:—я только временно являюсь въ образѣ полового; въ дѣйствительности, я—статскій совѣтникъ и кавалеръ....

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?—прервалъ я его въ испугѣ, не разслышавъ его словъ.

— Статскій совѣтникъ Расплюевъ, — повторилъ онъ:—членъ „Общества частной инициативы спасенія“, какъ Ноздревъ, кото-

рый такъ поспѣшно отъ васъ сейчасъ скрылся; а скрылся онъ, очевидно, потому что струсилъ, что я подслушалъ вашъ разговоръ.

Тетенька! я даже не берусь опредѣлить то чувство, которое овладѣло мной при мысли, что мой разговоръ подслушанъ; я помню только, что испуганно осматривался кругомъ, и мнѣ казалось, что я нахожусь не въ трактирѣ, а въ какомъ-то волшебномъ чертогѣ, гдѣ невидимо въ воздухѣ рѣютъ добрые и злые духи, испытуя не только разговоры гостей, но и сокровенныя ихъ помышленія. И еще помню, какъ въ сердце мое запала тоска, и я, въ порывахъ шкурной истины, мысленно воскликналъ: „Въ кои вѣки занесла меня несчастная звѣзда въ трактиръ, и вотъ я долженъ погибнуть, погибнуть въ цвѣтѣ лѣтъ и надеждъ, за какой-то праздный разговоръ о содѣйствіяхъ, котораго я лично даже не возбуждалъ и въ который вовлекъ меня соблазномъ Ноздревъ!“ А Расплюевъ, между тѣмъ, словно читая въ моихъ мысляхъ, говорилъ:

— Нынче въ трактиры нужно ходить съ осмотрительностью! Нынче трактирщики и прислуга—всѣ набраны изъ членовъ нашего Общества, съ цѣлью изучить современное настроеніе умовъ. Вотъ этотъ половой, котораго сейчасъ въ корридорѣ Тимофеемъ крикнули,—вы думаете, что онъ Тимофей? Нѣтъ, онъ только здѣсь, при исполненіи обязанностей—Тимофей, а у себя дома и вечеромъ въ клубѣ онъ—князь Сашатре...

— Какъ! тотъ самый Сашатре!—воскликнулъ я въ изумленіи.

— Тотъ самый: а вотъ тотъ, въ прихожей, что при шинеляхъ стоитъ—это Амалатъ-Бекъ.

Объясняя это, Расплюевъ игралъ салфеткой, ловко перебрасывая ее (на парижскій манеръ) съ одной руки на другую. Что же касается меня, то я до того растерялся, что не нашелъ ничего другого сказать, кромѣ:

— Послушайте! Вѣдь Амалатъ-Бекъ, должно быть, глухъ!—Къ счастью, однакожъ, восклицаніе это не только не обидѣло его, но даже упростило наши отношенія!

— Это въ немъ восточное,—объяснилъ Расплюевъ совершенно естественно: —а вотъ Сашатре глухъ, такъ это въ немъ западное. Выбирайте любое.

— И тѣмъ не менѣе оба наблюдаютъ за направленіемъ общества!

— Наблюдаютъ и даже докладываютъ. Ужасъ, говорятъ, что

происходитъ... Ну и прочіе Амалатъ-Беки, наслушавшись ихъ, тоже въ ужасъ приходятъ!

— Въ чемъ же, однако, ужасъ-то?

— Да какъ вамъ сказать! Мода нынче на ужасъ пошла. Консерваторы думаютъ, что ихъ радикалы поѣдятъ; радикалы—что ихъ слопаютъ консерваторы. Сидятъ и ужасаются—только и всего!

— Ну, а вы какъ насчетъ ужасовъ думаете?

— Я вообще насчетъ всего вольнаго образа мыслей. Ужасъ такъ ужасъ,—наплевать! Это еще покойный Кречинскій заповѣдалъ мнѣ: „Коли хочешь быть счастливымъ,—сказалъ онъ,—имѣй вольный образъ мыслей". Съ тѣхъ поръ я и держусь этого правила.—Другой бы и недѣлю съ Амалатъ-Бекомъ не прожилъ—а я живу!

— Какую же вы роль между ними играете?

— Я-то? Ни много, ни мало, состою дѣлопроизводителемъ коммиссіи „оздоровленія корней".

— Однакожъ!—Я съ невольнымъ благоговѣніемъ посмотрѣлъ на этого человѣка, на лицѣ котораго, по собственному его свидѣтельству, не было мѣста, гдѣ не оставила бы по себѣ слѣда человѣческая пятерня, и который тѣмъ не менѣе не задумался поднять на свои рамена тяжелое бремя „оздоровленія корней". Мнѣ показалось, что, говоря съ нимъ, я стою у самаго порога той загадочной храмины, на дверяхъ которой написано: „Галиматья".

Тамъ, за этими дверьми, въ смятеніи мечутся сонмища Амалатъ-Бековъ, пугая другъ друга фантастическими страхами и изнемогая въ тщетныхъ усиліяхъ отыскать какую-нибудь комбинацію, въ которой они могли бы утопить гнетущую ихъ панику. Злые сердцемъ, но нищіе разумомъ, жестокіе, но безразсудные, они сознаютъ только требованіе своего темперамента, но не могутъ выяснить ни объема своихъ ненавистей, ни способовъ отмщеній. И вотъ ихъ взоры обращаются къ Ноздреву и Расплюеву. Ноздревъ—лихой, Расплюевъ—организаторъ; Ноздревъ—талантъ, въ которомъ скверномысленная выдумка зарождается естественно, безъ усилій; Расплюевъ—человѣкъ разсужденій, который своею службою у Кречинскаго доказалъ, что онъ устроитель по натурѣ. И что дороже всего—оба распутные. Стало быть, оба пойдутъ на встрѣчу всякимъ пакостямъ, и оба, въ случаѣ надобности, могутъ и предать. Въ судьбѣ Ноздревыхъ и Расплюевыхъ есть нѣчто фатально-двойствен-

ное: съ одной стороны, въ ихъ природу такъ глубоко залегли потребности быть въ услуженіи, что они готовы въ пользу „господина“ изнурять себя, рисковать своимъ настоящимъ и совсѣмъ не думать о своемъ будущемъ. И все это они продѣлываютъ не ради „сладкаго родства“, не за грошъ, не во имя предвзятой мысли, а безсознательно, какъ бы побуждаемые какой-то фантастической палкой, которая гонитъ ихъ впередъ да впередъ. Но, съ другой стороны, никто не предастъ такъ свободно, какъ они. Изнуреніе—это долгъ; предательство — отдохновеніе и досугъ. Какъ только Расплюевъ чувствуетъ себя свободнымъ отъ услуженія, онъ начинаетъ судачить и предавать. Онъ, который за минуту передъ ужиномъ перервалъ горло совершенно постороннему человѣку, онъ первый въ послѣдующую минуту разскажетъ во всеуслышаніе всю процедуру этой операціи и первый же наглумится надъ Амалатъ-Бекомъ, для надобности котораго онъ ее совершилъ. Въ мірѣ благоустройства и благочинія такихъ людей пропасть, и всѣ они умираютъ въ нищетѣ, но и на одрѣ смерти хвастаются, судачатъ и предаютъ. Огорчаться ли этими несомнѣнными признаками распутства, или утѣшаться ими, яко бы ограждающими житіе? Вотъ въ чемъ вопросъ. Но вы, конечно, не потребуете отъ меня отвѣта на него. —Мнѣ кажется, и то уже достаточно горькимъ, что подобные вопросы могутъ возникать, не потрясая человѣческой совѣсти въ самыхъ ея основаніяхъ.

— Такъ вотъ какъ,—продолжалъ между тѣмъ Расплюевъ:—значитъ, господинъ Ноздревъ кое-что вамъ уже сообщилъ. Продолженія желаете?

— Если васъ не затруднитъ...

— Въ чемъ же это можетъ затруднить! Мнѣ бы, признаться, въ этой чепухѣ только до Нижегородской ярмарки претерпѣть, а тамъ меня уже Утѣшительный ждетъ. А вамъ оно, какъ литератору, пожалуй и не безъ пользы будетъ. Грѣшный человѣкъ, люблю я литературу; еще покойный Кречинскій меня къ ней пріучилъ... „Помни, Расплюевъ,—говорилъ, бывало,—что тебѣ придется быть съ модными comme il faut; стало быть и ты долженъ имѣть умъ здравый, сердце просвѣщенное!“ Да, ловкій былъ человѣкъ, покойникъ! Да, много я отъ него узналъ, а между прочимъ и объ Амалатъ-Бекѣ. Такъ все по его и случилось.

— Кстати, а какъ давно Кречинскій умеръ?

— Да лѣтъ шесть, семь назадъ и самою настоящею смертью умеръ: металъ на ярмаркѣ банкъ, передернулъ и получилъ подсвѣчникомъ въ високъ! Тутъ и душу отдалъ!

— Такъ ужъ, пожалуйста, разскажите!

— Съ удовольствіемъ. Надо вамъ сказать, что всю эту исторію о содѣйствіяхъ затѣялъ Амалать-Бекъ. Сословіе это у насъ не новое, но прежде оно держалось какъ-то въ сторонѣ—около ресторановъ и увеселительныхъ зеведеній, а нынче уже стало заниматься внутреннею политикою. Образованіе Амалать-Беки получили болѣе чѣмъ умѣренное; изъ географіи знаютъ только города Европы, гдѣ были „счастливы“; изъ исторіи слыхали. „que nous dansons sur un volcan“. Въ области прочихъ знаній они знакомы лишь съ „наукой о подмываніи лошадямъ хвостовъ“, но тутъ не слѣдятъ за новѣйшими въ этой сферѣ открытіями, предоставляя это вахмистрамъ и деньщикамъ. Какимъ образомъ эти люди напали на мысль, что ихъ настоящее дѣло—внутренняя политика, это я вамъ объяснить не умѣю, но, представьте себѣ, они напали!..

— Но, представьте себѣ... напали!—машинально повторилъ за нимъ и я.

— Напали и, разумѣется, обезпокоились. Куда ни взглянутъ—вездѣ крамола: основы потрясены, краеугольные камни сдвинуты. И доказательства налицо: управляющіе не присылаютъ изъ имѣній доходовъ; ростовщики не вѣрятъ самымъ подлиннымъ векселямъ, и въ довершеніе—печать открыто проповѣдуетъ упраздненіе всей породы Амалать-Бековъ. Нѣкоторые принялись даже газеты читать; но такъ какъ то, что было напечатано до вчерашняго дня включительно, осталось для нихъ скрытымъ, то, естественно, все напечатанное сегодня наводитъ на нихъ паническій страхъ. Они, которые еще вчера были увѣрены, что по сію пору „царь Давидъ играетъ на лирѣ во Псалтирѣ“, вдругъ узнаютъ сегодня, что рѣчь идетъ о какихъ-то бредняхъ, иллюзіяхъ, и что во Франціи установилась республика... „Ah, c'est trop fort! Nous dansons sur le volcan!“—провозглашаетъ князь Буки-азъ-ба и въ смятеніи ищетъ, на комъ сорвать зло и горе, а самому укрыться. Вотъ тутъ-то именно пришелъ къ нимъ Ноздревъ на помощь. Онъ первый указалъ, что прежде всего необходимо возбудить въ обывателяхъ охоту къ „содѣйствіямъ“, и первый объяснилъ, что только подъ покровомъ „содѣйствій“ Амалать-

Беки могутъ возвратиться безнаказанно въ мракъ временъ, и первый же додумался до такой формы „содѣйствія вразбродъ“, которая должна обезпечить мракъ временъ отъ вторженія превратныхъ толкованій. Это было цѣлое откровеніе. До сихъ поръ мы не только сами отъ себя всякую мысль „о содѣйствіяхъ“, но даже упоминовеніе о нихъ преслѣдовали наравнѣ съ превратными толкованіями. И вдругъ Ноздревъ точно пелену снялъ съ нашихъ глазъ. Это съ его стороны заслуга, и исторія не забудетъ ея, потому что, какъ тамъ себѣ хотите, а разъ пущенная имъ мысль пошла въ ходъ. Впрочемъ, довольно объ этомъ.—Въ одномъ ошибся Ноздревъ: формулируя свой проектъ, онъ не разсчиталъ, что обыватели неопытны, а Амалатъ-Беки безразсудны и нетерпѣливы. И точно, не успѣли объявить конкурсъ, какъ обыватели понесли цѣлые вороха бумаги, но увы! эти вороха были сплошь исписаны выраженіями старинаго русскаго лексикона, смыслъ которыхъ исчерпывался словомъ: „жарь“. Сначала это Амалатъ-Бекамъ понравилось; но когда вслѣдъ затѣмъ они начали простирать руки, то убѣдились, что эти руки безсильны попрежнему, и что послѣ „содѣйствій“ ихъ положеніе осталось тѣмъ же, чѣмъ было и до „содѣйствій“. „Mais nous continuons de danser sur le volcan!“ — удивлялся князь Буки-азъ-ба, который надѣялся, что какъ только разберетъ вороха „содѣйствій“, такъ тотчасъ же у него въ карманѣ очутится мракъ временъ... И вотъ съ тѣхъ поръ на Ноздрева посыпались упреки; такъ, въ эту минуту онъ держится тѣмъ только, что утромъ подслушиваетъ по трактирамъ, а вечеромъ въ компаніи разсказываетъ изъ народнаго быта. Но мысль Ноздрева не умерла, а только потребовала практической организаціи. Надо было вывести основателей изъ области голословныхъ пожеланій и внушить имъ, что если ихъ реформаторская изобрѣтательность не идетъ далѣе слова „жарь“, то пускай же они сами на свой рискъ и приводятъ эту реформу въ исполненіе.—Задачу эту принялъ на себя я. Первымъ долгомъ потребовалъ для себя двѣнадцать тысячъ рублей въ годъ содержанія; во-вторыхъ, проектировалъ коммиссію; затѣмъ, признаюсь, въ головѣ моей промелькнула на одну минуту мысль о „средствіи“, но потомъ вижу, что народъ собрался все картавый и слова этого, пожалуй, порядкомъ не выговоритъ,—бросилъ. „Давайте, говорю, братцы, газету издавать! Обра-

довались. Вотъ этотъ самый князь Саншатре пятьдесятъ тысячъ изъ кармана и выложилъ.

— Однако денегъ-то у него довольно!—не выдержалъ и воскликнулъ я.

— Прòпасть! и преусердный—такъ ко всѣмъ съ деньгами и лѣзетъ. Ну, газету, такъ газету. Только, говорю, намъ такого редактора надо отыскать, чтобы во всѣхъ статьяхъ былъ мерзавецъ, чтобы совѣсти не зналъ, правды отъ роду не говорилъ, а за тысячами не гнался. И вотъ судите, какъ хотите: не успѣлъ я выговорить, смотрю—онъ въ дверяхъ.—Іуда Искаріотъ! Тебя-то намъ и нужно! Сейчасъ ему пятьдесятъ тысячъ въ руки: издавай газету „Фрегатъ Надежда“! А онъ, не будь глупъ, взялъ деньги, да и удавился, и даже куда сумму дѣвалъ—неизвѣстно.

— Какой, однакожъ, прискорбный случай!

— И представьте себѣ, съ этого Саншатре, словно съ гуся вода,—сейчасъ вынулъ еще пятьдесятъ тысячъ: издавай другую газету! Только тутъ уже я вступился: „Нѣтъ, говорю, газету издавать намъ не судьба! И другія деньги зря пропадутъ, а если и не пропадутъ, такъ, все равно, Искаріота никто читать не будетъ,—а лучше мы на другой манеръ Россію опутаемъ. Заведемъ по всѣмъ городамъ агентовъ „оздоровленія“ и объявимъ подъ рукой на премію: кто связаннаго либерала представитъ, тому приличное вознагражденіе; а кто съ либераломъ потихоньку на свой рискъ обойдется, тому противъ перваго вдвое!“

— Ахъ, Расплюевъ, да вѣдь это междоусобіе!

— Благонамѣренное. Нынче, сударь, словъ-то не пугаются.

— И они согласились?

— Многіе даже по Палестинамъ разъѣхались немедленно, другіе на родственниковъ указали.

— Ахъ, Боже, а я, было, только-что собрался въ деревню на лѣто ѣхать!

— Боитесь?

— Помилуйте! а что если какой-нибудь Амалатъ-Бекъ со мной на свой рискъ обойдется? или Разуваевъ руки къ лопаткамъ на премію вывернетъ?

Расплюевъ задумался.

— Погодите ѣхать,—началъ онъ, наконецъ:—на первыхъ по-

рахъ и дѣйствительно, чего добраго, въ этомъ родѣ случаи могутъ быть. Ну, а потомъ, глядишь, и обойдется. Главное, денегъ у Амалать-Бековъ не хватитъ. Мужикъ-то польстится, хоть цѣлую тьму либераловъ сразу наловитъ—анъ заплатить-то ему и нечѣмъ; такъ наши дѣла и сгибнутъ изморомъ.

Дальнѣйшее наше собесѣдованіе не интересно. Но, представьте себѣ, тетенька, мою радость: возвращаюсь домой, беру въ руки газету и что же нахожу?—Въ Симбирскѣ уже образовалось „Тайное Общество“, именно въ Расплюевскомъ родѣ! Состоитъ оно, очевидно, изъ мѣстныхъ Амалатъ-Бековъ и обѣщаетъ за всякаго превратнаго толкователя, которому руки къ лопаткамъ вывернутъ, чистыми деньгами сто рублей! Разумѣется, однакожъ, если будутъ деньги, потому что ежели денегъ не будетъ, то гдѣ же ихъ взять?.. Но каковъ подъемъ общественнаго духа! Не знаю, какъ вы отнесетесь къ подобному извѣстію, но у меня съ тѣхъ поръ, какъ я объ немъ прочиталъ, просто поджилки дрожатъ. Знаю, что похвалы достойно, но въ то же время какъ-то невольно задумываюсь.—Нѣтъ, ужъ лучше я въ Симбирскую губернію не поѣду.

Выворотитъ мужичокъ руки къ лопаткамъ, приведетъ, продастъ, а потомъ?.. Потомъ опять руки развяжутъ: ступай, невинный, на всѣ четыре стороны! А дадутъ ли продавцу сто рублей за то, что въ немъ любезно-вѣрное чувство играетъ—этого я не знаю. Но на комъ же я, искалѣченный, проданный, буду свою обиду искать?—А ни на комъ, голубушка. На Амалатъ-Бекахъ искать нельзя, потому какимъ же образомъ искать обиду на человѣкѣ, который одержимъ игрою любезно-вѣрныхъ чувствъ! Закладывай, стало быть, бѣговыя дрожки и кати назадъ въ свое мѣсто,—благо удовлетвореніе получилъ.

А черезъ недѣлю другой мужичокъ тебя облюбуетъ и въ другой разъ продастъ. Воображаю, въ какой восторгъ придетъ вся Симбирская губернія, перечитавъ этотъ кличъ! Помѣщики бросятъ раціональное хозяйство, мужички перестанутъ собирать въ житницы... И все поголовно примется превратныхъ толкователей ловить, потому что вѣдь сто рублей—деньги, а превратныхъ толкователей... вонъ онъ! вонъ онъ!.. Ахъ, эта Симбирская губернія! Въ старину страной отставныхъ корнетовъ ее называли, и были эти корнеты невѣжественны и жестоковыйны и держали свое знамя высоко, за что и бывали не-

рѣдко сѣчены. А теперь у нихъ народились потомки и тоже хотятъ высоко знамя держать—только сдается мнѣ, что Расплюевъ, пожалуй, окажется правъ. Вѣдь это играючи можно хвалиться—сто рублей! А какъ примется мужичокъ подваливать, такъ ежели за каждаго превратнаго толкователя по радужной давать—сколько это денегъ будетъ?! Но дѣло не въ томъ, обанкрутится ли „Симбирское тайное общество“ симбирскихъ Амалать-Бековъ, или будетъ процвѣтать. Главное, починъ практическому содѣйствію данъ—вотъ что̀ дорого. И не я одинъ, всѣ благонамѣренные люди радуются этому. На дняхъ встрѣчаю извѣстнаго вамъ Ѳеденьку Кротикова, который изъ своего мѣста пріѣхалъ понюхать, чѣмъ пахнетъ.

— Ну что̀, какъ дѣла?

— Я, mon cher, нынче все съ содѣйствіемъ общества пронисываю! Чуть что̀—сейчасъ воззваніе къ обществу: „жарь“!—Согласитесь сами, что если и дальше пойдетъ такъ же хорошо, то наша цѣль—организація благонамѣреннаго междоусобія—будетъ осуществлена вполнѣ.

Милая тетенька.

Вы упрекаете меня въ молчаніи, а между тѣмъ, право, болѣе аккуратнаго корреспондента, нежели я, едва ли даже представить себѣ можно. Свидѣтели могутъ подтвердить, что я каждомѣсячно къ вамъ пишу, но отчего не всѣ мои письма доходятъ по адресу—не знаю. Во всякомъ случаѣ это такъ меня встревожило, что я отправился за разъясненіями къ одному знакомому почтовому чиновнику—и знаете ли, какой странный отвѣтъ отъ него получилъ? „Которыя письма не нужно чтобъ доходили,—сказалъ онъ мнѣ:—тѣ всегда у насъ пропадаютъ“. Но такъ какъ этотъ отвѣтъ не удовлетворилъ меня и я настаивалъ на дальнѣйшихъ разъясненіяхъ, то пріятель мой присовокупилъ: „Никакихъ тутъ разъясненій не требуется—дѣло ясно само по себѣ: а ежели и существуютъ особенныя соображенія, въ силу которыхъ адресуемое является равносильнымъ неадресованному, то тайность сію, мой другъ, вы лѣтъ черезъ тридцать узнаете изъ „Русской Старины“.

Съ тѣмъ я и ушелъ, что предстоитъ дожидаться тридцать лѣтъ. Многонько это, ну, да вѣдь ежели раньше нельзя, такъ и на томъ

спасибо. Во всякомъ случаѣ теперь для васъ ясно, что ваши упреки мной не заслужены, а для меня не менѣе ясно, что если я желаю переписываться съ родственниками, то долженъ писать такъ, чтобы мои письма заслуживали врученія.

Ясно и многое другое; да вѣдь ежели примешься до всего доходить, такъ, пожалуй, и это письмо гдѣ-нибудь застрянетъ. А вы между тѣмъ ужъ и теперь безпокоитесь, спрашиваете: „живъ ли ты?“ Ахъ, добрая вы моя! разумѣется, живъ! Слава Богу, не въ лѣсу живу, а тоже, какъ и прочіе всѣ, въ участкѣ прописанъ!

Вообще я нынче о многомъ сызнова передумываю, а между прочимъ и о томъ: отчего наши письма, отъ времени до времени, не доходятъ по адресу? — и знаете ли, *къ какому я заключенію пришелъ?* — сами мы во всемъ виноваты! Письма надо писать кратко и складно, чтобъ сразу можно было понять, въ чемъ суть, а мы пишемъ пространно и нескладно: въ письмахъ надобно излагать лишь нужные предметы, а остальное посвящать родственнымъ изліяніямъ, а мы наши письма наполняемъ околичностями, а объ родственныхъ чувствахъ умалчиваемъ. Вотъ какъ по настоящему слѣдуетъ писать: „Милая тетенька! Я, слава Богу, живъ и здоровъ, чего и вамъ отъ души желаю!! Вчера былъ день рожденія покойнаго дяденьки, и я надѣюсь, что вы провели оный въ молитвѣ! Но отчаиваться однакожъ не слѣдуетъ, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! Живите — не бойтесь! но, главное, старайтесь находиться въ мирѣ съ сосѣдями, потому что все это свѣдущіе люди *). И я тоже живу, не боюсь, но стараюсь быть въ ладу съ дворниками. И, слава Богу, веду себя, кажется, хорошо!! На дняхъ призывалъ меня нашъ околоточный и говоритъ: „вы такъ хорошо себя ведете, что ожидайте публичной похвалы!!“ Въ чемъ же, говорю, опая похвала будетъ состоять?!—Однакожъ онъ не открылъ, а только усмѣхнулся и молвилъ: „лучше, какъ сами своевременно сей сюрпризъ узнаете“. И не велѣлъ отлучаться изъ дома, дабы похвалы не прозѣвать. И я сижу теперь въ ожиданіи!!! Братцамъ и сестрицамъ потрудитесь передать мой сердечный привѣтъ: я думаю, выросли. А у

*) Писано въ 1881 году, когда на „свѣдущихъ людяхъ“ покоились всѣ упованія Россіи, а издано въ 1882 году, когда представленіе о свѣдущихъ людяхъ сдѣлалось равносильнымъ представленію о „крамолѣ“.

насъ все благополучно, только говядина сильно вздорожала, такъ что вынуждены мы съ симъ продуктомъ обходиться осторожно. Вообще, у кого аппетитъ хорошъ, тотъ долженъ пищѣ или сокращать оный, или же стараться какъ можно чаще въ гостяхъ обѣдать. Но тогда тѣ, къ коимъ начнемъ „запросто“ учащать, могутъ вознегодовать. Затѣмъ, цѣлуя ваши ручки, остаюсь любящій васъ племянникъ“ и т. д. Въ такомъ видѣ письмо навѣрное ни въ огнѣ не сгоритъ, ни въ водѣ не потонетъ, а такъ-таки цѣлёхонькое и дойдетъ по адресу.

Но вѣдь вы у меня такая любопытная, что, навѣрное, спросите: что же заключалось въ томъ письмѣ, которое до васъ не дошло?— Но этого-то именно я и не могу вамъ открыть, потому что если начну открывать, то и это письмо непремѣнно не дойдетъ. Скажу только, что письмо было длинное и содержаніе его было интересное. Тѣмъ не менѣе, еслибъ мы съ вами жили по ту сторону Вержболова (разумѣется, оба), то несомнѣнно, что оно было бы вами получено. Я впрочемъ крѣпко надѣюсь на „Русскую Старину“: когда-нибудь она это письмо напечатаетъ. Но во всякомъ случаѣ вы можете быть увѣрены, что я основъ не потрясалъ.

Вы мой образъ мыслей знаете, а дворники знаютъ, сверхъ того, и мой образъ жизни. Я ни самъ съ оружіемъ въ рукахъ не выходилъ, и никого къ тому не призывалъ и не поощрялъ. Когда я бываю за границей, то многіе даже тайные совѣтники меня въ этомъ отношеніи испытываютъ и остаются довольны. „Но отчего же у васъ такая репутація?“ спрашивалъ меня на дняхъ одинъ изъ нихъ въ Парижѣ.— Не могу знать, ваше превосходительство,—отвѣчалъ я:—такъ что-нибудь...—И такъ я былъ счастливъ, голубушка, что могъ хоть сколько-нибудь поправить свою репутацію въ глазахъ этихъ могущественныхъ людей! Хотѣлъ-было, въ знакъ благодарности, нѣсколько сценъ изъ народнаго быта имъ разсказать, но вдругъ отчего-то показалось подло—я и промолчалъ.

Какъ бы то ни было, но въ пропавшемъ письмѣ не было и рѣчи ни о какихъ потрясеніяхъ. И, положа руку на сердце, я даже не понимаю... Но мало ли чего я не понимаю, милая тетенька!.. Не понимаю, а разсуждаю... всѣ мы таковы! Коли бы мы понимали, что не понимая... Фу, чортъ побери, какъ однакожъ трудно солиднымъ слогомъ къ родственникамъ писать!

Нынче вся жизнь въ этомъ заключается: коли не понимаешь—не разсуждай! А коли понимаешь—умѣй помолчать! Почему такъ?—а потому, что такъ нужно. Нынче все можно: и понимать, и не понимать, но только и въ томъ и въ другомъ случаѣ пользя о семъ заявлять. Нынѣшнее время—необыкновенное; это никогда не слѣдуетъ терять изъ виду. А завтра, можетъ быть, и еще необыкновеннѣе будетъ—и это не нужно изъ вида терять. А посему: какое пространство остается между этими двумя дилеммами—по немъ и ходи.

Помнится впрочемъ, что я всю жизнь по этому корридору ходилъ, и все старался, какъ бы лбомъ стѣну прошибить. Иногда стѣна какъ будто и подавалась—ахъ, братцы, скорѣе за перья беритесь! Но только-что, бывало, пачнетъ перо по бумагѣ скользить—смотришь, анъ и опять твердыня вокругъ. Ахъ, тетенька, что̀ такое мы съ вами? всѣмъ естествомъ мы люди несвоевременные, ненужные, несвѣдущіе! Натурально, что мы можемъ только путать и подрывать. Однако странно, какая у этихъ ненужныхъ людей сила! Шутя напутаютъ, а краеугольные камни, смотришь, въ опасности.

Вы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мнѣ живется? — Хорошо-то, хорошо, а все-таки не знаю, какъ сказать. Притѣсненій — нѣтъ, свобода — самая широкая; даже трепетовъ нѣтъ — помните, какъ въ тѣ памятные дни, когда, бывало, страшно одному въ квартирѣ оставаться — да вотъ поди-жъ ты! Удивительно какъ-то тоскливо. Атмосфера словно арестантскимъ чѣмъ-то насыщена; свѣта нѣтъ, голосовъ не слыхать; сплошныя сумерки, въ которыхъ витаютъ какія-то вялыя существа. Куда бредутъ эти существа и зачѣмъ бредутъ — они и сами не знаютъ, но навѣрное ихъ можно повернуть и направо, и налѣво, и назадъ — куда хочешь. Всѣмъ какъ-то все равно. Въ самыхъ интимныхъ кружкахъ разговоры ведутся какіе-то прошлогодніе, а иногда и прямо нелѣпые; а когда идешь вечеромъ по улицѣ, то просто даже оторопь беретъ. Такого обилія неосвѣщенныхъ оконъ никто не запомнитъ: точно всѣ собрались говѣть. А если и видишь гдѣ-нибудь въ окнѣ огонекъ, то навѣрное тамъ, при трепетномъ свѣтѣ керосиновой лампы, какой-нибудь современный Пименъ строчитъ и декламируетъ:

Еще одно облыжное сказанье,
И извѣщеніе окончено мое...

Тихо, тетенька! черезъ-чуръ ужъ тихо. Не то чтобы что-нибудь непосредственно грызло, какъ, помните, въ то время, когда всякій самъ передъ собой исповѣдовался, а просто самая жизнь какъ будто оборвалась. Коли хотите, и среди этой тишины отъ времени до времени раздается полемика, но односторонняя и какъ-то черезъ-чуръ ужъ побѣдоносная. Захрюкаетъ вдругъ свинья, или кто-нибудь изъ подсвинковъ и поросятъ — и сразу побѣдятъ. Налгутъ, наябедничаютъ и, не вызвавши возраженій, потонутъ въ собственномъ навозѣ. И никто не удивляется, что только изъѣденные трихинами голоса свободно раздаются въ пространствѣ; напротивъ, всѣ какъ бы убѣдились, что это единственно-подходящая формула, которую способна была отыскать для себя торжествующая современность.

Такая же тоскливая вялость и въ литературѣ. Трихинные-то голоса по преимуществу въ ней и раздаются. Въ былое время только одинъ хлѣбъ на всю литературу полагался, а нынче ихъ считаютъ десятками. И вездѣ раздается побѣдоносное хрюканье, вездѣ кого-нибудь чавкаютъ. Мысль потускнѣла, утратила всякій вкусъ къ „общечеловѣческому“; только и слышишь окрики по части благоустройства и благочинія. Страстность замѣнена животненною злобою, діалектика — обвиненіями въ неблагонадежности... Можетъ ли быть что-нибудь болѣе омерзительное? И, право, никто, кажется, не жалѣетъ, что уровень литературы такъ низко палъ. Напротивъ того, и на улицахъ, и въ расшивочныхъ домахъ безъ всякихъ околичностей провозглашаютъ: „давно пора на эту паскудную литературу намордникъ надѣть!“ На дняхъ, захожу въ ресторанъ закусить — смотрю, Расплюевъ около буфета такъ и закатывается! Хлещетъ литературу по чемъ попало, да и шабашъ. „Расплюевъ! — говорю я ему: — да вы вспомните, что у васъ на лицѣ нѣтъ ни одного мѣста, на которомъ бы слѣдовъ человѣческой пятерни не осталось!“ А онъ въ отвѣтъ: „Это, говоритъ, прежде было, а съ тѣхъ поръ я исправился!“ И что же! представьте себѣ, я же долженъ былъ отъ него во всѣ лопатки удирать, потому что вѣдь онъ малый серьезный: того гляди и въ участокъ пригласитъ! Но воображаю я, кабы выискался молодецъ, который сказалъ бы въ Англіи, во Франціи или въ Германіи, что на литературу намордникъ надѣть надо — сколько бы онъ въ одинъ день посторонняго кала съѣлъ!

Я знаю многихъ, которые утверждаютъ, что только теперь и слы-

шатся въ литературѣ трезвенныя слова. А я такъ, совсѣмъ напротивъ, думаю, что именно теперь-то и начинается въ литературѣ пьяный угаръ. Воображеніе потухло, представленіе о высшихъ человѣческихъ задачахъ исчезло, способность къ обобщеніямъ признана не только безполезною, но и прямо опасною — чего еще пьянѣе нужно! Идетъ захмелѣвшій человѣкъ, тыкаясь носомъ въ навозныя кучи, а про него говорятъ: „вотъ отъ кого мы услышимъ трезвенное слово!“

Да, хоть и ладно повидимому живется, а все-таки думаешь: куда бы отъ этой жизни дѣваться? Злости черезъ-чуръ ужъ много завелось —никогда столько не бывало. Иной совсѣмъ ничего не смыслитъ, а тоже, глядя на другихъ, злобствуетъ. И нѣтъ этой безсодержательной злобѣ отпора. Ругаются, пасквилянствуютъ, хапаютъ, брызжутъ бѣшеной пѣной, стучатъ пустыми дланями въ пустыя перси, грозятъ очами и — что̀ всего ужаснѣе — хранятъ полную увѣренность, что противная сторона будетъ безмолвствовать. Обвиненія сыплются какъ изъ рога изобилія, обвиненія безсмысленныя, которыя самъ обвинитель ни объяснить, ни поддержать не можетъ, но которыя, тѣмъ не менѣе, считаются непререкаемыми. Возражаютъ на это, что вѣдь и послѣдствій ощутительныхъ отъ этихъ обвиненій нѣтъ... Однако вѣдь это смотря по тому, что̀ разумѣть подъ именемъ „ощутительныхъ послѣдствій“. Для иного вѣдь и то ужъ „ощутительно“, что этимъ наскуднымъ обвиненіямъ нѣтъ отпора...

Иногда мнѣ представляется вопросъ: поддается ли наше общество напливу этого низкопробнаго озлобленія, которое до остервенѣнія набрасывается на все, выходящее за предѣлы хлѣвной атмосферы, или же оно будетъ только наружно окачено имъ, внутренно же останется вѣрнымъ тѣмъ инстинктамъ порядочности, которые до сихъ поръ, отъ времени до времени, прорывались въ немъ?—И знаете ли, къ какому я пришелъ убѣжденію?—непремѣнно останется вѣрнымъ порядочности. Какъ ни запугано наше общество, какъ ни слабо развито въ немъ чувство самостоятельности, но несомнѣнно, что внутреннія сочувствія его направлены въ сторону добраго и плодотворнаго дѣла. Это единственное—и, надо сказать, весьма доброкачественное—утѣшеніе, которое представляется человѣку, осужденному безмолвно стоять, въ качествѣ обвиняемаго, передъ сонмищемъ невѣжественныхъ и злыхъ уличныхъ лоботрясовъ.

Но спрашивается: насколько подобныя утѣшенія могутъ поддерживать въ человѣкѣ охоту къ жизни?

. . . . . .

Однако, чего добраго, вы упрекнете меня въ брюзжаніи и преувеличеніяхъ. Вы скажете, что я нарисовалъ такую картину жизни, въ которой, собственно говоря, и существовать-то нельзя. Поэтому спѣшу прибавить, что среди этой жизни встрѣчаются очень хорошіе оазисы, которые въ значительной мѣрѣ смягчаютъ общіе суровые тоны. Одинъ изъ такихъ оазисовъ устроилъ я самъ для себя, а слѣдовательно и всѣмъ прочимъ не препятствую послѣдовать моему примѣру.

Все прошлое лѣто, какъ вамъ извѣстно, я прошатался за границей (ужасно, что̀ тамъ про насъ разсказываютъ!), и все рвался оттуда домой. А между тѣмъ вѣдь тамъ, право, недурно. Какіе фрукты въ Парижѣ въ сентябрѣ! какіе рестораны! какіе магазины! какая прелестная жизнь на бульварахъ!

Утромъ—натурально—газеты. Нарочно выбираешь самыя задорныя, думаешь: надо же за границей всѣ заграничныя чувства испытать, а между прочимъ и чувство петролейщика. То-есть, не то чтобы сдѣлаться опымъ, а такъ, сидя за кофеемъ, вдругъ воскликнуть: „а! такъ вотъ оно что̀!“ Но, къ удивленію, читаешь-читаешь и, послѣ двухчасового шуршанья газетной бумагой, испытываешь только одно чувство: что въ головѣ—сумбуръ. Тогда принимаешься за свои родныя газеты (ихъ почта приноситъ нѣсколько позднѣе): тутъ сумбура нѣтъ, а только какъ будто ничего не читалъ.

Смотришь, утро-то и прошло. Вечеръ — въ театрѣ. Даютъ: „Niniche“, „La biche au bois“, „Divorçons“... Людикъ въ купальномъ костюмѣ... ахъ! А въ „La biche au bois“—сразу до полутораста почти обнаженныхъ женскихъ тѣлъ на сцену брошено! Какой это производитъ эффектъ—можно судить по тому, что подлѣ меня одинъ русскій свѣдущій человѣкъ сидѣлъ, такъ онъ ногтями всю бархатную обивку на креслѣ ободралъ, и все кричалъ: „пошеве́ливай!“ Затѣмъ, выйдешь изъ театра — опять во всѣ стороны праздникъ. Идешь сплошной линіей освѣщенныхъ ресторановъ; потребитель на тротуары высыпалъ; повсюду—гулъ мужскихъ и женскихъ голосовъ; повсюду—свѣтъ, движеніе, довольство... Цѣлые снопы огней льются на улицу, испещренную движущимися фонарями

фіакровъ, а надъ головой темное звѣздное небо, и кругомъ—теплая, влажная сентябрьская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело, и что̀ важнѣе всего, точно какъ будто это такъ и быть должно... И все-таки идешь въ свой отель и только одну думу думаешь: „Господи! да когда же домой-то, домой!“

Пріѣхали. Ужъ въ Вержболовѣ мнѣ показалось, точно я въ рай попалъ. Представьте себѣ: желтенькія бумажки берутъ! Что сто̀итъ порція рябчика! — шесть гривенъ. — Вотъ тебѣ желтенькая.—Берутъ и... сдачи два двугривенныхъ даютъ! — Ну, а на это что купить можно?—Оказывается, что можно выпить два стакана чаю съ лимономъ и съ булками... И все это пресерьезно, точно въ самомъ дѣлѣ мѣну производятъ: ты мнѣ деньги даешь, а я тебѣ товаръ отпускаю... Вотъ что̀ значитъ отвычка! видишь, поступки самые правильные — и глазамъ не вѣришь... Все думаешь: какъ это такъ? пять минутъ назадъ на желтенькую бумажку и смотрѣть никто не хотѣлъ, а тутъ съ руками ее рвутъ! Ахъ, нѣмцы, нѣмцы! еслибъ вы только знали, какое будущее этой бумажкѣ предстоитъ—вы бы... Но нѣтъ, лучше до времени помолчимъ...

Народы завистливы, мой другъ. Въ Берлинѣ надъ вѣнскими бумажками насмѣхаются, въ Парижѣ — при видѣ берлинской бумажки головами покачиваютъ. Но нужно отдать справедливость французскимъ бумажкамъ: всѣ кельнера̀ ихъ съ удовольствіемъ берутъ. А все оттого, какъ объяснилъ мой пріятель, краснохолмскій негоціантъ Блохинъ (см. „За рубежемъ“), что̀ „у француза баланецъ есть, а у другихъ прочихъ онъ прихрамываетъ, а кои и совсѣмъ безъ баланцу живутъ“.

Но вотъ наконецъ и Петербургъ. Пріѣхали, сыскали рыдванъ —ахъ, да не возили ли въ немъ оспенныхъ?—ну, съ Богомъ, трогай! Вдемъ: на улицахъ чуть брезжетъ, сверху—изморозь, лошади едва ногами перебираютъ, кнутъ такъ и стучитъ по крышкѣ кареты. Стой! подкова у одной лошади свалилась... И вдругъ мысль: а вѣдь въ Парижѣ сегодня „Le monde où l'on s'ennuie“ даютъ... Эхъ, хорошо бы въ обратный путь! Конечно, это ложный позывъ, но кто же можетъ поручиться въ настоящее загадочное время, гдѣ кончается дѣйствительное желаніе и гдѣ начинается ложный позывъ!

Наконецъ однакожъ пріѣхали: „тпру-у, ка-торж-ныя!“ Лѣстница освѣщена, въ квартирѣ топлено, на столѣ—самоваръ и мягкія

филипповскія булки. Хорошо, что и говорить. Вотъ это-то именно и мелькало въ Парижѣ, когда такъ страстно звенѣла въ головѣ мысль: домой! Въ представленіи о самоварѣ есть что-то до того ласкающее и притягивающее, что многіе связываютъ съ нимъ даже представленіе о прочности семейнаго союза. Какъ бы то ни было, но цыганскимъ скитаніямъ — конецъ. Конецъ отелямъ, съ ихъ сомнительнымъ, пролеваннымъ комфортомъ, конецъ нелѣпой ѣдѣ въ ресторанахъ и за табльдотами, конецъ разноязычному говору! Спокойствіе, тишина, просторъ, тепло, настоящій письменный столъ, собственныя постели, домашняя кухня, пироги... „Брусники-то наварили ли? посолили ли рыжичковъ?“

Оказывается, что и насолили, и наварили. Да вотъ еще тетенька отварныхъ бѣлыхъ грибковъ изъ деревни прислала!.. Ахъ, тетенька! И какіе грибки — одинъ къ одному! Шляпки — смуглыя, коренки — недъ самую шляпку срѣзаны... проказница вы, право! И еще оказывается, что въ лавкахъ ужъ съ недѣлю какъ кислая капуста показалась — стало быть, завтра къ обѣду можно будетъ кислыя щи сорудить, а пожалуй и пирогъ съ свѣжей капустой затѣять... Цѣлую ночь я жилъ этой надеждой, да и на другой день утромъ, разбирая бумаги, все думалъ: „а вотъ ужо щи изъ кислой капусты подадутъ!“

Вотъ тихія удовольствія, которыя встрѣчаютъ васъ дома съ первыхъ же шаговъ и пользованію которыми никто въ цѣломъ мірѣ, конечно, не воспрепятствуетъ. Но разъ вы дали имъ завладѣть собой, тонъ всей послѣдующей жизни вашей ужъ найденъ. И искать больше нечего.—Дворникамъ-то, дворникамъ-то дали ли на водку?—„Съ пріѣздомъ, вашескородіе!“—Благодарю! вотъ вамъ три марки!—„У насъ, вашескородіе, эти деньги не ходятъ!..“—Представьте себѣ!—Ну, такъ вотъ вамъ желтенькая бумажка!—„Счастливо оставаться, вашескородіе!“

Ну-съ, господа домочадцы, давайте теперича жить. Кушайте, гуляйте... что, бишь, еще? Ну, да впрочемъ тамъ видно будетъ! А покуда кушайте и гуляйте! Съ дворниками не ссорьтесь, ибо начальство уважать надо. Иностранныхъ словъ на улицѣ и въ публичныхъ мѣстахъ не употребляйте, ибо это наводитъ простодушныхъ слушателей на размышленія о сокрытіи образа мыслей. Я-то, конечно, знаю, что образъ мыслей у васъ самый благонадежный, но

надобно, чтобъ и другіе это знали. Поэтому говорите внятно, не торопясь, точно перлы нижете. Пускай слушаютъ.

Кажется, на первый разъ довольно, да вѣдь пора ужъ и баиньки. Ѣхали-ѣхали трое сутокъ, не останавливаясь—авось заслужили! —Господа дворники! спать-то допускается?—„Помилуйте, ваше-ство-діе, сколько угодно!“—Вотъ и прекрасно. Въ теплой комнатѣ, да свѣжее, сухое бѣлье—вотъ она роскошь то! Какъ легъ въ постель —сразу качать начало. Покачало-покачало—и вдругъ словно въ воду канулъ.

А на другое утро—чай съ булками и газеты. А ну-те, разсказывайте, что у васъ тамъ? Представьте себѣ, тетенька, все отлично. Такъ, впрочемъ, я и ожидалъ. Одно только огорчило: письмо мое къ вамъ на почтѣ пропало—ну, да вѣдь я и другое могу написать. Сѣлъ, написалъ—смотрю: ахъ, вѣдь и это должно пропасть! Давай писать третье—и вотъ оно! А не посмотрѣть ли въ окно, что дѣлается на улицѣ? Дѣти! бѣгите! покойника везутъ! Везутъ его четверкой подъ балдахиномъ; впереди несутъ на подушкахъ ордена; сзади, непосредственно за колесницей, слѣдуютъ огорченные родственники; за ними—безконечная вереница каретъ. Кого хоронятъ?—Тайнаго совѣтника и кавалера. Только-что началъ-было надежды подавать—взялъ да и умеръ. Четыре дня тому назадъ былъ совершенно здоровъ, утромъ ѣздилъ съ визитами, убѣждалъ въ необходимости утвердить потрясенныя основы, предлагалъ средства, поправился и воротился домой бодрый, сіяющій, обнадеженный. Но, къ несчастью, къ обѣду принесъ другой тайный совѣтникъ, и для дорогого гостя подали къ закускѣ грибковъ. Оба покушали, но другой-то тайный совѣтникъ превозмогъ, а этотъ—не превозмогъ. И вотъ теперь другой тайный совѣтникъ идетъ за гробомъ и разсказываетъ:

— И всего-то покойный грибковъ десятокъ съѣлъ, говоритъ онъ:—а ужъ къ концу обѣда сталъ жаловаться. Марья Петровна спрашиваетъ: „что съ тобой, Nicolas?“ а онъ въ отвѣтъ: „ничего, мой другъ, грибковъ поѣлъ, такъ подъ ложечкой“... Подъ ложечкой да подъ ложечкой, а между тѣмъ въ оперу ѣхать надо—ихъ абонементный день. Ну, не поѣхалъ, меня вмѣсто себя послалъ. Только пріѣзжаемъ мы изъ театра, а онъ ужъ и отлетѣлъ!

Проѣхала печальная процессія, и улица вновь приняла свой обычный видъ. Тротуары осѣли, на улицѣ—лужи свѣтятся. Одна-

кожъ люди ходятъ взадъ и впередъ—стало быть, нужно. Нѣкоторые даже передъ окномъ фруктоваго магазина останавливаются, постоятъ-постоятъ и пойдутъ дальше. А у иныхъ книжки подъ мышкой—тѣ какъ будто робѣютъ. А вотъ я сижу дома и не робѣю. Сижу и только объ одномъ думаю: „сегодня за обѣдомъ кислыя щи подадутъ“...

И представьте себѣ, даже совсѣмъ забылъ о томъ, что мнѣ еще придется свой образъ мыслей въ надлежащемъ свѣтѣ предъявить! Помилуйте! щи изъ кислой капусты, поросенокъ подъ хрѣномъ, жаркое, рябчики, пирогъ изъ яблоковъ, а на закуску: икра и балыкъ—вотъ мой образъ мыслей! Полагаю, что этого совершенно достаточно, чтобы заслужить похвалу!

Но вотъ наконецъ послышались очаровательные звуки разставляемыхъ тарелокъ и стакановъ... Еще четверть часа—и на столѣ миска, изъ которой валитъ паръ... Тетенька! простите меня, но я бѣгу... Я чувствую, что въ моей русской груди дрожитъ русское сердце!

Еслибъ во всѣхъ квартирахъ существовали подобные оазисы—это былъ бы идеалъ общежитія. Сообразите одно: какое послѣдуетъ сокращеніе переписки и какъ обрадуются дворники! И я твердо убѣжденъ, что такъ это и будетъ, только не надобно торопиться, а тѣмъ менѣе понуждать. Надобно такъ это дѣло вести, чтобы всякій человѣкъ какъ бы добровольно, самъ отъ себя сознался, что для счастья его нужны двѣ вещи: пирогъ съ капустой и утка съ груздями. А къ этому, разумѣется, и прочая обстановка: приличная мебель, удобный экипажъ, возможность припять двухъ-трехъ пріятелей и какъ слѣдуетъ напитаться, а вечеромъ шулька или двѣ по маленькой. Но долговъ все-таки дѣлать не надлежитъ.

Само собой понимается, что осуществленіе подобнаго идеала доступно преимущественно для культурнаго человѣка, ибо для того, чтобъ имѣть возможность выбирать между уткой съ груздями и поросенкомъ съ кашей, нужно имѣть вольный доходъ. У кого есть имѣніе—тотъ пусть съ имѣнія получаетъ; кто въ разныхъ мѣстахъ дивидендами пользуется—пусть получаетъ дивиденды. Однако можно и трудовыми деньгами благородно жить и даже разсчитывать въ перспективѣ на хорошее будущее. Получилъ за работу рубль: полтину

проживи, а полтину за процентъ отдай. Только и всего. Сколько такихъ полтинъ въ годъ наберется! да еще проценты на нихъ! А нынче, тетенька, деньги всякому нужны, стало быть и процентъ за нихъ сообразный идетъ. Тутъ только не зѣвай.

Конечно, вы, живя въ деревнѣ, можете возразить: не всякому, мой другъ, доступно полтинники-то откладывать, потому что есть очень многочисленный классъ людей... Угадываю я, милая, про какой вы классъ говорите, да вѣдь я этого „класса людей“ и не имѣю въ виду. Я и самъ это возраженіе за границей тайному совѣтнику Дыбѣ сдѣлалъ—и знаете ли, что̀ онъ мнѣ отвѣтилъ?—„А прочіе пусть пребываютъ въ трудахъ!“—только и всего! Именно такъ оно на практикѣ и происходитъ. Есть люди, которые имѣютъ спеціальностью физическій трудъ, и ежели эта задача выполняется ими исправно, то больше ничего отъ нихъ и не требуется. Вѣдь и мы съ вами работаемъ, только въ другой сферѣ, и предки наши тоже работали, а мы теперь пользуемся плодами отъ трудовъ ихъ праведныхъ. Такимъ образомъ, при правильномъ порядкѣ вещей, оно и идетъ: мы—свое дѣло дѣлаемъ, а люди физическаго труда—свое. Но и послѣднимъ не возбраняется благополучіе свое потихоньку воздвигать—и воздвигаютъ. Примѣры налицо: Разуваевъ, Колупаевъ, а у насъ, вы пишете, Финагенчъ процвѣлъ.

А кто этотъ Финагенчъ?—не больше, какъ бывшій вашъ дворовый человѣкъ, который, еще при покойномъ дяденькѣ, у васъ въ домѣ буфетчикомъ служилъ. Помните, бывало, онъ говаривалъ: „я, по милости барской, сытъ, обутъ и одѣтъ—никакой мнѣ воли не надобно!“ А между тѣмъ оказывается, что онъ откладывалъ и все объ волѣ мечталъ. Маленькое тогда полагалось буфетчикамъ жалованьишко—рублей шесть въ годъ—а онъ и его уберегалъ, да найдетъ, бывало, гривенничекъ на полу—и его къ числу прочихъ присовокупитъ. Поѣдетъ покойный дяденька въ дальнюю оброчную вотчину побывать, Финагенча съ собой возьметъ, а онъ тамъ сбереженья свои хорошему мужичку за процентъ отдастъ. И дѣлалъ онъ это такъ тихо и благородно, что дяденька такъ и умеръ, не зная, что у него въ буфетѣ капиталистъ сидитъ. Помните, онъ однажды повѣситься хотѣлъ, чуть живого изъ петли вынули—это оттого, какъ онъ мнѣ потомъ сознался, что ему вдругъ съ чего-то показалось, будто баринъ объ его капиталѣ узналъ. Только эмансипація и успокоила его:

она же и оказала, что у Финагеича кожа съ сокомъ припасено. Зато онъ теперь и орудуетъ. Когда яйца въ ходу—яйца скупаетъ; когда щетина—щетиною занимается. А не то, подстерегаетъ, когда съ мужичковъ подати требовать начнутъ. Кабачокъ тоже въ Ворошиловѣ держитъ, лавочку. Да и вашей старинной ласки не забываетъ: на книжку всякую мелочь по домашности отпускаетъ и никакими требованіями объ уплатѣ не досаждаетъ. Только вы не очень все-таки „книжку"-то запускайте, потому что, неровенъ часъ, и не увидите, какъ Ворошиловское-то ваше гнѣздо къ Финагеичу въ руки перейдетъ.

Вы въ восхищеніи отъ Финагеича, а я и того больше, потому что для меня онъ примѣръ и доказательство. Я всегда говорилъ: для того чтобъ сдѣлаться Финагеичемъ, нужно только умѣть „подстерегать"; а кому же и кто въ этомъ препятствіе полагалъ? А если и встрѣчается препятствіе, то оно не отъ чьей-нибудь воли исходитъ, а есть слѣдствіе естественной и ни отъ кого не зависящей игры экономическихъ законовъ. Эта игра не допускаетъ, чтобы *всѣ* держали кабаки, *всѣ* торговали яйцами, *всѣ* подстерегали мужичка. И не допускаетъ правильно, потому что еслибы всѣ-то подстерегали, тогда и подстерегать было бы некого. Но повторяю: никто въ этомъ не причиненъ, а само собою оно такъ дѣлается. Пути никому не заказаны, а успѣваетъ, разумѣется, тотъ, кто острымъ разумомъ одаренъ. Помните вашего Ваньку-форейтора?—такъ передъ нимъ хоть всѣ двери настежь отворите, онъ все-таки мимо пройдетъ. На дняхъ приходитъ, по старой памяти, ко мнѣ—ну, такъ ослабъ, такъ ослабъ, что на ногахъ не стоитъ! Жилъ прежде въ извозчикахъ, а теперь ни одинъ хозяинъ даже въ этой скромной должности его держать не хочетъ. Ну, и я, съ своей стороны, не только ему ничего не далъ, а, напротивъ, сказалъ: „пеняй, братецъ, самъ на себя!" Но пеняетъ ли онъ послѣ моего поученія, или не пеняетъ—это ужъ я сказать не умѣю.

Однакожъ, кажется, я увлекся въ политико-экономическую сферу, которая въ письмахъ къ родственникамъ такъ неумѣстна... Что дѣлать! такова ужъ слабость моя! Сколько разъ я самъ себѣ говорилъ: надо построже за собой смотрѣть! Ну, и смотришь, да проку какъ-то мало изъ этого самонаблюденія выходитъ. Старъ я и болтливъ становлюсь. Да и старинныя преданія въ свѣжей памяти, такъ что

хоть и знаешь, что нынче свободно, а все какъ будто не вѣрится. Вотъ и стараешься болтовней слѣдъ замести.

Въ сущности, когда, по прибытіи изъ-за границы, я, обращаясь къ домочадцамъ, сказалъ: „кушайте и гуляйте“—я именно настоящую ноту угадалъ. Но когда я къ тому прибавилъ: „а дальше видно будетъ“—то заблуждался. Ничего не будетъ видно.

На-днихъ, пообѣдавши, досталъ я старинныя книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого—и сталъ читать. Хорошо—слова нѣтъ, но какъ-то страшно... Для чего все это писалось? Блестящія мысли, раздражающія подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенныхъ словъ—ни одного. Скажите, развѣ современному человѣку мечты нужны? Нѣтъ, ему гораздо пріятнѣе знать, снабжены ли городовые свистками и бодрствуютъ ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуютъ—онъ спокоенъ; ежели не снабжены и спятъ—онъ дрожитъ. Не до Пушкиныхъ намъ. Вотъ когда все устроится прочно, когда во всѣхъ сердцахъ поселится увѣренность, что съ внутренней смутой покончено—тогда и опять за Пушкина съ Лермонтовымъ можно будетъ взяться. Пбо, въ сущности, они писали недурно—этого нельзя отрицать.

Не дальше какъ вчера я эту самую мысль подробно развивалъ передъ общимъ нашимъ другомъ, Глумовымъ, и представьте себѣ, что онъ мнѣ отвѣтилъ! „Къ тому, говоритъ, времени, какъ все-то устроится, ты такой скотиной сдѣлаешься, что не только Пушкина съ Лермонтовымъ, а и Фета съ Майковымъ понимать перестанешь!“ Но что всего обиднѣе: сказать-то не поцеремонился, а обѣдать остался. За обѣдомъ однакожъ я сталъ требовать отъ него объясненія, въ какомъ смыслѣ слова его понимать нужно, и какъ бы, вы думали, онъ объяснился?—„Да ты, говоритъ, подойди къ зеркалу, да и посмотри на себя!“ Ну, и домочадцы тутъ же пристали: „посмотрись да посмотрись!“ Дѣлать нечего, всталъ, посмотрѣлся — анъ изъ глазъ-то у меня поросенокъ подъ хрѣномъ глядитъ!!

Но обществу до всѣхъ этихъ Глумовскихъ превыспренностей дѣла нѣтъ; общество хочетъ жить. Я не знаю, какъ вамъ это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта идея и господствуетъ надъ всѣмъ. То-есть, идея объ огражденіи человѣческой породы отъ

могущихъ угрожать ей случайностей исчезновенія. Въ одно прекрасное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съёжилось. Вотъ это-то самое и означаетъ, что „общество“ вознамѣрилось оградить себя отъ напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни относительно людей, зараженныхъ „бреднями“, ни относительно дворниковъ, но какъ-то ужъ черезъ-чуръ проворно перебѣгаетъ съ одной стороны улицы на другую, какъ только завидитъ возможность сомнительной встрѣчи. Вы видите цѣлую массу обуреваемыхъ жаждою жизни людей, и только удивляетесь храбрости, съ которою они рискуютъ попасть подъ колеса конно-желѣзнодорожныхъ вагоновъ и скачущихъ взадъ и впередъ экипажей.

Да, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаромъ компетентные люди разсказываютъ, что встрѣчаются субъекты, которые, имѣя въ перспективѣ завтрашнее сраженіе, предпочитаютъ наканунѣ покончить съ собой при помощи удавки...

Я вовсе не хочу сказать этимъ, что господствующій въ современномъ обществѣ тонъ — предательство и вѣроломство. Я говорю только, что надъ общественнымъ организмомъ, въ какихъ бы условіяхъ существованія онъ ни находился, всегда тяготѣетъ непремѣнное желаніе жить. При благопріятныхъ условіяхъ это желаніе выражается свободно, естественно; при условіяхъ неблагопріятныхъ— спутанно и уклончиво. Еслибъ можно было ходить по улицѣ „не встрѣчаясь“, любой изъ компарсовъ современной общественной массы шелъ бы прямо и не озираясь; но такъ какъ жизнь сложна и чревата всякими встрѣчами, такъ какъ „встрѣчи“ эти разнообразны и непредвидѣнны, да и люди, которые могутъ „увидѣть“, тоже разнообразны и непредвидѣнны — вотъ нашъ компарсъ и бѣжитъ во всѣ лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть подъ лошадей.

На мой вкусъ эта храбрость не симпатична; однако не могу не сказать въ ея оправданіе, что при извѣстныхъ условіяхъ она принимаетъ почти обязательный характеръ. Въ отношеніи къ отдѣльнымъ и выдающимся личностямъ излишнее чувство самосохраненія, конечно, не должно считаться особенно похвальнымъ качествомъ; но общество, взятое въ цѣломъ, руководится въ этомъ случаѣ совсѣмъ иными правилами. Оно *обязывается сохранить себя* даже цѣною временнаго обезличенія. Такъ что ежели вы видите массы компарсовъ, перебѣгающихъ съ одной стороны улицы на другую, подъ вліяніемъ обще-

ственнаго переполоха, то это совсѣмъ не значитъ, что общество измѣнило своимъ симпатіямъ и антипатіямъ, а значитъ только, что оно не сознаетъ себя достаточно сильнымъ, чтобъ относиться самостоятельно къ дворницкому игу.

Эпохи, въ которыя съ особенной силой проявляется это общественное двоегласіе, суть эпохи очень печальныя и, можетъ быть, даже безнравственныя. Но нельзя, не впадая въ крайнюю несправедливость, относить къ обществу то чувство негодованія, которое при этомъ возбуждается. Не оно тутъ на первомъ планѣ, а тотъ воздухъ, тѣ міазмы, которыми оно дышетъ. Вѣдь оно дышетъ этими міазмами не добровольно; не потому, что признаетъ ихъ здоровыми, а потому, что дѣваться отъ нихъ некуда. А между тѣмъ, повторяю, на немъ, на этомъ еле-дышущемъ обществѣ, лежитъ фаталистическая обязанность жить. Жить, то-есть оградить будущее идущихъ за нимъ поколѣній.

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притомъ оно искони идетъ вразбродъ. Но я убѣжденъ, что никакая случайная вакханалія не въ силахъ потушить тѣ искорки, которыя уже засвѣтились въ немъ. Вотъ почему я и повторяю, что хлѣвное ликованіе можетъ только наружно окатить общество, но не снесетъ его, вмѣстѣ съ грязью, въ водосточную яму. Я впрочемъ не отрицаю, что періодическое повтореніе хлѣвныхъ торжествъ можетъ повергнуть общество въ уныніе, но вѣдь уныніе не есть отрицаніе жизни, а только скорбь по ней.

То же самое явленіе обезличенія нечетное число разъ отражалось и на нашей литературѣ, а именно по преимуществу на той ея части, которая провозглашала принципы человѣчности и была наиболѣе предана интересамъ родины. Бывали для этой литературы времена очень тяжкія, и длились они безпросвѣтно и безсрочно, но она и за всѣмъ тѣмъ никогда не умолкала. Какъ бы инстинктивно чувствовала она, что на ней лежитъ обязанность оберечь будущее человѣческой мысли, будущее лучшихъ человѣческихъ стремленій, и что если она хоть на минуту смолкнетъ, то молчаніе это будетъ равносильно смерти. Благодаря этому, она живетъ и доднесь. Сѣрая, чахлая, еле-дышущая, но живетъ.

Нѣтъ зрѣлища, болѣе надрывающаго человѣческое сердце, какъ зрѣлище общаго уныній, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо

думать, что общество когда-нибудь погибнетъ подъ гнетомъ этого унынія и что оно вынуждено будетъ воспринять хлѣвные принципы въ свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже въ томъ случаѣ, ежели она выступаетъ впередъ назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себѣ: нѣтъ, этому нельзя статься! не можетъ быть, чтобъ бунтующій хлѣвъ покорилъ себѣ вселенную! Не слѣдуетъ забывать, что хлѣвные принципы обязаны своимъ торжествомъ лишь совершенно исключительнымъ обстоятельствамъ, которымъ общество ни въ какомъ случаѣ непричастно. Но вѣдь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить въ свои права. И она вступитъ. И комары, такъ усердно, подъ гнетомъ паники, перебѣгающіе черезъ дорогу, дабы уйти отъ компрометтирующихъ встрѣчъ, вновь почувствуютъ присутствіе оживляющихъ искорокъ и съумѣютъ отличить тѣхъ, которые въ минуты унынія поддерживали въ обществѣ вѣру въ жизнь, отъ тѣхъ, которые вносили въ него только язву междоусобія.

Я твердо вѣрю, что такой моментъ наступитъ и что такъ-называемыя „бредни“ ежели и не восторжествуютъ вполнѣ, то во всякомъ случаѣ будутъ имѣть свое значеніе на вѣсахъ будущаго. Поэтому и васъ, милая тетенька, прошу: не ослабѣвайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязываетъ. И ежели вашъ урядникъ будетъ васъ убѣждать: сударыня! послушайте, какой пріятный лай съ Москвы несется—не присоедините ли и вы къ нему своего собственнаго?“—то отвѣчайте кратко, но твердо: „во-первыхъ, я не умѣю лаять, а во-вторыхъ, еслибъ и умѣла, то предпочла бы лаять самостоятельно“.

„Бредни“ слишкомъ разнообразны по своимъ цѣлямъ, чтобы та или другая могла претендовать на непосредственное и всецѣлое осуществленіе. Но важно то, что у всѣхъ у нихъ основной принципъ одинъ: человѣчность. Подробностями и даже нѣкоторыми существенными чертами можно и поступиться, но если даже только одно общее представленіе о человѣчности найдетъ себѣ достаточно прозелитовъ, то и это уже значительный шагъ впередъ. Человѣчность прольетъ въ жизнь бальзамъ умиротворенія, сообщитъ ей смягчающіе тоны, удалитъ трепеты и сдѣлаетъ ее способною развиваться.

Повторяю: я убѣжденъ, что честные люди не только пребудутъ честными, но и побѣдятъ, и что на сторонѣ человѣконенавистничества останутся лишь люди, въ конецъ раздавленные личными инте-

ресами. Я впрочемъ отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности личныхъ интересовъ: но встрѣчаются между ними столь низменные и даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно было бы примириться съ ними. Вотъ эти-то подлые инстинкты и обладаютъ человѣконенавистниками.

Будьте же бодры, голубушка, и не смущайтесь духомъ при видѣ компарсовъ, проворно улепетывающихъ въ виду непредвидѣнныхъ встрѣчъ. Но кстати: такъ какъ вы жалуетесь на вашего сосѣда Пафнутьева, который нѣкогда васъ либеральными записками донималъ, а теперь поговариваетъ: „надо же, наконецъ, серьезно взглянуть въ глаза опасности“... то относительно этого человѣка говорю вамъ прямо: опасайтесь его! ибо это совсѣмъ не компарсъ, а корифей. Давно ужъ онъ „свѣдущимъ человѣкомъ смотритъ, давно протягиваетъ руку къ трубѣ и въ настоящую минуту, быть можетъ, уже подноситъ ее къ губамъ, чтобы вострубить.

Вообще эти земскіе грамотѣи глубоко мнѣ не по душѣ. Орѳографіи не знаютъ, о словосочиненіи—никогда не слыхивали, знаки препинанія—ставятъ ad libitum, а непремѣнно хотятъ либеральныя мысли излагать. Да и мысли-то какія—по грошу пара! Когда-нибудь я подробнѣе съ вами объ этихъ корифеяхъ поговорю, а теперь только повторяю: опасайтесь Пафнутьева, ибо у него въ головѣ засѣло предательство. Это корифей, который только для прилику задумчивость на себя напускаетъ, а въ дѣйствительности онъ ужъ давно что слѣдуетъ разрѣшилъ, куда слѣдуетъ перебѣжалъ и теперь охорашивается. Такихъ людей нынче очень много развелось и всѣ они во что-то „серьезно вглядываются“, въ чаяніи, что ихъ куда-то призовутъ, хоть въ переднюю посидѣть. Но, право, мнѣ кажется, что подождетъ-подождетъ вашъ Пафнутьевъ, а его такъ-таки никуда и не призовутъ: пускай въ Торопцѣ изнываетъ! Тогда онъ и опять къ вамъ съ либеральной запиской пріѣдетъ,—только ужъ вы, сдѣлайте милость, прикажите его въ ту пору въ три шеи по лѣстницѣ гнать, потому что онъ, въ противномъ случаѣ, весь вашъ домъ зайакоститъ. Уряднику, разумѣется, объ его вольнодумствѣ не доносите—это нехорошо,—а просто собственными средствами распорядитесь.

Помните ли вы тотъ вечеръ, когда Пафнутьевъ въ нашемъ маленькомъ кружкѣ (тутъ были: вы, я, маркизъ Пассе-Круазе, Ивановъ. Ѳедотовъ и въ качествѣ депутата отъ крестьянъ—вашъ сель-

скій староста Прохоръ Распротàковъ) прочиталъ свою первую либеральную записку: „Имѣяй уши слышати да слышитъ?“ Помните, какъ, по окончаніи чтенія, вы отозвали меня въ сторону и сказали: „ахъ, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!“ А я на это (сознаюсь: я былъ грубъ и неделикатенъ) отвѣтилъ: „не понимаю, какъ это вы такъ легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто дрянцо съ ныльцой“. Ахъ, какъ вы тогда на меня разсердились! Назвали невѣрующимъ, безсердечнымъ, un homme qui ne comprend pas la poésie du coeur... И я былъ глубоко несчастливъ, слушая ваши укоры, до того несчастливъ, что готовъ былъ просить у васъ прощенія и поцѣловать Пафнутьева въ уста... А теперь что̀ источаютъ эти уста? Чей судъ былъ правѣе: вашъ или мой?

Нѣтъ, ради Бога, не смѣшивайте вѣроломнаго корифейства Пафнутьевыхъ съ тою гнетущею подавленностью, которую вы отъ времени до времени замѣчаете въ обществѣ! Примиритесь съ послѣднею и опасайтесь перваго.

Письмо четвертое.

А вотъ вамъ и еще оазисъ.

На дняхъ стою у окна и вижу, что напротивъ, черезъ улицу, въ растворенномъ окнѣ, вставши на подоконникъ и подоткнувъ платье, старушка перетираетъ стекла подъ зимнія рамы. Беру бинокль, вглядываюсь и кого жъ узнаю—Ѳедосьюшку!

Помните ли вы Ѳедосьюшку, которая при дѣдинькѣ у васъ въ домѣ ключницей была? Еще странный такой случай съ ней былъ: до сорока-пяти лѣтъ, покуда крѣпостною была, ни на какіе соблазны не сдавалась, слыла дѣвицею, а какъ только крѣпостное право упразднили, такъ сейчасъ же забеременѣла? Помните, какъ покойный дѣдинька стыдилъ ее, какъ вашъ тогдашній батюшка, отецъ Яковъ, по просьбѣ дѣдиньки, ее усовѣщивалъ: „ты думала любезновѣрное ликованіе этимъ поступкомъ изобразить, а̀нъ, вмѣсто того, явила лишь легковѣріе и строптивость!“ Зачѣмъ они ее стыдили и усовѣщивали — теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мнѣ и самому казалось: ахъ, какую черную неблагодарность Ѳедосьюшка выказала!

Однако, какъ ни стыдили Ѳедосьюшку, а она взяла да и родила Домнушку. Теперь этой Домнушкѣ невступно двадцать лѣтъ, только она ужъ не Домнушка, а Ератидушка и обладаетъ очень серьезными женскими атурами, которыми распоряжается съ большимъ тактомъ. Впрочемъ не будемъ предупреждать событія...

Понятно, что одинъ видъ Ѳедосьюшки взбуторажилъ во мнѣ всѣ дорогія воспоминанія прошлаго. До такой степени взбуторажилъ, что я не воздержался и на всю улицу крикнулъ:

— Ѳедосьюшка! ты?!

Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но когда увидѣла мои распростертыя руки, то и сама умилилась душой. А черезъ нѣсколько минутъ мы уже бесѣдовали какъ старые пріятели.

Тетенька! представьте себѣ: у Ѳедосьюшки есть шляпка и ротонда! Шляпка, правда, не совсѣмъ модная, но года два тому назадъ и вы охотно надѣли бы такую. Съ краснымъ перомъ. Ротонда тоже не разъ въ чисткѣ бывала, однако и теперь хоть статской совѣтницѣ надѣть не стыдно. Дома она ходитъ въ чепцѣ съ оборками и въ люстриновой блузѣ (исключая однакожъ тѣ случаи, когда мостъ окошки), но, идя ко мнѣ, пріодѣлась, надѣла шелковый капотъ маса̀ка и, кажется, даже подмостила подъ него крахмальную юпку. Словомъ, старушка — хоть сейчасъ къ любому столоначальнику въ посажоныя матери.

— Да какая же ты франтиха, Ѳедосьюшка!—изумился я.

— А это меня дочка награждаетъ,—отвѣчала она:—поноситъ-поноситъ, а потомъ мнѣ отдастъ. Кое я продамъ, а кое—перешью и донашиваю.

Стали мы съ ней о прошлыхъ временахъ вспоминать: оказывается, что она благодарная. О крѣпостномъ правѣ вспоминаетъ съ удовольствіемъ; говоритъ, что только тогда и былъ настоящій страхъ Божій. И объ васъ вспомнила и много разспрашивала: „помните, говоритъ, вы съ барышней соловьевъ въ рощу слушать ходили?“ Призналась, что въ повара Тимоѳея двадцать лѣтъ сряду была влюблена, но все не смѣла; а когда волю объявили, тогда осмѣлилась. Что, впрочемъ, совсѣмъ это не было съ ея стороны строптивостью или желаніемъ показать, что вотъ она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь... А Тимоѳей, поживши на волѣ, сначала „ослабъ“, потомъ ослѣпъ, а теперь поступилъ въ богадѣльню. И она къ нему раза два въ мѣсяцъ

ходитъ; когда цѣлковый, когда два снесетъ, да чайку, да сахарку: все же не чужіе были!

— У кого же ты теперь живешь, Ѳедосьюшка?—спросилъ я.

— А тутъ у дочки, насупротивъ васъ, въ квартирѣ и живу. Да меня, признаться, Ѳедосьей-то нынче ужъ не зовутъ, а Катериной, да еще Карловной. Да и Катериной-то зваться не велятъ, а Екатериной. И дочку изъ Домны въ Ератиду передѣлали.

— Кто жъ это васъ такъ окрестилъ?

— Все кавалеры наши... Ератидушка-то сразу къ новому имени привыкла, а я долгонько-таки путалась. Пуще всего—ѧнделовъ прежнѣихъ жалко: я свому-то анделу 29-го мая прежде праздновала, а нынче 24-го ноября праздновать велятъ.

— Господи! такъ, стало быть, Домнушка-то...

— Что ужъ! шила въ мѣшкѣ, видно, не утаишь! Въ какеткахъ, сударь, она. Такъ и въ участкѣ прописана.

— Кокѳтка, то-есть?

— Какотка ли, какетка ли... кто ихъ тамъ разберетъ! А впрочемъ ничего, живемъ хорошо: за квартиру двѣ тысячи въ годъ платимъ, пару лошадей держимъ... Только притѣсняютъ ужъ очень это самое званіе. Съ другихъ за эту самую квартиру положеніе полторы тысячи, а съ насъ — двѣ; съ другихъ за пару-то лошадей сто рублей въ мѣсяцъ берутъ, а съ насъ —полтораста. Вотъ Ератидушка-то и старается.

— Да какимъ же образомъ она на эту дорогу попала?

— А какъ попала?.. Жила я въ ту пору у купца у древняго въ кухаркахъ, а Домнушкѣ шестнадцатый годокъ пошелъ. Только сталъ это старикъ на нее поглядывать, зазоветъ къ себѣ въ комнату, да все рукой гладитъ. Смотрѣла я, смотрѣла, и говорю: ну, говорю, Домашка, ежели да ты... А она мнѣ: „неужто-жъ я, маменька, себя не понимаю?“ И точно, сударь! прошло ли съ мѣсяцъ времени (какъ ужъ она это сдѣлала!..), только опъ ей разомъ десять тысячъ отвалилъ. Ну, мы сейчасъ отъ него и отошли.

— Ахъ! какъ же это вы такъ!—огорчился я за старика.

— Ну, что его жалѣть! Пожилъ-таки въ свое удовольствіе, старости лѣтъ сподобился—чего ему, псу, еще надо? Лежи да полеживай, а то нѣтко что вздумалъ!.. Ну, хорошо; получили мы этта деньги, и такъ мнѣ захотѣлось опять въ Ворошилово, такъ захотѣлось!

такъ захотѣлось! Только онъ одномъ и думаю: попрошу у барыни полдесятники за старую услугу отрѣзать, выстрою питейный да лавочку и стану помаленьку торговать. Такъ что жъ бы вы думали—Ератидушка-то моя?—зажала деньги въ руку и не отдастъ!

Ѳедосьюшка закручинилась и уронила слезу. Я хотѣлъ-было эту слезу залучить въ пузырекъ, чтобы потомъ подвергнуть ее химическому разложенію и опредѣлить, сколько въ ней частицъ семейнаго союза содержится и сколько другихъ примѣсей, но, къ сожалѣнію, она торопливо отерла глаза и продолжала свое повѣствованіе.

Оказывается, что вѣдь Домнушка-то — умница! Несмотря на свои шестнадцать лѣтъ, она сейчасъ же поняла, что до поры до времени ей незачѣмъ въ деревню ѣхать. Получивши отъ старика купца десять тысячъ, она разсудила, что это только начало и что въ будущемъ ея молодость и красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей денегъ, но въ короткое время разсорила ихъ повидимому самымъ непроизводительнымъ образомъ. Наняла француженку, танцмейстера, учительницу музыки и цѣлыхъ полгода себя „обнатуривала“, такъ что теперь и канканъ можетъ станцовать, и на фортепьянахъ побренчать, и „La chose“ пропѣть. За то во всемъ прочемъ выказала бережливость самую разсудительную. „Бывало (сказывала мнѣ Ѳедосьюшка), извозчикъ двугривенный проситъ, такъ она ему никогда больше пятналтыннаго не дастъ“. И когда почувствовала, что совсѣмъ готова, то начала похаживать по гостиному двору.

Это былъ рѣшительный шагъ, которымъ она еще разъ доказала, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя у купцовъ шпоръ нѣтъ, но за то у нихъ есть лавки, и въ нихъ всякій товаръ. Стало быть, деньги деньгами, а матеріи, вещи и бакалея—само собой. И точно: скоро ей и опять хорошій случай вышелъ. Купецъ, да на этотъ разъ ужъ молодой, встрѣтился съ ней на Крестовскомъ и сразу понялъ, что она умница. И что жъ бы вы думали, тетенька! другая, на ея мѣстѣ, непремѣнно продешевила бы (прежнія-то деньги подъ исходъ ужъ шли), а она выдержала себя: дай, говоритъ, десять тысячъ! Привезли онѣ съ мамашей этого купца къ себѣ на квартиру и напоили его пьянаго... И, должно быть, у купца легкая рука была, потому что съ тѣхъ поръ Домнушкѣ такъ и повалило. Дальше да

больше, такъ что теперь меньше какъ съ „сѣтельной“ и не приступайся къ ней.

Купцамъ она, во-первыхъ, потому нравится, что хоть она и русская, а по-французскому такъ и „ржотъ“; во-вторыхъ, потому, что она изъ ихъ сословія не выходитъ, а въ-третьихъ, потому, что ужъ очень чисто себя держитъ. Ѳедосьюшка сначала была того мнѣнія, что для гостинаго двора чистота—пустое дѣло; но теперь и она убѣдилась, что купцы чистоту понимать могутъ. Однимъ словомъ, Домнушкѣ нѣтъ отбоя отъ гостинодворскихъ Меркуріевъ. По вечерамъ у нея, часовъ съ девяти, почти всегда компанія: пьютъ, въ трынку играютъ, пѣсни поютъ. Однако дебоширства или политическихъ разговоровъ, а тѣмъ паче превратныхъ толкованій, Домнушка не допускаетъ: сиди смирно, благородно, а не то и дворника велитъ мамашѣ позвать. И всегда она считается въ части съ тѣмъ, кто въ трынку выигрываетъ. А въ часъ или много въ половинѣ второго ночи ужъ ни одного огня въ квартирѣ не видно. Такъ что и сосѣди, видя, какъ Ератидушка солидно ведетъ себя, не нарадуются на нее.

Въ настоящее время мать и дочь живутъ душа въ душу. Сначала Ѳедосьюшка обижалась тѣмъ, что Домнушка не даетъ ей капиталомъ распоряжаться, но теперь поняла, что она умница. Отъ времени до времени впрочемъ она получаетъ отъ дочери то два, то три рубля, и вотъ изъ этихъ-то денегъ и побаловываетъ Тимоѳея. Одно время старушка домогалась, чтобы ей предоставленъ былъ доходъ съ картъ; но Домнушка и тутъ очень разсудительно отказала ей, сказавъ, что доходъ этотъ должны дѣлить между собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. За то прислуга обожаетъ ее. Да и какъ не обожать! вѣдь, сверхъ картъ, купцы, какъ подопьютъ, не мало и на полъ денегъ роняютъ—и это тоже прислугѣ достается. Словомъ сказать, въ самое короткое время даже прислуга въ такое блестящее положеніе пришла, что хоть сейчасъ кабакъ открывай!

Но, по моему, главная заслуга Домнушки все-таки въ томъ состоитъ, что она гостиному двору не измѣняетъ. Согласитесь сами: ей всего двадцать лѣтъ, кругомъ усы, на каждомъ шагу палаши, шпоры—долго ли до грѣха! Были такіе, которые и подсылали, а она подумаетъ-подумаетъ: „нѣтъ, скажетъ, коли ужъ на какую линію попала, такъ и надо на этой точкѣ вертѣться!“ Ѳедосьюшка сказывала мнѣ, что она и къ тому купцу съ повинною ѣздила, который ей пер-

выя десять тысячъ подарилъ. Ничего, принялъ радушно, увелъ въ кабинетъ, погладилъ и сказалъ: „я и самъ на твоемъ мѣстѣ такъ же бы поступилъ“. Съ тѣхъ поръ она къ нему во всѣ большіе праздники ѣздитъ, и онъ всякій разъ ей двѣ сотенныхъ подаритъ. Но вотъ что̀ удивительно: самъ-то онъ ужъ нынѣче ногами не владѣетъ, а возитъ его въ колескѣ по комнатамъ дѣвица Агриппина, такъ даже эта Агриппина къ Домнушкѣ никакой зависти не чувствуетъ. Совсѣмъ напротивъ, отъ времени до времени даже посѣщаетъ ее и занимствуется отъ нея обращеніемъ. Вотъ какъ умѣетъ Домнушка всѣхъ въ свою пользу расположить!

Одно только горе у нея: до спхъ поръ ни одного жида не успѣла къ себѣ залучить. Но грекъ уже есть. Такой грекъ, который, по словамъ Ѳедосьюшки, торгуетъ орѣхами, да все грецкими. И ей, старушкѣ, по фунту и по два даритъ.

Сколько успѣла Домнушка денегъ въ теченіе пяти лѣтъ накопить—этого Ѳедосьюшка доподлинно не знаетъ. Но знаетъ вѣрно, что „умница“ отнюдь не намѣрена безсрочно въ „какеткахъ“ оставаться: еще годковъ пять—и будетъ. Тогда она выйдетъ замужъ за статскаго совѣтника (даже и подыскала ужъ такого!), опять назовется Домной (болярыня Домна Тимоѳеевна—право, это звучитъ хоть куда!) и купитъ имѣніе. Статскаго совѣтника и теперь всѣ въ домѣ принимаютъ какъ роднаго, кормятъ пирогами и изрѣдка позволяютъ посмотрѣть въ замочную скважину, какъ Домнушка одѣвается. Но въ свои комнаты „умница“ допускаетъ его рѣдко, и то когда нѣтъ гостей; въ прочее же время предоставляетъ его въ распоряженіе мамаши, которая уводитъ его въ свою комнату, и тамъ они вчетверомъ, съ горничной и кухаркой, дуются въ свои козыри.

Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущаетъ Домнушку? Эта мысль—во что̀ бы то ни стало пріобрѣсти у васъ Ворошилово. Разумѣется, тогда, когда ужъ она будетъ статской совѣтницей и болярыней. Хоть она была вывезена изъ Ворошилова пятилѣткомъ, такъ что едва ли даже помнитъ его, но Ѳедосьюшка такъ много натвердила ей о тамошнихъ „чудесахъ“, что она и спитъ и видитъ поселиться тамъ.

— Еще годковъ пять помыкаемся,—говорила мнѣ Ѳедосьюшка: —да выйдемъ замужъ за Ивана Родивоныча, а тамъ и укатимъ въ свое мѣсто. Безпремѣнно она у барыни всю усадьбу откупитъ. Ужъ

ты сдѣлай милость, голубчикъ, напиши тетенькѣ-то, чтобъ она годковъ пять покрѣпилась, не продавала. Слышали мы, что она съ Финагенчемъ позапуталась, такъ мы и теперь можемъ сколько-нибудь денегъ за процентъ дать, чтобъ ее вызволить. А черезъ пять лѣтъ и остатнія отдадимъ—ступай на всѣ четыре стороны!

— Да вѣдь доходы-то съ Ворошилова...—сболтнулъ-было я, но, къ счастью, она сама меня прервала.

— И насчетъ доходу не сумлѣвайся,—сказала она:—это у тетеньки оно доходу не даетъ, а у насъ—будетъ давать. Мы вѣдь подругому хозяйство-то поведемъ, мы мужичка-то кругомъ окружимъ. Поцарствовали при тетенькѣ—и будетъ съ нихъ. И Финагенча сократимъ—будь спокоенъ! А то закопался тамъ, старый песъ, думаетъ, что управы на него нѣтъ. Да вотъ еще, милый баринъ, вы тетенькѣ что̀ напишите: чтобъ рощицу-то, которая противъ усадьбы, она поберегла. Ужъ такая эта веселая рощица! Березки все да дубки, а грибовъ сколько—страсть! Вотъ и будетъ по ней Ератидушка съ Иваномъ Родивонычемъ подъ-ручку гулять!

И, помолчавъ съ минуту, прибавила:

— А главная причина: храмъ Божій въ Ворошиловѣ очень хорошъ! ужъ такъ-то хорошъ, ахъ, какъ хорошъ!

Я дословно передаю вамъ Ѳедосьюшкину просьбу, милая тетенька, такъ какъ, по мнѣнію моему, она заслуживаетъ серьезнаго съ вашей стороны вниманія. Если нѣтъ у васъ крайности, то, дѣйствительно, потерпите съ Ворошиловымъ: Домнушка современемъ хорошія деньги вамъ за него дастъ. Конечно, только контора Юнкера знаетъ положительно, сколько у „умницы“ денегъ, а я могу лишь предположенья на этотъ счетъ дѣлать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней быть, и именно въ томъ самомъ мѣстѣ, которое ея мать видѣла въ рабскомъ состояніи. Ужъ и теперь она задумывается, какъ бы новый колоколъ для ворошиловскаго храма отлить, но покуда еще сомнѣвается, будетъ ли ея жертва угодна. Но когда она сдѣлается статской совѣтницей, тогда навѣрное жертва ея будетъ угодна. Притомъ же у нея и планъ дѣйствій давно готовъ. Какъ только засядетъ она въ Ворошиловѣ, сейчасъ же откроетъ *свой* кабакъ, а при немъ бѣлую харчевню и лавку. Финагенча вытѣснитъ, такъ что мужички будутъ ужъ на нее одну работать. А статскій совѣтникъ будетъ на работы выходить и мужичковъ понуждать.

Словомъ сказать, такую буколику заведутъ, какая и Виргилію не снилась. Тѣ поля, которыя у васъ остаются невоздѣланными и на которыхъ *ничего* не ростетъ, будутъ у нея и воздѣланы, и выхолены, и станутъ на нихъ всякіе злаки дыбомъ рости. И всѣ эти результаты будутъ достигнуты ею за ничто; гдѣ за стаканъ водки, а гдѣ и просто: „а путе-ка, дѣвушки, приходите ко мнѣ гуляючи на денекъ пожать!“ Во всякомъ случаѣ, повторяю: помимо того, что всякому пріятно въ родномъ мѣстѣ пышнымъ цвѣтомъ расцвѣсти, для нея и разсчетъ купить Воропилово: Ѳедосьюшка будетъ тутъ ей дѣйствительно помощницей, потому что она всякую воропиловскую былинку знаетъ. Но, съ другой стороны, имѣются и слабыя стороны у этихъ предположеній. Пять лѣтъ—много, а тѣмъ временемъ Финагенчъ, пожалуй, успѣетъ у васъ всю округу высосать. А Домнушка на этотъ счетъ прозорлива: замѣтитъ, что воропиловскій мужичокъ на ладанъ дышетъ—возьметъ да и купитъ усадьбу у Пафнутьева, а къ вамъ будетъ только къ обѣднѣ ѣздить да колокола лить. Такъ вы ужъ за Финагенчемъ-то присмотрите, да и коровъ-то своихъ, за годъ времени, подкормите—будто какъ настоящія коровы на скотномъ стоятъ. А вы еще пишете: „Финагенчъ, за старыя услуги, проситъ ему десятину сзади парка, противъ деревни, отрѣзать“... И не думайте! онъ васъ этой десятинкой такъ поработитъ, а ежели вы чуть противное слово скажете, такъ васъ по судамъ изъ-за нея водить начнетъ, что рады-радёхоньки будете, ежели васъ только въ мѣста не столь отдаленныя ушлютъ! А вы лучше вотъ что сдѣлайте: „книжку“, на которую вы у Финагенча домашній припасъ забираете, сочтите, и увѣдомьте меня, сколько въ итогѣ окажется. Я и у Домнушки занимать не буду (воображаю, какой она процентъ возьметъ!), а просто разыграю въ вашу пользу лотерею.

Какъ бы то ни было, у васъ теперь два покупщика въ перспективѣ: Финагенчъ и Домнушка. Что касается до меня, то я положительно на сторонѣ Домнушки. Подумайте! чего одинъ этотъ срамъ стоитъ: за долгъ по Финагенчевой „книжкѣ“ (добро бы „по счету“ мадамъ Пзомбаръ!) отчину и дѣдину потерять!

Возобновивши знакомство съ Ѳедосьюшкой, я началъ наблюдать за Домнушкиной квартирой, и могу только повторить: умница! умница! умница!

Каждое утро, въ девять часовъ, стора въ одномъ изъ оконъ ея

спальни поднимается, и я вижу иногда брюнета, иногда блондина, но большею частью кавалера съ просѣдью, который охорашивается передъ трюмо и у котораго на лицѣ написано: въ гостиный дворъ тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли онъ—сказать не могу, но думаю, что ежели и умывается, то въ лавкѣ; но если и позабудетъ умыться, то никто на немъ не взыщетъ. Въ одиннадцать часовъ поднимаются сторы и въ другихъ двухъ окнахъ, и у средняго, передъ туалетомъ, появляется сама Домнушка, въ кофтѣ, порядочно растрепанная, съ косичкой („коса“ покуда покоится въ картонкѣ), болтающейся на плечѣ. Лицо у нея утомлено; нѣсколько минутъ она потягивается и зѣваетъ (и непремѣнно креститъ ротъ при этомъ), и изрѣдка заглядываетъ подъ кофту, все ли тамъ благополучно. Потомъ подходитъ къ другому окну, около котораго стоитъ шкафъ, и вынимаетъ вчерашнюю выручку. Сотенныя бумажки (одну, но иногда и больше) присоединяетъ къ сотеннымъ, десятирублевыя къ десятирублевымъ и т. д. Но если наканунѣ купцы въ тринку играли, то попадаются и рублевыя. Затѣмъ, приведя въ порядокъ финансы, защелкнувъ пачки въ каучуковые кружки и записавъ на бумажкѣ итогъ, она на цѣлый часъ исчезаетъ. Въ это время она пьетъ кофе, смываетъ съ лица вчерашніе поцѣлуи и дѣлаетъ распоряженія по содержанію себя въ чистотѣ, такъ чтобы въ теченіе дня уже не возвращаться къ этому предмету.

Спальня у нея не роскошно, но очень прилично убрана палевымъ кретономъ. Черезъ четверть часа является горничная и прежде всего собираетъ разбросанныя по стульямъ и кресламъ принадлежности женскаго туалета. Потомъ начинаетъ убирать постель, мѣняетъ бѣлье („прачка каторжная одна чего стоитъ!“ жаловалась мнѣ Федосьюшка), и если замѣтитъ слѣдъ какого-нибудь насѣкомаго, то слегка посыпаетъ матрацъ персидскимъ порошкомъ. Около половины перваго Домнушка опять появляется и начинаетъ отдѣлывать себѣ голову и лицо. До двухъ часовъ она не отходитъ отъ туалета, то присядетъ, то привстанетъ, то отойдетъ подальше, то чуть не къ самому стеклу зеркала лицомъ прильнетъ. Въ два часа лицо готово, и она подходитъ къ окну—ну, точно сейчасъ распустившаяся роза, спрыснутая росой! Ахайте, купцы!

Съ двухъ до трехъ—одѣванье. Домнушка стоитъ передъ трюмо и, выгнувъ голову, смотрится разомъ и въ трюмо, и въ туалетное зер-

кало, которое отражаетъ ея атуры. Надѣвши корсетъ и обнаживши выхоленныя плечи, она долгое время принимаетъ самыя разнообразныя позы. То поднимаетъ руки вверхъ, то опуститъ ихъ, то перегнетъ станъ на правый бокъ, то на лѣвый, то вдругъ быстро перевернется, какъ будто хочетъ сказать: а вотъ не поймаешь! И все это ради гостинаго двора! И во все время продолжается отдѣлка лица, хотя я долженъ сознаться, что отдѣлка эта большею частію въ томъ состоитъ, что Домнушка помуслитъ пальчикъ и въ одномъ мѣстѣ притретъ, а въ другомъ—наведетъ. Не мастеръ я эволюціи-то эти описывать, да многаго и не знаю, а можно бы цѣлую книжку написать, и очень была бы въ наше время эта книжка полезна, чтобъ отъ превратныхъ толкованій отдохнуть. Въ началѣ четвертаго Домнушка окончательно готова; она опять подходитъ къ денежному шкафу, забираетъ деньги и исчезаетъ изъ спальни. У подъѣзда ее ждетъ коляска, запряженная парой добрыхъ лошадей, и она, закутанная въ соболя, отправляется кататься. Но прежде всего ѣдетъ къ Юнкеру и на вчерашнюю выручку покупаетъ „вѣрныя“ бумаги, потому что не хочетъ потерять ни одного дня процентовъ.

Съ шести часовъ сторы въ спальнѣ опускаются. Вѣроятно, въ это время Домнушка, снявши корсетъ, обѣдаетъ съ мамашей, отдыхаетъ и переодѣвается къ вечеру. Въ девятомъ часу въ гостиной собираются купцы. Организуется трынка или стуколка, ведется оживленный разговоръ, но, повторяю, политическій элементъ, даже въ видѣ простыхъ новостей, устраненъ разъ навсегда. Вмѣсто него введенъ элементъ закусочный, такъ какъ съ десяти часовъ на одномъ изъ столовъ появляются разнообразнѣйшихъ сортовъ водки и бакалея. Иногда закуска бываетъ попроще, но иногда—очень богатая, смотря потому, имѣются ли въ числѣ гостей бакалейщики и погребщики. Нужно однакожъ сказать, что ежели и есть на-лицо бакалейщики, то Домнушка не всю привезенную ими бакалею ставитъ на столъ, а половину откладываетъ. Такъ что ежели бы на другой день и ни одинъ бакалейщикъ не пришелъ, то закуска все-таки подается приличная. Но за то случается, что всякій день цѣлую недѣлю все бакалейщики ходятъ—тогда происходитъ избытокъ. Остатки относятся къ статскому совѣтнику, который небольшую часть самъ съѣдаетъ, а большинство продаетъ въ мелочную лавочку и изъ вырученныхъ денегъ, съ своей стороны, составляетъ капиталъ.

Однажды только я видѣлъ въ окно, какъ чуть-было не затѣялась драка между купцами. Задралъ, конечно, грекъ, который сталъ доказывать, что настоящая вѣра отъ грековъ пошла; а одинъ изъ купцовъ вломился въ амбицію и отвѣтилъ, что спервоначалу, дѣйствительно, такъ было, но что истинный свѣтъ все-таки съ Москвы возсіялъ. И вдругъ, не успѣлъ грекъ и рта разинуть, какъ въ одну секунду на обѣ щеки по плюхѣ получилъ. Однако Домнушка и тутъ нашлась. Потушила лампы и свѣчи и пригрозила послать за городовымъ. Купцы, разумѣется, присмирѣли, а такъ какъ трынка была въ самомъ разгарѣ и на столѣ было много денегъ, которыя, во время смятенія, перемѣшались, то общимъ совѣтомъ было положено: отдать эти деньги Ератидушкѣ. А она на другой день на нихъ цѣлую уйму облигацій отъ Юнкера привезла.

Во второмъ часу все кончается. Ужина не полагается, потому что купцы и въ теченіе вообще всей своей жизни только закусываютъ, а настоящимъ образомъ ѣсть не умѣютъ. Огни во всѣхъ окнахъ потушены, и въ квартирѣ водворяется тишина. Кто-то гоститъ теперь тамъ, за этими спущенными сторами: блондинъ или брюнетъ?

Вотъ, стало быть, цѣлыхъ два оазиса. И много такихъ я могъ бы вамъ описать, но для этого надо цѣлую безконечную серію писемъ. Вѣдь только слава, будто весь Петербургъ превратными толкователями начиненъ, а, въ сущности, превратныхъ толкователей только съ горсточку, а все остальное—оазисы. Говорятъ, будто бы либераловъ много развелось—вотъ это, пожалуй, правда; но вѣдь и либералъ тоже оазисъ, ибо и онъ отъ пирога съ капустой не прочь — ну, и Христосъ съ нимъ, пускай кушаетъ! Я полагаю, что современемъ и все одни оазисы будутъ, только, какъ я уже прежде сказалъ, торопиться не надо. Принудительныя мѣры никогда вожделѣнныхъ результатовъ не приносили, а вотъ ежели пара рябчиковъ, вмѣсто рубля, будетъ тридцать копѣекъ стоить, да поросенокъ до пятидесяти копѣекъ въ цѣнѣ упадетъ — вотъ это настоящее дѣло будетъ! Тогда и либералы не устоятъ противъ очевидности. И всѣ въ одинъ голосъ возопіютъ: посмотрите, какіе результаты!

Къ сожалѣнію однакожъ я долженъ сознаться, что принудительные взгляды у насъ и до сихъ поръ въ большомъ ходу въ той ко-

чующей части нашего общества, которая наполняетъ улицы и публичныя мѣста Петербурга. Только и слышишь кругомъ: въ ежовыхъ рукавицахъ держать надо, въ баранiй рогъ надо согнуть! Чудаки, право! не понимаютъ, что если и могутъ быть результаты отъ ежовыхъ рукавицъ, то тѣхъ же самыхъ результатовъ гораздо пріятнѣе простою сытостью достигнуть можно! Да и какъ возможно не только цѣлое общество, но даже отдѣльнаго человѣка въ баранiй рогъ согнуть? и про какiя-такiя ежовыя рукавицы идетъ рѣчь? гдѣ онѣ? откуда ихъ взять? Словомъ сказать, явно пустое болтаютъ, а проходящiе между тѣмъ слушаютъ и морозъ ихъ по кожѣ подираетъ.

Однакожъ, представьте себѣ такое положенiе, человѣкъ съ малолѣтства привыкъ думать, что главная цѣль общества—развитiе и самосовершенствованiе, и вдругъ кругомъ него—точно сбѣсились всѣ—только о бараньемъ рогѣ и толкуютъ! Вѣдь это даже подло. Возражаютъ на это: „вамъ-то какое дѣло? вы идите своей дорогой, коли не чувствуете за собой вины!“ Какъ какое дѣло? да вѣдь мой слухъ поражается! вѣдь мозги мои страдаютъ отъ этихъ накостныхъ словъ! да и учителя въ „казенномъ заведенiи“ не даромъ же заставляли меня твердить:

Будь, человѣкъ, благороденъ!
Будь сострадателенъ, добръ!

А вы спрашиваете: какое дѣло?! Да опять и насчетъ вины. Почемъ я знаю, что̀ вы разумѣете подъ виною? Напримѣръ, ежели я ничего не похитилъ изъ казеннаго пирога—по моему, это хорошо, а по вашему, можетъ быть, это-то именно и есть „вина“? Или, напримѣръ, я вѣрю въ добрую природу человѣка—по моему, это хорошо, а по вашему это „вина“, истинная же заслуга заключается въ человѣконенавистничествѣ... Вѣдь вы на этотъ счетъ молодцы: перекрестите лобъ, да и думаете, что послѣ этого можете свободно и клеветать, и красть, и убивать!

Но все это еще только полъ-бѣды: пускай горланы лаютъ! Главная же бѣда въ томъ, что доктрина ежовыхъ рукавицъ ищетъ утвердить себя при помощи не одного лая, но и при помощи утрожденiя начальства. Утрожденiе начальства—вотъ язва, которая точитъ современную дѣйствительность и которая не только временно вноситъ

элементъ натянутости и недовѣрія во взаимныя отношенія людей, но и можетъ сдѣлать послѣднихъ неспособными къ общежитію.

Я недостаточно подробно знакомъ съ памятниками нашей старины, но очень хорошо помню, какъ покойный папенька говаривалъ, что въ его время было въ ходу правило: „доносчику — первый кнутъ“. Знаю также, что и въ позднѣйшее время существовалъ законъ, по которому лицо, утруждавшее начальство по первымъ двумъ пунктамъ, прежде всего сажали въ тюрьму и держали тамъ до тѣхъ поръ, пока оно не представитъ ясныхъ доказательствъ, что написанное въ его доносѣ есть фактъ дѣйствительный, а не плодъ злонымхательной фантазіи.

По моему мнѣнію, это были правила по истинѣ человѣколюбивыя, и не потому только, что они ограждали честныхъ людей отъ подысканій своекорыстной ябеды, но и потому, что они воспитывали въ обществѣ чувство гадливости къ промышленникамъ доноса. Я помню, какъ утруждатели, застигнутые страхомъ тюрьмы, извивались, доказывая, что ихъ доносы не суть доносы, но извѣщенія, и какъ, по большей части, усилія ихъ въ этомъ смыслѣ оставлялись просвѣщеннымъ начальствомъ безъ послѣдствій. Я помню, съ какою брезгливою чуткостью самое общество относилось къ „шептунамъ“. Прежде всего, никто не вѣрилъ ихъ искренности даже въ томъ случаѣ, когда они доказывали, что за ихъ услугами скрывается очень хорошая спеціальность: утирать слезы. Повидимому, что̀ можетъ быть пріятнѣе: утирать слезы! — однакожъ общество и на это занятіе смотрѣло подозрительно, и во всякомъ случаѣ считало умѣстнымъ присовокуплять: но не утруждая начальства! Однимъ словомъ, шептуны чувствовали себя настолько нехорошо, что отдавались этому ремеслу, по большей части, по легкомыслію или недоразумѣнію. Если же впослѣдствіи и упоствовали въ немъ, то лишь потому, что надъ ними ужъ тяготѣлъ фатумъ.

Шептуновъ изъ молодыхъ людей почти совсѣмъ не было. Въ основѣ этого ремесла слишкомъ ясно слышится нота вѣроломства и измѣны, чтобы живость и чуткость молодого чувства могли примириться съ нимъ. Мало было и стариковъ: совершивъ все земное и до извѣстной степени выживъ изъ ума, старцы удалялись на покой, замаливали старые грѣхи и посвящали остатокъ дней своихъ писанію мемуаровъ. Главный контингентъ утруждателей составляли личности

среднихъ лѣтъ, побитыя и помятыя, въ родѣ Расплюева и Загорѣцкаго, или блестящія, но несомнѣнно прогорѣвшія, въ родѣ Кречинскаго. Нѣкоторые изъ послѣднихъ, несмотря на внѣшній блескъ, были общензвѣстны и на нихъ указывали пальцами, но нѣкоторые настолько искусно умѣли маскировать себя, что такъ и умерли неузнанными. Только впослѣдствіи мемуары словоохотливыхъ старичковъ возстановили этихъ „неузнанныхъ“ въ надлежащемъ свѣтѣ. Однакожъ, во всякомъ случаѣ, самая необходимость носить маску и скрывать свои дѣйствія доказывала, что ремесло утруждателя не считалось ни полезнымъ, ни безопаснымъ.

Нынѣ повидимому эти отличительныя традиціи приходятъ въ забвеніе. Подавляющія событія послѣдняго времени въ конецъ извратили смыслъ русской жизни, осудивъ на безсиліе развитую часть общества и развязавъ руки и языки рыболовамъ мутной воды. Я впрочемъ далекъ отъ мысли утверждать, что въ этомъ измѣненіи жизненнаго русла участвовало какое-нибудь насиліе, но что оно существуетъ—въ этомъ, кажется, никто не сомнѣвается. Вѣроятнѣе всего, оно совершилось само собой, силою обстоятельствъ.

Я не говорю также, что извѣстительная практика преуспѣваетъ; я говорю только, что она начинаетъ входить въ нравы. Но, по моему мнѣнію, въ этомъ-то и заключается главное зло, такъ что гораздо было бы лучше, еслибъ эта практика преуспѣвала въ видѣ особой статьи, нежели вторгалась въ жизнь въ качествѣ одного изъ ея составныхъ элементовъ. Появляться въ обществѣ людей становится дѣломъ труднымъ и рискованнымъ, ибо нетерпимость и желаніе зажать противнику ротъ достигли до высшей степени. И то, что вслѣдствіе этого происходитъ, не можетъ даже назваться доносомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы, люди отживающіе, привыкли понимать это слово; нѣтъ, это не донось, но прямо приглашеніе къ составленію протокола, съ препровожденіемъ въ участокъ на зависящее распоряженіе. Допустимъ, что въ участкѣ разберутъ и отпустятъ; но какъ бы удивились мы въ оные дни, еслибъ намъ сказали, что наступитъ время, когда участокъ (попрежнему, кварталъ или съѣзжая) сдѣлается посредникомъ въ разрѣшеніи споровъ и недоумѣній по жизненнымъ вопросамъ!

Въ особенности прискорбно смотрѣть на молодыхъ людей: они совсѣмъ нынче отучились красивѣть и потуплять глаза. Едва со-

скочивъ со школьной скамьи, юноша уже ни о чемъ другомъ не помышляетъ, кромѣ карьеры, и даже съ дамочками устраивается мимоходомъ и какъ-то наскоро. Нѣсколько черезъ-чуръ быстро сдѣланныхъ карьеръ вскружили головы и смутили молодыя сердца. Какимъ образомъ достигнуть того, чего такъ легко достигъ, напримѣръ, N? Понятно, что дѣйствія скромныя, сопряженныя съ трудомъ, не могутъ въ этомъ случаѣ представляться ни достаточно блестящими, ни достаточно доказательными. Мало того: эти дѣйствія почти подозрительны, потому что нынче, милая тетенька, даже въ воздержаніи отъ рыканія уже усматривается что-то похожее на укрывательство. Стало быть, нужно рыкать. А еще будетъ цѣлесообразнѣе, ежели прямо закричать: караулъ!—тогда ужъ дорога откроется сама собою. Вотъ они и рыкаютъ, и караулъ кричатъ, не задавая даже себѣ вопроса: а дальше что?

Ахъ, да и дамочки нынче какія-то кровожійственныя стали. Нагуливаютъ себѣ атуры, потрясаютъ бедрами—и, представьте, все съ цѣлями внутренней политики! Прежде, бывало, придетъ краснощекій Амалатъ-Бекъ, наговоритъ съ три короба des jolis riens и вдругъ... А теперь дамочка Амалатъ-Беку своему прежде всего говоритъ: сначала проливай кровь, а потомъ посмотримъ“... Право, мнѣ кажется, что прежде лучше было.

И старики не отстаютъ отъ молодыхъ, но, конечно, по немощамъ своимъ они больше проекты по части оздоровленія корней строчатъ, да кстати ужъ и иллюстрацій къ этимъ проектамъ присовокупляютъ. Иной даже объ смерти позабылъ, думаетъ: поживу еще! А спросите-ка его, зачѣмъ ему жить понадобилось, такъ онъ, пожалуй, разсердится.

Что же касается до Расплюевыхъ и Загорѣцкихъ, то ими нынѣ всѣ трактиры полны. Пьютъ очищенную, клаштосы дѣлаютъ и кричатъ „караулъ“...

До того дошло, что даже отъ серьезныхъ людей случается такіе отзывы слышать: „мерзавецъ, но на правильной стезѣ стоитъ“. Удивляюсь, какъ можетъ это быть, чтобъ мерзавецъ стоялъ на правильной стезѣ. Мерзавецъ — на всякой стезѣ мерзавецъ, и въ былое время едва ли кому-нибудь даже могло въ голову придти сочинить притчу о мерзавцѣ, на доброй стезѣ стоящемъ. Но, повторяю: подавляющія обстоятельства въ такой степени извратили всѣ понятія, что никакіе парадоксы и притчи уже не кажутся намъ удивительными.

Простите, милая тетенька, что письмо мое вышло нѣсколько пестро: жизнь у насъ нынѣче какая-то пестрая завелась, а это и на теченіе мыслей вліяніе имѣетъ. Живется-то, положимъ, даже очень хорошо, да вдругъ сквозь это хорошее житье что-то сомнительное проскочитъ—ну и задумаешься. И сдѣлается сначала грустно, а потомъ опять весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходить въ отчаяніе все-таки не слѣдуетъ, покуда на концѣ стоитъ: весело.

Письмо пятое.

Милая тетенька!

Вы пишете: „а Пафнутьевъ изъ Петербурга воротился, да странный какой-то; пріѣхалъ съ визитомъ въ Ворошилово во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ, въ круглой шляпѣ“... Ахъ, голубушка! да неужто-жъ вы не догадываетесь, что это онъ къ вамъ прямо какъ былъ въ Петербургѣ въ передней, такъ и явился!

Пафнутьевъ—земская косточка, а нынѣче правило: во всѣ передніи Пафнутьевыхъ допускать. Представятся швейцару, расчеркнутся, шаркнутъ ножкой — и по домамъ. Видѣлъ?—ну, и будетъ съ тебя. Ступай въ деревню, разъѣзжай по сосѣдямъ, хвастайся, а начальства не утруждай!

Я ничего не читалъ въ газетахъ о подвигахъ *вашего* Пафнутьева, но слышалъ, что онъ былъ въ Петербургѣ и нюхалъ. Сначала находилъ, что пахнетъ амбре́, потомъ, по мѣрѣ того, какъ надежды на „проникновеніе померкли, сталъ относиться къ запахамъ съ притворнымъ равнодушіемъ и, наконецъ, пустился въ почтительное сквернословіе. И такъ какъ Петербургъ нынѣче переполненъ Пафнутьевыми, которые всѣ пріѣхали понюхать, чѣмъ пахнетъ, то у всѣхъ у нихъ *вашъ* Пафнутьевъ былъ съ визитомъ и всѣмъ говорилъ, что надобно „взглянуть на положеніе вещей серьезно“, и прежде всего начать съ оздоровленія корней.

Или точнѣе: съ оздоровленія самого же Пафнутьева, потому что корни—земство, а Пафнутьевъ—излюбленный земскій человѣкъ. Вотъ какая иногда выходитъ игра словъ!

Знаю также, что, „отъявившись“ гдѣ слѣдуетъ, онъ засѣлъ у себя въ нумерѣ и сталъ „ждать“. Ждалъ недѣлю, ждалъ другую, и наконецъ такъ ему захотѣлось у Палкина въ трактирѣ машину послушать, что онъ не выдержалъ и отлучился. А въ это время, какъ на грѣхъ, кто-то *за нимъ приходилъ* и, узнавъ, что его дома нѣтъ, сказалъ: „а въ немъ между тѣмъ есть настоятельная надобность“. Затѣмъ, какъ ни добивался Пафнутьевъ, кто приходилъ, какого вида и роста, военный или статскій, въ одеждѣ или безъ таковой, молодой или старикъ—такъ ничего и не добился. „Онъ“ же, съ своей стороны, хотя и обѣщалъ опять придти, но не пришелъ. А между тѣмъ, тетенька, вѣдь и серьезно могло такъ случиться, что было гдѣ-нибудь засѣданіе, и вдругъ нѣкто вспомнилъ: отчего Пафнутьева между нами нѣтъ? Туда-сюда. Послали звать, а его дома не оказалось: швейцаръ же говоритъ: „къ Палкину машину слушать ушли“... Посмѣялись, пожалѣли, а къ слѣдующему засѣданію и аппетитъ къ Пафнутьеву прошелъ.—Пафнутьевъ! кто, бишь, это такой? Ба! да это не тотъ ли, который машину у Палкина слушаетъ? —ну, и пускай слушаетъ! Подумайте, милая, срамъ-то какой! Добро бы въ Публичную Библіотеку или въ Академію Наукъ, а то къ Палкину *машину слушать* затесался!!!

Такъ онъ свое счастье и прозѣвалъ.

Прозѣвавши счастье, пустился во всѣ тяжкія. Сперва началъ по Милютинымъ лавкамъ ходить. Купитъ фунтъ изюму, а самъ стоитъ и присматривается: кто, бишь, этотъ солидный мужчина, который указательнымъ пальцемъ во всякой рыбинѣ поковырялъ, понюхалъ, полизалъ и ничего не купилъ? А ну, какъ онъ къ нему оберется: „а! *господинъ* Пафнутьевъ! аншанте! васъ-то намъ и надо!“... Потомъ сталъ француженкамъ-кокоткамъ свой фотографическій портретъ разсылать: пріѣдетъ, молъ, ужо милый дружокъ, увидитъ, что на столѣ чья-то морда валяется... „Ба! да вѣдь это Пафнутьевъ! его-то намъ и надо!“ Потомъ началъ по Невскому по ночамъ шататься, думалъ: наткнусь на скандалъ, свидѣтелемъ буду... А на другой день въ газетахъ напечатаютъ: „случился скандалъ, при которомъ съ особенно-благородной стороны выказалъ себя свидѣтель Пафнутьевъ“. А извѣстіе это кто слѣдуетъ прочтетъ и скажетъ: „ба! не тотъ ли это Пафнутьевъ, отъ котораго особливой, по настоящимъ обстоятельствамъ, пользы ожидать надлежитъ?“... Словомъ сказать,

всѣ средства, и дозволенныя, и предосудительныя, пускалъ въ ходъ. Наконецъ видитъ, что ничего не беретъ, взялъ да отъ нечего дѣлать и заложилъ свое торопецкое имѣніе въ Обществѣ Взаимнаго Поземельнаго Кредита.

И что жъ бы вы думали—даже послѣ этого не только не угомонился, но еще пуще прежняго духомъ возгорѣлъ. Ему бы слѣдовало сходить въ баню и уѣхать въ Торопецъ, а онъ, вмѣсто того, вновь объѣхалъ всѣхъ земцевъ-нюхателей и уговорилъ ихъ собраться у Палкина за общей трапезой для обмѣна мыслей. Протестъ, что-ли, онъ затѣвалъ, или прямо бунтъ — этого вамъ сказать не умѣю, но только не успѣли сотрапезники по первой мысли обмѣнять, какъ ихъ тутъ же, голубчиковъ, и накрыли. И что же потомъ оказалось?—что накрыли-то не настоящіе накрыватели, а шутники изъ „Союза Недремлющихъ Лоботрясовъ“, которые ѣхали по дорогѣ въ трактиръ „Самаркандъ“, да и надумали: пугнемъ-ка, молъ, Пафнутьевыхъ? И пугнули. Только остальные-то Пафнутьевы разбѣжались, а нашъ между стульевъ запутался. Накрыватели же, сказавъ ему: „счастливъ твой Богъ!“—простили и уѣхали. Но Палкинъ не простилъ и представилъ счетъ. И вынужденъ былъ Пафнутьевъ по этому счету сполна заплатить, потому что, въ противномъ случаѣ, Палкинъ-трактиръ угрожалъ обвинить его въ „превратномъ толкованіи“. На эту уплату ушла половина полученныхъ облигацій, а другую половину онъ по дорогѣ изъ Средней Мѣщанской въ Фонарный переулокъ обронилъ (даже околоточный по этому случаю сказалъ ему: „стыдитесь, сударь!“).

Вотъ вамъ и вся эпопея Пафнутьевскаго пребыванія въ Петербургѣ. Разсказалъ мнѣ ее одинъ изъ недонюхавшихся нюхателей, который и въ Палкинскомъ бунтовствѣ занѣвалой былъ, но успѣлъ счастливо ускользнуть, да вдобавокъ еще и ложку, впопыхахъ, въ карманъ запряталъ.

— Да вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутьеву!—уговаривалъ я его.

— И то надо заплатить...

Однакожъ впослѣдствіи я узналъ, что онъ такъ, не заплативши, и уѣхалъ въ Чебоксары. И ложку съ собой увезъ, хотя рукоятка у нея была порыжѣлая, а въ углубленіи самой ложки присохли неот-

мываемые слѣды личныхъ желтковъ. Вѣроятно въ Чебоксарахъ поцу въ храмовые праздники эту ложку будутъ подавать!

Что-то теперь будетъ Пафнутьевъ у васъ въ Торопцѣ говорить? То-то, чай, станетъ хвастаться и лгать! Поэтому на всякій случай предупреждаю васъ: что бы онъ ни разсказывалъ, ни одному его слову не вѣрьте. Такъ-то спокойнѣе. Когда впередъ знаешь, что человѣкъ вретъ, то слушать его иногда забавно, иногда скучно бываетъ, смотря потому, кто и какъ вретъ; но когда человѣкъ вретъ, а собесѣдникъ его думаетъ, что онъ правду говоритъ, тогда можно съ ума сойти. Одному только вѣрьте: что Пафнутьевъ свою Обираловку заложилъ и что въ слѣдующемъ году ему процентовъ нечѣмъ будетъ платить. Однако вы ему тогда денегъ взаймы не предлагайте, потому что онъ взять-возьметъ, а отдать не отдастъ. А впрочемъ что же я объ этомъ хлопочу! вѣдь у васъ и у самихъ денегъ-то нѣтъ!

Ахъ, тетенька, тетенька! какъ это мы такъ живемъ! И земли у насъ довольно, и подъ землей невѣдомо что лежитъ, и лѣса у насъ, а въ лѣсахъ звѣри, и воды, а въ водахъ рыбы — и все таки намъ нечего ѣсть! А вѣдь и звѣри, и рыбы — все это для того именно и создано, чтобы человѣка питать. Оглянитесь кругомъ—вездѣ питаніе, да только до нашихъ ртовъ оно почему-то не доходитъ, а другимъ мы сами давать не хотимъ. Сторожей держимъ, жалованье платимъ... Вотъ хоть бы голуби—сколько у васъ ихъ на мельницу летаетъ! Въ Парижѣ давно бы ихъ заарестовали, откормили и на весь бы городъ сотѣ изъ нихъ понадѣлали! А у васъ они такъ зря тощіе летаютъ. Поклюютъ-поклюютъ, да въ свое мѣсто и улетятъ. Но вѣдь ихъ и тощихъ можно кушать. Я помню, однажды мнѣ охотникъ голубя принесъ: „витютень“, говоритъ. Вижу, что голубь; однакожъ перекрестился и съѣлъ за витютня. Тощенекъ, а ничего. А вы къ Финагенчу обращаетесь: привези, голубчикъ, изъ городу говядинки, да вермишельцу, да селедочекъ, а курочка, молъ, у насъ своя есть. А какая же это курочка! Ей бы, за искусство добывать пропитаніе, наравнѣ съ мужичкомъ, премію нужно назначить, а мы ее въ супъ волокёмъ!

Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси въ прудѣ? Правда, что по части невода у васъ слабо: старый сопрѣлъ, а новымъ не разжились; такъ попросите Афимьюшку—она и въ подолъ наловитъ.

Вотъ отъ этой-то голодухи и земцы изъ своихъ норъ въ Петер-

бургъ наползаютъ. Былъ у насъ когда-то мужикъ, такъ на этомъ мужикѣ нынче Колупаевъ съ Разуваевымъ поѣхали; была ссуда, были облигаціи, а куда онѣ подѣвались, и ума не приложишь; наконецъ, осталась земля, а ее не угрызешь. О, горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!

Вообще, что касается земства, я, пародируя стихъ Лермонтова, могу сказать: люблю я *земщину*, но странною любовью. Или, говоря прямѣе: вижу въ земскомъ человѣкѣ нѣчто двойственное. По наружному осмотру и по первоначальнымъ діалогамъ каждый изъ нихъ—парень хоть куда, а какъ заглянешь къ нему въ душу (это и не особенно трудно: стоитъ только на діалоги не скупиться)—анъ тамъ КРѢПОСТНОЕ ПРАВО засѣло.

Возьмемъ хоть мой родной уѣздъ: тамъ съ самаго начала и до настоящей минуты представителями земства безсмѣнно служатъ: двое Дракиныхъ, да двое Хлобыстовскихъ, да аптекарь Карлъ Иванычъ, да крестьянинъ Огрызковской волости Матвѣй Григорьевъ, котораго по фамиліи, изъ учтивости, называютъ Вздошниковымъ. Изъ нихъ только Вздошниковъ сытъ, да и то потому, что способенъ пустыми щами насыщаться. Дракины голодны, Хлобыстовскіе голодны, Карлъ Иванычъ—дѣвичью кожу ѣстъ. Жалованье имъ идетъ хотя изрядное, но для наполненія дворянскихъ желудковъ все-таки недостаточное, а у Карла Иваныча четырнадцать человѣкъ дѣтей и всѣхъ ихъ надо къ аптекарской должности подкормить. Одинъ Вздошниковъ вполнѣ своимъ жалованьемъ доволенъ, но тутъ опять другая бѣда. Съ тѣхъ поръ какъ онъ сѣлъ *паравиться съ господами*, у него развилась страсть къ накопленію богатствъ, и онъ почти все свое жалованье отдаетъ за процентъ Хлобыстовскимъ и Дракинымъ. Послѣдніе смотрятъ на это уже какъ на „воспособленіе средствъ“, и, разумѣется, никогда Вздошникову денегъ не отдадутъ.

Но какъ ни скудно житье Дракиныхъ, однако все-таки, благодаря жалованью и воспособленіямъ, на зубахъ у нихъ что-нибудь есть. Поэтому всякій разъ, какъ наступитъ срокъ новыхъ выборовъ, они начинаютъ тревожиться и лебезить. Забаллотируй ихъ земское собраніе, имъ придется опять засѣсть по деревнямъ, а вѣдь тамъ, какъ вамъ извѣстно, съ самой „катастрофы“ и земля перестала родить, и коровы перестали телиться, и помольцы перестали на мельницу ѣздить,

а ѣздятъ подальше къ купцу Пузанову, у котораго и безъ того пузо отъ щей съ солониной рѣсперло, но зато жернова хороши.

Спрашивается: какіе идеалы могутъ волновать души этихъ людей? Очевидно, идеалы крѣпостного права. Какія воспоминанія могутъ освѣщать ихъ постылыя существованія?—очевидно, воспоминанія о крѣпостномъ правѣ. При немъ они были сыты и вдобавокъ пользовались ручнымъ боемъ. Сытость представляла право естественное, ручной бой—право формальное, означавшее принадлежность къ дирижирующему классу.

Какимъ образомъ и въ силу чего Дракины и Хлобыстовскіе, съ своими крѣпостными идеалами, вдругъ явились въ качествѣ представителей земли—этого я никогда выяснить себѣ не могъ. Никакихъ дѣяній „благоразумной экономіи“, которыя оправдывали бы ихъ появленіе на аренѣ земскаго хозяйства, они не совершили. При крѣпостномъ правѣ они были помѣщики, какъ всѣ другіе, то-есть взимали денежныя и натуральныя дани, гоняли мужиковъ на барщину и т. д. По уничтоженіи крѣпостного права явили себя безпомощными и безталанными. Самые, что̀ называется, коренники деревенскіе, которые, какъ вышли въ отставку въ корнетскихъ доспѣхахъ, такъ и не выѣзжали изъ деревень, и тѣ, съ осуществленіемъ эмансипаціи, сразу почувствовали себя способными и наклонными скорѣе къ городскому, нежели къ деревенскому дѣлу. Большинство сообразно съ этимъ и поступило. Заручившись, насколько было возможно, ссудами, облигаціями и результатами распродажи движимаго и недвижимаго, предоставили злакамъ свободно произрастать, гдѣ и какъ знаютъ, а сами разселились по городамъ и бодро вступили въ ряды бюрократіи. Только самыя слабыя особи остались въ насиженныхъ гнѣздахъ, какъ бы во свидѣтельство, что крѣпостное право не вовсе умерло, а нѣчто и завѣщало. Вотъ въ силу этого-то завѣщанія Хлобыстовскіе съ Дракиными и вплыли, когда наладилось „земство“. Во-первыхъ, они имѣли за себя самое широкое досужество, а во-вторыхъ, въ окрестности еще не утратилась привычка повторять ихъ имена. Кого выбирать?—разумѣется, тѣхъ, у кого досуга больше. А у кого же его больше, нежели у Никонора Дракина, который не только отъ дѣла, но и отъ ѣды свободенъ? И выбрали. А затѣмъ Вздошниковъ съ Карломъ Иванычемъ пошли ужъ какъ бы на придачу, въ видѣ Гамбеттовскихъ новыхъ общественныхъ слоевъ.

Съ тѣхъ поръ Дракины кое-что ѣдятъ. И еслибъ они ограничились отпускаемою имъ малой ѣдой, никто бы, конечно, за этимъ не погнался; но они хотятъ ѣсть все больше и больше, а это ужъ неблагородно, потому что разыгрывающійся аппетитъ внушаетъ имъ предосудительныя мысли, а предосудительныя мысли гонятъ ихъ въ Петербургъ.

Что все это именно такъ и случится — въ этомъ я, съ самаго вступленія Дракиныхъ на арену земской дѣятельности, не сомнѣвался; но публиковать о моихъ предвидѣніяхъ до настоящей минуты остерегался. Во-первыхъ, чуть, бывало, заикнусь въ этомъ родѣ слово сказать, какъ ужъ со всѣхъ сторонъ вопіютъ: „ахъ, что вы! дайте же окрѣпнуть нашимъ молодымъ учрежденіямъ!“ Во-вторыхъ, представьте себѣ, вѣдь тутъ и въ самомъ дѣлѣ штука случилась. Едва только занялись Дракины вплотную луженіемъ больничныхъ рукомойниковъ (въ этомъ собственно и состояла ихъ „задача“, такъ какъ „безплодная“ бюрократія даже съ луженьемъ справиться не могла!), какъ вдругъ пошли слухи, что этимъ самымъ они посѣваютъ въ обществѣ недовольство существующими порядками и даже подрываютъ авторитеты!

Я зналъ, что земцы невинны, что они лудятъ отъ чистаго сердца, и ровно ничего не посѣваютъ, но могъ ли я это доказывать?—Нѣтъ, ибо, доказывая, я рисковалъ двояко: или впасть въ ироническій тонъ, а слѣдовательно обидѣть наши „неокрѣпшія молодыя учрежденія“, или же предпринять серьезную защиту лудильщиковъ, и въ такомъ случаѣ попасть въ число ихъ сообщниковъ и укрывателей...

Разумѣется, я предпочелъ молчать.

Но нынче наши „молодыя учрежденія“ не только окрѣпли, но даже, можно сказать, обнаглѣли, такъ что не представляется уже никакихъ затрудненій разсказать, въ чемъ заключалась суть этихъ лудительныхъ недоразумѣній.

Что земскіе люди были призваны для луженія рукомойниковъ и для починки мостовъ—это они поняли вполнѣ правильно. Но дѣло въ томъ, что лудить можно двояко: или съ предвзятымъ намѣреніемъ, или чистосердечно, безъ намѣренія. Все равно, какъ лапти плесть: можно съ подковыркой, а можно и безъ подковырки. Съ подковыркой щеголеватѣе и прочнѣе, но за то крамолой припахиваетъ; безъ под-

ковырки — лапоть совсѣмъ никуда не годится, но за то о крамолѣ слыхомъ не слыхать!.. Ходи, корела, безъ подковырки!

Нѣчто въ этомъ родѣ случилось и съ нашими земцами. Съ первыхъ же шаговъ они точно съ цѣпи сорвались: давай, братцы, плести лапти съ подковыркою! Источникъ этой рѣшимости былъ очень хорошъ: желаніе оправдать довѣріе начальства; но такъ какъ дѣло было новое и неслыханное, то понятно, что оно должно было произвести нѣкоторый шумъ. Бюрократы — недоумѣвали; „общество“ — ликовало и подстрекало. Разростаясь да разростаясь, этотъ шумъ постепенно опьянилъ самихъ земцевъ. Имъ бы нужно было, не обращая вниманія на подстрекательства „общества“, скромно продолжать свое скромное дѣло, а они вмѣсто того возмечтали. Вздумали лудить самостоятельно, изъ *разрѣшенія* вывели *право*; начали иронически посматривать на администраторовъ и называть бюократію *безплодною*, но что̀ всего хуже — допустили къ участію въ этой распрѣ женское сословіе. Ни одного пирога въ губерніи не обходилось безъ ехидной полемики; ни одного бала—безъ скандаловъ. То польскій, не дождавшись губернатора, водить начнутъ; то губернаторшу въ мазуркѣ въ четвертую пару загонятъ (да еще съ кѣмъ въ парѣ?—съ правителемъ канцеляріи!), а какая-нибудь земская гласная, сверкая атласными плечами, въ первой парѣ плыветъ. Однимъ словомъ, возобновились худшія времена дворянскихъ выборовъ. Натурально, что ихъ сейчасъ же остановили. Не *право* дано вамъ, внушили имъ, а *разрѣшеніе. Право* — это потомъ, когда бабушка будетъ произведена въ дѣдушки, а до тѣхъ поръ: луди, но оглядывайся!

Короче, едва успѣли обѣ силы встрѣтиться, какъ тотчасъ же встали на дыбы. Стоятъ другъ противъ друга на дыбахъ — и шабашъ. Да и нельзя не стоять. Потому что ежели земство уступитъ —конецъ луженью придетъ, а вѣдь это заря нашихъ будущихъ гражданскихъ свободъ. Если же Сквозникъ-Дмухановскій уступитъ —начнется потрясаніе основъ и колебаніе авторитетовъ. Того глядп, общество погибнетъ.

И шла эта распря, то замирая, то разгараясь, вплоть до нашихъ дней. И надо сказать правду, что бо́льшая часть ея эпизодовъ разыгралась исключительно на бокахъ земцевъ и къ полному удовлетворенію Сквозника-Дмухановскаго.

Но нынѣче все объяснилось. Администраторы самые заматерѣлые, и тѣ догадались, что луженіе есть луженіе и ничего больше; стало быть, если земскіе дѣятели въ одномъ мѣстѣ не долудили, а въ другомъ перелудили, то это бѣда небольшая. Земцы же, съ своей стороны, сознались, что они дѣйствительно уклонились (все только лудить да лудить — это хоть кого сбѣситъ!) отъ своей задачи, но теперь приносятъ повинную и ходатайствуютъ объ одномъ: чтобы, независимо отъ луженья, имъ разрѣшено было, преимущественно передъ прочими уполномоченными на сей предметъ лицами, вопіять: „страхъ врагамъ“!

Вѣроятно препятствій къ удовлетворенію этого ходатайства не будетъ; однакожъ я все-таки считаю долгомъ заявить, что это новое расширеніе земскихъ правъ (особливо ежели земцы обратятъ его себѣ въ монополію), по мнѣнію моему, можетъ вызвать въ будущемъ нѣкоторыя очень серьезныя недоразумѣнія. А именно: какъ бы при этомъ не повторилась опять притча о лаптяхъ съ подковыркою, уже надѣлавшая однажды хлопотъ.

Если земцы будутъ кричать: „страхъ врагамъ!“ чистосердечно и безъ преднамѣренія — это будетъ хорошо; но ежели они будутъ кричать съ подковыркою, то-есть увидятъ въ этомъ кличѣ лишь средство удовлетворить нѣкоторымъ тайнымъ преднамѣреніямъ, и ежели, вслѣдъ затѣмъ, Пафнутьевъ или Никаноръ Дракинъ, съ свойственною имъ ловкостью, сперва обиняками, а потомъ громче и громче, пустятъ слухъ о необходимости перемѣщенія центра тяжести правящей Руси — тогда ожидайте большихъ хлопотъ въ будущемъ. Замѣтьте, что никто въ цѣломъ мірѣ не только земцамъ, но и никому не воспрещалъ пѣть „страхъ врагамъ“! Слѣдовательно, если этотъ вопросъ нынѣ выдвигается впередъ, то онъ выдвигается принципіально. И именно въ смыслѣ устраненія бюрократіи (разъ навсегда!) отъ пирога и перенесенія ея правъ и обязанностей по отношенію къ пирогу на излюбленныхъ земскихъ людей. Вотъ какая махинація скрывается подъ наивнымъ желаніемъ пѣть: „страхъ врагамъ“!

Еще во времена лудильной распри Пафнутьевъ подъ рукою пропагандировалъ, что бюрократія выдохлась и поражена безплодіемъ, а что, напротивъ того, обитающіе въ деревняхъ праноры плодущи, свѣжи и хоть сейчасъ готовы преобразиться въ земскихъ ярыжекъ. Что темное „средостѣніе“, которое представляетъ собой непроницае-

мая масса бюрократическаго воинства, мѣшаетъ видѣть добрый русскій народъ, но что ежели то же самое средостѣніе устроить изъ Дракиныхъ и Хлобыстовскихъ, то они не только не будутъ препятствовать видѣть русскій народъ, но въ самой скорости такъ его вышлифуютъ, что онъ и качества, и ребра свои какъ на ладонкѣ покажетъ.

Благодаря бдительности Сквозника-Дмухановскаго, Пафнутьевская пропаганда была временно пріостановлена, но подъ спудомъ она все-таки тлѣлась, и едва ли я ошибусь, сказавъ, что нынѣшній набѣгъ земцевъ на Петербургъ имѣетъ очень тѣсную связь съ возобновленіемъ этого вопроса.

Пѣть „страхъ врагамъ!“ очень выгодно, а дирижировать при этомъ оркестромъ—и того выгоднѣе: Дракины это поняли. Поэтому-то они и поползли такою массой въ Петербургъ, въ чаяніи доказать, что никто такъ ловко не съумѣетъ за шиворотъ взять, какъ они. Съ помощью этой пѣсни уже многіе на Руси дѣлишки свои устроили—отчего же не устроить себя тѣмъ же способомъ и Никанору Дракину? Повѣрій эту пѣсню внушаетъ довѣріе; довѣріе приводитъ за собой почести, а почести приближаютъ къ казенному сундуку...

Дракины, по природѣ и по преданію, гостепріимны и простодушны, но они невѣжественны, неразсудительны и, сверхъ того, любятъ урѣзать. Если повѣритъ Разуваевъ на полштофа, они полштофа урѣжутъ; ежели на штофъ повѣритъ, то и на штофъ согласны. Формальностей они не терпятъ, разговоровъ и судоговореній—не допускаютъ совсѣмъ. Виноватъ!—сознавайся! Сознался—за мной полтинникъ! не сознаёшься—запорррю! Такъ-то лучше, чѣмъ по-чиновничьи писать протоколы, изъ-за которыхъ добраго русскаго народа не видно! Помните, какое у насъ земство при крѣпостномъ правѣ было?—такое оно и теперь. Тоже безъ протоколовъ, какъ и тогда. Только голоднѣе, а идеалы все тѣ же: не то чтобы что-нибудь, огражденія ради, придумать, а прямо за шиворотъ или руки къ лопаткамъ.

Нѣтъ, вы представьте себѣ, что Пафнутьевскія мечтанія сбылись, и Дракины, низложивъ Сквозника-Дмухановскаго, сдѣлались исключительными вертоградарями провинціальнаго русскаго эдема. Представьте себѣ, что вамъ приходится жить въ одной изъ клѣточекъ этого эдема. Всѣ Дракины между собой родственники или свой-

ственники, всѣ сплелись и переплелись такъ, что и расплести невозможно. Вы одна не родственница и не свойственница никому изъ нихъ. У всѣхъ у нихъ свои общіе интересы, свои общія сплетни и ненависти, свое общее свинство; всѣ они въ одну дудку дудятъ, всѣ одну мысль въ головѣ держатъ: какъ бы урѣзать, опохмелиться и урѣзать вновь. Вы одни не принимаете участія ни въ сплетняхъ, ни въ опохмелѣніяхъ, ни въ ненавистяхъ ихъ. Какъ вы думаете: съѣдятъ они васъ или не съѣдятъ?

Что̀ касается до меня, то я утверждаю: не только съѣдятъ, но предварительно еще отравятъ вашу жизнь своимъ дыханіемъ. Вѣдь это только шутки шутятъ, называя Дракиныхъ излюбленными земскими людьми: въ сущности, они и вамъ, и мнѣ, и всей этой подлинной земской массѣ, которая кладетъ шары, даже не седьмая вода на киселѣ.

Какъ трудно будетъ жить въ этомъ эдемѣ—это даже самое разнузданное воображеніе не въ силахъ воспроизвести. Сообразите одно: цѣлую массу Дракиныхъ, оголтѣлыхъ, голодныхъ, ни на что̀ неспособныхъ, придется пронитать, обогрѣть и всѣмъ удоволить. А сверхъ того, вѣдь шагу за околицу нельзя будетъ сдѣлать, чтобъ не натолкнуться на Дракина. Одинъ Дракинъ—самъ излюбленный, другой—его родственникъ, третій—съ излюбленнымъ въ одной казармѣ горе тянулъ. И всѣ хотятъ ѣсть. Ѣсть-то хотятъ, да, вдобавокъ, еще дѣло дѣлать никому не даютъ. Скачутъ, свищутъ, гогочутъ, велятъ кричать: смерть врагамъ! Ахъ, какая это будетъ жизнь!

А мы-то съ вами на Сквозника-Дмухановскаго жаловались! Ахъ, тетенька, вѣдь въ немъ, все-таки, хоть до нѣкоторой степени теплилось чувство отвѣтственности! Была, разумѣется, и отвага—безъ этого какой же бы онъ былъ русскій человѣкъ!—но было и представленіе о Губернскомъ Правленіи, объ Уголовной Палатѣ, а въ особенности о секретаряхъ и столоначальникахъ. Дракинъ, напротивъ, такъ заблиндировалъ себя репутаціей свѣжести, что подъ звуки романса „смерть врагамъ!“ можетъ дерзать все, что̀ ему въ голову вступитъ. И если ему вздумается, напримѣръ, сжить васъ со свѣта (ахъ, какъ это нынче легко!), то вы ужъ не отдѣлаетесь отъ него ни крестомъ, ни нестомъ. Онъ ничего не страшится, ни въ чемъ не сомнѣвается, ни передъ чѣмъ не останавливается; дышетъ отвагой—и шабашъ. Взятку возьметъ—сейчасъ забудетъ; въ зубы треснетъ—

опять забудетъ. Все у него дѣлается какъ-то мимоходомъ, не въ зачетъ. А ежели его наконецъ изловятъ и приведутъ въ судъ, то онъ будетъ говорить: „не знаю! не помню! пилъ мертвую, и что дѣлалъ, ничего не помню“.

Вотъ почему я такъ и обрадовался, узнавъ изъ вашего письма, что Пафнутьевъ воротился восвояси, не доѣхавшись ни до чего. Авось-либо Богъ и просвѣщенное начальство защитятъ насъ и присныхъ нашихъ отъ Драконскихъ козней.

Я отсюда вижу ваше удивленіе и слышу ваши упреки.—Какъ!—восклицаете вы:—и ты, Цезарь (какъ истая смолянка, вы смѣшиваете Цезаря съ Брутомъ)! И ты предпочитаешь бюрократію земству, Сквозника-Дмухановскаго—Пафнутьеву! Изъ-за чего же мы волновались и бредили въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ? Изъ-за чего мы ломали копья, подвергались опаламъ и подозрѣніямъ?

Совсѣмъ не изъ-за этого, милый другъ. По крайней мѣрѣ я вовсе не бредилъ объ томъ, чтобъ Богъ привелъ мнѣ дожить до поглощенія Драконовымъ всѣхъ отраслей правящей дѣятельности, и ежели этому суждено сбыться, то ужъ, конечно, не я по этому поводу воскликну: „Нынѣ отпущаеши“...

А сверхъ того надобно и оговориться: рѣчь идетъ совсѣмъ не объ любви къ Сквознику-Дмухановскому, а объ томъ, что все въ мірѣ относительно. Всякая минута имѣетъ *свою* опасность, и въ настоящую минуту эту опасность представляетъ Никаноръ Драконъ. Онъ слишкомъ суетится, слишкомъ назойливо стремится выказать Сквозника-Дмухановскаго въ смѣшномъ свѣтѣ, чтобы можно было сомнѣваться, что ему хочется вскочить на мѣсто послѣдняго. Но при этомъ онъ совсѣмъ не на томъ настаиваетъ, что, въ случаѣ успѣха своей затѣи, пойдетъ разными путями съ Сквозникомъ-Дмухановскимъ, а только на томъ, что онъ *превзойдетъ* его. И онъ дѣйствительно превзойдетъ. Вотъ это-то и нужно *непремѣнно* имѣть въ виду, ибо ежели надоѣлъ Сквозникъ-Дмухановскій, то Драконъ, съ своимъ желаніемъ „превзойти“, надоѣстъ вдвое больше.

Еслибы дѣло шло о расширеніи области Драконскаго луженія, это тронуло бы меня весьма умѣренно. Но Пафнутьевы говорятъ не о луженіи, а о томъ, чтобы проникнуть въ сферу шипорота и вы-

ворачиванья рукъ къ лопаткамъ. Вотъ почва, на которой мы стоимъ въ настоящее время и которую не должны терять изъ вида, ежели хотимъ разсуждать правильно.

Было время, когда меня ужасно волновалъ вопросъ, какіе исправники благороднѣе: тѣ ли, которые служатъ по выборамъ дворянства, или тѣ, которые опредѣляются отъ короны. Иногда казалось, что выборные исправники благороднѣе, иногда—что благороднѣе исправники коронные. Ахъ, тетенька! какое это странное время было! и какіе изумительные вопросы волновали тогда умы! Однакожъ, взвѣсивъ всѣ доводы pro и contra, я кончилъ тѣмъ, что сходилъ въ баню и порѣшилъ: забыть объ этомъ вопросѣ навсегда. И забылъ.

И вотъ теперь приходится опять объ немъ вспоминать, потому что провозглашатели „средствъ“ и „оздоровленій“ почти силкомъ ставятъ его на очередь. И вновь передъ глазами моими, одна за другой, встаютъ картины моей молодости, картины, въ которыхъ контингентъ дѣйствующихъ лицъ въ значительной мѣрѣ наполнялся куроцапами. То было время крѣпостного права, когда мы съ вами, молодые, здоровые и довольные, ходили рука въ руку по аллеямъ парка и трепетно прислушивались къ щелканью соловья...

Слышишь, въ рощѣ зазвучали
Пѣсни соловья;
Звуки ихъ, полны печали,
Молятъ за меня...

Такъ пѣли и вздыхали мы съ вами, отнюдь не подозрѣвая, что окружающій насъ міръ есть міръ куроцаповъ. Были тогда куроцапы осѣдлые, которые жили въ своихъ гнѣздахъ и куроцапствовали къ границахъ, указанныхъ планами генеральнаго межеванія, и были куроцапы кочующіе, облеченные довѣріемъ, которые разъѣзжали по дорогамъ и наблюдали, чтобы основы осѣдлаго куроцапства пребывали незыблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсѣмъ не объ томъ соловей намъ пѣлъ. Мы стояли какъ очарованные, и все слушали и слушали, покуда наконецъ, потеревъ ручкой то мѣсто, гдѣ у куколокъ полагается желудочекъ, вы не произносили: „а не пойти ли на скотную къ Анфисѣ сливокъ покушать?“ И мы уходили... Но какъ хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную пѣлевой массой, она восклицала: „кормильцы вы наши!“ А

оттуда въ оранжерею: персики, сливы, вишни—всего вдоволь! и опять старый садовникъ Архипъ (ахъ, какъ онъ былъ хорошъ!): „кормильцы вы наши!“ Но вотъ наконецъ и обѣдъ. „Сенечка, не лучше ли сунцу тебѣ покушать? у тебя, кажется, животикъ болитъ!“ —„Ахъ, нѣтъ, maman, я—ботвинья!“... Милая вы моя! ну, точно сейчасъ все это вижу!

И все это счастье, всю эту сытость, миръ и благоволеніе охраняли и обезпечивали намъ облеченные довѣріемъ куроцаны, зорко слѣдившіе за тѣмъ, чтобы Анфисушка называла насъ именно кормильцами, а не идолами. И помнится, что въ числѣ тогдашнихъ странствующихъ куроцановъ находился Никаноръ Дракинъ, или, по крайней мѣрѣ, старшій его братецъ. Такъ вотъ онъ еще когда въ странѣ шиворота полнымъ хозяиномъ распоряжался!

Затѣмъ онъ вдругъ ступевался и уступилъ свое мѣсто Сквознику-Дмухановскому. Сдалъ должность-безпрекословно, но сладкія воспоминанія все-таки сохранилъ. И даже тогда, когда передъ нимъ, въ видѣ вознагражденія, открылась безграничная область луженія—даже и тутъ не забылъ объ утраченномъ куроцанствѣ, но втайнѣ роптадъ: вотъ кабы опять въ страну шиворота заглянуть!

Понятно, что съ тѣхъ поръ онъ пользуется всякимъ случаемъ, чтобъ возвратить прежнее куроцанствующее значеніе. Хвастается, лжетъ, пляшетъ по передпимъ, сочиняетъ записки, печатаетъ въ Берлинѣ брошюры, которыхъ въ Россію иначе, какъ подъ полою, отнюдь провезти нельзя.—Что у тебя подъ полой?—„А это“...—А! понимаю! ступай съ Богомъ!—Но не ошибайтесь, тетенька! когда Пафнутьевъ говоритъ объ земствѣ, то это значитъ, что рѣчь идетъ только объ немъ самомъ; а когда онъ прибавляетъ, что земство лучше свои интересы можетъ устроить, то это значитъ, что онъ, совмѣстно съ Дракинымъ, гораздо тверже противъ Сквозника-Дмухановскаго знаетъ, гдѣ курамъ водъ.

Словомъ сказать, стоитъ только оплошать—и крѣпостное право вновь осѣнитъ насъ крыломъ своимъ. Но какое это будетъ жалкое, обтрепанное крѣпостное право! Парки вырублены, соловьи улетѣли, старая Анфиса давно свезена на погостъ. Ни волнующихся нивъ, ни синѣющихъ вдали лѣсовъ, ни троекъ съ малиновымъ звономъ, ни кучеровъ въ канаусовыхъ рубашкахъ и плисовыхъ безрукавкахъ—ничего нѣтъ! Одни оголтѣлые Дракины, голодные, алчущіе и озлоб-

ленные, образовали союзъ, съ цѣлью рыскать по обездоленнымъ палестинамъ, хватать, ловить...

Не забудьте при этомъ, что въ настоящее время въ понятіяхъ о шиворотѣ существуетъ такой хаосъ, что Дракинъ и самъ едва-ли разберетъ, въ какомъ случаѣ онъ явитъ себя молодцомъ и въ какомъ —только негодяемъ. Легко сказать: лови превратнаго толкователя! но гдѣ же руководство, въ которомъ были бы точно указаны признаки этого вреднаго существа? Благодаря этой неясности, большинство простецовъ пріурочиваетъ къ этому сословію всякаго, кто. по своимъ понятіямъ, воспитанію и привычкамъ, стоитъ нѣсколько выше общаго нравственнаго и умственнаго уровня туземцевъ. А затѣмъ каждый отдѣльный простецъ уже дифференцируетъ эти признаки согласно съ требованіями своего личнаго темперамента. Ханжа считаетъ превратнымъ толкователемъ того, кто вмѣстѣ съ нимъ не бьетъ себя въ грудь, всуе призывая имя Господне; казнокрадъ—того, кто вмѣстѣ съ нимъ не говоритъ, что у казны-матушки денегъ много; прелюбодѣй—того, кто брезгливо относится къ „чуждыхъ удовольствій любопытству“; кабатчикъ—того, кто не потребляетъ сивухи и въ особенности того, кто и другимъ совѣтуетъ отъ нея воздерживаться; невѣжда—того. кто утверждаетъ. что громъ и молнія не находятся въ завѣдываніи Ильи-пророка. И всѣ эти люди; каждый имѣя въ виду свой особливый предметъ, составятъ одинъ общій хоръ, который будетъ гласить: „хватай! лови!“ Понятное дѣло, что Дракину среди этого сумбура предстоитъ не житье, а масляница...

Но скажите по совѣсти, стоитъ ли ради такихъ результатовъ отказываться отъ услугъ Сквозника-Дмухановскаго и обращаться къ услугамъ Дракина? Я знаю, что и Сквозникъ-Дмухановскій не Богъ знаетъ какое сокровище (помните, какъ слесарша Пошлепкина его аттестовала!). но зачѣмъ же возводить его въ квадратъ въ лицѣ безчисленныхъ Дракиныхъ, Хлобыстовскихъ и Забіякиныхъ? Помилуйте! намъ и одного его по горло было довольно!

Но я иду еще дальше и безъ обиняковъ говорю, что если ужъ мы осуждены выбирать между Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Дракинымъ, то имѣются очень существенные доводы, которые заставляютъ предпочесть перваго послѣднему. А именно:

Во-первыхъ, Сквозникъ-Дмухановскій—постылый, а Дракинъ —излюбленный. Сквозникъ-Дмухановскій пришелъ ко мнѣ извнѣ и

виситъ надъ моей головой яко мечъ Дамокловъ; объ Дракинѣ же предполагается, что я самъ себѣ его выняньчилъ. Сквозника-Дмухановскаго я не люблю и ни для кого это не кажется удивительнымъ. Я иду къ нему, потому что иначе дѣваться мнѣ некуда, и онъ знаетъ это. Знаетъ, что я не цѣловаться къ нему пришелъ (ахъ, тетенька!). а потому, что онъ можетъ или разрѣшить мою нужду. или не разрѣшить. Иной Сквозникъ-Дмухановскій прямо предъявляетъ таксу: я уплачиваю по ней и ухожу обнадеженный; буде же не имѣю чѣмъ уплатить, то стараюсь выполнить мою нужду такъ, чтобы меня не увидѣли. Другой Сквозникъ-Дмухановскій говоритъ: „я взятокъ не беру, а дѣйствую на основаніи предписаній“ — тогда я ухожу, получивъ шишъ. Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ отношенія между нами вполнѣ ясны. И не я одинъ, всѣ эту ясность одинаково сознаютъ. Никто, идя къ Сквознику-Дмухановскому, не голоситъ: „ахъ. хоть бы мнѣ на него, на родимаго, глазкомъ взглянуть!“ но всякій, идучи, втайнѣ произноситъ: „ахъ, распостылый!“ Повѣрьте, что это удивительно облегчаетъ. Ибо когда человѣкъ находится въ плѣну, то гораздо для его сердца легче, если его оставляютъ одного съ самимъ собой, нежели если заставляютъ распивать чаи съ своими стражниками. Совсѣмъ другое дѣло—Дракинъ. Идя къ нему, я постоянно долженъ думать: „а чортъ его знаетъ, почему-нибудь да сказываютъ же, будто онъ у меня на лонѣ возлежалъ!“ И установивъ себя на этой точкѣ, я обязываюсь поступать по слову его не токмо за страхъ. но и за любовь. Онъ будетъ надоѣдать мнѣ, преслѣдовать меня по пятамъ съ нелѣпыми требованіями, будетъ лѣзть ко мнѣ съ поцѣлуями, истязать меня дружелюбіемъ, а я долженъ говорить ему слогомъ Пѣсни Пѣсней: „лоно твое—какъ чаша благовонная, и носъ твой—какъ кедръ ливанскій!“ И что онъ ни скажетъ въ отвѣтъ, я долженъ выполнить безъ ропота, не потому, что нахожусь у него въ плѣну (этого я и допустить не смѣю), а потому, что у него цупокъ—какъ кубокъ, а груди—какъ два бѣлыхъ козленка. Вотъ онъ какой! И жаловаться на него я не могу, потому что, прежде чѣмъ я разину ротъ, мнѣ уже говорятъ: „ну, что, старичокъ! поди, теперь у васъ не житье, а масляница!“ Смотришь, анъ у меня при такомъ привѣтствіи и языкъ пресѣкся. Никогда я его не взлюблялъ, а всѣ мнѣ говорятъ: „взлюбилъ!“ Никогда я его не выбиралъ, а только шарыкалъ, а мнѣ говорятъ: „выбралъ!“ Съ юныхъ лѣтъ я ничего не слы-

халъ ни объ любвяхъ, ни объ выборахъ, съ юныхъ лѣтъ скромно обнажалъ свою грудь и говорилъ: „ѣшь!“ Бли ее и Сквозникъ-Дмухановскій, и Держиморда, и Тяпкинъ-Ляпкинъ; недоставало Дракина—и вотъ онъ—онъ! Неужто жъ я бы его возлюбилъ, зная напередъ, что онъ будетъ меня ѣсть?—Неправда это.

Во-вторыхъ, меня значительно подкупаетъ и то, что Сквозниковъ-Дмухановскихъ сравнительно немного, тогда какъ Дракинъ на каждомъ шагу словно изъ-подъ земли выросъ. Еще при крѣпостномъ правѣ мы жаловались, что станового никакъ залучить нельзя, а теперь, когда потребность приносить жалобы удесятерилась, безпомощность наша чувствуется еще сильнѣе. За то Дракины придутъ въ такомъ количествѣ, что нѣдра земли содрогнутся. Послѣ упраздненія крѣпостного права, у нихъ только одно утѣшеніе и оставалось: плодиться и множиться. Вотъ они и размножились, какъ кролики, и въ то же время оголтѣли, обносились и обнищали. Чаю по мѣсяцамъ не нивали! говяжьяго запаху не нюхивали! Понятно, что они придутъ всѣ, цѣлымъ каталомъ. И званые, и незванные, и облеченные довѣріемъ, и необлеченные. И отцы, и дѣти, и матери, и дочери, и племянники, и внуки—всѣ тутъ будутъ. Одни будутъ дѣйствовать, другіе—содѣйствовать. Прохода никому не дадутъ. Станутъ рыскать во всѣхъ направленіяхъ, станутъ кричать: „ого-го!“ и увѣрять, что спасаютъ общество. И вотъ помните мое слово: до поры до времени Пафнутьевъ еще смиренъ, но какъ только возьметъ онъ палку въ руки, такъ немедленно глаза у него, какъ у быка, кровью нальются. Надоѣстъ онъ вамъ; и онъ надоѣстъ, и жена его надоѣстъ, и дѣти надоѣдятъ. Всѣ будутъ о „средостѣніяхъ“ говорить и палкой помахивать.

Въ-третьихъ, Сквозникъ-Дмухановскій, какъ человѣкъ пришлый, не всю статистику ввѣреннаго ему края знаетъ. Не только то, что̀ скрывается въ нѣдрахъ земли, не всегда ему извѣстно, но и то, что̀ дѣлается по близости. Поэтому нѣдра земли остаются иногда непоруганными, а обыватели имѣютъ возможность утянть въ свою пользу: кто — яйцо, кто — поросенка. Напротивъ того, Дракинъ, какъ мѣстный старожилъ, всю статистику изучилъ до тонкости. Онъ знаетъ, сколько у кого запуталось въ кошелѣ мѣдяковъ; знаетъ, у кого курица яйцо снесла, у кого опоросилась свинья. А сверхъ того, знаетъ, гдѣ именно нужно „шарить“, чтобъ обрѣсти. И всѣ эти свѣ-

дѣнія онъ употребитъ на пользу себѣ, а не излюбившимъ его. Такъ что ежели, съ выступленіемъ Дракиныхъ на арену, вамъ случится печь въ домѣ пирогъ, то такъ вы и знайте, что середка принадлежитъ излюбленному, а края—домочадцамъ и приснымъ его. Сообразите теперь, сколько затѣмъ останется отъ пирога для васъ и вашихъ приснымъ?

Есть у меня и другіе доводы, ратующіе за Сквозника-Дмухановскаго противъ Дракина, но покуда о нихъ умолчу. Однакожъ, все-таки, напоминаю вамъ: отнюдь я въ Сквозника-Дмухановскаго не влюбленъ, а только утверждаю, что все въ этомъ мірѣ относительно, и всякая минута свою собственную злобу имѣетъ. И еще утверждаю, что если въ жизни регулирующимъ началомъ является пословица: „какъ ни кинь, все будетъ клинъ“, то и между клиньями все-таки слѣдуетъ отдавать преимущество такому, который попритушился.

Письмо шестое.

Милая тетенька!

Бываютъ минуты, когда въ общій обиходъ вдругъ начинаетъ входить „хорошее слово“. Всѣ горячо и радостно за него хватаются, всѣ повторяютъ его, носятся съ нимъ, толкуютъ на всѣ лады, особливо если „хорошее слово“ имѣетъ ближайшее отношеніе къ современной дѣйствительности, къ тѣмъ болямъ, которыя назрѣли у каждаго въ душѣ и ждали только подходящаго выраженія, чтобы назвать себя. Въ особенности въ послѣднее время явилась какая-то жгучая потребность въ „хорошемъ словѣ“. Жить, что-ли, въ сумеркахъ надоѣло, но всѣ только объ томъ и думаютъ: ахъ, хоть бы откуда-нибудь блеснулъ лучъ и пронизалъ сгустившійся туманъ! И вотъ, въ отвѣтъ на эти сѣтованія, появляется „хорошее слово“. Всѣ довольны, у всѣхъ лица расцвѣчаются улыбкой. Люди самые пришибленные начинаютъ смотрѣть бодрѣе; люди самые непонимающіе хотя продолжаютъ не понимать, но тоже, глядя на другихъ, радуются. Большинство цѣлуется, поздравляется. Даже завѣдомо злокозненные мудрецы, которые обыкновенно яко левъ рыкаяй ходятъ, искій кого поглотити, и тѣ стихаютъ, какъ бы молчаливо преклоняясь передъ силой вещей. Но, въ сущности, они совсѣмъ не притихли, а

только обдумываютъ, какъ бы имъ примоститься къ „хорошему слову“, усыновить его себѣ.

И усыновляютъ. Покуда простодушные и вѣрующіе люди обнимаются (нельзя не обниматься-то, милый другъ! ужъ очень въ этой дерюжной дѣйствительности тошно!), въ природѣ происходитъ нѣкоторое волшебство. Мудрецы уже воспрянули и примостились. „Хорошее слово“ удержалось въ обращеніи, но отъ него уже пахнетъ тлѣніемъ. Обычная удачливость мудрецовъ и на этотъ разъ сказалась во всей силѣ, ибо имъ достаточно было одной минуты общаго увлеченія, чтобы, въ глазахъ публики, въ несчетный разъ продѣлать самый заурядный и всѣмъ надоѣвшій фокусъ.—Видѣли въ рукѣ червонецъ?—Видѣли.—Ну, теперь смотрите! клацъ! ничего въ рукѣ нѣтъ!

Вспомните прожитое прошлое и отвѣтьте по совѣсти: не такова ли именно была исторія всѣхъ нашихъ „хорошихъ словъ“? И вѣдь нельзя сказать, чтобъ у нихъ было мало сочувствователей; нельзя даже сказать, чтобъ эти сочувствователи были оплошники или ротозѣи; и все-таки дѣло какъ бы фаталистически принимало такой оборотъ, что имъ никогда не удавалось настолько оградить „хорошее слово“, чтобы въ сердцевину его, въ самое короткое время, не заползли козни мудрецовъ. Обыкновенно неудачи подобнаго рода принято сваливать на увлекающихся: они, дескать, своими увлеченіями всякое начинаніе компрометтируютъ; но вѣдь мы-то съ вами, тетенька, отлично знаемъ и увлеченія, и самихъ увлекающихся. Право, неопасные это люди были, а только, быть можетъ, черезъ-чуръ вѣрующіе и даже нѣсколько легковѣрные. Отчего же не имъ, вѣрующимъ, удавалось „хорошее слово“ закрѣпить за собою, а удавалось тѣмъ, которые это слово отъ души ненавидѣли!

Нѣчто подобное повторяется на нашихъ глазахъ съ словомъ „содѣйствіе“, которое нынѣче въ большомъ ходу. Несомнѣнно, что это слово принадлежитъ къ числу „хорошихъ“, но не менѣе несомнѣнно и то, что едва успѣло оно сказаться и войти въ обращеніе, какъ около него уже выросло чуть не цѣлое столпотвореніе. И какъ-то особенно быстро это нынѣче случилось. Прежде хоть колебаніе было замѣтно—трудность задачи, что-ли, смущала или сила сопротивленія была значительнѣе—а нынѣче такъ-таки сразу нѣтъ ничего. Не успѣли простодушные люди наахаться вволю, какъ „хорошее слово“,

перейдя черезъ множество предательскихъ устъ и согласованное съ цѣлой массой хищническихъ аппетитовъ, ужъ истрепалось, вымачкалось и провоняло. Такъ что, слушая современные уличные толки по поводу этого слова, не безъ испуга спрашиваешь себя: куда же дѣвался первоначальный его смыслъ?

Но для того, чтобы для васъ вполнѣ уяснилась процедура этого превращенія и чтобы, въ то же время, вы поняли, въ какой безнадежной пустотѣ вращается современная жизнь, допустимъ на минуту слѣдующее (совершенно, впрочемъ, произвольное) предположеніе.

Представимъ себѣ, что мы получили даръ компетентности по части устраненія насущныхъ злобъ дня и приступаемъ къ выполненію нашей задачи. Разумѣется, первый вопросъ, съ которымъ придется намъ встрѣтиться на этомъ поприщѣ, будетъ слѣдующій: живы ли мы, въ силу чего мы живы и все ли вокругъ насъ благополучно? И еще болѣе разумѣется, что ежели мы люди добросовѣстные, то, не особенно долго думая, отвѣтимъ на этотъ вопросъ такъ: живы-то мы живы, но въ силу чего — не знаемъ, и назвать благополучіемъ то, что вокругъ насъ происходитъ — не можемъ.

Отсюда второй вопросъ: какъ поступить, чтобъ окружающее насъ злополучіе обратилось въ благополучіе? отъ кого получить полезныя на этотъ счетъ свѣдѣнія и указанія? Въ былыя времена отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы вполнѣ опредѣленный: предписать Сквознику-Дмухановскому; но нынѣче въ магическую силу чиновничества уже извѣрились. Во-первыхъ, оно прозѣвало краеугольные камни, а во-вторыхъ, не приняло соотвѣтствующихъ мѣръ къ огражденію основъ *). Какихъ еще болѣе разительныхъ фактовъ безсилія и ро-

*) Въ сущности, мы съ вами давно знаемъ, что чиновничество наше всегда было по части краеугольныхъ камней слабо. Помните, какъ купецъ Крутобедровъ съ васъ деньги по заемному письму взыскивалъ, а вы, вмѣсто уплаты, переѣзжали изъ Торопца въ Великія-Луки, а изъ Великихъ-Лукъ въ Торопецъ, и становой не только ни разу васъ не изловилъ, но даже самъ лично въ тарантасъ васъ усаживалъ? Правда, что въ то время никому и въ голову не приходило, что заемныя письма именно самые оные краеугольные камни и суть, а только думалось: вотъ-то глупую рожу Крутобедровъ состроитъ, какъ тетенька мимо его дома въ Великія-Луки переѣзжать будетъ!—но все-таки долженъ же былъ становой понимать, что такая-нибудь тайна да замыкается въ заемныхъ письмахъ, коль скоро они милую, очаровательную даму заставляютъ по цѣлымъ недѣлямъ проживать въ Великихъ-Лукахъ на постояломъ дворѣ, безъ дѣла, безъ кавалеровъ, среди всякой нечисти?

тозѣйства нужно, чтобъ убѣдиться, что на Сквозника-Дмухановскаго надежда плоха?

Существуетъ ли, однакожъ, среда, помимо чиновничества, отъ которой бы можно было получить отвѣты на тревожащіе насъ вопросы? Да, говорятъ намъ, такая среда существуетъ. Это среда свѣжихъ, непочатыхъ и неиспорченныхъ силъ, къ которымъ никогда еще не пробовали обращаться, но у которыхъ навѣрное на все про все трезвенное слово готово. Нѣкоторые называютъ эту среду народомъ, другіе—обществомъ, третьи — земствомъ. А околоточные и городовые называютъ „публикой“ („надо же для *публики* удовольствіе сдѣлать“, говорятъ они). Вотъ къ этой-то неиспорченной средѣ и слѣдуетъ обратиться съ требованіемъ содѣйствія. Что-жъ, коли такъ, то лучшаго и желать нельзя! Ну-те, господа непочатые! распоясывайтесь! содѣйствуйте! признавайтесь, какія-такія за вами трезвенныя слова состоятъ!

Тетенька! пожалуйста вы, однако, не подумайте, что я васъ въ какую-нибудь нелѣпую авантюру увлекаю. Боже меня сохрани! Я очень хорошо понимаю, что никакой подобной затѣи мы съ вами не только предпринять, но и въ мысляхъ держать не должны, да и незачѣмъ намъ, голубушка, потому что мы и безъ „содѣйствій“ отлично проживемъ. Я вѣдь не для пропагандъ, а только exempli gratia предположеніе мое строю, и притомъ въ письмѣ къ родственницѣ... Право, мнѣ кажется, это можно?

Во всякомъ случаѣ, продолжаю.

Вотъ тутъ-то именно и происходитъ то волшебство, о которомъ я упоминалъ выше. Мы съ вами наивно ждали, что на нашъ кличъ явится или Прохоръ Распротàковъ, какъ представитель народныхъ нуждъ, или Александръ Андреичъ Чацкій, какъ выразитель аспираціи общества; а вышло совсѣмъ не такъ. Оказывается, что Распротàковъ съ утра пахать ушелъ, а къ вечеру боронить будетъ (а по другимъ свидѣтельствамъ: ушелъ въ кабакъ и выйти оттуда не предполагаетъ); а объ Чацкомъ я уже вамъ писалъ, что онъ нынче, ради избѣжанія встрѣчъ, съ одной стороны улицы на другую перебѣгаетъ и на дняхъ даже чуть подъ вагонъ виноныхъ не попалъ. И вотъ вмѣсто нихъ... Господи! да неужто-жъ опять „они“? Они. Пафнутьевы, Дракины, Хлобыстовскіе, которые ужъ въ качествѣ лудильщиковъ успѣли наполнить вселенную воплями? Тетенька! да развѣ

они „свѣжіе“? помилуйте! вѣдь отъ нихъ ужъ съ которыхъ поръ несвѣжей провизіей припахиваетъ!

Но припахиваетъ или нѣтъ, а они явились. До нихъ однихъ своевременно дошелъ нашъ кличъ; они одни съ полной готовностью прислушивались къ нему, и, разумѣется, какъ люди бывалые, прежде всего обратили вниманіе на то, нельзя ли въ произнесенномъ нами хорошемъ словѣ „интересные сюжетцы“ сыскать?

И сыскали. На эти сюжетцы прямо указало имъ ихъ прошлое. Въ старину, когда было въ ходу слово „опора“, они эксплуатировали въ свою пользу „опору“; теперь, когда вмѣсто „опоры“ произнесено слово „содѣйствіе“, они не прочь процвѣсть и подъ сѣнію „содѣйствія“. Тѣмъ болѣе, что въ исконномъ Дракинскомъ толковомъ словарѣ слово это объясняется такъ: „Содѣйствовать, то-есть наяривать, жарить, хватать за шиворотъ, гнуть въ бараній рогъ“. Все это Никаноръ, въ качествѣ „опоры“, давнымъ-давно продѣлывалъ и даже только объ одномъ этомъ и по сей день не забылъ. Не естественно ли послѣ того, что въ головѣ его созрѣваетъ мысль: да кто же лучше меня всю эту процедуру выполнитъ?

И вотъ, непорченные, но припахивающіе содѣйствователи выползаютъ изъ своихъ норъ и сползаются въ Петербургъ. Принюхиваются, прислушиваются, наполняютъ вздоромъ казенныя и частныя квартиры и даже на половыхъ въ трактирахъ наводятъ уныніе.

— Такіе это распостылые господа,—жаловался мнѣ на дняхъ одинъ половой:—всѣхъ гостей у насъ распугали. Придетъ, станетъ посередь комнаты, жуетъ бутербродъ, и все въ одно мѣсто глядитъ... Ну, промежду гостей, извѣстно, тревога: кто таковъ и по какой причинѣ?

Да вѣдь это и естественно. Люди ходятъ въ трактиры для того, чтобъ пить, ѣсть и по душѣ разговоры вести, а совсѣмъ не для того, чтобы доставлять кандидатамъ въ свѣдущіе люди „отголоски трактирныхъ мнѣній“ по интересующимъ ихъ вопросамъ.

Однакожъ дѣлать нечего. Ужъ если мы кликнули кличъ, то обязаны и отвѣты выслушать. И вотъ начинается процессія содѣйствовательскихъ показаній.

Первымъ выступаетъ, разумѣется, Ивановъ, ибо гдѣ же нѣтъ Иванова?—въ каждой комнатѣ онъ есть! Выходя изъ той мысли, что „потрясеніе основъ“ спрятано у кого-нибудь въ карманѣ, онъ пред-

лагаетъ всѣхъ поголовно обыскать. Даже свои собственные карманы выворачиваетъ, сапоги вызывается съ себя снять: вотъ-молъ, какъ долженъ поступать всякій, кто за себя не боится! А за себя лично онъ дѣйствительно не боится, потому что, съ одной стороны, душа у него чиста, какъ сейчасъ вычищенная выгребная яма, а съ другой стороны, она же до краевъ наполнена всякими готовностями, какъ яма, сто лѣтъ нечищенная. Слѣдомъ за Ивановымъ появляется Ѳедоровъ—этотъ когда-то былъ высѣченъ своими крѣпостными людьми и никакъ не можетъ объ этомъ забыть. Понятно, что онъ утверждаетъ, что только власть сильная и *вооруженная карами* можетъ удержать Россію на краю пропасти. За Ѳедоровымъ выходитъ Пафнутьевъ (тоже былъ своевременно высѣченъ) съ обширной запиской въ рукахъ, въ которой касается вещей знаемыхъ (съ проніей) и незнаемыхъ (съ упованіемъ на милость Божію), и затѣмъ, въ видѣ скромнаго вывода, предлагаетъ: ради спасенія общества гнилое и либеральничающее чиновничество упразднить, а вмѣсто него учредить Пафнутьевское „средостѣніе“, споспѣшествуемое Дракинскимъ „оздоровленіемъ корней“. Пафнутьева смѣняетъ захудавшій дворянинъ Кубышкинъ, который проситъ немногаго; дабы, до приведенія въ порядокъ мыслей, немедленно всѣ учебныя заведенія закрыть! И въ заключеніе совершенно неожиданно прибавляетъ: „Изложивъ все сіе по сущей совѣсти, повергаю себя и свою семью, изъ собственныхъ малолѣтнихъ дѣтей и сиротъ-племянницъ состоящую, на усмотрѣніе: хотя бы мѣста становаго удостоиться, то и симъ предоволенъ буду“. За Кубышкинымъ идутъ разныхъ шерстей ублюдки. Во-первыхъ, маркизъ Шассе-Круазе, котораго только въ прошломъ году княгиня Букпазба возсоединила въ лоно православной церкви, и который теперь ужъ жалуется, что, живя въ курскомъ имѣніи („приданое жены моей, воспитанницы княгини Букпазба“), только онъ съ семьей да съ гувернанткой-нѣмкой и посѣщаетъ храмъ Божій; „народъ же, подъ вліяніемъ сельскаго учителя“ и т. д. Во-вторыхъ, баронъ Ферфлухтеръ, который ни на что особенно не сѣтуетъ, а только излагаетъ факты. И въ заключеніе не безъ язвительности спрашиваетъ: отчего ничего подобнаго до сихъ поръ не было въ лояльномъ Остзейскомъ краѣ, „но будетъ непремѣнно и тамъ, ежели не смирить своеволіе латышей“. И наконецъ князь Мирза-Мамай-Тохтамышевъ, который, будучи честнѣе прочихъ, говоритъ кратко: „ниэ панимаю!“

Вотъ вамъ вся процедура „содѣйствія“. Смыслъ ея однообразенъ: наяривай, жарь, гни въ баранiй рогъ!—Да вѣдь мы все это слышали и переслышали!—восклицаете вы. А чего же, однако, вы ожидали? Посмотрите-ка на Дракина: онъ, еще ничего не видя, ужъ засучиваетъ рукава и налаживаетъ кулаки.

Жарь!—вотъ извѣчный секретъ непочатыхъ, но уже припахивающихъ тлѣніемъ людей, секретъ, въ которомъ замыкается и идея возмездія, и идея поученія. Всѣхъ жарь, а въ томъ числѣ и ихъ, прохвостовъ, ибо они и своей собственной шкуры не жалѣютъ. Что такое шкура! одну спустишь—наростетъ другая! Эта увѣренность до такой степени окрыляетъ ихъ, что они подставляютъ свои спины почти играючи...

Но мы, кликавшіе кличъ, что же мы-то будемъ съ этими „содѣйствіями“ дѣлать? Начнемъ ли воздвигать, съ помощью ихъ, величественное зданіе общественнаго благоустройства, или прямо ихъ въ помойную яму свалимъ? По моему, въ помойную яму—ближе. А потомъ что? Подумайте, вѣдь намъ и послѣ все-таки надобно жить!

Въ этомъ-то и заключается горечь современнаго положенія, что жить обязательно. А какъ жить—отвѣта на этотъ вопросъ ни откуда нѣтъ. Чиновники только предписанія посылаютъ да донесеній ждутъ; а излюбленные люди—изрекаютъ истрепанныя до-реформенныя слова да рукава засучиваютъ.

Но вы, пожалуй, возразите: да неужели же въ плотной массѣ Ивановыхъ не найдется такихъ, которымъ не безъизвѣстны и другого рода слова?—Не спорю; вѣроятно гдѣ-нибудь такіе Ивановы и водятся, такъ вѣдь это, мой другъ, Ивановы неблагонамѣренные, которыхъ содѣйствіе, ужъ по заведенному изстари порядку, предполагается несвоевременнымъ. Какимъ же образомъ они *найдутся*, коль скоро ихъ *не ищутъ*?

Тетенька! да сознайтесь же, наконецъ! вѣдь и мы съ вами, когда кликали кличъ, развѣ мы имѣли въ виду *этихъ* Ивановыхъ? развѣ мы не тревожились, не молились по секрету: „ахъ, кабы Богъ пронесъ! ахъ, кабы эти безпокойные люди пропустили нашъ кличъ мимо ушей!“ И вотъ, Богъ услышалъ наше моленіе: никто изъ „безпокойныхъ“ не явился, а мы лицемѣримъ, притворяемся огорченными! Говоримъ: вотъ вамъ вашъ Чацкій, вашъ Евгеній Онѣгинъ, ваши Рудинъ, Инсаровъ! Вотъ какъ критиковать да на смѣхъ поднимать

— такъ они тутъ какъ тутъ, такъ и жужжатъ, а какъ трезвенное слово сказать приходится—тутъ ихъ и нѣтъ!

Замѣтьте разъ навсегда: когда кличутъ кличъ, то всегда изъ норъ выползаютъ только тѣ Ивановы, которые нужны, а тѣ, которые не нужны—остаются въ порахъ и трепещутъ. Это само собою такъ дѣлается, ибо таковъ естественный законъ благоустройства и благочинія. И—надо прибавить—законъ очень цѣлесообразный, потому что онъ устраняетъ разномысліе и подтверждаетъ единеніе, съ присовокупленіемъ (въ небольшой дозѣ) „средостѣнія“ и (больше чѣмъ нужно) „оздоровленія корней“. Благодаря этому закону, трепещущіе Ивановы безмолствуютъ, а дерзающіе — славословятъ. И затѣмъ, такъ какъ только одни славословія и слышны, то совокупность ихъ и составляетъ то „содѣйствіе“, которымъ мы обязываемся удовольствоваться.

Очень возможно однакожъ, что это объясненіе покажется вамъ ничего необъясняющимъ...—Вѣдь это, наконецъ, какая-то необъяснимая путаница!—воскликнете вы:—мы кличемъ кличъ и потомъ оказываемся въ какой-то нелѣпой стачкѣ съ Пафнутьевыми и Дракиными! — Ахъ, голубушка, да развѣ я не понимаю, что объясненія мои и запутанны, и загадочны! Но что же мнѣ дѣлать, коли нѣтъ у меня другихъ? У меня ли у одного подлинныхъ рѣчей нѣтъ, или у всѣхъ вообще—я даже и этого объяснить не могу. Не знаю. Ничего я не знаю, кромѣ одного: что надобно жить...

Однимъ только утѣшаюсь: лѣтъ черезъ тридцать я всю эту исторію. во всѣхъ подробностяхъ, на страницахъ „Русской Старины“ прочту. Я-то впрочемъ, пожалуй, и не успѣю прочитать, такъ все равно дѣти прочтутъ. Только любопытно, насколько они поймутъ ее и съ какой точки зрѣнія она интересовать ихъ будетъ?

Впрочемъ дѣти еще туда-сюда: для нихъ устные разсказы старожиловъ подспорьемъ послужатъ; но внуки—тѣ положительно ничему въ этой исторіи не повѣрятъ. Просто скажутъ: ничего въ этой чепухѣ интереснаго нѣтъ.

Сообразите же теперь, какое горькое чувство, въ виду такой перспективы, долженъ испытывать современный бытописатель этихъ волшебствъ и загадочныхъ превращеній. Уже современники читаютъ

его не иначе, какъ угадывая смыслъ и цѣль его писаній, и комментируя и то и другое каждый по-своему; дѣтямъ же и внукамъ и подавно безъ комментаріевъ шагу ступить будетъ нельзя. Все въ этихъ писаніяхъ будетъ имъ казаться невозможнымъ и неестественнымъ, да и самый бытописатель представится человѣкомъ назойливымъ и безъ нужды неяснымъ. Кому какое дѣло до того, что описываемая смута понятій и дѣйствій разливала кругомъ страданіе, что она останавливала естественный ходъ жизни, и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней представлялось не только неправильнымъ, но даже постыднымъ? И что при семъ ясность, яко несвоевременная, и т. д. Не легче ли разрѣшить всѣ эти вопросы такъ: „вотъ странный человѣкъ! всю жизнь описывалъ чепуху, да еще предлагаетъ намъ читать свои описанія... съ комментаріями!“

Вотъ когда вы войдете въ кожу такого бытописателя, тогда вы и поймете, какая злая иронія звучитъ въ этихъ немногихъ словахъ: надо жить!

Представьте себѣ, тетенька, кого я на дняхъ встрѣтилъ? — Ноздрева! Помните — Ноздрева, съ которымъ мы когда-то у Гоголя познакомились? Не пугайтесь однакожъ: это далеко ужъ не тотъ буянъ Ноздревъ, котораго мы знавали въ цвѣтущую пору молодости, но солидный, хотя и прогорѣвшій консерваторъ. Штука въ томъ, что ему посчастливилось сдѣлать какой-то удивительно удачный доносъ, который сначала обратилъ на себя вниманіе охранительной русской прессы, а потомъ дальше да шире — и вдругъ съ нимъ совершился спасительный переворотъ! Теперь онъ пьетъ только померанцевку, говоритъ только трезвенныя слова, трактиры посѣщаетъ исключительно ради внутренней политики и объ бакенбарды содержитъ одинаковой длины и одинаковой пушистости. И вдобавокъ, не дожидаясь, чтобъ другіе назвали его патріотомъ, самъ себя называетъ таковымъ. Словомъ сказать, стоитъ на высотѣ положенія и нимало этимъ не отягощается.

Встрѣтились мы съ нимъ на Невскомъ, и, признаюсь, первымъ моимъ движеніемъ было бѣжать. Однако вижу, что человѣкъ совсѣмъ-таки переродился — дѣлать нечего, подошелъ. Прежде всего, разумѣется, старину помянули. Вспомнили, какъ мы съ нимъ да съ Чичиковымъ (вотъ истинный-то охранитель былъ! и какъ бы его сердце

теперь радовалось!) поросенка на постояломъ дворѣ ѣли; потомъ перешли къ Мижуеву...

Ахъ, тетенька, какое это волшебное время было! Вообразите, тогда можно было поросенка подъ хрѣномъ на постояломъ дворѣ достать! А если вѣрить старику Державину, то можно было видѣть мужика, который у всѣхъ на глазахъ „ѣлъ добры щи и пиво пилъ“! Вѣдь это по нынѣшнему все равно что шпаги глотать! Гдѣ это было? въ какой губерніи? въ какомъ уѣздѣ? и кто въ то время становымъ приставомъ въ томъ мѣстѣ былъ? Признаюсь, у меня даже голосъ дрогнулъ при мысли, что всѣ эти факты прошли у насъ передъ глазами, что они возникли и осуществились безъ малѣйшаго участія земства, единственно по манію волшебника-станового — и ничего-то мы своевременно не замѣтили!

Много тогда такихъ волшебниковъ было, а нынче и вдвое противъ того больше стало. Но какіе волшебники были искуснѣе, тогдашніе или нынѣшніе—этого сказать не умѣю. Кажется, впрочемъ, что въ обоихъ случаяхъ вѣрнѣе воскликнуть: какъ только мать сыра земля носитъ!

Разумѣется, Ноздревъ сейчасъ же увлекъ меня въ трактиръ, и тамъ, за порціей селянки, мы разговорились. Увы! ряды стариковъ ужасно поредѣли! Чичиковъ, Плюшкинъ, Пѣтухъ, генералъ Бетрищевъ, Костанжогло, отецъ и благодѣтель города полиціймейстеръ, прокуроръ, предсѣдатель гражданской палаты, дама просто пріятная и дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ—все это примерло и свезено на кладбище. Остались въ живыхъ лишь немногіе. Собакевичъ, который, по смерти Ѳеодуліи Ивановны, воспользовался ея имѣніемъ и женился на Коробочкѣ, съ тѣмъ, чтобъ и ея имѣніемъ воспользоваться. Супруги Маниловы, которые живутъ теперь въ Кобелякахъ, въ ужаснѣйшей нищетѣ, потому что Ѳемистоклюсь промоталъ все имѣніе и теперь самъ служитъ въ швейцарахъ въ трактирѣ Лоншова. Губернаторъ, который вышивалъ по канвѣ и впослѣдствіи блеснулъ-было на минуту на горизонтѣ, но чего-то не предусмотрѣлъ и былъ за это уволенъ. Теперь онъ живетъ въ Римѣ, получая присвоенное содержаніе и каждогодно поднося папѣ римскому туфли своей собственной работы de la part d'un homme d'état russe. И наконецъ Мижуевъ, который служитъ мировымъ судьей и ужасно страдаетъ, потому что жена его (тетенька! представьте себѣ даму,

которая на карточкахъ пишетъ: „рожденная Ноздрева“!) открыто живетъ съ Чичиковскимъ Петрушкой, состоящимъ при Мижуевѣ въ качествѣ письмоводителя.

— Ну, а вы-то сами какъ... служите?—прервалъ я его.

— Покуда состою предсѣдателемъ земской управы, — отвѣтилъ онъ скромно:—а дальше что Богъ дастъ.

— Въ Петербургъ присмотрѣться пріѣхали?

— Да, хотѣлось бы... посодѣйствовать...

И онъ изложилъ мнѣ свою теорію „содѣйствія“...

А знаете ли, голубушка, вѣдь Ноздревъ-то умный! Покуда Пафнутьевы, Дракины да Ивановы одно и то же долбятъ: „наяривай! жарь!“ —онъ очень скромно, но твердо и съ достоинствомъ говоритъ: „какъ угодно!“ Конечно, съ точки зрѣнія практическихъ послѣдствій, нельзя навѣрное опредѣлить, насколько подобное содѣйствіе можетъ счесться плодотворнымъ, но во всякомъ случаѣ, въ смыслѣ карьеры, со стороны Ноздрева это пріемъ удивительно ловкій.

Ничто такъ не располагаетъ насъ къ человѣку, какъ выражаемое имъ намъ довѣріе. Иногда мы и сами понимаемъ, что это довѣріе вмало не выводитъ насъ изъ затрудненія и ровно никакихъ указаній не даетъ, но все-таки не можемъ не сохранить добраго воспоминанія о характерѣ довѣряющаго.

— Такъ какъ же, старикъ? По твоему, „какъ угодно“?

— Какъ угодно, вашество! Ахъ, вашество!

— Ну-ну-ну, старикъ, успокойся! будемъ имѣть въ виду!

Вотъ, господа: добрые-то всегда такъ говорятъ!

И впослѣдствіи, когда гдѣ-нибудь откроется вакансія смотрителя, экзекутора или эконома, память невольно напоминаетъ намъ о добромъ старикѣ, который, не мудрствуя лукаво, принесъ намъ свое Ноздревское сердце и завѣтную думу всей своей жизни выразилъ въ одномъ восклицаніи: „какъ угодно!“

— Опредѣлить Ноздрева... Этотъ не выдастъ!

А Ноздревъ, съ тѣхъ поръ какъ удачный доносъ сдѣлалъ, только о томъ и мечтаетъ, какъ бы мѣстечко смотрителя или эконома получить, особливо ежели при семъ и должность казначея въ одномъ лицѣ сопрягается. Получивъ эту должность, онъ годикъ-другой будетъ оправдывать довѣріе, а потомъ цапнетъ куш тысячъ въ триста, да и спрячетъ его въ потаенномъ мѣстѣ. Разумѣется, его куда слѣдуетъ

ушлютъ, а онъ тамъ будетъ жить да поживать, да процентики получать.

Вотъ онъ нынѣче каковъ сталъ: все только солидныя мысли на умѣ. Сибири не боится, объ казнѣ говоритъ: „у казны-матушки денегъ много“, и вдобавокъ самъ себя патріотомъ называетъ. И физіономія у него сдѣлалась такая, что не всякій сразу разберетъ, приложимо ли къ ней „оскорбленіе дѣйствіемъ“, или неприложимо.

Основанія Ноздревской теоріи содѣйствія очень просты. По мнѣнію его, такія слова, какъ: „наяривай, жарь, гни въ баранiй рогъ!“—имѣютъ черезъ-чуръ императивный характеръ и въ этомъ смыслѣ могутъ представлять хотя благонамѣренную, но очень серьезную опасность. Сами по себѣ взятыя, они заслуживаютъ поощренія и похвалы, но ежели ихъ начнутъ выкрикивать поголовно всѣ Пафнутьевы, то изъ совокупности этихъ криковъ образуется вой, который будетъ свидѣтельствовать уже не о содѣйствіи, а о разнузданности страстей. Да притомъ же наяриваніе и не всегда осуществимо. Иногда оно признается неудобнымъ въ виду нѣкоторыхъ деликатныхъ вѣяній; иногда для подобной операціи не имѣется достаточно-опытныхъ исполнителей; иногда исполнители и нашлись бы, но содержаніе ихъ потребуетъ новыхъ расходовъ... А между тѣмъ „содѣйствователи“ сбились въ косякъ и воютъ. Вѣдь этакъ пожалуй въ самихъ „содѣйствователей“ придется палить, лишь бы изъ затрудненія выйти!

Ноздревъ доказывалъ даже—и не безосновательно,—что всѣ вообще глаголы, употребляемые въ повелительномъ наклоненіи, имѣютъ революціонный характеръ. Они всегда декретируютъ цѣлую систему, и притомъ декретируютъ устами такихъ людей, которые до тѣхъ поръ ѣли изъ одного корыта съ поросятами. Понимаютъ ли эти люди значеніе произносимаго ими возгласа, могутъ ли они уяснить себѣ, сколько непредвидѣнныхъ расходовъ потребуетъ его осуществленіе—этоболѣе чѣмъ сомнительно. По крайней мѣрѣ Ноздревъ думаетъ—и я въ этомъ вполнѣ довѣряю его опытности,—что они потому только выкрикиваютъ: „наяривай!“, что вспомнили, какъ они то же самое слово провозглашали, pro domo sua, на конюшняхъ и псарняхъ. Но они рѣшительно не понимаютъ, что требованіе, выраженное въ формѣ столь рѣзкой и даже неучтивой, должно стѣснить свободу воздѣйствій, и потому отнюдь не можетъ быть терпимымъ. Ибо стоитъ лишь стать на

покатость, а тамъ оно ужъ и само собой подъ гору пойдетъ. Сначала воютъ: „наяривай!“ а потомъ пожалуй начнутъ выть: „довольно наяривать! будетъ!“ Понятно, что подобная перспектива не можетъ не тревожить такихъ опытныхъ знатоковъ человѣческаго сердца, какъ Ноздревъ.

Словомъ сказать, развивая свою теорію, Ноздревъ обнаружилъ и недюжинный умъ, и замѣчательную чуткость въ пониманіи средствъ къ достиженію желаемаго. Такъ что ежели судить съ точки зрѣнія „лишь бы поправиться“ (самая это отличнѣйшая точка, милая тетенька!), то лучше теоріи и выдумать нельзя.

Но я все-таки попытался сдѣлать нѣкоторыя возраженія.

— Ноздревъ!—сказалъ я ему:—я уважаю васъ, какъ человѣка искренно убѣжденнаго. Но именно потому, что я уважаю васъ, я и рѣшаюсь высказать, что съ нѣкоторыми вашими положеніями согласиться не могу. Я уступаю вамъ, что въ смыслѣ свободы дѣйствія выраженіе „какъ угодно“ не оставляетъ желать ничего лучшаго, но сознайтесь, однакожъ, что дѣйствительнаго „содѣйствія“ все-таки изъ него не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтвержденіе накопленной вѣками мудрости, это прекрасный порывъ благороднаго чувства—но и только. Вѣдь и для „свободы дѣйствія“ необходимо какое-нибудь содержаніе, такъ какъ въ противномъ случаѣ она перейдетъ въ разгулъ, а отъ разгула до потрясенія основъ — рукой подать. Это до такой степени чувствуется всѣми, что именно поиски за содержаніемъ и составляютъ характеристическую черту современности. Допустимъ, что слово „наяривай“ не стоитъ выѣденнаго яйца, но все-таки оно нѣчто даетъ. Допустимъ, что оно невѣжливо по формѣ и глупо по содержанію, но и это слѣдуетъ приписать не предвзятости намѣренія, а незаконченности нашихъ бытовыхъ формъ, невыработанности обывательской фразеологіи и недостатку воображенія. Нельзя однакожъ за это одно подвергать простодушныхъ людей расточенію, яко революціонеровъ. Неполитично и несогласно съ справедливостью отталкивать отъ себя дѣтей природы, хотя бы послѣднія, по незнанію орографіи и знаковъ препинанія, и допустили нѣкоторыя невѣжества. Пусть лучше въ воздухѣ нехорошо попахнетъ, нежели огорчать невинныхъ людей, которые чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Ибо ежели мы таковыхъ отъ себя отженемъ, то на комъ же будемъ осуществлять опыты „средостѣнія“ и съ кѣмъ предпримемъ трудъ „оздоровленія

корней"? Ахъ, Ноздревъ, Ноздревъ! давно ли вы сами стояли съ прочими поросятами у корыта и кричали: „наяривай!"—а вотъ теперь, какъ получили надежду добраться до яслей, то мечтаете, что оттуда горизонты увидите! Ничего вы, мой другъ, ни откуда не увидите, кромѣ фиги, которую и прочіе фиговидцы видятъ. И помяните мое слово...

Но, дойдя до этихъ предѣловъ, я вдругъ сообразилъ, что произношу защитительную рѣчь въ пользу наярпвательнаго содѣйствія. И, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ бываетъ, началъ прислушиваться, я ли это говорю, или кто другой,—вотъ хоть бы этотъ половой, который, прижавъ подъ-мышки салфетку, такъ и ѣстъ насъ глазами. Къ счастью, Ноздревъ сразу понялъ меня. Онъ былъ видимо взволнованъ моими доводами и дружески протягивалъ мнѣ обѣ руки.

— Вы побѣдили меня,—сказалъ онъ: — но мнѣ кажется, что и я не совсѣмъ неправъ. Во всякомъ случаѣ, выйти изъ этого затрудненія довольно легко. Стоитъ только сблизить обѣ формулы и составить изъ нихъ одну: „наяривай... а впрочемъ какъ угодно!" И все будетъ въ порядкѣ.

Нѣтъ, какъ хотите, а онъ умный!

Вообще нынѣче содѣйствія въ ходу, и между ними много такихъ, о которыхъ даже говорить стыдно. Все нынѣче какъ-то врозь пошло, все норовитъ подъ видомъ содѣйствія междоусобіе произвести. И у всѣхъ при этомъ одинъ двигатель: карьера. Можетъ быть, я подробнѣе напишу вамъ объ этомъ явленіи, но можетъ быть и совсѣмъ не напишу. Всяко можетъ случиться. Въ послѣднемъ случаѣ придется возложить надежду на „Русскую Старину"... черезъ тридцать лѣтъ. Но какъ невыносимо обязательное безмолвіе въ виду этой нелѣпой суеты—этого я даже выразить вамъ не могу...

Письмо седьмое.

Милая тетенька!

Все это время я былъ необыкновенно разстроенъ. Легкомысленные пріятели до того надоѣли своими жалобами, что просто хоть дома не сказывайся... Положимъ, что время у насъ стоитъ черезъ-чуръ ужъ серьезное; но ежели это такъ, то, по мнѣнію моему, надобно и относиться къ нему съ такою же серьезностью, а не напрашиваться на недоразумѣнія. А главное, я-то тутъ причемъ?.. Впрочемъ судите сами.

Приходитъ одинъ.

— Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь я сегодня у Покрова на конку, вынимаю газету, читаю. Только газету-то, должно быть, не ту, какую на конкѣ читать приличествуетъ... И вдругъ, слышу монологъ: „Такое, можно сказать, время, а господа такія, можно сказать, газеты читаютъ!“ Молчу. Однако чувствую, что сосѣди около меня начинаютъ ёжиться. Монологъ продолжается. „А въ этихъ газетахъ—вотъ въ этихъ—именно самый ядъ-то и заключается. Гдѣ первоначало всему?—въ газетѣ! гдѣ источникъ-корень зла? — въ газетѣ! А господа, вмѣсто того, чтобы посодѣйствовать: вотъ-моль, господинъ газетчикъ, какъ мы тебя тонко понимаемъ!—а они, между прочимъ, даже другихъ въ соблазнъ вводятъ“. И по мѣрѣ того, какъ монологъ развивается, сосѣди все пуще и пуще ёжатся: одна дама встаетъ и просится выйти; я самъ начинаю сознавать, что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: наискосокъ сидитъ старичокъ. Въ потертомъ пальто, въ ваточномъ картузѣ, носъ красный. Ясно, что былъ въ питейномъ у Покрова и теперь ѣдетъ въ питейный на Сѣнную.—Вы это про меня, что-ли?—спрашиваю. „Вообще про господъ либераловъ“...—Ну?— „Помилуйте, господинъ! да неужто-жъ свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства правильныя“... Кабы я былъ уменъ, надо бы мнѣ сейчасъ уйти, а я остался, началъ калякать. Дальше да больше—исторія. Не успѣли до Юсупова сада доѣхать, какъ ужъ всѣмъ намъ оставался одинъ исходъ: участокъ... Какова штука! вотъ ужъ именно нелегкая понесла по конкѣ ѣздить!

— Чего же ты жалуешься однако! вѣдь въ участкѣ, конечно, тебя разсудили, оправили и выпустили?

— Скажите на милость! да развѣ я въ участокъ ѣхалъ? вѣдь я по своимъ дѣламъ ѣхалъ, а вмѣсто того въ участкѣ цѣлое утро провелъ!

— Послушай! зачѣмъ же ты ѣхалъ? развѣ не могъ ты дома посидѣть?

— Конечно, могъ бы, да вѣдь думается...

— А думается, такъ не рощи. Не умѣлъ сидѣть дома—посиди въ участкѣ.

Приходитъ другой.

— Вотъ такъ штука со мной сегодня была! Зашелъ я въ трактиръ закусить, взялъ кусокъ кулебяки и спросилъ рюмку джина. И вдругъ сбоку голосъ: „А наше отечественное, русское... стало быть, презираете?“ Оглядываюсь, вижу: стоитъ „мерзавецъ“. Рожа опухшая, глаза налитые, на одной скулѣ ушибленное пятно, на другой —будетъ таковое къ вечеру; голосъ съ перепою двоится. Однако покуда молчу. А „мерзавецъ“ между тѣмъ продолжаетъ. „Ныньче все такъ: пропаганды проповѣдуютъ да иностранные образцы вводить хотятъ, а позвольте узнать, гдѣ корень-причина зла?“ Кабы я умѣнъ былъ, мнѣ бы заплатить, да и удрать, а я вмѣсто того разсердился. — Ты это мнѣ, что-ли, пьяное рыло, говоришь? — Смотрю, а въ буфетную ужъ штукъ двадцать женіховъ изъ Ножовой линіи наползло. Гогочутъ. И буфетчикъ тоже, не то чтобъ смѣется, а какъ-то стыдливо опускаетъ глаза, когда въ мою сторону смотритъ. „Однако, господинъ,—это „мерзавецъ“ опять говоритъ:—ежели всякій будетъ пьянымъ рыломъ называть, а я между тѣмъ объ себѣ понимаю, что чувства мои правильныя“... Словомъ сказать, протоколъ. Всѣ женихи въ одинъ голосъ показали: „Господинъ Расплюевъ правильныя чувства выражали, а господинъ (имя рекъ) его за это „пьянымъ рыломъ“ обозвали“. Написали, подписали и сегодня же этотъ протоколъ къ мировому судьѣ отправляютъ...

— И подѣломъ. Зачѣмъ въ трактиръ ходишь!—невольно вырвалось у меня.

— И самъ, братецъ, теперь вижу: чортъ меня дергалъ въ трактиръ ходить! Водка—дома есть; а ежели кулебяки нѣтъ, такъ вѣдь и селедкой закусить можно!

— Еще бы! Но впрочемъ позволь, душа моя! изъ-за чего ты однако такъ ужъ тревожишься! Вѣдь мировой судья навѣрное внемлетъ, и рано или поздно, а правда все-таки возсіяетъ...

— Чудакъ ты! да развѣ я для того въ трактиръ ходилъ, чтобъ правда возсіяла? Положимъ однакожъ, что у участковаго мирового судьи правда и возсіяетъ — а что, ежели Расплюевъ дѣло въ мировой съѣздъ перенесетъ? А ежели и тамъ правда возсіяетъ, а онъ возьметъ да кассаціонную жалобу настрочитъ? Сколько времени судиться-то придется?

Стали мы разсчитывать. Вышло, что ежели поискуснѣе кассаціонные поводы подбирать, да, не балуючи противную сторону, сроки наблюдать, то годика на четыре съ хвостикомъ хватитъ. Но когда мы вспомнили, что въ прежнихъ судахъ подобное дѣло навѣрное протянулось бы лѣтъ девяносто, то должны были согласиться, что успѣхъ все-таки большой.

— И точно: у мирового судьи судоговореніе уже было, и тотъ моего друга, въ виду единогласныхъ свидѣтельскихъ показаній, на шесть дней подъ арестъ приговорилъ. А пріятель, вмѣсто того, чтобъ скромненько свои шесть дней высидѣть, взялъ да нагрубилъ. И объ этомъ уже сообщено прокурору, а прокуроръ, милая тетенька, будетъ настаивать, чтобъ его на каторгу сослали. А у него жена, дѣти. И все оттого, что въ трактиръ, не имѣя „правильныхъ чувствъ“, пошелъ“!

Приходитъ третій.

— Ахъ, голубчикъ, какая со мной вчера штука случилась! Сижу я въ „Пуританахъ“, а рядомъ со мной въ креслѣ мужчина сидитъ. Доходитъ дѣло до дуэта... помните, басъ съ баритономъ во все горло кричатъ: „loyaltà, loyaltà!“ Испоконъ вѣку принято въ этомъ мѣстѣ хлопать, и вчера стали хлопать и кричать: bis!.. И я грѣшнымъ дѣломъ хлопнулъ. Только и невдомёкъ мнѣ, что сосѣдъ, покуда я хлопалъ да bis кричалъ, какъ-то строго на меня посмотрѣлъ. Ну, повторили дуэтъ, а я опять кричу: bis! bis! Онъ и не выдержалъ: „понравилось?“ говоритъ. Я туда-сюда; вспомнилъ, что loyaltà-то вмѣсто libertà поставлено — и радъ бы хлопанцы-то свои назадъ взять, анъ нѣтъ: ау, братъ! не воротишь! Наступилъ антрактъ; вижу, мужчина мой въ проходѣ остановился и около него кучка собралась. Поговорятъ, поговорятъ, да на меня глазами и вскинутъ. Не то чтобъ очень строго, а въ родѣ какъ бы хотятъ сказать: ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ! Потомъ, вижу, начинаетъ мой мужчина пробираться къ выходу, и вдругъ... исчезъ! Я за нимъ, вхожу въ корридоръ: одѣвается, хочетъ уѣзжать. Увидѣлъ меня: „вамъ, гово-

рить, молодой человѣкъ, необходимо благой совѣтъ дать: ежели вы въ публичномъ мѣстѣ находитесь, то ведите себя скромно и не оскорбляйте чувствъ людей, кои по своему положенію“... Сказалъ—и былъ таковъ. Я было за нимъ, но тутъ ужъ полицейскій вступился. „Позвольте, говоритъ, и мнѣ вамъ благой совѣтъ подать: не утруждайте его превосходительства!“ Такъ я и остался... Ну, скажи на милость, на кой чортъ мнѣ эти „Пуритане“ понадобились?

— Это ужъ, братецъ, твое дѣло. Я и самъ говорю: вмѣсто того, чтобъ дома скромненько сидѣть, вы всѣ, точно сбѣсились, на непріятности лѣзете! Но не объ этомъ рѣчь. Узналъ ли ты по крайней мѣрѣ, кто этотъ мужчина былъ?

— Да безшабашный совѣтникъ Дыба, сказывали...

— Дыба! ахъ, да вѣдь я съ нимъ въ прошломъ году въ Эмсѣ препріятно время провелъ! на Бедерлей вмѣстѣ лазали; въ Линденбахъ, бывало, придемъ, молока спросимъ. и Лизхенъ... А ужъ какая она, къ чорту, Лизхенъ! поясница въ три обхвата! Всякій разъ, бывало, какъ она этой поясницей вильнетъ, Дыба молвитъ: „вотъ когда я титулярнымъ совѣтникомъ былъ“... И крякнетъ.

— Ахъ, сдѣлай милость, выручи!

— Да вѣдь онъ и фамиліи твоей не знаетъ?

— То-то, что знаетъ. На бѣду, капельдинеръ человѣкъ знакомый попался.

— Гм... стало быть, Дыба разспрашивалъ?

— Въ томъ-то и дѣло, что разспрашивалъ. И когда ему мою фамилію назвали, то онъ оттопырилъ губы и произнесъ: „а! это тотъ самый, который“... Нѣтъ, ты ужъ выручи!

Дѣлать нечего, пришлось выручать. На другое утро, часу въ десятомъ, направился къ Дыбѣ. Принялъ, хотя нѣсколько какъ бы удивился. Живетъ хорошо. Квартира холостая: невелика, но приличная. Чай съ булками пьетъ и молодую кухарку нанимаетъ. Но когда получитъ по службѣ желаемое повышеніе (онъ было-перестали надѣяться, но теперь опять возгорѣлъ), то будетъ нанимать повара, а кухарку за курьера замужъ выдастъ. И тогда онъ вѣроятно меня ужъ не приметъ.

— А! господинъ сопаціентъ! помню! помню! Какими судьбами?

— Да вотъ, вашество, поблагодарить пришелъ... Вниманіе ваше... Бедерлей... Линденбахъ... Такъ мнѣ тогда лестно было!

— Что-жъ, очень радъ! очень радъ! Что отъ меня завпсѣло... весьма, весьма пріятно время провели! Только, знаете, нынче пріятности-то ужъ не тѣ, что прежде были...

— Ахъ, вашество! да неужто-жъ я этого не понимаю! неужто я не соображаю! нынѣшнія ли пріятности, или прежнія! Прежнія, можно сказать, были только предвкушеніемъ, а нынѣшнія...

— То-то, то-то. Такъ вы и соображайте свои поступки. Прежнія пріятности—сами по себѣ, а нынѣшнія—преимущественно...

Ждалъ я, что онъ и мнѣ велитъ чаю съ булками подать, но онъ не велѣлъ, а только халатъ слегка запахнулъ. Тѣмъ не менѣе дѣло у насъ шло настолько гладко, что онъ повелъ меня квартиру показывать; однакожъ ни кухни, ни кухаркиной комнаты не показалъ. Но когда я приступилъ къ изложенію дѣйствительной причины моего визита, то онъ нахмурился. Сказалъ, что пора серьезно на современное направленіе умовъ взглянуть; что мы все либеральничали, а теперь вотъ спрашиваемъ себя: гдѣ мы? и куда мы идемъ? И знаете ли что, милая тетенька?—мнѣ даже показалось, что, говоря о либералахъ, онъ какъ будто бы намекалъ на меня. Потомъ сказалъ, что онъ, къ сожалѣнію, ужъ кого слѣдуетъ предупредилъ, и теперь неловко... И только тогда, когда я неопровержимыми доводами доказалъ, что спасти невинно падшаго никогда для великодушнаго сердца не поздно—только тогда онъ согласился „это дѣло“ оставить.

Можете себѣ представить радость моего пріятеля, когда я ему объявилъ объ результатѣ моего предстательства! Во всякомъ случаѣ я теперь увѣренъ, что впредь онъ въ театръ ни ногой; я же буду имѣть въ немъ человѣка, который и въ огонь, и въ воду за меня готовъ. Такъ что ежели вамъ денегъ понадобится—только черкните: я у него выпрошу.

Приходитъ четвертый.

— Вообрази, какая со мной штука случилась! Пошелъ я вчера, наканунѣ Варварина дня—жена именинница—ко всенощной. Только стою и молюсь...

Приходитъ пятый.

— Вотъ такъ штука! Ѣду я сегодня на извозчикѣ...

Приходитъ шестой.

— Нѣтъ, да ты послушай, какая со мной штука случилась! Прихожу я сегодня въ милютины лавки, спрашиваю балыка...

Приходитъ седьмой.

— Коли хочешь знать, какія штуки на свѣтѣ творятся, такъ слушай. Гуляю я сегодня по Владимірской, и только-что поровнялся съ церковью...

Приходитъ восьмой; но этотъ ничего не говоритъ, а только глазами хлопаетъ.

— Штука!—наконецъ восклицаетъ онъ, переводя духъ.

Словомъ сказать, образовалась цѣлая теорія вколачиванія „штуки“ въ человѣческое существованіе. На основаніи этой теоріи, еслибы всѣ эти люди не заходили въ трактиръ, не садились бы на конку, не гуляли бы по Владимірской, не ѣздили бы на извозчикѣ, а оставались бы дома, лежа пупкомъ вверхъ и читая „Nana“, то были бы благополучны. Но такъ какъ они позволили себѣ сѣсть на конку, зайти въ трактиръ, гулять по Владимірской и т. д., то получили за сіе въ возмездіе „штуку“.

„Штука“—сама по себѣ вещь не мудрая, но замѣчательная тѣмъ, что обыкновенно ее вколачиваетъ „мерзавецъ“. Вколачиваетъ—и называетъ это вколачиванье „содѣйствіемъ“. Тотъ самый „мерзавецъ“, котораго всѣ сознаютъ таковымъ, но отъ котораго никакъ не могутъ отдѣлаться, потому что онъ, дескать, на правильной стезѣ стоитъ. Я однако же позволяю себѣ разсуждать такъ: мерзавецъ есть мерзавецъ—и болѣе ничего. А къ тому присовокупляю, что ежели вскорѣ не послѣдуетъ умаленія мерзавцевъ, то они по горло хлопоты надѣлаютъ. Ибо не въ томъ дѣло, что они либераловъ на рюмкѣ джина подлавливаютъ, а въ томъ, что повсюду, во всѣхъ щеляхъ и слояхъ, ихъ мерзкія дѣла безсмысленнѣйшую сумятицу заводятъ.

Какъ бы то ни было, но ужасно меня эти „штуки“ огорчили. Только-что началъ-было на веселый ладъ мысли настраивать—глядь, анъ тутъ цѣлый рядъ „штукъ“. Хотѣлъ-было крикнуть: да сидите вы дома! но потомъ сообразилъ: какъ же однако все дома сидѣть? У иного дѣла есть, а иному и погулять хочется... Такъ и не сказалъ ничего. Пускай каждый рискуетъ, коли охота есть, и пускай за это узнаетъ, въ чемъ „штука“ состоитъ!

А мысли у меня тѣмъ временемъ разстроились. Съ allegro con brio на andante cantabile перешли...

Вотъ наше житьишко каково. Не знаешь, какой ногой ступить, какое слово молвить, какой жестъ сдѣлать — вездѣ тебя „мерзавецъ“ подстережетъ. И вся эта безшабашная смѣсь глупости, распутства и предательства идетъ на встрѣчу подъ покровомъ „содѣйствія“ и во имя его безнаказанно отравляетъ человѣческое существованіе. Ябеда, которую мы нѣкогда знавали въ обособленномъ состояніи (и даже въ этомъ видѣ она никогда не казалась намъ достолюбезною), обмірщилась, сдѣлалась достояніемъ перваго встрѣчнаго добровольца.

Не правда ли, какая поразительная картина нравовъ? Да, даже для людей, видавшихъ на своемъ вѣку виды, она кажется поразительною и неожиданною. Можетъ быть, въ сущности, она и не поразительнѣе картинъ добраго стараго времени, съ которыми мы ее сравниваемъ, однако вѣдь надо же принять во вниманіе, что время-то идетъ да идетъ, а картины все тѣ же да тѣ же остаются. Вотъ эта-то мысль именно и донимаетъ, что самое время какъ будто утратило всякую власть надъ нами. По крайней мѣрѣ мнѣ лично по временамъ начинаетъ казаться, что я стою у порога какой-то загадочной храмины, на дверяхъ которой написано: ГАЛИМАТЬЯ. И стою я у этихъ дверей какъ прикованный, и не могу отойти отъ нихъ, хотя оттуда такъ и обдастъ меня гнилымъ позоромъ взаимной травли и междоусобія. Тамъ, за этими дверьми, мечутся обезумѣвшія отъ злобы сонмища добровольцевъ-соглядатаевъ, пугая другъ друга фантастическими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать какую-то мудреную комбинацію, въ которую они могли бы утопить гнетущую ихъ панику, и ничего не обрѣтая. Злые сердцемъ, нищіе духомъ, жестокіе, но безразсудные, они сознаютъ только требованія своего темперамента, но не могутъ выяснить ни объекта своихъ ненавистей, ни способовъ отмщенія. Все въ этомъ соглядатайственномъ мірѣ загадочно: и люди, и дѣйствія. Люди — это тѣ люди-камни, которые когда-то сѣялъ Девкаліонъ, и которые, на зло волшебству, какъ были камнями, такъ и остались ими. Дѣйствія этихъ людей — каменные осколки, невѣдомо откуда брошенные, невѣдомо куда и въ кого направленные. Въ пустотѣ родилась ихъ злоба, въ пустотѣ она и потонетъ. Но увы! — не потонетъ смута, которую ея безсмысленное шипѣніе вѣдрило въ человѣческія сердца.

Съ нѣкоторымъ страхомъ я спрашиваю себя: ужели же не исчезнутъ съ лица земли эти пустомысленные риторы, эти лицемѣрствую-

щіе фарисеи, всѣ эти шипящіе гады, которые съ такою назойливою наглостью наполняютъ современную атмосферу міазмами смуты и мятежа? Шутка сказать, и до сихъ поръ еще раздаются обвиненія въ „бредняхъ“, а сколько ужъ лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, какъ эти бредни были да быльемъ поросли? Неужели мы съ тѣхъ поръ недостаточно измельчали и опошлѣли? Неужели мы мало кричали: не нужно широкихъ задачъ! не нужно! давайте трезвенныя слова говорить! Помилуйте! вѣдь ужъ не о „бредняхъ“ идетъ въ настоящее время рѣчь—ахъ, что̀ вы! — а о простомъ, простѣйшемъ житіи, о самой скромной претензіи на увѣренность въ завтрашнемъ днѣ. „Бредни“!—не помните ли, голубушка, въ чемъ, бишь, они состоятъ? „Бредни“! да не то ли это самое, что̀ нѣсколько становыхъ, квартальныхъ и участковыхъ поколѣній усиленно и неустанно вышибали изъ насъ, въ чаяніи, что мы восчувствуемъ и пойдемъ впередъ „въ надеждѣ славы и добра“? Такъ неужели же и послѣ того мы не восчувствовали и продолжаемъ коснѣть?—можетъ ли это быть!!! Нѣтъ, это не такъ, это клевета. Мы до такой степени восчувствовали, что нигдѣ, кромѣ навозной кучи, ужъ и не чаемъ обрѣсти жемчужное зерно. Шиллеры, Байроны, Данты! вы, которые говорили человѣку о свободѣ и напоминали ему о совѣсти—да исчезнетъ самая память объ васъ! Мы до такой степени и такъ искренно ошалѣли, что еслибы вы вновь появились въ эту минуту, то мы, не обинуясь, причислили бы васъ къ лику „мошенниковъ пера“ и „разбойниковъ печати“. Вы не утѣшили бы, а испугали бы насъ. „Ахъ, можно ли такъ говорить!“—„А ну, какъ подслушаетъ Расплюевъ!“—вотъ что̀ услышали бы вы отъ наиболѣе доброжелательныхъ изъ насъ! И Расплюевъ непремѣнно подслушалъ бы и пригласилъ бы васъ въ участокъ. А участокъ нашелся бы въ затрудненіи, кого предпочесть: Расплюева Шиллеру или Шиллера Расплюеву. Не вы теперь нужны, а городовые. И не только на своихъ постахъ нужны городовые, но и въ мірѣ человѣческой совѣсти. Что̀ же дѣлать! проживемъ и съ городовыми! Но пускай же судьба оставитъ насъ съ одними ими и избавитъ отъ партикулярныхъ шипѣній и трубныхъ звуковъ, благодаря которымъ нѣтъ честнаго человѣка, который не чувствовалъ бы себя въ тискахъ ябеды.

Что это отсутствіе идеаловъ и бѣдность умственныхъ и нравственныхъ задачъ, эта непзмѣнность стремленій, заставляющая ко-

лебаться въ выборѣ между Шиллеромъ и городовымъ, очень существенно и горько отзовутся не только на настоящемъ, но и на будущемъ общества—въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Время, пережитое въ болотѣ клеветъ, раздоровъ и подвоховъ, не пройдетъ безнаказанно ни въ общемъ развитіи жизни, ни передъ судомъ исторіи. Исторія не скажетъ, что это было пустое мѣсто—такой приговоръ былъ бы слишкомъ мягокъ и несогласенъ съ правдою. Она назоветъ это время ямою, въ которой кишѣли безчисленныя гадюки, источавшія ядъ, котораго испаренія полностью заразили всю атмосферу. Она засвидѣтельствуетъ, что и послѣдующія поколѣнія безконечно изнывали въ борьбѣ съ унаслѣдованной заразой и только цѣною мучительныхъ усилій выстрадали себѣ право положить основаніе дѣлу человѣчности и любви.

Но допустимъ, что намъ не къ лицу задаваться задачами, въ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ общество, и тѣмъ меньше къ лицу угадывать приговоры исторіи. Допустимъ, что нашему разумѣнію доступно только маленькое личное дѣло, дѣло тѣхъ разрозненныхъ единицъ, для которыхъ потребность спокойствія и жизненныхъ удобствъ составляетъ главный жизненный мотивъ. Что такое общество? что такое будущее? что такое исторія?—Risum teneatis, amici! Вѣдь это именно тѣ самыя „бредни“, о которыхъ я столько разъ уже упоминалъ и которыя способны лишь извратить наши взгляды на задачи настоящаго!—Пусть будетъ такъ. Но вѣдь и въ этихъ разрозненныхъ существованіяхъ, и въ этихъ мелкихъ группахъ, на которыя разбилась человѣческая масса—вѣдь и тамъ уже царитъ безсмысленная распря, раздоръ и нравственное разложеніе.

Да, все это уже есть, на-лицо. Взволновавъ и развративъ общество, ябеда постепенно вторгается и въ семью. Она грозитъ порвать завѣщанный преданіемъ связующій элементъ и вмѣсто него посѣять въ сердцахъ однихъ—ненависть, въ сердцахъ другихъ - безнадежность и горе. На мой взглядъ это угроза очень серьезная, потому что ежели еще есть возможность, при помощи уличныхъ перебѣганій и домашнихъ запоровъ, скрыться отъ общества живыхъ людей, то куда же скрыться отъ семьи? Семья—это „домъ“, это центръ жизнедѣятельности человѣка, это—послѣднее убѣжище, въ которое онъ обязательно возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессія и долгъ. Далѣе этого убѣжища ему некуда идти. Посудите же,

какое чувство онъ долженъ испытывать, если даже тутъ, въ этой крѣпости, его подстерегаютъ то же предательство, та же свара, отъ которыхъ онъ едва-едва унесъ ноги на улицѣ. И вдобавокъ свара значительно обостренная, потому что никто не съумѣетъ такъ власть обострить всякую боль, какъ люди, отравляющіе другъ другу жизнь „по родственному“.

Еслибъ жертвами этихъ интимныхъ предательствъ дѣлались исключительно такъ-называемые либералы, можно бы пожалуй примириться съ этимъ. Можно бы даже сказать: сами либеральничали, сами козлодѣйствовали, сами бредили — вотъ и добредились! Но оказывается, что ябеда слѣпа и капризна...

На дняхъ я издали завидѣлъ на улицѣ извѣстнаго вамъ Удава *) и просто-на-просто побоялся подойти къ нему: до такой степени онъ нынче глядитъ сумрачно и въ то же время уныло. Очевидно, въ немъ происходитъ борьба, въ которой попеременно то гнѣвъ беретъ верхъ, то скорбь. Но думаю, что въ концѣ концовъ скорбь, даже въ этомъ недоступномъ для скорбей сердцѣ, останется побѣдительницею.

У Удава было три сына. Одинъ сынъ пропалъ, другой — попался, третій остался цѣлъ и выражается о братьяхъ: „такъ имъ, подлецамъ, и надо!“ Удавъ предполагалъ, что подъ старость у него будутъ три утѣшенія, а на повѣрку вышло одно. Да и относительно этого послѣдняго утѣшенія онъ начинаетъ задумываться, подлинно ли оно утѣшеніе, а не египетская казнь.

Въ фактическомъ смыслѣ все это совершилось довольно быстро, но подготовлялось исподволь. Надо вамъ сказать, что Удавъ никогда не сознавалъ никакой связи между обществомъ и своею личностью. Каждодневно, утромъ, выходилъ онъ „изъ дома“ на улицу какъ въ справочное мѣсто, единственно для совершенія обычныхъ дѣловыхъ подвиговъ, и, совершивъ что слѣдуетъ, вновь возвращался „домой“. Возвратившись, надѣвалъ халатъ, говорилъ: „теперь по мнѣ хоть трава не расти!“ и требовалъ, чтобъ его не задерживали съ обѣдомъ. За обѣдомъ онъ разсказывалъ анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, послѣ обѣда часа два отдавалъ отдохновенію, а за вечернимъ чаемъ произносилъ краткія поученія о томъ, какую и въ какихъ случаяхъ пользу для казны принести можно. И всѣ ему вни-

*) См. „За рубежемъ“.

мали; дѣти поддакивали и ѣли отца глазами, жена говорила: „за то и начальство папеньку награждало!“

И вдругъ Удавъ сталъ примѣчать, что стѣны его храмины начинаютъ колебаться; что въ нихъ уже появляются бреши, въ которыя безцеремонно врывается улица съ ея смутою, кляузами, ябедою, клеветою... Дѣти внимаютъ ему разсѣянно; жена хотя еще поддакиваетъ, но безъ прежняго увлеченія. И даже во взаимныхъ отношеніяхъ членовъ семьи замѣтна какая-то натянутость. Нѣкоторое время впрочемъ Удавъ крѣпился и какъ бы не вѣрилъ самому себѣ. По-прежнему продолжалъ разсказывать анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, и ежели замѣчалъ въ слушателяхъ равнодушіе, то отъ времени до времени покрикивалъ на нихъ.

Но дальше дѣло начало усложняться. Однажды, возвратившись въ храмину, Удавъ угадалъ сразу, что въ ней свила себѣ гнѣздо тайна. Жена какъ будто въ первый разъ видитъ его; дѣти смотрятъ и на него, и другъ на друга не то удивленно, не то пронзительно, словно испытываютъ. За обѣдомъ онъ вновь затянулъ-было обычную пѣсню о казенномъ интересѣ, но на первомъ же анекдотѣ голосъ его внезапно пресѣкся: онъ убѣдился, что никто ему не внимаетъ. Тогда онъ вспомнилъ объ „улицѣ“ и какъ-то инстинктивно дрогнулъ: онъ понялъ, что у всякаго изъ его домочадцевъ лежитъ на душѣ своя собственная ненависть, которую онъ подхватилъ на улицѣ и принесъ домой. И каждаго эта ненависть охватила всецѣло, каждый разрабатываетъ ее особо, въ своемъ собственномъ углу, за свой собственный счетъ...

Съ тѣхъ поръ Удавова храмина погрузилась въ мракъ и наполнилась шипѣніемъ. А наконецъ разразилась и исторія, разомъ лишившая его двухъ утѣшеній...

И теперь Удавъ спрашиваетъ себя: дѣйствительно ли онъ былъ правъ, полагая, что между обществомъ и его личностью не существуетъ никакой связи?

Быть можетъ, вы скажете, что Удавъ и его семья ничего не доказываютъ. А я такъ, напротивъ, думаю, что именно такія-то личности и даютъ наиболѣе подходящія доказательства. Подумайте! вѣдь Удавъ не только никогда не скорбѣлъ о томъ, что ябеда грозитъ обществу разложеніемъ, но втайнѣ даже радовался этой угрозѣ —и вдругъ теперь тотъ же Удавъ убѣждается, что общественная

гангрена есть въ то же время и его личная гангрена! Какъ хотите, но, по моему, это очень важно. Удавъ—авторитетъ въ своей сферѣ: а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается...

А такихъ семей, которыя ябеда превратила въ звѣриныя берлоги, нынѣче развелось очень довольно. Улица, съ неслыханною доселѣ наглостью, врывается въ самыя неприступныя твердыни и, къ удивленію, не встрѣчаетъ дружнаго отпора, какъ въ бывалое время, а только производитъ расколъ. Такъ что весь вопросъ теперь въ томъ, на чьей сторонѣ останется окончательная побѣда: на сторонѣ ли ябеды, которая возпамѣрилась весь міръ обратить въ пустыню, или на сторонѣ остатковъ совѣсти и стыда?

Письмо восьмое.

Милая тетенька.

Вы, конечно, безпокоитесь, не позабылъ ли я о Варвариномъ днѣ? —Нѣтъ, не забылъ, и 4-го декабря, къ 3 часамъ, по обычаю, отправился къ бабенькѣ Варварѣ Петровнѣ (которую я, впрочемъ, изъ учтивости называю тетенькой) на пирогъ. Старушка, слава Богу, здорова и бодра, несмотря на то, что въ сентябрѣ ей минуло семьдесять-восемь лѣтъ. Только въ разсудкѣ какъ будто повредилась, но къ ней это даже идетъ. Хвалилась, что получила отъ васъ поздравительное письмо и большую банку варенья, и удивлялась, зачѣмъ вы удалились въ деревню, тогда какъ настоящее ваше мѣсто при дворѣ. Объ Аракчеевѣ, какъ и прежде, хранитъ благодарное воспоминаніе и повторила обычный разсказъ о томъ, какъ въ 1820 году она танцовала съ нимъ мапмаску. Но при этомъ призналась, что послѣ маниаски у нихъ состоялся романъ, и не безъ гордости прибавила:

— И вотъ съ тѣхъ поръ доживаю свой вѣкъ въ дѣвицахъ!

И дѣйствительно, еще недавно я собственными глазами видѣлъ документъ, на которомъ она подписалась: „къ сей закладной дѣвица Варвара Мангушева руку приложила“. И нотаріусъ эту подпись засвидѣтельствовалъ—чего бы, кажется, вѣрнѣе!

А между тѣмъ представьте себѣ, что я узналъ—вѣдь у бабеньки-то сынъ послѣ маниѳаски родился! И знаете ли, кто этотъ сынъ!—да вотъ тотъ самый Петруша Поселенцевъ, котораго мы, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, застали, какъ онъ ручку у нея цѣловалъ! Помните, еще мы удивлялись, какъ это дѣвушка шестидесяти-трехъ лѣтъ рискуетъ оставаться наединѣ съ мужчиной, у котораго косая сажень въ плечахъ. А теперь оказывается, что мужчина-то—нашъ родственникъ! да и Аракчеевъ тоже намъ родственникъ! Вотъ такъ сюрпризъ! И живетъ Петруша въ томъ же домѣ, гдѣ-то по черной лѣстницѣ, и каждодневно ходитъ къ бабенькѣ обѣдать, когда гостей нѣтъ, а когда есть гости, то обѣдаетъ въ конуркѣ у Авдотьюшки, которая, послѣ эмансипаціи, изъ кофишенокъ произведена въ камеристки.

Все это я узналъ отъ дяденьки Григорія Семеныча, который сообщилъ мнѣ и другія секретныя подробности. Въ молодости бабенька была очень романтична, и какъ только увидѣла Аракчеева, такъ тотчасъ же влюбилась въ него. Всего больше ей понравилось въ немъ, что онъ бороду очень чисто брилъ, а еще того пуще плѣнила идея военныхъ поселеній, съ которою онъ тогда носился. „А впослѣдствіи, сударыня, мы и настоящую каторгу учредимъ“, прибавлялъ онъ, приводя ее въ восхищеніе. Тѣмъ не менѣе, когда бабенька почувствовала, что маниѳаска ей даромъ не прошла, то написала къ Аракчееву письмо, въ которомъ грозила утопиться, ежели онъ на ней не женится. Однако графъ урезонилъ ее, доказавъ, что ему, какъ человѣку одержимому, жениться не подобаетъ, и что ежели она и затѣмъ „не уймется“, то онъ поступитъ съ нею по всей строгости законовъ. Въ случаѣ же раскаянія обѣщалъ ее поддержать, а имѣющаго родиться сына (онъ даже помыслить не смѣлъ, чтобъ отъ него могла родиться дочь—„развѣ бабу-ягу родите!“ прибавлялъ онъ шутливо) куда слѣдуетъ опредѣлить. И дѣйствительно, какъ только послѣдствія маниѳаски осуществились, такъ онъ тотчасъ же выхлопоталъ бабенькѣ пенсіонъ въ три тысячи ассигнаціонныхъ рублей „изъ калмыцкаго капитала“, а сына, назвавъ въ честь военныхъ поселеній Поселенцевымъ, зачислилъ въ кантонисты, и потомъ, на одрѣ смерти, выпросилъ, чтобъ его, по достиженіи законныхъ лѣтъ, опредѣлили въ фельдъегерскій корпусъ. Фельдъегеремъ Петруша служилъ лѣтъ десять и былъ произведенъ въ прапорщики, но потомъ, за жестокое обращеніе съ ямщиками, уволенъ, и въ настоящее время живетъ на бабушкиномъ иждивеніи. Ему

теперь подъ-шестьдесятъ, по глупъ онъ совершенно такъ, какъ бы въ цвѣтѣ лѣтъ. Ничего не дѣлаетъ, даже въ дураки съ бабенькой лѣнится играть, но знаетъ фокусъ: возьметъ рюмку съ водкой, сначала водку выпьетъ, а потомъ рюмку съѣстъ. Этотъ фокусъ бабенька очень любитъ, но не часто можетъ доставлять себѣ это удовольствіе, потому что рюмки денегъ стоютъ, а денегъ у нея, по случаю возникшей переписки о сокращеніи выпуска кредитныхъ знаковъ, маловато.

Такъ вотъ, голубушка, какія дѣла на свѣтѣ бываютъ! Часто мы думаемъ: дѣвушка да дѣвушка—а на повѣрку выходитъ, что у этой дѣвушки сынъ въ фельдъегеряхъ служитъ! По-неволѣ вспомнишь вашего стараго сельскаго батюшку, какъ онъ, бывало, говаривалъ: „что же послѣ этого твои, человѣче, предположенія? и какую при семъ жалкую роль играетъ высокоумный твой разумъ!“ Именно такъ.

Само собой разумѣется, у бабеньки собрался, по случаю дня ангела, весь родственный спиклитъ. Былъ тутъ и дяденька Григорій Семенычъ, и кузина Надежда Гавриловна, а съ ними два поручика и одинъ прапорщикъ—дѣти Надежды Гавриловны, два коллежскихъ ассессора, Сенечка и Павлуша — дѣти Григорія Семеныча, да еще штукъ шесть кадетовъ, изъ которыхъ часть — дѣти покойной кузины Марьи Гавриловны, а часть — неизвѣстнаго происхожденія. Изъ постороннихъ не позабылъ Варварина дня только тайный совѣтникъ Стрекоза, тотъ самый, который уцѣлѣлъ послѣ аракчеевской катастрофы за то, что оказался невиннымъ. Но генералъ Бритый не пріѣхалъ, потому что наканунѣ его похоронили.

И представьте себѣ, отчего онъ умеръ?—Все припоминалъ, кого онъ съ вечера 30-го ноября 1825 года назначилъ кошками на завтра наказать, но, бывъ внезапно уволенъ отъ службы, не наказалъ? Слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ припоминалъ онъ эту подробность своей служебной карьеры, и все никакъ не могъ вспомнить, какъ вдругъ 30-го прошлаго ноября, ровно черезъ пятьдесятъ-шесть лѣтъ, солдатъ Аника, словно живой, такъ и глядитъ на него! „Кошекъ!“—гаркнулъ Бритый, но не остерегся и захлебнулся собственной слюной. А черезъ секунду ужъ лежалъ на полу мертвый...

Сначала, разумѣется, предметомъ всѣхъ разговоровъ былъ Бритый. Бабенька очень уважала покойнаго и говорила, что теперь такихъ вѣрныхъ исполнителей предначертаній уже не сыщешь. Извѣстно, что на Бритомъ лежала обязанность внѣдрять идею военныхъ посе-

леній посредствомъ шпицрутеновъ, тогда какъ Стрекоза ту же самую идею внѣдрялъ при помощи допроса съ пристрастіемъ. Объ эти личности были фаворитами временщика. Даже суровый Аракчеевъ — и тотъ умилялся, видя ихъ неумытное служеніе, и нерѣдко (въ особенности Бритаго) гладилъ ихъ по головѣ. Стрекоза и до сихъ поръ безъ слезъ объ этомъ вспомнить не можетъ. Но бабенька, которую кузина Надежда Гавриловна по-французски называетъ un coeur d'or, всегда отдавала предпочтеніе Бритому, а Стрекозу не долюбливаетъ и нерѣдко даже называетъ его самого — предателемъ, а слезы его — крокодиловыми. И все за то, что онъ черезъ-чуръ тщился доказать свою „невинность". Бритый, — говоритъ она, — прямо палъ на колѣни и показалъ: „все сіе исполнялъ въ точности, поколику находилъ опое своевременнымъ и полезнымъ", а Стрекоза — „вертѣлся". Впрочемъ и Стрекозу она принимаетъ дружески, потому что кругъ аракчеевцевъ съ каждымъ годомъ убываетъ и въ настоящее время имѣетъ, кажется, только двухъ представителей: бабеньку и Стрекозу.

Такъ-то вотъ. Теперь убываютъ аракчеевцы, а потомъ будутъ убывать муравьевцы, а потомъ... Но не станемъ упреждать событій, а будемъ только памятовать, что еще старикъ Державинъ сказалъ:

А завтра — гдѣ ты, человѣкъ?

Когда покончили съ Бритымъ, Стрекоза разсказалъ нѣсколько истинныхъ происшествій изъ практики своего патрона, и въ заключеніе произнесъ прочувствованное слово въ похвалу Аракчеевской „системѣ". Представьте себѣ, мой другъ, такъ умно эта система была задумана, что всѣ, которые въ ея рай опъ попадали, другъ за другомъ слѣдили и обо всемъ слышанномъ и видѣнномъ доводили до свѣдѣнія. Даже тѣ, которые „не являлись къ сему склонными" (выраженіе Стрекозы) — и тѣ, съ теченіемъ времени, увлекались въ общій потокъ человѣконенавистничества, отчасти потому, что ихъ побуждало къ тому желаніе отмщенія, отчасти же потому, что ихъ неуклонно подбодряли въ этомъ направленіи шпицрутенами. Такъ что извѣстно было не только кто что говорилъ, но и кто что ѣлъ, то-есть установленную ли пищу, или неустановленную, въ горшкѣ ли сваренную, или въ другомъ сосудѣ. И оттого всѣ были тогда здоровы, потому что ѣли пищу настоящую, а за все прочее отвѣчала спина. Но сверхъ того Аракчеевъ, по мнѣнію Стрекозы, былъ и въ томъ от-

ношеніи незабвенъ, что подготовлялъ народъ къ воспріятію коммунизма; шпицрутены же въ этомъ случаѣ предлагались совсѣмъ не какъ окончательный modus vivendi, но лишь какъ благовременное и цѣлесообразное подспорье. Словомъ сказать, еслибъ Аракчеевъ пожилъ еще нѣкоторое время, то Россія давнымъ-давно бы была сплошь покрыта фаланстерами, а мы находились бы наверху благополучія. И тогда потребность въ шпицрутенахъ миновала бы сама собою.

Итакъ, вотъ какое будущее готовилъ Аракчеевъ Россіи! Безспорно, замыслы его были возвышенны и благородны, но не правда ли, какъ это странно, что ни одно благодѣяніе не воспринимается человѣчествомъ иначе, какъ съ пособіемъ шпицрутеновъ! По крайней мѣрѣ, и бабенька, и Стрекоза твердо этому вѣрили и одинаково утверждали, что человѣкъ безъ шпицрутеновъ все равно, что генералъ безъ звѣзды или газета безъ руководящей статьи.

Затѣмъ, воздавъ хвалу прошлому, перешли къ современности и очень хвалили. Стрекоза заявилъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ нынѣче даже лучше прежняго, потому что нужна была Аракчеевская несокрушимость, чтобы „систему“ въ общество внѣдрять, а нынѣче и безъ Аракчеева общество само ничуть не хуже систему выработало. А отсюда прямой выводъ: что мы созрѣли.

— Нынѣче, сударыня, ежели два родныхъ брата вмѣстѣ находятся, и одинъ изъ нихъ не кричитъ „страхъ врагамъ!“, такъ другой ужъ примѣчаетъ. А на конкахъ да въ трактирахъ даже въ полной мѣрѣ чистота души требуется.

На что̀ бабушка резонно отозвалась:

— И дѣльно. Не шатайся по конкамъ, а дома сиди. Чѣмъ дома худо? На улицѣ и сырость, и холодъ, а дома всегда божья благодать. Да и вообще это не худо, что общество само себя провѣрить хочетъ... А то ужъ ни на что̀ непохоже, какъ распустили!

Отъ этихъ бабенькиныхъ рѣчей кадеты пришли въ восторгъ и захлопали въ ладоши. Но старшіе подѣлились на партіи. Коллежскій ассессоръ Сеничка всталъ и, въ знакъ восхищенія, поцѣловалъ у бабеньки ручку; его примѣру послѣдовали оба поручика, выразившись при этомъ: „золотыя вы, бабенька, слова сказали!“ Но коллежскій ассессоръ Павлуша и прапорщикъ глядѣли хмуро. Дядя Григорій Семенычъ тоже поморщился (онъ вѣдь у насъ вольнодумецъ) и какъ-то гадливо посмотрѣлъ на Сеничку. Что же касается до кузины

Надежды Гавриловны, то она, обращаясь къ прапорщику, сказала:

— А ты отчего у бабеньки ручку не поцѣлуешь?..безчувственный!

На что̀ прапорщикъ отвѣтилъ:

— Вы, маменька, ничего не понимаете—оттого и говорите!

Словомъ сказать, произошла семейная сцена, длившаяся не болѣе двухъ-трехъ минутъ, но, несмотря на свою внѣшнюю загадочность, до такой степени ясная для всѣхъ присутствующихъ, что у меня, напримѣръ, сейчасъ же созрѣлъ въ головѣ вопросъ: который изъ двухъ коллежскихъ ассессоровъ, Сеничка или Павлуша, будетъ раньше произведенъ въ надворные совѣтники?

Но не успѣлъ я порядкомъ разрѣшить этотъ вопросъ (онъ сложнѣе, нежели съ перваго взгляда казаться можетъ), какъ бабенька неожиданно меня огорошила.

— Ну, а ты, либералъ, какъ полагаешь?—обратилась она ко мнѣ.

Поручики фыркнули и подмигнули коллежскому ассессору Сеничкѣ, который беззвучно хихикнулъ. Стрекоза грустно покачалъ головой, какъ бы вопрошая себя, ужели и въ храмину цѣломудренной болярыни успѣлъ заползти ядъ либерализма? А кузина Надежда Гавриловна — помните, мы съ вами ее „индюшкой“ прозвали?— такъ-таки прямо и расхохоталась мнѣ въ лицо.

— Либералъ... ха-ха! Такъ ты все еще либералъ, cousin? Ха-ха! Онъ... либералъ!

Разумѣется, я прежде всего сгорѣлъ со стыда и поспѣшилъ оправдаться. Говорилъ, что дѣйствительно нѣкогда былъ либераломъ, но въ то время это было простительно. Теперь же я убѣдился, что либеральничанье нужно оставить (и оставилъ), а надо дѣло дѣлать.

— Дѣло... но какое?—пытливо обратился ко мнѣ Стрекоза, очевидно переносясь мыслью къ тѣмъ незабвеннымъ временамъ, когда онъ чинилъ допросы съ пристрастіемъ.

— Разумѣется, настоящее дѣло... Вотъ, напримѣръ, по питейной части... отчего же! я съ удовольствіемъ!—бормоталъ я, застигнутый врасплохъ и цѣпляясь за первый попавшійся вопросъ насущной современности.

Но тутъ случилась новая неожиданность. Прапорщикъ, который все время угрюмо молчалъ и зализывалъ зачатки усовъ, вдругъ съ трескомъ поднялся и, торжественно протянувъ мнѣ руку, воскликнулъ:

— Дядя! я вамъ... сочувствую!

И заплакалъ.

Произошла новая семейная путаница. Поручики впились въ меня стальными глазами, какъ бы намѣреваясь нѣчто запечатлѣть въ памяти; коллежскій ассессоръ Сенчка, напротивъ, стыдливо потупилъ глаза и, казалось, размышлялъ: обязанъ ли онъ, въ качествѣ товарища прокурора, занести о семъ въ протоколъ? „Индюшка“ визжала на прапорщика: „ахъ, этотъ дурной сынъ въ гробъ меня вгонитъ!“ Стрекоза съ каждою минутой становился грустнѣе и строже. Но бабенька, какъ любезная хозяйка, старалась держать нейтралитетъ и весело произнесла:

— Ничего! пусть молодые люди провѣрятъ другъ друга! это не худо! пускай провѣрятъ!

И такъ на меня при этомъ посмотрѣла, что я непремѣнно провалился бы сквозь землю, еслибы не выручилъ меня дядя Григорій Семенычъ, сказавъ:

— Да вѣдь мы, ma tante, не для провѣрки здѣсь собрались, а на именинный пирогъ!

Этотъ окрикъ слегка расхолодилъ присутствующихъ, и хотя въ ожиданіи пирога прошло еще добрыхъ полчаса, однако никакія усилія бабушки оживить общество уже не имѣли успѣха. Такъ что потребовалось допустить вмѣшательство кадетовъ, чтобъ разговоръ окончательно не потухъ.

— Такъ чему же васъ, душенька, въ корпусѣ учатъ?—привѣтливо спрашивала одного изъ нихъ дорогая именинница.

— Повиноваться начальству, бабенька.

— А еще чему?

— Исполнять свой долгъ, бабенька.

— Вотъ и прекрасно. Такъ ты и поступай. Во-первыхъ, повинуйся начальству, а во-вторыхъ, исполняй свой долгъ...

Покуда происходилъ этотъ опросъ, я сидѣлъ и думалъ: за что они на меня нападаютъ? Правда, я былъ либераломъ... ну, былъ! Да вѣдь я ужъ прозрѣлъ—чего еще нужно? Кажется, пора бы и прост... то, бишь, позабыть! И притомъ надо вѣдь еще доказать, что я дѣйствительно... былъ! А что, ежели я совсѣмъ „не былъ“? Что, если все это только *казалось*? Развѣ я въ чемъ-нибудь замѣченъ? развѣ я попался? уличенъ? Ахъ, господа, господа!

Однимъ словомъ, застигнутый нелѣпою паникой, я все глубже и глубже погружался въ пучину неопрятныхъ мыслей и—очень можетъ статься—дошелъ бы и до настоящаго кошмара, еслибы случайно не взглянулъ на Стрекозу. Онъ смотрѣлъ на меня въ упоръ и, казалось, не безъ коварной иронiи слѣдилъ за моею тревогой. Но единственная мысль, которую я прочиталъ въ его помертвѣломъ взглядѣ, была такова: „сiя вина столь непзмѣрима, что никакое раскаянiе не смоетъ ея!“ Прекрасно; но ежели даже чистосердечное раскаянiе не можетъ оправить меня въ глазахъ Стрекозы, то что же остается мнѣ предпринять? Помилуйте! Людямъ самымъ порочнымъ и несомнѣнно преступнымъ—и тѣмъ, съ теченiемъ времени... Но не успѣлъ я вилотную расфантазироваться, какъ вдругъ, совершенно неожиданно для меня самого, на всѣ эти вопросы откуда-то вынырнулъ самый ясный и самый естественный отвѣтъ: да просто-на-просто наплевать!

Отвѣтъ этотъ до такой степени оживилъ меня, что даже шкурная боль мгновенно утихла. И какъ это удивительно, что такая простая мысль пробилась въ голову не сразу, а черезъ цѣлую массу всякаго рода неопрятностей! Скажите на милость! мнѣ ужъ шестой десятокъ въ исходѣ и весь я недугами измученъ—и все-таки чего-то боюсь! Ну, не срамъ ли! Что съ меня взять-то, подумайте! Вѣдь и измучить меня всласть нельзя—умру, только и всего. Эка невидаль! Умереть—успуть!—это всѣ половые въ трактирѣ „Британiя“ знали! Мучишься-мучишься, да еще конца мученья бояться! Наплевать! Стрекоза! наблюдай! Поручики! взирайте съ прилежанiемъ! Либералъ такъ либералъ! что-жъ такое!

Гораздо интереснѣе опредѣлить, кто прежде будетъ произведенъ въ надворные совѣтники, Сеничка или Павлуша? Оба они въ одинхъ чинахъ, но Сеничка уже товарищъ прокурора, а Павлуша и поднесь только исправляющiй должность товарища. Выходитъ, что и теперь Сеничка ужъ опередилъ, и, стало быть, надворнымъ совѣтникомъ раньше будетъ. Но врядъ ли онъ даже объ этой подробности очень-то заботится. Онъ шире раскидываетъ умомъ и глядитъ куда дальше и глубже. Вонъ онъ какъ играетъ глазами: то опустить ихъ долу, то вытаращитъ. То радостное чувство ими выразитъ, то печальное изумленiе. Гнѣва—никогда! или только ужъ въ самыхъ экстренныхъ случаяхъ, когда, что называется, ни лечь, ни встать. Ибо онъ magistrat, и въ этомъ качествѣ гнѣваться не имѣетъ права, а мо-

жетъ только печально изумляться, какъ это люди, живя среди прекраснѣйшихъ долинъ, могутъ погрязать въ порокахъ! И вотъ, помяните мое слово: не пройдетъ и года, какъ онъ уже будетъ прокуроромъ, потомъ женится на генеральской дочери, а затѣмъ и окончательно попадетъ на содержаніе къ государству. И будетъ язвить и мутить до тѣхъ поръ...

Но на этомъ мѣстѣ мои грёзы были прерваны докладомъ, что поданъ пирогъ.

Вы знаете, какіе прекрасные пироги бываютъ у бабеньки въ день ея именинъ. Но сколько лѣтъ тому назадъ, по наущенію Бритаго, она усвоила очень пріятный обычай: независимо отъ именинаго пирога, подавать на столъ еще коммеморативный пирогъ въ честь Аракчеева. Пирогъ этотъ впрочемъ становится посреди стола только для формы; съѣдаютъ его по самому маленькому кусочку, причемъ каждый обязанъ на минуту сосредоточиться... Но трудно описать, какая это ужасная горлопятина!

Представьте себѣ вчерашній дурно пропеченный ситникъ, внутри котораго проложенъ тонкій слой рубленой убоины—вотъ вамъ любимая Аракчеевская ѣда! По обыкновенію, мы и на этотъ разъ разжевали по маленькому кусочку; но Стрекоза, который хотѣлъ похвастаться передъ именинницей, что онъ еще молодецъ, разомъ заглоталъ цѣлый сукрой—и подавился. Къ довершенію всего, тутъ случился Петруша (его бабенька нынче заставляетъ, въ торжественныхъ случаяхъ, прислуживать за столомъ) и, вспомнивъ фельдъегерское прошлое, выпучилъ глаза и началъ такъ сильно дубасить Стрекозу въ загорбокъ, что послѣдній разинулъ пасть, и мы думали, что непремѣнно оттуда вылетитъ Іопа. Однако, слава Богу, все кончилось благополучно; заглотанный кусокъ проскочилъ по принадлежности, Стрекоза утеръ слезы (только подобные казусы и могутъ извлечь ихъ изъ его глазъ), а пирогъ бабенька приказала убрать и раздать по кусочку неимущимъ.

Случай съ Стрекозой имѣлъ впрочемъ и благотворное дѣйствіе въ томъ отношеніи, что на время заставилъ позабыть о злобахъ дня и далъ разговору другое направленіе. Стали разсказывать, кто сколько разъ въ жизни подавился и какимъ образомъ. Стрекоза давился разъ пятьдесятъ, и всегда спасался тѣмъ, что его колотили въ загорбокъ. Но разъ чуть было совсѣмъ не отправился на тотъ свѣтъ. Дѣло было

въ Грузинѣ; наловили въ рѣкѣ чудеснѣйшихъ ершей и принесли въ лоханкѣ показать Аракчееву. Графъ похвалилъ и потомъ, взявъ одного самаго юркаго ерша, проглотилъ; затѣмъ то же самое сдѣлалъ Бритый, а за нимъ, по точной силѣ регламентовъ, пришлось глотать живого ерша и Стрекозѣ. Только онъ не досмотрѣлъ, что Аракчеевъ и Бритый своихъ ершей заглатывали съ головы, и заглоталъ своего съ хвоста. Ну, натурально, свѣта не взвидѣлъ. Къ счастію, Аракчеевъ и тутъ нашелся. Велѣлъ подать ламповое стекло и просунулъ его Стрекозѣ въ хайло. Такимъ образомъ ершъ очутился внутри стекла и затѣмъ ужъ ничего не стоило вынуть его оттуда простыми щипцами. Такъ что черезъ часъ Стрекоза, какъ ни въ чемъ не бывало, уже чинилъ допросъ съ пристрастіемъ. А еще, милая тетенька, разсказывалъ Стрекоза, какъ онъ однажды плюху проглотилъ (однакожъ не подавился); но это ужъ долго спустя послѣ аракчеевской катастрофы, потому что при Аракчеевѣ онъ самъ другихъ плюхи глотать заставлялъ.

— А больно было щекѣ, какъ плюху-то дали? — полюбопытствовалъ дядя Григорій Семенычъ.

— Не могу сказать, чтобъ очень: однакожъ...

Другіе тоже разсказывали каждый по нѣскольку случаевъ. Чаще всѣхъ дивилась кузина Надежда Гавриловна, потому что она, въ качествѣ „индюшки“, очень жадна и притомъ не всегда можетъ отличить твердую пищу отъ мягкой. Бабенька подавилась только одинъ разъ въ жизни, но такъ какъ въ этомъ случаѣ рѣшительную роль игралъ Аракчеевъ. то, натурально, она намъ не сообщила подробностей.

— А я, бабенька, ни разу еще не подавился! — похвастался одинъ изъ кадетовъ.

— Тебѣ еще, миленькій, рано. Вотъ поживешь съ наше — тогда и ты...

Словомъ сказать, всѣмъ стало весело, и бесѣда такъ и лилась рѣкою. И что-жъ! мнѣ же, или, лучше сказать, моей разсѣянности было суждено нарушить общее мирное настроеніе и вновь направить умы въ сторону внутренней политики. Уже подавали мороженое, какъ бабенькѣ вдругъ вздумалось обратиться съ вопросомъ и ко мнѣ:

— Ну, а ты, мой другъ, давился когда-нибудь?

По обыкновенію своему, я не обдумалъ отвѣта и такъ-таки прямо и брякнулъ:

— Да какъ вамъ сказать, милая тетенька, вотъ уже сколько лѣтъ сряду, какъ мнѣ кажется, будто я каждую минуту давлюсь...

Едва успѣлъ я произнести эти слова, какъ всѣ обернулись въ мою сторону въ изумленіи, почти что въ испугѣ. Даже дядя Григорій Семенычъ посмотрѣлъ на меня съ любопытствомъ, какъ бы говоря:

— Ну, братъ, не ожидалъ я, что ты такъ глупъ!

Только „пидюшка“ ничего не поняла и все приставала къ поручикамъ:

— Что еще либералъ слиберальничалъ? Либералъ... ха-ха!

Но никто не отвѣтилъ ей: до такой степени всѣ чувствовали себя подавленными...

Тѣмъ не менѣе мы разстались довольно прилично. Только въ передней Стрекоза остановилъ меня и, дружески пожимая мою руку, сказалъ:

— Позвольте мнѣ, какъ другу почтеннѣйшей вашей бабеньки, подать вамъ полезный совѣтъ. А именно: ежели вамъ и впредь вышесказаннымъ подавиться случится, то старайтесь оное проглотить. Буде же найдете таковое для себя неисполнимымъ, то во всякомъ случаѣ хоть видъ покажите, что съ удовольствіемъ проглотили.

Итакъ мнѣ, тетенька, отъ этихъ Стрекозиныхъ словъ совѣстно сдѣлалось, что я даже не нашелся отвѣтить, что я нелѣпую свою фразу просто такъ, не подумавши, сказалъ, и что въ дѣйствительности я всегда глоталъ, глотаю и буду глотать. А стало быть и показывать видъ никакой надобности для меня не предстоитъ.

Съ подъѣзда оба поручика и коллежскій ассессоръ Сеничка сѣли на лихачей, и, крикнувъ: „туда!“ — скрылись въ сумеркахъ. „Пидюшка“ увязалась-было за дядей, но онъ безъ церемоній отвѣчалъ: „ну тебя!“ Тогда она на минуту опечалилась: „Куда же я поѣду?“ —но сѣла въ карету и велѣла везти себя сначала къ Елисееву, потомъ къ Балле, потомъ къ колбаснику Кирхгейму...

— А потомъ ужъ я знаю куда. Bonsoir, mon oncle!

Прапорщикъ побѣжалъ домой „книжку дочитывать“, а коллежскій ассессоръ Павлуша—тоже домой къ завтрашнему дню обвинительную рѣчь готовить. Но ему, тетенька, выигрышныхъ-то обвиненій не даютъ, а все около кражи со взломомъ держатъ, да и то если таковую совершилъ человѣкъ не свыше чиномъ коллежскаго реги-

стратора. Затѣмъ мы съ дядей остались одни, и я рѣшился кончить день въ его обществѣ.

Дядя очень несчастливъ, милая тетенька. Подобно Удаву, онъ разсчитывалъ, что на старости лѣтъ у него будетъ два утѣшенія, а въ дѣйствительности оказывается только одно. Съ коллежскимъ ассессоромъ Сеничкой случилось что-то загадочное: повидимому онъ, вмѣстѣ съ другими балбесами, увлекся потокомъ междоусобія и не только сдѣлался холоденъ къ своимъ присным, но даже какъ будто слѣдитъ и за отцомъ, и за братомъ. Но что всего больше: секретно дядя и до сихъ поръ питаетъ предилекцію къ Сеничкѣ, а Павлушу хотя и старается любить, но именно только *старается*, ради удовлетворенія принципу справедливости.

— И вѣдь какой способный малый! — говорилъ онъ мнѣ объ Сеничкѣ: — какое хочешь дѣло... только намекни! онъ сейчасъ не только пойметъ, но даже самъ отъ себя добавитъ и разовьетъ!

— Да, талантливый онъ у васъ...

— То-то, что черезъ-чуръ ужъ талантливъ. И я сначала на него радовался, а теперь... Талантливость, мой другъ, это такая вещь... Все равно что пустая бутылка: какое содержаніе въ нее вольешь, то она и вмѣститъ...

— Да вѣдь на то умъ человѣку данъ, чтобъ талантливость направлять.

— И умъ въ немъ есть—несомнѣнно, что есть; но, откровенно тебѣ скажу, не особенной глубины этотъ умъ. Вотъ извернуться, угадать минуту, слицемѣрничать, и все это исключительно въ свою пользу—это такъ. На это нынѣшніе умы удивительно какъ чутки. А чтобы провидѣть общіе выводы—никогда!

— Но что же такое съ Сеничкой случилось?

— Карьеры захотѣлось, да и бомондъ голову вскружилъ... Легко это нынче, а онъ куда далеко, черезъ головы глядитъ. Боюсь, чтобъ совсѣмъ современемъ не осрамился...

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ продолжалъ:

— Никогда у насъ этого въ роду не было. Этой гадости. А теперь, представь себѣ, въ самомъ семействѣ... Повѣришь ли, даже относительно меня... Ну, фрондёръ я—это такъ. Ну, можетъ быть, и нехорошо, что въ моихъ лѣтахъ... допустимъ и это! Однако какой

же я, въ сущности, фрондёръ? Что я такое ужасное проповѣдую?.. Такъ что-нибудь...

— Помилуйте, дядя! обыкновенный свѣтскій разговоръ: то — нехорошо, другое — скверно, третье — совсѣмъ никуда не годится... Только и всего.

— Ну, вотъ видишь! И онъ прежде находилъ, что „только и всего“, и даже всегда самъ принималъ участіе. А намедни какъ-то началъ я по обыкновенію фрондировать, а онъ вдругъ: „вы, папенька, на будущее время объ извѣстныхъ предметахъ при мнѣ выражайтесь осторожнѣе, потому что я по обязанности не имѣю права оставлять подобныя превратныя сужденія безъ послѣдствій!“

— Вотъ онъ какой!

— Да, строгонекъ. Ну, я сначала-было подавился, а потомъ подумалъ-подумалъ и проглотилъ.

— А я бы на вашемъ мѣстѣ...

— Нельзя, мой другъ. Помилуй! коллежскаго ассессора! Это въ прежнее время допускалось, а нынче... Я помню, покойный папенька разсказывалъ: закутилъ онъ въ полку — ну, просто пить безъ просыпу началъ... Узналъ объ этомъ дѣдушка, да и пригласилъ блуднаго сына въ деревню. И прямо, какъ пріѣхалъ сынокъ — въ кабинетъ! Розогъ! Только папенька-то вѣдь умнъ былъ: какъ слѣдуетъ родительскую науку выдержалъ, да еще ручку у родителя поцѣловалъ. А дѣдушка, за эту его кротость, на другой день ему тысячу душъ подарилъ! И съ тѣхъ поръ какъ рукой сняло! До конца жизни никакого вина папенька въ ротъ не бралъ! Вотъ какая въ старину чистота нравовъ была!

— Да, нынче, пожалуй, такъ нельзя... То-есть, оно и нынче бы можно, да вотъ тысячи-то душъ у васъ на закуску нѣтъ... Ну, а Павлуша какъ?

— Павлуша покамѣстъ еще благороденъ. „Пидюшкины“ поручики и на него палетали: и ты, дескать, долженъ содѣйствовать! Однако онъ уклонился. Только вмѣсто того, чтобъ умненько: молъ, и безъ того вѣрной службой всемѣрно и неуклонно содѣйствую — а онъ такъ-таки прямо; „я, господа, марать себя не желаю!“ Теперь вотъ я и боюсь, что эти балбесы, вмѣстѣ съ Семеномъ Григорьичемъ, его подкузьмятъ.

— Пустяки. Что они могутъ сдѣлать!

— Аттестовать на всѣхъ распутіяхъ будутъ. Павелъ-то у меня совѣстливъ, а они — наглые. Вѣдь можно и похвалить такъ, что послѣ дома не скажешься. Намедни Павелъ-то ужъ узналъ, что начальникъ хотѣлъ ему какое-то „выигрышное“ дѣло поручить, а Семенъ Григорьичъ отсовѣтовалъ. „Мой братъ, говоритъ, очень усердный и достойный молодой человѣкъ, но дѣла, требующія блеска, не въ его характерѣ“.

— Однако!

— А начальственныя уши, голубчикъ, такія аттестаціи крѣпко запечатлѣваютъ. Дойдетъ какъ-нибудь до Павла очередь къ наградѣ или къ повышенію представлять, а онъ, начальникъ-то, и вспомнитъ: „Что, бишь, я объ этомъ чиновникѣ слышалъ? Гм... да! характеръ у него“... И мимо. Что онъ слышалъ? Отъ кого слышалъ? Отъ одного человѣка или двадцатерыхъ?—все это ужъ забылось. А вотъ: „гм... да! характеръ у него“—это запечатлѣлось. И останется нашъ Павелъ Григорьичъ вѣчнымъ товарищемъ прокурора, въ родѣ какъ притча во языцѣхъ.

— Ахъ, дядя! но сколько есть такихъ, которые и такой-то должности были бы рады-радёшеньки!

— Знаю, что много. А коли въ ревизскія сказки заглянешь. такъ даже удивишься, сколько ихъ тамъ. Да вѣдь не въ ревизскихъ сказкахъ дѣло. Тамошніе люди — сами по себѣ, а служащіе по судебному вѣдомству люди — сами по себѣ. И то ужъ Семенъ Григорьичъ при мнѣ на дняхъ брату отчеканилъ: „Вамъ, Павелъ Григорьичъ, не въ судебномъ бы вѣдомствѣ служить, а кондукторомъ на желѣзной дорогѣ!“ Да и это ли одно! Со мной, мой другъ, такая недавно штука случилась, такая штука!.. ну, да впрочемъ ужъ что!

Дядя остановился съ очевиднымъ намѣреніемъ побѣдить свою болтливость: однакожъ не выдержалъ и черезъ минуту продолжалъ:

— Знаешь ли ты, что у меня книги начали пропадать?

— Не можетъ быть! Запрещенныя?

— А то какія же! Шестьдесятъ, братецъ, лѣтъ на свѣтѣ живу, можно было коллекцію составить! И все были цѣлы, а съ нѣкоторыхъ поръ стали вотъ пропадать!

Тетенька! увѣряю васъ, что меня чуть не стошнило при этомъ признаніи.

— Дядя! не довольно ли? не оставимъ ли мы этотъ разговоръ?

не поговоримъ ли по душѣ, какъ бывало?—невольно вырвалось у меня.

Восклицаніе это, видимо, смутило его.

— То-то, что... а впрочемъ въ самомъ дѣлѣ... да вѣдь у меня нынче...

Онъ мялся и бормоталъ. Ужасно онъ былъ въ эту минуту жалокъ.

Но я таки-уговорилъ его хоть на нѣсколько часовъ вспомнить старину и пофрондировать. Распорядились мы насчетъ чаю, затопили каминъ, закурили сигары и начали... Ужъ мы брили, тетенька, брили! ужъ мы стригли, тетенька, стригли! Каждую минуту я ждалъ, что „небо съ трескомъ развалится и время на косу падетъ“... И что же! смотримъ, а околоточный прямо противу дома посередь улицы стоитъ и въ носу ковыряетъ!

И вдругъ въ сосѣдней комнатѣ шорохъ...

Какъ уязвленный, побѣжалъ я на цыпочкахъ къ дверямъ и вижу: въ неосвѣщенной гостиной безшумно скользитъ какая-то тѣнь...

— Это онъ! Это Семенъ Григорьичъ изъ своего клуба вернулся!—шепнулъ мнѣ дядя.

А дня черезъ три послѣ бабенькинова пирога меня посѣтила сама „Индюшка“.

— Cousin! да перестань ты писать, ради Христа!

— Что тебѣ вдругъ вздумалось? развѣ ты читаешь?

— Кабы я-то читала—это бы ничего. Слава Богу, въ правилахъ я тверда: и замужемъ сколько лѣтъ жила, и сколько послѣ мужа вдовѣю! мнѣ теперь хоть говори, хоть нѣтъ—я стала на своемъ, да и кончень баль! А вотъ прапорщикъ мой... Грѣхъ это, другъ мой! большой на твоей душѣ грѣхъ!

— Да вѣдь я не для прапорщика твоего пишу. Собственно говоря, я даже не знаю, кто меня будетъ читать: можетъ быть, прапорщикъ, а можетъ быть, генералъ отъ инфантеріи...

— Ну, гдѣ генераламъ пустяки читать! Они нынче все географію читаютъ!

— Ахъ, Наденька! всегда-то ты что-нибудь внезапное скажешь! Ну, съ чего ты вдругъ географію приняла?

— Ничего тутъ внезапнаго нѣтъ. Это нынче всѣмъ извѣстно.

П André мнѣ то же сказывалъ. Надо, говоритъ, на войнѣ генераламъ впередъ идти, а куда идти—они не знаютъ. Вотъ это нынѣче и замѣтили. И велѣли во всѣхъ войскахъ географію подъучить.

— Ну-ну, Христосъ съ тобой! лучше о другомъ поговоримъ. Что же ты про прапорщика-то хотѣла разсказать?

— Помилуй! каждый день у меня, grâce à vous, баталіи въ домѣ происходятъ. André и Pierre говорятъ ему: „не читай! у этого человѣка христіанскихъ правилъ нѣтъ!“ А онъ имъ въ отвѣтъ: „свиньи!“ да возьметъ—ты знаешь, какой онъ у меня упорный! — запрется на ключъ и читаетъ. А въ послѣднее время очень часто даже не ночуетъ дома.

— Неужто все изъ-за меня?

— Не то чтобъ изъ-за тебя, а вообще... Голубчикъ! позволь тебѣ настоящую причину открыть!

— Сдѣлай милость, открой!

— Скажи, ты любилъ хоть разъ въ своей жизни? вѣдь любилъ?

— Наденька! да не хочешь ли ты кофею? пирожковъ?

— Какъ тебѣ сказать... впрочемъ я только-что позавтракала. Да ты не отвиливай, скажи: любилъ? По глазамъ вижу, что любилъ?

— Я не понимаю, зачѣмъ ты этотъ разговоръ завела?

— Ну, вотъ, я такъ и знала, что любилъ! Онъ любилъ... ха-ха! Вотъ вы всѣ меня дурой прославили, а я всегда прежде всѣхъ угадаю!

— Наденька! да позволь, голубушка, я тебѣ сонныхъ капель дамъ принять!

— Ну, такъ! Смѣйся надо мной, смѣйся!.. А я все-таки твою тайну угадала... да!

— Позволь! говори толкомъ: что тебѣ нужно?

— Да... что-бишь? Ахъ, да! такъ вотъ ты и описывай про любовь! Какъ это... ну, вообще, что обыкновенно съ дѣвушками случается... Разумѣется, не нужно mettre les points sur les i, а такъ... Вотъ мои поручики все Зола читаютъ, а я, признаться, разъ начала и не могла... зачѣмъ?

— То-есть, что же „зачѣмъ“?

— Зачѣмъ такъ ужъ прямо... какъ будто мы не поймемъ! Не безпокойтесь, пожалуйста! такъ поймемъ, что и понять лучше нельзя... Вотъ маменька-покойница тоже все думала, что я въ дѣвушкахъ ни-

чего не понимала, а я однажды ей вдругъ все... до послѣдней ниточки!

— Чай, порадовалась на дочку?

— Ужъ тамъ порадовалась или не порадовалась, а я свое дѣло сдѣлала. Что, въ самомъ дѣлѣ, за что они насъ притѣсняютъ! Думаютъ, коли дѣвица, такъ и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потомъ, замужемъ, еще болѣе развилась, но и въ дѣвицахъ... Нѣтъ, я въ этомъ случаѣ на сторонѣ женскаго вопроса стою! Но именно только въ одномъ этомъ случаѣ, parce que la famille... tu comprends, la famille!.. tout est là! Семейство—это... А всѣ эти женскіе курсы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемѣрши, tout ce fatras...

— Да остановись на минуту! скажи толкомъ: что такое у тебя въ домѣ дѣлается?

— Представь себѣ, не ночуютъ дома! Ни поручики, ни прапорщики—никто! А прислуга у меня—ужаснѣйшая... Кухарка—такъ просто звѣремъ смотритъ! А ты знаешь, какъ нынче кухарокъ опасаться нужно?

— Ну?

— Вотъ я и боюсь. Говорю имъ: вѣдь вы всѣ одинаково мои дѣти! а они—какъ сойдутся, такъ сейчасъ другъ друга провѣрять начнутъ! Поручики-то у меня—консерваторы, а прапорщикъ—революціонеръ... Ахъ, хоть бы его поскорѣе поймали, этого дурного сына!

— Наденька! перекрестись, душа моя! развѣ можно сыну желать... Да и съ чего ты, наконецъ, взяла, что Nicolas революціонеръ?

— Сердце у меня угадываетъ, а оно у меня—вѣщунъ! Да и странный какой-то онъ: все „сербскіе напѣвы“ въ стихахъ сочиняетъ. Запрется у себя въ комнатѣ, чтобъ я не входила, и пишетъ. На дняхъ оду на низложеніе митрополита Михаила написалъ... А то еще генералу Черняеву сонетъ послалъ, съ Гарибальди его сравниваетъ... „Думалъ ли ты, говоритъ, когда твои орлы по вершинамъ горъ летали, что Баттенбергъ“ ...C'est joli, si tu veux: „орлы по вершинамъ горъ“... Cependant, puisque la saine politique...

— Еще бы! объ этомъ даже циркуляромъ запрещено...

— Вотъ видишь! и я ему это говорила! А какой прекрасный

мальчикъ въ кадетахъ былъ! Помнишь, оду на восшествіе Баттенбергскаго принца написалъ:

И Каравелова крамолу
Пятой могучей раздавилъ...

До сихъ поръ эти стихи не могу забыть... И какъ мы тогда на него радовались! Думали, что у насъ въ семействѣ свой Державинъ будетъ!

„Индюшка“ поднялась, подошла къ зеркалу, въ одинъ мигъ откуда-то набрала въ ротъ цѣлый пучокъ шпилекъ и начала подправляться. И въ то же время безъ умолку болтала:

— А какъ бы это хорошо было! Одну оду написалъ—перстень получилъ! другую оду—золотые часы получилъ! А иной богатый купецъ—прямо карету и пару лошадей бы прислалъ—что̀ ему стоитъ! Вотъ Хлудовъ, напримѣръ,—вѣдь послалъ же чудовскихъ пѣвчихъ генералу Черняеву въ Сербію... ну, на что̀ они тамъ! По крайней мѣрѣ карета... Словомъ сказать, все шло хорошо — и вдругъ... Можешь себѣ представить, какъ я несчастна! Приду домой—никого нѣтъ! Кричу, зову—не отвѣчаютъ! А потомъ, только-что забываться начну—шумъ! Это они между собой схватились! И все это съ тѣхъ поръ! Какъ только эта провѣрка у насъ началась, ну, просто хоть изъ дому вонъ бѣги! Представь себѣ, въ комнатахъ по три дня не метутъ! Намеднись такую рыбу за обѣдомъ подали – страмъ!

Разумѣется, я боялся громко дохнуть, чтобъ какъ-нибудь не спугнуть ее. Я разсчитывалъ такимъ образомъ: заговорится она, потомъ забудетъ, зачѣмъ пришла—и вдругъ уйдетъ. Такъ именно и случилось.

— Однакожъ я заболталась-таки у тебя,—сказала она, держа въ зубахъ послѣднія три шпильки и прикалывая въ разныхъ мѣстахъ шляпу:—а мнѣ еще нужно къ Елисееву, потомъ къ Балле́, потомъ къ Кирхгейму... надо же своихъ молодцовъ накормить! Ну, а ты какъ? здоровъ? Ну, слава Богу! видъ у тебя отличный! Помнишь, въ прошломъ году, какой у тебя видъ былъ? въ гробъ краше кладутъ! Я, признаться, тогда думала: не жилецъ онъ! и очень, конечно, рада, что не угадала. Всегда угадываю, а на этотъ разъ... очень рада! очень рада! Прекрасный, прекраснѣйшій у тебя видъ!

Она поспѣшно воткнула послѣднюю шпильку и подала мнѣ руку на прощанье.

— Такъ ты обѣщаешь? скажи: вѣдь ты любилъ?—опять приставала она:—нѣтъ, ты ужъ не обижай меня! скажи: обѣщаю! Ну, пожалуйста!

— Да что же я долженъ обѣщать? Ахъ!

— Да вотъ подѣлиться съ нами твоими воспоминаніями, разсказать l'histoire intime de ton coeur... Вѣдь ты любилъ—да? Ну, и опиши намъ, какъ это произошло... Comment cela t'est venu и что потомъ было... И я тогда, вмѣстѣ съ другими, прочту... До сихъ поръ я, признаюсь, ничего твоего не читала, но ежели ты про любовь... Да! чтобъ не забыть! давно я хотѣла у тебя спросить: отчего это намъ, дамамъ, такъ нравится, когда писатели про любовь пишутъ?

— Не знаю, голубушка. Можетъ быть оттого, что дамы преимущественно этимъ заняты... Les messieurs на войну ходятъ, а дамы должны ихъ, по возвращеніи изъ похода, утѣшать. А другіе messieurs ходятъ въ департаментъ—и ихъ тоже нужно утѣшать!

— Именно утѣшать! Это ты прекрасно сказалъ. Покойный Pierre, когда возвращался съ дежурства, всегда мнѣ говорилъ: „Надька! утѣшай меня!“ Il était si drôle, ce cher Pierre! Et en même temps noble et vaillant! И поручики мои то же самое говорятъ, только у нихъ это какъ-то ненатурально выходитъ: все о какомъ-то генералѣ безъ звѣзды поминаютъ и такъ и покатываются со смѣху. Они смѣются, а я—не понимаю. En général, ils sentent un peu la caserne, messieurs mes fils! То ли дѣло Пьеръ! бывало, возьметъ за талію, да такъ прямо на полъ и броситъ. Однажды... ну, да что, впрочемъ, объ этомъ!

Все на свѣтѣ мнѣ постыло,
А что мило будетъ мило!

Это Пушкинъ написалъ. А ты мнѣ вотъ что скажи: правда ли, что встарину любовные турниры бывали? И будто бы тогдашнія правительства...

— Наденька! ты такихъ отъ меня свѣдѣній требуешь...

— Ну-ну, Христосъ съ тобой. Вижу, что наскучила тебѣ... И знаешь, да не хочешь сказать. Наскучила! наскучила! Такъ я поѣду...

куда, бишь? ахъ, да. сначала къ Елисееву... свѣжихъ омаровъ привезли! Sans adieux, mon cousin!

Она раза два еще перевернулась передъ зеркаломъ, что-то поддернула, потомъ взглянула на потолокъ, но какъ-то однимъ глазомъ, точь-въ-точь какъ продѣлываетъ индюшка, когда высматриваетъ, нѣтъ ли въ небѣ коршуна.

— А я поѣду своихъ унимать... навѣрное ужъ сцѣпились!— доканчивала она въ передней, и потомъ, выйдя на лѣстницу, продолжала:—такъ ты подѣлишься съ нами? ты сдѣлаешь мнѣ это удовольствіе... а?

И спускаясь по лѣстницѣ, все вскидывала вверхъ голову и все что-то говорила. Наконецъ изъ преисподнихъ швейцарской до меня донеслось заключительное:

— Sans adieux, cousin!

Повторяю: вездѣ, и на улицахъ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и въ семьяхъ—вездѣ происходитъ процессъ вколачиванія „штуки". Онъ застаетъ врасплохъ Удава, проливаетъ уныніе въ сердце дяди Григорія Семеныча и заставляетъ безтолково метаться даже такую неунывающую особу, какъ кузина Наденька.

Нуженъ ли этотъ процессъ, откуда и какимъ образомъ онъ народился—это вопросъ, на который я могъ бы отвѣтить вамъ довольно обстоятельно, но который однакожъ предпочитаю покуда оставить въ сторонѣ. Для меня достаточно и того, что фактъ существуетъ, фактъ, который рано или поздно долженъ принести плодъ. Только спрашивается: какой плодъ?

Я знаю, вы скажете, что всѣ эти провѣрки, добровольческія выслѣживанія и подсиживанія до такой степени нелѣпы и несерьезны, что даже опасеній не могутъ внушать. Я знаю также, что современная дѣйствительность почти сплошь соткана изъ такого рода фактовъ, по поводу которыхъ и помыслить нельзя, полезны они или неполезны, а именно только опасны или мало-опасны (и притомъ съ какой-то непосредственной, чисто личной точки зрѣнія). Вслѣдствіе долголѣтней практики этотъ критеріумъ настолько окрѣпъ въ нашемъ обществѣ, что о другихъ оцѣнкахъ какъ-то и не слыхать совсѣмъ. Вотъ и вы этому критеріуму подчинились. Прямо такъ-таки и разсуждаете: опасеній нѣтъ—стало быть, о чемъ же говорить?

Но это-то именно и наполняетъ мое сердце какимъ-то загадочнымъ страхомъ. По мнѣнію моему, съ такимъ критеріумомъ нельзя жить, потому что онъ прямо бьетъ въ пустоту. А между тѣмъ люди живутъ. Но не потому ли они живутъ, что представляютъ собою особенную породу людей, фасонированныхъ ad hoc самою исторіей, людей, у которыхъ нѣтъ иныхъ перспективъ, кромѣ одной: что, можетъ быть, ихъ и не перешибетъ пополамъ, какъ они того всечасно ожидаютъ...

Часто, даже слишкомъ часто, по поводу разсказовъ о всевозможныхъ „штукахъ", приходится слышать (и такъ говорятъ люди очень солидные): вотъ увидите, какая изъ *этого* выйдетъ потѣха! Но, признаюсь, я не только не сочувствую подобнымъ восклицаніямъ, но иногда мнѣ дѣлается почти жутко, когда въ моемъ присутствіи произносятъ ихъ. Потѣха-то-потѣха, но сколько эта потѣха силъ унесетъ! а главное, сколько силъ она осудитъ на фаталистическое бездѣйствіе! Подумайте! развѣ это не самое безшутное, не самое горькое изъ бездѣльничествъ (я и слово „бездѣйствіе" считаю тутъ неприемлемымъ)— быть зрителемъ преходящихъ явленій и только объ одномъ думать: опасны они или неопасны? И въ первомъ случаѣ ощущать позорное душевное угнетеніе, а во второмъ—еще болѣе позорное облегченіе?

Ахъ, вѣдь и мрачное хлѣвное хрюканье—потѣха; и трубное пустозвонство опалѣвшаго отъ торжества дармоѣда—тоже потѣха. Все это явленія случайныя, призрачныя, преходящія, которыя несомнѣнно не оставятъ ни въ исторіи, ни въ жизни народа ни малѣйшаго слѣда. Но дѣло въ томъ, что въ данную минуту они угнетаютъ человѣческую мысль, оскверняютъ человѣческій слухъ, производятъ повсемѣстный переполохъ. Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе всего этого центръ дѣятельности современниковъ перемѣщается изъ сферы положительной, изъ сферы совершенствованія въ сферу пустомыслія и повторенія задовъ, въ сферу безплодной борьбы, постыдныхъ, оправданій, лицемѣрныхъ самозащитъ... Неужто же это „потѣха"?

„Ну, слава Богу, теперь, кажется, потише!"—вотъ возгласъ, который отъ времени до времени (но и то, впрочемъ, не слишкомъ ужъ часто) приходится слышать въ теченіе послѣднихъ десяти-пятнадцати лѣтъ. Единственный возгласъ, съ которымъ измученные люди соединяютъ смутную надежду на успокоеніе. Прекрасно. Допустимъ, что съ насъ и такихъ перспективъ довольно: допустимъ, что мы ужъ и тогда должны почитать себя счастливыми, когда передъ нами мель-

кастъ что-то въ родѣ передышки... Но вѣдь все-таки это только передышка—гдѣ же самая жизнь?

Не говорите же, голубушка: „вотъ такъ потѣха!“ и не утѣшайтесь тѣмъ, что безсмыслица не представляетъ серьезной опасности для жизни. Представляетъ: въ томъ-то и дѣло, что представляетъ. Она опасна ужъ тѣмъ, что замѣняетъ своимъ суматошествомъ реальную и плодотворную жизнь, и если не измѣняетъ непосредственно жизненной сущности, то загоняетъ ее въ такія глубины, изъ которыхъ ей не легко будетъ вынырнуть даже въ минуту возсіянія.

Сколько лѣтъ мы сознаемъ себя недугующими — и все-таки, вмѣсто уврачеванія, вращаемся въ пустотѣ! сколько лѣтъ собираемся одолѣть свое безсиліе — и ничѣмъ, кромѣ доказательствъ новаго безсилія, новой немощи, не ознаменовываемъ своей дѣятельности! Даже въ самыхъ дерюжныхъ, близкихъ нашимъ сердцамъ вещахъ — въ сферѣ благочинія — и тутъ мы ничего не достигли, кромѣ сознанія полной безпомощности. А вѣдь у насъ только и словъ на языкѣ: погодите, дайте управиться? Вы думаете, что, можетъ быть, тогда потечетъ наша земля млекомъ и медомъ?—То-то и есть, что не потечетъ!

И не потому не потечетъ, что ни млека, ни меда у насъ нѣтъ —это вопросъ особливый,—а потому, что нѣтъ и не будетъ конца-краю самой управѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что процессъ вколачиванія „штуки“ уже совершилъ свой циклъ; что общество окончательно само себя провѣрило, что всѣ извѣщенія сдѣланы, всѣ плевелы вырваны и истреблены, что околоточные и участковые пристава наконецъ свободно вздохнули. Спрашивается: ну, а потомъ? Какое органическое, возстановляющее дѣло можемъ мы предпринять? знаемъ ли мы, въ чемъ оно состоитъ? имѣемъ ли для него достаточную подготовку? Наконецъ, имѣемъ ли мы даже поводъ желать, чтобъ процессъ вколачиванія „штуки“ во истину завершился и вмѣсто него воспріяло начало, возстановляющее дѣло?

Ахъ, тетенька! Вотъ то-то и есть, что никакихъ подобныхъ поводовъ у насъ нѣтъ! Не забудьте, что даже торжество умиротворенія, если онъ когда-нибудь наступитъ, будетъ принадлежать не Вздошникову, не Распростакову и даже не намъ съ вами, а все тѣмъ же Амалатъ-Бекамъ и Пафнутьевымъ, которые будутъ по его поводу

лакать шампанское и пускать побѣдные клики (однакожъ не безъ угрозы), но никогда не поймутъ и не скажутъ себѣ, что торжество обязываетъ.

Обязываетъ—къ чему? вы только подумайте объ этомъ, милая тетенька! Обязываетъ къ возстановленію поруганной человѣческой совѣсти, обязываетъ къ пробужденію сознательной дѣятельности, обязываетъ къ признанію права на завтрашній день... И вы хотите, чтобъ эта программа осуществилась! Совѣсть! сознательность! обезпеченность! да вѣдь это именно то самое и есть, что на конкахъ, въ трактирахъ и въ хлѣбной литературѣ извѣстно подъ именемъ „потрясенія основъ“! Еще не все шампанское выпито по случаю прекращенія опасностей, какъ уже это самое прекращеніе представляетъ настороженному до болѣзненности воображенію цѣлый рядъ новыхъ, самостоятельныхъ опасностей! Бой кончился; но не успѣли простыть борцы, какъ уже имъ предстоитъ готовиться въ новый бой!

Нѣтъ, это не „потѣха“!

Идеалъ современныхъ провѣрителей общества (я не говорю о герояхъ конокъ и трактирныхъ заведеній) въ сферѣ внутренней политики очень простъ: *чтобы ничего не было*. Но какъ ни дисциплинирована и обезличена наша дѣйствительность—даже она не можетъ вмѣстить подобнаго идеала. *Нельзя, чтобы ничего не было*. До такой степени нельзя, что даже доказывать эту истину нѣтъ надобности. А такъ какъ повѣрители отъ своихъ идеаловъ никогда не отступятъ, такъ какъ они именно на томъ будутъ настаивать, чтобы *ничего не было*, то ясно, что и междоусобіямъ не предвидится конца.

А мы еще говоримъ: потѣха! мы еще спрашиваемъ себя, какіе можетъ принести плоды процессъ вколачиванія „штуки“!

Письмо девятое.

Милая тетенька.

Какъ женщина, вы, разумѣется, не знаете, что такое карцеръ. Поэтому не посѣтуйте на меня, если я рѣшусь посвятить настоящее письмо обогащенію вашего ума новымъ отличнѣйшимъ знаніемъ, которое, кстати, въ наше время и не безполезно.

Карцеромъ, во времена моего счастливаго отрочества, называлось темное, тѣсное и почти лишенное воздуха мѣсто, въ которое ввергались преступные школьники, въ видахъ искупленія ихъ школьныхъ прегрѣшеній. Говорятъ, будто подобныя же темныя мѣста существовали и существуютъ еще въ острогахъ (карцеръ въ карцерѣ—все равно, что государство въ государствѣ); но такъ какъ меня отъ остроговъ Богъ еще миловалъ, то я буду говорить исключительно о карцерѣ школьномъ.

Въ томъ заведеніи, гдѣ я воспитывался, несмотря на то, что оно принадлежало къ числу чистокровнѣйшихъ, карцеръ представлялъ собою нѣчто вполнѣ омерзительное. Онъ былъ устроенъ въ четвертомъ этажѣ, занятомъ дортуарами, въ которые въ теченіе дня никто не захаживалъ. Самое помѣщеніе занимало темную и крохотную трехъугольную впадину въ капитальной стѣнѣ; на полу этой впадины былъ брошенъ набитый соломой тюфякъ, около котораго была поставлена деревянная табуретка. Двигаться въ этой конурѣ было невозможно, да повидимому и не полагалось нужнымъ. Въ обыкновенное время сюда складывались старыя, вонючія одѣяла, которыми надѣляли воспитанниковъ на ночь, потому что хорошія одѣяла постилали только днемъ, на показъ. Вслѣдствіе этого въ карцерѣ пахло отчасти потомъ, отчасти мышами.

Вотъ въ эту-то вонючую дыру и заключали преступнаго школяра, причемъ не давали ему свѣчи, а вмѣсто пищи назначали въ день три куска чернаго хлѣба и воды à discrétion. Затѣмъ, заперевъ дверь на ключъ, приставляли къ ней кустодію, въ видѣ солдата Аники, того самаго, о которомъ я въ прошломъ письмѣ вамъ писалъ, что генералъ Бритый назначилъ его къ наказанію кошками, но, бывъ уволенъ отъ службы, не выполнилъ своего намѣренія. Но такъ какъ Аника зналъ, что распоряженіе Бритаго надлежащимъ образомъ не отмѣнено, и потому съ часу на часъ ожидалъ его осуществленія, то понятно, съ какимъ остервенѣніемъ онъ прислуживался къ начальству, отгоняя отъ дверей карцера всякаго сострадательнаго товарища, прибѣгавшаго съ цѣлью хоть сколько-нибудь усладить горе заключеннаго.

Многіе будущіе министры (заведеніе было съ тѣмъ и основано, чтобъ быть разсадникомъ министровъ) сиживали въ этомъ карцерѣ; а такъ какъ обо мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось заранѣе извѣстнымъ,

что я министромъ не буду, то, натурально, я попадалъ туда чаще другихъ. И угадайте, за что? — за стихи! Въ отрочествѣ я имѣлъ неудержимую страсть къ стихотворному паренію, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, въ классѣ, и ничего не вижу и не слышу, все стихи сочиняю. Отвѣчаю невпопадъ, а когда, бывало, мнѣ скажутъ: „станьте въ уголъ носомъ!“ —я, словно сонный, спрашиваю: „а? что?“ Долгое время начальство ничего не понимало, а можетъ быть даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконецъ-таки меня поймали. И съ тѣхъ поръ начали ловить неустанно. Тщетно я пряталъ стихи въ рукавъ куртки, въ голенище сапога—вездѣ ихъ находили. Пробовалъ я, въ видѣ смягчающаго обстоятельства, перелагать въ стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймаютъ одинъ разъ — въ уголъ носомъ! поймаютъ въ другой — безъ обѣда! поймаютъ въ третій — въ карцеръ! Вотъ, голубушка, съ которыхъ поръ начался мой литературный мартирологъ.

Вѣроятно въ то время у начальства такой планъ былъ: изъ всѣхъ школяровъ во что бы ни стало сдѣлать Катоновъ. Представьте себѣ *теперь* интернатъ, въ которомъ карцеръ вопялъ бы потомъ и мышами —сколько бы тутъ шума поднялось! Встревожилась бы прокуратура; медики бы въ одинъ голосъ возопили: вотъ истинный разсадникъ тифовъ! а объ газетчикахъ нечего и говорить. Сколько бы вышло по этому поводу предостереженій, пріостановленій, запрещеній розничной продажи, печатанія объявленій, словомъ, всего, что неизмѣнно связано съ понятіемъ о пребываніи въ карцерѣ въ соединеніи съ свободою книгопечатанія! А тогда тифовъ не боялись, объ газетчикахъ не слыхивали, а только ожидали раскаянія. Не боялись и безъ обѣда оставлять, хотя нынче, опять-таки, всякій газетчикъ скажетъ: какое варварство истощать голодомъ молодой организмъ! Впрочемъ и обѣдъ въ то время неинтересный былъ: неестественнаго цвѣта говядина съ рыжей подливкой, суконные пироги съ черникой и т. д. Сначала, вмѣсто завтрака, хоть бѣлую пятикопѣечную (на ассигнаціи) булку давали, но потомъ, въ видахъ вящаго укорененія Катоновъ, и это уничтожили, замѣнивъ булку ломтемъ чернаго хлѣба.

Кромѣ стиховъ, составлявшихъ мой личный порокъ, сажали въ карцеръ еще за ироническое отношеніе къ наставникамъ и препода-

вателямъ. Такого рода преступленія были довольно часты, потому что и наставники. и преподаватели были до того изумительные, что нынѣче такихъ ужъ на версту къ учебнымъ заведеніямъ не подпускаютъ. Одинъ былъ взятъ изъ придворныхъ пѣвчихъ и опредѣленъ воспитателемъ; другой, нѣмецъ, не имѣлъ носа; третій, французъ, имѣлъ медаль за взятіе въ 1814 году Парижа и, тѣмъ не менѣе, декламировалъ: „à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!“; четвертый, тоже французъ, страдалъ какою-то такою болѣзнью, что ему было велѣно спать въ вицмундирѣ, не раздѣваясь. Профессоромъ россійской словесности въ высшихъ классахъ былъ Петръ Петровичъ Георгіевскій, человѣкъ удивительно добрый, но въ то же время удивительно бездарный. Какъ на грѣхъ, кому-то изъ воспитанниковъ посчастливилось узнать, что жена Георгіевскаго называетъ его ласкательными именами: Пепа, Пепочка, Пепонъ и т. д. Этого достаточно было, чтобъ изданныя Георгіевскимъ „Руководства“, пространное и краткое, получили своеобразную кличку: „большое и малое Пепино свинство“. Иначе не называли этихъ учебниковъ даже солидѣйшіе изъ воспитанниковъ, которые впослѣдствіи сдѣлались министрами, сенаторами и посланниками. Профессоромъ всеобщей исторіи былъ пресловутый Кайдановъ, котораго „Учебникъ“ начинался словами: „Сіе мое сочиненіе есть извлеченіе“, и т. д. Натурально, эту фразу переложили на музыку съ очень непристойнымъ мотивомъ, и въ рекреаціонное время любили ее распѣвать (а въ томъ числѣ и будущіе министры). Но еще болѣе любили пѣть посвященіе бывшему попечителю казанскаго университета. Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономіи Горлова. Разумѣется, начальство зорко слѣдило за этими поступками и особенно отличившихся пѣвцовъ сажало въ карцеръ. Я не говорю, чтобъ начальство было неправо, но, съ другой стороны, по совѣсти спрашиваю: могли ли молодыя и неиспорченныя сердца иначе поступать?

Вообще тогдашняя педагогика была во всѣхъ смыслахъ мрачная: и въ смыслѣ физическомъ, и въ смыслѣ умственномъ. Въ первомъ отношеніи молодыхъ людей питали дурно и недостаточно, во второмъ — просвѣщали ихъ умы „Пепинымъ свинствомъ“. И вдобавокъ требовали, чтобъ школьникъ не понималъ, что свинство есть свинство...

Заключеніе въ карцерѣ потому въ особенности было тоскливо,

что осуждало юнаго преступника на абсолютную праздность. Но тогдашніе педагоги были такъ безстрашны, что даже послѣдствій праздности не боялись. Это была какая-то организованная крамола воспитателей противъ воспитываемыхъ, крамола, въ которой крамольники получали жалованье и награждались орденами, а тѣ, противъ которыхъ была направлена ихъ разрушительная дѣятельность, должны были благодарить, что ихъ кормятъ свинствомъ. Не то ли же, впрочемъ, видимъ мы и... А? что? что̀ такое я чуть-было не сказалъ? Вы, тетенька, сдѣлайте милость, остановите меня, ежели я, паче чаянья, вдругъ... А то вѣдь я, пожалуй, такое что-нибудь сболтну, что послѣ и самъ своихъ словъ испугаюсь!

Но самое положительное зло, которое приводилъ за собой карцеръ, заключалось въ томъ, что онъ растлѣвалъ юношу нравственно, пробуждая въ немъ низменнаго свойства инстинкты и указывая на лукавство, какъ на единственное средство самоогражденія. Потребность въ обществѣ себѣ подобныхъ, въ свободѣ движенія и въ достаточномъ питаніи настолько сильна въ молодомъ организмѣ, что даже незаурядная юношеская устойчивость — и та не можетъ представить ей достаточнаго противодѣйствія. Тоска, причиняемая обязательною праздностью, и сознаніе ничѣмъ неустранимаго безсилія ростутъ съ необычайною быстротой, а рядомъ съ этимъ наростаніемъ столь же быстро таютъ и напускная бодрость, и школьный гоноръ. Шопоты лицемѣрія, наружной выправки и лукавства такъ и ползутъ со всѣхъ сторонъ. И по мѣрѣ того какъ они овладѣваютъ юношей, идеалъ начинаетъ ему представляться въ такомъ видѣ: внѣшнимъ образомъ признать обязательность свинства, но исподтишка все-таки продолжать прежнюю систему надругательства. Увертки эти необходимы, потому что иначе нельзя получить право на свободу (начальство прямо говоритъ: „сгною въ карцерѣ!“), то-есть, право двигаться, пользоваться даромъ слова и быть сытымъ. Понятно, что при данной обстановкѣ нельзя выполнить такую задачу безъ извѣстной дозы распутства. И вотъ гнусные голоса диктуютъ гнусныя рѣшенія... Представьте себѣ, милая тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздравительные стихи написалъ!

Разумѣется, стихи были плохіе, но, написавъ ихъ, я разомъ доказалъ начальству двѣ вещи: во-первыхъ, что карцеръ пробуждаетъ благородныя движенія души, и, во-вторыхъ, что стиховная нѣмочь

не всегда бываетъ предосудительна. Не помню, какъ я самъ смотрѣлъ тогда на свой поступокъ (вѣроятно просто-на-просто воспользовался плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня изъ карцера немедленно. Повторяю: тогдашнее воспитаніе имѣю въ виду будущихъ Катоновъ, а для того, чтобъ быть истиннымъ Катономъ, недостаточно всего себя посвятить твердому перенесенію свинствъ, но необходимо и сердце имѣть слегка подернутое распутствомъ.

Вообще карцеромъ достигалось оподленіе человѣческой души. Но кто при этомъ больше оподлялся, оподлявшіе или оподляемые —право, сказать не умѣю. Кажется, впрочемъ, что оподлявшіе оподлялись болѣе, ибо, дѣлая себѣ изъ оподленія ремесло, постоянно освѣжаемое цѣлымъ рядомъ повторительныхъ дѣйствій, они настолько погрязали въ тину, что утрачивали всякій стыдъ. Оподляемые же оподлялись исключительно только внѣшнимъ образомъ. По крайней мѣрѣ я отлично хорошо помню, что, получивъ свободу цѣною поздравительныхъ стиховъ, я тутъ же опять началъ декламировать: „сіе мое сочиненіе“, и сдѣлалъ это съ такою искренностью, что начальство только руки развело и рѣшилось оставить меня въ покоѣ. Но еслибы оно надумало вновь ввергнуть меня въ вонючую конуру, такъ вѣдь у меня, милая тетенька, и еще поздравительные стихи про запасъ были. Бракосочетается ли кто, родится ли, получитъ ли облегченіе отъ недуга — сейчасъ я возьму въ руки лиру и отхвачу по всѣмъ по тремъ... Лови!

Все это проходитъ передо мною какъ во снѣ. И при этомъ прежде всего, разумѣется, представляется вопросъ: долженъ ли я былъ просить прощенія? — Несомнѣнно, милая тетенька, что долженъ былъ. Когда весь жизненный строй основанъ на испрошеніи прощенія, то какимъ же образомъ безсильная и изолированная единица (особливо несовершеннолѣтняя) можетъ ускользнуть отъ дѣйствія общаго закона? Вѣдь ежели не просить прощенія, такъ и не простятъ. Скажутъ: нераскаянный! — и дѣло съ концомъ.

Но есть разныя манеры просить прощенія — вотъ съ этимъ я не могу не согласиться.

Бываетъ такъ: стоитъ узникъ передъ узоналагателемъ и вопіетъ: пощади! А между тѣмъ все нутро у него въ это время трепещетъ отъ гнѣва и прочихъ тому подобныхъ чувствъ, и настолько явно трепещетъ, что самъ узоналагатель это видитъ и понимаетъ. Эта формула

испрошенія, конечно, самая искренняя, но я не могу ее одобрить, потому что рѣдко подобная искренность оцѣнивается, какъ бы она того заслуживала, а въ большинствѣ случаевъ даже устраняется въ самомъ зародышѣ.

Бываетъ и такъ: приходятъ къ узнику и спрашиваютъ: „Ну, что, раскаялся ли?“—а онъ молчитъ. Опять спрашиваютъ: „Да скажешь ли, дерево, раскаялся ты или нѣтъ? Ну, разъ, два, три... Господи благослови! раскаялся?“ —а онъ опять молчитъ. И этой манеры я одобрить не могу, потому что... да просто потому, что тутъ даже испрошенія прощенія нѣтъ.

Наконецъ бываетъ и такъ: узникъ безъ всякихъ разговоровъ вопіетъ: пощади!—и съ довѣріемъ ждетъ. Эта манера—наиболѣе согласная съ обстоятельствами дѣла, и потому самая употребительная на практикѣ. Она имѣетъ характеръ страдательный и ни къ чему не обязываетъ въ будущемъ. Конечно, просить прощенія вообще не особенно пріятно, но въ такомъ случаѣ не надобно ужъ шалить. А если хочешь шалить и на будущее время, то привередничества-то оставь, а прямо бѣги и кричи: виноватъ!

Но я не прибѣгнулъ ни къ одной изъ сейчасъ упомянутыхъ манеръ, а создалъ свою особую манеру: написалъ поздравительные стихи. И вотъ теперь мнѣ кажется, что я слегка переусердствовалъ. Положимъ, что и мое выраженіе покорности было вынужденное, но процессъ сочиненія стиховъ сообщалъ ему дѣятельный характеръ—вотъ въ чемъ состоялъ его несомнѣнный порокъ. Не слѣдовало мнѣ писать стихи, ни подъ какимъ видомъ не слѣдовало. Слѣдовало просто сознать свою вину, сказать: виноватъ! — и затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, опять начать распѣвать: „сіе мое сочиненіе есть извлеченіе“...

Все это ужасно запутанно, а можетъ быть даже и безнравственно, но не забудьте, что въ этой путаницѣ главными дѣйствующими лицами являлись Катоны, которые готовились сдѣлаться титулярными совѣтниками, а потомъ...

Впрочемъ былъ у меня одинъ товарищъ въ школѣ, который вотъ какъ поступилъ. Учился онъ отлично; исправно сдавалъ уроки, и изъ „свинства“, и изъ „сего моего сочиненія“, и изъ руководства, осѣненнаго крылами Мусина-Пушкина. Велъ себя тоже отлично: въ фортку не курилъ, въ карты не игралъ, курточку имѣлъ всегда застегнутою и даже принималъ сердечное участіе въ успѣхахъ фран-

цуза-учителя перевести (по хрестоматіи Тамме) фразу: „новогородцы тàкали, тàкали, да и протàкали“. А именно: когда учитель, послѣ долгихъ и мучительныхъ попытокъ, наконецъ воскликалъ: „mais cette phrase n'a pas le sens commun“!—то товарищъ мой очень ловко объяснялъ, что Новгородъ означаетъ „колыбель“, что выраженіе „тàкать“—прообразуетъ мнѣнія свѣдущихъ людей, а выраженіе „протàкать“ предвѣщаетъ, что мнѣнія эти будутъ оставлены безъ послѣдствій. Такъ что учитель сразу все понялъ, воскликнулъ: „ainsi soit-il!“ — и съ тѣхъ поръ всѣ недоразумѣнія по поводу новгородскаго тàканья были устранены. И вотъ этотъ самый юноша, прилежный и покорный, какъ только сдалъ свой послѣдній экзаменъ, сейчасъ собралъ въ кучу всѣ „свинства“ и бросилъ ихъ въ ретираду. Можете себѣ представить всеобщее изумленіе! Даже начальство обомлѣло, узнавъ объ этомъ подвигѣ, но могло только подивиться мудрости совершившаго его, а покарать за эту мудрость ужъ не могло. Ибо оно, милая тетенька, цѣлыхъ шесть лѣтъ ставило этого юношу въ примѣръ. хвасталось имъ передъ начальствомъ, считало его красою заведенія, приставало къ его родителямъ, не могутъ ли они еще другого такого юношу сдѣлать... И вдругъ оказалось, что въ теченіе всѣхъ шести лѣтъ у этого юноши только одна завѣтная мысль и была: вотъ сдамъ послѣдній экзаменъ, и сейчасъ же всѣ прожитыя шесть лѣтъ въ ретирадномъ мѣстѣ утоплю! Понятно. что скандальная исторія была скрыта...

Къ сожалѣнію, вскорѣ послѣ выпуска товарищъ мой умеръ: но ужасно любопытно было бы знать, какъ поступалъ бы онъ въ подобныхъ же случаяхъ въ теченіе дальнѣйшей своей жизненной проходимости?

Вы, конечно, удивитесь, съ какой стати я всю эту отжившую канитель вспомнилъ? Да такъ. голубушка, подошелъ къ окну, взглянулъ на улицу—и вспомнилъ. Есть память, есть воображеніе—отчего же и не пользоваться ими? Я нынче все *такъ*, спростà, поступаю. Посмотрю въ окно—вспомню, а потомъ и еще что-нибудь вспомню—и вдругъ выйдетъ картина. Выводовъ не дѣлаю, и хорошо ли у меня выходитъ. дурно ли—ничего не знаю. Весь этотъ процессъ чисто стихійный, и ежели кто вздумаетъ меня подсидѣть вопросомъ: а зачѣмъ же ты къ окну подходилъ, и не было ли въ томъ поступкѣ пред-

взятаго намѣренія?—тому я отвѣчу: къ окну я подошелъ, потому что это законами не воспрещается; а что касается до того, что это былъ съ моей стороны „поступокъ“ и якобы даже не чуждый „намѣренія“, то увѣряю по совѣсти, что я давнымъ-давно и слова-то сіи позабылъ. Живу безъ поступковъ и безъ намѣреній, и тетенькѣ такъ жить совѣтую.

Но ежели мнѣ даже и въ такой формѣ вопросъ предложатъ: а почему изъ словъ твоихъ выходитъ какъ бы сопоставленіе? почему „кажется“, что всѣ мы и доднесь словно въ карцерѣ пребываемъ?—то я на это отвѣчу: не знаю; должно быть, какъ-нибудь самъ собой такой силлогизмъ вышелъ. А дабы не было въ томъ никакого сомнѣнія, то я готовъ ко всему написанному добавить еще слѣдующее: „а что по зачеркнутому, сверхъ строкъ написано: *не* кажется—тому вѣрить“. Надѣюсь, что этой припиской я совсѣмъ себя обѣлилъ!

Правда, что это до извѣстной степени кляуза, но вѣдь нынче безъ кляузы развѣ проживешь? Все же лучше кляузу пустить въ ходъ, нежели поздравительные стихи писать, а тѣмъ больше съ стиснутыми зубами, съ искаженнымъ лицомъ и дрожа всѣмъ нутромъ пардону просить. А можетъ быть, впрочемъ, и хуже—и этого я не знаю.

Жить *такъ*, хлопать себя по ляжкамъ, довольствоваться разрозненными фактами и не видѣть надобности въ выводахъ (или трусить таковыхъ) — вотъ истинная норма современной жизни. И не я одинъ такъ живу, а всѣ вообще. Всѣ выглядываютъ изъ окошка, не промелькнетъ ли вопросецъ какой-нибудь? Промелькнетъ — ну, и слава Богу! волоки его сюда! А не промелькнетъ—мы крючокъ запустимъ и бирюльку вытащимъ. Ужъ мы мнемъ эту бирюльку, мнемъ! ужъ жуемъ мы ее, жуемъ! Да, не разжевавши, такъ и бросимъ. Нѣтъ выводовъ! только и слышится кругомъ. И вотъ одни находятъ, что страшно жить среди такой разнокалиберщины, которую даже съютить нельзя; а другіе, напротивъ того, полагаютъ, что именно такъ жить и надлежитъ. Что же касается до меня, то я и тутъ не найду конца, страшно это или хорошо. Страшно такъ страшно, хорошо такъ хорошо—мое дѣло сторона!

Шкура чтобы цѣла была—вотъ что главное, и въ то же время: умереть! умереть! умереть!—и это бы хорошо! Поди-те, разберитесь въ этой сумятицѣ! Никто не знаетъ, что ему требуется, а ежели не

знаетъ, то объ какихъ же выводахъ можетъ быть рѣчь? Проживемъ и такъ. А можетъ быть и не проживемъ — онять-таки мое дѣло сторона.

Я лично чувствую себя отлично, за исключеніемъ лишь того, что всѣ кости какъ будто палочьемъ перебиты. Теря по началу оподельдокомъ—не помогаетъ; теперь стараюсь не думать—полѐгчало. До такой степени полѐгчало, что дядя Григорій Семенычъ отъ души позавидовалъ мнѣ. Мы съ нимъ, со времени бабенькинова пирога, очень сдружились, и онъ частенько-таки захаживаетъ ко мнѣ. Зашелъ и на дняхъ.

— Стало быть, такъ безъ выводовъ ты и надѣешься прожить?— пристalъ онъ ко мнѣ, когда я ему изложилъ норму нынѣшняго моего житія.

— Такъ и надѣюсь.

— Чудакъ, братецъ, ты! да вѣдь коль скоро отправный пунктъ у тебя есть, посылка есть—выводъ-то вѣдь самъ собою, помимо твоей воли, окажется!

— Ежели окажется — милости просимъ! А я все-таки ничего не знаю!... И знать не желаю!—прибавилъ я съ твердостью.

— Такъ что, напримѣръ, вотъ ты сейчасъ объ карцерѣ разсказывалъ—все это такъ, безъ заключенія и останется?

— Да, дяденька. По крайней мѣрѣ я не вижу, какая можетъ быть надобность...

— Ахъ, ты!... а впрочемъ поцѣлуй меня!

Мы поцѣловались.

— Скажу тебѣ по правдѣ,—продолжалъ дядя:—давно я такихъ мудрецовъ не встрѣчалъ. Много нынѣче „умницъ“ развелось, да другой все-таки хоть краешекъ заключенія да приподниметъ, а ты—патко! Давно ли это съ тобой случилось?

— Какъ вамъ сказать... да вотъ съ тѣхъ поръ, какъ надоѣло...

— Что надоѣло-то?

— Да тамъ... ну, и прочее... Вообще...

— Да говори же, братецъ, толкомъ! дядя вѣдь я тебѣ: не бойся, не выдамъ!

— Ахъ, дядя, какъ это вы, право, требуете!.. Надоѣло — только и всего. По настоящему, оно должно бы правиться, а мнѣ — надоѣло!

— Ну, это не резонъ. Ты встряхнись. Если *должно* нравиться, такъ ты и старайся, чтобъ оно нравилось. Тебя тошнитъ, а ты себя перемоги. А то „надѣло“! да еще „вообще“! За это, братъ, не похвалятъ.

— Я, дядя, стараюсь. Коли чувствую, что не можетъ нравиться, то стараюсь устроить такъ, чтобы по крайней мѣрѣ не не нравилось. Зажму носъ, зажму глаза, притаю дыханіе. Для этого-то собственно я и не думаю объ выводахъ. Я, дяденька, рѣшился и впредь такимъ же образомъ жить.

— Безъ выводовъ?

— Просто, какъ есть. По улицѣ мостовой шла дѣвица за водой—довольно съ меня. Вотъ я нынче старческіе мемуары въ нашихъ историческихъ журналахъ почитываю. Факты—такъ себѣ, ничего, а чуть только старичокъ начнетъ выводы выводить—хоть святыхъ вонъ понеси. Глупо, недомысленно, по-дѣтски. Поэтому я и думаю, что намъ вѣроятно на этомъ поприщѣ не судьба.

Дядя задумался на минуту, потомъ посмотрѣлъ на меня пристально и сказалъ:

— Слушай! а вѣдь тебѣ страшно должно быть?

— Страшно и есть.

— Вѣдь ежели ты отрицаешь необходимость выводовъ, то, стало быть, и въ будущемъ ничего не предвидишь?

— Не предвижу... Да, кажется, что не предвижу...

— Ни хорошаго, ни худого?

— Да... то-есть, въ родѣ сумерекъ. Вотъ настоящее—это ясно вижу. Напримѣръ, въ эту минуту вы у меня въ гостяхъ. Мы то посидимъ, то походимъ, то поговоримъ, то помолчимъ... Дядя, голубчикъ, зачѣмъ заглядывать въ будущее? Зачѣмъ?

— Чудакъ ты! да какъ же, не заглядывая, жить? Во-первыхъ, любопытно, а во-вторыхъ, хоть и слегка, а все-таки обдумать, приготовиться надо...

— А я живу—такъ, безъ заглядыванья. Живу—и страшусь. Или, лучше сказать, не страшусь, а какъ будто меня поломать перешибло, всѣ кости поютъ.

— А помнишь, однажды ты даже увѣрялъ, что блаженствуешь?

— Да какъ вамъ сказать? Можетъ быть, и блаженствую... Ни-

чего я не знаю! Кажется, впрочемъ, что нынче это душевнымъ равновѣсіемъ называется...

— Фу ты! это тебя тетка Варвара намедни въ изумленіе привела!

Съ этими словами онъ взялъ шляпу и ушелъ. Видъ у него былъ разсерженный, но внутренно, я увѣренъ, что онъ мнѣ завидовалъ.

Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся и всякій разъ все въ этомъ родѣ разговоръ ведемъ — неужто же это не равновѣсіе? И хоть онъ по наружности кипятится, видя мое твердое намѣреніе жить безъ выводовъ, однако я очень хорошо понимаю, что и онъ бы не прочь такого житья попробовать. Но надворные совѣтники ему мѣшаютъ—вотъ что. Только-что начнетъ настоящимъ манеромъ въ сумерки погружаться, только-что занесетъ крючокъ, чтобы бирюльку вытащить, смотритъ, анъ въ домѣ опять разнокалиберщина пошла.

Во всякомъ случаѣ, милая тетенька, и вы не спрашивайте, съ какой стати я исторію о школьномъ карцерѣ разсказалъ. Разсказалъ —и будетъ съ васъ. Вѣдь еслибы я даже на домогательства ваши отвѣтилъ: „тетенька! нерѣдко мы вспоминаемъ факты изъ далекаго прошлаго, которые, повидимому, никакого отношенія къ настоящему не имѣютъ, а между тѣмъ“... развѣ бы вы больше изъ этого объясненія узнали? Такъ ужъ лучше я просто ничего не скажу!

Читайте мои письма такъ же, какъ я ихъ пишу: въ простотѣ душевной. И по прочтеніи, вздохните: ахъ, бѣдный! онъ выводы потерялъ!

Письмо десятое.

А знаете ли что — вѣдь и надворный совѣтникъ Сенечка тоже безъ выводовъ живетъ. То-есть, онъ, разумѣется, полагаетъ, что всякій его жестъ есть глубокомысленнѣйшій выводъ, или, по малой мѣрѣ, нѣчто въ родѣ руководящей статьи, но, въ сущности, ай-ай-ай! какъ у него по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, какъ и у насъ грѣшныхъ.

Сижу я намедни утромъ у дяди и вдругъ совершенно неожиданно является Сенечка прямо изъ „своего мѣста“. И прежде онъ

не разъ меня у отца встрѣчалъ, но обыкновенно пожималъ мнѣ на ходу руку и молча проходилъ въ свою комнату. Но теперь пришелъ весь сіяющій, свѣтлый, въ какомъ-то искристо-шутливомъ расположеніи духа. Остановился противъ меня, и вдругъ: „а дай-ко, братъ, табачку понюхать!“ Разумѣется, онъ очень хорошо знаетъ, что я табаку не нюхаю, но не правда ли, какъ это было съ его стороны мило? Очевидно, ему удалось въ это утро кого-нибудь ловко сцапать, такъ что онъ даже меня рѣшился, на радостяхъ, приласкать.

Кажется, что это же предположеніе мелькнуло и у дяди въ головѣ, потому что онъ встрѣтилъ сына вопросомъ:

— Что нынче такъ рано? или всѣ дѣла, съ Божьею помощью, прикончилъ?

— Да такъ, дѣльце одно... покончилъ, слава Богу!—отвѣтилъ Сеничка:—вотъ и разрѣшилъ себѣ отдохнуть.

— И Павелъ сегодня дѣло о похищеніи изъ запертаго помѣщенія старыхъ портковъ округлилъ. Со всѣхъ сторонъ, братъ, вора-то окружилъ—ни взадъ, ни впередъ! А теперь сидитъ запершись у себя и обвинительную рѣчь штудируетъ... Ишь, какъ гремитъ! Ну, а ты, должно быть, знатную рыбину въ свои сѣти уловилъ?

— Да, есть-таки...

— То-то веселый пришелъ! Ну, отдохни, братецъ! Большое ты для себя изнуреніе видишь—не грѣхъ и обътѣлесахъ подумать. Смотри, какъ похудѣлъ: кости да кожа... Яришься, любезный, черезъ чуръ!

— Нѣтъ, папаша, не такое нынче время, чтобъ отдыхать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра—опять въ походъ!

Послѣднія слова Сеничка проговорилъ удивительно серьезно и даже напыжился. Но такъ какъ онъ заранѣе рѣшилъ быть на этотъ разъ шаловливымъ, то черезъ минуту опять развеселился.

— Сегодня мнѣ дѣйствительно удалось,—сказалъ онъ, потирая руки:—ужъ мѣсяца съ четыре, какъ я... и вдругъ! Такъ нѣтъ табачку?—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—ну-ну, Богъ съ тобой, и безъ табачку обойдемся!

Словомъ сказать, онъ былъ такъ очарователенъ, что я не выдержалъ и сказалъ:

— Ахъ, Сеничка, еслибъ ты всегда былъ такой!

— Нельзя, мой ангелъ! (Онъ опять слегка напыжился.) И радъ бы, да не такое нынче время!

И какъ бы желая доказать, что онъ дѣйствительно могъ бы быть „такимъ“, еслибъ не „такое время“, онъ обнялъ меня одной рукой за талію и, склонивъ ко мнѣ свою голову (онъ выше меня ростомъ), началъ прогуливать меня взадъ и впередъ по комнатѣ. По временамъ онъ пожималъ мои ребра, по временамъ произносилъ: „такъ такъ-то“, и вообще выказывалъ себя снисходительнымъ, но, конечно, безъ слабости. Разумѣется, я не премпнулъ воспользоваться его благосклоннымъ расположеніемъ.

— Сеничка!—началъ я:—неужто ты до сихъ поръ все ловишь?

— То-есть, какъ тебѣ сказать, мой другъ,—отвѣтилъ онъ:—персонально я тутъ не участвую, но...

— Ну да, понимается: не ты, но... И не извѣстно тебѣ, когда конецъ?

— Не знаю. Но могу сказать одно: война такъ война!

Онъ помолчалъ съ минуту и прибавилъ:

— И будетъ эта война продолжаться до тѣхъ поръ, пока въ обществѣ не перестанутъ находить себѣ мѣсто неблагонадежные элементы.

Сознаюсь откровенно: при этихъ словахъ меня точно искра электрическая пронизала. Помнится, когда-то одинъ изъ стоящихъ на стражѣ русскихъ публицистовъ, выдергивая отдѣльныя фразы изъ моихъ литературныхъ писаній, открылъ въ нихъ присутствіе неблагонадежныхъ элементовъ и откровенно о томъ заявилъ. И вотъ съ тѣхъ поръ, какъ только я слышу выраженіе: „неблагонадежный элементъ“, такъ вотъ и думается, что это про меня говорятъ. Говорятъ, да еще приговариваютъ: знаетъ кошка, чье мясо съѣла! И я, дѣйствительно, начинаю сомнѣваться и экзаменовать себя, точно ли я невиноватъ. И только тогда успокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успѣваю доказать себѣ, что ничьего мяса я не съѣлъ.

— Ты однакожъ не тревожься, голубчикъ!—продолжалъ Сеничка, словно угадывая мои опасенія:—говоря о неблагонадежныхъ элементахъ, я вовсе не имѣю въ виду тебя; но...

— Но?

— Но, конечно, ты могъ бы... А впрочемъ, позволь! я сегодня такъ отлично настроенъ, что не желалъ бы омрачать... Папаша! не дадите ли вы намъ позавтракать?

— Съ удовольствіемъ, мой другъ, только вотъ разговоры-то

ваши... Ахъ, господа, господа! Не успѣете вы двухъ словъ сказать—смотришь, ужъ управа благочинія въ ходъ пошла! Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность!

— Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтобъ другіе разговоры вести!

— То-то, что съ этими разговорами какъ бы вамъ совсѣмъ не оглупѣть. И въ наше время не Богъ знаетъ какіе разговоры велись, а все-таки... Человѣческое волновало. Искусство, Гамлетъ, Мочаловъ, „башмаковъ еще не износила“... Выйдешь, бывало, изъ „Британіи“, а въ душѣ у тебя музыка...

— А помните, папенька, какъ вы разсказывали: „идешь, бывало, по улицѣ, видишь: извозчикъ спитъ; сейчасъ это лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шаговъ на двадцать, да и крикнешь: извозчикъ! Ну, онъ, разумѣется, какъ угорѣлый. Лошадь стегаетъ, летитъ... тпру! тпру!.. Что тутъ смѣху-то было!“

— Да, бывало и это, а все-таки... Нынче, разумѣется, извозчичьихъ лошадей не разнуздываютъ, а вмѣсто того ведутъ разговоры о томъ, какъ бы кого прищемить... Эй, господа! отупѣете вы отъ этихъ разговоровъ! право, и не замѣтите, какъ отупѣете! Ни поэзіи, ни искусства, ни даже радости—ничего у васъ нѣтъ! Встрѣтишься съ вами—именно точно въ управу благочинія попадешь!

— Дядя!—вступился я:—надо же однако разъ навсегда разъяснить...

— А коли надо, такъ и разбирайтесь между собой, а я—уйду. Надоѣло. Благопадежность да неблагонадежность... чортъ бы васъ побралъ!

Дядя не на шутку разсердился, хлопнулъ дверью и скрылся.

— Старичокъ!—произнесъ ему вслѣдъ Сеничка, но не только безъ гнѣва, а даже добродушно.

— А къ старикамъ надо быть снисходительнымъ,—прибавилъ я:—и ты, конечно, примешь во вниманіе, что твой отецъ... Ахъ, мой другъ, не все одни увеличивающія вину обстоятельства надлежитъ имѣть въ виду, но и...

— Еще бы!

За завтракомъ Сеничка продолжалъ быть благосклоннымъ и, садясь за столъ, потрепалъ ласково меня по плечу и молвилъ:

— Такъ такъ, что-ли? война?

И вновь повторилъ, что война ведется только противъ неблагонадежныхъ элементовъ, а противъ благонадежныхъ *не* ведется. И притомъ ведется съ прискорбіемъ, потому что грустная необходимость заставляетъ. Когда же я попросилъ его пояснить, что̀ онъ разумѣетъ подъ выраженіемъ „неблагонадежные элементы“, то онъ и на эту просьбу снизошелъ и съ большою готовностью началъ пояснять и перечислять. Ужъ онъ пояснялъ-пояснялъ, перечислялъ-перечислялъ —чуть-было всю Россію не завинилъ! Такъ что я наконецъ испугался и замѣтилъ ему:

— Остановись, любезный другъ! вѣдь этакъ ты всѣхъ русскихъ подданныхъ поголовно къ сонму неблагонадежныхъ причислишь.

На что онъ увѣренно и съ какимъ-то непзреченнымъ пренебреженіемъ отвѣтилъ:

— Э! еще довольно останется!

Вы понимаете, что на подобные отвѣты не можетъ быть возраженій; да они съ тѣмъ, конечно, и даются, что предполагаютъ за собой силу окончательнаго рѣшенія. „Довольно останется“! Что̀ ни дѣлай, всегда довольно останется“!—таковъ единственный штандпунктъ, на которомъ стоитъ Сеничка. но, право, и одного такого штандпункта достаточно, чтобы сдѣлать человѣка неуязвимымъ.

Взгляните на безконечно разстилающееся людское море, на эти непрерывно смѣняющіяся, набѣгающія другъ на друга волны людского матеріала—и если у васъ слабо по части совѣсти, то вы легко можете убѣдить себя, что сколько тутъ ни черпай—всегда довольно останется. И не только довольно, но даже и убыли совсѣмъ нѣтъ. Такъ что ежели не обращать вниманія на относительное значеніе вычерпываемыхъ элементовъ—а при отсутствіи совѣсти что̀ же можетъ побудить задумываться надъ этимъ?—то почувствуется такая легкость на душѣ и такая развязность въ рукахъ, что, пожалуй, и впрямь скажешь себѣ: отчего же и не черпать, если на мѣстѣ вычерпанной волны немедленно образуется другая?

Какая будетъ эта новая волна—это вопросъ особый, и разрѣшитъ его, конечно, не Сеничка. У него взглядъ на это дѣло количественный, а не качественный, и сверхъ того онъ находитъ отличное подкрѣпленіе этому взгляду въ старинной пословицѣ: „было бы болото, а черти будутъ“, которая тоже значительно облегчаетъ его при отправленіи обязанности. Его даже не смущаетъ мысль, что въ томъ,

чего, по его мнѣнію, *еще довольно останется*, могутъ въ свою очередь образоваться элементы, которые тоже, пожалуй, черпать придется. Онъ не глядитъ такъ далеко, но ежели бы и пришлось опять черпать, черпать безъ конца, онъ и тутъ не затруднится, а скажетъ только: черпать такъ черпать! Цѣльнаго, органическаго, полезнаго онъ, разумѣется, не создастъ, а вотъ разсѣкать гордіевы узлы да щипать людскую корпію—это онъ можетъ.

Главный конекъ Сенички и единственное вразумительное слово, которое не сходитъ у него съ языка—это „современность". Современность, будто бы, требуетъ господства разнокалиберщины и дѣлаетъ ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сеничка охотно готовъ заколоть въ ея пользу будущее. Завтрашній день онъ еще понимаетъ, потому что на завтра у него наклевывается новое дѣльце, по которому уже намѣчены и свидѣтели; но что̀ будетъ послѣ-завтра —до этого ему дѣла нѣтъ. Ни до чего нѣтъ дѣла: ни до вліяній на общее настроеніе въ настоящемъ, ни до отраженій въ будущемъ.

Онъ принадлежитъ къ той неумной, но жестокой породѣ людей, которая понимаетъ только одну угрозу: смотри, Сеничка, какъ бы не пришли другіе черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тутъ его выручаетъ туманъ, которымъ такъ всецѣло окутывается представленіе о „современности". Этотъ туманъ до того застилаетъ передъ его мысленнымъ взоромъ будущее, что ему просто-на-просто кажется, что послѣдняго совсѣмъ никогда не будетъ. А слѣдовательно не будетъ мѣста и для осуществленія угрозы.

Однимъ словомъ, Сеничка — одинъ изъ тѣхъ поденщиковъ современности, которые мотаются изъ угла въ уголъ среди разнокалиберщины, и не то чтобы отрицаютъ, а просто не сознаютъ ни малѣйшей необходимости въ какихъ бы то ни было выводахъ и обобщеніяхъ. Сегодня дѣльце, завтра дѣльце—это составитъ два дѣльца... Чего больше нужно?

— Сеничка!—сказалъ я:—допустимъ, что это доказано: война необходима... Но ты говоришь, что она будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока существуютъ неблагопадежные элементы. Пусть будетъ и это доказаннымъ; но въ такомъ случаѣ казалось бы не лишнимъ хоть признаки-то неблагонадежности опредѣлить съ бо̀льшею точностью.

— Да вѣдь я чуть не цѣлый часъ перечислялъ тебѣ эти признаки!

— Да, но въ этомъ перечисленіи скорѣе выразились указанія твоего личнаго темперамента, нежели дѣйствительно твердыя основанія. Многіе изъ указанныхъ тобою признаковъ и фактовъ въ цѣломъ мірѣ принимаются какъ вполнѣ благопадежные...

— Въ цѣломъ мірѣ—да, а у насъ—нѣтъ.

— Однако вѣдь это не резонъ, душа моя. Если въ общечеловѣческомъ сознаніи извѣстное дѣйствіе или мысль признаются благонадежными, то какъ же я могу угадать...

— Шалишь, братъ! Не только можешь угадать, но и знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность—не можетъ угадать!

— Въ томъ-то и дѣло, что ты въ этомъ отношеніи безусловно ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ничего не знаю. Когда человѣкъ составилъ себѣ болѣе или менѣе цѣльное міросозерцаніе, то бываютъ вещи, объ которыхъ ему даже на мысль не приходитъ. И не потому не приходитъ, чтобъ онъ ихъ презиралъ, а просто не приходитъ, да и все тутъ.

— Такъ пускай приходитъ. Важная птица! ему какое-то міросозерцаніе въ голову втемяшилось, такъ онъ и правъ! — Нѣтъ, любезный другъ! ты эти міросозерцанія-то оставь, а спустись-ка внизъ, да пониже... пониже опустись! небось, не убудетъ тебя!

— Да еслибы, однакожъ, и такъ? еслибы человѣкъ и принудилъ себя согласовать свои внутреннія убѣжденія съ требованіями современности... съ какими же требованіями-то — вотъ ты мнѣ что̀ скажи! Вѣдь требованія-то эти, особенно въ такое горячее, неясное время, до такой степени измѣнчивы, что даже требованіями, въ точномъ смыслѣ этого слова, названы быть не могутъ, а скорѣе напоминаютъ о случайности. Тутъ вѣдь угадывать нужно...

— И угадывай!

— Согласись, однакожъ, что въ выборѣ между случайностями не трудно и ошибиться. Стало быть, по твоему, и ошибка можетъ подлежать дѣйствію войны?

— Да-съ, можетъ-съ.

— Такъ что, собственно говоря, въ основаніи твоей войны лежитъ слѣпая случайность?

— Да-съ, случайность... ну, что̀-жъ такое, что случайность! На то война-съ!

Сеничка началъ къ каждому слову прибавлять слово-ересъ, а это означало, что онъ ужъ закипаетъ. Право вести войну казалось ему до такой степени неоспоримымъ, а опредѣленіе неблагонадежности посредствомъ неблагонадежности же до такой степени яснымъ, что въ моихъ безобидныхъ возраженіяхъ онъ уже усматривалъ чуть не намѣренное противодѣйствіе. И можетъ быть и дѣйствительно разсердился бы на меня, еслибъ не вспомнилъ, что сегодня утромъ ему „удалось“. Воспоминаніе это явилось какъ разъ кстати. чтобы выручить меня.

— Ну-ну!—воскликнулъ онъ благосклонно:—чуть-было я не погорячился! А сегодня мнѣ горячиться грѣхъ. Сегодня, душа моя, я долженъ быть добръ. Впрочемъ, покуда это еще секретъ, но современемъ ты узнаешь, и самъ увидишь... Да, такъ о чемъ же мы говорили? Объ томъ, кажется, что и случайность слѣдуетъ угадывать?—что-жъ, я думаю, что мой взглядъ правильный! Мы въ такое время живемъ, когда случайность непремѣнно должна быть полагаема на вѣсы. Конечно, тутъ могутъ произойти ошибки: степень виновности, содѣйствіе или только попустительство и такъ далѣе... Но вѣдь въ какомъ же человѣческомъ дѣлѣ не бываетъ ошибокъ? И при томъ, никто не препятствуетъ приносить оправданія... Напротивъ! раскаяніе—вѣдь это, такъ сказать, цвѣтокъ... Ахъ, голубчикъ! повѣрь, что я и самъ всѣмъ сердцемъ болѣю... и всегда, при всякомъ удобномъ случаѣ, сколько могу... И, можетъ быть, не одинъ заблуждающійся пролилъ благодарную слезу... Но ты, кажется, не вѣришь?

— Помилуй! даже очень вѣрю!

— Ты, пожалуйста, не смотри на меня какъ на дикаго звѣря. Напротивъ того, я не только понимаю, но въ извѣстной мѣрѣ даже сочувствую... Иногда, послѣ безконечныхъ утомленій дня, возвращаюсь домой—и хочешь вѣрь, хочешь нѣтъ—но бываютъ минуты, когда я почти готовъ впасть въ уныніе... И только серьезное отношеніе къ долгу освѣжаетъ меня... А кромѣ того, не забудь, что я всего еще надворный совѣтникъ, и остановиться на этомъ...

— Было бы безразсудно... О, какъ я это понимаю! Ты правъ, мой другъ! въ чинѣ тайнаго совѣтника, такъ сказать, на закатѣ дней, еще простительно впадать въ меланхолію—разумѣется, ежели впереди не предвидится производства въ дѣйствительные тайные совѣтники... Но надворный совѣтникъ, какъ женихъ въ полунощи,

непремѣнно долженъ стоять на стражѣ! Ибо ему предстоитъ многое совершить: сперва получить коллежскаго совѣтника, потомъ статскаго, а потомъ...

— Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. Все язвы да язвы кругомъ—тяжело, мой другъ! Должно же когда-нибудь наступить время для уврачеванія ихъ!

— Стало быть, и уврачеваніе входитъ въ твою программу?— радостно изумился я.

— Еще бы! вѣдь я до сихъ поръ только растравляю... на что̀ похоже! Правда, я растравляю, потому что этого требуетъ необходимость, но все-таки, еслибъ у меня не было въ виду уврачеванія— развѣ я могъ бы такъ бодро смотрѣть въ глаза будущему, какъ я смотрю теперь?

— Ахъ, голубчикъ! такъ что-жъ ты давно мнѣ объ этомъ не сказалъ?

— И повѣрь мнѣ, что рано или поздно, а дѣло уврачеванія поступитъ на очередь. И даже скорѣе рано, чѣмъ поздно, потому что не далѣе, какъ вчера, я имѣлъ объ этомъ разговоръ, и вотъ, въ краткихъ словахъ, результатъ этого разговора: не нужно поспѣшности: но никогда не слѣдуетъ упускать изъ вида, что чѣмъ скорѣе мы вступимъ въ періодъ уврачеванія, тѣмъ лучше и для насъ, и для всѣхъ! Для всѣхъ!—повторилъ онъ, прикладывая къ носу указательный палецъ.

— Браво, Сепичка! такъ давай же говорить объ уврачеваніи!

— Съ удовольствіемъ, мой другъ, хотя, какъ я уже объяснилъ тебѣ, очередь...

— Да мы будемъ говорить безъ очереди... та̀къ! Въ чемъ же, по твоему, должно заключаться уврачеваніе?

— Ну, это будетъ зависѣть... Прежде всего, надо расчистить почву, а потомъ ужъ и средства уврачеванія опредѣлятся сами собой.

— Такъ, значитъ, впередъ и тутъ ни на что̀ вѣрное разсчитывать нельзя?

— Впередъ, душа моя, только утописты загадываютъ; дѣйствительная же мудрость въ томъ состоитъ, чтобы пользоваться наличнымъ матеріаломъ и съ помощью его созидать будущее. Насущныхъ вопросовъ, право, больше, чѣмъ достаточно, и ежели хотя часть ихъ подвергнуть разсмотрѣнію—разумѣется, въ предѣлахъ благоразумія

—то и въ такомъ случаѣ дѣло уврачеванія значительно подвинется впередъ. А который изъ этихъ вопросовъ надлежитъ разсмотрѣть немедленно и который до времени положить подъ сукно—это ужъ покажутъ обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить почву, а потомъ ужъ созидать!

— Эхъ, кабы ты поскорѣе ее расчистилъ! Взялъ бы да и... только ужъ, сдѣлай милость, меня-то не прихвати!

— Что ты! что ты! успокойся, мой другъ! Такъ вотъ къ этой самой расчисткѣ я и направляю всѣ мои усилія. Надѣюсь, что они увѣнчаются успѣхомъ, но когда именно наступитъ вожделѣнный день —все-таки заранѣе опредѣлить не могу.

— Но надѣюсь, что когда день наступитъ... чинъ коллежскаго совѣтника... а?

— Ну, чинъ-то коллежскаго совѣтника я и такъ, за выслугу лѣтъ, получу...

— Стало быть, Wladimir?.. Браво, Сеничка! браво!

— Владиміръ не Владиміръ, а Анны вторыя... это, пожалуй, не невозможно.

Разумѣется, я поспѣшилъ заранѣе поздравить его, и, право, мнѣ кажется, онъ былъ очень доволенъ, что перспектива уврачеванія разрѣшалась такъ удачно при помощи Анны вторыя.

Итакъ, прежде всего: „война такъ война“; потомъ „уврачеваніе“; но въ чемъ оно будетъ состоять—бабушка еще сказала надвое. Таковы Сеничкины „принципіи“. И въ заключеніе Анны вторыя—это, кажется, самое ясное.

Нѣкоторое время Сеничка сидѣлъ въ состояніи той пріятной задумчивости, которую обыкновенно навѣваютъ на человѣка внезапно открывшіяся перспективы, полныя обольстительнѣйшихъ обѣщаній. Онъ слегка покачивалъ головой и чуть слышно мурлыкалъ; я, съ своей стороны, сдерживалъ дыханіе, чтобъ не нарушить очарованія. Какъ вдругъ онъ вскочилъ съ мѣста, какъ ужаленный.

— А вѣдь я позабылъ!—воскликнулъ онъ, блѣднѣя:—самое главное-то и забылъ! Что, ежели... но нѣтъ, неужто судьба будетъ такъ несправедлива?.. А я-то сижу и „уврачеваніями“ занимаюсь! Вотъ теперь ты видишь!—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—видишь, какова моя жизнь! И послѣ этого... Извини, что я тебя оставляю, но мнѣ надо спѣшить!

Онъ бѣгомъ направился къ двери, а черезъ нѣсколько секундъ уже былъ на улицѣ. Не успѣлъ я хорошенько придти въ себя отъ этой неожиданности, какъ въ дверяхъ столовой показалась голова дяди.

— Убѣжалъ?—спросилъ онъ меня.

— Да, что-то случилось...

— Это онъ опять на ловлю... Вотъ жизнь-то анаѳемская! И каждый день такъ. Придетъ: „ну, слава Богу, изловилъ!“ посидитъ-посидитъ, и вдругъ окажется, что изловилъ да не доловилъ—опять бѣжать надо! Ну, и пускай бѣгаетъ! А мы съ тобой давай будемъ объ чемъ-нибудь партикулярномъ разговаривать!

То же самое отсутствіе жизненныхъ выводовъ усматриваетъ и Дыба, и чрезвычайно объ этомъ скорбитъ. Представьте, какое съ нимъ курьезное на дняхъ пропешествіе случилось. Всталъ онъ утромъ съ постели, какъ обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не пріѣзжалъ ли за нимъ курьеръ съ приглашеніемъ прибыть для окончательныхъ переговоровъ по весьма нужному дѣлу, спросилъ кофею, взялъ въ руки газету, и вдругъ... видитъ: „*Увольняется отъ службы по прошенію*: безшабашный совѣтникъ Дыба“. Сначала, разумѣется, не понялъ и даже съ разстановкой произнесъ:

— Од-но-фа-ми-лецъ!

Но вслѣдъ за тѣмъ какъ вскочитъ!.. Караулъ!

Надо вамъ сказать, что еще наканунѣ вечеромъ онъ успѣлъ заручиться, что именно теперь-то и нужна его опытность. Заручившись, пошелъ въ клубъ; тамъ ему тоже сказали: „именно теперь ваша опытность особливую пользу оказать должна“. Онъ, съ своей стороны, скромно отвѣчалъ, что не прочь послужить, поужиналъ, веселый воротился домой и цѣлый часъ посвятилъ на объясненіе молодой кухаркѣ, что въ скоромъ времени онъ, по обстоятельствамъ, найметъ повара, а ей присвоитъ титулъ домоправительницы и, можетъ быть, выдастъ замужъ за главноначальствующаго надъ курьерскими лошадьми. Во снѣ видѣлъ мѣропріятія и, должно полагать, веселыя, потому что громко смѣялся. Еще когда мы вмѣстѣ съ нимъ Kräuchen въ Эмсѣ глотали—ужъ и тогда онъ объ этихъ мѣропріятіяхъ рѣчь заводилъ. Но никакъ, бывало, до конца довести разсказа

не можетъ: дойдетъ до середины — и вдругъ со смѣху прыснетъ! А я стою, смотрю, какъ онъ заливается, и думаю: Господи! неужто?

Долго онъ не могъ понять, какъ это такъ: прошенія онъ не подавалъ, а уволенъ — *по прошенію*! и въ первые дни даже многимъ въ этомъ смыслѣ жаловался. Однакожъ наконецъ понялъ. Но понялъ опять-таки черезъ-чуръ абсолютно. Палъ въ уныніе, сразу утратилъ вѣру въ будущее и женился на молодой кухаркѣ, пригласивъ въ посажоные отцы Удава. А на другой день свадьбы къ нему опять пріѣхалъ курьеръ съ приглашеніемъ пожаловать для „окончательныхъ переговоровъ по *извѣстному* дѣлу“. Разумѣется, поспѣшилъ явиться и на этотъ разъ убѣдился, что дѣйствительно существуетъ такая комбинація, для осуществленія которой его опытность необходима. Но въ ту самую минуту, какъ онъ уже откланивался, курьеръ подалъ только-что полученный пакетъ, заключавшій въ себѣ краткій пасквиль (очевидно, направленный предательской рукой), въ видѣ пригласительнаго билета слѣдующаго содержанія: „Безшабашный совѣтникъ Дыба и вильманстрандская уроженка Густя Вильгельмовна покорнѣйше просятъ пожаловать такого-то числа на ихъ бракосочетаніе (по языческому обряду) въ Демидовъ садъ, а оттуда на Пески въ кухмистерскую Завитаева на балъ и ужинъ“. Тщетно доказывалъ Дыба, что это произошло съ нимъ вслѣдствіе уныніи, но что во всякомъ случаѣ бракосочетаніе въ Демидовомъ саду, и притомъ въ зимнее время и по языческому обряду, не можетъ имѣть серьезнаго значенія; тщетно увѣрялъ, что по первому же требованію онъ дастъ Густѣ разсчетъ, а буде во власти будетъ, то и сошлетъ ее въ мѣста болѣе или менѣе отдаленныя — будущее его было разбито навсегда! Помилуйте! какой же это дѣятель, который такъ быстро приходитъ въ уныніе! И затѣмъ столь же быстро сообщаетъ этому унынію игривый и даже вызывающій характеръ, приглашая къ участію въ оном вильманстрандскую уроженку! Вѣдь этакъ пожалуй и до потрясенія основъ недалеко!

Все это разсказалъ мнѣ впослѣдствіи Удавъ, который въ этомъ случаѣ поступилъ совершенно по современному. Отказаться отъ приглашенія Дыбы, вслѣдствіе существовавшей между ними старинной дружбы, ему, конечно, было неловко; поэтому онъ отправился въ Демидовъ садъ, обвелъ молодыхъ вокругъ ракитоваго куста (въ это время—представьте!—пѣли вмѣсто тропаря Горловское посвященіе

Мусину-Пушкину!), осыпалъ ихъ хмелемъ—и затѣмъ словно въ воду канулъ. Даже къ Завитаеву ужинать не поѣхалъ. Да и вообще никто изъ почетныхъ гостей не прибылъ въ кухмистерскую (было приглашено: пятьдесятъ штукъ тайныхъ совѣтниковъ, сто штукъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, одинъ бегемотъ, два крокодила и до двухсотъ коллежскихъ ассессоровъ, для танцевъ), а пріѣхали какіе-то „пойги“ изъ Вильманстранда, да штукъ двадцать подругъ-кухарокъ, а въ томъ числѣ и моя кухарка. Затѣмъ, на другой день (вслѣдъ за „окончательными переговорами“), Удавъ не сказался дома, на третій день—тоже, а самъ ужъ, конечно, къ бывшему другу—ни ногой. Такъ что Дыба, придя въ третій разъ, потоптался-потоптался передъ запертою дверью коварнаго друга, и вдругъ рѣшился... ѣхать ко мнѣ!

Въ наше смутное и предательское время подобные пассажи со мной случаются нерѣдко. По особеннымъ, совершенно, впрочемъ, отъ меня независящимъ причинамъ, я считаюсь человѣкомъ неудобнымъ. Поэтому многіе изъ моихъ школьныхъ товарищей и даже изъ друзей, какъ только начинаютъ серьезно восходить по лѣстницѣ чиновъ и должностей, такъ тотчасъ же чувствуютъ потребность какъ можно рѣже встрѣчаться со мной. Дальше—больше, и наконецъ, когда въ черепѣ бывшаго друга, вслѣдствіе накопленія мѣропріятій, образуется трещина, то онъ уже просто-на-просто, при упоминовеніи обо мнѣ, выказываетъ изумленіе: „а? кто такой? это, кажется, тотъ, который“... Впрочемъ, встрѣчаясь со мной за границей, эти же самые люди довольно охотно возобновляютъ старыя дружескія отношенія и даже по временамъ повѣряютъ мнѣ свои административныя мечтанія. Вмѣстѣ со мной любуются окрестными видами, пьютъ дрянное мѣстное винцо и приговариваютъ: „а у насъ и этого нѣтъ!“ Нерѣдко рѣчь между нами заходитъ и о любви къ отечеству, и когда я начинаю утверждать, что любить отечество слѣдуетъ не „за лакомство“ (въ родѣ уфимскихъ земель), а просто ради самого отечества, то крѣпко и сочувственно жмутъ мнѣ руку. Но въ особенности много обращается ко мнѣ сердецъ, постигнутыхъ катастрофой, въ формѣ отставки, причисленія или сдачи на храненіе въ совѣтъ или въ старый сенатъ. Послѣдніе еще нѣсколько остерегаются — вѣдь чѣмъ чортъ не шутитъ! вдругъ занадобятся!—и заходятъ ко мнѣ только въ сумерки, но отставные—такъ и прутъ. Видя себя на самомъ днѣ

рѣки забвенія, они становятся безстрашными и совершенно не дорожатъ своей репутаціей. Придутъ, усядутся, бормочутъ, и сами же, слушая свое бормотанье, заливаются смѣхомъ. Очевидно, надѣются, что я что-то по этому поводу „опишу“. Я и описываю, только не то, что́ они разсказываютъ—по бо́льшей части этихъ разсказовъ и понять нельзя — а совсѣмъ другое. Впрочемъ нѣкоторые и изъ отставныхъ впослѣдствіи раскаиваются, перестаютъ ходить и даже начинаютъ на всѣхъ перекресткахъ ругательски меня ругать. Но успѣваютъ ли они этимъ путемъ возстановить свою утраченную репутацію—этого я не знаю, потому что не любопытенъ.

Нерѣдко я спрашиваю себя: приметъ ли отъ меня руку помощи утопающій дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ? — и, право, затрудняюсь дать ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Думается, что приметъ, ежели онъ увѣренъ, что никто этого не видитъ; но если знаетъ, что кто-нибудь видитъ, то, кажется, предпочтетъ утонуть. И это нимало меня не огорчаетъ, потому что я во всякомъ человѣкѣ прежде всего привыкъ уважать инстинктъ самосохраненія.

Изъ этого вы видите, что мое положеніе въ свѣтѣ нѣсколько сомнительное. Не удалось мнѣ, милая тетенька, и невинность соблюсти, и капиталъ пріобрѣсти. А какъ бы это хорошо было! И вотъ вмѣсто того я живу и хоронюсь. Только одна утѣха у меня и осталась: письменный столъ, перо, бумага и чернила. Покуда все это подъ рукой, я сижу и пою: живъ, живъ курилка, не умеръ! Но кто же поручится, что и эта утѣха внезапно не улетучится?

Итакъ, Дыба направился ко мнѣ. Пришелъ, пожалъ руку, усѣлся и... покраснѣлъ. Не привыкъ еще, значитъ.

— А я... поздравьте... вольная птица! — началъ онъ какъ-то сразу и, повернувшись въ креслѣ, сдѣлалъ рукою въ воздухѣ какой-то удивительно легкомысленный жестъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ у него гора съ плечъ свалилась.

— Ахъ, ваше́ство! какъ же это такъ? стало быть, изволили соскучиться?

— Да, скучно... и притомъ вижу... не стоитъ!

— А мы-то, ваше́ство, надѣялись! И я, и дѣти мои. Наконецъ-то, думаемъ, наступила минута, когда опытность ваше́ства особливую пользу оказать должна!

— Думалъ и я... то-есть, не я, а... но впрочемъ что-жъ объ этомъ! Не стоитъ! Подалъ прошеніе—и квитъ!

Онъ помолчалъ съ секунду и потомъ прибавилъ:

— Теперь милости просимъ къ намъ! Свободные люди! И я, и Густя Вильгельмовна—очень, очень будемъ рады! Чашку кофе откушать или такъ посидѣть... очень пріятно...

Но чѣмъ больше онъ говорилъ, тѣмъ больше краснѣлъ и какъ-то нервно подергивался въ креслѣ. Разумѣется, я отвѣтилъ, что сочту за честь, но то же время никакъ не могъ придти въ себя отъ изумленія. Вотъ, думалось мнѣ, человѣкъ, который нѣсколько дней тому назадъ вполнѣ исправно выполнялъ всѣ функціи, какія безпашабашному совѣтнику выполнять надлежитъ! Онъ и надѣялся, и ристалъ, и приходилъ въ уныніе при мысли, что Уфимская губернія раздана безъ остатка, и утѣшалъ себя надеждою, что Россія велика и обильна, и стало быть... И вдругъ теперь онъ сознаетъ себя отрѣшеннымъ отъ всѣхъ ронотовъ и упованій, отъ всего, что словно битымъ стекломъ наполняло пустую дыру, которую онъ называлъ жизнью, что заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, строить планы, ждать, ждать, ждать... Какъ ему должно быть теперь нехорошо! Съ какимъ удивленіемъ онъ долженъ былъ прислушиваться къ собственному голосу, когда говорилъ извозчику: „на Литейную—двугривенный!“ — къ этому голосу, который привыкъ возглашать: „къ генералъ-аншефу такому-то—четвертакъ!“

— Но что же могло вашество побудить? въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ? въ полномъ разгарѣ готовности и усердія?—допытывался я.

— Надоѣло. Вижу: суета, а результатовъ нѣтъ. По цѣлымъ мѣсяцамъ сидишь, въ окошко глядишь: какой результатъ? И что-жъ, даже не приглашаютъ! Подалъ прошеніе—и квитъ!

— Съ точки зрѣнія вашего личнаго чувства это, конечно, вполнѣ понятно...—началъ-было я, но онъ, не слушая меня, продолжалъ:

— А то вдругъ—потребуютъ... „Ваша опытность“... И только-что начинаешь-это вслушиваться, какъ вдругъ курьеръ: „такой-то явился!“ — „Ахъ, извините! пожалуйте въ другой разъ!“ Воротишься домой, опять къ окошку сядешь, смотришь, ждешь... не требуютъ! Подалъ прошеніе—и квитъ!

— Позвольте, вашество! съ точки зрѣнія вашего личнаго успокоенія это, можетъ быть, и благоразумно; но вы упускаете изъ вида,

что люди въ вашемъ положеніи не имѣютъ права руководиться одними личными предпочтеніями... Вѣдь за вами стоитъ не что-нибудь, а, такъ сказать, обширнѣйшая въ мірѣ держава...

— Знаю, мой другъ. Но и за всѣмъ тѣмъ ничего не могу. Результатовъ не вижу—это главное!

— А на вашемъ мѣстѣ я сѣлъ бы опять къ окошечку, да и ждалъ бы. Сегодня—нѣтъ результатовъ, завтра—нѣтъ результатовъ, а послѣ-завтра—вдругъ результатъ!

— Сомнительно. Ну, да теперь ужъ и ждать нечего. Подалъ прошеніе—и квитъ. Тѣмъ хорошо, что по крайней мѣрѣ выяснилось разъ навсегда!

— Ну, нѣтъ, вашество, не говорите этого! можетъ и вновь такой случай выйти...

— Нѣтъ ужъ, мой другъ, нечего по пустому загадывать! Конецъ. И я оччень-оччень радъ!

Онъ на минуту поникъ головой, задумался, вздохнулъ, и опять повторилъ:

— Оччень, оччень радъ! Подалъ прошеніе—и квитъ!

Отдавши дань грусти, Дыба однакожъ вспомнилъ, что ему, какъ безшабашному совѣтнику, слѣдуетъ быть любезнымъ. Поэтому, оглядѣвъ стѣны моего кабинета, онъ продолжалъ:

— А у васъ хорошо... даже очень прилично... да! Обойцы на стѣнахъ, драпри... а внизу на лѣстницѣ швейцаръ! Хорошо. Много за квартиру платите?

— Столько-то.

— Тсс... скажите! И много комнатъ занимаете?

— Столько-то.

— Тсс... А я въ Подъяческой на три комнаты меньше имѣю, а почти то же плачу!

Онъ еще разъ подивился, покачалъ головой и, протягивая мнѣ руку, сказалъ:

— Поздравляю!

Разумѣется, я былъ очень польщенъ. Повелъ его по всѣмъ комнатамъ, и вездѣ онъ меня похвалилъ, а въ нѣкоторыхъ комнатахъ даже выразилъ пріятное изумленіе. Въ корридорѣ повелъ носомъ, учуялъ, что пахнетъ жареной печенкой, умилился и воскликнулъ:

— Тсс... печенка? очень, очень пріятное кушанье! Недорогое, а превкусное!

Такъ что я сейчасъ же распорядился подать ему два куска, и, право, даже на мысль мнѣ при этомъ не пришло: а ну какъ онъ повадится ходить, да въ лоскъ меня объѣстъ!

Поѣвши, онъ опять разговорился.

— Стало быть... живете? — спросилъ онъ, вновь оглядывая стѣны моего кабинета.

— Живу, вашество!

— И я живу. И всѣ мы живемъ. Нельзя. Только надоѣло... мерзко смотрѣть! Суетолока какая-то, суета, столпотвореніе, а результатовъ—нѣтъ! Подалъ прошеніе—и квитъ!

— Это такъ точно. Но впрочемъ позвольте, вашество, доложить: какихъ же еще результатовъ ждать? и будто намъ нужны какіе-нибудь результаты?

— Результаты, мой другъ, должны сами собой явствовать. Спрошу васъ: знаете ли вы, что̀ такое силлогизмъ?

— Ахъ, вашество!

— Ну, такъ вотъ силлогизмъ... Скажемъ къ примѣру тако: Кай смертенъ: Кай—человѣкъ; слѣдовательно всѣ люди смертны. Вотъ вамъ и результатъ!

— Ну, Богъ съ ними, съ такими результатами, которые объ смерти поминаютъ. Но, кромѣ того, можно вѣдь и другимъ манеромъ этотъ же самый результатъ повернуть. Напримѣръ такъ: всѣ люди смертны, Кай—человѣкъ, слѣдовательно Кай смертенъ. Поди, уличи меня, что я сфальшивилъ!

— Можно и такъ. На всѣ лады можно. А вотъ какъ этакъ вамъ говорятъ: Кай—человѣкъ, а палка въ углу стоитъ—вотъ тутъ ужъ никакого результата не выйдетъ!

— Нѣтъ, и тутъ можетъ выйти результатъ: слѣдовательно Кай сидитъ дома, а не прогуливается.

— А онъ, можетъ быть, безъ палки гулять вышелъ?

— А тогда можно будетъ сказать такъ: слѣдовательно Кай и безъ палки вышелъ гулять!.. Да я вамъ, вашество, изъ какого угодно матеріала въ одну минуту такихъ результатовъ насочиняю, что отдай все да и мало!

— Ну, нѣтъ, все-таки...

— Непремѣнно сколько угодно насочиняю. Оттого-то я и говорю: никакихъ намъ результатовъ не нужно! Я вѣдь тоже, какъ и вашество, сижу у окошка да поглядываю... Только вотъ объ результатахъ не думаю, а просто поглядываю—оттого и кручины не знаю.

— А я такъ знаю. И вы современемъ, когда серьезно взглянете... Мерзко!.. да-съ! Вотъ мы съ вами за границей цѣлое лѣто провели—развѣ тамъ такъ люди живутъ?

— Ахъ, вашество! да вѣдь тамъ какая почва земли-то! Развѣ этакая земля безъ результатовъ можетъ родить? А у насъ и безъ результатовъ земля родитъ!

Онъ вытаращилъ на меня глаза, словно не понялъ силы моего возраженія. Но потомъ пожевалъ губами, тряхнулъ головой и повидимому рѣшился понять.

— Н-да?

— Помилуйте, да это фактъ! Объ этомъ и въ „Трудахъ комиссіи несведенія концовъ“ записано. У нихъ земля—камень, а у насъ—на сажень черноземъ, да говорятъ, что въ крайнемъ случаѣ и еще саженъ на пять будетъ! Тутъ сколько добра-то?

— Н-да?

Онъ удивлялся все больше и больше. Разумѣется, я воспользовался этимъ.

— Оттого намъ можно безъ результатовъ жить, а имъ—нельзя. Имъ тяжело, а намъ легко. Или опять фабрики-заводы... У другихъ этого добра—пропасть, а у насъ—первой-другой, и обчелся!

— И это, стало быть?..

— А то какъ же, вашество! все надо въ счетъ полагать! Конечно, мы, люди партикулярные, сидимъ и не догадываемся, а между тѣмъ въ общей массѣ, да еще при содѣйствіи трудовъ коммиссіи несведенія концовъ...

— Стало быть, и климатъ, и мѣстоположеніе—все нужно въ счетъ полагать?

— Конечно, все. Тамъ — горы, у насъ—паспорты; тамъ — тепло, у насъ—холодно; тамъ мѣстоположеніе—у насъ нѣтъ мѣстоположенія; тамъ сѣлъ да поѣхалъ, а у насъ на каждомъ мѣстѣ: стой, сказывай, кто таковъ! какой такой человѣкъ есть? Нѣтъ, вашество, намъ внору по-простому, безъ затѣй прожить, а не то чтобы что!

Онъ опять вытаращилъ на меня глаза и даже нѣсколько какъ

бы поглупѣлъ. Я тоже потерялъ концы, и не зналъ, на чемъ я остановился, и почему на томъ, а не на другомъ.

— И все-таки... надоѣло!—наконецъ молвилъ онъ, вспомнивъ о своемъ недавнемъ приключеніи.

— Надоѣло—это такъ! Но что̀ именно надоѣло—это еще вопросъ!

— Суета надоѣла—вотъ что̀?

— И суета, да опять и то, что результатовъ никакихъ нѣтъ—а я что̀ же говорю? Идемъ, бѣжимъ, а куда—не знаемъ! Даже на конкахъ теперь во весь опоръ лошадей пускаютъ! Раздавить человѣка, а для чего раздавили и какой отъ этого результатъ—не знаютъ.

— Именно такъ!

— Вотъ хоть бы съ вашествомъ... Пригласили васъ, и вы ужъ совсѣмъ было-приспособились, и вдругъ: „извините, теперь некогда, пожалуйте въ другое время!“

— Вотъ именно я это самое и утверждалъ. А вы...

— И я. Объясниться намъ нужно—вотъ и все. Все равно какъ въ журнальной полемикѣ: оба противника, въ сущности, одно и то же говорятъ, а между тѣмъ зубъ-за-зубъ!

— Такъ что ваша ссылка на черноземъ...

— Черноземъ—это само по себѣ. Это въ своемъ мѣстѣ будетъ значеніе имѣть. А покуда намъ нужно было объясниться—вотъ мы и объяснились.

Онъ раскрылъ-было ротъ, чтобы возразить, но подумалъ, хлопнулъ зубами и замолчалъ.

Я тоже повидимому высказалъ все, что̀ накопилось у меня на душѣ.

— Ну, дай вамъ Богъ!—сказалъ онъ, вставая и берясь за шляпу:—прекрасная у васъ квартирка... прекраснѣйшая!

Въ передней онъ въ послѣдній разъ протянулъ мнѣ руку и умилился.

— Такъ вотъ мы и познакомились!—произнесъ онъ съ чувствомъ.—На этотъ разъ, надѣюсь, прочно будетъ... Но еслибы даже впослѣдствіи и вышелъ результатъ, то во всякомъ случаѣ... Милости просимъ къ намъ! И я, и Густя Вильгельмовна... Посидѣть, побесѣдовать...

Наконецъ онъ удалился, а я сѣлъ къ окошку и сталъ ждать результатовъ. И вдругъ—курьеръ!—Откуда, другъ?—„Изъ главнаго управленія по дѣламъ печати“... Ахъ!

Впрочемъ это мнѣ только показалось, что курьеръ пришелъ, а въ дѣйствительности въ мой кабинетъ влетѣла „Индюшка“. И вдругъ вся моя квартира пропахла юбочнымъ мельканіемъ, кислятиной и вздоромъ.

— Господи, какая скука! — привѣтствовала она меня: — хоть бы кто-нибудь пригласилъ! Вчера ѣздила-ѣздила, вижу, у Чистопольцевыхъ огонь, звонюсь—выходитъ лакей: „барынѣ сына Богъ послалъ, а баринъ сидятъ запершись въ кабинетѣ и доносъ пишутъ“... Хоть бы запретили!

— Что̀ запретили бы? рожать или доносы писать?

— Ахъ, какой ты! И безъ того скучно, а ты... Вотъ Царья Семеновна — та отлично устроилась. „Я, говоритъ, ma chère, съ тѣхъ поръ, какъ эта скука пошла, каждый день все въ баню ѣзжу!“

— И ты бы ѣздила!

— Я не могу: въ банѣ-то надо за нумеръ пять рубликовъ платить, а у меня Пентюхово-то ужъ въ двухъ мѣстахъ заложено... Въ одномъ мѣстѣ по настоящему свидѣтельству, а въ другой разъ мнѣ Балалайкинъ состряпалъ... Послушай однакожъ, cousin! неужто я тебѣ такъ скоро надоѣла, что ты ужъ и гонишь меня?

— Христосъ съ тобой, милушка! когда же я тебя гналъ?

— Вотъ сейчасъ въ баню посылалъ. Не бойся пожалуйста! не задержу! Я къ тебѣ за дѣломъ.

Говоря это, она подошла къ зеркалу, высунула языкъ и начала подлизывать верхнюю губу.

— И вѣдь какая эта Чистопольцева!—болтала она:—туда же, радуется: Богъ сына далъ! Скажите, какое лакомство!

— Однако, мой другъ, все-таки утѣшеніе!

— А по моему, такъ хоть бы ихъ и совсѣмъ не было, этихъ сыновей... По крайней мѣрѣ я бы теперь на свободѣ куда бы хотѣла, туда бы и поѣхала... Ужъ эти мнѣ сыновья! да! что̀, бишь, я хотѣла тебѣ разсказать?

— Не знаю, душа моя. Вотъ объ дочеряхъ ты еще ничего не говорила, такъ, можетъ быть, объ нихъ что-нибудь молвишь...

— Ахъ, нѣтъ, не объ томъ. А вирочемъ что-жъ дочери!.. Дочь тогда хороша, когда она на мать похожа, когда она „правила“ имѣетъ, а эти нынѣшнія...

— Да успокойся пожалуйста! вспомни лучше, что̀ ты хотѣла мнѣ сообщить!

— Ахъ, да... вотъ! Представь себѣ! у насъ вчера цѣлый содомъ случился. Съ утра мой прапорщикъ пропалъ. Завтракать подали — нѣтъ его; обѣдать ждали-ждали — нѣтъ какъ нѣтъ! Ужъ поздно вечеромъ, какъ я изъ моей toutnée воротилась, пошли къ нему въ комнату, смотримъ, а тамъ на столѣ записка лежитъ. „Не обвиняйте никого въ моей смерти. Умираю, потому что результатовъ не вижу. Тѣло мое найдете на чердакѣ“... Можешь себѣ представить мое чувство!

— Ахъ, бѣдная!

— Разумѣется, побѣжали на чердакъ, и что-жъ бы ты думалъ? — онъ преспокойно прислонился-себѣ къ балкѣ и спитъ! И веревка въ двухъ шагахъ черезъ балку перекинута! Какъ только воро̀ны глазъ ему не выклевали... чудеса!

— Ну, что̀ ужъ! слава Богу, что живъ!

— Нѣтъ, ты представь себѣ, какія штуки онъ надо мной строитъ! Ужъ я кротка-кротка, а такую ему, мерзавцу, пощечину вклеила, что въ другой разъ, если ужъ онъ задумаетъ повѣситься, такъ ужъ... Нѣтъ, ты скажи, мать я или нѣтъ?

— Коли сама рожала...

— Не только рожала, а меня изъ-за него, мерзавца, тогда чуть на куски не изрѣзали... Представь себѣ: ногами внизъ, да еще руки по швамъ — точно въ походъ собрался! А сколько я мукъ приняла, покуда тяжела имъ ходила... и вотъ благодарность за все!

— Ну, положимъ, онъ тутъ не виноватъ...

— И все-таки могъ бы мать поблагодарить! А опъ—вонъ что, вѣшаться выдумалъ! Вотъ почему я и говорю про Чистопольцеву: дура! И всѣ дуры, которыя... Я и бабенькѣ сегодня говорила: сто̀итъ ли послѣ этого дѣтей имѣть! А у ней этотъ противный Стрекоза сидитъ: „иногда, сударыня, безъ сего невозможно!“ Ахъ, хоть бы его поскорѣй сенаторомъ сдѣлали! Что̀ бы начальству сто̀ило!

— Что̀ тебѣ такъ западобилось?

— Тогда бабенька за него замужъ бы вышла. Говорятъ, будто

семидесяти лѣтъ не позволяютъ — ну, да вѣдь въ память Аракчеева... По крайней мѣрѣ повеселилась бы на свадьбѣ, а то что? Всѣ ходятъ, словно скованные, по угламъ, да результатовъ ждутъ...

— Ну-ну-ну! отдохни минуточку. Скажи: спрашивала ли ты у своего прапорщика, объ какихъ это онъ результатахъ въ запискѣ своей упоминалъ!

— Поручики спрашивали, да развѣ онъ скажетъ?

— Однакожъ сказалъ же онъ что-нибудь, какъ вы на чердакѣ-то его нашли?

— Ничего не сказалъ. Только удивился, когда я ему плюху вклеила, да немного погодя промолвилъ: „ѣсть хочу!“ Хорошо, что у меня отъ обѣда цѣлый холодный ростбифъ остался!

— Да неужто же наконецъ...

— Нѣтъ, ты представь себѣ, еслибъ у меня этого ростбифа не было! куда бы я дѣвалась? И то вездѣ говорятъ, что я все сама ѣмъ, а дѣтей голодомъ морю, а тутъ еще такой скандалъ!

— Ну, что тутъ! дала цѣлковый, и пусть къ Палкину идетъ!

— Это чтобъ онъ опять... слуга покорная! выходки-то его у меня вотъ гдѣ сидятъ!

Сказавши это, она чѣмъ-то ужасно обезпокоилась и опять побѣжала къ зеркалу.

— Душка! сдѣлай милость, посмотри! Кажется, у меня сзади что-то взбилось?

Но въ эту минуту въ передней раздался звонокъ, и прапорщикъ собственнымъ лицомъ предсталъ передъ нами.

— А! господинъ удавленникъ! — привѣтствовала его „Индюшка“: — полюбуйтесь, милый дяденька, на племянничка... хорошъ?

— А вы, мамаша, ужъ благовѣстите?

— И буду благовѣстить, и буду, и буду, и буду! — зачастила она: — въ полкъ, въ казармы поѣду! всѣмъ разблаговѣщу, какъ ты задавиться собрался! Ну, что-жъ ты не задавился, что-жъ?

И она, прискакивая и дразня, кружилась вокругъ него, приговаривая:

— Непремѣнно, непремѣнно! поѣду и всѣмъ разскажу!

— Ну, да будетъ, Nadine! — вступился я: — а ты, фендрихъ, съ чего это, въ самомъ дѣлѣ, вѣшаться вздумалъ?

Прапорщикъ нѣкоторое время колебался, но наконецъ процѣдилъ сквозь зубы:

— Надоѣло.

— Что надоѣло?

— Скучно... результатовъ нѣтъ... ничего не поймешь!

— Скучно да надоѣло! — кинятилась „Индюшка“: — такъ что-жъ ты не удавился, коли тебѣ скучно? Скажите! ему скучно! А ты бы у матери прежде спросилъ, весело ли ей на твои штуки-фигуры смотрѣть!

— Наденька! да будь же умница!

— Нѣтъ, ты скажи ему, родной! скажи этому дурному сыну, что онъ долженъ мать уважать!

— Да развѣ онъ...

— Нѣтъ, ты ужъ пожалуйста скажи! Неужто-жъ и ты, какъ эти...

Она затруднилась.

— Ну, вотъ эти... какъ ихъ...

— Да понимаю я, не ищи!

Милая тетенька! еслибъ я не зналъ, что кузина Наденька—„Индюшка“, еслибы я сто разъ на дню не называлъ ее этимъ именемъ, задача моя была бы очень проста. Но вѣдь она—„Индюшка“! это не только я, но и всѣ знаютъ; даже бабенька, и та иногда слушаетъ-слушаетъ ее, и вдругъ креститься начнетъ, точно ее лѣшій обошелъ. Да и въ настоящемъ случаѣ она себя совсѣмъ по-индюшечьи вела: курлыкала, нелѣпо наступала на сына, точно собиралась уклюнуть его. Какъ тутъ сказать этому сыну: вотъ птица, которую ты долженъ уважать?! Однакожъ я перемогъ себя и сказалъ:

— Взгляни на почтеннѣйшую свою родительницу и пойми, какъ ты ее огорчилъ!

— Вотъ такъ! пойми, пойми, дурной сынъ!—радостно подтвердила „Индюшка“:—а теперь, родной, вели ему, чтобъ онъ у maman прощенья попросилъ!

— Ахъ, да зачѣмъ это тебѣ?

— Нѣтъ, какъ хочешь, а я не отстану! Ivan!—обратилась она къ сыну:—говори: „простите меня, мамаша, за то огорченіе, которое причинилъ вамъ мой поступокъ!“

Но Ivan вдругъ какъ-то весь въ комокъ собрался и уперся

(даже ноги врозь разставилъ), какъ будто отъ него требовали, чтобъ онъ отечеству измѣнилъ.

— Непремѣнно говори! — настаивала „Индюшка“: — говори, сейчасъ говори: „maman! простите меня, что я васъ своимъ поступкомъ огорчилъ!“

— Ахъ ты, Господи!—заметался Ivan, словно въ агоніи.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! говори! Я тебя въ смирительномъ домѣ сгною, если ты у maman прощенья не попросишь... дурной!

Но прапорщикъ продолжалъ стоять, разставивши ноги,—и ни съ мѣста.

— Да скажешь ли ты наконецъ... оболтусъ ты этакой!—крикнулъ и я въ свою очередь, чувствуя, что даже стѣны моего кабинета начинаютъ глунѣть отъ родственныхъ разговоровъ.

— Из-ви-ни-те, ма-ман, что я о-гор-чилъ... — чуть-чуть не давился Ivan.

— Ну, вотъ и прекрасно!—подхватилъ я.

— Нѣтъ, погоди!.. „своимъ поступкомъ“,—подсказала Индюшка.

— Сво-имъ по-ступ-комъ...

— Ну, вотъ, теперь прощаю! Теперь — все забыто. И я тебя простила, и ты меня прости. Я тебя простила за то, что ты свою maman обезпокоилъ, а ты меня прости за то, что я тебѣ тогда сгоряча... Ну, пусть будетъ надъ тобой мое благословеніе! А чтобы ты не скучалъ, вотъ пять рублей—можешь себѣ удовольствіе сдѣлать!

— Бери!—посовѣтовалъ я, почти скрежеща зубами.

Насилу они отъ меня уѣхали. Но замѣчательно, что когда „Индюшка“ распростилась со мной, а прапорщикъ собрался-было, проводивши мать, остаться у меня, то первая не допустила до этого.

— Нѣтъ ужъ, сдѣлайте милость! извольте съ maman отправляться!—сказала она.—А то вы опять у дяденьки либеральничаній наслушаетесь да домой давиться пріѣдете!

И, обратившись ко мнѣ,—прибавила:

— Хорошо, что у меня тогда холодный ростбифъ остался! А то, представь себѣ, онъ говоритъ: „хочу ѣсть!“—а я...

Остальное она договорила ужъ въ швейцарской.

Такъ вотъ какъ, милая тетенька. Живемъ мы и результатовъ не видимъ. И оттого, будто бы, намъ скучно.

Очень возможно, что вы найдете приведенные мною примѣры неубѣдительными. Вы скажете, что и Дыба, и фендрихъ Іванъ, и „Индюшка“ — все это такого рода личности, ссылка на которыхъ положительно ничего не доказываетъ... Извините меня, но ежели таково ваше мнѣніе, то вы несомнѣнно ошибаетесь. Подобно тому, какъ въ прошломъ письмѣ я говорилъ по поводу свары, свившей гнѣздо въ русской семьѣ, повторяю и нынѣ: именно примѣры низменные, заурядные и представляютъ въ данномъ случаѣ совершенное доказательство. Вѣдь имъ, этимъ безпокойнымъ людямъ, по настоящему и Богъ велѣлъ безъ результатовъ жизнь отбывать, а они, извольте видѣть, скучаютъ, безпокоятся, начинаютъ подозрѣвать, что въ существованія ихъ закралась какая-то пустота. Допустимъ, что они отчасти не умѣютъ назвать эту пустоту по имени, а отчасти формулируютъ свое недовольство жизнью смутно и нелѣпо; тѣмъ не менѣе, не подлежитъ сомнѣнію, что имъ скучно, что имъ надоѣло. И именно теперь, вотъ въ настоящее время, эта скука настолько обострилась, что они ее явственно чувствуютъ, тогда какъ прежде они или не подозрѣвали ея, или мирились съ нею.

Конечно, надворный совѣтникъ Сенечка объявляетъ себя довольнымъ и даже достаточно нагло утверждаетъ, что жизнь безъ выводовъ есть наиболѣе подходящій для насъ modus vivendi; но вѣдь это только такъ кажется, что онъ доволенъ. Вспомните, какъ онъ поблѣднѣлъ и испугался при мысли, что нѣчто забылъ; вспомните, съ какою стремительностью онъ бросился изъ дома, чтобы поправить свой промахъ,—и вы поймете, что и онъ не на розахъ покоится. И это не исключительный случай съ нимъ, а каждый день такъ бываетъ. Каждый день онъ непремѣнно что-нибудь забудетъ, упуститъ изъ вида, не предусмотритъ, и каждый день вслѣдствіе этого пугается и блѣднѣетъ. А отчего?—оттого, что вся его неустанная дѣятельность изъ однихъ обрывковъ состоитъ, а собрать и съютить всю эту массу безсвязныхъ обрывковъ—положительно немыслимое дѣло. Еслибъ у него былъ въ виду результатъ, еслибъ дѣятельность его развивалась логически и онъ сознавалъ ясно, куда ему надлежитъ придти—онъ навѣрное не отдалъ бы всего себя въ жертву разнопестрой суетолокъ, которой вдобавокъ и конца нѣтъ. Нѣкоторыя части разнокалибер-

щины онъ бы отсѣкъ, другія—и самп собой не пришли бы ему на мысль. А теперь вся эта белиберда такъ и плыветъ на него, и ужъ не онъ ею распоряжается, а она имъ. Одну только цѣль онъ выяснилъ себѣ довольно опредѣленно—это Анны вторыя; но и она находится въ зависимости отъ разнокалиберщины, которая свинцовой тучей повисла надъ его существованіемъ. Такъ что и тутъ онъ не можетъ не опасаться, что одинъ неудачный или неосторожный шагъ—и всѣ его разсчеты на Анны вторыя будутъ скомпрометтированы. И я положительно убѣжденъ, что онъ по нѣскольку разъ въ день проклинаетъ часъ своего рожденія, и что только извѣстная степень душевной оголтѣлости помогаетъ ему выдерживать безпрестанные испуги, въ родѣ того, котораго я былъ случайнымъ свидѣтелемъ, и, несмотря ни на что, упорствовать въ омутѣ разнокалиберщины, съ тѣмъ, чтобы вновь и вновь пугаться безъ конца.

Не всякій способенъ сознавать, что скука происходитъ вслѣдствіе отсутствія результатовъ, но всякій способенъ испытывать самую скуку. И вѣрьте мнѣ, что томительное ощущеніе скуки безъ сознанія причинъ, ее обусловливающихъ, лежитъ на душѣ гораздо болѣе тяжелымъ бременемъ, нежели то же самое ощущеніе, достаточно выслѣженное и просвѣтленное сознаніемъ.

Работа мысли, проникновеніе къ самымъ источникамъ невзгоды—представляютъ очень серьезное облегченіе. Невзгода въ этомъ случаѣ прямо стоитъ передъ человѣкомъ, и онъ или бросается въ борьбу съ нею, или старается оборониться отъ нея. Допустимъ, что ни въ борьбѣ, ни въ оборонѣ онъ успѣха не достигнетъ, но ужъ и то будетъ прибыль, что его дѣятельность найдетъ какой-нибудь выходъ. А наконецъ, въ крайнемъ случаѣ, у него остается и еще убѣжище: чувство негодованія, которое тоже, въ извѣстной мѣрѣ, можетъ дать содержаніе человѣческому существованію. Но вотъ когда положеніе дѣлается по истинѣ ужаснымъ—это когда человѣкъ томится и мечется, самъ не понимая, отчего онъ томится и мечется. Въ этомъ случаѣ онъ ужъ дѣйствительно ничего, кромѣ зіяющей пустоты, передъ собою не видитъ.

Большинство именно такъ и скучаетъ. Просто не знаетъ, куда дѣваться. Индюшку—„никто не приглашаетъ“; Дыбу хоть и „приглашаютъ“, но онъ и самъ говоритъ: лучше бы ужъ не бередили. Фендрихъ нигдѣ мѣста найти не можетъ, давиться хочетъ. Сенчка

все что-то начинаетъ, но ничего кончить не въ силахъ. Допосятъ, ябедничаютъ, выслѣживаютъ, раздираютъ другъ друга и никакъ не могутъ понять, отчего даже такая лихорадочная, повидимому, дѣятельность не можетъ заслонить пустоту. Положительно, это такая надрывающая картина, которую только съ великой натугой можетъ создать самое изобрѣтательное воображеніе.

Прибавьте ко всему этому безконечную канитель разговоровъ о какихъ-то застояхъ, дефицитахъ, колебаніяхъ и паденіяхъ, которые еще болѣе заставляютъ съёживаться скучающее человѣчество. Я въ этихъ застояхъ ровно ничего не понимаю, и потому не особенно на нихъ настаиваю, но все-таки не могу не занести ихъ на счетъ, потому что они отравляютъ мой слухъ на каждомъ шагу. Не только книгъ (кому этотъ товаръ нуженъ?), но даже икры, будто бы, покупаютъ противъ прежняго вдвое меньше. А ужъ коль скоро купчина завылъ, то прочимъ и по закону подвывать полагается!

Куда дѣвались чивые, ничего не жалѣющіе желѣзнодорожники? Гдѣ веселые адвокаты? Адвокаты-то нынче, тетенька, какъ завидятъ кліента... Ну, да ужъ Богъ съ ними! смирный нынче это народъ сталъ! Живутъ, наравнѣ съ другими, безъ результатовъ... мило! благородно!

Вотъ, однимъ словомъ, до чего дошло. Нѣсколько ужъ лѣтъ сплошь я сижу въ итальянской оперѣ рядомъ съ ложей, занимаемой однимъ овошеннымъ семействомъ. И какую разительную перемѣну вижу! Прежде, бывало, какъ антрактъ—сейчасъ приволокутъ буракъ съ свѣжей икрой; вынутъ изъ-за пазухъ ложки, сядутъ въ кружокъ и хлебаютъ. А нынче на всѣ три-четыре антракта каждому члену семейства раздадутъ по одному крымскому яблоку — веселись! Да и тутъ всѣ кругомъ завидуютъ, говорятъ: „милліонщикъ!“

P. S. Сейчасъ пріѣзжалъ Ноздревъ: „ждалъ, говоритъ, должности, да толку добиться не могъ! газету, говоритъ, издавать рѣшился!“ Просилъ придумать названіе; я посовѣтовалъ: „Помои“. Представьте себѣ, какъ онъ этому названію обрадовался, точно я его рублемъ подарилъ! „Это, говоритъ, такое названіе, такое названіе... на одно названіе подписчикъ валомъ повалитъ!“ Обѣщалъ, что на дняхъ первый № выйдетъ, и я, разумѣется, съ нетерпѣніемъ жду.

Письмо одиннадцатое.

Милая тетенька.

Представьте себѣ, вѣдь Ноздревъ-то осуществилъ свое намѣреніе: передо мною лежатъ ужъ два нумера его газеты. Называется она, какъ я посовѣтовалъ: „Помои — изданіе ежедневное“. Безъ претензій и мило. Въ программѣ-объявленіи сказано: „мы имѣемъ въ виду истину“ — еще милѣе. Никакихъ другихъ обѣщаній нѣтъ, а коли хочешь знать, какая лежитъ на днѣ „Помоевъ“ истина, такъ подписывайся. „Мы не пойдемъ по слѣдамъ нашихъ собратовъ“, говорится дальше въ объявленіи: „мы не унизимся до широковѣщательныхъ обѣщаній, но позволимъ сказать одно: кто хочетъ знать истину, тотъ пусть читаетъ нашу газету: въ противномъ же случаѣ пусть не заглядываетъ въ нее — ему же хуже!“ А въ выноскѣ къ слову „истина“ сдѣлано примѣчаніе: „Всѣ новости самыя свѣжія будутъ получаться нами изъ первыхъ рукъ, немедленно и изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ“. А въ томъ числѣ, конечно, будетъ получаться и клевета.

Внѣшній видъ газеты дѣйствуетъ чрезвычайно благопріятно. Большого формата листъ; бумага — изумительно пригодная; печать — сдѣлала бы честь самому Гутенбергу; опечатокъ столько, что редакція можетъ прятаться за ними какъ за каменной стѣной. Внизу подписано: „редакторъ-издатель Ноздревъ“; но искусно пущенный подъ рукою слухъ сдѣлалъ извѣстнымъ, что главный воротило въ газетѣ — публицистъ Искаріотъ. Не тотъ, впрочемъ, Искаріотъ, который удавился, а приблизительно. Ноздревъ даже намѣревался его отвѣтственнымъ редакторомъ сдѣлать (то-то бы розничная продажа пошла!), но не получилъ разрѣшенія, потому что формуляръ у Искаріота нехорошъ.

Со стороны внутренняго содержанія газета дѣлаетъ впечатлѣніе еще болѣе благопріятное. Въ передовой статьѣ, принадлежащей перу публициста Искаріота, развивается мысль, что ничто такъ не предосудительно, какъ ложь. „Намъ все дозволяется, говоритъ Искаріотъ, только не дозволяется говорить ложь“. И далѣе: „Никогда лгать не надо, за исключеніемъ лишь того случая, когда необходимо увѣрить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выразиться на-

двое". Затѣмъ разсматриваетъ факты современной жизни; вредные— одобряетъ, полезные — осуждаетъ, и въ заключеніе восклицаетъ: „такъ долженъ думать всякій, кто хочетъ оставаться въ согласіи съ истиной!" А Ноздревъ въ выноскѣ примѣчаетъ: „Полно, такъ ли? *Ред.*" Вторая передовая статья подписана: „Сверхштатный Дипломатъ" и посвящена вопросу: „было ли въ 1881 году соблюдено европейское равновѣсіе?" Отвѣтъ: „было, благодаря искусной политикѣ, а чьей—не скажу". Примѣчаніе Ноздрева: „Скромность почтеннаго автора будетъ совершенно понятна, если принять въ соображеніе, что онъ самъ и есть тотъ искусный политикъ", о которомъ идетъ рѣчь въ статьѣ. *Ред.*" Въ фельетонѣ фельетонистъ Трясучкинъ, увѣряетъ, что никогда ему не было такъ весело, какъ вчера на раутѣ у княгини Насофѣнолежаевой. Раутъ имѣлъ отчасти литературный характеръ, потому что княгиня декламировала: „Ахъ, почтò за мечъ воинственный я свой посохъ отдала?"—но изъ заправскихъ литераторовъ были тамъ только двое: онъ, Трясучкинъ, да поэтъ Булкинъ. Оба въ бѣлыхъ галстухахъ. И когда княгиня произнесла стихъ: „Зрѣла я небесъ сіяніе", то въ гостиную вошелъ лакей во фракѣ и въ бѣломъ галстухѣ и покурилъ духами. Такъ что очарованіе было полное. А когда вслѣдъ затѣмъ сюрпризомъ явился фокусникъ, то вышелъ такой поразительный контрастъ, что всѣ залились веселымъ смѣхомъ. Но ужина не было, „такъ что мы съ Булкинымъ вынуждены были отправиться къ Палкину и пробыли тамъ до шести часовъ утра". Противъ имени княгини Насофѣнолежаевой Ноздревъ примѣтилъ: „Урожденная Сильвуплè, дочь дѣйствительнаго статскаго совѣтника, игравшаго въ свое время видную роль по духовному вѣдомству", а противъ фамиліи поэта Булкина: „нѣтъ ли тутъ какого недоразумѣнія?" На второй страницѣ— разнообразнѣйшая „Хроника", въ которой, противъ десяти „извѣстій", въ выноскахъ сказано: „Слышано отъ Репетилова", а противъ пяти: „Не клевета ли?" За хроникой слѣдуютъ тридцать-три *собственныхъ* телеграммы, извѣщающія редакцію, что мужикъ сытъ. Но и тутъ выноска: „Истина вынуждаетъ насъ сознаться, что телеграммы эти составлены нами въ редакціи для образца". Третья страница посвящена корреспонденціи изъ городовъ, коихъ имена не попали въ „Списокъ городскихъ поселеній", изданный статистическимъ отдѣломъ министерства внутреннихъ дѣлъ. На четвертой страницѣ

—серьезная экономическая статья: „Наши денежные знаки“, въ которой развивается мысль, что ночью съ извозчикомъ слѣдуетъ разсчитываться непремѣнно около фонаря, такъ какъ въ противномъ случаѣ легко можно отдать двугривенный вмѣсто пятиалтыннаго, „что̀ съ нами однажды и случилось“. Статья подписана: *Не вѣрьте мнѣ*, а въ выноскѣ противъ подписи сказано: „Не только вѣримъ, но усерднѣйше просимъ продолжать. *Ред. Ноздревъ*“. Наконецъ, на самомъ кончикѣ послѣдняго столбца объявленіе: „ДѢВИЦА!! ищетъ поступить на мѣсто къ холостому человѣку солидныхъ лѣтъ. Письма адресовать въ городъ Копысъ Прасковьѣ Ивановнѣ“. Выноска: „Очень счастливы, что начинаемъ предстоящую серію нашихъ объявленій столь любезнымъ предложеніемъ услугъ; надѣемся, что и прочія дѣвицы (sic) не замедлятъ почтить насъ своимъ довѣріемъ. *Конторщикъ Любострастновъ*“.

Второй нумеръ еще лучше. Начинается передовой статьей: „Военный бредъ“, въ которой указывается, что въ тылу у насъ — Бѣлое море и Ледовитый океанъ. Статья подписана: „Бывшій начальникъ штаба войскъ эоіонскаго принца Амонасро, изъ „Аиды“. Во второй статьѣ публицистъ Искаріотъ сходитъ съ высотъ теоретическихъ на почву современности, и разбираетъ по суставчикамъ газету „Приговорившись Сидѣла“, доказывая, что каждое ея слово есть измѣна. Затѣмъ помѣщено письмо Трясучкина, который извѣщаетъ, что поэтъ Булкинъ совсѣмъ не „недоразумѣніе“, а авторъ извѣстнаго стихотворенія: „Воззри въ лѣсахъ на бегемота“, а редакторъ Ноздревъ въ выноскѣ на это возражаетъ: „Но кажется, что это стихотвореніе, или приблизительно въ этомъ родѣ, принадлежитъ перу Ломоносова?“ Телеграммы опять составлены въ стѣнахъ редакціи, и по этому поводу Ноздревымъ сдѣлано слѣдующее „заявленіе“: „Невозможно, чтобъ редакція на свой счетъ получала телеграммы изъ всѣхъ городовъ. Она свое дѣло сдѣлала, т.-е. составила и обнародовала образцы, а затѣмъ охотники, желающіе видѣть свои телеграммы напечатанными, обязываются уже на собственный счетъ посылать таковыя въ редакцію“. На четвертой страницѣ новая экономическая статья экономиста *Не вѣрьте мнѣ*, въ которой развивается мысль, что когда играютъ въ карты на мѣлокъ, то справедливость требуетъ каждодневно насчитывать умѣренные проценты. И въ выноскѣ: „Такъ мы и дѣлаемъ. *Ред.*“ Въ концѣ опять *одно* объявленіе: „КУХАРКА!!

такое одно кушанье знаетъ, что пальчики оближешь. Спросить на Невскомъ отъ 10 до 11 часовъ вечера дѣвицу „Ребятахвалили“. Выноска: „Наши вчерашнія ожиданія постепенно оправдываются, но пускай же и прочія кухарки поспѣшатъ къ намъ съ своими объявленіями. *Конторщика Любострастнова*“.

И внизу, подъ обоими нумерами — достолюбезная подпись: редакторъ-издатель Ноздревъ!!

Я разомъ проглотилъ оба нумера, и скажу вамъ: двойственное чувство овладѣло мной по прочтеніи. Съ одной стороны, въ душѣ — музыка, съ другой — какъ будто больше чѣмъ слѣдуетъ въ ретирадѣ замечтался. И надо откровенно сознаться, послѣднее изъ этихъ чувствъ, кажется, преобладаетъ. По крайней мѣрѣ даже въ эту минуту я все еще чувствую, что пахнетъ, между тѣмъ какъ музыки ужъ давнымъ-давно не слыхать.

Но что̀ всего больше поразило меня въ новорожденномъ орга̀нѣ — это неизреченная и даже, можно сказать, наглая увѣренность въ авторитетности и долговѣчности. „Ужъ мнѣ-то не заградить уста!“ „Я-то вѣдь до скончанія вѣковъ говорить буду!“ — такъ и брызжетъ между строками. Во второмъ нумерѣ Ноздревъ даже словно играетъ съ персонами, на заставахъ команду имѣющими. „Насъ спрашиваютъ нѣкоторые подписчики, — говоритъ онъ, — какъ мы намѣрены поступить въ случаѣ могущей приключиться горькой невзгоды? то-есть, отдадимъ ли подписчикамъ деньги назадъ по разсчету, или употребимъ ихъ на собственныя нужды? На это отвѣчаемъ положительно и твердо: никакой невзгоды съ нами не можетъ быть и не будетъ. Мы не съ тѣмъ предприняли дѣло, чтобъ идти на встрѣчу невзгодамъ, а съ тѣмъ, чтобы направлять таковыя на другихъ. Тѣмъ не менѣе, считаемъ за нужное оговориться, что не невозможенъ случай, когда опасенія подписчиковъ рискуютъ оказаться и небезосновательными. А именно: ежели публика выкажетъ холодность къ нашему изданію и не предоставитъ намъ достаточныхъ средствъ для его продолженія. Тогда мы еще подумаемъ, какъ намъ поступить съ подписчиками“.

Такимъ образомъ оказывается, что ежели вы, напримѣръ, подпишетесь на „Помои“, то для того, чтобы не потерять денегъ, вы обязываетесь уговаривать всѣхъ вашихъ родственниковъ, чтобъ и они на „Помои“ подписались... Справедливо ли это?

Но можете себѣ представить положеніе бѣдной „Пригорюнившись Сидѣла“! Что должны ощущать почтеннѣйшіе ея редакторы, читая, какъ „Помои“ перемываютъ ея косточки и въ каждой косточкѣ презрѣваютъ измѣну. Вѣдь у насъ такъ ужъ изстари повелось, что противъ слова: „измѣна“—даже разъясненій никакихъ не полагается. Скажетъ она: „то, что я говорила, съ незапамятныхъ временъ и вездѣ уже составляетъ самое заурядное достояніе человѣческаго сознанія, и только „Помоямъ“ можетъ казаться диковинкою“—сейчасъ ей въ отвѣтъ: „а! такъ ты вотъ еще какъ... нераскаянная!“ Или скажетъ: „я совсѣмъ этого не говорила, а говорила вотъ то-то и то-то“ — и тутъ готовъ отвѣтъ: „а! опять за лганье принялась! опять хвостомъ вертишь!“ Словомъ сказать, выгоднѣе и приличнѣе всего окажется простое молчаніе. „Помои“ будутъ растабарывать, а „Пригорюнившись Сидѣла“—молчать. Таково ихъ взаимное провиденціальное назначеніе.

Повидимому тактика Ноздрева заключается въ слѣдующемъ. По всякому вопросу непремѣнно писать передовую статью, но не затѣмъ, чтобы выяснить самую сущность вопроса, а единственно ради того, чтобы высказать по поводу его „русскую точку зрѣнія“. Разумѣется, выищутся люди, которые тронутся такимъ отношеніемъ къ дѣлу и назовутъ его недостаточнымъ—тогда подстеречь удобный моментъ и закричать: „караулъ! измѣна!“

Такого рода моменты называются „вѣяніями“; а вѣдь извѣстно, что у насъ, коли вилотную повѣетъ, то всякое слово за измѣну сойдетъ. И тогда измѣнниковъ хоть голыми руками хватай.

Замѣчательно, что есть люди—и даже не мало такихъ,—которые за эту тактику называютъ Ноздрева умницей. „Мерзавецъ, говорятъ, но уменъ. Знаетъ, гдѣ раки зимуютъ, и понимаетъ, что по нынѣшнему времени требуется. Стало быть, будетъ съ капиталъцемъ“.

Что Ноздревъ будетъ съ капиталъцемъ (особливо ежели деньгами подписчиковъ распорядится)—это дѣло возможное. Но чтобы онъ былъ „умницей“—съ этимъ я, судя по вышедшимъ нумерамъ, никакъ согласиться не могу. Во-первыхъ, онъ потому ужъ не умница, что не понимаетъ, что времена переходчивы; а во-вторыхъ, онъ до того въ двухъ нумерахъ обнажилъ себя, что даже виноградна листа ему достать не откуда, чтобы прикрыть, въ крайнемъ слу-

чаѣ, свою наготу. Говорятъ, будто бы онъ меценатами заручился: да меценаты-то чѣмъ заручились?

Покамѣстъ однакожъ ему везетъ. „У меня, говоритъ, въ тылу —сила, а ежели мой тылъ обезпеченъ, то я многое могу дерзать". Эта увѣренность развиваетъ чувство самодовольства во всемъ его организмѣ, но въ то же время темнитъ въ немъ разсудокъ. До такой степени темнитъ, что онъ, въ изступленіи наглости, прямо отъ своего имени объявляетъ войны, заключаетъ союзы и даруетъ миръ. Но долго ли будутъ на это смотрѣть меценаты—неизвѣстно.

Не дальше какъ сегодня, подъ живымъ впечатлѣніемъ только-что прочитанныхъ нумеровъ, я встрѣтился съ нимъ на улицѣ, и по обыкновенію спутался. Вмѣсто того, чтобъ перебѣжать на другую сторону, очутился съ нимъ лицомъ къ лицу и началъ растабарывать. „Какъ, говорю, вамъ не стыдно выступать съ клеветами противъ газеты, которая, во всякомъ случаѣ, честно исполняетъ свою задачу? Еслибъ даже убѣжденія ея"... Но онъ мнѣ не далъ и договорить.

— Прежде всего, — прервалъ онъ меня: — я не признаю клеветы въ журналистикѣ. Журналистика—поле для всѣхъ открытое, гдѣ всякій можетъ свободно оправдываться, опровергать и даже въ свою очередь клеветать. Безъ этого немыслимо издавать мало-мальски „живую" газету. Но главное — надо же наконецъ за умъ взяться. Пора разъ навсегда покончить съ этими гнѣздами разъѣвшагося либерализма, покончить такъ, чтобъ они ужъ и не воскресли. Щадить врага — это самая плохая политика. Одно изъ двухъ: или сдаться ему въ плѣнъ, или же бить, бить до тѣхъ поръ...

Такъ вотъ онъ что, милая тетенька, собрался совершить. Покончить съ „врагами" — съ чьими? со своими собственными, Ноздревскими врагами... ахъ! Спрашивается: неужто-жъ найдется въ мірѣ какая-то „сила", которая согласится войти въ союзъ съ Ноздревымъ, съ цѣлью сокрушенія Ноздревскихъ враговъ?!

Нѣтъ, какъ хотите, а Ноздревъ далеко не „умница". Все въ немъ глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществленія. Только вотъ негодяйство какъ будто скрашиваетъ его и даетъ поводъ думать, что онъ нѣчто смекаетъ и что-то можетъ совершить.

Вся его сила заключена именно въ этомъ негодяйствѣ: въ немъ да еще въ эпидемически развившейся путаницѣ понятій, благодаря которой, куда ни глянешь, кромѣ мути, ничего не видишь. Поль-

зуясь этими двумя содѣйствіями, онъ каждодневно будетъ твердить, что всѣ, кто не читаетъ его паскудной газеты—все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые повѣрятъ ему...

Но вы, милая тетенька, не вѣрьте! Не увлекайтесь ни Ноздревскими клеветами, ни намеками на Ноздревскую авторитетность и на какихъ-то случайныхъ людей, которые, будто бы, поддерживаютъ эту авторитетность. Смотрите на Ноздрева какъ можно проще: какъ на продуктъ современнаго вѣянья, то-есть какъ на бездѣльника и глупца. Тогда для васъ не только сдѣлается яснымъ секретъ его безцеремонности, но и паскудный листъ, въ которомъ онъ выливаетъ свои душевныя помои, перестанетъ казаться опаснымъ, а пребудетъ только паскуднымъ, чѣмъ ему и быть надлежитъ.

Какъ ни страннымъ покажется переходъ отъ Ноздрева къ литературѣ вообще, но, дѣлать нечего, приходится примириться съ этимъ. Перо краснѣетъ, возвѣщая, что Ноздревъ вторгся въ литературу и повидимому расположился внѣдриться въ ней, но это осязательный фактъ и никакое перо не въ силахъ опровергнуть его.

Ноздрева провела въ литературу улица, провела постепенно, переходя отъ одного видоизмѣненія къ другому. Начала съ Тряпичкина, потомъ пришла къ „нашему собственному корреспонденту“, потомъ къ Подхалимову и закончила гармоническимъ аккордомъ въ лицѣ Ноздрева. А покуда проходили эти видоизмѣненія, честная литература съ наивнымъ изумленіемъ восклицала: „кажется, что дальше и ити невозможно!“ Однакожъ оказалось возможнымъ.

Еще въ недавнее время наша литература жила вполнѣ обособленною жизнью, то-есть бряцала и занималась эстетикою. Но временамъ однакожъ и въ ней обнаруживались проблески, свидѣтельствовавшіе о стремленіи прорваться на улицу, или, вѣрнѣе сказать, создать ее, потому что тогда и „улицы“-то не было, а была только ширь да гладь да божья благодать, а надъ нею витало: „Печатать дозволяется. Цензоръ Красовскій“. Но именно по простотѣ и крайней вразумительности этого „печатать дозволяется“ никакія поползновенія не удавались, такъ что самыя смѣлыя экскурсіи въ область злобы дня прекращались по мановенію волшебства, не дойдя до перваго этажа. И въ концѣ концовъ литература вновь возвращалась къ бряцанію и разработкѣ вопросовъ чистаго искусства.

Эта полная отчужденность литературы отъ насущныхъ злобъ сообщала ей трогательно-благородный характеръ. Какъ будто она, какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступномъ чертогѣ и тамъ дремала, окутанная сновидѣніями. Но въ основѣ этихъ сновидѣній все-таки лежало „человѣчное“; такъ что ежели литература не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и „замаранность“ была въ то время явленіемъ исключительнымъ; ибо гдѣ же и какъ могла „замараться“ царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ? Вообще руководительство жизнью составляло тогда привилегію табели о рангахъ и ревниво оберегалось ею отъ посторонннихъ вторженій; литературѣ же предоставлялось стоять притиснутою въ углу и пробуждать благородныя чувства. Но все-таки повторяю: иногда даже подъ флагомъ благородства чувствъ литература упорствовала проводить нѣчто своеобразное, и тогда происходили коллизіи, вслѣдствіе которыхъ водворялось молчаніе и царевна вновь предавалась исключительно-эстетическимъ сновидѣніямъ.

Мнѣ могутъ возразить здѣсь: а иносказательный рабій языкъ? а умѣнье говорить между строками?—Да, отвѣчу я, дѣйствительно, объ эти характерныя особенности выработались во время пребыванія литературы въ плѣну, и объ несомнѣнно свидѣтельствуютъ о ея попыткахъ прорваться сквозь непріятельскую цѣпь. Но вѣдь, какъ ни говори, а рабій языкъ все-таки рабій языкъ и ничего больше. Улица никогда между строкъ читать не умѣла, и по отношенію къ ней рабій языкъ не имѣлъ и не могъ имѣть воспитательнаго значенія. Такъ что если тутъ и была побѣда, то очень и очень небольшая.

Улица заявила о своемъ нарожденіи уже на нашихъ глазахъ. Она создалась сама собой, вдругъ, безъ всякаго участія со стороны литературы. Послѣдняя, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, была до того истощена, измучена и отуманена, что при появленіи улицы даже не выказала особенной способности къ уясненію своихъ отношеній къ ней. Можно было подумать, что плѣнъ, въ которомъ она такъ долго томилась, сдѣлался ей милъ. Онъ напоминалъ ей о талантѣ, знаніи и высотахъ ума, словомъ сказать, обо всемъ, что было затѣснено, забито, но чего самая тьма не могла окончательно потемнить. Напротивъ того, улица съ перваго же раза зарекомендовала себя безевязнымъ галдѣніемъ, низменною несложностью требованій, живостью

предразсудковъ, дикостью идеаловъ, произвольностью отправныхъ пунктовъ и наконецъ какою-то удручающею безграмотностью. Но, въ то же время, та же улица выказала и чуткость, а именно: она отлично поняла, что литература для нея необходима, и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, всей массой хлынула, чтобы овладѣть ею. Двѣ силы встрѣтились лицомъ къ лицу: съ одной стороны, литература замученная, заподозрѣнная и недоумѣвающая; съ другой — улица, не только не заподозрѣнная, но прямо, какъ на преимущество, ссылающаяся на родство своихъ идеаловъ съ идеалами управы благочинія. Понятно, на чьей сторонѣ долженъ былъ остаться перевѣсъ.

Съ появленіемъ улицы литература, въ смыслѣ творческомъ, не замедлила совсѣмъ сойти со сцены, отчасти за недоступностью новыхъ мотивовъ для разработки, отчасти за общимъ равнодушіемъ ко всему, что не прикасается непосредственно къ уличному галдѣнію. Конечно, найдутся и теперь два-три исключенія, но это ужъ, такъ сказать, „послѣднія тучи разсѣянной бури“, которыя набрасываютъ остальные штрихи въ старой картинѣ, а передъ новою точно такъ же останавливаются въ недоумѣніи, какъ и всѣ прочіе. Ибо *злодѣ за кулисы посторонимъ* (т.-е. литературѣ) *воспрещается*...

По наружности, кажется, что никогда не бывало въ литературѣ такого оживленія, какъ въ послѣдніе годы; но, въ сущности, это только шумъ и гвалтъ взбудораженной улицы, это нестройный хоръ обострившихся вожделѣній, въ которомъ главная нота, по какому-то горькому фатализму, принадлежитъ подозрительности, сыску и безшабашному озлобленію. О творчествѣ нѣтъ и въ поминѣ. Нѣтъ ничего цѣльнаго, задуманнаго, выдержаннаго, законченнаго. Одни обрывки, которые много-много имѣютъ значеніе сырого матеріала, да и то матеріала несвязнаго, противорѣчиваго. „Для чего этотъ матеріалъ можетъ послужить? ежели для будущаго, то, право, будущее скорѣе сочтетъ болѣе удобнымъ совсѣмъ отвернуться отъ времени, породившаго этотъ матеріалъ, нежели заботиться объ его воспроизведеніи. Мы же, современники, читаемъ эти обрывки и чувствуемъ себя подъ гнетомъ какой-то безъисходной тоски. Странное, въ самомъ дѣлѣ, положеніе: ни въ жизни, ни въ литературѣ — нигдѣ разобраться нельзя. Вездѣ суета, вездѣ мельканіе, свара, сыскъ, безъ всякой надежды на обрѣтеніе мало-мальски твердой опоры, о которую могла бы притупиться эта безсмысленная сутолока.

Еслибъ представилась возможность творчески отнестись къ картинѣ этой всесторонней жизненной неурядицы, это уже былъ бы громадный выигрышъ въ смыслѣ общественнаго освѣженія. Соберите элементы удручающей насъ смуты, сгруппируйте ихъ, укажите каждому его мѣсто, его центръ тяготѣнія — одного этого будетъ достаточно, чтобъ взволновать честныя сердца и остепенить сердца самодовольныхъ и легкомысленныхъ глупцовъ. Но тутъ-то именно и встрѣчаются тѣ неодолимыя препятствія, которыя на всю область творчества налагаютъ какъ бы секвестръ.

Дѣло въ томъ, что вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, улица представляетъ собой только матеріалъ для литературы, а у насъ, напротивъ, она господствуетъ надъ литературой. Во всѣхъ видахъ господствуетъ: и въ видѣ частной инсинуаціи, частнаго насилія, и въ видѣ непререкаемо-возбраняющей силы. И на каждомъ шагу ставитъ „вопросы", на которые сдѣлалось какъ бы обязательнымъ, *до времени*, закрывать глаза. Тщетно вы станете доказывать, что вопросъ самый жгучій именно тогда и утрачиваетъ значительную часть своей жгучести, когда онъ подвергнутъ открытому изслѣдованію (допустимъ, даже самому страстному) — въ отвѣтъ на эти убѣжденія вамъ или скажутъ, что вы ставите ловушку, или же просто-на-просто посмотрятъ на васъ съ изумленіемъ. Потому что улицей овладѣлъ испугъ, и она ищетъ освободиться отъ него во что бы то ни стало. А такъ какъ она искони отъ всѣхъ недуговъ исцѣлялась первобытными средствами, въ родѣ шиворота (въ „Помоякъ" расшалившійся Ноздревъ такъ-таки прямо и сулитъ „либеральной" прессѣ... *розги*!!), то и теперь на всякія болѣе сложныя комбинаціи смотритъ какъ на злонамѣренный подвигъ или какъ на безуміе.

Улица тяжела на подъемъ въ смыслѣ умственномъ; она погрязла въ преданіяхъ, завѣщанныхъ мракомъ временъ, и нимало не изобрѣтательна. Она хочетъ, чтобъ торжество досталось ей даромъ или, во всякомъ случаѣ, стоило какъ можно меньше. Дешевле и проще плющильнаго молота ничего мракомъ временъ не завѣщано — вотъ она и приводитъ его въ дѣйствіе, не разбирая, что и во имя чего молотъ плющитъ. Да и гдѣ же тутъ разобраться, коль скоро у всѣхъ этихъ уличныхъ „охранителей" поголовно поджилки дрожатъ!

И замѣтьте, милая тетенька, вездѣ нынче такъ. Вездѣ одна внѣшняя суета, и вездѣ же какая-то блаженная увѣренность, что искомое цѣленіе само собою придетъ на крикъ: ego vos! Никогда

обстоятельства болѣе серьезныя не вызывали на борьбу такого множества легкомысленныхъ и самодовольныхъ людей. Мы, кажется, даже забыли совсѣмъ, что для того, чтобъ получить прочный результатъ, необходимо прежде всего потрудиться. Потрудиться не одной кожей, но и всѣмъ внутреннимъ существомъ. Но, можетъ быть, внутреннее-то существо уже до того въ насъ истрепалось, что и понадѣяться на него нельзя...

Какъ бы то ни было, но литературное творчество въ умаленіи. И едва ли я ошибусь, сказавъ, что тайна его исчезновенія заключается не въ собственномъ его безсиліи, а въ отсутствіи почвы, которую оно могло бы эксплуатировать. Творчество не можетъ сдѣлать шага, чтобы не встрѣтиться съ „вопросомъ", а стало-быть и съ матеріальною невозможностью. Приступится ли оно къ жизни такъ-называемаго культурнаго общества — половина этой жизни представляетъ заповѣдную тайну, и именно та половина, которая *всей* жизни даетъ колоритъ. Спустится ли оно въ глубины бытовой жизни — и тамъ его подстерегаетъ цѣлая масса вопросовъ: вопросъ аграрный, вопросъ общинный, вопросъ о народившемся „кулакѣ" и т. д. И всѣ эти вопросы — тоже заповѣдная тайна, хотя въ нихъ и только въ нихъ одних лежитъ разъясненіе всѣхъ невзгодъ, удручающихъ бытовую жизнь.

Но ежели вездѣ, куда ни оглянись, ничего, кромѣ испуга и обязательной тайны не обрѣтается, то ясно, что самая смѣлая попытка разложить и воспроизвести этотъ загадочный міръ ничего не дастъ, кромѣ бѣглыхъ, не имѣющихъ органической связи обрывковъ. Ибо какую же можетъ играть дѣятельную роль творчество, затертое среди испуговъ и тайностей?

Мнѣ скажутъ, быть можетъ: но существуетъ цѣлый міръ чисто психическихъ и нравственныхъ интересовъ, выдѣляющій безконечное множество разнообразнѣйшихъ типовъ, относительно которыхъ не можетъ быть ни вопросовъ, ни недоразумѣній. Да, такой міръ дѣйствительно есть, и литература отлично знала его въ то время, когда она, подобно спящей царевнѣ, дремала въ волшебныхъ чертогахъ. Но, во-первыхъ, типы этого порядка съ такимъ несравненнымъ мастерствомъ уже разработаны отцами литературы, что возвращаться къ нимъ значило бы только повторять азы. А во-вторыхъ — и это главное — попробуйте-ка въ настоящую минуту заняться, напримѣръ, воспроизведеніемъ „хвастуновъ", „лжецовъ", „лицемѣровъ", „ми-

зантроповъ“ и т. д.—вѣдь та же самая улица въ одинъ голосъ возопитъ: объ чемъ ты намъ говоришь? оставь старыя погудки и отвѣть на тѣ вопросы, которые затрогиваютъ насъ по существу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и матеріально оголтѣли?

Ибо никогда не была психологія въ фаворѣ у улицы, а нынѣче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте! до психологіи ли тутъ, когда въ цѣломъ организмѣ нѣтъ мѣста, которое бы не щемило и не болѣло!

Но, сверхъ того, психическій міръ, на который такъ охотно указываютъ, какъ на тихое пристанище, гдѣ литература не рискуетъ встрѣтиться ни съ какими недоразумѣніями —вѣдь и онъ сверху до низу измѣнилъ физіономію. Основныя черты типовъ, конечно, остались, но къ нимъ прилипло нѣчто совсѣмъ новое, прямо связанное съ злобою дня. Появились дѣльцы, карьеристы, хищники и т. д. Безспорно, послѣдніе типы очень интересны; но вѣдь ежели вы начнете ваше повѣствованіе словами: „Безтабашный совѣтникъ такой-то вкупѣ съ безшабашнымъ совѣтникомъ такимъ-то начертали планъ ограбленія Россіи“ (а какъ же иначе начать?)—то дальше ужъ незачѣмъ и идти. Ибо вы сейчасъ же очутитесь въ самомъ водоворотѣ „вопросовъ“ и именно тѣхъ вопросовъ, на которые, *до времени*, обязательно закрывать глаза.

Но говорятъ: умѣлъ же писать Пушкинъ?—умѣлъ! Написалъ же онъ „Повѣсти Бѣлкина“, „Пиковую Даму“ и проч.?—написалъ! Отчего же современный художникъ не можетъ обращать свою творческую дѣятельность на явленія такого же характера, которыми не пренебрегалъ величайшій изъ русскихъ художниковъ—Пушкинъ?

Отвѣтъ на это вовсе не труденъ. Во-первыхъ, Пушкинъ не одну „Пиковую Даму“ написалъ, а многое и другое, объ чемъ современные Ноздревы благоразумно умалчиваютъ. Во-вторыхъ, живи Пушкинъ *теперь*, онъ *навѣрное* не потратилъ бы себя на писаніе „Пиковой Дамы“. Вѣдь это только шутки шутятъ современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть подъ сѣнію памятника Пушкина. Въ дѣйствительности они столь же охотно пригласили бы Пушкина въ участокъ, какъ и всякаго другого, стремящагося проникнуть въ тайности современности. Ибо они отлично понимаютъ, что сущность Пушкинскаго генія выразилась совсѣмъ не въ „Пиковыхъ Дамахъ“, а въ тѣхъ стремленіяхъ къ обще-человѣческимъ идеаламъ,

на которыя тогдашняя управа благочинія, какъ и нынѣшняя, смотрѣла и смотритъ одинаково непріязненно.

И еще скажутъ: есть способъ и къ современности относиться, не возбуждая подозрительности въ улицѣ. Знаю я такой способъ и знаю, что онъ не разъ практиковался и практикуется и именно въ литературѣ Ноздревскаго пошиба. Но позвольте же мнѣ, милая тетенька, слогомъ литератора-публициста Евгенія Маркова доложить: вѣдь искусство есть алтарь, на которомъ воскуряется ѳиміамъ человѣчности. Не сикофантству, а именно человѣчности—это ужъ я отъ себя своимъ собственнымъ слогомъ прибавляю. Какимъ же образомъ оно, вмѣсто того, чтобы производить въ перлъ созданія, то-есть очеловѣчивать даже извращенныя человѣческія стремленія, будетъ брызгать слюною, прибѣгать къ митрогнозіи и молотить по головамъ? А вѣдь это-то собственно и разумѣется подъ „инымъ способомъ“ относиться къ современности.

Такимъ образомъ, творчество остается не у дѣлъ, отчасти за недоступностью матеріала для художественнаго воспроизведенія, отчасти за нравственною невозможностью отнестись къ этому матеріалу согласно съ указаніями улицы. На мѣстѣ творчества въ литературѣ водворилась улица съ цѣлой массой вопросовъ, которые такъ и рвутся наружу, которыхъ, собственно говоря, и скрыть-то никакъ невозможно, но которые, тѣмъ не менѣе, остаются для литературы заповѣдною областью. То-есть, именно для той единственной силы, которая имѣетъ возможность ихъ регулировать, сообщить имъ стройность и смягчить ихъ жгучій характеръ.

Не думайте однакожъ, что я пишу обвинительный актъ противъ возникновенія улицы и ея вторженія въ литературу—напротивъ того, я отлично понимаю и неизбѣжность, и несомнѣнную законность этого факта. Невозможно, чтобъ улица вѣчно оставалась подъ спудомъ; невозможно,—такъ какъ, въ противномъ случаѣ, и въ обществѣ, и въ странѣ прекратилось бы всякое жизненное движеніе. Поэтому, какъ только появились сколько-нибудь подходящія условія, улица и воспользовалась ими, чтобъ засвидѣтельствовать о себѣ. Она создалась сама собою, безъ всякихъ предварительныхъ подготовокъ; создалась, потому что имѣла право на самосозданіе. Мало того, что она сама создалась, но и втянула въ себя табель о рангахъ, которая еще такъ недавно не признавала ея существованія и которая теперь

представляетъ, наравнѣ съ прочими случайными элементами, только составную ея часть, идущую за ея колебаніями и даже оберегающую ея право на самоистязаніе подъ гнетомъ всевозможныхъ жизненныхъ неясностей.

Но я иду еще дальше: я объясню себѣ, *почему* улица въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее знаемъ, такъ мало привлекательна. Почему требованія ея низменны, отправные пункты дики и произвольны, а идеалы равносильны идеаламъ управы благочинія. Все это иначе не можетъ и быть. Это особаго рода фатальный законъ, въ силу котораго первая стадія развитія всегда принимаетъ формы ненормальныя и даже уродливыя. Крестьянинъ, освобождающійся отъ власти земли, чтобъ вступить въ область цивилизаціи, тоже представляетъ собою типъ не только комическій, но и отталкивающій. Наконецъ, всѣмъ извѣстенъ непріятный типъ мѣщанина въ дворянствѣ. Но это еще не значитъ, чтобъ эмансипирующійся человѣкъ былъ навсегда осужденъ оставаться въ рамкахъ отталкивающаго типа. Новыя перспективы непремѣнно вызовутъ потребность разобраться въ нихъ, а эта разборка приведетъ за собой новый и уже высшій фазисъ развитія. То же самое, конечно, сбудется и съ улицей. Состояніе хаотической взбутораженности, въ которомъ она нынѣ находится, можетъ привести ее только къ глухой стѣнѣ, и разъ это случится—самая невозможность идти далѣе заставитъ ее очнуться. И тогда же начнется провѣрка руководившихъ ее идеаловъ, а затѣмъ и несомнѣнное ихъ упраздненіе.

Я понимаю, что все это законно и неизбѣжно, что улица имѣетъ право на существованіе и что дальнѣйшія ея метаморфозы представляютъ только вопросъ времени. Сверхъ того, я знаю, что понять извѣстное явленіе значитъ оправдать его.

Но оправдать явленіе—одно, а жить подъ его давленіемъ—другое. Вотъ это-то противоположеніе между олимпическимъ величіемъ теоріи и болѣзненною чувствительностью жизни и составляетъ болящую рану современнаго человѣка.

Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой мы вращаемся, но жить въ ней нестерпимо-мучительно. Вотъ почему мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ людей далеко не высшихъ, которые однакожъ изнемогаютъ, снѣдаемые безсознательною тоской. И я нимало не былъ бы удивленъ, еслибъ въ этой массѣ тоскующихъ на-

шлись и такіе, которые сами участвуютъ въ созданіи пустоты. Ибо и ихъ только незнаніе, гдѣ отыскать выходъ изъ обуявшей паники, можетъ заставить упорно принимать жизненные миражи за подлинную жизнь, и легкомысленное мельканіе вокругъ разрозненныхъ „вопросовъ“ — предпочитать трудной, но настоятельно требующейся провѣркѣ основныхъ идеаловъ современности.

Но оставимъ покуда въ сторонѣ широкое русло жизни и ограничимся однимъ ея уголкомъ—литературою. Этотъ уголокъ мнѣ особенно дорогъ, потому что на немъ съ дѣтства были сосредоточены всѣ мои упованія, и онъ, въ свою очередь, далъ мнѣ гораздо больше того, что я долженъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого замкнутаго, по волѣ судебъ, міра былъ моимъ личнымъ жизненнымъ процессомъ; его незащищенность — моею незащищенностью; его замученность — моею замученностью; наконецъ его кратковременныя и рѣдкія ликованія — моими ликованіями. Это чувство отождествленія личной жизни съ жизнью излюбленнаго дѣла такъ сильно и принимаетъ съ годами такіе размѣры, что заслоняетъ отъ глазъ даже ту широкую, не знающую береговъ жизнь, передъ лицомъ которой все живущее представляетъ лишь безъимянную величину, вѣчно стоящую подъ ударомъ случайности.

Несомнѣнно, что вторженіе въ литературу Ноздревскаго элемента не составляетъ для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно объяснить себѣ, что въ этомъ фактѣ ничего нѣтъ ни произвольнаго, ни неожиданнаго. Я признаю, что въ современной русской литературѣ на первомъ планѣ должна стоять *газета*, и что въ этой газетѣ *должна* господствовать публицистика подсиживанья, сыска и клеветы. Допускаю также появленіе на сцену борзописцевъ, которые не могутъ доказать, гдѣ они вчера ночевали, и у которыхъ нѣтъ другихъ словъ на языкѣ, кромѣ словъ непомнящихъ родства...

Все это я допускаю, объясняю себѣ и признаю. А стало быть обязываюсь и оправдать.

Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно ноетъ при видѣ этого зрѣлища? отчего я, сверхъ того, убѣжденъ, что оно способно возбуждать негодованіе не во мнѣ одномъ, но и во всѣхъ вообще честныхъ людяхъ?

Оттого, милая тетенька, что всѣ мы, яко человѣки, не только мыслимъ, но и живемъ.

Письмо двѣнадцатое.

Милая тетенька.

Не дальше какъ вчера я былъ на раутѣ у тайнаго совѣтника Грызунова (кромѣ медалей, имѣетъ знакъ отличія мужского ордена для ношенія по установленію).

Грызуновъ — мой школьный товарищъ и по призванію экономистъ. Еще на школьной скамьѣ онъ постигъ нѣкоторыя экономическія истины и съ помощью ихъ объяснялъ смущавшія насъ явленія.

— Грызуновъ! — спросишь его, бывало: — отчего Куропатка (прозвище одного изъ воспитанниковъ) продалъ Карасю (прозвище другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Карась за такую же булку долженъ былъ заплатить Куропаткѣ четыре листа?

— Оттого, — разрѣшалъ Грызуновъ безъ труда: — что вчера, кромѣ Куропатки, предлагалъ Карасю свою булку еще Котенокъ (третій товарищъ); стало-быть предложеніе было большое, а спросъ — малый. Нынче Котенокъ съѣлъ свою булку самъ; вслѣдствіе этого предложеніе уменьшилось вдвое, и сообразно съ этимъ вдвое же увеличилась и цѣна на булки.

Или:

— Отчего, Грызуновъ, монета всегда чеканится круглая, между тѣмъ какъ пироги съ черникой безразлично пекутся и круглые, и овальные, и четырехугольные?

— Оттого, — объяснялъ онъ: — что обыкновенно монету носятъ въ карманѣ; стало быть, еслибъ ее чеканили, напримѣръ, четырехугольною, то, безпрерывно цѣпляясь углами о подкладку кармана, она продырила бы ее быстрѣе, нежели желательно. Пироги же кладутся не въ карманъ, а въ ротъ и, будучи мягки, доходятъ по назначенію, ничего не продырявъ.

За быстроту, съ которою давались эти отвѣты, Грызунову было дано прозвище восьмого мудреца; а такъ какъ мы были тогда того мнѣнія, что плохой тотъ школяръ, который не надѣется быть министромъ, то на долю Грызунова самымъ естественнымъ образомъ выпадалъ портфель министра финансовъ. Съ тѣмъ мы и вышли изъ школы.

Съ тѣхъ поръ прошли годы. Грызуновъ немедленно принялся оправдывать возлагаемыя на него надежды. Сначала онъ сдѣлался „нашимъ молодымъ и блестящимъ экономистомъ“, потомъ—„нашимъ извѣстнымъ экономистомъ“ и наконецъ—„нашимъ маститымъ экономистомъ“. Писалъ онъ изобильно и легко, писалъ обо всемъ, объ чемъ взгрустнется... И объ томъ, отчего мы бѣдны, и объ томъ, отчего у насъ во всемъ изобиліе; и о томъ, что изобиліе уменьшаетъ цѣну на предметы, и о томъ, что хотя, *вообще говоря*, изобиліе и уменьшаетъ цѣну на предметы, но „въ то же время, до извѣстной степени, и увеличиваетъ ее“. Словомъ сказать, возьметъ изъ кучи любой вопросъ и безъ труда па него отвѣтитъ. Природа даровала ему желѣзную поясницу и чугунное при ней днище, и онъ съ признательностью пользовался этимъ даромъ. Сядетъ, посидитъ, и сколько посидитъ, столько напишетъ. Урветъ что-нибудь у Бастіа, или у Рикардо, или даже у Кокорева („нѣчто о глазомѣрѣ въ связи съ смекалкою“), а скажетъ, что самъ выдумалъ. И, написавши, сидитъ нѣкоторое время дома и ждетъ, что его позовутъ: пожалуйте, Иванъ Александрычъ, министерствомъ управлять! Ждалъ онъ такимъ образомъ цѣлыхъ двадцать-пять лѣтъ; его не разъ звали, но всегда дѣло оканчивалось тѣмъ, что его же спрашивали: „ахъ, объ чемъ, бишь, нужно было съ вами поговорить?“ Значитъ, звать-звали, а призвать не призвали. Какъ это случилось—онъ не понимаетъ, да и я, признаться, не понимаю. Человѣкъ знаетъ, отчего монета кругла (а можетъ быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого какъ будто дѣла нѣтъ. Не повезло ему — вотъ и все. Иногда онъ впадалъ въ уныніе отъ этой несправедливости, но вѣра, что никому въ цѣлой Россіи неизвѣстны такъ близко тайны спроса и предложенія (а это, тетенька, позамысловатѣе „Тайнъ мадридскаго двора“) — спасала его. Несмотря на длинный рядъ неудачъ и разочарованій, всякій разъ (и это въ теченіе всего двадцати-пятилѣтняго періода!), какъ въ извѣстныхъ сферахъ возникало движеніе, онъ вновь начиналъ волноваться, надѣяться и ждать. Несомнѣнно, ждетъ и поднесь.

Это постоянное, страстно-выжидательное состояніе оказываетъ извѣстное вліяніе и на его отношенія къ людямъ. Когда въ воздухѣ носятся либеральныя вѣянія, онъ льнетъ къ либераламъ, а консерваторовъ называетъ измѣнниками. Когда на рынкѣ въ цѣнѣ консерватизмъ, онъ прилѣпляется къ консерваторамъ и называетъ измѣнни-

ками либераловъ. Но это въ немъ не предательство, а только слѣдствіе слишкомъ живучаго желанія пристроиться.

Я думаю, что Грызуновъ не жаденъ, и охотно удовольствовался бы половиннымъ содержаніемъ, еслибъ его призвали. Я даже думаю, что, въ сущности, онъ и не честолюбивъ. Онъ просто знаетъ свои достоинства и цѣнитъ ихъ — вотъ и все. Но такъ какъ и другіе знаютъ свои достоинства и цѣнятъ ихъ, то онъ и затерялся въ общей свалкѣ.

Въ послѣднее время онъ какъ-то особенно всполошился. Видитъ, что пустого мѣста много, а людей, знающихъ достовѣрно, отчего монета кругла — нѣтъ. При томъ же, fugaces labuntur anni, ему ужъ шестой десятокъ въ исходѣ, а онъ все еще ни при чемъ. Надо ловить. Поэтому онъ съ утра до вечера мелькаетъ, съ утра до вечера всѣмъ и каждому предлагаетъ вопросы по всѣмъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія и самъ же на нихъ отвѣчаетъ. И все вопросы труднѣйшіе, такъ что только въ „Задачникѣ“ Малинина и Буренина и можно такіе встрѣтить. „У разносчика былъ лотокъ съ апельсинами; сто изъ нихъ онъ продалъ, два самъ съѣлъ, три (съ пятью)никами) бѣднымъ мальчикамъ роздалъ, а пять подарилъ околоточному — сколько всѣхъ апельсиновъ было?“ Другой такой же претендентъ на ность или задумается, прежде нежели отвѣтить, или отвѣтитъ уклончиво, что бабушка на-двое сказала, а Грызуновъ — быстро, отчетливо, звонко: „сто десять!“ Сверхъ того, чтобы удовлетворить сжигающей его жаждѣ дѣятельности, онъ устроилъ у себя по субботамъ рауты, и кого ни встрѣтитъ, всѣхъ приглашаетъ: „Субботы не забудьте... это страмъ!!“

То-есть, не субботы „страмъ“, а то, что требуются почти нечеловѣческія усилія, чтобы устроить по субботамъ обмѣнъ мыслей. Но въ хлопотахъ онъ не договариваетъ фразы и спѣшитъ хлопотать дальше. И всякому что-нибудь на ходу скажетъ. Одному — что въ виду общаго врага всѣ партіи, и либералы, и консерваторы, должны въ субботу подать другъ другу руки; другому — что теперь-то именно, т.-е. опять-таки въ будущую субботу, и наступила пора сосчитаться и покончить съ либералами, признавъ ихъ сообщниками, попустителями и укрывателями превратныхъ толкованій; третьему: „слышали, батюшка, что консерваторы-то наши затѣяли — ужасъ! а впрочемъ въ субботу поговоримъ!“

Какимъ образомъ весь этотъ разнокалиберный матеріалъ одновременно въ немъ умѣщается—этого я объяснить не могу. Но знаю, что, въ сущности, онъ замѣчательно добръ, такъ что стоитъ только пять минутъ поговорить съ нимъ, какъ онъ уже восклицаетъ: „вотъ мы и объяснились!“ Даже въ томъ его убѣдить можно, что ничего нѣтъ удивительнаго, что его не призываютъ. Онъ выслушаетъ, скажетъ: „тѣмъ хуже для Россіи!“—и успокоится.

Такихъ Лжедимитріевъ нынче, милая тетенька, очень много. Слоняются, постылые тушницы, вторгаются въ чужія квартиры, останавливаютъ прохожихъ на улицахъ и хвастаютъ, хвастаютъ безъ конца. Одинъ—табличку умноженія знаетъ; другой утверждаетъ, что Россія—шестая часть свѣта, а третій безъ запинки разрѣшаетъ задачу: „летѣло стадо гусей“. Все это—права на признательность отечества; но когда наступитъ время для признанія этихъ правъ удовлетворительными, чтобы стоять у кормила—этого я сказать не могу. Можетъ быть и скоро.

Меня Грызуновъ долгое время любилъ: потомъ сталъ не любить и называть „краснымъ“; потомъ опять полюбилъ. Въ какомъ положеніи находятся его чувства ко мнѣ въ настоящую минуту—я опредѣлить не могу, но когда мы встрѣчаемся, то происходитъ нѣчто странное. Онъ смотритъ на меня несомнѣнно-добрыми глазами, улыбается... и молчитъ. Я тоже молчу. Это значитъ, что мы понимаемъ другъ друга. Но всякая наша встрѣча непремѣнно кончается тѣмъ, что онъ скажетъ:

— А что же субботы... забылъ?

А какъ-то на дняхъ даже прибавилъ:

— Вѣдь надо же, наконецъ! Надо, чтобъ благомыслящіе люди всѣхъ оттѣнковъ сговорились между собой! Потому что, въ сущности, насъ раздѣляютъ только недоразумѣнія, и стоятъ откровенно объясниться, чтобы разногласія упали сами собой. Такъ до субботы... да?

Вотъ я въ прошлую субботу и отправился.

Когда я пріѣхалъ, всѣ уже собрались въ столовой вокругъ большого стола, за которымъ любезная хозяйка разливала чай. Однакожъ, хотя я и прежде замѣчалъ въ обстановкѣ и составѣ Грызуновскихъ раутовъ нѣкоторыя неожиданности, но теперь эти неожиданности уже прямо приняли характеръ какихъ-то ловушекъ, которыхъ никакимъ образомъ предусмотрѣть нельзя.

Прежде всего меня поразило то, что подлѣ хозяйки дома сидѣла „Дама изъ Амстердама“, необычайныхъ размѣровъ особа, которая днемъ даетъ представленія въ Пассажѣ, а по вечерамъ показываетъ себя въ частныхъ домахъ: возьметъ чашку съ чаемъ, поставитъ себѣ на грудь и, не проливши ни капли, выпьетъ. Грызуновъ отрекомендовалъ меня ей и шепнулъ мнѣ на ухо, что она приглашена для „оживленія общества“. Затѣмъ, не успѣлъ я пожать руки гостепріимнымъ хозяевамъ, какъ вдругъ... слышу голосъ Ноздрева!!

— Любовь къ отечеству,—вѣщаетъ этотъ голосъ:—это такое святое чувство, которое могутъ понимать и воздѣлывать только возвышенныя сердца!

Вматриваюсь: дѣйствительно — „онъ“! Во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и такъ благороденъ, что еслибы не сидѣлъ за столомъ, то можно было бы принять его за офиціанта. Изрекаетъ обязательные аформзмы и даже сознаетъ себя въ правѣ изрекать таковые, потому что успѣхъ „Помой“ ростетъ не по днямъ, а по часамъ. Рядомъ съ нимъ сидитъ и почтительно вздрагиваетъ плечами бывшій начальникъ штаба эоіонскихъ войскъ, юркій человѣчекъ, который хотя и былъ побѣжденъ египетскимъ полководцемъ Радамесомъ (изъ „Аиды“), но всѣмъ разсказываетъ, что „только наступившая ночь помогла Радамесу спастись въ постыдномъ бѣгствѣ“. Нѣсколько поодаль расположился Расплюевъ, который не сводитъ съ Ноздрева глазъ и очевидно завидуетъ его спокойному величію.

Да и самъ Грызуновъ почти не отходитъ отъ Ноздрева, такъ что я начинаю подозрѣвать, ужъ не онъ ли скрывается подъ псевдонимомъ „Не вѣрьте мнѣ“, подписаннымъ подъ блестящими экономическими статьями, украшающими „Помой“. По крайней мѣрѣ, не успѣлъ я порядкомъ осмотрѣться, какъ Грызуновъ отвелъ меня въ сторону и шепнулъ на ухо:

— Ноздревъ нынче—сила! да-съ, батюшка, сила! И надо съ этой силой считаться! Да-съ, считаться-съ.

Наконецъ и я кой-какъ примостился между собесѣдниками и приготовился быть свидѣтелемъ прохожденія раута.

Разумѣется, я не буду описывать всѣ подробности раута, но думаю, что краткій разсказъ будетъ для васъ не безъинтересенъ. Героемъ является Ноздревъ, который все время, пока мы сидѣли за чаемъ, удерживалъ за собой первенствующее значеніе. Онъ говорилъ

непрерывно и притомъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ. И о томъ, что „недугъ залегъ глубоко“, и о томъ, что редакція „Помой“ твердо рѣшилась держать въ рукахъ свое знамя, и о томъ, что прежде всего необходимо окунуться въ волны народнаго духа и затѣмъ предпринять крещеніе огнемъ и мечомъ.

Высказавши это послѣднее предположеніе, онъ на минуту стыдливо умолкъ, но, видя, что Расплюевъ еще чего-то отъ него ждетъ, прибавилъ:

— А потомъ будемъ врачевать!

Этотъ выводъ всѣхъ присутствующихъ утѣшилъ, убѣдивши, что Ноздревъ обдумалъ свою программу основательно, и стало быть положиться на него можно. Что касается до Грызунова, то онъ положительно млѣлъ отъ восхищенія. Все время онъ шнырялъ около стола и вторилъ Ноздреву, восклицая:

— Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совершенно справедливо!

И затѣмъ, подбѣгая ко мнѣ, шепталъ:

— Да-съ, батюшка, это—сила! Какъ тамъ ни толкуй, что у Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а считаться съ нимъ все-таки надо... да-съ!

Словомъ сказать, Ноздревъ былъ истиннымъ героемъ раута. Даже тогда, когда гости наконецъ оставили столовую и разсѣялись по другимъ комнатамъ—и тутъ компактная кучка постоянно окружала Ноздрева, который объяснялъ свои виды по всѣмъ отраслямъ политики, какъ внутренней, такъ и внѣшней. И замѣтьте, милая тетенька, что въ числѣ слушателей, внимавшихъ этому новому оракулу, было значительное число травленныхъ администраторовъ, которые въ свое время негодовали и приносили жалобы на вмѣшательство печати, а теперь, глядя на Ноздрева, приходили отъ нея въ восхищеніе и вмѣстѣ съ редакторомъ „Помой“ требовали для слова самой широкой свободы.

— Уничтожьте цензуру,— ораторствовалъ Ноздревъ:— и вы увидите, что дурныя страсти, проникнувшія въ нашу литературу, разсѣются сами собою. Мы, благонамѣренная печать, беремся за это дѣло и ручаемся за успѣхъ. Но само собой разумѣется, что при этомъ необходимы соотвѣтствующіе карательные законы, которые сдѣлали бы наши усилія плодотворными...

А Грызуновъ, слушая эти рѣчи, снова бѣгалъ и восклицалъ:

— Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое я всегда говорилъ!

И, обращаясь ко мнѣ, прибавлялъ:

— Удивительно, какъ быстро растутъ люди въ наше время! Ну, что такое былъ Ноздревъ, когда Гоголь познакомилъ насъ съ нимъ, а посмотри, какъ онъ... вдругъ выросъ!

Тѣмъ не менѣе, Грызуновъ понялъ, что восхищаться цѣлый вечеръ Ноздревымъ да Ноздревымъ—хоть кого утомитъ. Поэтому онъ рѣшился устроить для гостей дивертисементъ, который впрочемъ былъ имъ обдуманъ уже заранѣе.

Прежде всего къ содѣйствію была призвана „Дама изъ Амстердама", показывавшая себя съ успѣхомъ при всѣхъ европейскихъ дворахъ и прозванная за свою тучность „царь-пушкой".

— Господа!—выкрикивалъ Грызуновъ, переходя изъ комнаты въ комнату:—Анна Ивановна Зойдерзее благосклонно изъявила согласіе показать опыты „непосредственнаго самопитанія". Не угодно ли въ залъ? Надѣюсь, что вы ничего не имѣете противъ этого?—добавилъ онъ, обращаясь къ Ноздреву.

Гости высыпали въ залъ. На середину комнаты вывели Анну Ивановну и на груди у нея утвердили блюдо съ ростбифомъ въ одиннадцать костей. Затѣмъ она начала кивать головой; кивала-кивала—и черезъ пять минутъ не только мяко̀тей, но и костей на блюдѣ не осталось. Публика въ волненіи все больше и больше съуживала кругъ и наконецъ вплотную обступила ее. Кто-то спросилъ, неужто она замужемъ, и, получивъ отвѣтъ, что замужемъ за слономъ, находящимся въ Зоологическомъ саду г-жи Ростъ, молвилъ: „ого!" Кто-то другой громко соображалъ, что̀ можетъ стоить ея содержаніе, если она съѣдаетъ, положимъ, хоть десять ростбифовъ въ день? а третій сверхъ того напоминалъ: „пѣть, вы сосчитайте, сколько ей аршинъ матеріи на платье нужно!" А она между тѣмъ, ликующая и довольная, пыхтѣла и отдувалась. Но, казалось, все еще настоящимъ образомъ сыта не была, ибо съ такою строгостью посмотрѣла на маленькаго сенатора изъ стараго сената, который слишкомъ неосторожно къ ней подскочилъ, что бѣдняга струсилъ и поскорѣй юркнулъ въ толпу.

Но тутъ, милая тетенька, случился скандалъ. У одного сена-

тора—тоже изъ стараго сената—исчезъ изъ кармана носовой платокъ, и такъ какъ содержаніе старичку присвоено небольшое, то онъ началъ жаловаться. Началъ язвить, что хоть у него дома платковъ и много, но изъ этого не явствуетъ, чтобъ дозволительно было воровать; что платокъ есть собственность, которую потрясать не менѣе предосудительно, какъ и всякую другую; что онъ и прежде не разъ зарекался ѣздить на вечера съ фокусниками, а впредь ужъ, конечно, его на эту удочку не поймаютъ; что, наконецъ, онъ въ эту самую минуту чувствуетъ потребность высморкаться и т. д. Произошло общее смятеніе; Грызунову слѣдовало бы сейчасъ же удовлетворить сердитаго старика новымъ платкомъ, а онъ вмѣсто того предпринялъ слѣдствіе: сталъ подходить къ гостямъ, засматривать имъ въ глаза, какъ бы спрашивая: не ты ли стибрилъ? Наконецъ взоръ его остановился на Ноздревѣ и Расплюевѣ. Оба отдѣлились отъ прочихъ гостей и оживленно между собой перешептывались, какъ будто дѣлили добычу. Тогда все и для всѣхъ сразу сдѣлалось яснымъ... Но хозяинъ, чтобы не потрясти Ноздревскаго авторитета, кончилъ тѣмъ, съ чего долженъ былъ начать, т.-е. велѣлъ подать потерпѣвшей сторонѣ свой собственный платокъ. А такъ какъ при этомъ одинъ изъ присутствующихъ пожертвовалъ еще старую пуговицу, то добрый старикъ былъ съ лихвою вознагражденъ. Недоразумѣніе прекратилось, и Грызуновъ, чтобъ успокоить гостей, ходилъ между ними и объяснялъ:

— Что будете дѣлать... это болѣзнь! И все-таки, повторяю, Ноздревъ—сила!

Такимъ образомъ Ноздревъ вышелъ изъ этого казуса съ честью.

Когда волненіе улеглось, Грызуновъ приступилъ къ молодому поэту Мижуеву (племянникъ Ноздрева) съ просьбой прочесть его новое, нигдѣ еще не напечатанное стихотвореніе. Поэтъ съ минуту отпирался, но послѣ нѣкоторыхъ настояній выступилъ на то самое мѣсто, гдѣ еще такъ недавно стояла „Дама изъ Амстердама“, откинулъ кудри и твердымъ голосомъ произнесъ:

Подъ вечеръ осени ненастной
Она въ пустынныхъ шла мѣстахъ
И тайный плодъ любви несчастной
Держала въ трепетныхъ рукахъ...

Но тутъ опять произошелъ скандалъ, потому что едва успѣлъ поэтъ продекламировать сейчасъ приведенные стихи, какъ кто-то въ толпѣ крикнулъ:

— Грабятъ!

А на возгласъ этотъ—въ другомъ углу другой голосъ взволнованно отозвался:

— Помилуйте! да тутъ пожалуй сапоги снимутъ!

Оказалось однакожъ, что это было смятеніе чисто библіографическаго свойства. Между гостями какимъ-то образомъ затесался старый библіографъ, который угадалъ, что стихотвореніе, выдаваемое Мижуевымъ за свое, принадлежитъ къ числу лицейскихъ опытовъ Пушкина, и, будучи подъ живымъ впечатлѣніемъ Поздревскихъ статей о потрясеніи основъ, поспѣшилъ объ этомъ заявить. А такъ какъ библіографъ еще въ юности написалъ объ этомъ стихотвореніи рефератъ, который постоянно носилъ съ собою, то онъ тутъ же вынулъ его изъ кармана и прочиталъ. Рефератомъ этимъ было на незыблемыхъ основаніяхъ установлено: 1) что стихотвореніе „Подъ вечеръ осенью ненастной“ несомнѣнно принадлежитъ Пушкину; 2) что въ первоначальной редакціи первый стихъ читался такъ: Подъ вечерокъ весны ненастной“, но потомъ, уже по зачеркнутому, состоялась новая редакція; 3) что написано это стихотвореніе въ неизвѣстномъ часу, неизвѣстнаго числа, неизвѣстнаго года и даже неизвѣстно гдѣ, хотя новѣйшія библіографическія изслѣдованія и дозволяютъ думать, что мѣстомъ написанія былъ лицей; 4) что въ первый разъ оно напечатано неизвѣстно когда и неизвѣстно гдѣ, но потомъ постоянно перепечатывалось; 5) что на подлинномъ листѣ, на которомъ стихотвореніе было написано (*за сообщеніе этого свѣдѣнія приносимъ нашу искреннѣйшую благодарность покойному библіографу Гентади*), сбоку красовался чернильный кляксъ, а внизу поэтъ собственноручно нарисовалъ перомъ дѣвицу, у которой въ рукахъ ребенокъ и которая повидимому уже беременна другимъ; и наконецъ 6) что нѣтъ занятія болѣе полезнаго для здоровья, какъ библіографія.

Когда все это было непререкаемымъ образомъ доказано и подтверждено, приступили съ вопросомъ къ Ноздреву (онъ привезъ Мижуева къ Грызуновымъ), на какомъ основаніи онъ дозволилъ себѣ ввести въ порядочный домъ завѣдомаго грабителя? А при этомъ намекнули и на пропавшій платокъ. На что Ноздревъ объяснилъ, что

поступокъ Мижуева объясняется не воровствомъ, а начитанностью: что нынѣшняя молодежь слишкомъ много читаетъ, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, ежели по временамъ происходятъ совпаденія. Что же касается до обвиненія его лично въ кражѣ платка, то платокъ этотъ, дѣйствительно, у него въ карманѣ, но какимъ путемъ онъ туда попалъ — этого онъ не вѣдаетъ, потому что былъ въ то время въ безпамятствѣ. „Впрочемъ,— прибавилъ онъ,—платокъ такой, что не стоитъ объ немъ разговаривать". И въ удостовѣреніе вынулъ платокъ изъ кармана и показалъ; и всѣ убѣдились, что дѣйствительно не стоило объ такомъ платкѣ говорить.

Такимъ образомъ Ноздревъ и во второй разъ вышелъ изъ затрудненія съ честью.

Однакожъ положеніе Грызупова было очень щекотливое. Еще одинъ или два такихъ казуса—и репутація Ноздрева неизбѣжно должна попатнуться. Издатель-редакторъ „Помой" находился въ положеніи того вора, котораго, несмотря на несомнѣнныя улики, присяжные оправдали и которому судья сказалъ: „Подсудимый! вы свободны; но знайте, что вы все-таки воръ и что присяжные не всегда будутъ расположены оправдывать васъ. Идите и старайтесь впередъ не воровать". Поэтому хотя въ программѣ раута стояли „Разсказы изъ народнаго быта", но Грызуновъ, сообразивши, что литературѣ въ его домѣ не везетъ (пожалуй опять кто-нибудь закричитъ: караулъ!), рѣшился пропустить этотъ нумеръ. Не зная, чѣмъ наполнить конецъ вечера (было только половина двѣнадцатаго, а ужина у Грызуновыхъ не полагалось), онъ съ тоской обводилъ глазами присутствующихъ, какъ бы вызывая охотниковъ на состязаніе. Какъ вдругъ его взоръ упалъ на „свѣдущаго человѣка", и блестящая мысль мгновенно созрѣла въ его головѣ.

— Мартынъ Иванычъ! васъ-то намъ и надо! — воскликнулъ онъ въ восхищеніи и, подводя новаго корифея къ Ноздреву, рекомендовалъ:—Мартынъ Иванычъ Задека! на всѣ вопросы имѣетъ приличные отвѣты! Скатайте изъ хлѣба шарикъ, киньте на удачу, и на какой нумеръ попадетъ—вездѣ выйдетъ исполненіе желаній.

— „Свѣдущій человѣкъ"?—благосклонно переспросилъ Ноздревъ и, вынувъ изъ кармана табакерку, хотѣлъ-было нюхнуть табачку, какъ одинъ изъ близъ-стоящихъ сенаторовъ, безъ церемоній взявъ у него табакерку изъ рукъ, сказалъ:

— Прежде нежели присвоивать себѣ чужую табакерку...

Но Ноздревъ не далъ ему докончить и вновь вышелъ съ честью изъ затрудненія, отвѣтивъ:

— Что-жъ, если табакерка принадлежитъ вамъ, то возьмите ее!

Задека между тѣмъ объяснилъ присутствующимъ, что онъ, дѣйствительно, можетъ отвѣчать на всѣ вопросы, но преимущественно по питейной части.

— Вѣрно... тово? — пошутилъ Ноздревъ, щелкнувъ себя по галстуку.

— Было-таки,—скромно отвѣтилъ Задека.

— И дозволите испытать ваши познанія?

— Хоть сейчасъ.

Тогда произошло нѣчто изумительное. Во-первыхъ, Ноздревъ бросилъ въ свѣдущаго человѣка хлѣбнымъ шарикомъ и попалъ на № 24. Вышло: „Кто пьетъ вино съ разсужденіемъ, тотъ можетъ потреблять оное не только безъ ущерба для собственнаго здоровья, но и съ пользою для казны“. Во-вторыхъ, по иниціативѣ Ноздрева же, Мартыну Задекѣ на-крѣпко завязали глаза, потомъ налили двадцать рюмокъ разныхъ сортовъ водокъ и поставили передъ нимъ. По командѣ „пей!“ —онъ выпивалъ одну рюмку за другой и по мѣрѣ выпиванія выкликалъ:

— Полынная! завода Штритера! оптовый складъ тамъ-то!

— Столовое очищенное вино! завода Зызыкина въ Кашинѣ! Оптовый складъ въ Москвѣ!

— Зорная! завода Дюшаріо! и т. д.

И ни разу не ошибся, а зорной даже попросилъ повторить.

Но этимъ не удовольствовались. Чтобъ окончательно убѣдиться въ правахъ Задеки на званіе „свѣдущаго человѣка“, налили въ стаканъ понемногу (но не поровну) каждой изъ двадцати водокъ и заставили его выпить эту смѣсь. Выпивши, онъ обязывался опредѣлить, сколько въ предложенной смѣси находится процентовъ каждаго сорта водки. И опредѣлилъ.

Тогда между присутствующими поднялся настоящій вой. Рукоплескали, стучали ногами, обнимали другъ друга, поздравляли съ „обновленіемъ“, кричали, что Россія не погибнетъ, а кто-то даже запѣлъ: „Коль славенъ“... Одинъ Ноздревъ былъ какъ будто сму-

ценъ: очевидно. онъ не ожидалъ, что явится новый Янъ Усмовичъ, который перейметъ у него славу...

Я же, признаюсь, стоялъ въ сторонѣ и думалъ, какъ бы хорошо было, еслибъ въ эту минуту Грызуновъ возгласилъ: господа! не угодно ли закусить?

Но этого не случилось. Напротивъ, лампы стали меркнуть, меркнуть и вдругъ потухли. Гости въ смятеніи рпнулись въ переднюю, придерживая руками карманы...

Я знаю, вы скажете, что я впадаю въ каррикатуру. Ахъ, тетенька, да оглянитесь же кругомъ! Лжедимитріевъ, что-ли, нѣтъ? Ноздревыхъ мало? Задекъ?

А сверхъ того. что-жъ такое, если и каррикатура? Каррикатура такъ каррикатура—большая бѣда! Не все же стоять, уставившись лбомъ въ стѣну! надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть въ человѣческомъ сердцѣ эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человѣкъ—и тотъ ощущаетъ ее.

Улыбнитесь, голубушка!

P. S. Конечно, вы ужъ знаете, что бабенька Варвара Петровна скончалась. Сегодня утромъ происходили ея похороны, на которыхъ присутствовалъ и я.

Хоронили пышно, какъ подобаетъ боярынѣ, которая съ Аракчеевымъ манимаску танцовала.

Изъ дома гробъ везли подъ балдахиномъ, на траурной колесницѣ, влекомой цугомъ въ шесть лошадей. Впереди шло попарно шесть протоіереевъ, столько же дьяконовъ и два хора пѣвчихъ. За гробомъ, впереди всѣхъ, слѣдовалъ Стрекоза, совсѣмъ разстроенный; по бокамъ у него неизвѣстно откуда вынырнули Удавъ и Дыба, которые, какъ теперь оказалось, были произведены Аракчеевымъ изъ кантонистовъ въ первый классный чинъ, и вслѣдствіе этого очень уважали покойную бабеньку, но при жизни къ ней не ходили, потому что она по привычкѣ продолжала называть ихъ кантонистами. Нѣсколько поодаль шли родственники съ дядей Григоріемъ Семенычемъ во главѣ. Тутъ была и „Индюшка“ со своими индюятами, и оба надворныхъ совѣтника, и безчисленное множество кадетъ, и из-

вѣстный вамъ отставной фельдъегерь Петръ Поселенцевъ. Послѣдній неутѣшно плакалъ. Представьте себѣ: свою маленькую новгородскую усадьбу бабенька завѣщала продать и проценты съ капитала употреблять на чествованіе памяти Аракчеева въ день его рожденія, а Петрушѣ отказала тысячу рублей. Но видѣть фельдъегерскія слезы—не дай Богъ никому.

Кромѣ упомянутыхъ лицъ, былъ на похоронахъ еще „свѣдущій человѣкъ“, потому что нынче ни крестинъ, ни свадебъ, ни похоронъ (на похороны ихъ поставляютъ сами гробовщики) безъ нихъ справлять не дозволяется. А вверху, надъ шедшей за гробомъ процессіей, невидимо рѣялъ „командированный чинъ“, наблюдавшій за направленіемъ умовъ.

Хотѣли-было погребсти бабеньку въ Грузинѣ,но сообразили, что изъ этого можетъ выйти революція, и потому вынуждены были отказаться отъ этого предположенія. Окончательнымъ мѣстомъ успокоенія было избрано кладбище при Новодѣвичьемъ монастырѣ. Мѣсто уединенное, тихое, и могила—въ уголку. Хорошо ей тамъ будетъ, покойно, хотя, конечно, не такъ удобно, какъ въ квартирѣ, въ Офицерской, гдѣ все было подъ руками: и Литовскій рынокъ, и Литовскій замокъ, и живорыбный садокъ, и Демидовъ садъ.

— Маменька, маменька! ничего вамъ больше не потребуется!— уныло выл Поселенцевъ, въ первый разъ осмѣливаясь публично назвать бабеньку маменькой.

Отпѣли обѣдню, вынесли гробъ, поставили его съ краю зіяющаго четырехугольника и послѣ литіи опустили въ могилу. И не прошло десяти минутъ, какъ могила была окончательно задѣлана и передъ нашими глазами уже возвышался невысокій холмъ, на одной изъ оконечностей котораго плотникъ проворно водружалъ временный деревянный крестъ. Стрекоза, покачиваясь, словно въ забытьи, безпрерывно кивалъ всѣмъ корпусомъ, касаясь рукой земли; Дыба и Удавъ что-то говорили о „предѣлѣ“, о томъ, что земная жизнь есть только вступленіе, а настоящая жизнь начнется—*тамъ*; это же подтвердилъ и одинъ изъ діаконовъ, сказавъ, что какъ ни мудри, а *мимо* не проскочишь. Изъ родственниковъ молодые съ любопытствомъ слѣдили за работой землекоповъ, каменщиковъ и плотника, старшіе же думали: „кто же однако за бабенькину квартиру остальные три года, до окончанія контрактнаго срока, платить будетъ?“ Петръ Поселен-

цевъ, вылакавъ всѣ слезы, обратился къ могилѣ и, къ великому огорченію присутствующихъ, воскликнулъ:

— Тысячу рублей... на всю жизнь... вотъ такъ удружила!!

По окончаніи похоронъ, дядя Григорій Семенычъ пригласилъ какъ духовенство, такъ и прочихъ ассистентовъ въ ближайшую кухмистерскую на поминальный обѣдъ.

Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжалъ качаться изъ стороны въ сторону, бормоча себѣ подъ носъ: „вотъ оно... заключеніе! ну, и что-жъ! ну, и извольте!“ Очевидно, онъ разговаривалъ съ бабенькой, которая приглашала его *туда*, а ему „туда“ совсѣмъ не хотѣлось, хотя по обстоятельствамъ и предстояло посѣщать. Удавъ и Дыба начали-было разсказъ о томъ, какіе въ грузинскихъ прудахъ караси водились—вотъ этакіе!—но, убѣдившись, что карасями современнаго человѣка даже на похоронахъ не проберешь, смолкли. „Индюшка“ разсматривала на свѣтъ балыкъ и спрашивала у хозяина кухмистерской, гдѣ и почёмъ онъ его покупалъ; кадеты и прочая молодежь толпились около закусочнаго стола и молча гремѣли вилками; дядя Григорій Семенычъ глазами торопилъ офиціантовъ, чтобы подавали скорѣе. Что же касается до Поселенцева, то онъ разомъ, одну за другой выпилъ шесть рюмокъ рижскаго бальзама, и въ одинъ моментъ до того ополоумѣлъ, что его вынуждены были увести. Собственно объ бабенькѣ сказалъ нѣсколько словъ изъ приличія (а можетъ быть и потому, что этого требовалъ церемоніалъ) старшій отецъ протопопъ, а діаконы при этомъ проѣли вѣчную память, и затѣмъ имя ея точно въ воду кануло.

За обѣдомъ однакожъ дѣло пошло живѣе. Завязалась бесѣда, въ основаніе которой, какъ и слѣдовало ожидать, легла внутренняя политика.

Да, милая тетенька, даже въ виду только-что остывшаго праха эта язва преслѣдуетъ насъ! До того преслѣдуетъ, что не будь ея—я не знаю даже, что бы мы дѣлали и объ чемъ бы думали! Вѣроятно сидѣли бы другъ противъ друга и молча стучали бы зубами...

Первый толчокъ далъ одинъ изъ батюшекъ, сказавъ, что „нынѣ настали времена покаянныя“, на что другой батюшка отозвался, что давно очнуться пора, потому что „всѣ революціи, и древнія, и новыя, оттого происходили, что правительства на вольныя мысли сквозь пальцы смотрѣли“.

— Сперва одна мысль благополучно пройдетъ,—соболѣзновалъ батюшка:—потомъ другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча... милліонъ!

Этотъ же тезисъ, но гораздо полнѣе, развилъ и надворный совѣтникъ Сеничка, но тутъ же впрочемъ успокоилъ присутствующихъ, сказавъ, что хотя до сихъ поръ такъ было, но впредь ужъ не будетъ.

— Было у насъ этихъ опытовъ! довольно было!—воскликнулъ онъ:—были и „вѣянья“! были и цѣлыя либеральныя вакханаліи! и даже диктатура сердца была! Только теперь ужъ больше не будетъ! Аттáнде-съ. Съ „вѣяніями“-то придется повременить... да-съ!

— Только повременить, а не то, быть можетъ, и совсѣмъ оставить?—полюбопытствовалъ третій батюшка.

— Ну, тамъ оставить или повременить—это видно будетъ. А только что ежели господа либералы еще продолжаютъ питать надежды, то они глубоко ошибутся въ разсчетахъ!

Сеничка высказалъ это такъ увѣренно, что діаконà слушали-слушали, да и ободрились.

— А мы было-пріуныли!—отозвался старшій діаконъ за себя и за прочихъ діаконовъ.—Видимъ дѣйствія несодѣянная, слышимъ словеса неизглаголанная, думаемъ: доколѣ, Господи! Анъ, стало быть, и съ концомъ поздравить можно?

Начались разсказы изъ современнаго народнаго быта, причемъ разсказчиками являлись по преимуществу духовные. „Ѣду я намеднись по конкѣ“, „Иду я намеднись по Гороховой“, „Стоимъ мы намеднись съ отцомъ Петромъ на паперти“ и т. д. И въ концѣ — непремѣнно кляуза. Словомъ сказать, такъ оживился нашъ поминальный кружокъ, что даже причетники, которымъ былъ сервированъ столъ (попроще) въ сосѣдней комнатѣ, безпрестанно выбѣгали оттуда въ нашъ залъ съ величайшею охотой свидѣтельствовать. Однакожъ Сеничка не рѣшался отбирать показанія въ кухмистерской, но очень ловко намекнулъ, что ежедневно, отъ такого-то до такого-то часа, онъ бываетъ у себя въ камерѣ.

Шла впрочемъ рѣчь и объ „отрадныхъ“ явленіяхъ, и въ томъ числѣ, конечно, о Ноздревѣ.

— Какой былъ гнилой сосудъ!—дивился четвертый батюшка:—а вотъ упалъ на него лучъ, и какія вдругъ кристальныя струи изъ этакого, съ позволенія сказать, вмѣстилища потекли!

Дядя Григорій Семенычъ сидѣлъ и корчился. Неоднократно онъ порывался перемѣнить разговоръ, но это положительно не удавалось, потому что всѣ головы были закопопачены охранительнымъ хламомъ, да и у него самого мыслительный источникъ словно изсякъ. Наконецъ, онъ махнулъ рукой, шепнувъ мнѣ:

— Пошла въ ходъ управа благочинія! Нѣтъ въ мыслях благородства, да и все тутъ! Хоть бы доспдѣть какъ-нибудь!

Среди оживленной проснувшейся ябеды совсѣмъ забыли о „свѣдущемъ человѣкѣ“, который притулился между кадетами и повидимому настолько превратно проводилъ время, что даже забылъ, что ему рано или поздно придется отвѣчать.

Наконецъ этотъ моментъ наступилъ. Діаконà вспомнили, что въ числѣ похоронныхъ принадлежностей чего-то недостаетъ, стали искать и, конечно, отыскали.

Однакожъ на этотъ разъ „свѣдущій человѣкъ“ оказался скромнымъ. Это былъ тотъ самый Иванъ Неномнящій, котораго—помните? —нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ нашли въ сѣномъ стогу, осмотрѣли и пустили на всѣ четыре стороны, сказавъ: „иди и отвѣчай на вопросы!“ Натурально, онъ еще не утратилъ первобытной робости, и потому не могъ такъ всесторонне лгать, какъ его собратъ, Мартынъ Задека.

И дѣйствительно, когда діаконà приступили къ нему съ вопросомъ, скоро ли будетъ конецъ внутренней политикѣ, то онъ твердо отвѣтилъ, что политика до свѣдущихъ людей не относится.

— Вотъ ежели бы куры внезапно перестали нести яйца,—сказалъ онъ:—и потребовалось бы опредѣлить, въ чемъ настоящая причина заключается—тутъ свѣдущій человѣкъ можетъ прямо сказать: оттого, что ихъ рѣдко щупаютъ!

Сначала отвѣтъ этотъ произвелъ нѣкоторое недоразумѣніе, но такъ какъ въ эту самую минуту Стрекоза, словно въ забытьи, прокричалъ: „всякъ сверчокъ знай свой шестокъ!“—то всѣ сейчасъ же поняли и удовлетворились.

— Но неужто-жъ вы только по вопросу о курахъ и чувствуете себя призваннымъ дать отвѣтъ?—спросилъ однакожъ дядя, который былъ очень доволенъ, что наконецъ представился случай завести „партикулярный“ разговоръ.

— Нѣтъ, я могу отвѣчать и на нѣкоторые другіе вопросы, не

очень впрочемъ трудные, но собственно „свѣдущимъ человѣкомъ“ я числюсь по вопросу о болѣзняхъ. Съ юныхъ лѣтъ я былъ одержимъ всевозможными недугами, и наслѣдственными, и благопріобрѣтенными; а такъ какъ въ ближайшемъ будущемъ долженъ быть разсмотрѣнъ вопросъ о преобразованіи Калинкинской больницы, то я и жду своей очереди.

Тогда мы начали предлагать ему вопросы—онъ же скромно, но отчетливо и съ полнымъ знаніемъ дѣла давалъ на эти вопросы отвѣты.

Ахъ, тетенька! Какими только недугами этотъ человѣкъ ни былъ одержимъ въ теченіе своей многомятежной жизни! И замѣтьте, все недугами не русскими и даже не европейскими, а завезенными изъ Новаго Свѣта: перувіанскими, бразильскими, парагвайскими!

И какую пользу онъ долженъ принести при разсмотрѣніи вопроса о преобразованіи Калинкинской больницы!

Онъ—по этому вопросу, другой—по другому, третій—по третьему. А то, сказываютъ, прибылъ изъ губерніи еще „свѣдущій человѣкъ“, который разъ десять былъ изувѣченъ при переѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ — такъ тотъ по желѣзнодорожному вопросу будетъ пользу приносить...

Такъ оно и пойдетъ чередомъ.

. . . . . .

Обмѣниваясь мыслями, мы и не замѣтили, какъ насъ застигъ вечеръ. А бабенькина тѣнь невидимо рѣяла надъ нами, какъ бы говоря: дорожите „свѣдущими людьми“! ибо это единственный веселый оазисъ на уныломъ фонѣ вашей жизни, которая все болѣе и болѣе выказываетъ наклонность отождествиться съ управой благочинія!

Письмо тринадцатое.

Милая тетенька!

Дядя Григорій Семенычъ правду сказалъ: совѣмъ благородныя мысли изъ употребленія вышли. И очень возможно, что именно въ этой утратѣ вкуса къ благородному мышленію и заключается объясненіе того тоскливаго чувства, которое тяготѣетъ надъ переживаемою нами современностью.

Благородныя мысли, благородныя чувства (ихъ называютъ также „возвышенными“) нерѣдко представляются незрѣлыми и даже смѣшными; но это происходитъ оттого, что по временамъ они облекаются въ пелѣпую и напыщенную форму, которая до извѣстной степени заслоняетъ ихъ сущность. Въ большинствѣ случаевъ къ напыщенности прибѣгаютъ люди совсѣмъ непричастные высокимъ мыслямъ и чувствамъ, а именно: шпіоны, кровосмѣсители, казнокрады и другіе злокачественные вреда̀ общественнаго организма. Не имѣя ничего за душой, кромѣ праха, они вынуждаются маскировать этотъ прахъ громкими фразами. Казнокрадъ закатываетъ глаза, говоря о святости собственности; кровосмѣситель старается пламенѣть, утверждая, что семейство — святыня; шпіонъ рыдаетъ, заявляя о своемъ сочувствіи къ „заблуждающимся, но искренно любящимъ свое отечество молодымъ людямъ“, и т. д. И въ то же время, и тѣ, и другіе, и третьи отыскиваютъ отборнѣйшія выраженія и стараются округлять періоды. Но истинно-возвышенное чувство никакихъ этихъ округленій не знаетъ и выражается просто, трезво, безъ вычуръ. Вотъ это-то именно и надобно различать. То-есть, надо разъ навсегда сказать себѣ, что ежели возвышенное чувство кажется намъ смѣшнымъ, то это совсѣмъ не значитъ, что оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно, а значитъ только, что въ него лицемѣрно вырядился какой-нибудь негодяй, которому необходимо замести свои слѣды.

Въ основѣ благородныхъ чувствъ лежитъ человѣчность, самоотверженность и глубокая снисходительность къ людямъ. Эти свойства, и сами по себѣ очень цѣнныя, пріобрѣтаютъ еще болѣе цѣнное значеніе въ томъ смыслѣ, что даютъ жизни богатое и разнообразное содержаніе. Обнимая собой сполна весь циклъ человѣческихъ отношеній, они оживляютъ мысль и дѣятельность не только отдѣльныхъ индивидуумовъ, но и цѣлаго общества. Являются представленія объ общемъ благѣ, объ общечеловѣческой семьѣ, о правѣ на счастье; и чѣмъ больше расширяются границы этихъ представленій, тѣмъ больше находитъ для себя, въ этихъ границахъ, работы человѣческая мысль и дѣятельность. И притомъ работы честной, не отравляющей совѣсти сомнѣніемъ, что въ результатѣ можетъ получиться предательство, частный вредъ или общее бѣдствіе.

Говорятъ, будто бы черезъ-чуръ повышенный діапазонъ мыслей и чувствъ приводитъ къ расплывчивости, которая дѣлаетъ ихъ мало

примѣнимыми къ дѣйствительности. Между тѣмъ дѣйствительность-то, дескать, именно и нуждается въ просвѣтленіи и освѣженіи, такъ что безъ этой цѣли чувства и мысли самыя благородныя представляютъ только доброкачественную, но безплодную игру. Коли хотите, въ этомъ укорѣ есть капля правды, и капля довольно ядовитаго свойства. Дѣйствительно, вліяніе высокихъ мыслей и чувствъ на жизнь практическую, обыденную до сихъ поръ представляется не особенно рѣшительнымъ... Но отчего же это происходитъ? А оттого, милая тетенька, что дѣйствительность черезъ-чуръ ужъ ревниво оберегается отъ напыва какихъ бы то ни было просвѣтленій и освѣженій; оттого, что просвѣтленія признаются вредными и вносящими въ жизнь извѣстныя осложненія, которыя полагаютъ препятствія къ слишкомъ безцеремонному обращенію съ ней (а это-то послѣднее и составляетъ цѣль всѣхъ вожделѣній). Или, говоря другими словами, оттого, что между мыслью и дѣйствительностью воздвигается искусственная перегородка, которая дѣлаетъ послѣднюю непроницаемою для первыхъ. Понятно, что при подобныхъ условіяхъ работа мысли фатальнымъ образомъ осуждается на игру.

Однакожъ чаще всего игра переходитъ въ страданіе, и тогда вопросъ сразу переносится совсѣмъ на другую почву. Не легко переносить эту оторванность отъ почвы, которую такъ легкомысленно ставятъ въ укоръ возвышенной мысли; не легко предаваться благородной игрѣ, которая затрогиваетъ все внутреннее существо человѣка, и сознавать, что идеалы человѣчности, самоотверженности и любви надолго осуждены оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и нужно быть изрядным мудрецомъ, чтобы пребывать безстрастнымъ среди неосмысленнаго уличнаго празднословія, которое такъ охотно идетъ съ дреколіемъ на встрѣчу мысли, возвышающейся надъ уровнемъ толпы. Да и съ однимъ ли уличнымъ празднословіемъ приходится считаться возвышенной мысли? — о, еслибъ только съ однимъ! тогда дѣло мысли было бы выиграно, потому что улица, какъ живой организмъ, все-таки имѣетъ способность размягчаться и развиваться. Но кромѣ улицы вѣдь есть Дыба, есть Удавъ, которые лелѣютъ встрѣчные идеалы, установившіеся и окрѣпшіе, которые закоченѣли въ охранѣ этихъ встрѣчныхъ идеаловъ и во имя ихъ насущной практичности мѣрно поднимаютъ и опускаютъ молоть, угрожая расплю-

щить все, что̀ заявляетъ претензію выйти изъ рамокъ обыкновеннаго низменнаго животолюбія.

Съ этими идеалами, которые говорятъ: „ходи въ струнѣ и никакихъ требованій, кромѣ физическихъ, не предъявляй!“—ужасно трудно мириться. Даже Удавъ и Дыба, въ сущности, не удовлетворяются ими, а держатъ ихъ только какъ камень за пазухой, для ушибанія. И у нихъ есть свой „образъ мыслей“, правда, ограниченный и вредный, но въ предѣлахъ его они все-таки могутъ испытывать то чувство удовлетворенности, которое самъ по себѣ доставляетъ мыслительный процессъ. Но они не хотятъ, чтобы другіе мыслили, и этимъ другимъ предоставляютъ лишь сладкій удѣлъ выполнять начертанную программу. Даже права вредно мыслить они не признаютъ (только права совершать физическія отправленія—подумайте, какая жестокость, милая тетенька!)—какъ же вы хотите, чтобъ они признали право мыслить благородно? Благородно мыслить—вѣдь это значитъ расплываться, значитъ смущать толпу всевозможными небыточностями, значитъ подрывать, потрясать! И вы думаете, что Удавъ и Дыба останутся равнодушными зрителями этихъ обольщеній и потрясеній?

Вотъ съ чѣмъ встрѣчается возвышенная мысль на пути своемъ и что̀ превращаетъ игру въ страданіе, до того реальное, что всякій можетъ вложить этому страданію персты въ язвы. Это исторія очень старая и непрерывно повторяющаяся; но именно эта древность и непрерываемость и доказываютъ, что игра, на которую осуждается возвышенная мысль, совсѣмъ не такъ безплодна, какъ это кажется съ перваго взгляда. Никогда ликованіе и торжество не дѣлали столько страстныхъ прозелитовъ, сколько дѣлали ихъ угнетенія и преслѣдованія. Не говоря уже о томъ, что возвышенная мысль сама по себѣ обладаетъ изумительною живучестью, преслѣдованіе сообщаетъ ей еще новую и своеобразную силу: силу поученія.

Все, что̀ мы видимъ въ мірѣ добраго, свѣтлаго и прочнаго, весь прогрессъ человѣческаго общежитія—все идетъ оттуда, изъ этой расплывающейся, но упорно остающейся вѣрною себѣ мысли; все оплодотворяется ея самоотверженною живучестью. Исторія человѣчества гласитъ объ этомъ во всеуслышаніе и удостовѣряетъ наглядными образомъ, что не практики, въ родѣ Шешковскаго, Аракчеева и Магницкаго, устроютъ будущее, а люди иныхъ идеаловъ, люди

„расплывающихся“ мыслей и чувствъ. И Шешковскій, и Аракчеевъ, и Магницкій (да и одни ли они? мало ли было такихъ „практиковъ“ прежде и послѣ?) достаточно-таки поревновали на пользу кандаловъ, но несмотря на благопріятныя условія, несмотря даже на запечатлѣнный кровью успѣхъ, и они, и ихъ намѣренія, и ихъ дѣла мгновенно истлѣли, такъ что даже продолжатели ихъ не только не рѣшаются ссылаться на нихъ, но, напротивъ, притворяются, будто имена эти столь же имъ ненавистны, какъ и исторія. Вѣдь и чума когда-то въ Москвѣ неистовствовала, но кто же ссылается на нее какъ на благопріятный прецедентъ? Такъ точно и тутъ: пришли, осквернили вселенную—и исчезли... А исторія съ кандалами между тѣмъ мало-по-малу разъясняется; а Удавъ съ Дыбой хотя и продолжаютъ, по существу, проповѣдовать, что истина и кандалы—понятія равносильныя, однако ужъ настолько не увѣрены въ успѣхѣ своей проповѣди, что вынуждаются уснащать ее величайшими оговорками. Слышатся выраженія: „временно“, „не надолго, а только въ виду потрясенія основъ“, „а потомъ, само собой разумѣется“ и т. д. Словомъ сказать, цѣльность міросозерцанія нарушена, и еслибъ Шешковскій не сгнилъ, онъ непремѣнно самихъ Удава и Дыбу заподозрилъ бы въ потрясеніи основъ и заключилъ бы въ кандалы, которые вѣроятно еще гдѣ-нибудь въ уголку найдутся, если хорошенько поискать.

Тѣмъ не менѣе, проповѣдь Удава и Дыбы все-таки одурманиваетъ. Жестокія и противочеловѣческія формы, въ которыя отъ времени до времени облекается возбужденная страсть, даютъ охранителямъ благочинія отличнѣйшій матеріалъ, чтобы посѣвать окрестъ развращающую панику. Взбутоpаженная улица охотно соглашается отдать себя на поруганіе, взамѣнъ уступокъ и посуловъ, дѣлаемыхъ ея инстинкту самоохраненія. Нужды нѣтъ, что эти уступки гарантируются ей идеалами благочинія, въ основѣ которыхъ лежатъ кандалы; нужды нѣтъ, что ни Удавъ, ни Дыба, принявшіе это наслѣдіе отъ Шешковскаго, никакихъ иныхъ средствъ охраненія не могутъ изобрѣсти—паника уживается и съ кандалами. Зато ее обнадеживаютъ словами: „временно“, „вотъ погодите“, „дайте управиться“ и т. д. „Временно“—упраздняется развитіе, „временно“—налагается секвестръ на мысль, „временно“—общество погружается въ безпросвѣтную агонію...

Я знаю и самъ, что это маразмъ дѣйствительно только временный, и не потому временный, что такъ удостовѣряютъ Удавъ и Дыба, а потому, что улица самая безшабашная очнется, понявъ, что безсрочный маразмъ можетъ принести только смерть. Но вѣдь и временно сознавать себя заключеннымъ въ съѣзжій домъ—ужасно оскорбительно. И, право, я недоумѣваю, какъ могутъ люди не понимать, что съѣзжій домъ, ни безсрочно, ни на срокъ, не только не представляетъ искомаго идеала, но даже самою зачаточною формою общежитія назваиъ быть не можетъ. Ибо съѣзжіе дома предназначаются совсѣмъ не для гражданъ и даже не для обывателей, а для колодниковъ. Что съѣзжія мысли, съѣзжія рѣчи могутъ пользоваться въ обществѣ правомъ гражданственности — въ этомъ я, конечно, никогда и ни на минуту не сомнѣвался, но въ мѣру, милая тетенька, а главное, чтобъ все въ своемъ мѣстѣ и въ свое время было. Когда съѣзжія мысли мыслятъ околоточный и городовые, я совершенно понимаю, что иначе оно и не должно быть. Но когда эти же мысли порабощаютъ себѣ общество, закабаляютъ партикулярныхъ людей, отравляютъ общественныя отношенія и отнимаютъ у жизни всякій вкусъ-полицейскій интересъ—это я уже перестаю понимать.

Вотъ это-то обязательное порабощеніе идеаламъ благочинія и заставляло меня не разъ говорить: да, трудно жить современному человѣку! Непозволительно обходиться безъ благородныхъ мыслей; неприлично отождествлять общество съ съѣзжимъ домомъ; невозможно не только „временно“, но даже на минуту устранить процессъ обновленія, который, собственно говоря, одинъ и оберегаетъ общество отъ одичанія. Подумайте! вѣдь общество, упразднившее въ себѣ потребность благородныхъ мыслей и чувствъ, не можетъ послужить дѣятельнымъ факторомъ даже въ смыслѣ идеаловъ тишины и благочинія. Оно безсильно, дряблО, инертно; оно — постепенно-разлагающійся трупъ и ничего больше.

Примѣры этой трупной немощи изобилуютъ,—примѣры наглядные, для всѣхъ вразумительные. Приведу здѣсь одинъ, наиболѣе намъ близкій: такъ-называемую потребность „содѣйствія“. Слово это у всѣхъ на языкѣ и повторяется на всѣ лады, такъ что, казалось бы, только явись это желанное „содѣйствіе“, мы въ ту же минуту сѣли бы и поѣхали. Но именно „содѣйствіе“-то и не является, а не является оно... какъ вы однакожъ думаете, почему оно не является?

Спрашивается: правъ ли я былъ, утверждая. что при подобныхъ условіяхъ, при этомъ всеобщемъ господствѣ сѣрыхъ тоновъ, жизнь становится не только трудною, но и прямо постылою?

А между тѣмъ не дальше какъ на дняхъ, и именно по поводу этого утвержденія, я подвергся поруганію. Одинъ изъ Ивановъ-Непомнящихъ, которыхъ такъ много развелось нынче въ литературѣ, взойдя на каѳедру и обращаясь къ сонмищу благородныхъ слушательницъ. восклицалъ: „Намъ говорятъ, что при современныхъ условіяхъ нельзя жить—однакожъ мы живемъ, и, право. живемъ не дурно!" Ахъ, мой любезный! да развѣ я когда-нибудь говорилъ, что *всѣмъ* нельзя жить, а въ томъ числѣ и Иванамъ-Неномнящимъ? — Нѣтъ, я говорилъ только, что вообще жизнь, обнаженная отъ благородныхъ мыслей и побужденій, постыла и невозможна, такъ какъ эта обнаженность уничтожаетъ самый существенный ея признакъ: способность развиваться и совершенствоваться. Но въ частности, для тѣхъ или другихъ особей, я никогда возможности „жить да поживать" не отрицалъ. Напротивъ, я вполнѣ убѣжденъ, что, напримѣръ, золотари не только живутъ, но и ѣдятъ при исполненіи обязанностей... Но, право же, незавидная это жизнь!

Поэтому, милая тетенька. убѣждаю васъ: не увлекайтесь идеалами благочинія и не соблазняйтесь тѣмъ, что они сулятъ вамъ тихое и безмятежное житіе! Памятуйте, что это тихое житіе равносильно позорному гніенію, и не завидуйте гніющимъ потому только. что они гніютъ безъ помѣхи! Сохраняйте въ цѣлости вкусъ къ благороднымъ мыслямъ и возвышеннымъ чувствамъ, который завѣщанъ намъ лучшими преданіями литературы и жизни! Пускай называютъ людей, хранящихъ эти преданія, „разбойниками печати"—не пугайтесь этой клички! ибо есть разбойники, о которыхъ сама церковь во всеуслышаніе гласитъ: „но яко разбойникъ исповѣдаю Тя", равно какъ есть благонамѣренные предатели, о которыхъ та же церковь возглашаетъ: „ни лобзанія Ти дамъ, яко Іуда"... Расплывайтесь, но не коченѣйте! взмывайте крылами въ пространство, но не погрязайте въ болотной тинѣ! И ежели къ вамъ отъ времени до времени заходитъ на чашку чая урядникъ, то и ему говорите, что доблестнѣе и для самаго охранительнаго дѣла выгоднѣе расплываться, нежели погрязать. А я, съ своей стороны, буду о томъ же твердить подчаскамъ и дворникамъ.

Не одно благородное мышленіе въ умаленіи—самая способность толково и правильно выражаться (синтаксисъ, грамматика, правописаніе)—и та мало-по-малу исчезаетъ, такъ что въ скоромъ времени намъ видимо угрожаетъ всеобщее косноязычіе.

Для доказательства приведу примѣръ, наиболѣе рѣзко бросающійся въ глаза.

Въ первый разъ, какъ вы будете переѣзжать черезъ Берлинъ, пройдитесь по Unter den Linden и остановитесь передъ витриной книгопродавца Бока. Вы увидите тутъ такъ-называемую „вольную“ русскую литературу, и между прочимъ очень разнообразный ассортиментъ брошюръ новѣйшаго происхожденія, на которыя я и обращаю ваше вниманіе. Ихъ много; всѣ онѣ трактуютъ о предметахъ самаго насущнаго интереса и всѣ отличаются отсутствіемъ благороднаго мышленія. Названія у этихъ брошюръ самыя заманчивыя, начиная отъ вопроса: „Что намъ всего нужнѣе?“ и кончая восклицаніемъ: „Европа! руки по швамъ!“

Предостерегаю васъ: читать эти брошюры, какъ обыкновенно путныя книги читаютъ, съ начала до конца—трудъ непосильный и въ высшей степени безплодный. Но перелистовать ихъ, съ пятаго на десятое, дѣло не лишнее. Во-первыхъ, для васъ сдѣлается яснымъ, какія запретныя мысли русскій грамотѣй находится вынужденнымъ прятать отъ бдительности цензорскаго ока; во-вторыхъ, вы узнаете, до какихъ предѣловъ можетъ дойти несознанность мысли, въ счастливомъ соединеніи съ пустословіемъ и малограмотностью.

Передъ вами русскій обыватель, котораго нѣчто безпокоитъ. Что именно безпокоитъ? — то ли, что власть черезъ-чуръ обострилась, или то, что она черезмѣрно ослабла; то ли, что слишкомъ много дано свободы, или то, что никакой свободы нѣтъ—все это темно и загадочно. Никогда онъ порядкомъ не мыслилъ, а просто жилъ да поживалъ (какъ, напримѣръ, вашъ Пафнутьевъ), и дожилъ до тѣхъ поръ, когда „поживать“ стало не въ моготу. Тогда онъ вытаращилъ глаза и началъ фыркать и припоминать. Припомнилъ нѣчто изъ исторіи Кайданова, подслушалъ выраженія въ родѣ: „власть“, „свобода“, „произволъ“, „анархія“, „средостѣніе“, „соборъ“, свалилъ этотъ скудный матеріалъ въ одну кучу и сталъ выводить букву за буквой. И что же! на его счастье оказалось, что онъ—публицистъ!

Но для Россіи онъ слишкомъ свободомыслящъ. Подумайте только:

во-первыхъ, онъ на кого-то за что-то фыркаетъ и къ кому-то предъявляетъ какой-то искъ; во-вторыхъ, у него чуть не на каждой строкѣ красуется слово: „свобода“. Конечно, рядомъ съ „свободой“ онъ ставитъ слова: „искоренить“, „истребить“ и „упразднить“; но такъ какъ эти выраженія разбросаны по страницѣ въ величайшемъ безпорядкѣ, то въ умѣ блюдущаго естественно возникаетъ вопросъ: нѣтъ ли тутъ подвоха? Что̀ упразднить?—хорошо, коли свободу... А ну какъ наоборотъ? Сверхъ того, онъ ставитъ „но“ вмѣсто „и“; начнетъ фразу условными „такъ какъ“. „хотя“, „если“—и броситъ; или красную строку напишетъ: „Смѣю ли присовокупить?“—и тоже броситъ... А это тоже наводитъ на мысль о подвохѣ. Почему онъ поставилъ „но“, тогда какъ по смыслу рѣчи слѣдовало поставить „и“? Можетъ быть, тутъ-то оно самое, потрясаніе, и свило себѣ гнѣздо? Ахъ, никому, даже соглядатаямъ, нынче вѣрить нельзя! Слабъ сталъ народъ... ахъ, какъ слабъ! Словомъ сказать, попробуйте напечатать въ Петербургѣ книгу, въ которой есть красная строка: „Смѣю ли присовокупить?“ — непремѣнно все цензурное вѣдомство всполошится. А заграница и эту фразу, и „свободу, сосѣдствующую съ произволомъ“,—все съѣстъ.

Я предполагаю, что именно въ такомъ видѣ являлась человѣческая мысль въ младенчествѣ. Въ тотъ свайно-доисторическій періодъ, когда она наугадъ ловила слова, не зная, какъ съ ними поступить; когда „но“ не значило „но“; когда дважды два равнялось стеариновой свѣчкѣ; когда существовала темная ясность и многословная краткость и когда люди начинали обмѣнъ мыслей словами: „Смѣю ли присовокупить?“ Вотъ къ этому-то свайному періоду мы теперь постепенно и возвращаемся, и не только не стыдимся этого, но, напротивъ, изо всѣхъ силъ стараемся, при помощи тисненія, непререкаемо засвидѣтельствовать предъ потомствомъ, что отсутствіе благородныхъ мыслей, независимо отъ нравственнаго одичанія, сопровождается и безграмотностью.

Уволенный отъ цензурнаго надзора, русскій публицистъ всегда начинаетъ рѣчь издалека, и прежде всего спѣшитъ зарекомендовать себя передъ читателемъ въ качествѣ эрудита. Съ чрезвычайною готовностью онъ облетаетъ всѣ части свѣта („извѣстно, что даже въ вольнолюбивой Франціи“. или: „извѣстно, что въ Сѣверо-Американ-

скихъ Штатахъ“ и т. д.), проникать въ мракъ прошедшаго („извѣстно, что когда египетскіе фараоны“ или: „извѣстно что когда благожелательный, но слабый Людовикъ XVI“ и т. д.) и трепетною рукою поднимать завѣсу будущаго, причемъ возлагать надежду исключительно на Бога, а на институтъ урядниковъ и дворниковъ машетъ рукою. Такъ что не успѣетъ читатель оглянуться (какихъ-нибудь 10—12 страницъ разгонистой печати—вотъ и вся эрудиція!), какъ уже знать, что сильная власть именуется сильною, а слабая слабою, что за всѣмъ тѣмъ слѣдуетъ надѣяться, хотя съ другой стороны—надлежитъ трепетать. Такова общая, вступительная часть. „А теперь, посмотримъ, въ какомъ видѣ все сіе представляется у насъ въ данную минуту“...

Посмотримъ, необузданный бормотунъ! сказывай, „недозрѣлый умѣ“, какую-какую ты усмотрѣлъ въ отечествѣ твоемъ фигу, которая заставила тебя съ надеждою трепетать и „понудила къ перу твои руки“?

Но здѣсь вы сразу вступаете въ домъ „умалишенныхъ“, и притомъ въ такой, гдѣ больные, такъ сказать, предумышленно предоставлены самимъ себѣ. Слышится гамъ и шумъ; безпричинный смѣхъ раздается рядомъ съ безпричиннымъ плачемъ; безсмысленные вопросы перекрещиваются съ безсмысленными отвѣтами. Словомъ сказать, происходитъ нѣчто безнадежное, чему нельзя подобрать начала и чего ни подъ какимъ видомъ нельзя довести до конца...

Такова любая страница любой изъ „вольныхъ“ брошюръ, обязанныхъ своимъ появленіемъ современной русской взбутаженности. Таково зрѣлище внутренняго междоусобія, которымъ раздирается человѣкъ, поставившій себѣ за правило избѣгать благородныхъ мыслей, дабы всецѣло отдаться пустякамъ.

Основныя положенія—Богъ вѣсть откуда взялись; выводы—самаго безтрепетнаго читателя могутъ испугать своею неожиданностью. Основное положеніе гласитъ: „Главная черта, которая проходитъ черезъ всю тысячелѣтнюю исторію русскаго народа, есть смиреніе“; выводъ возражаетъ: „къ несчастію, нашъ добрый народъ находится въ младенчествѣ, и потому склоненъ къ увлеченіямъ“. Тысячелѣтняя строгость борется съ младенчествомъ; смиреніе—съ склонностью къ увлеченіямъ (приводятся даже примѣры буйства). Какъ же однако съ этимъ смиренно-буйнымъ народомъ поступить? дать ли ему сво-

[illegible], или нарядить въ кандалы!.. Хорошо, кабы кандалы! Но тогда [illegible] было ѣздить въ Берлинъ? Не лучше ли сдѣлать вотъ [illegible] одной стороны, вольнолюбивая Франція доказываетъ, съ другой стороны, конституціонная Англія подтверждаетъ, а князь Бисмаркъ недавно въ рѣчи, обращенной къ рейхстагу, объяснилъ"... [illegible], тетенька! представьте же себѣ, что никто ничего не доказывалъ, ничего не подтверждалъ, и что князь Бисмаркъ никогда ни[illegible] не говорилъ! Что самъ авторъ брошюры—и тотъ не знаетъ, что что доказывалъ и что̀ подтверждалъ! Онъ просто выводитъ букву за буквой—и шабашъ!

Богъ справедливъ, милая тетенька. Когда мы отворачиваемся отъ благородныхъ мыслей и начинаемъ явно или потаенно клясть [illegible] чувства, Онъ, Праведный Судія, окутываетъ пеленой наши мыслящія способности и поражаетъ уста наши косноязычіемъ. А это великое благо, потому что рыцари управы благочинія давно за вселенную слопали, еслибъ гнѣвъ Божій не тяготѣлъ надъ ними.

Да, милая тетенька, все это косноязычіе именно оттого происходитъ, что нѣтъ запроса на благородныя мысли. Благородная мысль формируетъ себя безъ утайки, во всей своей полнотѣ; поэтому-то она легко находитъ и ясное для себя выраженіе. И синтаксисъ, и [illegible], и знаки препинанія—весь арсеналъ грамотности охотно [illegible]. Вопросительный знакъ не смѣетъ выскочить тамъ, гдѣ слышится утвержденіе; слова въ родѣ: „искоренить", „истребить"—не смѣютъ затесаться тамъ, гдѣ не можетъ быть рѣчи ни объ искорененіи, ни объ истребленіи. Ясная для самого произносящаго рѣчь является вразумительною и для слушателей. Она убѣждаетъ умы, зажигаетъ сердца.

Напротивъ того, мысль, увидѣвшая свѣтъ въ атмосферѣ съѣзжаго дома, прежде всего ищетъ скрыть свое происхожденіе, и ищетъ этого по той же самой причинѣ, по которой шулеръ, являясь въ незнакомое общество, непремѣнно рекомендуетъ себя: „благородный человѣкъ [illegible]!" Чтобъ примирить съ собою наивныхъ, она заметаетъ [illegible], прибѣгаетъ къ несвойственымъ выраженіямъ и бросается въ [illegible]. Но, стараясь выказать себя благородною, она не знаетъ, въ чемъ состоитъ благородство, и потому на каждомъ шагу запуты-

вается. И въ то же время не смѣетъ формулировать дѣйствительныя свои побужденія, ибо сама труситъ передъ ихъ сермяжнымъ [illegible]ствомъ. Понятно, что и грамматика, и знаки препинанія пользуются этимъ внутреннимъ междоусобіемъ, чтобъ объявить себя [illegible] стороною.

Все это именно и доказываютъ самымъ нагляднымъ образомъ наши заграничные пропагандисты свободы, споспѣшествуемой искорененіями. Разверните ихъ мысль вполнѣ, и вы убѣдитесь, что [illegible] резюмируется однимъ словомъ: кандалы. А они припутываютъ [illegible] „свободу“ и „нашъ добрый, прекрасный народъ“. Ясно, что никакая грамматика не выдержитъ подобнаго двоедушія.

Но повторяю: Богъ справедливъ. Онъ поражаетъ бормотаніемъ и безграмотностью всѣхъ непризнающихъ благороднаго мышленія, всѣхъ приравнивающихъ возвышенность чувствъ потрясенію [illegible]. Вы убѣдитесь въ этомъ не только на заграничной бормочущей публицистикѣ, но и на нашей, домашней, того же безнадежнаго пошибъ. Во всемъ лагерѣ идеалистовъ усѣкновенія вы ничего не найдете, кромѣ бездарности, пошлости и безсмысленнаго, всѣмъ явственнаго лганья. Это спаленная Богомъ пустыня, на пространствѣ которой, въ смыслѣ продуктовъ мышленія, произрастаютъ только самые жалкіе его виды: сыскъ и крючкотворство. Или, пожалуй, другое сравненіе: это хлѣвъ, обитатели котораго ничего, кромѣ корыта съ мѣсивомъ и навозной жижи, не только не признаютъ, но и понять не могутъ.

До какой степени фаталистическая безграмотность сопряжается съ отсутствіемъ благородства въ мысляхъ — въ этомъ я имѣлъ случай убѣдиться самымъ осязательнымъ образомъ.

Года два тому назадъ (помнится, въ самый разгаръ „диктатуры сердца“), шатаясь за границей, я встрѣтился въ одномъ изъ водяныхъ городковъ Германіи съ экспекторирующимъ соотечественникомъ. По угнетенному виду, съ которымъ этотъ человѣкъ прочитывалъ въ курзалѣ русскія газеты, по той судорогѣ, которая сводила въ это время его руки въ кулаки, я сейчасъ же угадалъ, что, кромѣ экзиземы, онъ страдалъ еще отсутствіемъ благородныхъ чувствъ. То было время, когда всѣ порядочные люди предавались „иллюзіямъ“ (хотя это было строжайше воспрещено), а русскіе, находившіеся за границей, даже гордость какую-то выказывали. Ужъ на что равнодушны

дамочки къ судьбамъ своей родины, но и тѣ волновались и разсказывали что-то чрезвычайное: вотъ-молъ какое у насъ нынѣче отечество! Одинъ „онъ“, этотъ угнетеннаго вида человѣкъ, не то фыркалъ, не то недоумѣвалъ.

За табльдотомъ мы познакомились. Оказалось, что онъ помпадуръ, и что у него есть „ввѣренный ему край“, въ которомъ онъ наступаетъ на законъ. Нигдѣ въ другомъ мѣстѣ—не то что за границей, а даже въ отечествѣ—онъ, милая тетенька, наступать на законъ не смѣетъ (составятъ протоколъ и отошлютъ къ мировому), а въѣдетъ въ предѣлы „ввѣреннаго ему края“—и наступаетъ безвозбранно. И, должно быть, это занятіе очень достолюбезное, потому что за границей онъ страшно по немъ тосковалъ, хотя всѣхъ увѣрялъ, что тоскуетъ по родинѣ.

Разговорились: помпадуръ такой-то. И, разумѣется, первая фраза—сквернословіе.

— А въ отечествѣ-то... а? либеральничаютъ! популярничаютъ! ужъ объ излюбленныхъ людяхъ поговаривать начали... чудеса!

Сказалъ и усомнился. А вдругъ я пожалуюсь сосѣдямъ-нѣмцамъ: вотъ-молъ какіе у насъ оболтусы произрастаютъ! Однако, видя, что я сижу смирно, ободрился.

— Раненько бы!

Опять смолкъ. Смотритъ на меня да и шабашъ! Даже ѣсть пересталъ: сидитъ и ждетъ, не скажу ли я что-нибудь сквернословно-сочувственное. Дѣлать нечего, пришлось разговаривать.

— А вамъ бы, по настоящему, не издѣваться, а радоваться слѣдовало!—наконецъ произнесъ я.

— То-есть... почему же собственно мнѣ?

— А потому, что вы—помпадуръ.

— Ну-съ?

— А помпадуръ, какъ лицо подчиненное, долженъ имѣть за собой наблюденіе. Когда сердца начальниковъ радуются—и онъ обязанъ радоваться; когда начальство печалится—и у него въ сердцѣ, кромѣ печали, ничего не должно быть. Такъ и въ уставѣ о пресѣченіи сказано.

— Стало быть, вы полагаете, что нынѣшняя система...

— Ничего я объ системахъ не полагаю, а радуюсь, потому что въ законахъ написано: радуйся! И вамъ тоже совѣтую. А то вы, какъ

дорветесь до помпадурства, такъ у васъ только и на умѣ, что сидѣть да каркать! Когда крестьянъ освобождали—вы каркали! когда судебную реформу вводили — тоже каркали. Начальники, ваши благодѣтели, радуются, а вы—каркаете! Развѣ это съ чѣмъ-нибудь сообразно? и гдѣ, въ какой другой странѣ, вы можете указать на примѣръ подобной административной неопрятности?

Замѣчаніе мое поразило его. Повидимому онъ даже не подозрѣвалъ, что, наступая на законы вообще, онъ, между прочимъ, наступаетъ и на тотъ законъ, который ставитъ помпадуровы радости и помпадуровы печали въ зависимость отъ радостей и печалей начальственныхъ. Съ минуту онъ пробылъ какъ бы въ онѣмѣніи, но наконецъ очнулся, схватилъ мою руку и долго ее жалъ, смотря на меня томными и умиленными глазами. Кто знаетъ, быть можетъ, онъ даже заподозрилъ во мнѣ агента „диктатуры сердца“.

— Вы... васъ...—бормоталъ онъ:—представьте однакожъ, какая пріятная неожиданность!

Съ тѣхъ поръ мы ежедневно встрѣчались по нѣсколько разъ, и онъ всегда говорилъ, что первая обязанность помпадура — это ранить по сердцу министровъ. Я же, со своей стороны, ободрялъ и укрѣплялъ его въ этой мысли, доказывая, что радоваться, когда сердца начальниковъ играютъ, несомнѣнно покойнѣе, нежели рисковать слетѣть съ мѣста за показываніе кукиша въ карманѣ.

— И съ чего вы до сихъ поръ фыркали? какое вы въ этомъ удовольствіе для себя находили?—спрашивалъ я его.

— Признаюсь вамъ,—отвѣчалъ онъ наивно:— я вѣдь не зналъ, что есть такой законъ, который начальственную радость на всѣхъ подчиненныхъ распространяетъ.

— То-то вотъ и есть. У васъ тамъ во всѣхъ мѣстахъ полны законовъ шканы стоятъ, а вы даже главнаго закона не знаете!

Говоря это, я былъ нѣсколько строгъ; но онъ успокоилъ меня, объяснивъ, что легкомысліе его не предумышленное, а есть простая неопрятность, источникъ которой заключается въ недостаточномъ образованіи, полученномъ имъ въ кадетскомъ корпусѣ. При чемъ сознался, что грамматику прошелъ только до „Мѣстоименія“, и усердно просилъ меня заняться его перевоспитаніемъ.

Разумѣется, я съ радостью согласился на его просьбу и на всякій случай выписалъ изъ Россіи грамматику Поливанова. Перевос-

нитаніе же началъ съ объясненія, въ чемъ заключается истинное благородство души; но такъ какъ при этомъ безпрестанно приходилось говорить объ общемъ благѣ, которое онъ смѣшивалъ съ „потрясаніемъ“, то, признаюсь, мнѣ стоило большого труда, чтобы хотя отчасти устранить это смѣшеніе. Но я успѣлъ въ этомъ именно только отчасти, ибо хотя онъ и переставъ говорить о потрясаніяхъ, но далѣе „диктатуры сердца“ все-таки не пошелъ. Я радъ былъ однакожъ, что хоть эту послѣднюю онъ призналъ для себя обязательною, и далъ мнѣ слово по сей поводу никакихъ сквернословій на будущее время не испускать. Тогда, внимательно осмотрѣвъ его и убѣдившись въ безполезности дальнѣйшихъ усовершенствованій, я предложилъ ему изложить одушевляющія его чувства въ формѣ циркуляра исправникамъ и становымъ.

Цѣлыхъ два дня онъ царапалъ этотъ циркуляръ, но наконецъ нацарапалъ и показалъ мнѣ. Вотъ этотъ замѣчательный документъ.

„Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и урядникамъ, а черезъ нихъ и прочимъ всякаго званія людямъ. Здравствуйте?

„А между тѣмъ что же мы видимъ!!!

„При формѣ правленія все отъ него исходяще! и обратно туда возвращающе. Что же надлежитъ заключить!? Что сердца начальниковъ радующе, сердца (пропущено: „подчиненныхъ“) тоже, сердца Унывающе... тоже (пропущено почти все)! А между тѣмъ что же мы видимъ!! Совсѣмъ на Оборотъ. Частыя смѣны начальниковъ Сіе внезапностью изъясняютъ, а подчиненные... небрегутъ?

„Посему предлагаю; примѣпясь къ вышеизложенному всемѣрно примѣчать внезапности. Ежели внезапность радующе—радоваться и вамъ? а буде внезапность унывающе — и вамъ тоже. Но въ случаѣ ни того ни Другого — ни того ни другого и вамъ. Ежели же сіе не будетъ исполнено, то какъ мнѣ поступить!!!“

Сознаюсь откровенно: впечатлѣніе, произведенное на меня этимъ циркуляромъ, было не въ пользу его. Первымъ моимъ движеніемъ было: бѣжать—что я немедленно и исполнилъ. Долгое время я скитался въ горахъ, пока наконецъ очнулся и понялъ, что требованія мои черезъ-чуръ прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу перевоспитать человѣка, какъ нельзя сразу вычистить платье, до котораго никогда не прикасалась щетка. Настоящее благородство чувствъ есть удѣлъ исключительный; въ извѣстныхъ же случаяхъ достаточно

довольствоваться и такъ-называемымъ неблагороднымъ благородствомъ. А наконецъ нельзя не признать и того, что въ данномъ случаѣ основная мысль все-таки недурна; вотъ только редакція... ахъ, какая это редакція! Какъ бы то ни было, но я воротился въ городъ примиренный и съ твердымъ намѣреніемъ довести дѣло перевоспитанія до предѣловъ возможнаго.

И я успѣлъ въ этомъ,—успѣлъ, разумѣется, относительно. Каждый день я заставлялъ моего ученика и друга (я полюбилъ его) излагать свои чувства въ новой редакціи, и всякій разъ эта редакція являлась болѣе и болѣе облагороженною. Такъ что въ послѣдній разъ она предстала передо мной уже въ слѣдующемъ видѣ:

„Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и урядникамъ. Здравствуйте!

„Когда въ странѣ существуетъ форма правленія, отъ которой все исходитъ, то исполнительные органы обязываются, не увлекаясь личными прихотливыми умствованіями, буквально выполнять начальственныя предначертанія. И больше ничего. Посему, ежели начальство (какъ это нынѣ по всему видится) находитъ возможнымъ допустить, дабы обыватели радовались, то и вы... Сіе допускайте, а не схидничайте и тѣмъ паче не сквернословьте! Я самъ, по недостаткамъ образованія, не разъ сквернословилъ, но нынѣ... Вижу!!

„И посему предлагаю: настоящій мой циркуляръ исполнить въ точности, а въ случаѣ не найдете возможности, то доносить мнѣ о томъ съ раскаяніемъ“.

Какъ хотите, а циркуляръ — хоть куда! Нѣсколько некстати поставленныхъ знаковъ препинанія, нѣсколько лишнихъ прописныхъ буквъ, нѣсколько ненужныхъ повтореній и наконецъ несчастное „Здравствуйте!“ — вотъ все, въ чемъ можно укорить почтеннаго автора. Исправьте эти погрѣшности — и затѣмъ хоть сейчасъ въ типографію (разумѣется, впрочемъ, въ казенную)! Я даже поправлять не рѣшился, а просто посовѣтовалъ цѣликомъ свезти циркуляръ въ „ввѣренный край“. Тамъ правитель канцеляріи погладитъ шероховатости, вставитъ надлежащія статьи законовъ, помаслитъ, округлитъ — смотришь, анъ „ввѣренный“ край и проглотилъ!

— Позвольте, въ знакъ восхищенія, предложить вамъ порцію мороженаго!—почтивалъ я его.

Онъ поблагодарилъ и съѣлъ. А на другой день я отправился

въ Парижъ, а онъ во всѣ лопатки исмчался въ „ввѣренный ему край“.

Съ тѣхъ поръ до меня доходили объ немъ разные слухи. Сначала писали, что онъ продолжаетъ мыслить благородно, и вслѣдствіе этого слогъ его циркуляровъ постепенно совершенствуется; потомъ стали писать, что онъ опять началъ мыслить неблагородно, и вслѣдствіе этого въ циркулярахъ его царствуетъ полнѣйшая грамматическая анархія. Разумѣется, по поводу первыхъ слуховъ я радовался, по поводу вторыхъ — сокрушался. Какъ вдругъ получаю отъ него письмо, которое сразу покончило съ моими недоумѣніями.

Вотъ это письмо:

„Милостивый Государь!

„Но ежели историческій Ходъ событій! — сомнѣнности наши Превращаетъ въ несомнѣнности... но что̀ же тогда сказать!?

„И именно слѣдующее! При свиданіи (вѣроятно рѣчь идетъ о нашихъ бесѣдахъ на водахъ) имѣлъ я отрывочныя, но краткія бесѣды... И вы говорили: когда сердца (очень большой пропускъ)— ются тогда и вы то есть... я! А когда сердца Въ печали тогда и вы то есть я. Между тѣмъ что же мы видимъ! Произошли акты и при семъ форма правленія выяснилась вполнѣ. А законы и иллюзіи со всѣмъ Прочимъ должны исчезнуть и отойти во временное преданіе!!

„Такъ я съ твердостью уповаю.

„Полагаю, что вы мой планъ одобрите но я другого не знаю. Кромѣ одного: все исходящее и все возвращающе. Подобно рѣкѣ Волгѣ! Исходитъ изъ озера Селигера но какъ случилось что докатила волна до Съ Израни и далѣе... Неизвѣстно!! Согласно съ симъ и я свои распоряженія здѣсь дѣлаю, а между тѣмъ и бумагу къ здѣшнему Господину Предсѣдателю (пропущено: „написалъ“; не сказано также, къ какому предсѣдателю), Въ Конiи При семъ прилагаемое!

„А здѣсь ощущается всеобщее удивленіе? И именно по случаю формы Правленія! Надѣялись никакой формы нѣтъ, а вмѣсто того произошли акты. Но я нетолько не удивляюсь, но помню нашъ разговоръ. Правду вы тогда сказали Помпадуръ долженъ быть радующе, а не умствующе, а тѣмъ паче взирающе. И ежели у васъ въ Извѣстныхъ Мѣстахъ Есть знакомые. то Прошу Оныя завѣрить, Говоря

Онъ будетъ твердъ и никакихъ основаній кромѣ извѣстныхъ и исходяще за Образецъ не возьметъ. Онъ, То есть я".

Въ приложенной къ письму бумагѣ на имя невѣдомаго „Предсѣдателя" (вѣроятно какой-нибудь крамольной управы) я прочиталъ слѣдующее:

„Милостивый Государь,

„Онуфрій Терентьевичъ!

„Извѣстное и опредѣленное требуется и для службы соотвѣтственно людей.

„Твердое направленіе, данное въ согласность обстоятельствамъ, не оставляетъ никакихъ колебаній; что характеръ управленія въ духѣ всесословности и силѣ большинства долженъ исчезнуть навсегда и безповоротно и долженъ перейти къ характеру сословности, соединенной только общими цѣлями для блага.

„Посему, считаю долгомъ Вамъ, Милостивый Государь, рекомендовать и просить, въ видахъ наблюденія должной точности высказанныхъ непреложныхъ основаній, принять на службу предъявителя сего, коллежскаго асессора Семена Дормидонтовича Струцкаго, мысли котораго по сему предмету и предлагаю вамъ принять къ руководству при достиженіи общими силами блага".

„Съ подлиннымъ вѣрно: Правитель канцеляріи Бѣдный-Макаръ".

Внизу помпадуръ собственноручно прибавилъ:

„*Примѣчаніе 1-ое.* Бумагу Сію писалъ правитель канцеляріи, по мысли мои. И слогъ поправлялъ То-есть я.

„*Примѣчаніе 2-ое.* Струцкій — мой крестникъ".

Итакъ, труды мои пропали даромъ. Очевидно, помпадуръ одичалъ, и такъ какъ ему уже перевалило за пятьдесятъ, то надѣяться на какую-либо воспитательную случайность въ будущемъ представлялось, по малой мѣрѣ, безполезнымъ. Въ сей крайности и повинуясь правиламъ общежитія, я отвѣтилъ ему кратко:

„Милостивый Государь.

„Прочитавъ почтеннѣйшее Ваше письмо и приложенный къ оному документъ, я съ горестью убѣдился, что чувства, о которыхъ мы такъ часто и продолжительно съ Вами бесѣдовали, покинули Васъ навсегда.

До такой степени покинули, что Вамъ кажется уже необъяснимымъ, почему Волга, воспріявъ начало изъ озера Селигера, постепенно катитъ свои волны къ Сызрани (которую вы совершенно неправильно пишете: Съ Израиь) и далѣе.

„Не находя умѣстнымъ излагать здѣсь законы, коимъ повинуется рѣка Волга въ своемъ теченіи, могу сказать только одно: законы сіи столь непреложны, что смертнымъ остается лишь преклониться передъ ними. А въ томъ числѣ, безъ сомнѣнія, и помпадурамъ. Что же касается до рѣшимости Вашей управлять согласно съ инструкціями и предписаніями, отъ начальства издаваемыми, то, одобряя таковую въ принципѣ, я не вижу однакожъ, чтобы оная давала Вамъ поводъ для похвальбы. Исполненіе начальственныхъ предписаній—совсѣмъ не заслуга, а естественная со стороны всякаго помпадура обязанность, за невыполненіе которой угрожаетъ строгость законовъ.

„Все сіе, впрочемъ, я неоднократно имѣлъ честь Вамъ объяснять во время совмѣстнаго пользованія водами, хотя, повидимому, втунѣ.

„Въ заключеніе, предполагая, по множеству грамматическихъ ошибокъ, которыми усыпано Ваше письмо, что грамматика Поливанова, которую я своевременно, въ видахъ усовершенствованія, Вамъ подарилъ, утрачена Вами, препровождаю при семъ новый экземпляръ, который и предлагаю употребить по установленію“.

Письмо это я послалъ съ такимъ разсчетомъ, чтобъ онъ могъ его получить къ Свѣтлому празднику. Но будетъ ли изъ этого какой-нибудь прокъ—сомнѣваюсь.

Письмо четырнадцатое.

Милая тетенька.

Въ послѣднее время я, въ качествѣ литературнаго дѣятеля, сдѣлался предметомъ достаточнаго количества несочувственныхъ для меня оцѣнокъ. Между ними есть нѣсколько такихъ, которыя прямо причисляютъ меня въ категорію „вредныхъ“ писателей, на томъ основаніи, будто бы я, главнымъ образомъ, имѣю въ виду не обличеніе безнравственныхъ поступковъ, а отрицаніе самаго принципа нравственности.

На это я могу отвѣтить одно: неизмѣннымъ предметомъ моей литературной дѣятельности всегда былъ протестъ противъ произвола, двоедушія, лганья, хищничества, предательства, пустомыслія и т. д. Ройтесь сколько хотите во всей массѣ мною написаннаго—ручаюсь, ничего другого не найдете. Стало быть, весь вопросъ заключается въ томъ: слѣдуетъ ли признать исчисленныя выше явленія нормальными, имѣющими что-нибудь общее съ „принципомъ нравственности“, или, напротивъ, правильнѣе отнестись къ нимъ какъ къ безнравственнымъ и возмущающимъ честное человѣческое сердце? Конечно, есть воры, которые до того привыкли воровать, что воровство уже не представляется имъ позорнымъ, и есть ханжи, которые до того привыкли колотить руками въ пустыя перси, что пустосвятство кажется имъ дѣйствительною набожностью; но развѣ примѣры подобныхъ самообмановъ могутъ считаться обязательными? Я думаю, что отвѣтъ на эти вопросы не можетъ подлежать сомнѣнію, и что, стало быть, лагерь, который безразсудно возбуждаетъ по этому поводу разглагольствіе, самъ на себя налагаетъ клеймо распутства, съ которымъ и перейдетъ въ потомство.

Но есть другой укоръ, который посылается по моему адресу и въ которомъ, я долженъ сознаться, имѣется значительная доля правды. Укоръ этотъ заключается въ томъ, что я повторяюсь. Къ сожалѣнію, цѣнители мои не вникаютъ въ причины моихъ повтореній и не представляютъ доказательствъ ихъ неумѣстности, а это дѣлаетъ ихъ оцѣнки какъ бы направленными съ единственною цѣлью лично меня уязвить и лишаетъ меня возможности извлечь изъ нихъ какое-либо для себя поученіе.

Тѣмъ не менѣе, такъ какъ я самъ признаю замѣчаніе это небезосновательнымъ, то нахожу полезнымъ дать по этому поводу нѣкоторыя объясненія.

Начинаю съ констатированія, что моя дѣятельность почти исключительно посвящена злобамъ дня. Очень возможно, что съ точки зрѣнія высшаго искусства эта дѣятельность весьма ограниченная; но такъ какъ я никакихъ другихъ претензій не заявляю, то мнѣ кажется, что и критика въ правѣ прилагать ко мнѣ свои оцѣнки только съ этой точки зрѣнія, а не съ иной. Но злоба дня, вотъ ужъ почти тридцать лѣтъ, повторяется въ одной и той же силѣ, съ однимъ и тѣмъ же содержаніемъ, въ удручающемъ однообразіи. Какъ тридцать

лѣтъ тому назадъ мы чувствовали, что надъ нашимъ существованіемъ витаетъ нѣчто случайное, мѣшающее правильному развитію жизни, такъ и теперь чувствуемъ, что въ той же силѣ и то же случайное продолжаетъ витать надъ нами. Никакое правдивое перо не возьметъ на себя вычеркнуть изъ наличности то, что̀ хотя и не въ равной степени, но всѣми чувствуется, какъ основная и жгучая боль минуты. Никакой правдивый бытописатель не позволитъ себѣ сказать, что случайность изгибла, когда она стоитъ крѣпче и дѣйствуетъ язвительнѣе, чѣмъ когда-либо. Выше я перечислилъ нѣкоторые признаки ненормальнаго состоянія общественнаго организма, и, по мнѣнію моему, единственно благодаря господству случайности, эти признаки нетолько не исчезаютъ и не смягчаются, но дѣлаются характеристичными чертами времени. Они находятъ себѣ апологистовъ, которые ежели и не утверждаютъ прямо, что, напримѣръ, хищничество есть добродѣтель, но всякій протестъ противъ хищничества приравниваютъ къ потрясенію основъ. И, благодаря случайности, эти общественные проституты не встрѣчаютъ даже отпора. Примѣры гнусныхъ сопоставленій честнаго протеста чуть не съ вооруженнымъ бунтомъ повторяются на каждомъ шагу и проходятъ вполнѣ безнаказанно, благодаря совпаденію съ случайными вѣяніями минуты: но самая эта безнаказанность развѣ не знаменуетъ собой глубокаго нравственнаго упадка? Видѣть цѣлый сильно организованный литературный лагерь, утверждающій, что всякое проявленіе *порядочности* въ мышленіи равносильно разбою и мошенничеству, что идеалы свободы и обезпеченности суть идеалы анархіи и дезорганизаціи власти, что человѣчность равняется приглашенію къ убійствамъ—право, это такое гнусное зрѣлище, передъ которымъ не устоитъ даже одеревенѣлое равнодушіе. А между тѣмъ это зрѣлище проходитъ передъ нами каждый день, и, къ удивленію, оно единственное, которое пользуется присвоенною зрѣлищамъ сценической постановкой. Каждый день изъ лагеря хищниковъ, предателей, пустосвятовъ и проститутовъ раздаются распутные клики, готовые задушить въ обществѣ всякіе признаки порядочности. Каждый день изъ растворенныхъ хлѣвовъ воютъ голоса трихинныхъ пристанодержателей, угрожающіе, проклинающіе, требующіе пропитія... Спрашивается: ужели не слѣдуетъ какъ можно громче объяснять обществу, что эти мерзкіе вопли—не что̀ иное, какъ лганье и проституція? Нѣтъ, именно слѣдуетъ каждодневно, каждочасно, каждо-

минутно повторять: ложь! клевета! проституція! Повторять хотя бы съ тѣмъ же однообразіемъ формъ и пріемовъ, которые употребляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, повторять.

Вотъ это именно я и дѣлаю. Двадцать-пять лѣтъ сряду одну и ту же ноту тяну, и ежели замолкну, то замолкну именно съ этой нотой, а не съ иной. И никогда не затрудняюсь тѣмъ, что нота эта звучитъ однообразно.

Но есть и еще причина, обусловливающая повторенія: ихъ требуетъ самъ сочувствующій мнѣ читатель. Я ничего не создаю, ничего лично мнѣ одному принадлежащаго не формулирую, а даю только то, чѣмъ болитъ въ данную минуту всякое честное сердце. Я даже утверждаю, что всякій честный человѣкъ, читая мои писанія, непремѣнно отождествляетъ мои чувства и мысли съ своими. Это *онъ* такъ чувствуетъ и мыслитъ, а мнѣ только удалось сойтись съ нимъ сердцами. И онъ доволенъ, когда ему напоминаютъ объ этихъ *собственныхъ* его чувствахъ и мысляхъ, когда ихъ воплощаютъ передъ нимъ въ горячемъ словѣ или въ живомъ образѣ—доволенъ, потому что это самое дорогое его достояніе. Эти рѣчи, эти образы, быть можетъ, не задерживаются въ его памяти въ яркихъ и рѣзко очерченныхъ формахъ, но они несомнѣнно оставляютъ въ его сознаніи общее впечатлѣніе сочувственнаго, родственнаго. Ибо въ этомъ случаѣ происходитъ то интимное общеніе мыслей и чувствъ, въ которомъ трудно опредѣлить, кто кому дастъ и кто у кого беретъ. „Это самое я всегда мыслилъ“, говоритъ читатель, и пускаетъ вычитанное въ общій обиходъ, какъ свое собственное. И онъ не совершаетъ при этомъ ни малѣйшаго плагіата, потому что, дѣйствительно, эти мысли -- его собственныя, точно такъ же, какъ и я не совершаю плагіата, формулируя мысли и чувства, волнующія въ данный моментъ меня наравнѣ съ читающей массой. Ибо эти мысли и чувства—тоже мои собственныя.

Повторяю: человѣкъ ни къ чему такъ охотно не возвращается, какъ къ предметамъ, которые наиболѣе затрогиваютъ его существованіе. Онъ и людей тѣхъ особенно любитъ, о которыхъ знаетъ, что они болѣютъ тѣми же болѣзнями, которыми болѣетъ онъ самъ. Вотъ почему напоминанія объ этихъ болячъ, какъ бы часто и однообразно они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. Ибо только раздѣленное страданіе можетъ помочь отыскать выходъ изъ тьмы къ

свѣту, и разъ желанное общеніе въ этомъ смыслѣ установилось, напоминанія объ его основахъ не только не ослабляютъ общенія, но, напротивъ, скрѣпляютъ и подтверждаютъ его.

Примѣры такого почти неразложимаго взаимнаго „попустительства“ (употребляю модный нынѣ консервативный терминъ) между авторомъ и читателемъ я встрѣчаю на каждомъ шагу. Часто случается мнѣ получать письма отъ неизвѣстныхъ лицъ, съ изложеніемъ безспорно интересныхъ фактовъ всякаго рода неурядицы: однакожъ я не могу воспользоваться сообщаемыми фактами по той простой причинѣ, что въ видѣ общихъ положеній, иллюстрированныхъ и подтвержденныхъ, они ужъ не разъ были мной заявляемы. Бо́льшая же или мéньшая численность фактовъ одного и того же пошиба ничего не прибавляетъ къ характеристикѣ времени; ибо если характеристика эта достаточно опредѣлилась, то само собой разумѣется, что иныхъ фактовъ въ данное время не можетъ и быть. Тѣмъ не менѣе, я понимаю, почему читатель сообщаетъ мнѣ объ этихъ фактахъ. Онъ просто желаетъ высказать, что я правъ, и подтверждаетъ мою правоту своими собственными наблюденіями.

Не далѣе какъ на дняхъ мнѣ пришлось быть въ обществѣ, гдѣ разсказывались факты, какъ разъ соотвѣтствующіе тому „принципу нравственности“, въ отрицаніи котораго я обвиняюсь московскими фарисеями. И между прочимъ передавалась слѣдующая исторія.

Жилъ-былъ сельскій священникъ и имѣлъ сына. Сынъ этотъ съ успѣхомъ кончилъ курсъ въ семинаріи, но священствовать почему-то не пожелалъ. Вѣроятно, впрочемъ, причина была простая: не чувствовалъ молодой человѣкъ склонности (а стало быть и способностей) къ выполненію обязанностей, сопряженныхъ съ священствомъ. Напротивъ того, выказывалъ величайшую охоту къ сельскому хозяйству, домоводству и земледѣльческому труду. Пріѣхалъ, по окончаніи курса наукъ, домой, одѣлся въ сермяжную мужицкую броню, обулся въ лапти и началъ косить, пахать и боронить.

Кажется, что́ же тутъ такого... необыкновеннаго?—Разумѣется, милая тетенька, на мой и вашъ взглядъ—ничего. Мы люди простые и думаемъ такъ: ежели человѣку охота пахать—пашн, охота сѣять рѣпу—сѣй рѣпу и даже морковь! Но вѣдь не всѣ такъ явно отрицаютъ „принципы нравственности“, какъ мы съ вами. Есть люди, кои блюдутъ. А наблюденіе въ томъ именно и состоитъ, чтобы вся-

кое званіе пребывало вѣрнымъ свойственному ему занятію; занятіями же несвойственными, а тѣмъ паче нарушающими гармонію табели о рангахъ, гнушалось. Такъ, напримѣръ, губернскій секретарь обязывается гнушаться занятій, свойственныхъ коллежскимъ регистраторамъ, коллежскій секретарь—занятій, свойственныхъ губернскимъ секретарямъ, и т. д. Встарину о негнушающихся губернскихъ секретаряхъ говорили, что они „маранотъ“ не только себя лично, но и всѣхъ прочихъ губернскихъ секретарей. А нынче и это толкованіе, съ точки зрѣнія „принципа нравственности“, кажется уже недостаточнымъ, и потому говорятъ: ежели такой-то губернскій секретарь унизился до общенія съ коллежскими регистраторами, то это значитъ, что онъ возпамѣрился сѣять между сими послѣдними превратныя толкованія.

Такъ именно случилось и съ легкомысленнымъ поповскимъ сыномъ. Не успѣлъ онъ обуть лапти, какъ мѣстный кабатчикъ (первая инстанція, спрѣчь оплотъ) ужъ задумался. Стоитъ у стойки, чешетъ объ косякъ брюхо и думаетъ: что за причина такая? И, разумѣется, сообщаетъ о своихъ консервативныхъ сомнѣніяхъ урядинку. Урядникъ задумался еще пуще кабатчика. Началъ похаживать мимо батюшкинова дома, будто гуляетъ, а между тѣмъ высматриваетъ, не объявится ли инспровержения властей. Или схоронится за деревомъ, приложитъ къ глазамъ руку зонтикомъ и выглядываетъ въ поле. Видитъ: идетъ за сохой въ лаптяхъ мужикъ; вотъ онъ остановился, вотъ опять налегъ грудью... что̀ за причина такая? Могъ бы ходить по приходу славить, яйца собирать, анъ вмѣсто того... Наконецъ урядникъ не вытерпѣлъ и обратился къ батюшкѣ:

— Что̀ за причина такая?

А батюшка, который и самъ чаялъ, что возлюбленный сынъ съ нимъ вкушѣ и влюбѣ будетъ аллилуія славословить—а онъ вишь вѣдь что̀ выдумалъ!—вмѣсто того, чтобъ объяснить урядинку его и кабатчиково недоумѣніе, отвѣтилъ уклончиво:

— Сами видите!

Тогда урядникъ окончательно не вытерпѣлъ и донесъ становому.

Становой сейчасъ же сообразилъ, что дѣло можетъ выйти блестящее, но надо вести его умненько. Поѣхалъ въ село будто по другому дѣлу, а самъ между тѣмъ началъ собирать „подъ рукою“ свѣдѣнія о поповскомъ сынѣ. Оказалось: обулся поповскій сынъ въ

лапти, боронить, пашеть, косить сѣно... что за причина такая? Когда такимъ образомъ дѣло „округлилось“, становой обратился къ батюшкѣ:

— Что за причина такая?

— И самъ не мало о семъ стужаюсь,—объясняетъ батюшка:—и не разъ вразумлялъ. Побесѣдуйте съ нимъ—можетъ быть, ваши вразумленія больше подѣйствуютъ.

Призвалъ становой поповскаго сына, спрашиваетъ:

— Землю работаешь?

— Землю.

— Пашешь?

— Пашу.

— Что за причина такая?

Натурально, поповскій сынъ глаза вытаращилъ. Наконецъ, очнулся и самъ предлагаетъ вопросъ:

— А развѣ запрещено?

— Запрещено не запрещено, а несвойственно...

— Такъ запретите же прямо, коли несвойственно. Я буду сидѣть и баклуши бить.

Однакожъ запретить становой не рѣшился, а донесъ исправнику: такъ и такъ, въ станѣ проявился поповскій сынъ, кончилъ курсъ, могъ бы быть діакономъ, а вмѣсто того ведетъ несвойственный образъ жизни. Исправникъ тоже сейчасъ понялъ. Велѣлъ заложить тройку, подвязать къ дугѣ колокольцы и поскакалъ въ гнѣздо крамолы. Подкативъ къ батюшкину дому, молодцомъ соскочилъ съ телѣги:

— Что за причина такая?

— Не мало пыталъ я о семъ съ нимъ бесѣдовать,—оправдывался батюшка:—но слова мои не пріемлются. Не вразумите ли вы?

А матушка, съ своей стороны, присовокупила:

— А ужъ для насъ-то какъ бы хорошо было! Взять теперь хоть бы мѣсто дьякона: и яйца, и новина, и кудель, и все такое... А изъ доходовъ часть—это само по себѣ.

Позвали поповскаго сына, не дали даже послѣдній загонъ доборонить. И началъ его, при отцѣ и матери, исправникъ стыдить.

— Ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ!

Но молодой человѣкъ не хочетъ чувствовать да и шабашъ. Только и словъ у него на языкѣ:

— Развѣ запрещено?

— Ахъ, молодой человѣкъ! да развѣ законъ можетъ все предусмотрѣть? И какъ это вы такъ рѣзко позволяете себѣ говорить: запрещено?! Не запрещено-съ, а несвойственно-съ. Предосудительно-съ.

Однакожъ, какъ ни стыдилъ исправникъ поповскаго сына, послѣдній точно осатанѣлъ. Твердитъ одно и то же:

— Ваше высокородіе! сдѣлайте божескую милость! позвольте пахать!

Тогда исправникъ, вмѣсто того, чтобъ съ кротостью разрѣшить: паши, братецъ (только всего два слова и нужно)!—разодралъ на себѣ въ гнѣвѣ вицъ-мундиръ и воскликнулъ:

— Прекрасно-съ! пашите-съ! боронite-съ! сѣйте-съ! ха-ха-ха... сѣйте-съ! Только знайте впередъ-съ: я умываю руки-съ!

И, обратившись къ батюшкѣ, добавилъ:

— Жаль, почтеннѣйшій старикъ! и васъ жаль... и его-съ... заблудшаго-съ! И васъ, почтеннѣйшая матушка, жаль... всѣхъ-съ! очень, очень жаль-съ!

Исправникъ ускакалъ, а поповскій сынъ сѣлъ на лошадь и поѣхать доборонивать брошенный загонъ. Батюшка вздохнулъ ему вслѣдъ и началъ-было: „говорилъ я тебѣ“... но поправился и спросилъ:

— А когда же двойть собираетесь?

Прошло еще недѣли четыре. Поповскій сынъ за это время успѣлъ не только сдвоить пашню, но и посѣять озимое. Онъ ужъ заранѣе облизывался при мысли, что еще три-четыре недѣли и наступитъ молотьба, какъ вдругъ, въ самый разгаръ его страдныхъ мечтаній, у батюшкинова дома остановился тарантасъ, изъ котораго на этотъ разъ вылѣзъ уже цѣлый статскій совѣтникъ. Статскій совѣтникъ оказался просвѣщенно-благожелательный, хотя и безъ послабленія, и во лбу у него блестѣло „око“, въ знакъ питаемаго къ нему довѣрія. Тѣмъ не менѣе онъ началъ, какъ и всѣ прочіе:

— Что за причина такая?

У поповскаго сына даже въ глазахъ позеленѣло при этомъ вопросѣ; однако онъ сдержался и съ твердостью произнесъ:

— Имѣю желаніе молотить!

Статскій совѣтникъ повидимому никакъ не ожидалъ, что дѣло приметъ такой оборотъ. Однако око во лбу его все-таки не замути-

лось гнѣвомъ, но пристально взглянуло въ глаза собесѣднику и, къ счастію для послѣдняго, обнаружило недоумѣніе, близкое къ пониманію.

— Только и всего?

— Только и всего-съ.

Дѣло было округлено; оставалось только выполнить нѣкоторыя формальности. Призвали понятыхъ и осмотрѣли скарбъ поповскаго сына—оказалось, что онъ укрываетъ три чистыхъ рубахи, новые нестрядинные портки, двѣ пары онучъ и зеркальце, передъ которымъ, „по его указанію“, онъ расчесываетъ по праздникамъ свои кудри. Распороли матушкины перины—нашли пухъ. Даже подъ косицей у батюшки посмотрѣли, но и тамъ превратныхъ толкованій не нашли. Тогда батюшка осмѣлился и спросилъ:

— За что же, вашескородіе, теперича на насъ такое, примѣрно, поношеніе? А притомъ и расходъ?

Первую половину вопроса статскій совѣтникъ призналъ правильною и, дабы удовлетворить потерпѣвшую сторону, обратился къ урядинку, сказавъ: „это все ты, каналья, сплетни разводишь!“ Но относительно проторей и убытковъ вымолвилъ кратко: „будьте и тѣмъ счастливы, что Богъ простилъ!“ Затѣмъ, запечатлѣвъ урядника, прослѣдовалъ въ ближайшее село, для изслѣдованія по доносу тамошняго батюшки, будто мѣстный сельскій учитель превратно толкуетъ событія, говоря: „сѣйте горохи, сажайте капусту, а о прочемъ не думайте!“

А черезъ годъ по дѣлу поповскаго сына вышла резолюція: „поповскому сыну такому-то занятіе молотьбой и ссыпаніемъ зерна въ житницы въ преступленіе не вмѣнять, имѣя лишь наблюденіе, дабы молотилъ чисто“.

Но поповскій сынъ не дождался объявленія этой резолюціи: существованіе его было уже отравлено. Преемственное посѣщеніе блюдущихъ возъимѣло вліяніе не столько на него, сколько на окружающую среду. Кабатчикъ первый произнесъ слово: „сицилистъ“, а за нимъ то же слово стали повторять и мужики. Сначала произносили его нерѣшительно, но потомъ, съ каждымъ днемъ, все ходчѣе и ходчѣе. А наконецъ и дѣвки перестали припускать поповскаго сына въ хороводъ. Не для кого стало и кудри по праздникамъ расчесывать.

Съ своей стороны и батюшка съ матушкой не по разуму усерд-

ствовали. Съ утра до вечера поповскій сынъ молотилъ, вѣялъ и собиралъ въ житницы, а когда возвращался домой, ему долбили въ уши: „опомнись! восчувствуй!“ А подъ конецъ даже высватали ему невѣсту, у которой одна ноздря залегла отъ природы и одинъ глазъ вытекъ отъ болѣзни.

Тогда поповскій сынъ сказалъ себѣ: „довольно!“ — и въ одно прекрасное утро исчезъ.

Таковъ фактъ. Замѣчательно, что лицо, передававшее его (и прибавлю: хорошо знакомое съ моею литературною дѣятельностью), обратилось ко мнѣ съ словами:

— Вотъ бы вамъ подѣлиться этимъ фактомъ съ читателями!

Признаюсь, я ждалъ совсѣмъ другого. Я думалъ, что мнѣ скажутъ: вотъ фактъ, который вполнѣ подтверждаетъ написанное вами тогда-то!

Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлѣлось въ памяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность всматриваться въ проходящія явленія и вдумываться въ ихъ смыслъ. Чтожъ! и за то спасибо!

Поэтому и я передаю вамъ разсказъ о приключеніяхъ поповскаго сына въ томъ самомъ видѣ, какъ его слышалъ, отнюдь не стѣсняясь тѣмъ, что, быть можетъ, вы упрекнете меня въ повтореніяхъ. Собственно говоря, не я повторяюсь, а всѣ вообще повторяются. И ликующіе, и унывающіе — всѣ на одинъ пунктъ устремили глаза, всѣ одну мысль мыслятъ. Только одни говорятъ объ искорененіи, а другіе — о развитіи. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ приведенный сейчасъ разсказъ и въ повтореніи, право, не безполезенъ. По моему мнѣнію, онъ пробуждаетъ благородство чувствъ, а въ этомъ-то именно и заключается живѣйшая потребность нашего времени.

Письмо пятнадцатое.

Милая тетенька.

Весь вчерашній вечеръ я провелъ съ общимъ нашимъ другомъ Глумовымъ.

Въ послѣднее время мы видѣлись очень рѣдко. Съ нимъ сдѣлалось что-то странное: не сказывается дома и самъ никуда не вы-

ходитъ, смотритъ угрюмо, молчитъ, не то что боится, а словно мѣста себѣ не находитъ. Нынче впрочемъ это явленіе довольно обыкновенное. На каждомъ шагу мы встрѣчаемъ людей, которыхъ всегда знали разговаривающими и которые вдругъ получили „молчальный даръ“. Ходятъ вялые, унылые, словно необыкновенные сны на яву видятъ. И никому этихъ сновидѣній не повѣряютъ, а молчатъ, молчатъ, молчатъ.

Признаться сказать, мнѣ и самому улыбается молчаніе, и я давненько-таки не иначе представляю себѣ блаженство, какъ въ этой формѣ. Но все какъ-то не соберусь вкусить. Сидѣть въ своемъ углу и молчать, то-есть не только не разглагольствовать (этого-то я пожалуй ужъ давно достигъ), а совсѣмъ всякія слова и письмена позабыть—это тонкое наслажденіе, которое доступно лишь тому, кого продолжительная молчальная практика исподволь сдѣлала способнымъ вмѣстить его. Особенно хорошо молчать, когда и кругомъ все молчитъ; а еще лучше, когда всѣ попрятались по угламъ, такъ что даже испуганныхъ лицъ не видишь. Благочиніе-то какое! благоустройство! Да, пора, наконецъ, и честь знать! Поволновались въ свое время, посуетились около „вопросовъ“, посодѣйствовали—и будетъ. А впредь будемъ жить такъ, что хоть колъ на головѣ теши. Пускай нарождаются вопросы еврейскіе, кабацкіе, вопросы объ оздоровленіяхъ, искорененіяхъ и средостѣніяхъ—какое намъ дѣло! Пусть люди стонутъ, мучатся, ропщутъ на судьбу, клянутъ законы божескіе и человѣческіе—я забрался въ уголъ и молчу. Не потому молчу, что умудрился, а потому, что не могу отличить, бодрствую ли я, или сплю.

Глумовъ забрался ко мнѣ спозаранку и прямо объявилъ, что „вопросовъ“ тревожить не станетъ, обмѣномъ мыслей заниматься не намѣренъ, а только хочетъ на нѣсколько часовъ уйти отъ одиночества.

— Одичалъ, братъ, я,—сказалъ онъ:—нѣкоторое время думалъ, что лучше и не надо. Однако, должно быть, еще не созрѣлъ. Молчалъ-молчалъ, да вдругъ сегодня испугался. Давеча началъ афишку читать—не понимаю да и конецъ! Ну, нѣтъ, думаю, пойду хоть на лицо человѣческое погляжу. Ну, а тебѣ какъ живется?

— Что мнѣ дѣлается! По обыкновенію, въ надеждѣ славы и добра...

— Вотъ и прекрасно. Такъ, значитъ, ты занимайся своимъ дѣломъ, а я буду смотрѣть на тебя и молчать.

Такъ мы и поступили. Онъ сѣлъ поодаль и замолчалъ, а я примостился къ письменному столу и началъ обдумывать предстоящее письмо къ вамъ. Тема навертывалась несомнѣнно благодарная. Весна нынче раньше обыкновеннаго порадовала насъ; такъ вотъ поздравить васъ съ дорогой гостьей, да кстати ужъ и воспѣть животворное дѣйствіе ея на обывательскій духъ. Хотѣлъ писать о томъ, какъ легко ходить по улицамъ въ холодномъ пальто и какая чувствуется отрада при видѣ распустившихся передъ Маріинской больницей тополей; о томъ, что мы ѣдимъ ужъ сморчки и щи изъ свѣжей крапивы, а недавно лакомились даже ботвиньей; о томъ, что думаемъ въ скорости перебраться на дачу, а тамъ пойдутъ ягоды, щи изъ свѣжей капусты, свѣжепросольные огурцы... Словомъ сказать, обо всемъ, чего такъ страстно, въ теченіе цѣлой зимы, жаждало наболѣвшее сердце. Весна-волшебница!—восклицалъ я мысленно:—ты вливаешь жизнь въ одряхлѣвшія сердца, ты подаешь старцамъ силу и бодрость молодости! ты расцвѣчаешь улыбкой лица человѣконенавистниковъ! ты пробуждаешь пѣснію въ соловьѣ, поэтѣ и кузнечикѣ! Привѣтъ тебѣ, жизнодавица! привѣтъ, волшебница, безкорыстно сыплющая чары на пути своемъ! И да будетъ благословенно...

Но только-что я обмакнулъ въ чернила перо, чтобъ изобразить на бумагѣ весеннія волшебства, какъ Глумовъ словно отгадалъ мои намѣренія.

— Берегись!—сказалъ онъ угрюмо:—пиши правду, а „сочинителей“ и безъ тебя довольно!

Послѣдовало короткое объясненіе, но Глумовъ не только не отказывался отъ своего предостереженія, а напротивъ, даже присовокупилъ:

— Вотъ сморчки, щи изъ крапивы, огурцы—объ этомъ ты можешь писать, потому что это правда; что же касается до вливанія жизни въ сердца, то этого не существуетъ въ дѣйствительности, а стало быть и „сочинять“ незачѣмъ. Налжешь, введешь простодушныхъ въ заблужденіе—что хорошаго! А кромѣ того и самъ нечувствительно въ распутство впадешь. Сегодня ты только для краснаго словца „сочинишь“, а завтра, пожалуй, скажешь: а что въ самомъ дѣлѣ!—а послѣ завтра и впрямь въ тебѣ сердце начнетъ играть!

Говоря по совѣсти, Глумовъ былъ правъ. Хотя „сочинительство“ имѣетъ свою привлекательность (и читательская масса къ нему при-

страстіе выказываетъ), но, въ сущности, это ремесло довольно безсовѣстное. Непремѣнно требуется лгать и притомъ такъ лгать, чтобы другіе приняли ложь за правду. Ежели это дѣлается „за лакомство“, то ясно, что въ такомъ дѣйствіи участвуетъ прямая подлость; если же дѣлается невѣдомо зачѣмъ, только по глупости, такъ и тутъ хорошаго мало. Въ сущности, „сочинять“—все равно, что обѣденные спичи говорить. „Пью за процвѣтаніе!“ предлагаетъ одинъ; „пью за преуспѣяніе!“ вторитъ другой—а между тѣмъ всѣ отлично знаютъ, что никто и ничего не преуспѣетъ и не процвѣтетъ. Не дай Богъ къ этому привыкнуть. Опасность тутъ очень серьезная, ибо „сочинитель“ солжетъ разъ, солжетъ другой, а потомъ и самъ своему лганью повѣритъ. И дойдетъ незамѣтнымъ образомъ до „Помоевъ“.

Въ виду этихъ соображеній приходилось выбрать для письма тему хотя и не столь благодарную, но зато болѣе обстоятельную.

Однакожъ Глумовъ очевидно только похвастался, что намѣренъ молчать, потому что не успѣлъ я передумать сейчасъ изложенное, какъ онъ продолжалъ:

— А ты пиши такъ: никогда хуже не бывало!—вотъ это будетъ настоящая правда!

Меня даже передернуло при этихъ словахъ. Ахъ, тетенька! двадцать лѣтъ сряду только ихъ и слышишь! Только-что начнешь забываться подъ журчаніе мудрецовъ, только-что скажешь себѣ: чѣмъ же не жизнь!—и вдругъ опять эти слова. И добро бы серьезное содержаніе въ нихъ вкладывалось; вотъ, молъ, потому-то и потому-то; съ одной стороны, съ точки зрѣнія экономической, съ другой—съ точки зрѣнія юридической; а вотъ, молъ, и средства для исцѣленія отъ недуга... Такъ нѣтъ же! „не бывало хуже“—только и всего!

— А ты бы вспомнилъ, что слишкомъ двадцать лѣтъ ты эту фразу твердишь и все въ одной и той же редакціи!—возразилъ я не безъ горечи.

— Потому и твержу, что двадцать лѣтъ сряду все „хуже никогда не бывало“. Не успѣешь докончить восклицаніе—анъ опять приходится съизнова начинать. И сравнивать даже незачѣмъ; не бывало хуже—вотъ и все. И прежде, и послѣ, и теперь—всегда!

— Да ты хоть бы далъ себѣ трудъ объяснить, почему тебѣ такъ сдается?

— И объяснять не нужно, потому что само по себѣ ясно. И не

„сдается“ мнѣ совсѣмъ, а и кожей, и внутренностями—всѣмъ чувствую... Понимаешь, всѣмъ естествомъ, всегда на всякомъ мѣстѣ чувствую: хуже не бывало!

— И все-таки объясниться не лишнее,—упорствовалъ я.—Вотъ ты говоришь: хуже не бывало!—а самъ между тѣмъ живешь да поживаешь! Это тебѣ замѣтить могутъ. Не даромъ съ Москвы благонамѣренные голоса несутся: зачѣмъ, молъ, цензура преграды „имъ“ ставитъ! пускай на свободѣ объяснятся!

— А мы, дескать, послушаемъ, да и изловимъ... Прекрасно. Такъ что-жъ, и за объясненіемъ дѣло не станетъ. Крѣпостное право помнишь?—ну, такъ вотъ тамъ и ищи объясненія. Вѣчная барщина, вѣчная крѣпость, вѣчное ожиданіе мучительныхъ сюрпризовъ, отъ которыхъ освобождала только „красная шапка“ да Сибирь. А люди все-таки жили! Въ каждомъ губернскомъ архивѣ ты найдешь безконечный мартирологъ, свидѣтельствующій о человѣческой живучести; а сколько отдѣльныхъ единицъ этого мартиролога замучено домашнимъ образомъ, сколько досталось въ жертву заплечному мастеру подъ наименованіемъ татей, душегубовъ, разбойниковъ! Ужели эти люди не имѣли права говорить: „хуже не бывало“? ужели они обязывались сравнивать, объяснять, почему они такъ говорятъ? Подумай, вѣдь новыя-то раны наводились по незажившимъ еще недавнимъ ранамъ—не естественно ли при такомъ условіи, что сегодняшнія боли терзали больнѣе вчерашнихъ? Да, никогда не бывало хуже, никогда! только завтра, быть можетъ, хуже будетъ!

Глумовъ волновался и клокоталъ. Но продолжительная отвычка отъ словесныхъ упражненій уже сдѣлала свое дѣло, такъ что, произнеся свою сравнительно короткую тираду, онъ изнемогъ и замолчалъ. Что касается до меня, то хотя и мелькнула въ моей головѣ резонная мысль: „а все-таки это только уподобленіе, а не объясненіе“ — тѣмъ не менѣе я почему-то застыдился и догадки своей не высказалъ.

Я унесся воображеніемъ въ далекое прошлое и вспоминалъ. Въ самомъ дѣлѣ, голубушка, чего мы съ вами только не насмотрѣлись, чему не были свидѣтелями! Цѣлое организованное неистовство прошло передъ нами, цѣлая туча мрака, безъ просвѣта, безъ надежды. А мы прогуливались подъ сѣнью тѣнистыхъ древесъ, говорили о возвышающихъ душу обманахъ и внимали пѣнію соловья! Какъ назвать насъ

за это? Были ли мы развращены до мозга костей, или просто жили какъ во снѣ, ничего не понимая и ни въ чемъ не отдавая себѣ отчета? „Мы были молоды“, скажете вы; но вѣдь это-то именно и страшно. Въ молодости человѣкъ болѣе чутокъ къ страданіямъ ближняго, молодое сердце легче раскрывается, молодая мысль быстрѣе усвоиваетъ внѣшнія впечатлѣнія. А насъ точно заколодило. Земля подъ нами разрывалась отъ стоновъ, а мы ходили какъ по паркету; хлѣбъ, который мы ѣли, воняялъ, а мы ѣли да похваливали... Право, что-то проклятое было въ этой молодости; какъ будто она только затѣмъ и дана была, чтобы впослѣдствіи, черезъ десять лѣтъ, цѣлымъ порядкомъ фактовъ напомнить намъ о томъ, что̀ металось передъ нашими глазами и чего мы не видѣли, что̀ немолчно раздавалось у насъ въ ушахъ и чего мы не слышали. Напомнить: вотъ, моль, восчувствуйте!—и бросить намъ въ воздаяніе мучительную, наполненную фантомами прошлаго старость...

Самые лучшіе изъ насъ ограничивались тѣмъ, что умывали руки или роптали другъ другу на ухо; средніе—старались избѣгать „зрѣлищъ“, чтобы не свидѣтельствовать объ нихъ; заурядные—не только не роптали и не избѣгали, но прямо, съ виртуозностью и злорадствомъ, окунались въ самый омутъ непотствъ. И всѣ эти категоріи, вмѣстѣ взятыя, представляли собой такъ-называемое „молодое поколѣніе“. И Глумовъ былъ тутъ; и онъ наравнѣ съ другими роптали, судачилъ и разсказывалъ наскудные анекдоты. И вотъ теперь, на старости, мы вдругъ стали припоминать, изумляться, страдать: какъ, дескать, насъ не рòзорвало! Теперь, когда все для насъ кончено, когда ужъ поны засматриваются на насъ, а гробовщики надоѣдаютъ прислугѣ вопросомъ: скоро ли „баринъ“ умретъ?—теперь, въ виду готовой могилы, намъ приходится, какъ какимъ-нибудь Прошкамъ и Аксюткамъ до-реформенныхъ временъ, воняять: хуже не бывало!

Было хуже, милая тетенька, но мы тогда пальцемъ не шевельнули, шага не сдѣлали, чтобъ выйти на борьбу съ этимъ худомъ. Мы думали, что Прошки да Аксютки такъ ловко вынесутъ это худое на плечахъ своихъ, что насъ и не задѣнетъ; а на повѣрку оказалось (на старости-то!), что и у насъ спина изсѣчена! Повторяясь и не встрѣчая отпора, худое на старыя, незажившія раны наводило новыя и новыя, и наконецъ довело организмъ до того, что всякій новый—даже сравнительно слабый—уколъ чувствуется мучитель-

нѣе, нежели цѣлая свита жесточайшихъ изъязвленій прошлаго. Когда мы были сильны и молоды, мы горѣли возвышенными чувствами и упивались благородными идеями; но мы дѣлали это исключительно для собственнаго употребленія, забывая, что горѣніе и упоеніе необходимо обезпечить, если хочешь, чтобъ они не изгибли въ будущемъ безъ слѣда. А теперь, когда они изгибли, мы кричимъ крикомъ: нѣтъ возвышенныхъ чувствъ! исчезла изъ обихода благородная мысль! никогда не бывало хуже, никогда!

Васъ, быть можетъ, возмутятъ эти вопли; вы скажете: да это же, наконецъ, несправедливо! мы видѣли не только худшія, но и несомнѣнно жестокія времена—какимъ же образомъ утверждать, что можетъ существовать что-нибудь превосходящее жестокость видѣннаго и испытаннаго нами? — Да, милая тетенька, эти вопли дѣйствительно несправедливы, но тутъ совершается одна изъ тѣхъ фатальныхъ несправедливостей, отъ которыхъ никуда не уйдешь. Это та самая несправедливость, которая не обращаетъ вниманія на смягченіе и исчезновеніе отдѣльныхъ подробностей, а имѣетъ въ виду основы. Подъ игомъ мысли о непреоборимости этихъ „основъ“ человѣкъ теряетъ способность сравнивать, взвѣшивать и оцѣнивать, и весь отдается охватившему его чувству несправедливости.

Возьмите для примѣра хоть слѣдующее. Прежде говаривали: „человѣкъ смертенъ двояко; во-первыхъ, по божескому произволенію, и, во-вторыхъ, по усмотрѣнію“; а нынѣ къ послѣдней части этого положенія прибавляютъ: „но правиламъ о Макарѣ телятъ не гоняющемъ установленнымъ“. Кажется, маленькая прибавка сдѣлана (многіе даже „упорядоченіемъ“ ее называютъ, или „введеніемъ произвола въ рамки законности“), а какая въ ней чувствуется обида! Начать съ того, что прежнее положеніе о порядкѣ пристиженія смертью принадлежало къ области права обычнаго, а не писаннаго. Партикулярный человѣкъ слѣдовалъ ему, какъ прирожденной идеѣ. Неся эту идею въ своемъ сердцѣ, вмѣстѣ съ прочими таковыми же, и безпрекословно признавая ея авторитетъ, онъ однакожъ понималъ, что право быть смертнымъ „по усмотрѣнію“ отнюдь не принадлежитъ къ числу такихъ, которыми можно было бы кичиться. И вдругъ ему не только во всеуслышаніе напоминаютъ, что онъ двояко смертенъ, но еще прибавляютъ, что по сему предмету существуютъ какія-то правила! Ужели это не обида? Прежде хоть клейма-то на немъ не было,

а отныѣ стоитъ ему носъ показать наружу, чтобъ услышать: „ахъ, да вѣдь это тотъ самый!“ А кромѣ того и страхъ. Потому что если разъ на бумажкѣ написано „смертенъ“, такъ ужъ прямо, значитъ, и заруби у себя на носу: теперь, братъ, не пронесетъ!

Вотъ что̀ значитъ по изъязвленному мѣсту новыя язвы наводить. Даже „упорядочить“ ничего нельзя, потому что намѣренія самыя похвальныя словно волшебствомъ превращаются въ благосклонное ковыряніе незажившихъ ранъ.

— Самообольщеніе какое-то всѣхъ одолѣло,—продолжалъ между тѣмъ Глумовъ: — все думается, какъ бы концы въ воду схоронить или дѣло кругомъ пальца обвести. А притомъ и распутство. Какъ змѣй, проникаетъ оно въ общество и поражаетъ ядомъ неосторожныхъ. Малодушіе, предательство, хвастовство, всѣхъ сортовъ лганье... можетъ ли быть положеніе горше этого!

Онъ говорилъ съ разстановкою и притомъ такъ рѣшительно, какъ будто не только не ждалъ возраженій, но и не предполагалъ ихъ возможности. Эта увѣренность была до того тяжела, что я позабылъ мои недавнія размышленія и почти гнѣвно крикнулъ:

— Да не раздражай! говори, куда же дѣваться? вѣдь надо же существовать!

Но онъ вмѣсто отвѣта загадочно проворчалъ:

— Вотъ! оно самое и есть!

— Ну?

— Я, братъ, всю зиму, съ октября, вотъ какъ провелъ: въ оперѣ не былъ, Сару Бернаръ не видалъ, объ Сальвини только изъ афишекъ знаю. Сверхъ того: въ книжку не заглядывалъ, газетъ не читалъ... И что̀ всего важнѣе — ни разу не ощутилъ, что чего-нибудь недостаетъ.

— Что̀ же ты дѣлалъ? лапу сосалъ?

— Жилъ. Вся зима, яко нощь едина, прошла. Только сегодня, ужъ и самъ не знаю съ чего, опомнился. Всталъ утромъ, думаю: никакъ ужъ ноябрь прикатилъ — глядь, анъ на дворѣ май. Ну, испугался.

— Да, можетъ быть, ты напитки во множествѣ принималъ?

— Не особенно много. И пилъ, и ѣлъ — обыкновенную пропорцію. Кажется, даже размышлялъ. А ты... размышлялъ?

— Да тоже... Какой однакожъ у насъ разговоръ нелѣпый!

Представь себѣ, если всѣ-то начнутъ такъ жить, какъ ты зиму прожилъ... хороша исторія будетъ?

— Нельзя *всѣмъ* такъ жить: загвоздка есть. Мужикъ, напримѣръ. Онъ, поди, пашетъ теперь, потомъ начнетъ сѣять, навозъ возить, косить, опять пахать, снопы убирать, молотить, вѣять. А зима наступитъ—повезетъ навѣянное въ городъ продавать, станетъ подати платить и въ воздаяніе—будетъ набивать себѣ мамонъ толокномъ. Толокно—это нашъ главный государственный врагъ: онъ „баланецъ“ портитъ! Подумай! сколько осталось бы къ вывозу и какъ бы поднялся нашъ рубль, еслибъ мужикъ мамона не набивалъ! Ну, да ужъ съ этимъ надо примириться: вѣдь и мужичка надо пожалѣть! Бдить, братецъ, онъ! а покуда онъ бдитъ, мы можемъ всяко жить: и такъ, какъ я зиму прожилъ, и въ вѣчной мелькательной суетѣ, какъ живетъ, напримѣръ, нашъ общій другъ, Грызуповъ.

— Только скажу тебѣ прямо: по твоему жить—значитъ, пропасть.

— То-то что для меня не ясно, какимъ путемъ удобнѣе пропасть, или, лучше сказать, какъ это устроить приличнѣе. Это-то я понимаю, что пропасть во всякомъ случаѣ не мнемъ, да сдается, что, по моему-то живя, пропалъ человѣкъ — только и всего, а по-Грызуповски мелкая, пропасть-то пропалъ, да сколько еще предварительно начадилъ!.. Вотъ этого-то мнѣ и не хочется.

Глумовъ помолчалъ съ минуту и продолжалъ:

— Вопросъ о томъ, что̀ лучше и цѣлесообразнѣе: скромное ли оцѣненіе, или блудливая повадливость...

— Повадливость... да еще блудливая!—не удержался я:—почему-жъ непремѣнно блудливая?

— Дай срокъ, все въ своемъ мѣстѣ объясню. Такъ вотъ, говорю: вопросъ, которая манера лучше, выдвинулся не со вчерашняго дня. Всегда были теоретики и практики, и всегда шелъ между ними споръ, какъ пристойнѣе жизнь прожить: ничего не совершивъ, но въ то же время удержавъ за собой право сказать: „по крайней мѣрѣ я навозной жижи не хлебнулъ!“ или же, погрузившись по уши въ золото, въ видѣ награды сознавать, что вотъ-молъ и я свою капельку въ сосудъ преуспѣянья пролилъ...

— Постой! ты сразу такъ уродливо ставишь вопросъ, что даже представить себѣ нельзя, къ какимъ выводамъ, кромѣ произвольныхъ,

можно придти при подобной постановкѣ. Ну, что же можетъ быть общаго между дѣятельнымъ участіемъ въ разрѣшеніи вопросовъ преуспѣянія и погруженіемъ въ золото?

— Фатумъ такой—только и всего. Вотъ это-то я и называю блудливостью; человѣкъ говоритъ о преуспѣяніи, а самъ лѣзетъ прямой дорогой въ навозъ: что, молъ, дѣлать! безъ компромиссовъ нельзя! Я ужъ не говорю о тѣхъ практикахъ, которые погружаются въ навозъ, находя, что тамъ уютно и тепло; но есть практики честные, которые дѣйствительно приходятъ съ намѣреніемъ сдѣлать нѣчто доброе... Знаешь ли, какъ они о своей дѣятельности выражаются? Они говорятъ: дѣло въ преуспѣяніи, а не въ томъ, что къ намъ пристанетъ нечистъ; мы пксы и игреки, которые обязываются внести свою ленту и исчезнуть—кому же какая надобность справляться, замараны они или не замарапы? Оттого, молъ, и запустѣніе у насъ идетъ, что люди, которые что-нибудь могутъ, предпочитаютъ въ свѣтозарныхъ одеждахъ ходить...

— Что-жъ, мнѣ кажется, это разсужденіе вполнѣ правильное и честное!

— Я и не отрицаю, я только констатирую, что честные практики сами сознаютъ, что на практической почвѣ не обойдешься безъ общенія съ нечистью. Да и не обойдешься. Практика, любезный другъ,—это неволя, и притомъ самая горькая. Это не открытая арена, на которой человѣческая мысль чувствуетъ себя свободною, а загрубѣвшее и поросшее волчцами пространство, надъ которымъ властно тяготѣетъ насиліе и невѣжественность. Не съ тѣмъ туда приходятъ, чтобъ подчинить темныя силы завѣтной идеѣ, а съ тѣмъ, чтобы подчинить идею темнымъ силамъ и потомъ исподволь вызвать у послѣднихъ благосклонное согласіе хоть на какую-нибудь крохотную сдѣлку. Оказывается, значитъ, что идею-то принесли богатую и плодущую, а въ жизнь ее провели сплющенную, искалѣченную. Выторговали на грошъ, а поступились на милліонъ. И поступились не поверхностнымъ только образомъ, а цѣною утраты человѣческаго образа. Это до такой степени правда, что тѣ, которые поумнѣе, сунутъ носъ, да и драло. Да ты, братецъ, вспомни! Небось у тебя бывали въ прошломъ примѣры... Припомни-ка, да тогда и скажи: уродливо или неуродливо я поставилъ вопросъ о сліяніи практики съ нечистью.

Я началъ припоминать—и припомнилъ. Дѣйствительно, что-то такое было. Помните, милая тетенька, мы въ концѣ пятидесятыхъ годовъ зазнали въ Москвѣ одного начинающаго публициста („другомъ Грановскаго“ онъ себя называлъ)—какая это, казалось, милая, симпатичная личность! И мыслей благородныхъ пропасть, и возвышенныхъ чувствъ черезъ край, и все это такимъ пріятнымъ слогомъ выражалось, что мы начитаться не могли. Вотъ онъ-то именно и говорилъ: „что̀ мы такое? мы—безвѣстныя величины, которыя всего меньше должны думать о себѣ и всего болѣе объ общемъ благѣ“. И всѣхъ призывалъ къ служенію. Да! хорошее, доброе было это время!

И что̀ же! не успѣли мы оглянуться, какъ онъ ужъ окунулся, или—виноватъ—пристроился. Сначала примостился бочкомъ, а потомъ сѣлъ и поѣхалъ. А теперь и совсѣмъ въ развратъ впалъ, такъ что отъ прежней елейной симпатичности ничего, кромѣ греческихъ спряженій, не осталось. Благородныя мысли потускнѣли, возвышенныя чувства потухли, а объ общемъ благѣ и рѣчи нѣтъ. И мыслитъ, и чувствуетъ, и пишетъ—точно весь свой вѣкъ въ Охотномъ ряду патокой съ имбиремъ торговалъ!

— Ты это объ комъ вспомнилъ?—обезпокоился Глумовъ, проникая въ мою мысль.

Я назвалъ. Разумѣется, обиняком.

— Брось!—разсердился онъ:—вѣдь... не можетъ забыть!

— Охотно забуду,—возразилъ я:—но вѣдь если мы подобныя личности въ сторонѣ оставимъ, то вопросъ-то пожалуй совсѣмъ иначе поставить придется. Если рѣчь идетъ только о практикахъ убѣжденныхъ, то они не претендуютъ ни на подачки въ настоящемъ, ни на чествованія въ будущемъ. Они заранѣе обрекаютъ свои имена на забвеніе и, считая себя простыми иксами и игреками, освобождаютъ себя отъ всякихъ заботъ относительно „замаранности“ или „незамаранности“. По моему, это своего рода самоотверженіе.

— А позволь узнать, какое такое общее благо эти иксы и игреки съ помощью своего самоотверженія получили?

— Какъ какое?—вспыхнулъ я:—а упраздненное крѣпостное право? а гласный судъ?

Глумовъ окончательно разсердился.

— Ну, давай говорить. Отвѣчай: былъ ты въ числѣ сочувствователей и распространителей идеи объ упраздненіи крѣпостного права?

— Былъ.

— И тебя не травили за это?

— Травили.

— Сочувствовалъ ты идѣѣ гласнаго судопроизводства?

— Сочувствовалъ.

— Травили тебя за это?

— Травили.

— А вотъ князь Букпазбà искони былъ завѣдомымъ крѣпостникомъ, а его не только не травили, но преблагополучно пристроили къ крестьянской реформѣ. Графъ Твердоонтò былъ явнымъ ненавистникомъ гласнаго суда, а чуть было этотъ судъ совсѣмъ не слопалъ.

— Что-жъ изъ этого! и крестьянская реформа, и гласный судъ все-таки остались!

— Это, любезный другъ, ужъ сама жизнь оставила, а практика-то только того добилась, что ненавистниковъ пристроила, а сочувствователей всѣхъ поголовно перетравила. Тѣ практиканты, которые на своихъ плечахъ эти вопросы вынесли, развѣ они не разбѣжались всѣ?

— И, все-таки, повторяю: не въ томъ важность, кто остался и кто исчезъ, а въ томъ, что самое дѣло осталось.

— А ты думаешь, что оно, такъ-таки, въ цѣлости и осталось? Въ такомъ ли видѣ, напримѣръ, ты его провидѣлъ и ожидалъ? не потщились ли Букпазбà и Твердоонтò вынуть изъ него сердцевину или, по крайней мѣрѣ, настолько ее атрофировать, чтобы имъ можно было орудовать на всей своей волѣ? Нѣтъ, любезный другъ, на практикантовъ надежда плоха. Родители-то наши полтораста лѣтъ сряду только и дѣлали, что узелки на память завязывали. Завязали, ничѣмъ не обезпечили да и бросили: пускай-молъ благодарные потомки какъ знаютъ, такъ и развязываютъ. А мы эти узелки бережемъ, величіе и основу въ нихъ видимъ. И никакіе самые ловкіе практики не заставятъ насъ сказать имъ: развязывайте, господа! да поможетъ вамъ Богъ! Шутите, господа! пусть лучше совсѣмъ затянется узелъ, чѣмъ какихъ-то профановъ къ нему допустить! И если въ этомъ случаѣ ты надѣешься на ловкость практиковъ, то, значитъ, ты очень наивенъ—и больше ничего.

— Ни на чтò я не надѣюсь, а знаю только, что такъ жить, чтобы цѣлая зима показалась яко нощь едина, совсѣмъ несвойственно.

— Это я и самъ знаю, да какъ же быть? Вотъ мужикъ — тотъ всегда рѳвно живетъ, а мы...

Онъ не докончилъ и совершенно неожиданно обратился ко мнѣ съ вопросомъ:

— Ты съ теткой-то продолжаешь переписываться?

— Продолжаю.

— А она отвѣчаетъ тебѣ когда-нибудь?

— Рѣдко и несложно. „Цѣлую тебя несчетно“ — только и всего.

— Ну, такъ вотъ что. Напиши ты ей, что очень ужъ она повадлива стала. Либеральничаетъ, а между тѣмъ съ Пафнутьевымъ шепчется, „Помои“ почитываетъ. Можетъ быть, благодаря этой повадливости и развелось у насъ такое множество гаду, что шагу ступить нельзя, чтобъ онъ не облѣпилъ тебя со всѣхъ сторонъ.

Сказалъ и ушелъ.

Замѣчаніе Глумова на вашъ счетъ застало меня нѣсколько врасплохъ.

Неужели, милая тетенька, вы и въ самомъ дѣлѣ повадливы? Право, до сихъ поръ и въ голову мнѣ этотъ вопросъ не приходилъ.

Повадливость бываетъ двоякаго рода: преднамѣренная и легкомысленная. Въ которой изъ двухъ вы оказываетесь повинною?

Преднамѣренная повадливость свойственна тѣмъ практикантамъ, которые, какъ выразился объ нихъ Глумовъ, надѣются пролить свою капельку въ сосудъ преуспѣянья. По мнѣнію Глумова, подобная повадливость нерѣдко граничитъ съ вѣроломствомъ и предательствомъ и почти всегда оканчивается урѣзками въ первоначальныхъ убѣжденіяхъ и устушкой такихъ основныхъ пунктовъ, отсутствіе которыхъ самую благонамѣренную практику сводитъ къ нулю. Или, говоря другими словами, полнаго вѣроломства нѣтъ, но полувѣроломство ужъ чувствуется.

Въ повадливости этой категоріи я, конечно, не рѣшусь васъ укорить. Вы милая: это рѣшено и подписано. Не только о вѣроломствѣ, но и о практикѣ вы имѣете лишь смутное понятіе. Что такое „сосудъ преуспѣянья“? Зачѣмъ онъ и кому нуженъ? какіе такіе бываютъ вклады, ленты и проч.? Какимъ путемъ и что ими достигается? — всѣ эти вопросы дошли до васъ въ видѣ отдаленнаго гула, изъ третьихъ-четвертыхъ рукъ, и притомъ въ самомъ недостовѣрномъ

видѣ. Да и не нужно вамъ совсѣмъ объ нихъ знать, потому что вы призваны не для того, чтобы приводить въ дѣйствіе практику, а для того, чтобы служить для нея мишенью. Ради васъ поступаются люди убѣжденіями, ради васъ вѣроломствуютъ. А вы, голубушка, только вздрагиваете и спрашиваете себя: на чемъ же, однако, они покончатъ? Къ какому придутъ относительно меня соглашенію?

Еслибъ вы даже хотѣли быть вѣроломною, то васъ не допустятъ до этого. Право на практику и соединенное съ нею вѣроломство (полное и неполное) есть своего рода привилегія, къ обладанію которой допускаются лишь избранники. Ваша же привилегія „совсѣмъ другого сорта“ и заключается въ претеріѣніи. Избранники выполняютъ свое назначеніе: устраиваютъ компромиссы, входятъ въ соглашенія, заключаютъ союзы, а вы несете на себѣ послѣдствія этой дѣятельности и не возражаете. Что подобное положеніе не можетъ быть названо лестнымъ—съ этимъ я готовъ согласиться: но чтобы слѣдовало сокрушаться по этому поводу—этого не скажу. Думаю даже, что подвергаться практикѣ все-таки пристойнѣе, нежели практиковать самому.

Тѣмъ не менѣе, подобныя сокрушенія слышатся нынѣче довольно часто. Надоѣло сознавать себя пятымъ колесомъ въ колесницѣ. Да, пожалуй, даже не колесомъ, а вольнымъ пляхомъ, по которому колесница катается себѣ да катается взадъ и впередъ. Мало привлекательнаго въ этомъ сознаніи—это такъ; но все-таки, на случай, если васъ черезъ-чуръ пристигнетъ чувство обиды, совѣтую вамъ спросить себя: хотѣли ли бы вы быть однимъ изъ четырехъ колесъ этой катающейся колесницы? Увѣряю васъ, что не успѣете вы формулировать вашъ вопросъ, какъ всю вашу обиду какъ рукой сниметъ.

Роль, на которую мы съ вами осуждены, совсѣмъ простая. Намъ предоставлено жить безъ заботъ о себѣ. Истуканы такъ живутъ. Ихъ украшаютъ сусальнымъ золотомъ, ихъ размалевываютъ и даже проводятъ по нимъ рѣзцомъ штрихи съ цѣлью сообщить чертамъ согласное съ обстоятельствами выраженіе, а они молчатъ да молчатъ. Бываютъ между ними и такіе, которые находятъ, что все-таки лучше быть истуканомъ, нежели рѣзцомъ; но бываютъ и такіе, которые думаютъ: вотъ когда меня окончательно размалюютъ—то-то заглядываться на меня станутъ! Но, по моему мнѣнію, это ужъ гордость.

Итакъ, въ преднамѣренной новадливости я обвинять васъ не

имѣю основанія. Но существуетъ повадливость легкомысленная, сущность которой заключается не столько въ дѣятельномъ расчетѣ, сколько въ его укрывательствѣ и попустительствѣ. Нѣтъ явнаго сочувствія—скорѣе, я допущу даже стыдливость,—но есть нравственная неустойчивость, которая вноситъ въ отношенія къ жизненнымъ явленіямъ элементъ дряблости и недомыслія. Вотъ въ этой-то повадливости не повинны ли вы, милая тетенька? Сдается мнѣ, какъ будто нѣчто въ этомъ родѣ сквозитъ.

Условій, которыя благопріятствовали и благопріятствуютъ развитію въ васъ легкомысленной повадливости, существуетъ кругомъ очень достаточно.

Припомню въ нѣсколькихъ чертахъ наше воспитаніе. Хотя въ смыслѣ буквальной правды и нельзя сказать, что мы съ вами получили образованіе на мѣдныя деньги, однако, въ смыслѣ правды внутренней именно только такое опредѣленіе и можно назвать выражающимъ дѣйствительную суть дѣла. Денегъ на наше орбазованіе швырялось съ три пропасти, но знаній на эти деньги пріобрѣталось на грошъ. Люди, которые занимались швыряніемъ денегъ, не имѣли понятія ни о томъ, что̀ такое знаніе, ни о томъ, для чего оно нужно. Вся человѣческая жизнь пріурочивалась къ цѣлямъ, совершенно посторонним знанію; послѣднее же пристегивалось къ нимъ, какъ составная часть обязательной привилегіи. Конечно, мы уже не застали образовательной обстановки Простаковскихъ временъ и только по устнымъ разсказамъ (впрочемъ отъ очевидцевъ) намъ сдѣлались извѣстны такія личности, какъ г-жа Простакова, Тарасъ Скотининъ и проч., однакожъ Митрофанушку и теперь нельзя назвать анахронизмомъ. Вѣдь и на него не жалѣли денегъ, и у него цѣлыхъ три наставника было, а сверхъ того была Еремѣевна, на которой лежало общее руководительство. Точно то же повторилось и съ нами. Для насъ нанимали цѣлую уйму Вральмановъ, Цыфиркиныхъ, Кутейкиныхъ (конечно, нѣсколько усовершенствованныхъ), а общее руководительство, вмѣсто Еремѣевны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали насъ коротенькими знаніями (былъ одинъ годъ, напримѣръ, когда я *одновременно обучался* одиннадцати „наукамъ“ и въ томъ числѣ „Пенину свинству“, о которомъ недавно вамъ писалъ), а холопъ высшей школы внушалъ, что цѣль знанія есть исполненіе начальственныхъ предначертаній.

Свѣдѣнія доходили до насъ коротенькія, безсвязныя, почти безсмысленныя. Они не ассимилировались, а механически зазубривались, такъ что будущая ихъ судьба вполнѣ зависѣла отъ богатства или бѣдности памяти учащагося. Ни о какомъ фондѣ, могущемъ послужить отправнымъ пунктомъ для будущаго, и рѣчи быть не могло. Повторяю: это было не знаніе, а составная часть привилегіи, которая проводила въ жизни рѣзкую черту: *надъ* чертою значились мы съ вами, люди досужіе, правящіе; *подъ* чертою стояло одно только слово: мужикъ. Вотъ, чтобъ не очутиться на одномъ уровнѣ съ мужикомъ, и нужно было знать, что Парижъ стоитъ на рѣкѣ Сенѣ, и что Калигула однажды велѣлъ привести въ сенатъ своего коня.

Мужикъ! вѣдь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравненія съ нимъ, чтобы заставить правящаго младенца сгорѣть со стыда. „Что локти на столъ положилъ—точно мужикъ! что въ носу ковыряешь — точно мужикъ! смотри, какой кусокъ въ ротъ запихалъ —точно мужикъ!“ —такъ и гвоздили со всѣхъ сторонъ. И что всего замѣчательнѣе: усерднѣе всѣхъ въ этомъ смыслѣ гвоздила Еремѣевна. Ахъ, эти хлопоты! на какой бы служебной ступени они ни были поставлены, есть что-то горькое и слѣпое въ ихъ судьбѣ! Вѣчно пресмыкаться и вѣчно же видѣть въ этомъ пресмыканіи нѣчто неизбѣжное, почти заслуженное!

Съ такимъ запасомъ знанія школа ежегодно выбрасывала изъ своихъ нѣдръ тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правящіе юнцы переходили изъ малой казны въ большую казну. Полученное скудное знаніе только въ рѣдкихъ случаяхъ давало позывъ къ дальнѣйшему самообразованію, въ громадномъ же большинствѣ пробуждало лишь стремленіе какъ можно скорѣе и полнѣе воспользоваться добытою привилегіей. Слава Богу, „не мужикъ“ — и будетъ съ насъ. Одной этой заслуги было вполнѣ достаточно, чтобы признать человѣка способнымъ и достойнымъ. Всѣ дороги открывались передъ нимъ,—дороги, усѣянныя разнообразнѣйшими видами правъ, привилегій, лакомствъ и наградъ. Понятно, какое несмѣтное воинство шалопаевъ должно было оказаться въ результатѣ этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невѣжественность съ системой поощреній и премій за оную.

Я не говорю, чтобъ эти шалопаи были сплошь злые или порочные люди; я думаю даже, что при легкомысліи тогдашняго воспита-

нія самое шалопайство не могло получить вполнѣ злостнаго характера. И знаю многихъ, которые съ теченіемъ времени опомнились. Но когда опомнились? — тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были сожжены, когда уйти назадъ въ прошлое было нельзя, а идти впередъ значило погрузиться въ тотъ омутъ, въ которомъ кишатъ расхитители, клеветники, сыщики и тѣ неслыханные „публицисты“, чудовищная помѣсь Мессалины и Марата, съумѣвшіе соединить въ своемъ ремеслѣ распутство нервой и человѣконенавистничество послѣдняго. Картина этой бѣсовской вакханаліи до такой степени испугала ихъ, что они оказались болѣе чистоплотными, нежели можно было ожидать.

Но могутъ ли эти опомнившіеся предпринять какую-нибудь борьбу? да и не только они, но даже и тѣ „лучшіе“, которые, переступивъ черезъ школьный порогъ, сразу признали шалопайство шалопайствомъ? Къ сожалѣнію, на эти вопросы приходится отвѣчать отрицательно. И у тѣхъ, и у другихъ багажъ до того легокъ, что невольно приходитъ на мысль, дѣйствительный ли это багажъ, или только призрѣчный, принесенный съ цѣлью хоть что-нибудь держать въ рукахъ. Вмѣсто знаній—сѣтованія за недостаточность ихъ, вмѣсто силъ — жалобы на безсиліе. Я согласенъ, что все это очень опрятно, трогательно и даже трагично, но съ чѣмъ же тутъ орудовать?

Но этого мало. Я утверждаю, что только дѣйствительное знаніе, дѣйствительный трудъ могутъ вполнѣ истребить ту вредную закваску легкомыслія, которую привела за собой безазбучно-взлелѣянная молодость. Только они могутъ заставить забыть тѣ омерзительные вкусы, тѣ пошлыя привычки, которыя накоплены годами привилегированнаго досужества. При отсутствіи труда и знанія никакія благородства не устоятъ, никакія раскаянія не помогутъ. Чувство самое искреннее не помѣшаетъ пробужденію повадливости, которая на всѣ намѣренія и стремленія наброситъ покровъ неспособности и безсилія.

Недостатокъ знанія восполнялся въ нашемъ воспитаніи эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Безсодержательная, болтливая, съ наклонностью къ округленію періодовъ и далеко не чуждая представленія о бездѣлицѣ. Въ основѣ лежала ежели не прямо чувственность, то скоропроходящая, мало задерживающая, почти болѣзненная впечатлительность.

Эта впечатлительность надѣлала намъ прѣпасть вреда; она бросала насъ изъ стороны въ сторону и по временамъ приводила туда, гдѣ намъ совсѣмъ не слѣдовало быть. Вспомните наши старыя „связи“ —какой разнообразнѣйшій калейдоскопъ онѣ представляли! Это была какая-то неслыханная окрошка, въ которую входили обрывки и отбросы всевозможныхъ міросозерцаній. И мы не только не формализировались уродливостью сочетаній, но были совершенно серьезно убѣждены, что иначе и прожить нельзя. Была цѣлая самостоятельная наука „о поддерживаніи связей“, — наука, прямо вытекавшая изъ общаго повѣтрія повадливости, которое мѣшало намъ обособиться и сосредоточиться въ самихъ себѣ. Эта наука была въ свое время настолько же обязательна, какъ и та, которая учила, что высшій признакъ благовоспитанности заключается въ устраненіи всякаго повода для сравненія съ „мужикомъ“.

„Надо поддерживать связи!“ восклицали мы вмѣстѣ съ Грызуновымъ, а Грызуновъ и теперь—стоитъ только въ окно посмотрѣть —мечется какъ угорѣлый изъ дома въ домъ, и одну только мысль въ головѣ держитъ: „надо поддерживать связи! надо!“

И когда разсудокъ вступилъ наконецъ въ свои права, когда онъ, съ помощью цѣлаго ряда горькихъ искусовъ, доказалъ, что дружить направо и налѣво нельзя, а въ особенности когда сдѣлалось вполнѣ яснымъ, что торжествующая дѣйствительность окончательно опаскудилась—тогда мы застыдились и предпочли остаться въ рядахъ дѣйствительности *не*торжествующей. Но много ли можно насчитать такихъ, которые при этомъ воистину свергли съ себя ветхаго человѣка? много ли такихъ, въ которыхъ воспоминанія о „связяхъ“ прошлаго не пробуждаютъ подавленнаго вздоха? Говоря по совѣсти, подобные субъекты составляютъ рѣдкое, почти незамѣтное исключеніе, и я боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравнѣ съ жизнью огромнѣйшаго большинства, распалась на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной предъявляютъ свои права справедливость и стыдъ, а въ другой все еще чувствуется позывъ къ шалостямъ (не рѣшаюсь употребить болѣе рѣзкое выраженіе) прошлаго.

Да, этотъ внутренній разладъ несомнѣнно существуетъ. Шалости прошлаго въѣдчивы; однажды войдя въ плоть и кровь человѣка, онѣ извлекаются оттуда тѣмъ съ бо́льшимъ трудомъ, что въ общепринятой номенклатурѣ носятъ наименованіе шалостей, а не преступленій.

Когда передъ глазами совершается грандіозное хищничество, предательство или вѣроломство, то весьма естественно, что такого рода картина возбуждаетъ въ насъ негодованіе; но когда передъ нами происходитъ простая „шалость“ —помилуйте, стоитъ ли изъ-за пустяковъ бурю въ стаканѣ воды поднимать! Шалость, въ понятіяхъ большинства, есть нѣчто граціозное, симпатичное: шалость! — да вѣдь это почти терпимость! Вотъ угрюмость, несообщительность, изолированность — это другое дѣло. Это качества, которыя, по общепризнанному шаблону, предполагаютъ безпощадный фанатизмъ, говорятъ воображенію о гоненіяхъ, пыткахъ, кострахъ. Угрюмый человѣкъ—это бичъ, отъ котораго нечего ждать, кромѣ ранъ и скорпіоновъ, это язва, отъ которой слѣдуетъ бѣжать. Не нужно предательства, но не нужно и угрюмости. Шаловливый человѣкъ—вотъ истинный „средній человѣкъ“, съ которымъ въ одну минуту насчетъ чего угодно сговориться можно!

Всѣ истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гамбетта—шалунъ, Бисмаркъ—шалунъ. Всѣ рейхсъ- и ландстаги, всѣ парламенты наполнены людьми, которые спятъ и видятъ, какъ бы пошалить. Отчего же не пошалить и намъ съ вами?

Что вы охотно шалите, голубушка,—это ни для кого не тайна, хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаетесь въ нихъ. Однакожъ обличить васъ положительно не трудно.

Пишете вы, напримѣръ, мнѣ, что совсѣмъ порвали связь съ Пафнутьевымъ, а объ Мартынѣ Задекѣ будто бы и не слыхивали, а между тѣмъ мнѣ достовѣрно извѣстно, что потихоньку вы имъ обоимъ назначаете тайныя свиданія въ рощицѣ, и что при этомъ нерѣдко присутствуетъ и Иванъ Непомнящій. Съ вашей стороны это, конечно, только шалость, а Пафнутьевъ пользуется этимъ и распускаетъ слухи, что, въ сущности, тетенька симпатизируетъ ему, и только потому облекаетъ свои симпатіи тайною, что боится, чтобъ не пронюхали о свиданіяхъ потрясатели основъ и подрыватели авторитетовъ.

Или еще. Вы пишете: „за кого ты меня принимаешь! чтобъ я стала „Помои“ читать!“—а между тѣмъ мнѣ достовѣрно извѣстно, что хоть однимъ глазкомъ, а все-таки вы посматриваете въ нихъ. Ахъ, милая! видно, паскудство еще долго не перестанетъ быть соблазнительнымъ! Все думается: вотъ сейчасъ сядетъ Ноздревъ на полъ и начнетъ проходящихъ женщинъ за подолы ловить! или: выйдетъ

впередъ Расплюевъ, съ распухлой и распутной физіономей, и начнетъ разсказывать, какая вчера „игра была“. Ну, не умора ли? и какъ хоть глазкомъ на эту умору не посмотрѣть? А Ноздревъ съ Расплюевымъ пользуются этимъ и говорятъ: „тетенька-то хоть и отрекается отъ насъ, а все-таки свои пятаки намъ отдастъ!“

Вотъ, милая, какія послѣдствія имѣетъ шаловливость. Я только два примѣра привелъ, а если захотѣть—какое множество другихъ, еще болѣе яркихъ, можно подыскать!

Хвалить васъ за эту повадливость, конечно, нельзя; но слѣдуетъ ли считать уменьшающимъ вину обстоятельствомъ ту тайну, въ которую вы облекаете ваши шалости?

Я полагаю, что слѣдуетъ. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, все-таки представляетъ послугу, которую, по всей справедливости, необходимо зачесть. Она подаетъ надежду, что еще одинъ шагъ въ этомъ направленіи, еще одно усиліе, и...

Сдѣлайте, милая тетенька, это усиліе! Не ходите въ рощу на свиданіе съ Пафнутьевымъ, не перешептывайтесь съ Мартыномъ Задекою и не заглядывайтесь на публицистовъ, которые только по упущенію отвлеклись отъ прямого своего назначенія: выкрикивать въ Охотномъ ряду патоку съ имбиремъ!

Это мой послѣдній совѣтъ вамъ.

И самъ я до смерти усталъ, да и вамъ безконечно надоѣлъ. И „повтореніями“, и „блудливымъ заигрываніемъ“, и „отрицаніемъ принципа нравственности“.

Всѣми этими замѣчаніями почтила меня „критика“. А мы-то думали, что „критика“ у насъ пропала, а осталось только шалопайское подлавливанье словечекъ и фразъ съ усиленіемъ восклицательными и вопросительными знаками.

Чтожъ! эти приговоры нимало не удивляютъ меня. Тѣмъ, которые позабыли о существованіи благородныхъ мыслей, кажется диковиннымъ и дерзкимъ напоминаніе объ нихъ. „Слышите! о благородныхъ мысляхъ печалится! Слышите! говоритъ, что жизнь тяжела!“ —восклицаютъ пѣвцы патоки съ имбиремъ, и такъ какъ у нихъ нѣтъ въ запасѣ ни доказательствъ, ни опроверженій, то естественно, что критика ихъ завершается восклицаніемъ: „можно ли идти дальше этихъ геркулесовыхъ столповъ кощунства и дерзости!“

Само собой разумѣется, что это совсѣмъ особаго рода „критики“, которые не могутъ заставить ни остановиться, ни отступить. По-прежнему, покуда хватитъ силъ, я буду повторять и напоминать: попрежнему буду считать это дѣломъ совѣсти и нравственнымъ обязательствомъ. Но не могу скрыть отъ васъ, что служба эта очень тяжелая.

Всего тяжелѣе дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ ваша повадливость. Тянетъ васъ, голубушка, и къ клеветѣ, и къ скандалу, и къ этимъ пахучимъ издѣвкамъ, которыя у насъ носятъ названіе „критики“ и „полемики“. И хоть я убѣжденъ вполнѣ, что вы отлично сознаете, что тутъ, кромѣ гноя, ничего нѣтъ, но, къ сожалѣнію, существуетъ какой-то гвоздь, который мѣшаетъ вамъ преодолѣть вашу исконную шаловливость. А апологисты охотнорядскихъ Маратовъ, благодаря вашей неосмотрительности, процвѣтаютъ себѣ да процвѣтаютъ подъ флагомъ благонамѣренности.

Подумайте объ этомъ, благо на дворѣ лѣто, а вмѣстѣ съ тѣмъ наступаетъ и пора отдохновенія (для другихъ лѣто — синонимъ страды, а для насъ съ вами—отдыха). Углубитесь въ себя, сберитесь съ мыслями, да и порѣшите разъ навсегда съ вопросомъ о шалостяхъ.

Скажите себѣ: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропагандѣ сыска, клеветы и человѣконенавистничества... Да, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, и позабудьте. Увидите, что польза будетъ несомнѣнная, да и сами вы почувствуете себя лучше, спокойнѣе духомъ, здоровѣе.

Сперва вы забудете на время, а потомъ, помаленьку да полегоньку, и совсѣмъ потеряете вкусъ къ паскудству.

Я твердо убѣжденъ, что въ дѣлахъ современности отъ васъ зависитъ многое, почти все. И даже не отъ дѣятельнаго участія вашего въ жизненномъ круговоротѣ, а просто отъ характера вашихъ отношеній къ жизненнымъ явленіямъ. Повидимому вы даже не подозрѣваете, что вы—сила, а между тѣмъ нѣтъ истины безспорнѣе этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтобъ безразлично посылать поцѣлуи правдѣ и неправдѣ, а для того, чтобъ дать нравственную поддержку добросовѣстному и честному убѣжденію. Право, безъ этой поддержки невозможно сдѣлать что-нибудь прочное.

Быть можетъ, тонъ настоящаго, *послѣдняго* моего къ вамъ письма

до извѣстной степени изумить васъ. Сравнивая его съ первымъ, написаннымъ почти годъ тому назадъ, вы не безъ основанія найдете, что тетенькино обличье съ теченіемъ времени нѣсколько видоизмѣнилось. Началъ я съ безусловныхъ любезностей, а кончилъ чуть не нравоученіемъ...

Да, это такъ: не могу я похвалиться выдержкою. По мѣрѣ того какъ намѣченная задача развивается передо мной, она настолько проникаетъ меня, что требованія мои къ ней постепенно растутъ и растутъ. Но такъ какъ одновременно съ этимъ растетъ и самая задача, то я полагаю, что худого въ этомъ нѣтъ. Именно это самое случилось и по вашему поводу. Въ теченіе года *въ моемъ имѣніи* вы настолько выросли, что первоначальные пріемы родственной любезности представляются мнѣ уже недостаточными. Нужно ли прибавлять, что отъ этого вы не только не подурнѣли на мой взглядъ, но даже похорошѣли.

Затѣмъ, передайте мой сердечный привѣтъ вашимъ домочадцамъ и прощайте. Sapienti sat.

Но знаете ли вы, милая тетенька, что̀ означаетъ „sapienti sat“?

Май 1882 г.

Типографія М. М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

Гос. Публичная Б-а Петроград

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА (Н. ЩЕДРИНА)

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

— въ двѣнадцати томахъ обыкновеннаго формата:

Томъ I.—Губернскіе очерки.—Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова, съ портретомъ автора, его факсимиле и могильнымъ памятникомъ.
— II.—Господа Головлевы.—Сатиры въ прозѣ.
— III.—Помпадуры и помпадурши.—Невинные разсказы.
— IV.—Благонамѣренныя рѣчи.—Культурные люди.
— V.—Мелочи жизни.—Сборникъ.
— VI.—Сказки.—Пестрыя письма.—Недоконченныя бесѣды.
— VII.—Исторія одного города.—Убѣжище Монрепо.—Признаки времени.
— VIII.—Дневникъ провинціала.—За рубежемъ.
— IX.—Господа Ташкентцы. — Пошехонскіе разсказы. — Круглый годъ.
— X.—Въ средѣ умѣренности и аккуратности.—Письма о провинціи.—Итоги.
— XI.—Современная идиллія.—Письма къ тетенькѣ.
— XII.—Пошехонская старина.—Брусинъ, разсказъ.

Каждый томъ—1 руб. 75 коп., съ перес. 2 руб.

По подпискѣ на 12 томовъ—**18** р., съ перес.—**21** р.

Складъ изданія:

въ книжномъ магазинѣ типографіи М. М. Стасюлевича,

Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

21022
1895

РНБ РУССКИЙ ФОНД

18.268.5.1./11